

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

5



5

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ





ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОТЕЧЕСТВО»

**I. ЧЕСТЬ,
ОТВАГА, МУЖЕСТВО**

Ю. Пересунько. "Вальтер" из 45-го
И. Черных. Долина зноя
В. Смирнов. Горечь наших побед

**II. РАТНАЯ ЛЕТОПИСЬ
РОССИИ**

А. Шишов и прозвал его народ
"Невский"

**III. ВРЕМЯ РАСКРЫВАЕТ
ТАЙНЫ**

Альфред Муней — англичанин
С. Демкин.

IV. СЛУШАЙТЕ ВСЕ!

В. Пикуль. — любовь моя
Армия — любовь моя

ПРИКЛЮЧЕНИЯ



ББК 84 P7

В 63

Составитель С. Демкин

В 63. Военные приключения: Пятый сборник, подготовленный Военно-патриотическим литературным объединением «Отечество». — Москва, Воениздат, 1991 г. — с. 527

ISBN 5—203—01292 — X

В пятый сборник вошли остросюжетные повести, рассказы и публицистика известных писателей и молодых авторов — членов Военно-патриотического литературного объединения «Отечество» — о расследовании убийства при лесном пожаре, о войне в Афганистане и с фашистской Германией, о Куликовской битве и проблемах в современной армии.

Книга рассчитана на массового читателя.

В 4702010201—156 без объявл.
068 (02)—91

ББК 84 P7

ISBN 5—203—01292 — X

© Коллектив авторов, 1991

**ДЕСТЬ,
ОТВАГА,
МУЖЕСТВО**





Ю. ПЕРЕСУНЬКО "ВАЛЬТЕР" из 45-го

Повесть

I

Фронт, разъединившийся на два потока, один из которых уходил вверх по сопке, а второй уже перемахнул на скошенную по склону седловину и теперь медленно полз к пересохшему ручью, был ровным, устойчивым, и только изредка то тут, то там вздымался в небо гигантский столб пламени, после чего раздавался оглушительный треск. Это подогретое снизу, со смоляными потеками дерево, увенчанное хвойной кроной, в одно мгновение охваченное пламенем, взрывалось фугасной бомбой, и сноп искр разлетался далеко в стороны, зажигая новые участки тайги. За двое суток, что они тушили пожар, вроде бы можно было и привыкнуть к этому, но всякий раз Кравцов вздра-

гивал и невольно оглядывался на Шелихова, боясь показаться трусом.

Однако инструктору парашютно-пожарной команды Артему Шелихову было не до столичного журналиста, увязавшегося с ними в патрульный облет. Они прыгнули на этот очаг недокомплектованной командой — пятым был Игорь Кравцов, помощь же, обещанная летнабом Курьяновым, так и не прибыла, и теперь огненная лавина грозила прорваться в распадок, где остановить ее будет практически невозможно. Сейчас главное — правильно расставить ребят. Поэтому, отправив дюжего Мамонтова держать правый фланг, а Колоскова с журналистом растаскивать бухты плановой взрывчатки, он остался с Венькой Стариковым на опорной полосе, которую заменял сочившийся у подножия сопки ручей. Вдвоем они медленно продвигались по берегу, заваливая деревья для встречного отжига.

Беспрерывная трескотня «Дружбы», гул надвигающегося вала, перекрывающие все это взрывы деревьев и тяжелые шлепки о землю заваленных лиственниц давили на ушные перепонки, в какой-то момент слились в единый, жуткий, ни на что не похожий гул, от которого, Шелихов это знал по себе, на первых порах становилось страшно.

Для него это было привычным, обыденным делом, и он даже забывал порой о надвигающемся огненном шквале, думая о чем угодно, только не об опасности, которая шла на парашютистов. И только чувство самосохранения четко фиксировало тот момент, когда низовой пожар мог перекинуться на верховой — здесь зевать не приходилось. Сколько раз случалось, что они чудом уходили из-под огня. Сейчас же такой опасности не было, и он мысленно возвращался к вопросам Кравцова, на которые любопытный журналист непременно хотел получить ответы.

Это был не первый журналист, летевший с командой Шелихова, парашютисты к ним даже попривыкли, снабжая обильными рассказами, однако Игорь Кравцов им чем-то понравился. Может, тем, что был таким же молодым, как они. Или тем, что не строил из себя столичного эрудита, а запросто перезнакомился с ребятами, не стеснялся расспрашивать о самых элементарных вещах. А может, тем, что не так интересовался процессом тушения, как людьми, которые тушат.

А если еще точнее, то его интересовало становление парашютиста-пожарного. И именно тот период, когда проходит романтика первых прыжков и остаются забитые гнусом и комарьем будни, когда порой опускаются руки, хочется плюнуть на все и уйти в леспромхоз или лесхоз, где и деньги те же, и спишь дома по-человечески.

Артем завалил очередную лесину и невольно остановился, задумавшись. Действительно, как же ребята становятся настоящими воздушными пожарными? Ведь сколько парашютистов отсеялось — вспомнить трудно. Были среди них и симпатичные Шелихову парни, а была и просто шелуха, от которой и избавиться не грешно.

Вспомнилось, как в его группу пришел Мамонтов. Они как раз давили пожар в Кедровом урочище. Вот так же и тогда, всем корпусом наваливаясь на раму «Дружбы», вгрызаясь нагретым полотном в толстенные, необхватные кедрячи и словно спички срезая березки, Артем изредка оборачивался назад, наблюдая, как работает новичок. Хоть и крепок был парень, но первый таежный пожар — самый страшный. Главное здесь — не сломаться. А то потом на всю жизнь отобьет охоту прыгать в горящий лес. Этого-то и боялся Артем; больно уж парень пришелся по душе. Но бывший десантник словно чувствовал это, старался изо всех сил. Вместе с Колосковым и Венькой расчищал буреломные завалы, любой из которых мог оказаться мостиком для огня, растаскивал бухты шланговой взрывчатки, вгрызался топором в непроходимые заросли лимонника. Каждый работал молча, сноровисто, и даже острый на язык Венька приутих, изредка поглядывая на сжавшего зубы Мамонтова. Команда, к топорам и лопатам привыкшая.

Артем хорошо помнил, как часа в три пополудни, когда уж и солнца от клубящегося дыма не стало видно, они сделали последнюю отпалку. Над тайгой взметнулись снопы земли, деревья, вырванные с корнем, кустарник. После этого команда, уставшая и измотанная, молча побрела к лагерю. За годы, что он прыгал в горящий лес, Артем насмотрелся всяких новичков, и поэтому сразу оценил Мамонтова. Бывший солдат не скулил, хотя валился с ног от усталости, и только потому, как он изредка, так, чтобы никто не видел, дул

на ладони, чувствовалось, что ссадины он получил изрядные.

— Ну-ка покажи руки, — подошел к нему Шелихов и, взяв за кисть, внимательно осмотрел широкую ладонь. Что и говорить, натер он ее лихо. — Почему без рукавиц работал? — спросил Артем, прекрасно понимая, что в этом есть и его вина — недосмотрел.

Мамонтов, фамилия которого полностью отвечала его комплекции, неожиданно покраснел, аккуратно высвободил кисть из хваткой ладони Артема, пробормотал виновато:

— Да я... Не думал я, что так получится.

— Не думал... На табор придем, перевяжу.

— Может, не надо, — замылся было солдат. — Обойдется. А то, сам понимаешь, ребята смеяться будут.

— Ну и дура же ты, Володька, — уставился на него Шелихов. — Смеяться... Это же надо. Да ты спроси у них, кто попервоначалу руки не сбивал?

И действительно, кто из них руки в кровь не стирал?..

...Одним касанием свалив березку, Артем, поудобнее перехватив «Дружбу», подошел к огромному, высокоствольному кедр. Можно было бы, конечно, и оставить его, но уж очень велика была опасность. Сухой от горячего воздуха, со смолистыми подтеками, он широко раскинул темно-зеленые ветви, на которых висели большие шишки. И хорошо просохшая, начинающая потрескивать крона могла вспыхнуть в любой момент, когда они дадут встречный отжиг.

— Прости, старик, — словно живому существу, сказал Артем, обходя кедр. Прикинув, куда он может упасть, Артем навалился на раму, заставляя вгрызаться полотно в неподатливое дерево.

Сделав надпил, он обошел кедр с другой стороны, и опять завизжала остро заточенная цепь, выбрасывающая струю смолисто пахнущих опилок. Вроде бы и нехитрое это дело — расчистить полосу от деревьев, знай себе вали направо и налево, да это только так кажется, дерево надо завалить так, чтобы оно упало в сторону надвигающегося пожара. Опорная минерализованная полоса потому и называется опорной, что за ней должно быть практически чистое место. Если вдруг и перелетит на другую сторону головешка, так чтобы не смогла вызвать новый пожар. Вот и прихо-

дилось прыжиться над кедрачами, лиственницами и высоченными соснами, чтобы легли как надо.

Увидев, что Артем замешкался, его окликнул Венька:

— Может, помочь, командир?

Прикинув, сможет ли он в одиночку завалить кедр, Артем засомневался и махнул Веньке рукой. Давай, мол.

Стариков подхватил слегу, специально вырубленную для этой цели, подбежал к Артему и, упершись в ствол, навалился всей силой. По тому, как легче пошла пила, Артем понял — кедр поддался. Что-то хрустнуло в его сердцевине, раздался тягучий треск, и кедр сначала медленно, потом все быстрее и быстрее начал клониться в сторону надвигающегося пожара. Артем с Венькой отскочили в сторону, в это время с глухим стоном разорвались последние жилы, и могучий старик рухнул на склон, ломая березовый подрост.

— Еще три года попрыгаю и в лесники пойду, — глухо сказал Венька, и Артем не узнал его голоса. — Ну, чего смотришь? — огрызнулся он. — Может, я потому и пожарным стал, что лес больше всего люблю.

— Да я ничего, — стушевался Артем. — Я, может, к тому времени лесотехнический окончу. Вместе работать будем.

— Не-е, — протянул Стариков, опять становясь тем самым Венькой, каким его знал поселок. — Ты летнабом будешь. Это твое призвание, командир. А я в лесники подамся. Деревья сажать буду. А как гниду какую в тайге с непогашенным костерком застукаю, так сразу...

Венька не договорил, но и так было ясно, что хлопот старшему участковому инспектору Александру Ефимовичу Лаптеву прибавится.

Наконец-то они добились опорную полосу, и Артем с одного конца, а Колосков с другого пустили от нее встречный отжиг.

Огонь поначалу ткнулся было в каменистое русло речушки, но потом мало-помалу развернулся, вытягиваясь красными лентами вверх по склону. Набрал силу, понемногу схватывая заваленные деревья, и, будто зверя от нетерпения, тяжело пошел навстречу основной головке, выбрасывая впереди себя длинные язы-

кастые клочки пламени, которые, словно пробуя мощь пожара, первыми бросались на ревущую стену огня...

Где-то под вечер Шелихов дал отбой, и команда, оставив на окарауливание Мамонтова с Кравцовым — не дай бог, головешка какая перекинется через миполосу, — побрела к табору. Хорошо еще, что Артем выработал железное правило — сначала лагерь надежный разбить, а потом уж и за дело приниматься. А то попробуй-ка сейчас поставить палатки, когда ноги подкашиваются, от въевшегося в легкие дыма бьет тяжелый кашель, да и руки словно ватные. А надо еще и обед готовить.

И только сверхжесткий Венька оставался верен себе. Когда добрались до табора, он, словно на него не давила усталость, споро соорудил небольшое костровище, над которым приспособил треногу, открыл три банки свиной тушенки, забросил в ведро с водой пшено, соль, приправу и теперь прилаживал над огнем огромный прокопченный чайник, который умельцы из поселка сварили специально по его заказу.

Колосков, присев у костра, покосился на Шелихова.

— Ну? — не выдержал Артем. — Чего еще?

Сергея пожал плечами, сполоснул закипевшей водой банку, в которой они заваривали чай, проговорил неуверенно:

— Слушай, может, ты того... зря журналиста на окарауливание оставил? Парень и так гари нахватался...

— Я, что ли, его заставлял? — огрызнулся Артем. — Сам ведь напросился.

— Оно конечно, — согласился Колосков, — но все же...

— Ну и интеллигент ты, Сергей! Аж в ухо иной раз дать охота, — вмешался прислушивающийся к разговору Венька. — Тебе, прямо-таки по натуре твоей дурацкой, не пожарным быть, а детишкам в яслях сопли утирать.

— Угу, — кивнул Колосков. — Поговори еще, пока не схлопотал. Сопли... — обиделся он.

— А чего «угу»? — шивкой привязался к нему Венька. — Кравцов — парень толковый. Хочет все своими руками попробовать. А командир наш чайку щас маханет да подменит его, — закончил тираду Венька. — А, командир? Или, может, я пойду?

— Ну, язва! Все по полочкам расставил, — покрутил головой Артем, принюхиваясь к запаху наваристой каши. — Значит, так, соколики. Я часок покемарю — и на окарауливание. Мужикам тоже отдохнуть надо. А как роса упадет, прощу всех на полосу — давить пожарище будем.

— О! — одобрительно кивнул Венька, повернувшись к Колоскову. — А я тебе чего говорил? Командир наш — что мать родная.

— Болтун — друг шпиона, — пробурчал Сергей, наваливая каждому по полной миске разваристой каши.

— Да ладно тебе, — отмахнулся Венька, добавляя в нее кусок сливочного масла. Он попробовал покрытую желтыми блестками кашу, покосился на масло, словно раздумывая, добавить ли еще кусок, и, увидев, как засмеялся Колосков, повернулся к Шелихову: — Командир, ты бы сказал этому жеребцу, чтоб надо мной не ржал. Сам ведь знаешь, врачи прописали мне масла побольше есть. Зрение, мол; у вас, товарищ Стариков, слабое.

— А насчет языка они тебе ничего не говорили? — поинтересовался Артем.

— Ну, командир, обижает, — осуждающе покачал головой Венька, запуская ложку в кашу.

Выпив со сгущенкой кружку крепко заваренного чая, Артем бросил под спальный мешок предварительно нарубленного лапника, залез в спальник. Натруженно гудели ноги, ныли плечевые суставы, в памяти все еще стояла гудящая лавина огня. Слезились глаза, запорошенные черным жирным пеплом, когда они давили кромку пожарища, таская в резиновых ранцах воду из ручья и заливая прогоревшие пни и наиболее опасные очажки, откуда мог перекинуться через минерализованную полосу огонь. Занудно ныли комары, выискивая местечко, где бы лучше присосаться. Не спалось.

Прислушиваясь к начинающим похрапывать парашютистам, Артем вылез из палатки, разминался, сделал несколько резких движений. Сейчас бы искупаться, благо протока недалеко. Он достал из рюкзака мыло с полотенцем и споро запатал в небольшой распадок, густо поросший березняком, где под закатным солнцем поблескивала небольшая речная заводь. Место здесь было тихое, уютное, и он подумал, что неплохо бы и рыбежки поднатаскать — хотелось угостить

настоящей таежной ухой Кравцова. «А то неудобно как-то получается, — рассуждал Шелихов. — Вторую неделю как парень с нами, а мы даже кетой попотчевать не удосужились».

Спускаясь к воде, Артем решил осмотреть и нижнюю кромку пожара: не дай-то бог очажок где остался. Установится сушь, подует ветерок — и пиши все сначала. Он поднялся чуть вверх по склону — и опить зачернели обугленные стволы деревьев. В отдельных местах все еще курился дымок, и Артем подумал, что неплохо бы доставить сюда лесхозовских на окарауливание.

Цепко схватывая взглядом особо опасные места, взбывая сапогами пепел, он обходил очажки, медленно спускаясь к протоке. Пожалуй, он прошел метров триста, как вдруг все еще дымящееся пожарище стало резко сужаться, клином уходя в заросли лимонника, над которым белели березовые островки, горделиво несли свою крону раскидистые лиственницы. Похоже, что именно в том месте зачался пожар, успевший располосовать чуть ли не весь склон сопки.

Артем заторопился. Теперь-то ясно было, что пожар начался не от разряда сухой грозы — там бы картина была совершенно иная. Выйдя на середину выжженного клина, Артем огляделся: никого и ничего, кроме обугленных деревьев да черного пепла под ногами.

Он прошел еще метров сто, пока не уперся в дальний угол тупого треугольника, который своим основанием уходил строго вверх по склону. Здесь внимательно осметрелся, стараясь найти причину пожара. В одном месте, почти у самой вершины этого страшного треугольника, ему бросилась в глаза огромная лиственница. Поначалу он даже не смог понять, чем же она показалась ему подозрительной, просто интуитивно скорее почувствовал, нежели понял, что именно отсюда пошел пожар. Хоть и стояла она в глубине пожарища, но обгорела больше всех, и уже одно это говорило само за себя.

Видимо, кто-то развел здесь костер и даже не заметил, как занялась огнем подсушенная крона. А долго ли смолистому дереву схватиться страшным пламенем!

Он подошел к лиственнице и вдруг остановился, насторожившись. Под самым корнем чернел залеплен-

ный сажей и копотью глубокий щелистый провал. Вдобавок ко всему здесь устоялся запах, который перебивал даже вонючую гарь. Так сильно могла разить только сгоревшая в огне рыба. Причем не килограмм и не два. И даже не десять.

Появилось ощущение опасности, и он невольно оглянулся. Однако вокруг никого и ничего. Только у протоки трещала болтливая сойка. Видимо, это была хорошо замаскированная землянка, где не только хранили, но и коптили выловленную кету.

Стараясь не провалиться, Артем обошел прогоревшую дыру и, разбросав слой пепла, увидел обозначившиеся контуры массивной дверцы с кольцом. Теперь уже никаких сомнений не оставалось. Надо было только выяснить, не сгорел ли кто в браконьерской землянке.

Артем осторожно откинул дверцу. В лицошибанул смрад сгоревшей рыбы, и он, носком сапога пробуя земляные ступеньки, спустился вниз.

Сверху, из щели, куда вырвался разъярившийся в просторной землянке огонь, падал дневной свет, преломлялся в поднятой копоты, и от этого выжженное нутро землянки казалось каким-то нереальным. Будто запойный художник, набравшийся до красных чертиков, рисовал всколыхнувшуюся в его сознании «натуру».

— Эй... Есть кто живой? — негромко спросил Артем.

Ни звука.

Он осмотрелся еще раз и, стараясь не споткнуться, прошел в затененный угол. К этому времени глаза успели привыкнуть к полумраку, и он смог разобрать наполовину уничтоженное убранство. Неподалеку от него сиротливо чернела жестяная печка «буржуйка»; открытая дверца висела на одной петле. Отсюда и вывалилась головешка, от которой зачался деревянный пол, потом нары, остов которых сиротливо торчал неподалеку, грубо сколоченный стол, рухнувший вместе с вместительным эмалированным тазом, в котором мыли икру. Ну а потом уж схватились прокопченные тушки нетиц, развешанные под потолком. Они-то вместе с досками, которыми был обит потолок, и дали основной огонь, пробивший настил и вырвавшийся наружу. А там пошло-поехало...

В глубокой нише, что темнела у входа, грязной

грудой валялось несколько разбитых бутылей, из которых растеклась темная, схватившаяся корочкой жижа. Артем нагнулся, потрогал пальцем — икра. Видно, дело тут было поставлено на широкую ногу. И улов был богатый. Кто-то просидел здесь не один день.

Удивленно покачав головой, Артем представлял, как хозяин или хозяйка этой землянки ставят на ночь крупноячеистые сети, а утром, сторожко прислушиваясь к любому шуму, выбирают из ячей икорную кету, которая испокон веков идет сюда на нерест. Чтобы рыбинспектора на себя не навести, потрошили рыбу в одном из ручьев, которые, скатываясь с сопок, вливались в протоку.

— Вот сволочи! — изумился Артем, впервые увидевший столь широко поставленное «дело». Он осторожно обошел разбитые бутылки, присел подле обгоревших досок стола, которые рухнули при пожаре с невысоких козел, заменявших ему ножки. Рядом валялись лохнувшие пачки с рассыпанной солью, какие-то банки, видимо, с тушенкой. Сиротливо отсвечивали зеленым стеклом пустые бутылки. Артем поднял одну, смахнул жирную сажу с наклейки, прочитал название: «Волжское». Это было изделие местного производства.

— Перекушали, видно, — пробормотал он и вдруг наткнулся взглядом на вещь, которая заставила его податься вперед. Около рассыпанной пачки соли лежал широкий охотничий нож с грубо выделанной костяной ручкой.

— Ах ты ж... — пробормотал Артем. Все еще не веря, что это тот самый, он рукавом обтер рукоять, и на ней явственно проступили коряво вырезанные буквы — СТЕПАН.

— Ах ты ж!.. — выдохнул Артем, медленно разгибаясь. Теперь он наверняка знал, что это за Степан, оставивший свой автограф в сгоревшей землянке. Он сунул нож за голенище и выбрался на воздух. Пока спускался к протоке, созрело окончательное решение: команде ничего не говорить, а дальше видно будет.

II

Пожар они добились на четвертые сутки, к утру, когда полностью сошла августовская ночная роса и над выжженным склоном сопки ярко высветилось солнце.

До конца измотавшиеся, парашютисты и присланные им в помощь лесхозовские рабочие стащили на очищенную для вертолета поляну парашюты, шанцевый инструмент и прочую «дребедень», без которой не обойдешься на пожаре.

Игорь Кравцов, считавший себя далеко не самым слабым парнем и когда-то довольно-таки неплохо выступавший в полусреднем весе на университетском ринге, с ног валился от усталости и только диву давался, как это у Шелихова хватило сил обежать с наполненным водой ранцем наиболее опасный склон, затушить дымящиеся пни, залить их водой. Сам же он только и смог, что перемотать пленку «Зенита» да сделать несколько кадров пожара, где совсем недавно буйствовал красками этот небольшой кусочек дальневосточной тайги, гнездились птицы, хозяйничали любопытные бурундуки, маслянисто блестели шляпками грибы.

Вертолет прилетел за ними, когда всю грело солнце, были простираны и высушены у костра портянки, парни смыли с себя тягучую, жирную копоть лесного пожара. Колосков с Мамонтовым успели соснуть немного и теперь подкреплялись разогретой на огне тушенкой с черствым хлебом, запивая все это грузинским чаем № 36, которого на прокопченный чайник потребовалось две полные пачки.

Когда погрузились со всем скарбом в гудящую машину и расселись на жестких дюралевых скамейках, на команду навалился тот страшной силы сон, когда совершенно ничего не снится и кажется, что прошедшие полтора часа пролетели как одна минута. И только Шелихов находился в состоянии непонятной полудремы. После того как он обнаружил сторевшую землянку, Артем больше уже ни о чем не мог думать. Самодельный охотничий нож мог принадлежать только его шурина — Степану Колесниченко. Мысли набегали одна на другую, прогоняли сон.

Словно рок какой-то сводил дорожки Степана и Артема Шелихова. Сводил жестоко, расстраивая семейные узы, порождая ненависть, а ведь сколько раз он по-хорошему предупреждал шурина, чтобы тот бросил свое «прибыльное» дело. А вот нет — так и тянет мужика на браконьерство. Ведь и эта землянка не что иное, как умело сделанный таежный схрон, в котором можно накопить центнеры ценной, дорогостоящей

рыбы, припрятать до поры до времени несколько см-ких бутылей красной икры собственного посола. Теперь понятно стало, откуда у Степана появлялись сумасшедшие деньги и он мог заваливать сарай пустой стеклотарой из-под местной «бормотухи», которую величали «Волжским» вином. Видно, какая-то местная сверхумная голова закупила где-то на стороне эту партию этикеток, предназначенную лет на сто вперед, приобщая тем самым любителей «бормотухи» к великим географическим понятиям.

Все это было более чем грустно, и Артем постарался забыться, отсчитывая белых слонов. Однако слоны почему-то были красными, под цвет пожара, он ни о чем, кроме как о своем забулдыге-шурине, не мог думать и поэтому, плюнув на все, решил сегодня же поговорить с ним. Как это будет выглядеть, Шелихов еще не знал, однако надо было что-то делать, чтобы спасти Степана. Все-таки не чужой человек — шурин. Старший брат Татьяны.

Когда вертолет, задрожав всем корпусом, мягко опустился на утрамбованное поле аэродрома и команда выгрузилась из отдающей теплом машины, Артем побежал в диспетчерскую. Вернулся он в кабине грузовика, который, подняв шлейф пыли, лихо затормозил у взлетной полосы. Отдав команду готовиться к погрузке, Артем подошел к Игорю.

— Значит, так. Сейчас вместе с ребятами езжай в поселок, я тут кое-что оформлю и тоже домой. Вечером, как договорились, жди меня в гостинице. — Он подмигнул Кравцову и, хлопнув по плечу Веньку, добавил: — Всем отдыхать сегодня.

Татьяны дома не было. Да и где ей быть в это время, как не на работе, тем более что за прошедшие два года, что она сидела с Маришкой, жена так соскучилась по своим норкам, которых разводило местное промысловое хозяйство, что даже не брала положенные «больничные» по уходу за дочкой, а просила посидеть с ней свою мать, которую Артем величаво называл «Теща с большой буквы». Маришка была в яслях, и Артем, переодевшись в чистое, нырнул в уютную, небольшую пристройку, которые в этих местах уважительно называли «летними кухнями». Соскучившийся по домашней еде, он достал из холодильника большую

желтую кастрюлю с наваристым борщом, картошку с мясом. Удовлетворенно хмыкнув, потер руки, включил электроплитку. Теперь можно было подумать и о предстоящем разговоре со Степаном...

Когда Артем подошел к небольшой, крепко сбитой избе тестя, которую отец Татьяны, не желая особо тратиться, поставил своими руками, завербовавшись на Дальний Восток, во дворе было тихо, и только куры шастали под навесом, роясь в пыли. Дремал, высунув морду из будки, ленивый пес Пират. Он уж было и пасть раззявил, чтобы облаять гостя, однако при виде родственника только зевнул протяжно и опять лениво закрыл глаза.

— Есть кто живой? — крикнул Артем, приоткрыв незапертую сенную дверь.

Никто не отозвался. Артем прошел темные сенцы, нащарил ручку двери, ведущей в горницу.

Ни тестя, ни тещи дома не было. Лишь тяжело храпел Степан, развалившись на кровати. Артем его не видел с весны, когда начались пожары, и теперь удивился отечному, нездоровому лицу шурина. Лежал он на чистом, видимо, недавно матерью стиранном покрывале, раскинув ноги в грязных носках. На груди растегнулась клетчатая рубашка, из-под которой выпирала все еще могучая грудь. Они были все здоровы от природы, родственники Артема Шелихова по женской линии, что его тесть, за которым никто не мог угнаться из вальщиков на лесоповале, что «Теща с большой буквы», что сам Степан, когда он, будучи еще сопливым мальчишкой с незаконченным образованием, мог положить на лопатки любого и каждого в поселковой школе. И только теперь вся улица, на которой обосновался Колесниченко-старший, чуткая, как и все дальневосточные улицы, к чужому горю, удивлялась нахмуренно, как это может тридцатилетний, когда-то здоровый мужик так загубить себя «бормотухой», которую порядочный человек и в рот не возьмет!

Артем подошел к кровати, на которой развалился Степан, толкнул его в плечо. Тот, хмыкнув что-то нечленораздельное, перевернулся на бок. Качнулся настоявшийся в комнате сивушный запах, и повеяло таким третьесортным перегаром необыкновенного «Волжского» вина, что Артем даже закашлялся. Уже не церемонясь, он стащил шурина с постели, тряхнул

за обвислые, когда-то сильные плечи, силком, чтобы тот опять не завалился на кровать, поставил на ноги.

Пожалуй, с минуту Степан каким-то чудом стоял, ничего не понимая, потом его лицо начало приобретать осмысленное выражение, и он уже перестал быть похожим на большого обиженного ребенка, которому в спешке позабыли дать конфетку.

— Ну? — От этого вопроса-выдоха в комнате опять качнулся «плодово-выгодный» перегар, и Степан проплепал заскорузлыми носками к столу. — Чего пришел?

Артем промолчал, с интересом наблюдая, как шурин шарит глазами по залитой вином клеенке, к которой словно прикипели доньшками стакан и две опорожненные бутылки с густым красным осадком. Степан, видно, повял тщетность найти что-нибудь онохмеляющее, от этого еще больше посерел лицом, спросил почти трезво:

— Ну, чего надо, р-р-родственничек? — И слово «родственничек» он произнес с такой ненавистью, что Артем уже в который раз повял: дуболом этот, видно, так ничего и не вынес из их довольно-таки сложных отношений.

— А то, родственничек, — в тон ему ответил Артем, — что я трое суток пожар тушил в двадцать восьмом квартале. Знаешь, где это? — медленно, втягивая спросил он, увидев, как стрельнул по нему взглядом Степан. — Могу напомнить для ясности: протока Дальняя.

В комнате стало тихо.

— Почти весь склон выгорел, — все так же негромко сказал Артем. — Благо, до этого дождь прошел да ветра не было... Так что ставлю твое сучье преподабие в известность — пожар был низовой, глубокий и начался он от твоей землянки, потянувшись вверх по сопке.

— К-какой землянки? — окончательно протрезвев и зашарив руками по карманам брюк в поисках папирос, выдавил из себя Степан.

— А той, где ты кету коптил да икорку солил.

Наконец-то Степан нашел помятую пачку «Беломора». Хоть руки и дрожали, но он сумел все-таки закурить, жадно затянулся и, зашедшись кашлем, долго

стучал себя по груди, прежде чем выдавил, выркнув глазами по Шелихову:

— Совсем, что ли, охренел на пожарах? Я уж и не помню, когда рыбу ел в последний раз.

— Ну-ну, — кивнул Артем, доставая из кармана завернутый в тряпку нож с обгоревшей рукояткой из оленьего рога. — Такие вещи, р-р-родственничек, даже дуракам оставлять не положено.

Шурин невольно скосил глаза на самодельную финку, опустился на смятую кровать. Потемневшее от огня слово СТЕПАН четко выделялось на полуобгоревшей кости.

Молчал он долго, то затягиваясь папиросой, то начиная шарить в поисках спичек. Несколько раз пытался что-то сказать, но только вскидывал голову со свалившимися путами нечесанных волос и опять туго смотрел в дощатый пол. Наконец Степан разжал зубы, спросил:

— Посадить хочешь?

— Дурак, — устало сказал Артем и добавил: — А вообще-то, если честно говорить... Ну, чего уставился? — вскинулся он. — Сиди, а то враз рога обломаю. С меня не заржавеет.

Степан опять обвис плечами, сунул «бычок» в переполненную окурками банку из-под рыбных консервов. Хотел было закурить опять, как вдруг его лицо исказила гримаса.

— За что ты меня так?..

— За что? — Артем встал, подошел к окну, распахнул его настежь и только после этого повернулся к шурину: — За то, что землю как сука тончешь! За то, что мать и отца поганишь!

— Тебе-то что? — осклабился Степан. — Или боишься сам замачкаться?

— Ну и скот же ты!.. — вздохнул Шелихов — А впрочем, разговор такой был уже. Так что хватит лясы точить.

Степан кивнул, будто еоглашаясь, долго, очень долго пытался прикурить, одну за другой обламывая спички, наконец ему это удалось, он затянулся жадно, бросил как бы вскользь:

— Правильно ты все сказал, р-р-родственничек! хватит лясы точить. Так что давай ар-р-рестовывай. Глядишь, по твоей собачьей милости, пятерик судья подбросит...

— Дурак, — устало сказал Артем. — И вот тебе мой совет. Пропись, а завтра с утра вали в милицию и во всем признайся. Глядишь, и не посадят..

Видимо окончательно протрезвевший, Степан как на безнадёжно больного посмотрел на Артема.

— Что ж я — дурак, сам на себя петлю надевать?

— Ну, как знаешь, — пожал плечами Артем. — Однако там ещё лесхозовские на окарауливание остались и, возможно, тоже наткнутся на твою землянку. Так что если меня спросят — молчать не буду.

III

Локомотив сбросил скорость, мимо окон прошли столбы с непонятными пассажирам номерами, остались позади пристанционные строения, веером разбежались отполированные до блеска разъездные пути. Наконец состав лягнул буферами, протаялся вдоль высокой платформы и остановился, выпуская из дверей суровых проводников — большей частью женщин. Станция Кедровое.

Верецагин дождался, когда проводница закрепит верхнюю, откидную ступеньку, и сошел на перрон. В руках он держал объемистую спортивную сумку, с какими обычно ездит командированный народ, и черный, с блестящими металлическими ободками и номерными замочками «дипломат». Верецагина никто не встречал, и, справившись у маячившей неподалеку дежурной, как лучше проехать к центру, он легко зашагал к автобусной остановке.

Настроение у следователя краевой прокуратуры Петра Васильевича Верецагина было превосходное. Ему только что исполнился возраст Иисуса Христа, а когда в тридцать три года ты строен, по-военному подтянут, модно, по не броско одет — от всего этого может подняться настроение даже у бирюка, а Верецагин никогда не был им.

Районные власти, как тому и положено быть, находились на центральном «пяточке». Райком партии, комсомол, народный контроль и райисполком помещались в трехэтажном кирпичном здании. Чуть справа, на дверях бревенчатого дома, обшитого «вагонкой», матово-поблескивала вывеска прокуратуры, напротив — райотдел УВД СССР. Верецагин постоял немного

го, раздумывая, куда ему поначалу идти: в прокуратуру или к одноэтажному приземистому особняку с резными наличниками, и свернул к милиции. В первую очередь следовало познакомиться с заместителем начальника по уголовному розыску майором милиции Грибовым.

Грибов был на месте. Увидев на пороге кабинета незнакомого щеголеватого мужчину с шикарным «дипломатом» — сумку Верещагин оставил у дежурного, — он оторвался от какой-то схемы, которую старательно вычерчивал на листе бумаги, поднялся навстречу гостю.

— Верещагин, если не ошибаюсь?

— Да. Петр Васильевич.

— А я — Василий Петрович. — Он крепко тряхнул руку следователю и тут же спросил: — Что ж с вокзала не позвонили? Мы бы встретили.

— Пустое, да и размяться хотелось, — отмахнулся Верещагин и оценивающе, но так, чтобы этого не заметил майор, окинул его взглядом. Заместитель начальника по уголовному розыску, в отличие от следователя прокуратуры, был излишне грузен, пожалуй, лет на десять старше его, немного лысоват, и если бы не большие, почти квадратные кисти рук, на которых синели наколки, выдававшие в майоре бывшего моряка, его можно было бы вполне отнести к разряду чеховских героев, которые за двадцать лет спокойной работы до дыр просидели штаны, обзавелись садиком, огородом и кучей детишек, а по воскресным дням ходят играть в карты к точно такому же соседу.

— Кстати, — спохватился майор, — а вы что... с одним только дипломатом?

— Да нет, просто неудобно как-то было вваливаться с вещами. Я сумку у дежурного оставил, — улыбнулся Верещагин, которому сразу же, правда непонятно чем, понравился этот полноватый для своих лет милицейский майор.

— Где думаете остановиться? — спросил Грибов. — В гостинице или в служебном помещении?

— В гостинице. И если можно, то в том же номере, где жил журналист Кравцов.

— Хорошо. Тем более что комната до сих пор опечатана. Как он там, кстати? Наши-то поселковые врачи только руками развели, когда его в больницу доставили. Вот и пришлось переправлять в город.

Верещагин вздохнул.

— Вчера я разговаривал с главврачом. Тяжелое ранение в голову, до сих пор в сознание не приходил. Правда, операция прошла нормально.

— А мы вчера Шелихова хоронили, — как-то очень тихо сказал Грибов. — Замечательный был парень...

Верещагин внимательно посмотрел на майора. Он еще не знал, что собой представляет убитый несколько дней назад Артем Никанорович Шелихов, и если бы не столь тяжкое ранение столичного журналиста, вряд ли он был бы здесь. На это есть районная прокуратура, которая и должна вплотную заняться убийством.

— Как думаете сегодняшним днем распорядиться? — спросил Грибов. — Может, сначала в гостинице устроитесь?

— Да нет, — мотнул головой Верещагин. — Давайте съездим на место происшествия, введете меня в курс дела, затем надо будет собрать следственно-оперативную группу, наметим план дальнейших действий, а потом уж и в гостиницу.

— Хорошо, — согласился майор и, сняв телефонную трубку, вызвал машину.

Верещагин попросил, чтобы они проехали той дорогой, которой, предположительно, шли Шелихов с Кравцовым в трагический для них вечер. Грибов что-то сказал шоферу, молоденькому, видимо сразу после «дембеля» пришедшему в милицию парню, с чуть раскосыми глазами, выдававшими в нем аборигена этих мест. Тот кивнул, и газик запылил вдоль центральной поселковой улицы, направляясь к темнеющему вдалеке лесу, за которым расположился местный аэродром с небольшим, в несколько домов, поселком, где жили причастные к летному делу люди. Там, в осиротевшей без хозяина избе, замкнулась в непоправимом горе и Татьяна Шелихова. Вдова, которой едва перевалило за двадцать.

— Дежурная, — рассказывал Грибов, — показала, что из гостиницы они вышли что-то около десяти вечера. Кравцов еще сказал, что проводит немного товарища и тут же вернется. Попросил, чтобы она входную дверь не запирала.

Милицейский «газон» тряхнуло на рытвине, замолчавший было майор чертыхнулся, змуро покосился на

покрасневшего паренька с ефрейторскими лычками на погонах, опять повернулся к следователю.

— Дежурная также говорит, что Артем пришел к журналисту где-то около семи вечера. Он еще поздоровался с ней. Потом они спустились в гостиничный буфет. Выйдя оттуда, попросили у нее чайник и пару «приличных», как она сказала, стаканов и поднялись на второй этаж в номер Кравцова. Буфетчица подтвердила, что они взяли у нее отварную курицу, две бутылки минеральной воды и пачку грузинского чая.

— Это что, нечто прощального ужина? — спросил Верещагин.

— Как вам сказать... — пожал плечами майор. — Оказывается, Кравцов вместе с парашютной командой Шелихова был на последнем пожаре, видно, не все успел записать, и лично я предполагаю, что Артем пришел в гостиницу по его просьбе, чтобы доработать материал. Об этом, кстати, говорят и записи Кравцова с внесенными исправлениями, видимо сделанные в этот последний для Артема вечер.

Концовку фразы майор милиции Василий Петрович Грибов сказал как-то очень уж лично, и Верещагин невольно посмотрел на него.

— Что, вы хорошо знали Шелихова?

— Хорошо, — коротко ответил тот. Помолчал немного, потом добавил: — Я как-то книжку читал о комсомольцах. Так вот оттуда мне в душу фраза одна задала: «Такие люди, как Евгений Столетов, не должны умирать». И кажется мне, что сказано это об Артеме. Такие люди, как он, не должны умирать.

— Почему?

Василий Петрович молчал какое-то время, словно обдумывая ответ, потом сказал в настороженную тишину кабины:

— Мне трудно на это ответить, но если бы у меня вырос такой сын, как Артем, честное слово, я мог бы со спокойной совестью умереть — не зря, значит, с женой на этом свете прожили.

За окошком «газона» промелькнули окраинные домишки райцентра. По сторонам потянулся жиденский лесок, потом деревья стали толще, промелькнула березовая рощица, и, наконец, дорога пропала в густой тени кедровника, чудом сохранившегося среди прежних порубок. Водитель сбросил газ, проехал еще метров двести и остановил машину около дерева. Трава в

этом месте была покрыта темно-бурыми пятнами, которые уводили в темноту бора.

Кедровник был густой, деревья вековые, в несколько обхватов, и поэтому неудивительно, что за любым из них мог совершенно свободно притаиться человек, стрелявший в Шелихова.

Кивнув Верецагину, чтобы тот следовал за ним, Грибов прошел метров сорок в глубь кедровника, остановился около двух свежесрубленных вешек.

— Вот здесь утром на следующий после убийства день шофером аэродромной службы был найден труп Шелихова. Стреляли из-за кедра, с расстояния в двадцать метров. Гильзы обнаружены. Первым выстрелом ранили в грудь, а когда Артем упал, добились выстрелом в затылок. В упор. Затем потащили в лес...

Верецагин, внимательно слушавший Грибова и ценко схватывающий каждую деталь, спросил, перебивая майора:

— Где в это время мог находиться Кравцов?

— Кравцов... — заместитель начальника по уголовному розыску задумчиво почесал переносицу, словно именно в ней заключался ответ на этот вопрос. — Кравцов... Воспроизводя момент совершения преступления, можно предположить, что журналист, проводив Артема, распрощался с ним где-то недалеко отсюда и пошел обратно в гостиницу. Потом он, видимо, услышал выстрелы, может быть, крик Шелихова и побежал обратно. В том месте, где был убит Шелихов, он увидел кровь. — луна в тот вечер была полная, — след волока и бросился в лес, видимо надеясь спасти Артема. Наткнулся он на него в этом вот самом месте и... по всей вероятности, услышав шум убегающего человека, бросился за ним. Ранили Кравцова в ста тридцати семи метрах отсюда, причем стреляли почти в упор. В голову. Затем стрелявший перевернул парня на бок, видимо подумал, что тот мертв, вернулся к Шелихову, густо обсыпал все вокруг махоркой, перемешанной с молотым перцем, и скрылся в неизвестном направлении.

— Собаку пробовали пустить по следу?

— Безрезультатно.

— Куда выходит кедровник?

— Наружная часть тянется вдоль дороги, что ведет к аэродрому, дальше его пересекает шоссе, ну а потом — тайга.

— Значит, преступник мог быть и не поселковым?

— Да. Только откуда он мог знать, что именно в этот вечер Шелихов будет возвращаться этой дорогой домой? Вот в чем вопрос.

Подминая просохшую от прохладной почной росы траву, подошли к тому месту, где был найден раненый Кравцов. Здесь тоже были воткнуты две вешки — одна в голове, другая в ногах. Кедровник в этом месте сгустился окончательно, и Верецагин, сам в прошлом офицер-пограничник, списавшийся «на гражданку» по ранению в легкое, невольно подивился мужеству парня, бросившегося в погоню за преступником, который буквально за несколько минут до этого застрелил Шелихова.

— Из поселка к аэродрому автобус ходит? — спросил Верецагин.

— Ну а как же! — ответил майор. — Рейсовый.

— Интервалы большие?

— Днем — час, а после семи — и того реже.

— А в тот вечер?

— Последний ушел в двадцать один тридцать.

— Значит, этот некто абсолютно точно знал, что Шелихов из гостиницы вышел поздно и будет возвращаться домой пешком, — рассуждал вслух Верецагин. — Откуда он это мог знать?

— Вариант один. Убийца ждал Шелихова на конечной остановке. Когда подошел последний автобус, убедившись, что Артем еще в гостинице, он доехал на нем, скажем, до предыдущей остановки, прошел до этого места и здесь поджидал Шелихова. Уже опрошены кондукторша и водитель. Сейчас ведется опрос тех пассажиров, которых они сумели назвать.

— Хорошо, — согласился с действиями Грибова следователь и спросил на всякий случай: — А возможность попытки ограбления?

— Вряд ли. С Шелихова и Кравцова не сняты даже часы. А у журналиста к тому же в кармане пиджака лежало редакционное удостоверение с двумя сотенными ассигнациями. Да и добывать грабители не стали бы.

— Это уж точно, — кивнул Верецагин и тут же спросил: — Вид оружия установлен?

— Установлен, — вздохнул Грибов. — Этот гад так спешил, что даже не удосужился гильзы собрать. Не-

бось думаете, наш ТТ, наган или «макаров»? Как бы не так, «вальтер»... Образца тридцать восьмого года.

— «Вальтер»? — вскинул на майора удивленные глаза Верещагин. — Случаем, не ошиблись?

— Да нет, — хмуро ответил Грибов. — Я эту немецкую штучку прекрасно знаю.

Неплохо знал «вальтер» и сам Верещагин. Один из лучших пистолетов в мире, укороченный вариант которого выпускался специально для гестапо. Восьмизарядный, весом чуть меньше килограмма, длина ствола 212 миллиметров. Патрон выбрасывается на левую сторону, вверх. Один из многих отзвуков войны, хотя до сих пор находится на вооружении в бундесвере.

Номер, в который поселили Верещагина, почему-то назывался «люксом», и, видимо, поэтому здесь на правах столичного корреспондента жил Игорь Кравцов. Сразу же от двери направо, на перегородке, которая отгораживала основную комнату от тесной прихожей, висел умывальник, поверх которого мутно блестело треснувшее зеркало. Жильцы всех остальных номеров умывались на первом этаже этого двухэтажного деревянного строения, носившего гордое название ГОСТИНИЦА. Сразу же за перегородкой громоздился трехстворчатый шкаф, за ним — деревянная кровать, аккуратно заправленная покрывалом. Интерьер дополнял стол и телевизор с антенной-рогаткой, напротив которого стояло небольшое кресло.

Здесь было все точно так же, как и в тот трагический вечер, когда убили Шелихова и выстрелом в голову ранили хозяина вот этих вещей, которые лежали на небольшом письменном столе, что уютно приткнулся к окну. На спинке стула висел гэдэеровский спортивный костюм — точно такой же недавно приобрел Верещагин. И видимо, из-за этого костюма он вдруг увидел в Кравцове не абстрактного человека, который на грани жизни и смерти лежит сейчас в краевой больнице, а живого парня, за которого бились врачи.

Верещагин еще не знал, с чего начнет расследование, и поэтому так важно было познакомиться с Кравцовым хотя бы через его вещи. Правда, насколько он мог предположить, журналист оказался всего лишь случайным свидетелем убийства Шелихова, попытался задержать убийцу и...

Верецагин представил, как вот здесь, на этом самом стуле, сидел Кравцов и делал записи на разноцветных листах бумаги, которые аккуратной стопочкой белели на краю стола. Рядом лежали две шариковые ручки, несколько карандашей и ученическая точилка, которую Кравцов, видимо, возил с собой. А чуть сбоку от стола, в кресле, сидел Шелихов и, отпивая из граненого стакана чай, что-то рассказывал журналисту. Эх, если бы они знали, чем кончится тот теплый августовский вечер...

Повесив в шкаф пиджак, где на плечиках висели ветровка и несколько рубашек Кравцова, Верецагин ополоснул под умывальником лицо, руки и, вспомнив, что в гостинице есть буфет, спустился вниз. Однако общепитовская точка районного масштаба в дневные часы не работала, исходя, видимо, из того, что командированные, живущие в гостинице, с десяти утра до семи вечера должны заниматься своими непосредственными делами, а не отлеживать бока на мягких кроватях и отнимать время у буфетчицы.

— Ясно, — хмыкнул Верецагин, соображая, где же ему придется столоваться в воскресный день, если все общепитовские точки последовали этому примеру.

— А она щас закрыта, — неожиданно раздался голос за спиной.

Верецагин обернулся — перед ним стояла пожилая женщина с ведром и шваброй в руках.

— Да уж вижу, — кисло улыбнулся Верецагин, ощущая, как его начинает одолевать голод.

С ходу проанализировав его состояние, добросердечная тетка посоветовала:

— А вы в столовку сходите. Вона она, через дорогу, у райкома. — Однако тут же спохватилась: — Ах нет, милок. Тоже щас закрыта. Теперича в пять откроется. Люди кончают работать, она и открывается. А еще — утром, когда завтракают. И в обед.

— Спасибо, мать, — отозвался Верецагин. Знал бы такое дело, хоть бы консервов каких с собой прихватил, а тут... Щелкай теперь зубами. Хорошо еще, хоть кипятыльник с заваркой взял. — А у вас водички питьевой можно набрать? — попросил он.

— А чего ж нельзя, — охотно отозвалась тетка. — Вона, в кубовой, бачок стоит. Из его и бери.

Вскипятив воды в кружке, Верецагин заварил чай и, встав со стола несколько исписанных страниц, сел в кресло. Почерк у Кравцова был прыгающий, неровный, однако, несмотря на это, читалось легко, без обычного напряжения, когда просматриваешь написанное от руки. Верецагин отхлебнул глоток, поставил стакан на край тумбочки, сказал тихо:

— Прости, Кравцов, что читаю без твоего ведома, но сам понимаешь, служба такая. Да и познакомиться с тобой поближе надо. «Черемша», — прочитал он. — Ну что ж, давай, друг, через нее знакомиться.

«Черемша, — ложились на бумагу неровные буквы, — популярный вид дикого лука, широко распространенный на ДВ. Черемша, или охотский лук, — ценное пищевое и лекарственное растение. В ее луковичках и молодых побегах содержатся белки и углеводы, но основная ценность черемши в том, что она богата витамином С. В этом отношении она равноценна лимонам, апельсинам и зрелым помидорам. Фитонциды, выделяемые черемшой, убивают болезнетворных бактерий. Видимо, неспроста старинное латинское название черемши «аллиум викториалис» означает «лук победоносный».

— Интересно, — хмыкнул Верецагин, любивший черемшу во всех видах, однако даже не подозревавший, что ее могли знать бог знает где в далекую старину и даже дали ей такое точное название. Он был убежден, что растет она только на Дальнем Востоке да еще на Байкале.

Верецагин допил стакан и, чем дальше читал записи Кравцова, тем большим уважением проникался к нему как к журналисту. Несмотря на молодость — парню всего лишь двадцать шесть лет — и явную нехватку опыта, он умел схватывать главное.

Отложив прочитанный лист, Верецагин взял следующий, пробежал его глазами. Здесь шли отрывочные записи, относящиеся непосредственно к воздушным пожарным.

«Авиапожарная служба расчленяется на парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Руководство пишет письма в авиадесантные части, чтобы после «дембея» к ним приезжали парни».

«Инструктор. Чтобы стать им, надо сначала 2—3 года отпрыгать обычным парашютистом. Минимум 50—80 прыжков».

«Обязанности инструктора:

на пожаре он является руководителем тушения пожара;

обязан узнать причину и, если обнаружен непосредственный виновник, составить акт».

— Составить акт... — повторил Верещагин, задумавшись.

Солнце давно уже катилось на закат, и теперь его лучи пробивали серое от пыли окно «люкса». Стало теплее, уютнее, и Верещагин подумал невольно, что Кравцов именно после обеда садился за этот вот письменный стол, предусмотрительно поставленный сюда администрацией гостиницы. По своему опыту Верещагин знал, что в таких номерах народ обычно останавливался деловой, имеющий дело с многочисленными бумагами, оттого с чьей-то легкой руки и стали ставить в них не тумбочки, а именно письменные столы, в ящики которых и бумагу можно положить, и разную документацию.

— Составить акт... — опять повторил он заинтересовавшую его фразу, наспех записанную Кравцовым. Шелихов же был как раз тем самым инструктором парашютной команды, о которой собирался писать московский журналист. И убит он был не по пьяной лавочке, не в уличной драке, а из-за угла. Причем для верности добились выстрелом в затылок. Одно это говорило о многом. Видимо, кому-то очень сильно помешал этот самый Шелихов, вот его и подкараулили на лесной тропе.

Хоть и была эта версия малоубедительной, уж очень не вязалась жестокость расправы с тем наказанием, что несли виновные в пожаре, однако Верещагин все-таки достал из «дипломата» блокнот, взял со стола шариковую ручку Кравцова и, немного подумав, записал: «Установить людей, которые были наказаны по актам Шелихова. Возможная версия — месть».

IV

Разбудил Верещагина его постоянный попутчик в командировках — небольшой плоский будильник «Электроника-2». Он потянулся, прогоняя остатки сна, сдвинул одеяло набок, по привычке сделал несколько круговых движений ступнями. Прикрыв глаза, пред-

ставил, как набирает стремительный разбег кровь, расслабился на минуту и, спружинившись, резко бросил себя с кровати.

Быстро побрился, покрутился перед мутным зеркалом, причесываясь, и, когда окончательно привел себя в порядок, вышел в коридор, где уже сновал приезжий люд, забывая очередь к умывальникам, которые висели в комнате с громким названием ДУШЕВАЯ.

Он не стал сдавать ключ администратору, а напрямиком направился в столовую.

Меню было небогатым: рисовая каша на молоке, остатки вчерашних щей да необыкновенной жирности утка с тушеной капустой. Правда, были здесь еще и оладьи с яблочным джемом, свежееиспеченный запах которых буквально обволакивал просторное помещение.

Щи и капусту с куском утки Верещагин тут же исключил из своего рациона, а вот три порции оладий взял охотно. Хорошо бы еще сметанки сюда, но она, как объяснила внушительных размеров женщина в белом халате, кончилась еще вчера в обед и будет не раньше чем к вечеру. Верещагин сказал «спасибо» и, свалив все три порции в большую тарелку, прошел к свободному столу у окна.

Теперь можно было подумать о предстоящем разговоре с Курьяновым, летчиком-наблюдателем местного авиаотделения, под руководством которого все эти годы тушил пожары Артем. Он смог дозвониться Курьянову только под вечер, и тот обещал ждать следователя у себя в авиаотделении.

Верещагин уже заканчивал завтрак, когда в очередной раз хлопнула входная дверь и проем заслонила фигура Грибова. Майор окинул взглядом редких в утренние часы посетителей столовой, кому-то кивнул, поздоровался с невысоким парнем в защитной энцефалитке, какие обычно носят геологи, и, отыскав глазами Верещагина, неторопливой походкой подошел к столу.

— Утро доброе, Петр Васильевич, — поздоровался он, выдвигая стул. — А я в гостиницу зашел, смотрю — нет. Значит, думаю, завтракаете. Как блины-то наши? — кивнул он на остатки сдобренных джемом оладий.

— Нормально, — улыбнулся Верещагин, вставая навстречу майору. — Может, взять порцию? А то небось впервые здесь?

— Ну, не то чтоб впервые, — отозвался Грибов, — однако, конечно, больше дома питаемся.

Оба засмеялись, но за этим невеселым смехом про- скальзывала неприкрытая озабоченность навалившим- ся делом.

— Да вы завтракайте, не обращайтесь внимания, — сказал Грибов, усаживаясь на колченогий стул. — Я чего зашел? Может, машину вам дать?

Верещагин пожал плечами, допил остатки чая, по- искал глазами бумажные салфетки на столе, но так как здесь о таковых только слышали, достал из внут- реннего кармана платок в крупную синюю клеточку.

— Спасибо, Василий Петрович. Только я уж авто- бусом. Хочу в эту самую дорогу вжиться. А вот вече- ром, чуть раньше того времени, когда ушел последний рейсовый автобус, давайте туда на машине проедем.

— Все-таки думаете, что возможен вариант ошиб- ки? И тот, стрелявший, ждал кого-то другого?

— На нынешнем этапе расследования надо отрабо- тывать буквально все, — чуть жестче обычного ответил Верещагин, поднимаясь с места. — Ну что ж, спасибо дому сему, — сказал он, убирая со стола посуду.

Прямо над входом висел диковато оформленный местным художником плакат, на котором, подобно го- товой рухнуть Пизанской башне, громоздилась гора кривобоких тарелок и высоченными красными буква- ми было выведено два слова, от которых хотелось спрятаться и больше никогда в жизни не заходить в эту точку общепита: «ПОЕЛ — УБЕРИ!!!»

Небольшой автобус по маршруту Кедровое — Аэро- порт — Кедровое ходил точно по расписанию. По край- ней мере, как смог убедиться в этом Верещагин, в утренние часы. Свежевымытый, поблескивающий в утренних лучах не успевшими еще запылиться на про- селочных дорогах боками, он как бы олицетворял изы- щество местного сервиса.

Заплатив молоденькой кондукторше десять копеек, Верещагин сел по левую сторону, у окна. Сзади него разместилась немолодая женщина с чемоданом; у от- крытой двери, не особо-то спеша занимать место, до- куривали мужики, лениво перебрасываясь отрывочны- ми фразами. Все были при своих заботах, мужики эти, видимо, имели какое-то отношение к местному аэро-

дрому, и мало кого, видать, занимали заботы следователя краевой прокуратуры.

Однако Верещагин ошибся. Когда остался позади автобуса крайний дом и дорога нырнула в лесок, мужики притихли, все как один повернулись влево, кто-то сказал:

— Такого парня...

А кондукторша добавила:

— Татьяна его аж черная с лица стала...

Она замолчала, пронесшийся навстречу грузовик взметнул шлейф пыли, и больше никто не проронил ни слова.

Кедровское авиаотделение охраны лесов пряталось за плотной стеной березняка, чуть в стороне от аэродрома, на взлетном поле которого, безвольно опустив лопасти, стояли два вертолета да грелась под августовским солнцем «аннушка», подле которой копошились две фигурки в темных комбинезонах. «Механики колдуют», — определил Верещагин и зашагал к высокой вышке-тренажеру, взметнувшейся над зеленым пологом берез.

Огороженное штакетником хозяйство Курьянова Верещагину приглянулось сразу же. Прямо от выкрашенной в зеленый цвет калитки в глубь просторного участка уходил на совесть набранный деревянный настил, упирившийся в приземистый дом, обшитый чуть обожженной «вагонкой». Над ним раскинула усы мощная антенна. Выглядывал торец двухэтажного просторного бревенчака, украшенного замысловатой резьбой. А чуть в стороне желтели надежно сбитые хозяйственные постройки. Далее виднелась волейбольная площадка с натянутой сеткой, два турника и несколько нар гимнастических брусьев.

«Как на погранзаставе», — уважительно подумал Верещагин. Ему еще не доводилось встречаться с людьми, которые тупят лес, но, видимо, физическая подготовка была у них не на последнем месте.

Откинув крючок, он вошел в калитку, осмотрелся. Двор был большой, просторный, засеянный сочной зеленой травой. К каждому строению был проложен деревянный настил, и Верещагин подумал с уважением, что такое добротное отношение к месту своей работы далеко не везде встретишь. Даже обязательный «до-

миношный» стол, за которым лениво играли в шашки двое парней, был сколочен на славу.

— Мужики, как бы мне Курьянова найти? — окликнул парней Верещагин.

Оба подняли голову и с вальяжной ленцой кивнули в сторону антенны.

— Вона, в диспетчерской, — отозвался белобрысый. — Сводку передает.

— Спасибо, — невольно улыбнулся Верещагин, увидев развалившегося на скамейке огромного кота, который идеально дополнял эту картину утренней неги, когда люди, знающие себе цену, могут так вот запросто перекинуться в шашки или в то же домино, зная, если они понадобятся — позовут.

Летнаб Курьянов заканчивал передавать сводку, когда в дверном проеме выросла фигура Верещагина. По ладно скроенному костюму, ловко сидевшему на вошедшем, «дипломату» да и вообще по чему-то неуловимому летнаб сразу определил в нем того самого следователя, с которым вечером говорил по телефону, и, кивнув на стул, сказал:

— Извините, сейчас кончаю.

— Ничего, ничего, — успокоил его Верещагин, осматриваясь.

Сухо потрескивала рация, громоздившаяся на столе, запашистым домашним теплом отдавал беленый бок печки, на стене висела испещренная красными и синими полосками карта. «Краевая», — отметил про себя Верещагин. На окнах белели чистенькие занавески. Ничего лишнего, а уют был домашний.

Курьянов наконец-то закончил передавать данные, выключил рацию, устало повернулся к следователю.

— Пожары одолели, август. А тут такое...

По возрасту он был чуть старше Верещагина, но то ли излишняя мужиковатость старила его, то ли он не мог оправиться после гибели Шелихова, однако на вид ему можно было дать все сорок пять.

— Да чего ж мы... Не познакомились даже, — вдруг спохватился он. — Кирилл Владимирович, — чуть приподнявшись на стуле и жестко стиснув ладонь Верещагину, представился Курьянов. — Летчик-наблюдатель. — И тут же спросил: — Чаю попьете? Крпенького.

— Если только за компанию, — согласился Верещагин. — Вообще-то, я уже завтракал.

— Ну и зря, — неожиданно констатировал этот факт летнаб. — Мои ребята вас ушницей бы свежей попотчевали. А уж чай со сгущенкой всегда найдется. Так что имейте в виду на будущее.

Курьянов прошел в сени, потрогал чайник и, убедившись, что из этой водички ничего уже не получится, сунул туда мощный кипяtilьник с черной пластмассовой ручкой. В приоткрытую дверь Верецагин видел, как он достал из небольшого настенного шкафа пачку чая, засыпал его в эмалированную кружку и, когда забулькал кипятком, круто заварил и поставил на плиту «доходить».

Наблюдая за этими манипуляциями, Верецагин невольно вспомнил погранзаставу, зимнюю промозглую стылость, когда он возвращался с участка и точно так же колдовал над заваркой. Видно, люди, исполняющие настоящую мужскую работу, в своих непривычных привычках очень похожи друг на друга, и это объединяет их.

— Кирилл Владимирович, как вы думаете, кто мог убить Шелихова? — спросил Верецагин, когда Курьянов, сделав очередную ходку в сенцы, принес оттуда чайник, два стакана, сахар, поставил на стол обернутую в старенькое вафельное полотенце кружку с заваркой.

Летнаб развел руками:

— Убей бог — не знаю...

— Но, может, хоть предположение какое есть? Ведь не могли же просто так, забавы ради, подстеречь человека, а потом добить его выстрелом в затылок.

— Не могли, — согласился Курьянов, — однако сказать вам что-либо толковое не могу. Я уж и сам перебрал в уме всех кого можно, но... — развел он руками, — никого не могу хоть чем-то выделить. И в то же время... — Он замолчал, словно раздумывая, стоит ли говорить об этом, пожал плечами, потом сказал, будто убеждая себя в чем-то: — Да нет.

— И все-таки?

— Понимаете, — отставив кружку, сказал Курьянов, — не для всех удобным человеком был Артем.

— Это как? — не понял Верецагин.

— Да как бы вам объяснить... По мнению некоторых, он «слишком правильный и принципиальный», чтобы устраивать всех и каждого.

Верещагин невольно отметил, что Курьянов говорит об убитом в настоящем времени, — значит, не смирился еще со смертью Шелихова.

— Ну а конкретно, в чем это выражалось?

— В чем, спрашиваете? Да вот хотя бы это. — Курьянов достал из стола потрепанную газету.

«Комсомольская правда», — отметил Верещагин, пока летнаб переворачивал газетный лист.

— Почитайте-ка, — ткнул он пальцем в верхний правый угол на развороте.

«Бульдозером по жемчужине», — прочел Верещагин заголовок, под которым черными буквами было набрано: «Уникальной драгоценностью Сибири называют кедр. Но сколько его гибнет на ударных стройках из-за бесхозяйственности и равнодушия». Статью писал какой-то Е. Черных.

Верещагин пробежал глазами два газетных столбца, невольно остановился на фразе: «Ведомственность — главный бич сибирской тайги. Еще многих, видно, убаюкивает фраза, что мы — хозяева самых больших на планете лесных богатств. Но потребности народного хозяйства страны в древесине уже не обеспечиваются. И в такой ситуации пускать пихтачи, ельники под нож бульдозера — преступление».

Дочитав до конца, Верещагин положил на стол газету, вопросительно посмотрел на Курьянова.

— Злободневно, но при чем здесь Шелихов? — спросил он.

Летнаб кивнул утвердительно.

— Значит, согласны, что вопрос этот — не мелочевка?

— О чем разговор...

— Так вот, не знаю я, что именно дало первоначальный толчок этому самому Е. Черных для статьи, но дело в том, что еще в прошлом году Артем писал в «Комсомолку» о подобных фактах.

— Н-не понимаю, — честно признался Верещагин. — От вас до Сибири — два лаптя по карте, при чем здесь Шелихов?

— Сейчас объясню, — устало сказал Курьянов, глотнув вяжущего своей горечью чая. — В прошлом году это было, к осени ближе. В Сибири пожары пошли, тамошние авиабазы не справлялись, вот и подбросили им парашютистов из других областей. В том числе и команду Шелихова. Что-то с полмесяца они

там пробыли. Вернулись — не узнаю ребят. Злые как черти! А Венька Стариков, так тот вообще прямо с заявлением ко мне приперся. А в нем, не поверите, черным по белому написано: «Требую освободить меня от работы, так как больше такой бардак терпеть не намерен». И на целую страницу приколота объяснительная, которая начинается словами: «Копия в Совмин СССР». Ни больше ни меньше.

Он улыбнулся, вспоминая, видно, Венькину объяснительную записку, покрутил головой.

— Вы знаете, я бы до этого не додумался. И не потому, что меньше этих ребят за лес болею, нет. Просто в них гражданственности больше. А мы уж к некоторым вещам притерлись как-то...

— А что в записке-то было? — заинтересовался Верещагин.

— В записке? Да примерно то же самое, что и в газете, только в переводе на Венькин стиль. Ну, я заявление в стол положил, вызываю Артема. В чем, мол, дело? А тот спокойно так и отвечает: «Венька, конечно, дурак, что из-за каких-то долбаков уходить собрался, да и не отпущу я его. А вот все то, что он изложил, в сути своей верно». Потом помолчал, вот здесь он как раз сидел, и добавляет этак нехотя: «А вообще-то, Кирилл, я нечто подобное в «Комсомолку» отправил».

В сенях хлопнула дверь, и в диспетчерской появился хмурый парень. Он помялся на пороге, откашлялся.

— Владимирыч, — наконец сказал он, — может, мы домой пока смотаемся? Все равно ведь вертушку только после обеда дадут.

— Шуруйте, — разрешил летнаб и, когда парень вышел, сказал: — Это десантники наши, мы их на пожары вертолетами доставляем. В общем-то, случайный народ, сезонники. А вот парашютисты — это наши кадры. Правда, до Артема команда была так себе, ну а когда он стал инструктором, то, верите — нет, шелуха как-то сама собой отсеялась, и остались надежные ребята.

Он потрогал тыльной стороной ладони чайник и, убедившись, что тот еще достаточно горячий, продолжил:

— Так вот, говорит, письмо в газету отправил. Я даже опешил поначалу: о чем хоть? А он спокойно так: «А я, Кирилл, будь на то моя воля, всех бы тех

руководителей, которые дальше своего носа ничего не видят и только за кресло пекутся, по шее бы из партии гнал!» Как так, спрашиваю. А он мне: «А вот так! Что ж ты думаешь, этим самым томским нефтяникам лес ни к чему? Хрена! Еще как к чему! Они тот же лес на лежневки да на основание буровых ежегодно миллионы кубометров закупают и везут хрен знает откуда! Да-да. А то, что у них в земле остается гнить, так это нехай. Им, руководителям таким, главное — план дать. А на все остальное — начхать! И ты пойми, от таких дядей-руководителей все страдают, и в первую очередь — государство. У них направо и налево тайгу валят, втаптывают ее в гундру, в болота, а потом ждут, когда им за тысячи километров подвезут тот же самый лес для буровых да на лежневки».

Летнаб вскинул на Верещагина глубоко запавшие глаза.

— Что я мог сказать на это? Прав он был. И Венька прав. Правда, когда поостыл немного, заявление свое забрал обратно.

Помолчали. Слышно было, как где-то в углу занудно звенит комар. Курьянов, видимо, ждал, что скажет следователь.

— Ясно, — наконец сказал Верещагин и добавил: — Но это, так сказать, гражданское лицо Шелихова. Его жизненная позиция. Не будете же вы утверждать, что его могли убить из-за подобного?

— Нет, конечно. Я не хочу грешить на людей и возводить напраслину, да, откровенно говоря, и не знаю на кого. Но только гражданская позиция человека вызывает у окружающих соответствующую реакцию.

— Что ж, вы правы, — согласился следователь. — Однако давайте все-таки попробуем найти более простую, а значит, и более приемлемую мотивировку убийства. Скажите, по роду своей работы Шелихов должен был находить виновников пожара?

— Да, это входит в обязанности инструктора, и когда он сдает объяснительную по поводу того или иного очага, то должен указать причину возгорания.

— И на многих Шелихов составил акты?

— Прилично, — утвердительно кивнул Курьянов.

— Так. Ну а мог кто-нибудь из тех, кто «пострадал» по вине Шелихова, отомстить таким вот образом?

Курьянов задумался, потом сказал твердо:

— Нет.

— И вы можете так вот запросто поручиться за них? — несколько обескураженный таким ответом, спросил Верецагин.

— Могу, — все так же твердо ответил летнаб. — Я вырос в Кедровом, и если не считать сезонников да отдельных путейцев на станции, могу головой поручиться за наших людей. К тому же резона нет, чтобы из-за десяти рублей, которые кто-то уплатил по акту, устраивать охоту на человека.

— А как же девяносто девятая статья Уголовного кодекса? — удивленно поднял брови Верецагин, припоминая, что по ней за неосторожный поджог леса предусматривается до пяти лет лишения свободы.

— Эх, Петр Васильевич... — кисло улыбнулся летнаб, — не помню я такого случая. Может, где и применяется она, статья эта, но у нас такого не было. Хотя и стоит иной раз кой-кому припасть, — добавил он.

— И все-таки подготовьте список людей, которые были наказаны по представлению Шелихова...

В гостиницу Верецагин вернулся поздно вечером. Тот небольшой эксперимент, что они провели с Грибовым, яснее ясного говорил о том, что убийца ошибиться не мог. В безоблачном небе висела толстобрюхая луна и, словно фонарь с желтой подсветкой, высвечивала дорогу. Значит, преступник ждал именно его, Артема Шелихова, прекрасно зная о том, что он находится в гостинице.

«Кто? Кто об этом мог знать?» — ломал голову Верецагин. Первое — это буфетчица, дежурная и администратор. По их поводу Грибов ведет проверку по всем каналам. И второе — уже более сложное и пока что неразрешимое: кто-то следил за ним, Шелиховым, твердо решив убрать. Но кто? И главное — почему?

Чувствуя, что он не сможет заснуть, Верецагин взял со стола черновые записи Кравцова и, подложив под тощую подушку шерстяное одеяло, лег на кровать.

«Отпуск парашютиста, — размашисто писал Кравцов, — 48 рабочих дней. Плюс двадцать отгулов. Оклад: у рядового — 90 рублей, ст. пар. — 100 руб., инструктора (в зависимости от классности) — 110—130 руб. Оплата за прыжки: 7 р. 50 к. — прыжки тренировочные; производственные прыжки — от 10 руб. до 17 р.

50 коп. (10 руб. — на открытую площадку, 17 р. 50 коп. — на лес).

Премияльная система (ежемесячно при хорошей работе до 60 процентов оклада). Среднегодовой заработок 200—220 руб.».

«Когда нет пожарной обстановки, — писал далее Кравцов, — парашютисты совершают тренировочные прыжки. За лето у парашютиста 20—25 прыжков».

Верещагин отложил лист в сторону, задумался: ему все больше и больше нравился своей профессиональной дотошностью этот московский журналист Игорь Кравцов. «Дай-то бог, чтоб выкарабкался».

V

Долго не мог заснуть и Курьянов. Он и до ста считал, и пару таблеток элениума принял, а закроет глаза — и вот он, будто живой, Артем Шелихов. «Неужели прав следователь, и именно последний пожар — причина убийства Артема?» — мучил себя вопросом летнаб. И он, в который уж раз, пытался восстановить в памяти утро того дня, когда он забросил Артему взрывчатку и двух рабочих, которых выделил лесхоз на помощь.

...Вертолет чуть накренился, в иллюминаторе показался веером распускающийся дымный шлейф. Лесхозские рабочие прильнули к стеклам.

Из пилотской кабины Курьянову хорошо было видно, как полоса огня уходила по распадку, готовая в любой момент захватить склоны сопки. Летнаб повернулся к командиру машины, кивнул вниз.

— Вижу, — понял его тот. — Верхом перекинулся. — И, не дожидаясь команды летнаба, спустился чуть ниже, выходя к тому месту, где прорвался верховой огонь и теперь заглублялся в распадок, оставляя после себя черную выгоревшую полосу.

— Что-то ребят не видно, — с тревогой сказал Курьянов.

— Да вон же они, — отозвался командир вертолета. — По флангу огонь держат.

И действительно, у зеленой кромки леса копошились в дыму три фигурки, забивая небольшие очажки огня.

Пилот опустил еще ниже, завис над пожарищем, однако Шелихов закричал что-то снизу, замахал руками, показывая на лес.

— Чего это он? — спросил командир машины.

— Не видишь, что ли! — огрызнулся летнаб, кляня себя, что вовремя не успел предупредить пилота. — Лопасты костерки раздувают. Набирай высоту.

Он включил рацию.

— Артем, ты меня слышишь?

— Слышу, — отозвался злой, осипший голос. И тут же: — Вы что, охренели, что ли?! Прием.

Не обращая внимания на неположенную по чину вздрючку от парашютиста, Курьянов прищурился на уходящий клин огня, сказал:

— На правом крыле огонь прорвался. Может в распадок уйти.

Сверху было видно, как Артем опустил руку с компактной «Ромашкой», посмотрел на правую кромку пожарища. Оттуда, снизу, через стену клубящегося дыма ему не был виден уходящий клин огня, который через час-другой мог набрать страшную силу, и тогда пиши пропало. Огненным смерчем поперет пожар по распадку, оставляя после себя изуродованную тайгу.

— Значит, так, — принял решение Курьянов. — Я сбрасываю взрывчатку по фронту огня и высаживаюсь там. Со мной еще двое рабочих. Ты же оставь на фланге двух ребят, а остальных — ко мне.

— Годится, — отозвался осипший от дыма голос Шелихова.

Тяжелая машина гулко задрожала, чуть развернулась и, взбивая под собой крутящиеся клубы пепла, пошла к заданной точке.

Курьянов вошел в салон, подмигнул рабочим, сказал с бодрейшей в голосе:

— Ну что, орлы, приходилось тушить пожары?

«Орлы», недавно завербованные рабочие, только хмыкнули в ответ.

— Нет? — удивился летнаб. — Ну, это вы зря! Честно говорю. Представляете: тайга, пожар, романтика... Дома потом рассказывать будете.

— Да нам бы уж без романтики как-нибудь, — в один голос отозвались лесхозовские, кисло улыбнувшись при этом.

— Ну а это вы уж совсем зря, — усовестил их Курьянов, укоризненно покачав головой. — Все-таки в

лесхозе работает. Свое, понимаете, свое добро спасаете, — добавил он и посмотрел в иллюминатор, в который сквозь дымную пелену просматривалась теперь зелень тайги.

По тому, как машина заложила крутой вираж, он понял, что вертолет обошел нарождавшуюся голову пожара и командир выбирает место, куда лучше всего спустить взрывчатку.

— Готовьтесь, мужики, — уже более серьезно сказал летнаб и вернулся в кабину. Командир машины вопросительно посмотрел на него. — Задача такая: разносим взрывчатку по линии, иначе до подхода огня не управиться.

Пилот согласно кивнул.

— Тогда, значит, на высоте сорока — пятидесяти метров идешь во-он по тому створу, — указал Курьянов на два особо приметных дерева по выбранной им прямой, где надо было пробить опорную полосу для встречного отжига, — я сбрасываю взрывчатку, и только после этого высаживаешь нас.

— А ты мне площадку подобрал? — со скрытой неприязнью спросил командир вертолета, опасаясь за лошасти машины. — Смотри, древостой какой!

Действительно, хоть и не так уж буреломна была в этом месте тайга, однако, насколько хватал глаз, больших полян не было видно. А на десятиметровый пятачок такую махину не посадишь.

— Тогда вот что: сбрасываем взрывчатку и летим к табору. Высадишь нас там.

— Годится, — кивнул пилот.

Когда гудящая от напряжения машина вышла на обозначенный траверз, Курьянов прошел в салон, открыл дверцу, и они вдвоем со штурманом стали подтаскивать бухты планговой взрывчатки к проему.

...А пожар разрастался. Курьянов изредка поглядывал в наветренную сторону, откуда катился гул бушевавшего огня, и бога молил, чтобы только не усилился ветер. Помогавшие ему рабочие разнесли по намеченной линии двадцатикилограммовые бухты планговой взрывчатки, и он вместе с Шелиховым начал стыковать концы. Подготовив первые сто метров для взрыва, он крикнул рабочим, чтобы уходили за деревья. Артем в это время закреплял детонатор на конце планга. Когда лишних на полосе не осталось, он под-

жег шнур, отбежал в сторону, спрятался за массивный ствол лиственницы.

Взрыв получился что надо — на месте шланга темнела рваная капава, с бортов которой торчали вырванные взрывной волной корни деревьев, пучки травы.

Когда раскатистое эхо нескольких взрывов прокатилось по всей линии опорной полосы, Курьянов подошел к Шелихову. Лица у обоих были черные от копоти, глаза слезились. Он внимательно осмотрел миниполосу, отдал команду готовиться к встречному отжигу. До надвигающейся стены огня оставалось с полсотни метров.

Шелихов зажег сигнальную свечу и, прикрыв лицо от наваливающегося пала, поднес фитиль к поваленной, с потеками смолистых карр сосне. Огонь схватился разом, сунулся было по ветру к сочащейся подтаявшей мерзлотой канавке, но, словно поняв, что делать ему здесь нечего, развернулся навстречу ревущей голове пожара. С такими же свечами в руках разбежались по полосе парашютисты, и теперь длинная, языкастая полоса огня тянулась вдоль всей трассы, за которой, словно замороженные этой картиной, с наполненными водой прорезиненными рацками стояли Кравцов и двое лесхозовских рабочих. Их дело — окарауливание.

А встречный пал разрастался, набирал силу, кое-где языки огня уже сцепились друг с другом, оглушительный рев огня перебивался треском рвущихся смолистых деревьев, черные клубы дыма, словно страшные фантастические грибы, взлетели над поломом леса, на какое-то мгновение накатывающийся вал будто бы затих и вдруг, вплотную сойдясь с набравшим силу отжигом, со страшным ревом взметнулся вверх...

Понемногу рев огня начал стихать, все реже выстреливали в «запретную» зону угли и горящие головешки. Зажатая голова пожара остановилась, и теперь там, жарким пока что пламенем, догорали валежины, высоченными свечками полыхали сосны, выгорали островки пихтача.

Когда они вернулись с пожарища и, наскоро понив чаю, расходились по палаткам, Курьянов подошел к Шелихову.

— С чего пожар начался? — спросил он...

Припоминая этот момент, Курьянов вдруг почувствовал какую-то неискренность в ответе Артема. Ну да, конечно, он как-то передернул плечами, отвел глаза, сказал виновато:

— Не знаю... пока.

Да-да. Он так и сказал: «пока». А ощущение было такое, словно знал, но не хотел говорить.

А потом опять была добивка пожара, и они уже не возвращались к разговору о его причине. Не до этого было.

«Значит, Артем что-то знал, но хотел до поры до времени скрыть», — подвел итог своим воспоминаниям Курьянов. И сам себе ответил:

— Выходит, что так. А потом его убили...

Стараясь не разбудить жену, он поднялся с кровати, босиком прошел на кухню, где стоял телефон. Снял трубку.

— Гостиница? Это Курьянов говорит. Там у вас Верещагин остановился. Передайте, чтоб утром позвонил мне. Да, телефон он знает.

VI

Где-то над головой звенел комар. Верещагин попробовал было отмахнуться, но, поняв, что комар-занауда все равно не оставит его в покое, открыл глаза. За окном августовской негой расцветало воскресное утро. Можно было бы поспать и подольше, тем более что сегодня у следователя был один-единственный визит — к Татьяне Шелиховой, вдове убитого. Однако комар продолжал барражировать над ухом, и, поняв, что уснуть более не удастся, Верещагин нехотя поднялся, сунул ноги в тапочки, прощелкал к умывальнику, по пути включив телевизор.

Решив по возможности не связываться с местной столовой, он нагрел кипятильником воды, заварил чай, достал из стола пачку сахара, оставшийся с вечера хлеб, ножом вскрыл банку сардин в томатном соусе.

Купаясь в теплых лучах августовского солнца, ошалело чирикали воробьи, о чем-то интересном беседовали люди на экране телевизора — звук не работал, и поэтому Верещагин только по названию передачи мог догадываться, о чем они говорят; в меру заваренным оказался чай, и теперь можно было спокойно поду-

мать о вчерашней находке на месте последнего для Шелихова пожарища.

Вместе с Грибовым, Курьяновым и командой парашютистов они тщательно прочесали протоку Дальнюю, как вдруг наткнулись на землянку, которая все еще продолжала вонять стorerвшей рыбой. В том, что здесь побывал Артем, сомнений не было. Следы его сапог четко проступали на пепелище. И больше ничего, что могло хоть чем-то вывести на хозяина землянки.

— Значит, именно об этом хотел сказать вам Шелихов? — спросил Верецагин Курьянова, когда они, безрезультатно облазив все прибрежные кусты и заводи, собрались у вертолета.

— Видимо, да.

— Так почему, почему не рассказал? — в который раз спрашивал следователь, пытаюсь растормозить сникших парней из команды Шелихова. — Он что, имел привычку скрывать виновных?

— Глупость какая-то, — отозвался летнаб.

Хмуро молчал Мамонтѳ, ковыряя носком сапога землю.

Глухо кашлянул Сергей Колосков.

И только Венька вскинул свою рыжую голову и, чуть отвернувшись, выдавил из себя:

— Оно, конечно, не будь вы следователем...

— Стариков! — осадил его Грибов. — Не в клубе на танцах.

— А чего ж он?.. — огрызнулся Венька.

Верецагин посмотрел на парня и неожиданно рассмeялся — не часто ему приходилось сталкиваться с подобным.

— Извини, Вениамин, — миролюбиво сказал он. — Но давай вместе копать истину. И предполагать не самое лестное для Шелихова. Тем более, что это нелестное говорит само за себя. Согласен?

Венька хмуро посмотрел на Мамонтова, потом на Колоскова и отвернулся, как бы говоря этим: «Вы как хотите, а я — как знаю».

— Понятно, — сказал Верецагин. — А посему прием молчание как знак согласия. Ну а если все согласны, — вдруг жестко добавил он, то я опять задаю все тот же вопрос: «Почему, в силу каких обстоятельств, Шелихов не рассказывал о своей находке?»

— Получается, имел причину скрывать ее, — отозвался Грибов, отгоняя веткой особо нахальных комаров.

— Вот именно, — кивнул Верещагин. — А откуда можно предположить, что Шелихов по каким-то приметам узнал хозяина этой землянки и неизвестно почему скрыл этот факт от вас. Согласны? — повернулся он к парашютистам.

Те продолжали хмуρο молчать.

— Ну, не совсем так, — подал голос Курьянов. — Я же вам говорил, что там, на пожаре, Артем сказал мне, будто позже сообщит причину загорания.

— Вот именно, позже, — повернулся к летнабу следователь. — Значит, он на что-то надеялся и до поры до времени хотел скрыть свою находку. Так?

— Выходит, что так, — кивнул в знак согласия летнаб.

Звенело комарье, где-то неподалеку бранилась со-рока. Молчавший до этого Грибов прихлопнул ладонью успешного присосаться к щеке комара, проговорил:

— Возможно, вы и правы, Петр Васильевич, однако я не упомяну случая, чтобы браконьеры так вот зверски расправлялись даже с ненавистными им рыб-инспекторами. Были, конечно, отдельные случаи, когда гибли люди. Но то обычно в драке. А чтобы так жестоко... Подкараулить, а потом еще и в затылок... Думаю, что здесь прямой связи не видится. Хотя эту версию мы отработаем в первую очередь.

— На том и порешим, — недовольный майором, летнабом, парашютистами, а главное — собой, буркнул Верещагин. — Срочно выявите особо злостных кедровских браконьеров, и главное — тех, кто отсутствовал дома за день-два до начала этого пожара.

— Трудное это дело, — покачал шарообразной головой Грибов. — Браконьер сейчас ушлый пошел. И если уж на серьезный промысел собрался, то он это дело так обставит, что не придерешься. Отпуска, сволочи, берут и будто бы к родным уезжают. Они же сейчас все грамотные...

Верещагин одолевал второй стакан чая, когда в дверь постучали, и тут же вошел Грибов.

— О! — удивился раннему визиту следователь. — К столу, Василий Петрович.

— Нет уж, увольте, — отмахнулся майор. — И так

прет не по дням, а по часам. Так что я себе железное правило установил: первый завтрак в одиннадцать.

— Ну-ну, — усмехнулся Верещагин. — А последний ужин?

— А, — вяло махнул рукой Грибов, — как бог пошлет. Иной раз домой за полночь приходишь. Вот тебе и диета...

— А посему давайте к столу, — не отставал Верещагин. — А то негоже как-то: хозяин ест, а гость телевизор без звука смотрит.

— А чего это он? — удивился майор.

— Как — чего? — в свою очередь удивился такой неосведомленности следователь. — Чисто гостиничная система. Их такими прямо на заводах выпускают. У одних звука нет, у других — изображения. А у третьих, не поверите, ноги — вверху, а туловище — внизу.

Грибов хмыкнул, покосился на экран телевизора, где беззвучно шевелили губами собравшиеся за круглым столом люди, снял фуражку и только после этого сказал:

— «Вальтер» всплыл. Из которого в Шелихова стреляли.

— Да ну? — Верещагин даже стакан отставил в сторону.

— Точно. Вчера вечером ответ на запрос пришел. — Майор протянул Верещагину лист бумаги, на котором темнели ровные строчки телетайпа.

Верещагин пробежал глазами листок, перечитал его второй раз, уже более внимательно, задумавшись, положил на стол.

— Выходит, Ачинск?

— Выходит, оттуда гость, — подтвердил Грибов.

— Гость ли, Василий Петрович? — протянул Верещагин. — И все-таки более сорока лет прошло. И этот самый «вальтер» мог побывать в десяти руках.

— Все возможно, — согласился майор. — И поэтому я отдал распоряжение выявить лиц, кто в сорок пятом году жил в Ачинске.

— А если там был гастролер?

Замначальника по уголовному розыску пожал плечами.

— Вот именно, — согласился с ним Верещагин и еще раз, теперь совсем медленно, прочитал выписку из архива. Оказывается, в Ачинске, в сорок пятом го-

ду, из «вальтера», характерные особенности которого полностью совпадают с оружием, из которого стреляли в Шелихова и Кравцова, был убит некий Комов 1929 года рождения, рабочий склада. Принадлежность «вальтера» не установлена. Убийца скрылся.

Сообщение было более чем лаконичное. Верещагин посмотрел на Грибова.

— Обратите внимание, Василий Петрович. Убит был шестнадцатилетний мальчишка. Рабочий склада. Видно, или под горячую руку кому-то попался, или в банде состоял. Свои же и пристрелили. Так что ехать в Ачинск придется. Сейчас любая пустяковина важна.

Майор кивнул, полез во внутренний карман кителя, достал лист бумаги, на этот раз исписанный чернилами.

— А это браконьеры наши, — сказал он. — Особо злостные. Теперь будем выявлять, кто из них до пожара дома отсутствовал.

Верещагин пробежал глазами листок, за которым стояли безликие пока что для него люди.

— А вот это кто? — заинтересовался он, ткнув пальцем в фамилию, напротив которой чернела галочка.

— Степан Колесниченко, Татьяны Шелиховой брат. Артема, выходит, шурин.

— И что, — заинтересовался Верещагин, — он тоже?

— Вот именно, — подтвердил майор. — И что грустно, семья хорошая. Что мать, что сестра, что отец. Работящие все, а он... Видно, правду люди говорят, что в семье не без уроды. И ведь отсидел уже свое, освободился, но ума так и не набрался.

— Они живут вместе с Артемом?

— Нет. Он у отца с матерью, — сказал Грибов и ткнул толстым коротким пальцем в середине листа: — Также обратите внимание на этого гуся. Семен Андреевич Рекунов. Сорок четвертого года рождения, бывший рабочий леспромхоза. Освободился недавно и опять объявился в наших краях.

— И какое он имеет отношение к Шелихову?

— Самое прямое. Этот самый Рекунов два года назад тигра в Кедровом урочище завалил; на шкуре хотел разбогатеть, а в том месте как раз пожар случился. Вот Шелихов со своими парнями и вышел на дель-

да этого. Матерый мужик. Когда его парашютисты брали, стрельбу из карабина открыл. Правда, следователь не смог доказать всей его вины, а то бы не двумя годами отделался.

— Значит, все-таки, возможно убийство из-за мести? — спросил Верещагин.

— Чем черт не шутит, — пожал плечами Грибов. — В общем-то я сомневаюсь, однако как возможную версию отбрасывать нельзя. Ведь что ни говорите, а в озлобившемся мужике могли проявиться мотивы ненависти. Тем более, что адвокат Рекунова своими вопросами на суде повернул дело так, что браконьер именно в Шелихове мог увидеть своего главного врага, благодаря которому и оказался на скамье подсудимых.

Дом Шелиховых, обнесенный аккуратным штакетником, почти ничем не отличался от точно таких же бревенчатых срубов, что прочно осели вдоль длинной поселковой улицы. Правда, от калитки к дому вела дорожка, обильно посыпанная мелким гравием, который придавал двору изысканный вид.

Выросший в Подмосковье, Верещагин любил деревенские дворы, где нет вроде бы ничего лишнего и в то же время все под рукой. Здесь же, ко всему прочему, глаз радовали кусты жимолости, насаженные вдоль штакетника, и высоченный кедр, возвышавшийся над подворьем. «Ишь ты!» — подивился Верещагин, впервые видевший, чтобы такой великан рос на дворе.

Громко кашлянув на всякий случай, Верещагин потоптался у высокого порожка, поднялся на крыльцо, постучал. Какое-то время в доме было тихо, потом за дверью раздались шаркающие шаги и в темном проеме выросла фигура женщины. Видимо, она была высокая и ладно скроенная, но горе настолько подмяло ее, что в сумрачном свете сеней Верещагин принял ее поначалу за тщедушную старушку: сгорбленные, упавшие плечи, безвольные руки, ничего не выражающий взгляд, неприбранные волосы, наспех заколотые шпилькой.

И все-таки это была жена Шелихова.

— Здравствуйте, Таня, — поздоровался Верещагин. — Я следователь краевой прекуратуры. Можно к вам?

Женщина молча кивнула и, все так же безвольно опустив плечи, прошла вытянутые сени, вдоль стен которых были набиты дощатые стеллажи, уставленные всевозможными банками, какими-то коробками и прочей домашней утварью. Откуда-то выскользнула кошка палевой окраски. Тихо мяукнув, она мягко потерлась о ноги гостя.

Дом начинался с большой, просторной кухни. У окна стоял стол, сервант, еще один стол, на котором громоздилась горка невытой посуды, чуть в стороне — удобно поставленная печь.

Верещагин остановился было на пороге, однако хозяйка все так же молча прошла из кухни в большую, светлую комнату, которая в этом доме была гостиной, и только после этого кивнула на стул.

— Садитесь, — пригласила она, прислоняясь плечом к стене.

— Спасибо, — кивнул Верещагин и, чтобы как-то начать разговор, спросил: — А где же дочка?

— Дочка?.. — словно не понимая, о чем идет речь, переспросила Татьяна. — А ее мама Артема взяла. На время. Они вчера уехали. Отцу на работу надо. Да и маме тоже.

— Ясно, — опять кивнул Верещагин, поражаясь внутренней деликатности этой женщины. Дочку она могла бы и своим родителям отдать — пока не схлынет с души первая, самая страшная волна, когда становится нечем дышать, больно сжимается сердце и что-то холодное наполняет грудь. Однако она правильно считала, что не у нее одной это горе, не менее ее выплакала слез и мать Артема, и звучка будет хоть какой-то отдушиной.

— А далеко они живут?

— В Артеме, — вздохнула Таня. И, увидев, как удивленно вскинулось лицо следователя, пояснила: — Это город такой, Артем. И Артема назвали в честь него. У него там отец на шахте работает.

— А как же он в Кедровом оказался?

— Дед его здесь с бабкой жили. Они ему и дом этот переписали. А умерли в прошлом году — старые уже были.

Словно выговорившись, она замолчала надолго, и в ее запавших глазах опять навернулись слезы.

Молчал и Верещагин, понимая, что расспрашивать сейчас бесполезно. Татьяна ушла в себя, и уставший

от бессонных ночей мозг ее лихорадочно выдавал только ей понятные обрывки прошлого. Неожиданно она проговорила тускло:

— Лучше бы мы еще где-нибудь жили...

— А что, у вашего мужа были враги?

— Враги?.. — Пожалуй, впервые Таня подняла на следователя глаза, в которых кроме непробудной тоски выразилось удивление. — Враги... Нет, что вы! Артема любили. Отзывчивый он был, добрый. И вот... — На этот раз она не выдержала, вскрикнула и, вакрыв лицо руками, громко, навзрыд, заплакала.

— Таня, успокойтесь. Ну нельзя же так, — попытался успокоить ее Верецагин. — Пожалейте себя. Вам же еще жить да жить.

— Да не хочу, понимаете, не хочу я жить! Не хочу-у! — на одной тягучей ноте выкрикнула она.

— А вот это уж вы совсем зря, — урезонил ее Верецагин. — У вас дочь, которая, между прочим, материнской ласки и внимания требует. Так что возьмите-ка себя в руки. Горе горем, а жизнь вперед идет. Хотим мы того или нет...

И то ли на женщину подействовала эта сухая казенщина, от которой даже у Верецагина едва не перекосило рот — хотелось успокоить какими-то человеческими словами, вниманием, а тут... то ли она уже выплакала слезы и теперь, ошалевшая от горя, медленно приходила в себя, то ли еще от чего, но Татьяна вдруг оторвала от ладоней голову, подняла заострившееся лицо, на котором тускло блестели вымученные глаза, сказала неожиданно спокойно:

— Вы правы, наверно. Дочь... — При этом слове она тупо уставилась в пол, какое-то время сидела молча, потом насухо вытерла тыльной стороной ладони глаза, по-детски шмыгнула носом. — Да, вы правы. Давайте чаю попьем.

— С удовольствием, — согласился Верецагин. И пока хозяйка доставала из серванта расписные чашки, конфеты, откуда-то из сеней принесла банку варенья, он налил в электрический чайник воды из молочного бидона, что по-деревенски примостился в углу кухни на дубовой подставке, воткнул штепсель в розетку.

— Может, покушаете? — спросила Таня.

— Спасибо, не хочу, — отказался Верещагин и, улыбнувшись, добавил: — А вот варенье... с удовольствием. Из жимолости? — спросил он.

— Ага, — кивнула женщина, и Верещагин подивился, когда же это она успела привести волосы в порядок, аккуратно собрав их пучком на затылке. Теперь лицо ее было открыто, матово белел высокий лоб, и только припухлость да почерневшие глазные впадины чуть портили ее.

«Красивая», — отметил про себя Верещагин.

А хозяйка дома, словно боясь остановиться, чтобы опять не удариться в безысходный плач, говорила:

— С прошлого года еще варенье. И немного наварила, а все никак съесть не можем. Да вы побольше себе накладывайте, не стесняйтесь. Оно вкусное.

Варенье действительно было вкусное, однако Верещагин уже смотреть не мог на чай и только подыскивал подходящий момент, когда можно будет возобновить разговор. Наконец высветилась вроде бы удобная ситуация, и он спросил:

— И все-таки, Таня, может быть, раньше Артем врагов нажил? Сами понимаете, жизнь без того не проходит.

— Та ни, — чуть нараспев протянула она, и по этой грудной певучести угадывались переселенцы с Украины. — Конечно, кое-кому Артем будто костяка поперек горла стоял, а вот чтобы врагов занять... Нет, не было, — твердо сказала она.

— Ну, а кому конкретно он мог поперек горла стоять? — ухватился за фразу Верещагин.

— Конкретно?.. — пожала плечами Таня. — Точно я не знаю, но сами понимаете, у него работа такая. Ведь пожары не всегда от сухой грозы загораются. Иной раз люди и костер оставят непотушенным, а огонь и пошел... Вот Артем и писал акты да протоколы, когда находил виновных.

— Так это же его обязанность, — сказал Верещагин.

— Да, конечно, — согласилась она. — Однако ж можно на это и сквозь пальцы посмотреть. Не установлена причина — и все тут. А Артем нет... Вот и не вздорвался кое-кто с ним. Что в Кедровом, что у нас в поселке.

— А кто именно?

— Ну-у, — развела руками Татьяна, — разве ж так вспомнишь... Да и не то все это, не то, — тихо добавила она и глубоко вздохнула, пытаясь сдержать наворачивающиеся слезы. — То все пустяки, обиды мелкие. Не будут люди из-за такого...

— И все же его убили, — жестко сказал Верещагин, ненавидя себя в эти минуты.

Видимо, соглашаясь с ним, Таня кивнула молча.

— А поэтому меня интересует, кому ваш муж насолил в такой степени, что его... с такой жестокостью?..

— Не знаю, — почти беззвучно ответила она.

И опять в доме сгустилась тяжелая тишина.

— Таня, — коснулся плеча женщины Верещагин, — может, этот вопрос вам и неприятен, но все-таки ответьте: какие отношения были между Артемом и вашим братом?

— Степаном? — удивилась она вопросу, поднимая на следователя глаза. — Да никакие. Хотя раньше друзьями были. Благодаря Степану я и с Артемом познакомилась...

Она опять замолчала, видимо вспоминая те счастливые для нее годы, потом добавила:

— Ну а когда у Степана авария произошла, судили его. Освободился, думали, ума наберется, а он будто удил закусил, обиженного из себя строит. Связался с какими-то бичами, в общем... — и она безнадежно махнула рукой.

— А он был на похоронах? — упрямо продолжал расспрашивать Верещагин, пытаясь схватить подспудно возникшую мысль.

— На похоронах?.. — переспросила Татьяна. — Нет, не был. Щас же кета пошла, так кое-кто готов и совесть забыть. Вот и наш... Мама говорила, что он еще раньше умотал куда-то. Потом объявился. Попил вина и опять пропал куда-то. Нет, не было его на похоронах. Видно, еще не знает...

Уже за полдень, когда круглый диск солнца завис над разморенным в августовской неге поселком, Верещагин вышел от Шелиховых и медленно побрел к автобусной остановке.

«Выходит, — рассуждал он, — Шелихов мог наткнуться и на землянку Степана?» И тогда становит-

ся понятной его вынужденная скрытность, когда летнаб спросил о возможной причине пожара.

VII

Неопохмелившийся и оттого злой, Степан уныло бродил по городу, то и дело спрашивая у прохожих, который час. До двух, когда можно будет «принять на грудь» столь необходимые двести грамм, оставался чуть ли не целый час, и он в тряском похмельном томлении вышел к речному вокзалу, чтобы хоть как-то убить время.

Еще три года назад, до Указа, можно было запросто опохмелиться вон в том летнем строеньице под названием «Ветерок». Пожалуйста, выкладывай деньги и бери хоть «ерша», хоть коньяк и шампанское в отдельности. Он обычно просил «сделать» сто на сто в один стакан и, прихватив дрожащими руками конфету в засаленной обертке, отходил к дальнему от прилавка столику, где можно было сесть на колченогий металлический стул с деревянной спинкой и в два приема осушить смесь коньяка с шампанским. Когда были деньги, он любил так вот опохмеляться — благородно.

Теперь же кончились золотые денечки. В «Ветерке» остались только холодные котлеты бетонной твердости, недоваренные куриные ноги и крылья, а вместо «благородного опохмела» — яблочный сок, от которого воротило с души. Оттого и приходилось ждать двух часов, когда можно будет выпить водки в ресторане, что уютно разместился на втором этаже дебаркадера.

Мягко грело солнце, на пляже загорали мальчишки, вдоль бетонного парапета, похожие на безмолвных идолов, выстроились рыбаки с длинными удилами в руках.

— Идиоты! — непонятно отчего ругнулся на них Степан и, засунув руки в карманы мятых штанов, медленно зашагал к городскому парку.

На душе было скверно. И даже не оттого, что трясло и корежило неутоленное похмелье, нет. Скверно было от ощущения дурацкой неприкаянности и зыбкости в этом огромном городе, куда он сорвался по приказу Волчары. Правда, деньги еще были, но что

толку, размышлял Степан, оцупав на всякий случай оставшиеся червонцы. Еще пара приличных загулов — и все, пишите письма. Люська, его бывшая прихехешка, у которой он остановился по старой памяти, на свои кровные кормить не будет. И от Волчары ни ответа, ни привета.

— Слышь, мужик, сколько время? — отвлекся от невеселых мыслей Степан, увидев на руке проходившего мимо парня циферблат.

— Два.

— Уже?! — удивился вконец измучившийся Степан.

— Без двадцати, — хмыкнул парень, поняв состояние клочковато выбритого мужика, на вид которому можно было дать все пятьдесят. Но если приглядеться внимательнее, то лет двадцать за счет опойного лица можно было бы и скостить.

— Так бы и говорил сразу, а то два-а... — обозлился Степан и повернул к дебаркадеру.

«Чего Волчара ждет? — ярился он, зорко высматривая, не столпилась ли очередь у деревянного мостка, который вел с пристани в ресторан. — Торчи здесь, как... А может, плюнуть на все да рвать на материк, пока менты не схватили?»

Положение действительно было непонятное. Как и было договорено, он в первый же день, как только обосновался у Люськи, дал знать Волчаре, по какому адресу находится, и теперь ждал от него весточки. Можно было бы, конечно, и самому рвануть отсюда, да мучила неизвестность. Волчара обещался вызнать, проболтался ли Артем насчет его землянки, и если все тихо-спокойно, то можно будет вернуться в Кедровое. Уж очень не хотелось срываться с родных мест, где и река, и сопки, и тайга пахли домом, а к тому же могли и прокормить, и напоить.

В ресторане, хоть и был обеденный час, народу было немного. Степан сел за пустой столик, терпеливо дождался, когда подойдет официантка, заказал двести граммов водки.

— Что кушать будете? — тоном, не терпящим возражений, спросила она. — Плов из свинины, шашлык, икра на закуску...

Степан было подумал, что неплохо бы хоть раз за все время и горяченького похлебать, однако вовремя вспомнил, что с такими трясущимися руками не смо-

жет и ложку по-человечески до рта донести, а потому сказал обреченно:

— Салатишко какой-никакой давай и что-нибудь мясное... Да и пива еще, — добавил он в квадратную спину официантки.

Теперь можно было спокойно обдумать и свое житье-бытье. Однако отчего-то вспомнился Артем. Только не теперешний заматеревший парняга, а молоденький настырный парнишка, когда они познакомились в авиатехническом училище. Степан-то поступил туда после армии, а Шелихов — еще не отслужив. Вроде бы и ничего общего не было между ними, а разговаривались как-то, и выяснилось, что дед да бабка Артема в том же поселке живут, что и Степан. Будто земляками стали. Подружились, вместе на каникулы поехали, где и познакомился Артем с его Танькой. Чего уж лучше. Кончили учиться, и распределили их на один аэродром. Здесь-то и началось...

Поначалу — с первой зарплаты, потом — специальность обмыть. В субботу и в воскресенье — оттого, что трезвому грех на танцы идти, ну а в будни, после работы, — это как бы само собой. И понеслось-поехало. Артем уж и так пытался остановить друга, и этак, однако тот только ухмылялся пьяно, приговаривая:

— Ну вот скажи-ка ты мне, чем должно пахнуть от настоящего мужчины? Э-э, не знаешь. Тогда вникай. Одеколоном, вином и чистым бельем. — Правда, про чистое белье Степан как-то быстро забыл, да и одеколон после редкого бритья не очень-то жаловал, спуская деньги на дешевый портвейн, а вот перегаром от него несло все чаще и чаще. А потом стал и на работе попивать...

Задумавшись, Степан даже не заметил, как подошла официантка, и только когда она с грохотом брякнула на стол вилку с пожом и тут же выставила три бутылки пива, он вздрогнул оторопело и отчего-то подумал, что этак можно «и до ручки дойти». И еще одно пришло на ум: «Надо бы завязать немного. Совсем охренел...» Когда официантка, даже не глядя на бутылки, ловкими, профессиональными движениями сбросила с горлышек пробки, Степан, не дожидаясь закуски, налил в фужер пива, тяжелыми, жадными глотками осушил его до дна. Прикрыл глаза. Вроде бы полегчало немного. Уже более спокойно налил второй фужер, медленно выцедил пиво, смакуя каждый

глоток. Теперь наступило спокойствие, чуть посветлело в голове, и опять припомнился Артем с его постоянной прибауткой: «Не водка до пьянства доводит, а похмелье с нее». Будто наяву всплыла их первая ссора, дошедшая до драки. В пятницу, кажется, это было. Ну да, в пятницу, они как раз сдали смену и утром на попутной «аннушке» должны были лететь в Кедровое.

...Рано утром кто-то постучал к ним в комнату. Артем, недоуменно подняв голову с подушки, спросил маявшего с похмелья Степана:

— Кого еще несет?

Степан, перебравший вечером с летунами, вздохнул тяжело, хотел было открыть глаза, да не смог. Такая похмельная муть подмывала нутро, что на это у него просто не было сил.

В дверь постучали опять: настойчиво, призывно.

— Открой, не слышишь, что ли, — только и пробормотал Степан, тяжело ворочая непослушным языком.

— Ох, Степа, — вздохнул Артем, видя, как мучается друг. — Дать бы тебе по морде, да жалко.

Степан промолчал на это и только попросил тихо:

— Открой, может, Колька пришел...

Это действительно был Николай Никитин, летавший вторым пилотом на «аннушке». Он лихо ворвался в комнату и, отстранив Артема, присел на корточки перед Степаном.

— Степа, родной ты мой, — видимо, успев опохмелиться, начал кривляться он. — Что, головка бо-бо? Вот, говорил я тебе: не жадничай, не пей последний стакан, а ты... Нам, мол, и четверти мало. А давай мы головку отрубим, а? — кривлялся он, то и дело подмигивая Артему. — Что, жалко? Ну, тогда давай мы ее, горемычную опохмелим.

От этих слов Степан приоткрыл сначала один глаз, потом другой, взгляд его стал осмысленным.

— О! — ткнул в него пальцем Никитин. — Молодой, а соображает. Ну ладно уж, вставай, вылечу тебя. — И с этими словами вытащил из-под брючного ремня початую бутылку водки.

Артем, увидев, как заблестели глаза у Степана, попросил:

— Не надо, Степа. Нам же лететь скоро.

— А ты не суйся, салага непьющая, — шаря глазами по комнате в поисках стакана, одернул его Никитин.

— Ага, — вдруг согласился с ним Артем, и Степан смутно понял, что сейчас произойдет что-то страшное. Он успел только сказать: «Артем, будь другом...», как тот подошел к Никитину, спросил:

— Стакан ищешь?

— Ну, — утвердительно кивнул тот.

— Давай разолью.

— Давно бы так, — подмигнул ему Колька, передавая бутылку.

— Арте-ем... — с угрозой протянул Степан. Однако тот уже взял бутылку, подошел к распахнутому настежь окну и, не глядя, вылил водку за подоконник.

— С-сука... — едва слышно выговорил Никитин и, схватив что-то со стола, бросился на Артема.

Обозленный Степан скинул ноги с кровати и, увидев, как в дальний угол, опрокинув стул, отлетел второй пилот, тоже бросился на Артема...

Потом их разбирали на комсомольском собрании, всем троем дали по выговору: Степану и Никитину — за пьянство, а Шелихову — за учиненную в общежитии драку. Тогда-то и распалась дружба. Буквально на второй день Степан переселился в комнату Никитина, перевелся в другую смену и даже здороваться забывал, когда встречал Артема. Не приехал он и на его свадьбу с Татьяной.

Кончилось же все это совсем плохо. Никитин продолжал периодически нарушать предполетный режим, и когда произошла катастрофа, благо тот рейс был грузовым и на борту «аннушки» не было ни одного пассажира, экспертиза определила, что Никитин был в стадии сильного опьянения. Когда же комиссия копнула глубже, то оказалось, что готовил машину к рейсу лыка не вязавший авиатехник Колесниченко. Артем в это время служил в авиадесантных частях.

Степан отбывал срок в колонии, когда от матери пришло письмо. Оказывается, Артем уже демобилизовался, закончил курсы парашютистов-пожарных и живет теперь с Татьяной в Кедровом.

...Наконец-то официантка принесла в графинчике водку, швырнула на стол две тарелки: салат из помидоров и поджаренную картошку с мясом.

— Чего это ты? — хмуро спросил Степан, которому стало надоедать ее хамство.

— Жри уж! — короче короткого отрезала официантка и уходя добавила: — У самой дома такой же. Пропойцы несчастные!

— Змея, — обругал он ее в спину и наполнил водкой фужер.

Хоть и пришло долгожданное облегчение, однако настроение упало совсем. Степан нехотя сжевал мясо, хотел было взять водки еще, однако раздумал: дороговато, да и смотреть не хотелось на озлобленную физиономию официантки, которая лишь на короткое время позволяла себе показаться в зале, чтобы опять надолго скрыться с глаз редких в эти часы посетителей.

«Чего она, на кухне, что ли, подрабатывает?» — невольно подумал он и, справившись у соседнего столика насчет времени, поднялся с места, предварительно выщедив в пузатый фужер остатки пива. Времени было четыре, как раз чтобы дойти до магазина, постоять в очереди и в пять, когда в городе открываются винно-водочные точки, затариться на вечер. «Такто оно дешевле обойдется, да и Люська кукситься не будет».

В район железнодорожного вокзала, где жила давнишняя подруга Степана, он добрался быстро, пожалуй, не было и шести. Повезло — в магазине, как только открылись двери, он сумел продраться вперед и взять четыре бутылки «бормотухи». Довольный, вальяжно добрый, он лениво нажал на кнопку звонка, что торчала над ободранной, с выбитой филенкой дверью.

— Свой, Люсьен, — бодро сказал он, когда послышалось не очень-то приветливое «Ну?».

Щелкнул замок, дверь скрипуче растворилась, бесстыже обнажая неприкрытую наготу коридорчика с ободранными обоями, и в проеме выросла фигура женщины лет тридцати. Короткий ситцевый халат неплотно прикрывал ее раздобревшее тело, а проем на месте оторванной пуговицы красочно говорил о всех достоинствах хозяйки.

— Чего это ты, ментов, что ли, боишься? — осклабился Степан, передавая ей авоську с бутылками.

— Менто-ов, — передразнила его Люська, жриная вино. — Носит тебя черт знает где.

— Ну уж, и погулять нельзя, — игриво подтолкнул ее Степан.

— Гулять... — с той же монотонностью повторила хозяйка дома. — Гуляй себе. Только тут хмырь какой-то приходил.

— Кто? — насторожился Степан.

— Да говорю тебе: хмырь какой-то, — объяснила Люська. — Что я у него, паспорт, что ли, спрашивать буду. Как пришел, так и ушел. Сказал, к семи будет.

— Ну, а какой он хоть из себя? — тормозил ее Степан. — Рыжий? Черный? Лысый?

— Сам ты лысый! — обозлилась Люська. — Чего кричишь-то? Крикуи. Сказано тебе: хмырь. Раньше я его не видела. Высокий такой, с тебя, пожалуй, будет. И морда такая... Во! — вытаращила она глаза. — Ну, что еще? Черный такой. А глазки как у татарчонка. Да пошел ты... — вразумительно закончила она и, вильнув аппетитными бедрами, скрылась в комнате.

«Волчара, — облегченно вздохнул Степан. — Наконец-то».

Он прошел вслед за Люськой и, явно задабривая, игриво ущипнул ее за лодыжку.

— Корефан это мой, дура. Пожрать сготовь. Угостить надо.

— Чего-о? — уставилась на него Люська. — Пожрать?.. А ты хлеба-то купил? Пожра-а-ать... Давай деньги — сготовлю.

Когда Люська с пятеркой в кармане ушла в магазин, Степан откупорил бутылку портвейна, налил было темно-красной жидкости в стакан, хотел уж выпить, но отчего-то раздумал. Потом подошел к дешевенькому трюмо — Люськиной гордости, посмотрел на себя в зеркало. Недовольно покрутил кудлатой головой. Вздохнул тяжело, припомнив, как точно так же, с непонятным страхом, смотрел на себя в зеркало там, в Кедровом, у себя дома, когда, хлопнув дверью, ушел Артем, пригрозив, что сдаст его с потрохами в милицию, если Степан сам не явится туда с повинной.

...Зрелище действительно было не из лучших. Опухшее, стечное лицо, спекшиеся губы, а мешки под глазами такие, хоть бюстгальтер надевай. Он чуть было не заплакал тогда обильной слезой алкоголика, однако только шмыгнув носом и посмотрел на будильник. Было самое «ОНО» — четыре часа пополудни. А это значит, что открылся «Овощной» напротив и губастая, злая на язык продавщица Зинка начала торговать све-

женькой, утром поступившей партией «Волжского» вина.

Теперь все мысли Степана работали в одном направлении, и он, сунув ноги в шлепанцы, быстро смотался в «точку» и уже минут через двадцать, опрокинув в себя два полных стакана «бормотушки», смог размышлять, что же ему делать дальше. А подумать было о чем. И в первую очередь о том, как оправдаться перед Волчарой — Павлом Волковым, с которым Колесниченко сошелся еще в колонии...

Когда Степану зачитали приговор, а потом под конвоем отправили в зону, то с ним в одном отряде оказался его земляк — Павел Волков, которого местные «блатари» откровенно побаивались за железные кулаки и величали Волчарой. Был он чуть старше Колесниченко и как-то само собой взял опеку над Степаном. Теперь против них уже никто не мог устоять, и Колесниченко понял преимущества этой «связки», за короткое время став неотвязной тенью Волчары. Правда, тот особо не раскрывался перед своим земляком, и только когда освобождался, а это было несколько раньше Степана, сказал доверительно: мол, есть дельце, с которого можно иметь хороший куш. А работа такая: когда начнется кетовая путина, Степану надо будет осесть в одной из протоков и заняться засолкой икры. Если он согласен, то сеть, резиновая лодка, соль и запас продуктов будут ждать его в условленном месте.

Степан тогда почесал в затылке, спросил, какая ему от всего этого выгода. И не проще ли ему самому «рыбалить» потихонечку — лишь бы инспектор не поймал.

«Дур-рак! — только и сказал Волчара. — А кому ты икру сбывать будешь? То-то и оно, что тебя как голубя зацапают. А так — добытчик, и все. Остальное не чешет. Как и где она будет перепродаваться — не твое дело. А денюжат при этом будешь иметь не меньше. Думай, пень стоеросовый».

На том и порешили.

Бизнес Степану понравился, и он старательно отработывал выданный Волчарой аванс, пока не случилась беда. И опять вино. Надо же было так нажраться, что даже не заметил, как опрокинулась керосиновая лампа и огонь загулял по землянке. Сам-то едва успел оттуда выскочить. Какая уж там рыба...

Когда, ошалевший, вернулся в Кедровое, решил с неделю отлежаться, а потом уже пойти с покаянной к Волчаре. Может, все бы и обошлось, если бы не Артем. И надо же было ему наткнуться на этот нож!..

Когда Артем ушел, хлопнув дверью, Степан почти выбежал из дома, направляясь к железнодорожной станции, где в качестве рабочего орсовского склада трудился Волков.

Разговор у них состоялся не то чтобы короткий, но и не длинный. Внимательно выслушав, как все было, неожиданно рассвирепевший Волчара смазал Степана по опухшей морде и, обозвав его «козлом вонючим, которому место рядом с парашей», приказал возвращаться домой и не показываться оттуда до его прихода.

А через полтора часа, когда Волков появился в доме и Степан приготовился к хорошему мордобою, который, как он сам понимал, заслужил на все сто процентов без отдачи, беседа прошла еще короче. Павел сунул ему пачку десятирублевков.

— Здесь ровно полкуска. И чтобы ты ночью свалил отсюда в любой город. Когда осядешь — дай о себе знать...

Вспоминая все это, Степа так и не притронулся к портвейну. Мучила неизвестность.

Волчара пришел в семь. «Затоваренный», — хмыкнул Степан, наметанным взглядом определив в карманах пиджака поллитровую стеклотару. И точно, коротко кивнув Люське, словно он ее знал тысячу лет, Волчара выгнали две бутылки водки, сунул их в пухлые руки хозяйки квартиры, добавив при этом:

— Прибери на стол что-нибудь. А нам поговорить надо.

— Ишь ты! И этот командует, — возмутилась было Люська, но, увидев брошенный взгляд, решила благоразумно удалиться.

— Ничего устроился, — проводив вихляющий Люськин зад взглядом, оценил хозяйку Волчара и вернулся к Степану. Он, видимо, уже успел где-то хлебнуть, и теперь глаза его, палившиеся пьяной злобой, в упор буравили компаньона. — Козел! Нашкодил, зараза, а теперь расхлебывай за тебя.

— Брось, Павло. И на старуху бывает проруха, —

скривился в виноватой улыбке Степан. — С кем по пьяному делу не бывает.

— По пьяному... Загнали бы икру, а там гуляй сколь хочешь. — Он опустился на заскрипевший под ним стул, сказал повелительно: — Пока бабеч твой возитя, принеси-ка нару стаканов.

— Во, другой разговор, — обрадовался Степан и шмыгнул на кухню. Через минуту он вернулся, поставил стаканы на стол, рядом положил краюху хлеба, сыр. Разлил водку, на правах хозяина подмигнул гостю: — Ну?

— Гну! — не приняв тот легкого тона и залпом осушил стакан. Поморщившись, он отломил кусочек хлеба, долго жевал его, потом сказал: — Кто-то шурина твоего грохнул. А заодно и журналиста какого-то зацепили.

Поднесший было водку ко рту, Степан ошалело уставился на Волчару, опустил стакан на стол.

— Ты чего это, Павло?.. Может, сивухи обожрался? За такие шутки, знаешь...

— Какие, к чертовой матери, шутки! — взъярился тот. — Я же тебе говорю: пришил шурика твоего кто-то! Похоронили уже...

Из прихожей высунулась Люськина голова, с любопытством уставилась на мужиков.

— Когда? — тихо спросил Степан.

— Чего — когда?

— Похоронили?

— А-а... Да, пожалуй, с неделю будет.

— А убили? — вскинул потускневшие глаза Степан.

— Убили, говоришь, когда? — Волчара прищурился, долго, не отводя тяжелого взгляда, смотрел на Степана, покосился на Люську, которая аж рот открыла от любопытства.

— Слышь, уберись-ка, — кивнул он ей.

Та, видимо поняв, что здесь лучше не выступать со своими правами хозяйки дома, скрылась на кухне.

— Когда, говоришь? — словно испытывая терпение Степана, повторил Волчара, — А в тот самый вечер, когда ты рванул из дома.

Степан с трудом воспринимал услышанное.

— И кто... кто его?

Криво усмехнувшись, так что перекосилось лицо, Волчара плеснул себе в стакан из бутылки, зачем-то

понюхал водку, хотел было выпить, но вдруг отставил стакан в сторону.

— А бог его знает... Мусора разберутся. Говорят, следовательно какой-то важный приехал. — Он взял стакан, словно осьминог обхватив его цепкими, узловатыми пальцами, и одним глотком плеснул жидкость в себя.

В дверном проеме опять появилась Люськина голова.

— Жрать-то будете? — спросила она с неподдельной обидой.

— Погодь малость, — отмахнулся Волчара. И убедившись, что Люська скрылась в кухню, повернулся к насупившемуся Степану.

— Слушай, а случаем... не ты это? Все вроде сходится. Как-никак, а накрыл он тебя. А срок мотать никому неохота.

— Что? — вскинул глаза Степан. И, будто приходя в себя от услышанного, медленно поднялся со стула. — Чего-о? Я?! Да ты что, — потянулся он к Волчаре, — ты же знаешь, что я в тот вечер сюда рванул, а Артем должен был к журналисту пойти.

— Это ты мне говоришь? — перекопился в усмешке Волчара. — Ты лучше об этом ментам расскажи. Может, поверят, лет этак через пятнадцать... А то, глядишь, и под вышку подведут.

— Ты... Ты хочешь сказать, что я...

— Да сядь, не шебурчи. А сказать я хочу то, что самое лучшее для тебя — это рвануть отсюда и залечь где-нибудь на годик — другой. Пока искать не перестанут. Вот что я хочу сказать. — Он замолчал, откинулся на спинку стула. Вконец отрезвевший Степан угрюмо смотрел на него.

— Вот, значит, как оно выходит, — тихо сказал он. А в голове раскаленным гвоздем засела одна-единственная мысль: «Выходит, они его, Степана, козлом отпущения делают. А Артемку, значит, того... чтобы не проболтался. А его, Степана, выходит, под вышку... И это из-за какой-то икры...»

Вдруг стало трудно дышать, что-то острое кольнуло под сердцем. Будто пробуждаясь, он тряхнул головой, почти трезво посмотрел на Волчару. Тот стоял спиной к нему, у допотопного буфета, разглядывая запрятанную под стекло картинку: белокожая, напрочь голая баба, подняв руки, укладывала волосы, а

у ее ног пристроился черный, как милицкий сапог, негритенок.

Увлеченный, он не слышал, как поднялся Степан, прихвативший бутылку за горлышко, и, бесшумно шагнув, с размаху опустил ее на запрягаемый у плеч затылок.

Волчара шатнулся, всем корпусом, как волк, крутанулся к Степану.

— Сука! Ну, гляди...

Из последних сил держась на ногах, он ухватил стул за спинку и с размаху бросил его в Степана. Тот успел уклониться, раздался звон оконного стекла, и стул вместе с осколками вылетел на улицу.

Закричала появившаяся в дверях Люська. Не обращая на нее внимания, Степан опрокинул на Волчару стол и со страшной силой ударил его головой в лицо.

А на улице уже гудела собравшаяся под высаженным окном толпа. Кое-кто громко требовал милиционера.

...Под окном продолжали шуметь люди, а в дверь уже звонили — требовательно и настойчиво, как могут звонить представители закона.

Степан, безвольно опустив руки, туго смотрел на обмякшего Павла. Неловко подвернув руку, лицом в луже крови, Волчара лежал подле буфета. Валялся опрокинутый стол, тускло зеленело битое стекло. Остро, до тошноты, воняло разлившейся по полу водкой.

Тоскливо, будто по покойнику, подвывала Люська. Не обращая внимания на звонки, она присела было на корточки, чтобы собрать осколки, но вдруг распрямилась, с ненавистью уставилась на Степана.

— Сволочь, гад проклятый, — зло бросала она, — сам ничего не имеешь, так и меня по миру пустить хочешь. Паразит!

— Закройся, фюфло нечесаное, — бросил Степан. — Дверь открой, а то ведь менты могут и выломать.

Люська заголосила еще громче, но вдруг затихла, с ужасом посмотрела на своего сожителя:

— А если убил?

— Не болтай, дура, — оборвал ее Степан. — Говорят тебе — дверь открой.

— Да, да... Шас... — не спуская остановившегося взгляда с гостя, Люська медленно выпрямилась и, зажав рот пухлой ладонью, боком, по-рачьи, двинулась к двери.

— Чего не открываете? — хмуро спросил молодой сержант, переступая порог. За ним стоял еще один милиционер. — Чего это у вас стекла летят? Дрались, что ли? — подозрительно спросил он, рассматривая покрасневшее, с грязными потеками черной туши Люськино лицо.

— Ага, — неожиданно воспрянула та, — малость того... поспорились. Выпивши он пришел, ну я...

— А чего стекла бить? — спросил сержант.

— А это я того,... нечаяно, — продолжала врать Люська, загораживая собой дверь в комнату. — Вы уж простите. А на улице я сейчас приберу.

— Вообще-то, в отделение бы вас обоих свезти, — процедил сержант, — да протокол составить...

— А ты свези, — неожиданно отозвался Степан. — Свези, потому как она мне — баба посторонняя, да и подрался я вовсе не с ней. Ну, чего зенки пядишь? — повернулся он к Люське. — Дай людям пройти.

Он решительно сдвинул ее в сторону и, не оборачиваясь, прошел в комнату. Следом за ним вошли оба милиционера. Увидев распластанного в луже крови мужика, один из них присвистнул:

— Вот тебе и выпивши пришел... Бабу, что ль, не поделили? — неожиданно заключил он, кивнув на застывшего Волчару.

Степан устало посмотрел на сержанта.

— Хуже. Ты это... старшина, вот чего... Отправь меня в отделение. Заявление хочу сделать.

— Ну, это завсегда успеется, — покосился на него сержант и запоздало спросил: — Документы?

Степан вышел в прихожую, снял с вешалки пиджак, достал из кармана паспорт, вернулся, протянул его сержанту.

— Ага... — протянул тот, взглянув на прописку. — А здесь чего делаешь?

— Бичую... — огрызнулся Степан и устало добавил: — Я ж говорю тебе — отправь в отделение.

— Насчет этого можешь не волноваться, — успокоил его несколько обиженный милиционер, пряча паспорт в карман. — Вась, — кивнул он второму, — спустись в машину, надо «скорую» вызвать. Может, с головой что? Все-таки бутылкой...

Он наклонился над Волчарой, попытался перевернуть его, стараясь не испачкаться о кровь, но вдруг удивленно вскинул брови, откинул полу пиджака —

из внутреннего кармана чуть высовывалась рукоять пистолета.

— Господи... — зажала рот ладонью Люська, с ужасом уставившись на Степана.

VIII

Верещагин выехал в Ачинск, а Грибов изо дня в день утюжил берега Кедровки, заглядывая в потаенные затоны, в заросшие густым березняком протоки, делая облет над лиственничными островками, вплотную подступившими к воде. Натруженно гудел вертолет, и под ногами, величественно выделяясь среди зеленого массива, проплывали высоченные столообразные кедры. Несколько раз, заслышав рев машины, с мелководья выскакивали медведи и, взбрыкивая, удирали в чащу. На нерест шла кета, и вместе с медведями на ее промысел, вооружившись сетями да лодками-казанками с мощными навесными моторами, отправлялись охотие до красной икры люди.

Майор повернул голову, посмотрел в салон. Что-то веселое рассказывал бортмеханику старший участковый инспектор Лаптев. Примостив для карт пустой ящик, резались в «дурака» два нештатных рыбинспектора. Чуть поодаль кемарил на скамейке Иван Бельды. Вчера, когда они возвращались в поселок, кроме них в дребезжащем салоне вертолета угрюмо молчали три мужика — дневной «улов» Грибова. Двое интереса не представляли, а вот третий — Иван Назаров...

Когда Настя Назарова узнала, что на реке «зарестовали» ее непутевого муженька и вместе с сетями доставили в милицию, она тут же примчалась в отделение.

— Василий Петрович, миленький! — завопила она с порога. — Оштрафуй его, дурака, но только не сажай. Куда ж я с тремя мальцами?.. — запричитала она, опускаясь на стул.

— Раньше надо было думать, — хмуро отозвался Грибов. — Сколько раз предупреждал, так нет, нейметсся. Раз отсидел — и опять за старое. Ну, я понимаю — для себя несколько штук поймать, а тут... В тайге чуть ли не рыбозавод устроил. Тут тебе и коптильня, и икорный цех. Нет уж, Анастасия, придется ему по всей строгости закона ответ держать.

Назаров, давно не бритый, с заскорузлыми от рыбьей чешуи руками, сидел перед майором и угрюмо смотрел в окно.

— Господи-и... — заголосила женщина и вдруг вскинула на мужа злые глаза, ладонью размазала слезы по лицу. — Ирод! Все тебе денег мало! Другие мужики как люди, с бабами своими в кино ходют... — она словно задохнулась от ненависти к мужу. — А я... Одна, как дура, с детьми маялась, пока ты там... А теперь опять? Нет уж, на-кося выкуси. Думаешь, молчать буду? На-кося! — сунула она в лицо мужу фигу. — Пиши, Василий Петрович.

— Замолчи! — вскинулся на нее Иван.

— Назаров! — осадил его майор и внимательно посмотрел на женщину. — Слушаю, Настя.

— Ох, дура... — раскачивая головой, пробормотал Иван и запрятал лицо в руки. — Ох, дура...

— Пусть дура, — крутанулась к нему Настя, — но и гад этот у меня попляшет! Пиши, Василий Петрович, — повторила она. — Думаешь, икру эту дети мои ложками едят? Как бы не так. Он после колонии рыбину лишнюю боится в дом принести. А икру солит да балык коптит для Павла Волкова. Это он, гад ползучий, моего дурака браконьерить подговорил. И сети ему новенькие припер.

— Та-ак... — протянул майор. — Пстой-ка, Настя. — Он посмотрел на смикшего мужика, спросил: — Чистосердечное признание писать будешь? Сам знаешь, на суде зачтется.

Чуть приоткрыв рот, выжидающе смотрела на мужа Настя.

— Ну, соглашайся, Ваня, — тихо попросила она.

...Показания, которые дал Иван Назаров, были более чем любопытны. Оказывается, на него еще весной вышел Павел Волков, рабочий орсовского склада, и за бутылкой водки уговорил Ивана «батрачить» на него. Для этой цели Иван отрыл себе землянку в укромном месте на протоке, куда из года в год заходила нереститься кета, соорудил в тайге коптильню, тайком завез новенькие сети. С последней же водой, когда вот-вот встанет река, он должен был вывезти оттуда икру и холодного копчения балык. Покупатель, Павел Волков, брал у него товар оптом. Цена, конечно, была не столь солидная, продавай он икру закрученными пол-

литровыми банками, однако и риска попасться не было. Одним словом, в выигрыше были оба...

«Получается, что у Волкова был другой оптовый покупатель или даже несколько, и возможно, за тысячи километров отсюда, в тех же Среднеазиатских республиках или в Закавказье, куда он мог переправлять товар, — рассуждал Грибов. — Ну, а если он мог нанять одного «батрака», то почему исключается возможность двух или, скажем, трех?» На эту же мысль наводила и обнаруженная землянка на пожарище, а также показания Назарова.

— Как думаешь, Иван, кто еще из поселковых может «рыбачить» на этого самого Волкова? — спросил Грибов.

Назаров поднял голову, опустошенно посмотрел на майора.

— Товарищ начальник, честное слово не знаю, — прижал он к груди руки.

— Ну, может, все-таки вспомнишь, — допытывался Грибов.

Назаров виновато пожал плечами:

— Не знаю, но как-то я у Павла хмыря одного видел. Рюкзак у него с собой был, а в нем — сетка. Такая же, как у меня, японская. Ну-у, что Волков дал. Я ее сразу приметил. Сеток-то таких днем с огнем не сыщешь, а тут вдруг — и у него и у меня.

— Что за «хмырь»?

— Как зовут — не знаю, — пожал плечами Иван. — Он сразу же засобирался, рюкзак тот с сеткой завязал и отвалил. Правда, один раз я его видел. Года два, поди, прошло. Ну, когда у нас в клубе суд показательный был. Этот самый хмырь тогда тигра в тайге завалил, а парашютисты, что из лесоохраны, его и захмутили.

Майор прекрасно помнил этого «хмыря», как называл его Назаров. Семен Андреевич Рекунов, 1944 года рождения, рабочий леспромхоза. Совершил предумышленное убийство пришедшего в их места тигра. Его тогда взяли ребята из команды Шелихова. Взяли с помощью бригадира лесорубов Ивана Бельды. «Если только это действительно он, надо будет посоветоваться с Бельды», — подумал Грибов. Ведь лучше его никто Рекунова не знал: мужик в поселке новенький, в леспромхозе по оргнабору оказался, семьи не имел,

а со своим бригадиром как-никак общался не один день.

Грибов решил не перепоручать этот разговор своим сотрудникам и вечером подъехал к конторе леспромхоза.

Бригадир с первых же слов понял, в чем дело.

— Однако, Василий Петрович, если это Семен на реке сети ставит, трудно будет его взять, — хмуро сказал он. — Хитрый человек. И смелый очень. Помните, как два года назад он тигра в Кедровом урочище завалил? Ведь если б не парашютисты, так бы и ушел безнаказанным.

— Поэтому и прошу денек-другой полетать с нами. Ты его повадки знаешь. Вдруг наткнемся...

Видимо, что-то привлекло внимание командира машины, и вертолет начал делать левый разворот. Грибов протер уставшие от напряжения глаза, посмотрел в обзорное стекло, но кроме наваливающейся на них густо заросшей тайги ничего примечательного не увидел.

«А видимо, прав Верещагин, — подумал он. — И в землянке той браконьерил Татьянин брательник. Видать, Артем как-то вычислил его, оттого и не сказал ни летнабу, ни ребятам. Неужели тоже «батрак»?»

— Гляди-ка, Петрович, — позвал пилот. — Да не туда. Вон, чуть левее...

Грибов посмотрел в ту сторону, куда кивнул командир машины, но кроме очередного медведя, мелкой рысцой трусившего к зарослям, ничего не увидел.

— Ну, Петрович, — усмехнулся пилот, — видно, комиссоваться тебе пора: глазоньки-то совсем не видят. Смотри внимательней. Вишь, медведь ямку под бережком разрыл? То-то и оно. Видно, тут кто-то кетой балуется, а внутренности в ямы зарывает, дабы рыбнадзор это место не оприходовал.

Только теперь Грибов увидел под берегом неглубокую ямку, вокруг которой валялись рыбы потроха.

— Значит, еще один, — резюмировал майор, — Сделай-ка круг, может, его стоянку увидим.

Машина, зависшая над водой, дрогнула и, нагоняя воздушным потоком мелкие частые волны, пошла вперед. Поднявшись метров на сто, пилот сделал один круг, второй, однако ничего подозрительного не было.

Неожиданно за спиной раздался голос Лаптева:

— Что, товарищ майор, нашли чего?

— Вроде того, — отозвался Грибов, поворачиваясь к командиру машины: — Посади-ка «стрекозу» вон там, — кивнул он на широкую прогалину между деревьями. — Придется прочесывать.

— Слушаемся, товарищ начальник, — весело отозвался пилот и тут же спросил озабоченно: — А к награде представишь? Все-таки, как пишут в газетах, с риском для жизни, выполняя особо ответственное задание по задержанию особо опасных преступников, не щадя драгоценной жизни, они, простые советские труженики неба...

— Будет тебе, — отмахнулся майор.

Пока командир выводил вертолет на посадку, Грибов устало распрямился, поднимаясь, жестко растер поясницу и вышел в салон. Нештатники собрали карты и теперь смотрели на майора. Около двери пристроился бортмеханик.

— Значит, так, ребята, — сказал Грибов, окинув взглядом парней. — Вроде бы еще одного нащупали. Так что прошу соблюдать осторожность.

Они облазили весь квадрат подступающей к реке тайги, однако не только землянки с дымокурором, но даже старого костровища не нашли. Через пару часов безрезультатного поиска собрались у разрытой медведем ямы, один из нештатных рыбинспекторов зло сплюнул.

— Может, зря вовсе здесь мыкаемся. — Он покопался на вертолетчиков, которые возились у опустившей лопасти машины, пробормотал негромко: — Может, те же самые летуны поставили сеть на ночь, а поутрянке очередным маршрутом вытащили ее вместе с рыбой. Следов-то никаких.

— Да нет, — отозвался Лаптев, — похоже на то, что здесь кто-то серьезно порыбалил. — Он кивнул на раскопанные медведем потроха: — Такого с одной сетки не наполоскаешь.

Молчал Грибов. Ковырлял носком сапога землю старший участковый инспектор Александр Ефимович Лаптев. Подошел командир машины, откашлялся, сказал виновато:

— Товарищ майор, лететь надо. До сумерек часа три, а нам еще груз забросить старателям. Можем не успеть.

Грибов кивнул, соглашаясь, повернулся к Лаптеву:
— Значит, так, капитан. Ты с Бельды продолжаешь прочесывать этот берег, а я с ребятами переправлюсь на тот. Ведь этот ловчила кету потрошить мог и здесь, а скорон соорудить на другом берегу.

— Василий Петрович, — неожиданно вмешался молчавший до этого Бельды, — а ведь этот человек мог и ниже по течению расположиться. А сюда бережком подвигался, на ночь ставил сеть, потрошил утром рыбу — и опять к себе.

Майор посмотрел на Лаптева:

— Что скажешь, капитан?

Александр Ефимович неопределенно пожал плечами.

— Всякое может быть. Но гражданин, видно, серьезный.

— Тогда так, — принял решение Грибов. — Мы переправляемся на тот берег и прочесываем его до возвращения вертолета, вы же с Бельды лодкой спускаетесь по Кедровке. Чем черт не шутит.

На том и порешили, договорившись, что вертолет подберет их обратным рейсом.

Загребая ладонями воду, Лаптев несколько раз плеснул себе в лицо, сняв форменную фуражку, смочил начинающие редеть волосы. Давно уж не плавал он на «резинке», как пренебрежительно окрестили старожилы надувные резиновые лодки. Все больше на дюралевой «казанке» с подвесным мотором рыбачил. А эта... С тонким прорезиненным днищем, под которым бугрилась вода, и с надутыми бортами, казалось, ткну — и прорвется, она выглядела столь ненадежной, что старший участковый инспектор поначалу даже боялся сделать неверное движение, чтобы не перевернуться. Однако лодчонка свободно держала обоих, а главное — была послушна любому движению небольших весел, которыми ловко подгробал в самых опасных прижимах Иван. До этого им как-то не приходилось близко встречаться — леспромхоз в нескольких километрах от райцентра располагался, и капитан только удивлялся ловкости нанайца — казалось, что тот родился с веслами в руках, настолько легко и свободно он обращался с лодкой, успевая всматриваться в прибрежные заросли. Собственно, даже не тайга их

интересовала, а пологие участки берегов, где мог бы причалить браконьер.

Капитан милиции Лаптев не первый раз гонялся по речным протокам за промышляющим людом, порой ему было достаточно одного-единственного взгляда, чтобы увидеть едва приметные следы, однако, когда Иван вдруг прищурился на правый, густо заросший кустарником берег и, пробормотав невнятно: «Похоже, здесь», начал ловко подбрасывать веслами, выводя лодку из стремнины, капитан только прицокнул языком, подивившись наблюдательности Бельды. Сам он только сейчас рассмотрел одну-единственную свежесломанную ветку, кроме которой больше ничто не говорило о том, что в этом месте могли выбираться на берег люди.

Успевший за годы службы насмотреться всяких разных браконьеров, Лаптев расстегнул кобуру и вдруг почувствовал, как неприятным холодком засосало под ложечкой. Хорошо, если очередной любитель икры отсиживается где-нибудь подальше в таежной чащобе, а если наблюдает за ними?..

Бельды между тем аккуратно подвел лодку к берегу и, когда она зашуршала по прибрежной гальке, ловко выпрыгнул на отмель. Вслед за ним вылез Лаптев, привычно осмотрелся, кивнул согласно:

— Вроде здесь. Аккуратный, сволочь. Следы ветками замел. — Он подумал немного, потом добавил: — Ты того, оставайся у лодки, а я попробую его нащупать.

— А может, вдвоем?

— Не надо. Лучше подстрахуй меня.

Если у воды этот добытчик почти не оставил следов, то наверху, за кустарником, их было больше чем достаточно. Вытоптанная трава, где он вытаскивал лодку с уловом, четко вдавленные в землю отпечатки сапог. Лаптев, прячась за деревьями, прошел с сотню метров, остановился, невольно потянув носом. Пахло копченой рыбой. Он достал пистолет, чуть сдвинул фуражку. Вроде никого.

Стараясь не хрустнуть веткой, он перебежал от дерева к дереву, как вдруг увидел лежащего на траве мужика. Кажется, тот дремал, растянувшись на спальнике. Неподалеку, чуть обвиснув резиной, сушилась лодка. Похоже, добытчик был один. Лаптев чуть

подождал, прикидывая возможную опасность, вскинул пистолет.

— Стоять! — громко скомандовал он и, увидев, как дернулся вскочивший на ноги мужик, добавил: — Только без глупостей.

Когда он вывел его к реке, где томился в ожидании Бельды, добытчик вдруг остановился, ошалело уставился на бригадира лесорубов.

— Иван... — выдохнул он. И вдруг скривился, будто от зубной боли: — Что ж ты меня... сука-а...

Лаптев посмотрел на Бельды:

— Что? Тот самый?

— Он, — хмуро кивнул бригадир. — Семен Рекунов.

IX

Верецагин возвращался из Ачинска.

В купе было душно, кондиционеры не работали, хотя безразличная ко всему проводница уверяла: «Так они ж включены на полную мощность», и Верецагин вышел в тамбур, открыл окно. Сразу же рвануло свежим порывом ветра, стало легче дышать.

Из соседнего купе вышел мужчина в тренировочном костюме. Поинтересовался насчет времени и, решив, что можно еще помять бока на вагонной полке, ушел. Верецагин проводил его глазами, пробормотал тихо:

— Итак, мы имеем...

А имел он на сегодняшний день информацию довольно-таки скудную. Сорокалетней давности скупые рапортчики и протоколы Ачинского архива, подшитые в выцветшие папки, не очень-то вдаваясь в подробности, говорили о том, что 16 июля 1945 года в городе Ачинске не вышло на работу два человека: завскладом — военнослужащий, сержант Калмыков Василий Борисович, 1926 года рождения, и рабочий того же склада Иван Комов, 1929 года рождения, уроженец деревни Ченцы на Смоленщине. Поиски результатов не дали, и только месяц спустя в реке Чулым, под корягой, рыбаки обнаружили труп, при опознании которого выяснилось, что это Иван Комов. Проведенная экспертиза установила, что Комов был убит выстрелом из пистолета в затылок, затем к его ноге привязали камень и сбросили в Чулым. Стреляли из пистоле-

та системы «Вальтер». Розыск пропавшего сержанта Калмыкова ничего конкретного не дал. Проведенная ревизия склада показала крупную недостачу.

Сухие строки, скупой протокольный стиль.

Тяжелым глухим шлепком хлопнула одна дверь, другая. Из купе стали выходить наиболее нетерпеливые пассажиры, кое-кто подтаскивал багаж к выходу. Верецагин поднялся, прошел в свое купе, мельком глянул на полку — не оставил ли чего, случаем, снял с плечиков пиджак и, откинув крышку нижней полки, достал багажную сумку — чуть сбавляя ход, поезд подходил к городу.

Время было обеденное, однако начальник следственного отдела краевой прокуратуры был у себя. Увидев в дверях следователя, он невесело улыбнулся кончиками губ, кивнул ему на стул: садись, мол, чего стоять.

Неплохо знавший свое руководство, Верецагин понял, что Белов только что вернулся от большого начальства, где опять убежденные сединами, хорошо знавшие всю технику производства люди с укоризной, а то и с «кулачком по столу» говорили о сроках, незакрытых еще делах, о том, что «кое-кто ждет более весомых и быстрых результатов». Так было всегда. Можно было бы к этому и привыкнуть, и все-таки подобные вызовы «на ковер» оставляли в душе неприятный осадок.

И еще Верецагин понял, что Белову сейчас не до его впечатлений от Ачинска. Дело, видно, поставлено на контроль, и он без лирических отступлений пересказал трагедию сорокалетней давности.

Когда закончил, начальник отдела побарабанил пальцами по столу, спросил:

— Ну а выводы?

— Выводы... — Верецагин откинулся на спинку мягкого стула. — Выводы такие, Андрей Алексеевич. Видно, этот самый паренек — Комов чем-то мешал Калмыкову, который был в то время завскладом. Или знал о его махинациях — недостача-то огромная вскрылась. Тому и пришлось убрать его. А сам скрылся.

— Уж очень у тебя все просто, Петр Васильевич, — недовольно пробурчал Белов. — Убрал с дороги... скрылся... Учти, это сорок пятый год. Война кончи-

лась, на складах неразбериха — грамотных-то людей почти не осталось. А тут вдруг с такого хлебного места дезертировать.

— Сам споткнулся на этом. И все-таки...

— Только не надо про интуицию, — предостерегающе поднял руку Белов.

— Да, но ведь сержант Калмыков так и не найден.

— Милый ты мой, — протянул начальник отдела, — я-то постарше тебя и кое-что помню. Да знаешь ли ты, что в те годы столько людей пропало, что... При чем не на фронте, а здесь, в тылу. А ты — не найден...

Он помолчал, потом добавил:

— Кстати, и дело-то, видимо, закрыто, что даже общесоюзный розыск ничего не дал?

— То-то и оно, — кивнул Верецагин. — Следователь, который вел его, предусмотрел и тот вариант, что Калмыков мог воспользоваться документами убитого Комова и скрыться с ними подалее от Ачинска.

— Ну и?..

— Тот же результат. Нигде, ничего. Видимо, документы водой вымыло, когда парня этого в реку спустили.

— Вот так-то, — устало резюмировал начальник отдела. — Кстати, какие функции исполнял этот несчастный склад?

— Да обычные. В то время очень нужные, и давали они такой простор воровству, что... — Верецагин даже развел руками. — Понимаете, через Ачинск шли военные эшелоны на Дальний Восток. Причем, как известно, командование спешило, и кое-какие из них останавливались в Ачинске буквально на считанные минуты, чтобы интенданты могли взять на военных продовольственных складах продукты. Считайте, от американских консервов до кофе с шоколадом — все там было. Ну а кто в спешке содержимое ящиков, мешков да упаковок пересчитывать будет? А некоторые вообще не успевали загрузиться и затоваривались уже на следующем пункте. Ну а тут все это дело налево шло. Поначалу шито-крыто было, а потом вдруг на толкучках стали появляться дефицитные продукты. Почти в открытую зашевелились барыги. Ачинская уголовка кой-кого прихватила, те и раскололись: мол, со складов это военных. Вот тут-то как раз и пропали Калмыков с Комовым.

— На них конкретно кто-нибудь из этих барыг показывал? — спросил Белов.

— В протоколах допросов этого не было.

— Вот оно и выходит, дорогой ты мой, что за всем этим стоял еще кто-то, третий, имевший неограниченный доступ к товарам. И который, почуввав опасность, решил пожертвовать Комовым с Калмыковым, тем самым заметая свои следы. Видимо, это военнослужащий, так как трофейный «вальтер» не у каждого мог быть.

Белов посмотрел на следователя.

— Ну, что можешь возразить?

Верещагин неопределенно пожал плечами.

— Практически ничего. Тем более, что при этих условиях складывается вся пирамидка версии.

— Вот именно. А посему я бы на твоём месте проверил по Кедровскому райвоенкомату всех бывших военнослужащих, части которых базировались в Ачинске. Вдруг всплывет кто? Тогда можно будет искать причинную связь между ним и убитым Шелиховым.

Верещагин кивнул, соглашаясь, потом вздохнул тяжело:

— Извините, Андрей Алексеевич, но мне уже сделали эту выборку. Причем сразу же, как только стало известно о существовании ачинского «вальтера»!

— Ну и?..

Верещагин виновато развел руками:

— Нет в районе таких.

Галина приезде мужа обрадовалась. Дочь Верещагиных гостила у бабушки, так что можно было сходить вечером к кому-нибудь в гости или хотя бы в тот же драмтеатр, благо кассирша жила по соседству и почти всегда предлагала билеты. Они уж и так гадали, и эдак, как вдруг зазвонил телефон.

— Ну вот, к вам слон, — недовольно пробурчала Галина, беря трубку. Какое-то время слушала, потом повернулась к мужу: — Как знала — тебя.

Говорил Грибов.

— Петр Васильевич? Извини, ради бога, что от дел домашних оторвал, но тут такое...

— Ладно уж оправдываться. Что случилось?

— Случилось... Не то слово. У вас там мотопатруль взял Степана Колесниченко и Павла Волкова.

Про Степана ты все знаешь, насчет Волкова справка такая: судимый, когда освободился, вернулся по месту прежней прописки. Сейчас работает подсобным рабочим в железнодорожном орсовском складе. Данные еще не проверены, но, похоже, является оптовым скупщиком икры у браконьеров. Теперь дальше. При нем пистолет находился, «вальтер»...

— Чего?.. — выдохнул Верещагин.

— Пистолет, говорю, вроде бы объявился, — повторил Грибов. — Ну вот. Когда их в отделение доставили, то Колесниченко по разосланной нами ориентировке с ходу же опознали и этапировали к нам.

— А этот... Волков?

— Задержан. Сейчас им в горуправлении занимаются.

— Ясно, ясно... — Верещагин почувствовал, как его начинает пробирать радостная дрожь: неужели повезло? — Слушай, Василий Петрович, а что Колесниченко? Признался?

— Как на духу все рассказал: и про землянку, и про пожар в ней. Оказывается, к нему в день убийства Шелихов приходил, пригрозил, что если тот с повинной не придет, то Артем заявит сам. Ну, Степан испугался и с ходу помчался к дружку своему, этому самому Волкову. Он, понимаешь ли, на него баграчил. Тот сунул Степану полтыщи и приказал залечь где-нибудь. Колесниченко так и сделал.

— Как их взяли?

— Подрались они. А тут патруль.

— Что говорит Колесниченко о пистолете?

— Клянется, что впервые его увидел, когда Волкова с пола поднимать стал.

Положив трубку на рычажки, Верещагин в задумчивости потер подбородок, позвал жену:

— Галочка!

— Ну? — недовольно отозвалась Галина, появившись в дверном проеме. — Что, опять все наши праведные замыслы отменяются?

— Ни в коем случае, — как можно бодрее сказал Верещагин. — Сейчас несколько звонков сделаю — и я в fullestем твоём распоряжении.

Следователь, который вел дело Павла Волкова, был еще у себя. Подняв телефонную трубку, он выслушал Верещагина, сказал:

— Арестованный отказывается от оружия, говорит, что это Колесниченко подбросил.

— Отпечатки пальцев сняты?

— Конечно.

— А заключение по оружию готово?

— Пока нет. Баллистики сделали контрольный отстрел, пуля отправлена в НТО. Завтра утром будет готово.

Х

В кабинете, где допрашивали подследственных, стояла неуютная тишина, и казалось, что даже уличные звуки не долетают сюда сквозь плотные окна с решетками. В ожидании Волкова Верещагин ходил от стола к столу и думал о предстоящем допросе. Он еще в глаза не видел задержанного, но по тем протоколам допросов, что вел до него следователь Иванчук, чувствовал — или это очень крепкий орешек, с которым придется повозиться не один день, или же мужик действительно не виноват и Колесниченко специально затеял драку, чтобы подсунуть ему пистолет. «Мотивы? — спрашивал Верещагин и тут же сам отвечал: — Отвести от себя обвинение в убийстве, тем самым подставив компаньона». Все было логично. И даже отпечатки пальцев, обнаруженные на рукояти «вальтера» и снятые с Волкова, были идентичны. Ведь мог же предусмотрительный Колесниченко быстренько стереть свои и, прежде чем сунуть в карман Волкова пистолет, приложить его руку к «вальтеру»? Мог. Смущало одно: когда в НТО разобрали пистолет, то на его щечке с внутренней стороны был обнаружен четкий отпечаток пальца, не принадлежащий ни Волкову, ни Колесниченко. Значит, был еще один — третий, кто мог хранить у себя оружие, заботиться о нем, поддерживая в надлежащей сохранности, а следовательно — и быть прямым убийцей Артема Шелихова. На запрос в центральную картотеку ответа пока что не было.

Ввели Волкова. Отпустив конвоира, Верещагин прошел к столу и только после этого сказал:

— Чего стоять, Павел Викторович, присаживайтесь.

— Вы присядите... — угрюмо ответил тот, опускаясь на стул.

И пока он шел от двери, Верещагин успел рассмотреть и оценить мужика. Размашистые плечи, широкая выпуклая грудь. Вдоль мощного торса свисали тяжелые, узловатые руки. И он невольно подумал о Колесниченко, который смот «вырубить» заматеревшего мужика. Лиловые полукружья над заросшими жесткой щетиной скулами наглядно говорили о том, что досталось Волкову неплохо.

— Не понял? — вопросительно посмотрел на него Верещагин.

— А чего тут понимать? — зыркнул колючим взглядом Волков. — Сначала — «присаживайтесь», а потом нары в бараке.

— Что ж, и так бывает, — согласился Верещагин и тут же спросил: — Значит, вы считаете, что задержаны без основания?

— А какие тут основания?! — взвился Волков.

— Да вы уж сидите, — успокоил его Верещагин.

— Ага... — согласился тот, опускаясь на стул. — Так вот, я и говорю: какие тут могут быть основания, если ни за что ни про что хватают человека — и в кутузку. В конце концов, мы тоже не лыком шиты и кой чему обучены. И предупреждаю: если не отпустите — прокурору жаловаться буду.

Вполуха слушая обычную, давно отработанную, а потому очень скучную нахрапистую болтовню, Верещагин изучал Волкова, думая об одном: мог ли он настолько хладнокровно застрелить Шелихова, а если мог — то откуда у него появился «вальтер», из которого более сорока лет назад был убит Комов?

— Ну хватит, Павел Викторович, — оборвал его Верещагин. — Давайте-ка по существу. Я — старший следователь краевой прокуратуры Петр Васильевич Верещагин.

— Вот как! — вскинул глаза Волков. — А я-то думаю: то один мытарил, про пистолет какой-то выспрашивал, теперь другой... — И тут же, словно нервы его более пяти минут не могли выдерживать спокойного тона, взвился со стула, и без того неприятно-жесткое лицо стало откровенно злобным: — Да пошли вы все...

— Тише, тише, — осадил его Верещагин.

— Тише, говоришь, — сузил глаза Волков. — Да какое «тише», когда вы мне откровенную липу шьете. Ствол я, видите ли, с собой таскал. Да не видел, понимаешь ты, в глаза не видел никакого ствола! И тот,

кто мне в карман его сунул, тот пускай и отбрехивается. А то ишь ты, тише, — с kloкочущим хрипом выдал он.

«А если действительно он тут ни при чем?» — невольно подумал Верецагин и откровенно внимательно посмотрел на сникшего Волкова. Тот почувствовал взгляд, как-то по своему расценил его и уже более миролюбиво сказал:

— Думаете, не знаю, гражданин следовательно, что за хранение ствола полагается? В том-то и дело, что знаю. А тут, — с неподдельным отчаянием махнул он рукой, — сидел еще...

— Это верно, — согласился с ним Верецагин. — Однако здесь не о простом хранении оружия речь идет...

— А чего еще? — вскинулся Волчара, и опять откровенно злобный взгляд уперся в Верецагина.

— Об этом потом, а сейчас ответьте-ка мне на один вопрос: где вы находились в тот вечер, когда был убит Артем Шелихов?

— Это что, тот парень из поселка?

— Он самый.

— Как «где»? — удивился Волков. — Дома, конечно.

— Вот как? — не менее его удивился следовательно. — А откуда вы знаете, в какой именно день он был убит?

— Ой, начальник... — отмахнулся руками Волков, — только не смей меня да на пушку дешевую не бери. Об этом весь поселок талдычит. Так-то вот. — Он усмехнулся, поудобнее сел на стул, как вдруг его лицо стало меняться. Оно как-то округлилось, потом вытянулось, под щетиной выступила краснота, нервным тиком дернулось веко, в глазах появился неподдельный испуг. — А что... — на выдохе спросил он, — из этого ствола... того парня?

Минуты две стояла напряженная, страхом пронизанная тишина. И все это время неподвижные зрачки Волкова вопросительно сверлили следователя. Наконец Верецагин достал заключение дактилоскопической экспертизы, пододвинул его Волкову.

— Читайте.

Несмотря на огромную выдержку, тот трясущими руками взял подколотые листы, и было видно, как

врачки его бегают по отпечатанным на машинке строчкам.

— Ну?.. — уставился он на следователя, дочитав заключение до конца. — А я-то тут при чем? Я же говорил, что козел этот, Степан, мог его мне подсунуть.

— А теперь прочтите еще одно, — не обращая внимания на его слова, сказал Верещагин и протянул заключение сравнительной баллистической экспертизы.

И чем дальше читал это заключение Волков, тем более Верещагин убеждался, что стрелял не он и то, что один убит, а второй тяжело ранен именно из изъятого у него пистолета, — узнал только сейчас. Лицо Волкова как-то сразу одрябло, потеряло жесткость, на лбу выступила испарина. Какие-то строчки он перечитывал дважды, видимо, не понимая их смысла, а когда наконец-то дочитал до конца, безвольно опустил голову, вздрагивающей рукой положил протокол экспертизы на краешек стола.

Молчал и Верещагин.

Казалось, прошла целая вечность, когда Волков чуть приподнял подбородок, выдавил из себя глухо:

— С-сука...

— Это вы ко мне? — поинтересовался Верещагин.

Волков вскинул на следователя глаза, пробормотал:

— Что ж я, самому себе враг? К нему, — кивнул он в сторону окна. — К Степану, козлу вонючему...

— С какой целью вы приехали в город? — спросил Верещагин.

— Чего? — словно не понимая, о чем спрашивает следователь, переспросил Волков и тут же поправился: — С целью какой? Так ведь к Степану. Мы ж кореша старые. В общем, в колонии срок тянули. В одном отряде были. Баланду, как говорится, из одной плоски хлебали. М-да, — протянул он и, видимо отходя от первого шока, более спокойно посмотрел на Верещагина. — И вот... дохлебались. Он как-то прибежал ко мне, рожа вся опухшая, с похмелья, ну и говорит: «Выручай! Схрончик с рыбой шурык накрыл. Сваливать надо, а денег нет. Выручи, скоро отдам». А я как раз подкопил малость, мотоцикл хотел купить. В общем, выручил. А тут на днях от него весточка пришла. Приезжай, мол, в город по такому-то адресу, должок верну. Сам-то он не мог в поселок сунуться, коль за ним дело такое. Это ж надо... Шурыка собственного из-за поганой рыбы шлепнуть.

Волков замолчал, облизал пересохшие губы, поискал было глазами графин с водой, но, не найдя, тяжело вздохнул.

— Вот я и привалил к нему. Сунулся, а он у плюшки какой-то обретается. Ну, поддали малость. Она, смотрю, ко мне клеится, а он то ли приревновал, а может, специально для этой цели к себе заманил... Ну, когда я отвернулся — он меня бутылкой по черепу. В общем, когда в ментовке, извините, в отделении пришел в себя, мне какой-то пистолет суют и говорят: «Признавайся, откуда у тебя это?» Я обалдел, гражданин следователь. Да и как я признаюсь, если впервые вижу! — вскинул руки Волков.

Верецагин внимательно слушал задержанного, пытаясь на интонации и полутонах отличить ложь от правды. Все было вроде бы гладким у Волкова, и только когда он вскинул руки, они опять были такими же уверенными, как полчаса назад.

Перед тем как уезжать в Кедровое, Верецагин зашел в больницу, где лежал Кравцов. Приняла его лечащий врач Игоря, немолодая уже женщина с подкрашенными волосами, и, узнав, что он пришел справиться насчет москвича, улыбнулась мягко:

— Первый раз встречаюсь с таким популярным больным. Собкор их газеты чуть ли не каждый день навещает.

Она кивнула на кресло-«ракушку», приглашая Верецагина садиться, достала из стола пачку сигарет, протянула гостю.

— Что, не курите? — удивилась она. — Обычно ваш брат следователь...

Верецагин ухмыльнулся. Понравилась ему эта женщина. Чем? Не понял еще. Но, видимо, такие же вот профессионалы вытащили и его из реанимационной, когда он лежал в госпитале на грани жизни и смерти.

— Раньше-то курил, — признался он. — А вот после ранения...

Врач удивленно вскинула подведенные брови и даже красивую элегантную зажигалку, видимо чей-то подарок, забыла потушить.

— Да легкое, понимаете ли, прострелено. На границе еще. Вот врачи и отсоветовали. Если, говорят, жить, конечно, хочешь.

— Лихо, — покрутила головой врач. — В ваши-то годы... Знаете, тогда и я вам не советую. Сама понимаю, дрянная привычка, а поделаться с собой ничего не могу. Насмотришься на страдания, так не то что закуришь — запынешь. Отделение-то наше — архисложное, порой уже перешагнувших линию бытия к нам доставляют, вот и не всегда удается...

Она глубоко затаилась, сунула зажигалку в накладной кармашек, на котором синими нитками было вышито: Мезенцева Л. М.

— В общем, сами понимаете, — чуть грубовато добавила она. — А насчет Кравцова... Одно могу сказать точно: от смерти спасли. Организм у парня сильный — выдюжил. А вот насчет того, чтобы переговорить с ним... — Она задумалась, стяхнула пепел в керамическую плошку. — Видите ли, пулей задеты кое-какие нервы, так что, дорогой мой, будем стараться.

— И все-таки: говорить он скоро начнет?

— Не знаю, — откровенно призналась Мезенцева. — Делаем все возможное. К нему мать прилетела — дюет и ночует в палате. Так что, сами понимаете, и уход за больным, и забота. Кстати, хотите с ней поговорить? — неожиданно предложила она.

Первое, на что обратил внимание Верецагин, когда Мезенцева представила его невысокой миловидной женщине, — это уставшие от бессонных ночей глаза, которые темнели на открытом лице.

— Кравцова. Ирина Васильевна, — бесцветным голосом сказала она и, словно ища поддержки, повернулась к врачу.

— Знаете что, — неожиданно предложила Мезенцева, — располагайтесь пока в ординаторской, а я больных обойду.

Когда она ушла, оставив на низком столике два стакана с дымящимся чаем и кулек конфет, Верецагин откашлялся, посмотрел на сгорбившуюся в кресле женщину. Несчастье с сыном подломило ее основательно, и он невольно подумал о матери Артема.

— Ирина Васильевна, — как можно бодрее начал он, — Игорь на ноги скоро встанет, ему одежда нужна будет, так что я сегодня уезжаю в Кедровое и с первой же оказией перешлю его вещи.

— Хорошо, — негромко отозвалась она.

В ординаторской опять стало тихо. Не зная, какими

словами успокоить эту женщину, Верещагин пододвинул ей стакан с чаем, сказал:

— Да вы успокойтесь. Ведь на поправку пошло. Она вскинула на него глаза, спросила:

— Извините, у вас дети есть?

Верещагин замялся.

— Конечно. Дочь. Наташка.

— И все?

— Да...

— Рожайте еще, — тихо, но уж очень убедительно сказала Кравцова. — Обязательно.

Верещагин хмыкнул. Это был камень преткновения их семейной жизни. Галина не один раз заводила об этом разговоры. Даже как-то ультиматум поставила. Но... то ли ой, Верещагин, в свои тридцать три года устал денно и ночью копать в человеческой грязи, то ли еще от чего, но год от года, под всеми мыслимыми и немыслимыми предложениями оттягивал этот момент. И только в душе, стыдясь даже думать об этом, прекрасно осознавал причину этой оттяжки. Видимо, от той же усталости он просто хотел хоть мало-мальского комфорта в жизни, когда после работы и командировок можно спокойно прийти домой, мимоходом поинтересоваться, как идут дела у Наташки, а потом посмотреть телевизор, сходить куда-нибудь с женой. А маленький ребенок... Уж он-то хорошо знал, что это такое, когда нет бабушек-нянек, которым можно сплать хныкающий, орущий по ночам, ревуний днями крохотный комочек жизни. И он боялся этого, не решаясь признаться даже самому себе.

Какое-то время молчали, наконец Верещагин попросил:

— Ирина Васильевна, расскажите о сыне.

— О сыне? — эхом повторила мать Игоря и безвольно кивнула. Волосы у нее были светло-каштановые, волнами спадающие на плечи. — А что рассказать?

— Ну-у, какой в жизни? Как журналист.

Кравцова отпила глоток чая, поставила стакан на столик.

— Ну, в редакции... Вроде хвалили его. Несколько раз премию приносил за лучшие материалы. А в жизни... Как вам сказать, не сахарная она у него была. Всего сам добивался. И в учебе, и на работе. Понимаете, честный он. И это я вам не как мать говорю.

Нет. Просто шишек за это много получал. Я уж и ругала его — будь разумнее, не лезь куда не надо, а он только смеялся в ответ и говорил: «Хоть, мать, ты и умнее меня, а тут я с тобой не согласен. Стоит раз подлецом оказаться...» В общем, если знал, что где ловит кто-то или еще чего, то говорил об этом вслух. А оно, знаете, не каждому такое понравится.

— Это уж точно, — согласился Верещагин. — Ирина Васильевна...

— Извините, — перебила она его, — а как это случилось? Ну, что Игорь...

Верещагин замаялся, не зная, что ответить.

— Пока не знаю, — признался он. — Но есть предположение, что Игорь бросился на помощь человеку, о котором хотел писать...

Позади остались больничные корпуса. Верещагин медленно шел к автобусной остановке, мысленно прокручивая рассказ Кравцовой. Он еще раз подтверждал версию, что Игорь, распроставшись с Шелиховым, пошел к гостинице, услышал выстрелы и бросился обратно. Подбежав к тому месту, где был убит Артем, он пошел по окровавленному следу в кедровник. Наткнувшись на лежащего Артема, побежал за преступником. И, видимо, догнал его. По пуле, извлеченной из ствола кедра, можно было предположить, что первый раз в Кравцова промахнулись и тот успел ударить стрелявшего в лицо — кровь другой группы на пальцах, и тогда в Игоря выстрелили почти в упор. При чем стреляли в голову. Чтобы насмерть...

XI

Таким же ясным был августовский день, как и в тот раз, когда Верещагин сошел на станции Кедровое, чтобы заняться расследованием убийства до той поры неизвестного ему Артема Шелихова. Все было то же. Да только чуть поостыло зенитное солнышко, и тягучая истома бабьего лета вяжущей душу тоской лежала на высаженных вокруг вокзала деревьях, на той же девице в газетном киоске, на одиноком мужике в форменной железнодорожной фуражке, который уныло махал обшарпанной метлой на длинной деревянной ручке, пытаясь согнать в одну кучу редкие бумажки, окурки, смятые пачки из-под сигарет, начинающие опадать листья. Странное чувство одолевало Вереща-

гина в эту предосеннюю пору, когда вроде бы только жизни радоваться, а он с непонятной тоской ждал осеннюю слякоть, а главное — короткие дни, начиная отсчитывать уходящие вслед за летом минуты. Им овладевало лихорадочное состояние взбудораженного человека. Словно после долгой спячки напала дикая работоспособность, на пределе работал мозг, и он весь отдавался работе, патологически боясь потерять хотя бы час этого непонятного времени.

Предупрежденный телефонным звонком, Грибов уже ждал следователя и обрадовался ему, как давнему старому другу. Майор был истинным дальневосточником, и если ему понравился человек, то оставался другом на всю жизнь. Верецагин как-то задумался над этой характерной черточкой коренных амурчан и пришел к выводу, что это исторически сложившаяся черта характера, когда люди встречали друг друга не по одежке, а познавались в тех трудностях и бедах, которые им приходилось переносить, обживая край.

— Ну здорово, Петр Васильевич, — увалисто поднялся из-за стола Грибов и по-медвежьи тиснул Верецагину руку. — Как бога ждем тебя, а он, видите ли, по городам все разъезжает. Оно, конечно, столовки-то там гораздо лучше нашей. Но, дорогой ты мой, дело это решено в нашу пользу. Я тут непароком жене рассказал, с какой миной ты в нашей харчевне оладьи ел, боясь к кофию бобовому притронуться, так она сразу же на вид поставила, недотепой обозвала и приказала, чтобы ты у нас столовался.

— Да ты что? Чего я?.. — в растерянности от такого приема буркнул Верецагин.

— Все, дорогой ты мой, все, — поднял короткопалую ладонь Грибов. И опять Верецагин успел рассмотреть татуировку на кисти: флотский якорь, криво выколотое сердце, произнесенное стрелой, и слово ВАСЯ.

«Классическая дань юности дальневосточной моде», — подумал он и вспомнил, как ему тоже хотелось выколоть у себя что-нибудь такое на груди и плечах, когда к ним в деревню вернулся с флота сосед и, надев наимоднейшую в ту пору рубашку с широким отворотом, щеголял своими наколками, повергая в дикую зависть парней и мальчишек. Ах, как хотелось ему сделать самую мужественную татуировку чтобы пройтись потом этаким петухом перед Любкой из восьмого класса. Однако в их Шатурском районе достойных ма-

стеров не оказалось, а когда его ближайший дружок и сподвижник по дракам Петька Щербатый попытался провести эту экзекуцию самостоятельно, приняв для смелости стакан самогона, и был своим же отцом выпорот нещадно, это отбило охоту колотья не только Верещагину, но и всем остальным ребятам.

— Ну ладно, лирику в сторону, — посерьезнел Грибов. — Мы тут тоже без дела не сидели. Всю Кедровку прочистили. Двоих по-крупному взяли. Один — Иван Назаров, тут же признался, что на Волкова работал. Второй — Семен Рекунов.

— Это что, тот, который тигра убил, а Шелихов с парнями помог его взять? — уточнил Верещагин.

— Ну да. Он этим годом освободился и опять в наши края. Видать, понравилось ему тут очень. Тайга-то вона какая, везде не уследишь. Вот и пристроился рыбалить. Причем сети травил выше по течению, чтоб, значит, рыбнадзор не засек. А на таборе землянка такая же, как у Колесниченко, соли мешок, банки для икры, несколько бочат с соленой рыбой, коптильня. Короче говоря, на широкую ногу дело поставлено.

— И что, тоже признался, что на Волкова батрачил?

— Ишь ты, — усмехнулся Грибов. — Что ж он, дурак, что ли, сам на себя клепать? Твердит, что поохотиться в тайгу забрался, истосковался, мол, по воле в колонии. А тут вдруг и наткнулся на все это дело. Хотел уж было возвращаться, а тут откуда ни возьмись — милиция.

— А почему думаешь, что именно на Волкова батрачил? — спросил Верещагин.

— Так здесь и гадать-то нечего, — устало сказал Грибов, и Верещагин вдруг увидел, что майору тоже приходится спать далеко не по семь часов в сутки, как предписывают врачи. Хоть и бодрился заместитель начальника по уголовному розыску, но устал он основательно.

— Так вот я и говорю, гадать-то особо нечего, — повторил Грибов. — Сети у всех троих одинаковые. Причем импортные. Видно, из одной партии. Таких у нас днем с огнем не сыщешь. И другое: скажи-ка ты мне, следователь Верещагин, на какие такие шиши, а главное — где бы смог приобрести только что освободившийся Рекунов нанайскую лодку, эту самую японскую сеть и прочую всячину для обработки рыбы

и икры? К тому же землянка, чувствуется, была подготовлена для него заранее. И еще одна деталь: Волков, Колесниченко и Рекунов отбывали срок в одной колонии.

Он был именно такой, каким обрисовал Рекунова Грибов. Рослый, плечистый и весом, пожалуй, за девяносто. Скулы обрамляла густая борода, поверх которой на Верещагина смотрели настороженные глаза.

— Садитесь, — кивнул ему на стул Верещагин. — Старший следователь краевой прокуратуры Верещагин, Петр Васильевич.

— Это вроде как запанибрата, — усмехнулся Рекунов. — Так мы уж по старинке: гражданин начальник.

— Дело хозяйское, — согласился с ним Верещагин, внимательно изучая неудачливого мужика. — Ну что, я вас буду расспрашивать или сами желаете что сказать?

— Желаю! — будто ожидая этого вопроса и в то же время с напускной ленцой, сказал Рекунов. — Желаю знать, на каком таком основании хватают людей, а потом пьют им браконьерство. Да не просто рыбешку-другую, а прямо-таки цех рыбный. Что, своих местных прикрываете и решили на мне отыграться?

— Ну, какой же я местный, Семен Андреевич? — удивился Верещагин. — Кстати, а почему вы, вопреки предписанию, не устроились на работу, а скрывались с чужим оружием в тайге?

Видимо, на этот вопрос Рекунов давно определил ответ, и теперь он только хмыкнул, виновато разведя руками.

— Винюся, гражданин начальник. Но вы на мое место встаньте. По-человечески. Я весь срок на железобетонном заводе хребтину гнул. Мне пыль эта да цемент вот откуда въелись! — ткнул он себя в грудь. — Я по ночам откашляться не могу. И когда там, на нарах, кашлем надрывался, то единственная мечта была: освобожусь — и в тайгу махну.

— Ну, это понять можно, — согласился с ним Верещагин. — Правда, здесь и без того чистого воздуха хватает: тайга-то вон она, кругом. А вот карабин у вас откуда? Да не зарегистрированный к тому же. А это уже статья. Хранение огнестрельного оружия.

— Карабин тот в землянке висел, — хмуро отозвался Рекунов. — Вот я и попользовался им, если вы отпечатки пальцев имеете в виду.

Верещагин, слушая ответы Рекунова, теперь уже с откровенным любопытством рассматривал его. Это был классический случай «делового» человека. Постоянная страсть наживы двигала всеми его поступками, и ему было абсолютно все равно, на чем «делать деньги». Принципов или каких-либо угрызений совести здесь не было и быть не могло. Он хорошо знал этот тип людей, а также знал и то, что в сущности своей они неисправимы. Просто с годами становятся опытной, более ловко маскируют свои делишки, но чтобы исправиться...

— Ну хватит, Рекунов, — остановил он развесистую речь мужика. — Ответьте-ка мне вот на что: Волкова давно знаете?

— Это какого такого еще Волкова? — насторожился Рекунов. — Никакого я Волкова не знаю, — чуть погодя ответил он.

— Ну что ж, так и запишем. А Степана Колесниченко?

— Да что вы мне то одно шьете, то другое? — со злобой вскинулся Рекунов. — Не знаю я никого!

— Вот как? — удивился Верещагин. — А Колесниченко в своих показаниях говорит обратное. Будто вы в одной колонии срок отбывали и, как у вас говорят, корешили. Да-да, не удивляйтесь. Вы, Колесниченко и Волков. А также он дал показания о том, что Волков еще в колонии сколотил из вас «артель», пообещав обеспечить необходимым.

— С-сучонок, — выдохнул Рекунов и плотно сжал кулаки. Потом поднял глаза на следователя, сказал с откровенной неприязнью: — То, что было, — былшем поросло. Мало ли что эта гнида надумает. А если вы Волчару имели в виду, то так бы и спрашивали. А то... Волков какой-то. Я уж позабыл, как и фамилия-то его. Он же раньше освободился. Да и не видел я его еще ни разу. Так что, гражданин начальник, клейте это ваше браконьерство еще кому-нибудь. А с меня и моего хватит, — прохрипел он.

— Ну что ж, — пожал плечами Верещагин. — Я почему-то думал, что вы умнее. А за незаконное хранение огнестрельного оружия вам так и так под суд идти. Так что эти ваши увертки насчет чужой землян-

ки и рыболовных сетей ровным счетом ничего не дадут. Просто чистосердечное признание и помощь следствию могут быть учтены на суде. Что же касается Волкова, то он арестован и завтра будет здесь. Я могу уверить, что Волчара, как вы его именуете, вас не пощадит. И от карабина откажется. И тогда уж придется нести полную ответственность и за себя, и за него.

Когда Рекунова увели, Верецагин вложил протокол допроса в папку, запер сейф и, потянувшись, вышел из кабинета.

На улице было по-деревенски тихо. В теплой пыли, под забором, лениво дремала ушастая дворняга. Она чуть приподняла морду, хотела было твкнуть для порядка, но, видимо, сочла это излишним и опять сонно прикрыла глаза. В упоительной истоме бабьего лета набирались тепла пронырливые воробьи.

Осунувшийся, постаревший едва ли не на десять лет, Колесниченко мерил шагами камеру предварительного заключения и пытался сообразить, что же такое произошло с ним. А главное — убит Артем! Кем? За что? Еще не полностью оправившись от месячной пьянки и оттого путающийся в собственных рассуждениях, он пытался связать концы с концами.

— Господи! — Он обхватил голову руками, присел на топчан. И его, Степана, подозревают в том, что он убил Артема! Именно так вот и сказал следователь, который только что допрашивал его в кабинете Грибова. Он ему и показания Волчары зачитал, где тот говорил, будто он, Степан, грозился «пришить своего шурина за то, что тот по рукояти самодельного ножа узнал хозяина землянки». И про пистолет сказал, что это ему Степан подсунул, когда Волчара на полу валялся. Мол, тень на плетень хотел навести. А именно из этого самого пистолета Артемку-то того... А потом, мол, он, Степан, в город свалил, чтобы, значит, временно скрыться, а потом безвинного Волчару под вышку подвести.

— Господи-и-и... — едва не завыл Степан, раскачиваясь на топчане. — За что ж ты меня так? — Спазмы сдавили горло, он скривился и, уже не стыдясь самого

себя, заплакал. Громко, в голос. — Сука! Сука я проклятая! Водки... Водки мало было... На вот, захлебнись, когда к стенке поставят. Ох, ма-ма-а-а...

Вдруг он оторвал руки от лица, выпрямился, судорожно глотнул воздуха, и его бессвязное бормотанье заполнило тесное пространство камеры:

— Выходит, это он меня под вышку? А сам — чистенький? И следовательно... поверил. Ведь ладно как все получается. Чтобы срок из-за рыбы не тянуть, Артемку-то и того... А как же я мог его, если...

Словно напружиненный, Степан вскочил с нар, растер виски. Что-то очень важное ускользало от сознания, но он не мог собраться, поймать эту мысль.

— Так, — опять забормотал он. — Артемка сказал, чтобы я шел в милицию, и тут же поехал к себе. Ну да, он еще сказал, что вечером с журналистом каким-то встретиться должен. В гостинице. Так... Волчаре я об этом рассказал, когда тот был на складе. Так... Потом он пришел ко мне, сунул деньги, билет и сказал, чтобы я срочно сваливал. Ну да, билет тот был на вечерний поезд. Так... Я выпил еще стакан, бросил в чемодан вещи и поехал на вокзал. Так... До поезда оставалось часа два. Так... Нюрка из винного продала два пузыря, и я один выпил там же. У нее. Вместе с Васяней, грузчиком. Так... Что же потом?

Лихорадочно закусив губу, он опять сел на нары.

— Что ж потом? Ну да, выпили с Васяней. А потом? Проснулся, голова еще болела. Вошел мент, сказал, что я в городском вытрезвителе. Ну да. Мол, с поезда сняли. Пьяного. И прямо туда. Ага. Отдали вещи, деньги, записали фамилию... Та-ак, штраф уплатил тут же и поехал к Люське...

Нужно было вспомнить что-то важное. Но что?

— Так. В вытрезвителе записали, штраф уплатил. Погрозились на работу сообщить. Так, в Кедровом сел в поезд, когда еще солнышко было. Ну да, Васяня еще мороженое на закуску купил. Так. А потом — вытрезвитель. А следовательно говорит, что Артемку впопыхах застрелили. А я, значит, уже в поезде том ехал... И вытрезвитель... С фамилией...

Степан почувствовал, как трудно стало дышать. Он еще какую-то минуту сидел неподвижно, потом вдруг вскочил, бросился к обитой железом двери, изо всех сил замолотил по ней кулаками.

— Открой! Слышь? Открой! Мне следователя... Следователя надо! Откро-ой!.. — рвался из камеры его крик.

«Правда все это, гражданин следователь. Бог видит, правда. А не верите — скажите, чтоб в вытрезвителе том списки проверили. Недалеко от вокзала он. Пусть проверят, Позвоните. Ведь должна же там запись остаться, — торопясь и оттого глотая окончания слов, говорил Колесниченко. — Богом вас прошу — проверьте. Ведь не убивал, не убивал я Артемку-то!» — выкрикнул он, и по тем всхлипам, что неслись с магнитофонной ленты, понятно было, что Степан заплакал.

Верещагин выключил магнитофон, неловко откашлялся, словно стыдясь чужих слез, посмотрел на Грибова.

— Ну, что скажешь, Василий Петрович?

Майор по привычке почесал в затылке, наконец пробасил:

— Да, в общем-то, я и не сомневался, что этот забудыга не мог совершить такое. Слабак он, понимаешь. Огромный мужик, а совершенно безвольный. Да и на водчонку слаб. Вот этим-то Волков и воспользовался. Ах, гад, как все четко продумал, — крутанул он головой. — Только одно мне непонятно: зачем ему надо было убивать Шелихова?

— Как — зачем? — удивился Верещагин. — Разоблачения боялся.

— Не-ет, — не согласился Грибов. — Если бы даже Артем сообщил о своем шурине в милицию и Степан во всем признался, то есть назвал Волкова как скупщика, тот бы просто послал всех нас в известном направлении. Улик-то против него никаких. Так-то вот, А тут убийство...

— Да, но ведь Колесниченко знал и о существовании Рекунова.

— Опять не то, — отмахнулся Грибов. — Рекунов освободился позже Степана, и когда они встретились в поселке, тот даже не заикнулся о том, что будет батрачить на Волкова.

Какое-то время молчали, наконец Грибов сказал:

— Я бы мог понять еще это убийство тем же Степаном. Все-таки стрессовое состояние, мужик мечется из угла в угол...

— М-да, — согласился Верещагин. — Однако убийца человеком был трезвым. И расчетливым. Который прекрасно знал, зачем он это делает.

— Вот-вот. Зачем? — повторил Грибов. — Я уж по своим каналам проверил: не за что вроде бы Волкову иметь такой зуб на Артема. Понимаешь, нигде, даже мало-мальски, не пересекались их пути. Вот она в чем, хреновина-то...

За открытым окном резвились шальные от августовского тепла воробьи, косые солнечные лучи легли на крашенный деревянный пол. И Верещагин вдруг с щемящей душу тоской подумал, что еще несколько таких вот хмельных от прощального лета дней и тайгу затянут низкие брюхатые тучи, резко похолодает, и на неделю, а то и на две зарядит мерзкий осенний дождь. Он вздохнул, повернулся к Грибову.

— Послушай, Василий Петрович, а тебе не кажется, что мы старательно забываем о тех неизвестных «пальчиках», вероятно случайно не стертых, которые были обнаружены на «вальтере». И я скажу почему: не вписываются они в нашу с тобой версию касательно того же Волкова или Колесниченко. А может, именно в них разгадка?

— Я уж и сам над этим голову ломал, — согласился Грибов. — Однако пока Волков не заговорит, нам с тобой только гадать придется.

— Значит, надо заставить, — отрезал Верещагин. — А посему так: я позвоню в крайцентр, чтобы проверили алиби Колесниченко, а ты со своими хлопцами займись этим самым грузчиком Васяней, и разыщите проводницу того вагона, в котором ехал Колесниченко.

XII

Найти бригаду, которая в тот роковой день обслуживала маршрут поезда, увозившего из Кедрового Степана Колесниченко, особого труда не составило, да и проводница, разбитная бабенка лет тридцати, хорошо запомнила «того» пассажира.

— Ох и пьяный был! — бойко рассказывала она старшему лейтенанту. — Здоровый такой, а на ногах держаться не может. Его еще тип какой-то провожал. Тоже пьяный. Он его еще в вагон подсаживал. Я, честно скажу, поначалу пускать не хотела, но уж очень упрашивали. В общем, уговорили... Да, — продолжала

она, — втащили мы его в вагон, он на первую попавшуюся полку и свалился. И верите — нет, тут же захрапел. Хорошо еще — вагон полупустой был. Проспится, думаю. А у него еще бутылка припрятана была. Это уж мне пассажир один сказал, когда он из горлышка винище клестал. Тут я, конечно, рассердилась. Станция скоро, а он через губу переплюнуть не может. А щас знаете как строго... Ну, приехали, я его бужу, а он еще сильнее храпит. Я и сказала бригадиру. А тот в милицию сообщил. Так что за ним, как за барином, машина приехала. Из вытрезвителя, — доверительно сообщила она...

Когда совещание закончилось и Грибов отпустил задействованных в деле оперативников, Березагин задумался. Вроде бы и вышли они в следствии на финишную прямую, но он чувствовал: главные козыри еще не раскрыты и все, что они выявили на сегодняшний день, — мелкота, вроде тех шестерок с восьмерками, которыми заполняется игра. Когда он сказал об этом Грибову, тот согласно кивнул:

— Я тоже так думаю. Понимаешь, не было резона Волкову убивать Шелихова. Да чего гадать-то? Сейчас сам все расскажет, — добавил он.

— А если будет гнуть свое?

— Не должен, — твердо сказал Грибов. — Не дурак же он сам себя под вышку подводить. Это, Петр Васильевич, молодняк сопливый до поры до времени форс держит, этаких воров в законе из себя корчат. Поначитались всякой хреновины, — сплюнул он. — А такие, как Волков, не-е... — покрутил он пальцем. — Ведь недаром его Волчарой в колонии прозвали. В первую очередь они себя очень сильно любят, свою шкуру берегут.

— Ну, дай-то бог, — вздохнул Березагин.

Ввели Волкова. Заложив руки за спину, он остановился в дверях, хмуро посмотрел на Березагина, перевел взгляд на сидящего чуть поодаль Грибова, спросил неприязненно:

— Надеюсь, меня привезли на очную ставку?

Молчал Грибов. Молчал и Березагин.

Какую-то минуту в кабинете висела тишина, и вдруг ее разорвал надсадный, нахраписто-требовательный крик Волкова:

— Почему?! Почему я должен торчать в камере из-за того, что эта сука сунула мне пистолет?

— Садитесь, Волков, — негромко приказал Верещагин. — Очную ставку, значит, просите? Ну что ж, мы тоже об этом думали. Так что и ставки будут, и все остальное.

— Мне и одной хватит! — огрызнулся Волков. — Он у меня с одной расколется. Я ему в харю плюну...

Верещагин молча слушал угрозы Волкова. Когда тот выдохся, он поднял на него глаза, сказал, четко разделяя слова:

— Да нет, Волков, одной очной ставки никак не хватит. Кроме Колесниченко вас еще ждут не дождутся поделщики ваши: Семен Рекунов да Иван Назаров, с поличным взятые на реке. Так-то вот. Только не надо страшно удивленных глаз делать, — остановил его Верещагин. — Товарищ майор, ознакомьте гражданина Волкова с показаниями задержанных.

Грибов достал из пухлой папки несколько густо написанных листов, протянул их напружинившемуся Волкову. Тот бросил злобный взгляд на майора, взял один протокол допроса, второй...

— Навешать что угодно можно, — неожиданно миролюбиво сказал он, возвращая листы. — Семен-то, Рекунов который, тот вообще на меня зуб имеет, еще с колонии. Дал я ему как-то раз по соплям, чтоб у соседа пайку не отымал, вот он и взъелся на меня. Ишь, гаденыш, — укоризненно покачал он головой. — Там не вышло, так здесь решил под монастырь подвести. Во гад! А что касается Назарова, так тут я вообще не знаю, — пожал он плечами. — Может, раньше они сговорились?

— Эх, Волков, Волков, — остановил его Грибов, — вроде и человек неглухой, а врете нескладно. Лодку-то долбленку, что у Рекунова изъяли, вы в колхозе «Рассвет» еще прошлой осенью кушили. Вот показания ее прежнего хозяина. Ну, а что касается японских сетей, то этим вопросом сейчас мои ребята занимаются. Ну, да все это мелочи, — неожиданно заключил Грибов, тяжелым замком сцепил пальцы, долго молчал, изучая какую-то щель на крашенном коричневой краской полу, потом спросил негромко: — Зачем вы убили Шелихова?

Неподвластным тиком дернулось лицо Волкова, он хотел было что-то сказать, но ему, видимо, не хватило воздуха, и он только чуть разжал зубы, уставившись на майора.

Слышно было, как жужжит попавшая в паучьи сети муха. Где-то очень далеко прогудел маневровый паровоз.

Наконец Волков пришел в себя, с хрипом выдал воздух, всем корпусом развернулся к следователю.

— Я же говорил вам, — глухо произнес он, — еще там, в городе. Пистолета этого я в глаза не видел. Ведь Степан же это... Он парня убил. А потом решил на меня свалить. Так что его об этом спрашивайте... Ну ладно, обещался я у них по осени икру купить, но только и всего-то. А мокруха?.. На кой она мне, гражданин следователь?

— Вот и мы об этом же думаем.

— Во! Сами же понимаете, — подался к следователю Волков. — Степка это, Колесниченко. Испугался, что шурак его разоблачит, ну и...

— Да видите ли, — не согласился с ним Верещагин, — Степан Колесниченко, на которого вы так старательно упираете, во время убийства спал в поезде мертвым сном.

— Это он так говорит? — криво усмехнулся Волков. — Ну-ну. Тогда запишите, что я в тот вечер летел в Казань на похороны брата.

— Если бы вы смогли все это документально доказать, я бы записал, — остановил его Верещагин. — Но дело в том, что вы в тот вечер находились здесь, а Колесниченко, предварительно напившись, «рвал когти» отсюда. Вот показания проводницы вагона.

— Так, может, она числа спутала? — вскинулся Волков. — Да у них в каждом рейсе по десять пьяных в вагоне.

— Возможно, — согласился Верещагин. — Однако число она не путает, так как по прибытии поезда в крайцентр Колесниченко был отправлен в медвытрезвитель, откуда его выпустили только утром. Утром следующего после убийства дня, гражданин Волков. Что и зарегистрировано в журнале дежурного.

И опять стало слышно, как где-то в дальнем углу, под потолком, забила несчастная муха.

Когда Верещагин посмотрел на Волкова, то сначала даже опешил: перед ним, утопив голову в ладонях, сидел не прежний нахраписто-злой Волчара, готовый рвать глотки. чтобы только «восторжествовала

справедливость», а сторбился на стуле неварачный, грязный, обросший мужик.

— И будет тебе, Волков, — раздался голос Грибова, — предъявлено обвинение в предумышленном убийстве Артема Шелихова.

— Что?.. — Волков оторвал голову от рук и, будто в замедленном кино, развернулся к майору.

Казалось, он не понимает сказанного. Но наконец его лицо стало принимать осмысленное выражение, он облизал губы, и глаза его наполнились ужасом.

— Нет! Я не убивал! — крутанулся он к Верещагину и прижал руки к груди. — Не убивал... Я вообще... Я только утром узнал, — бессвязно говорил он. — Не убивал я...

— А кто? — спросил Грибов.

Волков повернулся к нему, мелко затряс головой.

— Н-не знаю... Ч-честное слово.

— Кто дал пистолет? — перехватил вопрос Верещагин.

— Пистолет? Так Ветров и дал. Иван Матвейч.

Верещагин вопросительно посмотрел на майора.

— Есть такой, — удивленно рассматривая Волкова, сказал Грибов. — Иван Матвейч Ветров. Завскладом железнодорожного ОРСа. Что-то тут не то, — пожал он плечами. — А ты, случаем, своего начальника не оговариваешь?

Волков медленно, словно на нем висели трехпудовые вериги, повернулся к майору, сказал потухшим голосом:

— Э-эх, гражданин начальник...

— В таком случае вопрос, — включился Верещагин. — Зачем он дал пистолет? Вы что, должны были убрать Колесниченко?

— Нет, нет, — зачастил Волков. — Я должен был припрятать ствол на квартире той марухи, где Степан жил. И все. Я спросил еще: а на кой, мол, это надо? А он, Хозяин-то, и говорит: «Не твоего ума дело».

— Интересно, — Верещагин переглянулся с Грибовым.

— Честно говорю, гражданин начальник, — забожился Волков. — Я, значит, денек-другой должен был у Степана пожить и за это время пушку припрятать. В квартире, — добавил он.

— И при этом заставить Колесниченко уехать из города?

— Ну да.

— Любопытно. — Грибов поджал губы, посмотрел на Верещагина. Тот кивнул, включил магнитофон.

— Давайте-ка по порядку, гражданин Волков.

— По порядку? По порядку, значит... — Назвав Ветрова, Волков немного успокоился, к нему начала возвращаться уверенность, но уже не та — нахрапистая и злая, а совершенно спокойная, когда надо было бороться за собственную жизнь и со всей основательностью топить другого. Он глубоко вздохнул, словно готовился прыгнуть в холодную воду, и вдруг спросил, вперившись взглядом в следователя: — А мне это как чистосердечное признание зачтется?

— Кончайте торговаться, — оборвал его Верещагин.

— Да это я так, к слову, — тут же спохватился Волков и опять вздохнул глубоко: — Ну что ж, записывайте. Хозяин, Иван Матвейч, значит, на меня сам вышел, еще до того, как я в тюрьму попал. Я в ту пору грузчиком вкалывал, на станции. Ну, по мелочевке вещицу-другую из товарняка тиснешь да пропьешь тут же. Вот он через кого-то и вынюхал мои делишки. Позвал как-то к себе на склад, двери закрыл, пару бутылочек водки с закусом выставил и напрямую этак говорит: «Не надоело еще, Паша, мелочевкой заниматься? Сейчас с хищением на транспорте строго». Я молчу, жду, что он дальше скажет. А он разлил водку по стаканам и говорит: «Ну, за наше совместное дело». И залпом ее. Выпил, и я тоже. Зажевал. Он тогда хорошей колбасы нарезал. Копченой. Молчу дальше, а он, Ветров-то Иван Матвеевич, и говорит: «Мужик ты, Волков, вроде бы надежный, именно такой мне и нужен. Ну что, соглашаешься работать вместе?» «Так это еще неизвестно, на что подписываюсь», — отвечаю. А он мне: «Не прогадаешь. А главное — весь риск на мне. Ты же только надежных людей организовать должен». И спрашивает: «Ну?» Налил я еще полстакана и говорю: «Выкладывай дело».

Волков замолчал, облизал губы, зашарил глазами по столу, как понял Верещагин, в поисках курева. Майор тоже понял в чем дело, полез в карман, достал пачку «Беломора».

— Кури.

Глубоко затянувшись, Волков кивнул, что означало «спасибо», повернулся к следователю.

— Ну, значит, и выложил он мне все. У него несколько клиентов есть — директора ресторанов, и им левая икра нужна. Вот я и должен был подыскать надежных мужиков и заставить их рыбалить на себя. А по осени скупить оптом всю икру и балык, который они на нересте заготовят.

— Кто должен был с ними рассчитываться?

— Я, — после короткого колебания ответил Волков. — О Хозяине никто ничего не знал.

— Откуда у него эта кличка?

— Хозяин-то? — с кривой ухмылкой спросил Волков. — Да это я его так окрестил. Про себя, конечно. Несколько раз, правда, по пьянке вырвалось, так осерчал он очень. Какой я тебе, говорит, Хозяин? Ветров я, Иван Матвеевич.

— Сети откуда?

— Сети он дал. У него дома еще припрятаны такие же.

— И что дальше было? — спросил Верещагин.

— Дальше-то? А дальше, значит, подрался я по пьянке, вот и угодил в колонию по двести шестой. Там-то и познакомился со Степкой Колесниченко, а потом уж и с Рекуновым. Рассказал им про артельку, которую можно будет сколотить после освобождения, сказал, что все беру на себя. Лодки, снасти... В общем, согласились они.

Он замолчал, жадно затаился «Беломором». Грибов с Верещагиным терпеливо ждали. А Волков аккуратно притушил «бычок», спрятал его в карман.

— Ну, когда вышел я, он тут как тут. «Не забыл, — спрашивает, — мое предложение?» Помню, говорю. А он мне: «Вот и ладно. Иди сейчас в кадры, возьму тебя разнорабочим. Оклад, конечно, небольшой, но деньги будешь иметь немалые. А попутно икоркой с балычком займешься».

— Кому в прошлом году сбыли икру?

— Не знаю, гражданин следовательно, честно не знаю. Одно могу сказать. Я ему как-то насчет денег заикнулся. Говорю, можно было бы и прибавить, все-таки риск большой. А он мне: «Это ты-то рискуешь? Да прошлой зимой человек один в Душанбе с нашей икрой погорел, а ты даже слыхом об этом не слыхивал. — И передразнил еще: — Риску-у-ет».

— Хорошо-о, — Верещагин посмотрел на Грибова, словно хотел узнать его реакцию на услышанное, по-

том сказал: — Ну, а теперь вернемся к тому дню, когда был убит Артем Шелихов.

И опять Волков как-то сразу спик, ссутулился, будто все время ждал и боялся этого вопроса.

— Ну, — начал он глухо, — во второй половине дня это было. Ну да, я как раз с обеда вернулся. А тут на склад Степан прибегает. Вызвал меня и говорит: так, мол, и так, засек его шуряк, который парашютистом работает. А сам-то Степан с похмела страшного, руки трясутся, и спрашивает, чего, мол, делать теперича. Шуряк, мол, грозитя в милицию сдать. Ну, я, честно говоря, и сам испугался: расколется ведь гад на первом же допросе. Направил его домой, а сам к Хозяину, значит. Рассказал ему все, тот материться стал, хотел было меня по уху смазать, мужик-то он здоровый, но потом и говорит: «Надо этого козла вонючего подальше отсюда отправить. Я сейчас возьму билет на первый же поезд, свесешь ему и прикажи, чтоб весточку потом дал: где найти его. А чтобы не бедствовал по первому времени, полкуска ему сунешь». Так я и сделал. Отнес этому хмырю деньги с билетом, наказал, куда мне пару строк черкануть, — и домой. А потом, утром уже... — Волков замолчал, скривился, словно от зубной боли, просяще посмотрел на Грибова: — Можно, я еще закурю?

Он дрожащими пальцами взял папиросу, сломал одну спичку, другую, в конце концов прикурил и, затянувшись, тяжело, с хрипом закашлялся.

Верещагин с Грибовым терпеливо ждали.

— Ну, а утром слышу разговор на станции: парня, мол, какого-то застрелили. А другого ранили. Я-то поначалу даже не придал этому значения, как вдруг узнаю, что это тот самый шуряк Степана. Честно скажу, испугался. Кто, думаю? И к Хозяину. Спрашиваю, значит: может, мужиков-то снять с реки? А он мне: «Зачем? Пусть рыбачат. Кто-то этого ценка пришел, а мы-то здесь при чем?» Ну, я и успокоился. Чего на свете не бывает. Тем более, что его вместе с журналистом московским... Так, может, кто по тому метил, а угодил в нашего. Ну, а тут позвал меня как-то к себе домой Хозяин-то и говорит: «Замазаны мы с тобой, Пашка, здорово. Так что надо выкарабкаться. Свезешь вот эту штуку своему дружку да спрячешь там понадежнее, но так, чтоб он знать ничего не

знал. — И добавляет: — Делай что приказано, иначе свистеть нам с тобой на всю катушку».

— Ясно, — подытожил услышанное Верещагин и посмотрел на Волкова. Тот, видно, выложил все свои силы и теперь, как спущенный баллон, понуро оплыл на стуле. Верещагин достал из стола несколько листов бумаги, карандаш. — Сейчас вас отправят в камеру, опишите все, что здесь рассказали. Постарайтесь вспомнить каждую фамилию, которую упоминал Ветров.

Волков кивнул понуро, поднялся со стула, заложил руки за спину...

— Ну, что скажете, Василий Петрович? — спросил Верещагин, когда Волков скрылся за дверью.

Грибов долго молчал, внимательно рассматривал вылинявшую татуировку на руке, потом перевел взгляд на следователя.

— Свежо предание, — пробасил он, пожимая плечами.

— Почему?

— Да видишь ли, если даже Волков насчет Ветрова не врет, я имею в виду, что именно тот снасти доставал и через своего подручного икру скупал, то все равно концы с концами не сходятся. Понимаешь, смысла не было Ветрову убирать Артема. Он в любом случае чистым выходил. Если бы даже Степан Колесниченко Волкова назвал, в чем я, откровенно говоря, сомневаюсь, а тот вдруг — Ветрова, то Иван Матвеевич просто-напросто послал бы нас всех куда подальше. Прямых улик-то против него нет.

— И все-таки, — возразил Верещагин, — давай так решим. Запроси транспортную милицию, нет ли у них чего-нибудь на этого самого завскладом. Далее. Пошли к нему кого-нибудь из своих ребят — надо ухитриться отпечатки пальцев достать. Третье. Сделай запрос на его полную объективку. Сам знаешь: родился, крестился, судился и прочее. Четвертое. Надо срочно запросить Душанбе, кто у них за последние три года попался на красной икре. Пока все. А я — к парашютистам.

XIII

— Ну вот и наши летят, — сказал Курьянов.

Они едва успели подойти к вертолетной площадке, как над головой зависла тяжелая машина и мягко опустилась на утрамбованную землю, взбивая лопатки.

стями тучи пыли. Верещагин прикрыл лицо рукой, а из емкого брюха Ми-8 уже выпрыгивали парашютисты. Тут же подрулила бортовая машина, шофер уверенно подал задним бортом к открытому люку вертолета, и оттуда полетели в кузов парашютные мешки, спальники и прочая дребедень, без которой не обойтись в тайге.

Когда загрузились, шофер все так же лихо вырулил на дорогу и, взбивая клубы пыли, понесся к авиаотделению. Верещагин подошел к парашютистам.

— Во, явился не запылился, — приветствуя следователя, сказал Венька и первым подал руку.

Успевший привыкнуть к занозистому парню, Верещагин засмеялся, крепко тиснул его жесткую ладонь.

— Ох, Стариков...

— А чего Стариков? — ухмыльнулся Венька. — Думаешь небось, вот бы попался! Так не мечтай. И без тебя есть кому соки из меня выжимать. Один Лаптев чего стоит. Это участковый наш, — милостиво пояснил он. — Как что, так с ходу протокол да штраф. Только на него и работаю.

— Меньше кулаками махать надо, — урезонил его Курьянов.

— Так я ж, Курьяныч, разве виноват, что кажная тварь именно на меня выползает? — возмутился Венька. — Вот ты идешь вечером из клуба — и ничего. А я... Верить — нет, обязательно кто-нибудь прицепится. Будто медом я для всякой шушеры намазан.

— Э-эх, — устыдил его летнаб. — А ведь прошлым разом, когда я тебя из милиции вызволял, ты ведь клялся и божился... А недавно опять Лаптев звонил, меры просил принять.

— Ну да, — поджал губы Венька. — Как насчет меня — так меры принимать надо, а то, что два хмыря из леспромхоза Анютку матюком обложили — так им ничего. Нет уж, Курьяныч. Ты моему другу Лаптеву так и скажи: бил я им морду и бить буду. Так-то вот, — закончил он.

Когда отошли с полсотни шагов и углубились в подлесок, Верещагин предложил:

— Может, здесь поговорим?

— А чего ж, можно и здесь, — согласился Венька. Колосков с Мамонтовым только кивнули молча. Верещагин еще при встрече обратил внимание, как подломил их смерть Шелихова, словно родной кто умер.

Да и Венькина разухабистость была напускной, будто хотел он прикрыться ею, как надежным щитом.

Все время, что он ехал сюда, Верещагин обдумывал этот разговор. Вернее, один вопрос. А главное — имеет ли он право задать его парням. Все-таки Кедровое — это не город, здесь каждый каждого знает, и случись что, Ветров не виновен...

Он обождал, когда поудобнее устроится на том же дереве Мамонтов, и только после этого спросил:

— Мужики, мне очень важно знать: Шелихов когда-нибудь упоминал Ветрова?

Недоуменно пожал широченными плечами Мамонтов, вопросительно переглянулись Колосков с Венькой. Так же недоуменно посмотрел на следователя и Курьянов, однако, поняв, о ком идет речь, спросил:

— Это завскладом, что ли, на станции?

— Он самый. Ветров Иван Матвеевич.

И опять шевельнул плечами Мамонтов, которым тесно было под вылинявшей от пота и соли энцефалиткой, многозначительно хмыкнул Колосков, и Верещагин перехватил его изучающий взгляд. А Венька пробурчал:

— Так бы и говорил. Ворюга с орсовского склада.

Верещагин уставился на парашютиста.

— Почему это ты его так вдруг?..

— Да потому, — не вдаваясь в подробности, ответил Венька. — Ворюга, он и есть ворюга.

— И что, — тихо спросил Верещагин, — Шелихов о нем был того же мнения?

— А то нет, — отозвался молчавший до этого Колосков. — Он-то нам и рассказал о нем.

...Дорога была грунтовая, с промоинами и выбоинами, на которых грузовик подбрасывало словно мячик, и Верещагин то и дело хватался за ручку, чтобы не выбить головой ветровое стекло. Водитель, видно, привык к такой езде и поэтому почти не обращал внимания на мучения следователя. Когда же их тряхнуло так, что Верещагин чуть не простился со своей селезенкой, которая только жалобно екнула, он хотел было высказать водителю все, что о нем думает, но лишь покосился на сосредоточенное лицо парня и промолчал. Исполнительный работяга, тот, видно, напрямую принял слова летнаба: «Чтоб одна нога здесь, а дру-

гая там. Ясно?» Был он молчалив, и это Верещагина вполне устраивало, тем более что надо было обдумать услышанное от парашютистов.

Началось все с малого. Тушили они как-то пожар, который зачался на делянке, где работала бригада лесорубов. Видно, от случайной искры запылало, но огонь силу набрал такую, что, когда команду Шелихова сбросили на помощь лесорубам, он сожрал половину их месячного плана. После того как пожар задавили, мужики устроили парашютистам знатный обед. Была там и колбаса копченая, какой сроду в поселковом магазине не продавали, и какао на сгущенном молоке, но больше всего парней поразили апельсины, которые и детям-то не всегда удавалось достать.

— Откуда такое богатство, мужики? — спросил Шелихов.

Кто-то из рабочих хмыкнул, довольный произведенным эффектом, а бригадир потрепал Артема по плечу:

— Эх, ты, комсомол несмышленный, да неужто не знаешь?

— Нет.

— А у нас, считай, все бригады этой точкой пользуются, — продолжал бахвалиться мужик. — Правда, не всякому там отпускают. Только тем, кого хорошо знают. Да кто язык за зубами держать умеет. Ну, да ты парень свой. Так что сведу тебя к благодетелю нашему. У Ветрова продуктами запасаемся.

— И что, без доплаты?.. — удивился Колосков.

— Ну, ты, парень, даешь, — усмехнулся на столь глупый вопрос бригадир. — Конечно, переплачиваем. Иной раз по двойной цене против государственной. Да ты пойдди купи ее, колбасу-то эту, в магазине... Во, то-то и оно. А апельсины? Часто ты их видел? А тут все как на блюдечке. Пришел, деньги выложил — и вся бригада дефицитом обеспечена.

Откровенно говоря, парашютисты тогда не поверили мужику, однако в памяти осело, и когда опять пришлось тушить пожар с лесорубами, Артем, будто случайно, завел этот разговор. И точно, продавал Иван Матвеевич Ветров леспромхозовским и колбасу, и апельсины с мацдаринами, и растворимый кофе, и прочую всякую всячину. И длилось это не один год. А тут как раз проходила районная комсомольская конференция, на которую делегатом от авиаотделения был избран Шелихов.

Верещагину вспомнились слова Сергея Колоскова, когда парашютисты рассказали следователю о том выступлении Шелихова на комсомольской конференции.

— Знаете, — горячась, говорил Колосков, — вернулся с той самой конференции Артем и говорит: «Ну, мужики, кажется, заварил я кашу». «Чего еще?» — спрашиваем. А он нам: «Да попросил я слова, чтобы выступить, а там, оказывается, все выступающие уже давным-давно запланированы. Но добился все-таки. Дали сказать. Вышел, значит, я на трибуну, ну и поведал о том, как хозяйственники наши поселок к зиме готовят, и о тех овощах и фруктах, что через месяц-другой кончаются. А потом рассказал, откуда наиболее оборотистые леспромхозовские бригады дефицитные продукты достают. Так что, думаю, кончится скоро лафа этому самому благодетелю, который железнодорожным орсовским складом везует».

— Ну и?.. — поторопил Колоскова Верещагин.

— Да, романтиком он был, товарищ следователь, — неожиданно пробасил молчавший до этого Мамонтов.

— Ну и дурак же ты, Мамонт! — взвился от этих слов Венька. — Это ж надо — «романтиком»! Просто Артем в честность людскую верил. Усек? Потому что коренным дальневосточником был. Понял? И фамилия его — Ше-ли-хов! Может, и вправду это его предок сюда с казаками пришел и именем его залив тот называли. А ты — «романтиком»...

— Остепенись, — осадил взъярившегося парня летнаб и повернулся к Колоскову: — Давай по порядку, Серега.

— Ну а если по порядку, то месяц после той самой конференции проходит — тишь, благодать, другой — то же самое. Зима настала, потом весна пришла — все как было. Мы-то думали, что нас, как свидетелей, в милицию вызовут или еще что там, однако нет. А тут, как назло, в одной из лесосек опять пожар — вагончик от печи полыхнул, ну и нас туда. Быстренько задавили мы его, ждем вертушку, и вдруг на тебе — ребята ихние от чистого, так сказать, сердца выставляют на стол колбасу копченую, апельсинов горку, а вместо чая — кофе. У Артема аж глаза на лоб вылезли. А Венька-то и спрашивает: «Это что ж,

вас из самой Москвы, что ли, снабжают?» Ну а мужики расхохотались и говорят: «Ну, даете, ребята! Вроде с парашютами прыгаете, а рассуждаете... Да если б мы только на наших хозяйственников надеялись, то уж точно, кроме щей на тушенке да макарон, вам ничего не выставили. Бригадир наш ловчит. У него на станции завскладом знакомый, у него и отоваривается».

Невысокий и вроде бы даже шуплый на первый взгляд, Колосков поднял на Верещагина глаза и устало закончил:

— Обиделись мы тогда на всех милиционеров здорово. Вы поймите, человек с трибуны районной комсомольской конференции рассказал о незаконно творящихся вещах, а ни милиция, ни общественность даже не почухались, чтобы прекратить это.

Не раз сталкивавшийся с подобным, Верещагин молча слушал парашютиста.

— В общем, как-то летом Артем опять завел этот разговор. «Знаешь, Серега, видел я этого самого завскладом, специально ходил посмотреть. Здоровый мужик, в себе уверенный, знаешь — барин этакий. Так вот, последним гадом буду, если эту тварь на чистую воду не выведу».

Колосков долго молчал, потом добавил тихо:

— Я ему еще тогда: «Зачем тебе это надо? Палку кнутом не перешибешь».

— И чем же все это закончилось?

— А ничем, — с горечью ответил Сергей. — Пожары большие пошли, так что в поселке мы почти и не были, но Артем, видно, успел кое с кем из леспромхозовских переговорить. Идем мы с ним как-то из клуба, а навстречу хмырь один местный, вальщиком работает. Поддатый. И прямо к нам направляется. Остановил Артема и шипит как змей: «Тебе что, больше всех надо? Сам не пользуешься и другим мешаешь. Как мы таких идейных...» Ну, тут Артем кулаком ему под ребро сунул, я добавил, хмырь этот и отполз на карачках.

— Ну и что дальше? — нетерпеливо спросил Верещагин.

— А ничего, — ответил Колосков. — Если б вы сегодня Ветрова не назвали, никто бы и не вспомнил его.

Давно уже Верещагин не бывал таким злым.

Мимоходом спросив у дежурного, на месте ли Грибов, Верещагин прошел к нему и, устало опустившись на стул, вкратце рассказал о своей беседе с парашютистами.

— А ведь кто-то и из ваших присутствовал на той конференции, — добавил он. — И тоже слышал это выступление Шелихова. Так что, Василий Петрович, обязательно прими меры для проверки.

— Разберемся, — хмуро сказал Грибов, делая пометку в настольном календаре.

Сказав это, он сцепил пальцы рук, вздохнул, осуждающе покачав головой: вот, мол, молодежь. И только после этого поднял глаза на следователя.

— Ребята сумели взять отпечатки пальцев Ветрова. Так что, выходит, не врал Волков. Тот след на внутренней планке «вальтера» — его, Ивана Матвейча.

— Значит, он главная фигура?

— А вот в этом я сильно сомневаюсь, — ответил Грибов.

— Почему?

Майор тяжело вздохнул.

— А потому, Петр Васильевич, что не вижу мотива для убийства. Икра? Дело зыбкое. Хищение на складе? Не похоже. Транспортная милиция сообщила, что у Ветрова всего лишь год назад ревизия была. Чисто все. Чисто! — повторил Грибов и, засунув руки в карманы мешковатых брюк, зашагал по кабинету.

— Что еще по Ветрову? — чуть резче обычного спросил Верещагин, злясь от того, что, может, заместитель начальника по уголовному розыску был прав. С этой стороны Шелихов был действительно не страшен мудрому завскладом. Ну, а что касается браконьерства по красной икре и перепродажи ее нечистым на руку директорам ресторанов — попробуй-ка докажи. Если бы милиция и раскрутила это дело, то в конце сошлись бы на Волкове, который, подсчитав минусы и плюсы, взял бы все на себя. Ведь в этом случае на свободе оставался Хозяин, богатый хозяин, ставший прямым должником Волчары. А уж Волков бы этот случай не упустил. Так-то оно и выходило, что не было смысла Ветрову стрелять в Шелихова.

— Что еще по Ветрову? — переспросил Верещагин.

Грибов протянул ему личное дело.

— В кадрах взяли, — добавил он.

Верещагин раскрыл папку, к внутренней стороне которой была подколота фотография человека, который, по словам Сергея Колоскова, «мешал Артему свободно дышать». Крупное лицо, с мощными надбровными дугами, стрижка «полубокс», внимательный взгляд уверенного в себе человека. Мощный, раздвоенный глубокой ложбинкой подбородок.

— Крепкий, видно, мужик. Ишь как в объектив смотрит, словно одолжение кому делает, — отметил Верещагин.

— Этого у него не отнять, — согласился Грибов. — Транспортники говорят, что порядок на складе крепкий.

— Ну-ну, — кивнул Верещагин. — Дураки на таких знатных местах подолгу не держатся. — Он пробежал глазами сухие, казенным языком написанные строчки личного дела.

«Ветров Иван Матвеевич, 1929 года рождения. Уроженец деревни Ченцы Смоленской области. Русский. Женат. Беспартийный. Не судился. Родственников за границей не имеет. Ветров — фамилия жены, Ветровой Людмилы Анатольевны. Фамилия до женитьбы — Жомов».

Верещагин дочитал личное дело, положил его на стол.

— Ну, что скажешь, Василий Петрович?

— Да, наверное, то же самое, что и ты, — ответил Грибов. — Надо брать под стражу и очными ставками со своими подельщиками загонять в угол. А ведь он, гад, крутиться будет, ведать ничего не ведаю и знать ничего не знаю.

— А «пальцы» на «вальтере»?

Грибов усмехнулся:

— Дорогой ты мой, да пошлет он нас с этими пальцами...

— Это как? — проверяя свои сомнения, спросил Верещагин.

— А очень даже просто. Прижмет руки к груди и скажет покаянно: «Граждане начальники, извините ради бога, что сразу в милицию не пришел. Надо было бы, но грех на душу взял, человека пожалел. Понимаете, остановил меня как-то Пашка Волков да и говорит: «Пистолет я, Матвейч, под полом нашел,

а в оружии ничего не понимаю. Не посмотришь, случаем?» Вот я и согласился сдуру. Как мог разобрал его, собрал и Волкову отдал, наказав, чтобы немедленно снес в милицию эту игрушку. А кто ж думал, что он из нее парнишку этого застрелит? Еще раз виноват, простите».

Соглашаясь с майором, Верещагин кивнул хмуро, сказал:

— И все-таки под арест его брать надо. И еще одно: произведи тщательный обыск у него в доме и на складе. Возможно, имеются запасные патроны, и неплохо бы ту партию сетей найти, что он для своей «артели» выделил. Я же завтра с утра в крайцентр. Надо будет подключить к этому делу транспортную милицию, пусть его по линии ВХСС проверят.

Вечером, в гостинице, собрав в сумку нехитрые пожитки, чтобы утром не отнимать па это время, Верещагин в который уж раз просматривал записи Игоря Кравцова. Парень в командировке времени зря не терял и собирал в свой журналистский блокнот все, что мог выжать из этой поездки. Верещагин пробежал глазами страницу за страницей, как вдруг остановился на блокнотном листе, посреди которого большими буквами было выведено: «НЕРАВНОДУШНЫЕ». ОЧЕРК. ПРЕДЛОЖИТЬ В «СОБЕСЕДНИК». И все. Больше ни слова. Такие записи были не в стиле Кравцова, обычно он давал хоть мало-мальский набросок темы, и Верещагин перевернул страницу. Сверху, в левом углу, размашистым почерком Кравцова было написано: «Вениамин Стариков — Венька. Главное качество — обостренное чувство неприязни ко всякого рода нечисти. Отличительная черта — язва, каких мало. Наверное, из таких парней выходили Александры Матросовы. Может и морду набить, и быть до остервенения душевным».

На следующей странице шла характеристика Колоскова. Более короткая, но такая же емкая. «Сергей Колосков, ас-пристрельщик в команде Артема. Невысокого роста, худощавый, удивительно спокойный и поэтому кажущийся полнейшей противоположностью Старикову. При всем этом они удивительно дополняют друг друга».

Верещагин, успевший сойтись с парашютистами,

с непонятным чувством ревности сравнивал характеристику Кравцова с собственными впечатлениями и чуть-чуть завидовал, видя, насколько точно уловил московский журналист главное.

«Володя Мамонтов, — писал далее Кравцов. — Романтик. Несмотря на огромную силу, добродушен и необыкновенно доброжелателен к людям. Всегда готов прийти на помощь. Пишет стихи, но его никогда не будут печатать: не хватает мастерства. За спиной таких людей очень спокойно живет жена, если... она не змея».

— Ишь ты! — удивился Верещагин и перевернул страницу.

«Артем Шелихов, инструктор парашютно-пожарной команды. Обостренное чувство гражданственности. Если буду о нем писать, то очерк надо закончить стихами Сергеева-Ценского:

Если в глаза подлецу
Не смеешь сказать ты: «Подлец!»,
Какой же ты сын отцу?
Какой же ты детям отец?»

И все, более о Шелихове ни слова.

Задумавшись, Верещагин даже не заметил, как остыл чай. Все это время его мучила какая-то подспудная мысль. Видимо, пропустил что-то очень важное. Причем это «что-то» появилось вскоре после разговора с Грибовым, когда он вернулся в гостиницу. Но что? Надо было успокоиться и еще раз проанализировать всю ту информацию, которую он получил за последний день.

— Итак, — пробормотал он, — Шелихов вышел на Ветрова, узнав от леспромхозовских, что они пользуются его «добродетелью». Так. Ветров, он же Жомов... Постой, постой... Жомов Иван Матвеевич, 1929 года рождения, уроженец деревни Ченцы Смоленской области. Ченцы, Жомов... Потом взял фамилию жены...

Верещагин с силой потер лоб, и тут его осенило. Ну да! Ченцы Смоленской области. Именно оттуда родом тот самый Иван Комов, что был убит в сорок пятом году в Ачинске. Как же он сразу-то все это не сопоставил? Ведь в том и в этом случае деревня Ченцы на Смоленщине. Правда, там Иван Комов, здесь Иван Жомов. А год рождения тот же...

«Комов — Жомов, Жомов — Комов... — насильовал мозги Верещагин. — Совпадение? Всякое может быть. Тем более, что в ачинском архиве черным по белому написано, что выловленного из реки Чулым парня оповнала его тетка, к которой он приехал во время эвакуации. И все-таки...»

На следующий день Верещагин был в краевой прокуратуре. Едва забежав к себе в кабинет и оставив там сумку с вещами, он тут же прошел к начальнику отдела.

— А я хотел в Кедровое звонить, — поздоровавшись и кивнув следователю на стул, сказал Белов. — Вчера из Душанбе ответ пришел на запрос. Ознакомься.

Управление внутренних дел города Душанбе сообщало, что действительно в прошлом году был арестован некий директор ресторана Нурбиев. Одно из предъявленных ему обвинений гласило, что «гр. Нурбиев, скупая на стороне красную икру, занимался ее незаконной перепродажей». И далее: «В данное время осужденный Нурбиев отбывает наказание в исправительно-трудовой колонии общего режима».

Верещагин перечитал еще раз, посмотрел на Белова:

— Выходит, они не смогли выйти на поставщика икры?

— Выходит, так, — согласился с ним начальник отдела. — И дело тут не в том, что этот самый Нурбиев не хотел его выдавать. Видимо, этот икорных дел мастер — большой дока по части прятать концы и прекрасно знал, что когда-нибудь директор этот непременно попадетсЯ. Вот он и держал с ним одностороннюю связь.

— То есть когда товар был готов, он как-то сообщал ему, а затем уже переправлял?

— Видимо, так.

— А вдруг это наш? — с надеждой вздохнул Верещагин.

Белов усмехнулся:

— Тогда все было бы в идеале, Петр Васильевич. В общем, оформляй командировку. Надо будет еще раз допросить Нурбиева. Вдруг зацепку какую даст.

Верещагин кивнул, соглашаясь, потом сказал:

— Здесь всплыли серьезные дополнительные факты. Разрешите доложить?

...Когда он закончил рассказ о Ветрове и изложил свою версию, Белов долго молчал, усваивая услышанное, побарабанил костяшками пальцев по столу, пылливо взглянул на следователя.

— Значит, считаешь, что пропавший в сорок пятом году сержант Калмыков и ныне здравствующий Ветров — одно и то же лицо? Любопытно... А ну-ка попробуй обосновать свои выводы еще раз.

Верещагин, не ожидавший, что начальник отдела так вот сразу воспримет его чисто интуитивную догадку, зябко передернул плечами.

— Понимаете, Андрей Алексеевич, Калмыков, который заведовал продовольственным складом по обеспечению движущихся на восток войск, и рабочий того же склада Иван Комов, по показаниям ачинских свидетелей исчезли в один и тот же день. Однако Комова вскоре нашли на берегу Чулыма; парень был убит выстрелом в затылок, и его опознала родная тетка, у которой он жил с сестренкой со дня их эвакуации из Смоленской области. Ну а Калмыков как под землю провалился. Следствием же было доказано, что Калмыков занимался систематически хищением продуктов и с помощью того же самого Комова перепродавал их частным лицам. Так почему бы не предположить, что, убив своего напарника, Калмыков взял его документы и скрылся из Ачинска?

— Логично, — согласился Белов. — Однако там был Комов, а здесь мы имеем Жо-мо-ва, — проговорил он по слогам. — И то, что тот и другой уроженцы одной области, еще ни о чем не говорит. Думаю, Ченцы встречаются на Смоленщине не в едипственном экземпляре.

Верещагин всплеснул руками:

— Андрей Алексеевич, да подставь в любом документе к букве «К» лишь две небольшие загогулины, и «Комов» превратится в «Жомова».

— Согласен, хотя и не совсем, — наклонил голову Белов. — А не совсем оттого, что следователь, который сорок лет назад вел это дело, предусмотрел вариант превращения Калмыкова в Комова. И объявил розыск, как ты сам говоришь, не только на Калмыкова, но и на Комова. Так неужели в паспортных столах могли купиться на такую дешевку?

— Могли! — уверенно отрезал Верещагин. — И могли потому, что едва закончилась война, народ мигри-

ровал по всей стране; к тому же этого самого Жомова вскоре призвали на действительную службу. А в комиссариатах на основе паспорта девчонки выписывали военные билеты, и вот вам — появился совершенно новый человек: Жомов Иван Матвеевич, двадцать девятого года рождения, уроженец деревни Ченцы Смоленской области. Да и проверить это было практически невозможно — на Смоленщине почти все архивы сгорели.

Соглашаясь с доводами следователя, Белов спросил:

— Так-то оно так... Ну и что ты предлагаешь?

— Что предлагаю? — переспросил Верещагин. — В целях экономии времени самому выехать в Кежму — это село, где, судя по архивным данным, родился и откуда призывался в сорок третьем году Калмыков. В колонию же, где сейчас отбывает срок Нурбиев, направить фотографию Ветрова для опознания.

— Так, допустим, ты прав, — согласился Белов. — А как же дальнейшая разработка Ветрова в Кедровом?

— Считаю, что надо подключить БХСС транспортной милиции.

XV

Четвертый день нелетная погода держала Верещагина в Кежме. А районный прокурор даже пошутил по этому поводу: «Ну вот, дальневосточник и непогодь свою привез» — по радио сообщили о циклоне, который крылом захватил Хабаровский край, да и здесь ни с того ни с сего вдруг резко подморозило, выпал снег и от Ангары поднимался такой плотный туман, что местный аэропорт был наглухо закрыт даже для Як-40. Впрочем, Верещагин не очень-то огорчился этой задержкой — можно было немного отдохнуть.

Когда Верещагин прилетел в Кежму, то был приятно удивлен той оперативностью, что проявили сотрудники районного отделения милиции. По его запросу они провели всю предварительную работу, и старшему следователю Верещагину оставалось только встретиться с Ангелиной Борисовной Сбитневой, сестрой пропавшего в 1945 году сержанта Калмыкова. Откровенно говоря, к Сбитневой-Калмыковой он шел с затаенным страхом: уж слишком много надежд было

возложено на эту поездку. К тому же неясно было, как его встретит хозяйка дома. И если вдруг его предположения верны и сестра что-то знает о судьбе брата, то, как говорится, ловить здесь было нечего. Однако его тревоги оказались напрасными.

Окрикнув насторожившихся собак, Сбитнева пригласила гостя в просторный, на несколько комнат дом и, по-бабьи сложив руки на животе, спросила чуть дрогнувшим голосом:

— Это что, правда, будто Вася нашелся?

Голос у нее был тихий, и только глаза, пытливо шарящие по лицу следователя, выдавали ее состояние.

Верещагин на минуту замялся, обругав в душе того «благодетеля» из местной милиции, что сообщил ей эту «радостную» весть. Впрочем, он уже прокрутил несколько вариантов предстоящего разговора и поэтому только пожал плечами.

— Не совсем так. Однако сейчас начинают проявляться кое-какие подробности исчезновения вашего брата, и мне бы хотелось посмотреть его довоенные фотографии.

— А-а-а, — тускло протянула хозяйка дома. — А я-то уж попадеялась... — Глаза ее как-то сразу изменились, вроде как потухли. Она помолчала немного, потом добавила: — Верите — нет, двадцать лет его разыскивала. Куда только письма и запросы не писала — никто, ничего. Все-таки, знаете, брат. У меня, кроме него, никого больше из родных нету...

Верещагин, все еще продолжая стоять, невольно посмотрел на обрамленную в резную рамочку фотографию, что висела на самом видном месте. Фотография была групповая, семейная — из тех, что четверть века назад делали в городских фотоателье. С нее на Верещагина сосредоточенно смотрели пять пар глаз. Одни из них, безо всякого сомнения, принадлежали хозяйке этого дома, другие, по всей вероятности, ее мужу, а между ними восхищенно уставились в объектив двое мальчишек и девочка, явно погодки.

Перехватив взгляд Верещагина, Ангелина Борисовна поправилась:

— Я не семью имею в виду. Это само собой. А вот из того, довоенного еще времени... Да и мама, когда умирала, просила Васю найти. Говорила, если умер, так хоть на могилку его съездишь. Оградку поставишь...

Она замолчала, тяжело вздохнула и вдруг спохватилась:

— Да чего ж это мы стоим? Раздевайтесь. Гостем будете. Я тут и пельмешек наделала.

Несмотря на отговоры Верецагина, она все-таки ушла на кухню, поставила на плиту воду для пельменей, а вернувшись, захлопотала у большого круглого стола, расставляя тарелки.

— Понимаете, — говорила она между тем, — приплыли мы в эти места. Отец-то скрытный был, о прошлом своем ничего не рассказывал и маме запретил. Боялся все чего-то... Правда, здесь на хорошем счету был, бухгалтером работал. А когда умер, мама мне и рассказала, что сам-то он из дворян небогатых, на стороне белых воевал, оттого и боялся, что власти дознаются и придут с арестом. Раньше-то они с мамой в Саратове жили, а потом в глухомань эту сбежали, чтоб о прошлом своем забыть. Ну а в двадцать пятом я родилась, и отец назвал меня Анжелиной. Вроде как ангел-хранитель в доме появился. А через год и Вася появился. Ну, Васю-то осенью сорок третьего призвали. Проучился он где-то с полгода, и на фронт их отправили. И все, как в воду канул. Думали, погиб. А тут вдруг весточка его объявляется: эшелон, мол, по пути на фронт разбомбили и лежит он сейчас в госпитале. Прошло еще какое-то время, как вдруг письмо из Ачинска — там теперь служит. Мама обрадовалась: жив-здоров сыночек, и вдруг сообщение — пропал, мол. И началось... Милиционер наш местный несколько раз домой приходил, выпрашивал все. Вроде бы как намекал, что и сбежать мог парень из армии. А зачем ему бежать-то? — удивленная милицейской непонятливостью, спросила хозяйка дома. — Ну, я понимаю, если бы на фронте был — умирать страшно. А то ведь в Ачинске службу нес, да и война с месяц как кончилась...

— А у вас, случаем, его фотографий не осталось? Хозяйка вытерла руки о передник.

— Как же не осталось? Как зеницу ока берегу. И Василия, и мамы, и отца. В ту пору, знаете, не часто фотографировались, и было это как праздник. Причем непременно всей семьей.

Она достала из керамической вазочки связку ключей, слеповато шурясь, выбрала один, открыла им дверцу серванта, что стоял промеж окон. Когда обер-

нулась, в руках у нее был большой альбом в красном, изрядно потемневшем сафьяновом переплете.

Подавая его Верещагину, Ангелина Борисовна смущенно улыбнулась:

— От внуков, знаете, приходится записать. Я-то здесь с дочкой живу да с зятем.

— А сыновья ваши где? — кивнул он на фотографию в подрамнике. Присматриваясь между тем к хозяйке дома, всматриваясь в черты ее лица, он находил все большее и большее сходство с той карточкой, что была переснята с личного дела Ивана Матвеевича Ветрова и лежала сейчас у него в кармане. Особенно «выдавали» глубоко посаженные глаза с мощными надбровными дугами. Верещагин находил общие черты между Ветровым и хлопотавшей у стола хозяйки дома, однако не был рад этому и потому оттягивал время, пытаясь отдалить тот момент, когда он точно убедится в их родстве.

— Сыновья где? — переспросила Ангелина Борисовна. — А они у меня по военной части пошли. Училища позаканчивали и сейчас службу служат. А домой только в отпуск приезжают. Обженились оба, детишек завели...

Она прислушалась к бульканью закипевшей воды, всплеснула руками:

— Господи, да чего ж это я одними разговорами вас потчую? Там уж и вода под пельмешки кипит. Ну, вы уж тут одни альбом-то смотрите, а я на кухню побегла.

Верещагин раскрыл альбом.

Еще в пограничном училище, куда он пришел по комсомольскому набору после окончания юридического факультета Московского университета, Верещагин отличался цепкостью зрительной памяти. А сколько выявленных сомнительных паспортов и удостоверений личности прошло через его руки, когда служил на границе, — не счесть. Вот и сейчас, он сразу же остановился на старенькой пожелтевшей фотографии, с которой в объектив смотрели паренек лет пятнадцати и удивительно похожая на него девушка. Тот же подбородок, глубоко запавшие глаза, густые брови. Паренек был подстрижен под модный тогда «полубокс». На оборотной стороне фотографии все еще просматривалась полустертая от времени карадашная надпись: «1 Мая 1941 года».

Боясь ошибиться, Верещагин воровато достал из кармана фотографию Ивана Матвеевича Ветрова — уж очень не хотелось, чтобы хозяйка дома застала его за этим занятием, — положил ее рядом с фотографией более чем сорокалетней давности. Да, здесь заведующий орсовским складом железнодорожной станции Кедоровое остался верен своей привычке, и эту модную в довоенное время стрижку «полубокс» проносил всю свою жизнь. И даже поредевшие волосы не заставили изменить ее. Да и в остальном он оставался тем же Васей Калмыковым, что сфотографировался со своей сестрой в праздничный день сорок первого года.

Верещагин спрятал фотографию нынешнего Калмыкова в карман, перевернул еще несколько листов. И опять на него глянули глубоко запавшие глаза младшего Калмыкова. Правда, на этот раз он был в военной форме, щегольских — явно не солдатских — сапогах и, лихо подбоченясь и держа на отлете папиросу, стоял подле старенькой пятитонки. «Ачинск. Мы победили!» — было выведено на оборотной стороне уверенными размашистыми буквами.

— Мы победили, — едва слышно прошептал Верещагин и усмехнулся, вглядываясь в лицо довольного собой и жизнью девятнадцатилетнего парня с сержантскими погонами на плечах. Вспомнились рассказы матери, как в том же сорок пятом вернулся с фронта отец. Израненный. Дважды контуженный. В потертой шинели, с тощим солдатским вещмешком за плечами, в котором лежали нехитрые гостинцы. Зато вся грудь была в орденах и медалях.

Из кухни донесся щекочущий запах запущенных в кипящую воду пельменей, его перебил обволакивающий запах лаврового листа, и в дверном проеме появилась раскрасневшаяся от плиты хозяйка дома. В руках она держала огромное блюдо с исходящими дурманящим паром пельменями.

— У вас, поди, таких не ладят, — довольно улыбнулась она. — Особые. Кежемские. Двигайтесь поближе, а я масло с уксусом принесу.

Когда сели к столу, Верещагин, предварительно отложив в сторону фотографию сорок первого года, спросил:

— Это ваш брат?

Ангелина Борисовна кивнула, и глаза ее как-то сразу потухли.

— Он самый. Вася. Как живого сейчас помню. К соседям тогда родственник приезжал, мы и попросили его, чтоб сфотографировал на память.

— Вы позволите, я возьму ее с собой, — попросил Верещагин и, увидев, как тревогой вскинулись брови хозяйки дома, добавил: — Да вы не волнуйтесь. Мне ее сегодня же переснимут, и я возвращу.

— А-а, тогда пожалуйста, — согласилась Ангелина Борисовна. — Я уж думала, совсем...

Она угощала следователя необыкновенно вкусными пельменями, подсовывая к ним то масло, то сметану, и рассказывала про брата. И таким он был в сестриной памяти добрым, умным, хорошим и отзывчивым, что даже не верилось, что такой человек мог выстрелом в затылок убить своего напарника, сбросить труп в Чулым и, забрав его документы, вот уже сорок лет скрываться под чужим именем, начисто выбросив из биографии мать, отца и сестру, которая двадцать лет пыталась искать его.

XVI

В Хабаровск Верещагин возвратился в дурном настроении. И было отчего. В том, что нынешний завскладом железнодорожного ОРСа в Кедровом Иван Матвеевич Ветров и сгинувший в далеком сорок пятом году сержант Калмыков — одно и то же лицо, сомнений не было. И если воскресший из небытия Василий Борисович Калмыков вдруг стал бы утверждать, что дезертировал, побоявшись отправки на японский фронт, то его неосторожно оставленные следы пальцев на внутренней стороне планки «вальтера», из которого был убит Иван Комов, несколько по-иному проливали свет на преступление, совершенное сорок лет назад.

Здесь все было ясно, однако Верещагина мучила неизвестность предстоящего допроса. Как-то поведет себя Калмыков, перевоплотившийся в Жомова, а затем взявший фамилию жены и ставший Иваном Матвеевичем Ветровым. Уважаемым человеком не только на железнодорожной станции, но и среди лесорубов. И если вдруг он начнет отрицать свою причастность к пропавшему в сорок пятом году сержанту Калмыкову, то придется приглашать для опознания его сестру. А именно этого и не хотел старший следователь краевой прокуратуры. Не хотел делать ей больно только

из-за того, что ее младший брат поставил себя вне закона.

Когда Верецагин поделился своими мыслями с Беловым, начальник отдела исподлобья посмотрел на следователя, хмыкнул недовольно:

— Уж больно ты нежный, Петр Васильевич. Все чувства людские щадишь. Ну а как прикажешь быть, если он отпираться начнет? Мол, я не я и лошадь не моя. И не лучше ли сразу вызвать сюда его сестру? Кстати, из Смоленска сообщили, что сельсоветский архив и церковные записи деревни Ченцы, где якобы родился этот самый Жомов-Ветров, полностью сгорели в войну. Там как раз линия фронта проходила, так что можешь себе представить, что от деревушки осталось. Да и из местных, думаю, никого не осталось. Кто погиб, кто сам отошел в мир иной, ну а кто успел эвакуироваться, вряд ли вернулся на пепелище.

Верецагин кивнул, потом сказал упрямо:

— Значит, вопрос надо поставить так, чтобы он сам признал свое подлинное имя.

Белов вопрошающе посмотрел на следователя.

— Петр Васильевич, дорогой ты мой, но ведь этот самый Ветров — не дурак. Прежде чем пойти на такое признание, он тысячу раз прокрутит все плюсы и минусы. И скажи ты мне: что ему даст это признание?

— Что даст? — Верецагин задумался. — А если поставить этот вопрос несколько иначе: что он теряет в этом случае? Ведь ему нет ни выигрыша, ни проигрыша в своем признании. Из-за давности лет доказать, что именно он убил Комова, практически невозможно. Ну а то, что воспользовался его документами и у него оказался «вальтер»... На это он может найти десяток правдоподобных версий. И поэтому он должен признать свое настоящее имя.

Белов недовольно покосился на следователя:

— Не понимаю, зачем ему это?

— Зачем? Но ведь он же не знает, что пуля, извлеченная из убитого сорок лет назад Комова, идентифицирована с пулями, которыми стреляли в Шелихова и Кравцова. А значит, ему и скрывать особо нечего. Но тут начинается играть другой фактор — сестра. Насколько я понял, он был привязан к ней. Я не думаю, что сейчас, после сорока лет жизни под чужим именем, он захочет встретиться с ней и быть опознанным.

Какое-то время в кабинете начальника отдела стояла тишина, наконец Белов откашлялся, явно недовольный «уж слишком большой щепетильностью Верещагина», как однажды он выразился на совещании, «прочищая» старшему следователю мозги за не сданные в положенный срок дела.

— Ну что же, может, ты и прав. Однако учти, начальство меня каждый божий день теребит.

После обрушившегося на Хабаровск циклона в городе восстановилась погода, потеплело, подсохли лужи, обитую шквальным ветром листву согнали в большие кучи хлопотливые дворники, и сентябрь опять заиграл броскими осенними красками. Белов открыл окно, долго стоял, размышляя о чем-то своем, потом обернулся к следователю:

— Как там Кравцов?

— Плохо, — ответил Верещагин. — Я утром звонил. Кое-какие сдвиги есть. Встает. Ложку сам держит. Ходить начал. Но память... как отрезало.

— А врачи что говорят?

— Да ничего конкретного. Они лекарство какое-то ждут. На него надеются.

Белов прикрыл окно, отчего в кабинете опять стало тихо, спросил:

— Ну и как ты думаешь, выражаясь блатным жаргоном, «колоть» этого самого Ветрова?

Верещагин пожал плечами:

— Так ведь пальчики его на «вальтере»...

— Ну-ну, — усмехнулся начальник отдела. — А он тебе в ответ: «Да, был грешок, гражданин следователь. По молодости лет. Припрятал в свое время пистолет. Так что судите меня, граждане, что не сдал оружие вовремя, а в остальном...» И ведь потопит он кого-то из этих двоих, а сам чистеньким выйдет, — со злостью добавил Белов. — Так что сейчас нам важно найти способ, чтобы Ветров признался, понимаешь, признался в убийстве Шелихова. Я вот о чем подумал.

Он прошел к сейфу, достал небольшую серую папку, протянул ее Верещагину. Следователь сразу узнал ее. В эту папку Белов собирал материалы, которые характеризовали изученную практику производства допросов с позиций наибольшей эффективности. Кое-кто подсмеивался над этим «досье» начальника следственного отдела, однако Верещагин знал, что многие из его коллег не только в милиции, но и в прокуратуре

проводят допросы беспланоно, ненаступательно, с серьезными тактическими ошибками, а если говорить проще — бестолково. И поэтому в душе всегда был благодарен Белову, когда тот ненавязчиво подсказывал тактику наиболее сложных допросов.

— Посмотри-ка вот это дело, — протянул Белов несколько подшитых листов. — Может, пригодится.

Верещагин «по диагонали» пробежал одну страницу, потом другую, однако, заинтересованный, вернулся к началу. Речь шла о деле, когда следователь столкнулся, казалось бы, с непреодолимыми трудностями при доказании виновности некоего Ключкова в покушении на убийство Елиянца. Преступление было совершено на территории исправительно-трудовой колонии, где подозреваемый и потерпевший отбывали наказание. Ключков нанес Елиянцу несколько ножевых ранений, после чего доставил его в санчасть. При этом заявил, что подобрал Елиянца раненым. Ключков был уверен, что Елиянец умрет, и поэтому свою причастность к преступлению категорически отрицал.

Да и действия подозреваемого исключали возможность использования в качестве доказательства имевшихся на нем следов крови. «Пальчиков» на ноже не было, но и при их наличии Ключков мог сослаться на то, что дотрагивался до ножа, когда обнаружил раненого.

Медики сделали все, что могли — и Елиянец остался жив, однако потерял дар речи и возможность писать, так что сообщить что-либо не мог.

В ходе расследования версии о причастности к преступлению других лиц не подтвердились, но и серьезных доказательств виновности Ключкова также добыто не было. Причем последний допрашивался неоднократно, однако о том, что Елиянец жив, ему не говорили. Также скрывался факт болезненного состояния и утраты Елиянцем возможности говорить и писать. У Ключкова сложилось впечатление, что Елиянец скончался и ему нечего бояться разоблачения, поэтому вину свою при допросах он упорно отрицал.

Вот тогда-то следователь и стал думать, как побудить Ключкова к даче правдивых показаний, и пришел к выводу о необходимости сформировать у подозреваемого мнение, что Елиянец жив и дает уличающие Ключкова показания, с которыми по каким-то сообра-

жениям его не знакомит. Решено было воспользоваться фотографиями Елиянца, сделанными для того, чтобы успокоить его мать, которая довольно долго не получала от сына писем. Во время очередного допроса Ключкова на столе среди бумаг было положено несколько фотографий потерпевшего, где он был снят вместе со следователем.

Во время допроса Ключков сразу увидел снимки, узнал Елиянца, которого считал умершим, и все его внимание сконцентрировалось на фотографиях. А следователь как ни в чем не бывало продолжал допрос. Ключков не выдержал и спросил, что лежит среди бумаг. Его вдруг охватила истерика, он стал уговаривать показать ему снимки. Наконец следователь разрешил посмотреть их, внимательно наблюдая за реакцией Ключкова. Было видно, что допрашиваемый потрясен, но тем не менее следователю ничего не сказал. И только на следующем допросе Ключков признался в покушении на убийство Елиянца...

— Ну что ж, попробую, — принял молчаливое предложение начальника Верещагин и спросил: — По поводу Нурбиева из Душанбе что-нибудь есть?

— А как же, — отозвался Белов. — Нурбиев опознал в предъявленной фотографии Ветрова того самого человека, у которого он в течение двух сезонов покупал икру, будучи директором ресторана. Вдобавок ко всему, назвал еще одного дельца, который, собственно говоря, и вывел его на Ветрова. Так что ребята из БХСС ведут дополнительную разработку по этому каналу.

Выпаривая из ложбин и промоин остатки дождя, который вместе с ураганным циклоном обрушился на город, в зените висело теплое еще сентябрьское солнце, и Верещагин, не особо торопясь, дошел до больницы, спросил у дежурной медсестры врача Мезенцеву.

Лидия Михайловна была в ординаторской. Кивнув следователю на кресло-ракушку, она пододвинула было пепельницу, однако вспомнив, что он не курит, хлопнула себя ладонью:

— Склероз проклятый. Старость, Петр Васильевич. Старость. Подбирается помаленьку.

— Вот уж не поверю, — подыграл врачу Верещагин, — такие операции делаете, что иным молодым и снится не могут.

Успевшая прикурить от своей «фирменной» зажигалки, Мезенцева затянулась сигаретой, сказала усмехнувшись:

— Вашими бы устами да мед пить. Операции... А вот Кравцову помочь не можем, хоть и вытащили его из лап той старухи, что с косою за нами ходит. Даже на ноги поставили. — Лидия Михайловна затянулась с какой-то непонятной злостью, сказала: — Память у него как отрезало. Собственную мать не узнает.

— И что?..

— Надежда вроде бы есть... Однако это вопрос времени.

Едва ли вполонину не докурив сигарету, она затушила ее о пепельницу, покосилась на следователя.

— А вы что, уже виды на него имеете?

— Имею, Лидия Михайловна.

— И какие, если не секрет?

— Да какой уж от вас секрет, — усмехнулся Верещагин. — В общем, на преступника мы вышли, но без Кравцова...

Через настезь открытое окно, приглушенный кустистыми деревьями, доносился уличный шум. Мезенцева достала из пачки «Явы» еще одну сигарету, хотела было закурить, потом раздумала, проговорила тихо:

— Ничем не могу помочь, дорогой ты мой человек. Время и еще раз время. Лекарства. А возможно — и повторная операция.

Верещагин наконец-то решился спросить напрямую:

— Лидия Михайловна, а Кравцову можно выходить на улицу?

— Вполне. Правда, не более как на полчаса. Слаб еще очись, — добавила она и внимательно посмотрела на следователя. — Ну-ка выкладывайте, что задумали.

Верещагин вздохнул.

— Помощь ваша нужна. В интересах следствия. Я с ним просто погуляю, а фотограф наш сделает несколько снимков...

Какое-то время Мезенцева обдумывала предложение следователя, наконец кивнула согласно:

— Ну что ж, если только ненадолго.

Третий час шел обыск в доме Ветрова.

Здоровенный пес-цепняк, чуть ли не с теленка ростом, окончательно охрип от лая, когда Грибов вместе с оперативной группой и понятыми осматривали просторный сарай и надворные постройки, перекладывали аккуратно ухоженные хлысты таежного сухостоя, приготовленного на зиму. Именно под ними и нашли упакованные в целлофан японские крупноячеистые сети, аналогичные тем, что были изъяты у Назарова, Степана Колесниченко и Рекунова.

На вопрос майора, откуда у заведующего орсовским железнодорожным складом такое рыболовецкое добро, тот только сплюнул, высказав тем самым все свое отношение как к милиции, так и к этому обыску. И только когда они обнаружили жестяную коробочку с шестью сберегательными книжками, причем все вклады были сделаны в Хабаровске, Ветров, не сдержавшись, рванулся было к майору, однако его успел перехватить один из понятых, и хозяин всего этого богатства только зубами заскрипел, с ненавистью буравя Грибова глубоко запавшими, почти бесцветными глазами. Неприятное это было зрелище. Особенно для Грибова, едва ли не двадцать лет знавшего сидящего перед ним на стуле, тяжело дышащего человека. С которым здоровался, встречаясь на улице, и считал честным мужиком. Честным, хотя до него доходили слухи о том, что ловчит, мол, завскладом, дефицит лесорубам по двойной цене спускает. Однако ревизии показывали всю несостоятельность этих слухов, и он — заместитель начальника по уголовному розыску районного отделения внутренних дел — принимал их за обычный наговор, за ту самую людскую зависть к торговым работникам, что многим не дает спать спокойно.

Когда в доме и надворных постройках был осмотрен каждый дециметр и в дополнение к сберегательным книжкам изъята также завернутая в целлофан пачка денег на сумму в 12 тысяч рублей, Ветров вдруг как-то сразу сник, и даже в глазах его потух огонек ненависти.

Не проронив ни слезинки, сидела подле окна жена Ветрова.

— Товарищ майор, — наконец обратился к Грибову один из оперативников, — вроде бы все.

— Все, говоришь? — Грибов внимательно посмотрел на Ветрова, который при этих словах даже не поднял головы, оставаясь безучастным ко всему, что происходило в его доме. — Однако не все, лейтенант. Патроны должны быть. Патроны. К тому самому «вальтеру», из которого убили Шелихова.

Об этой версии было сказано впервые, и в большой, просторной комнате с ярким цветастым паласом на полу сгустилась тишина.

Казалось, прошла целая вечность, прежде чем кто-то выдохнул с изумлением:

— Как-как это?..

В комнате опять стало тихо, и только солнечные блики играли на глянцевой, видимо из Хабаровска привезенной, мебели. Один из понятых шагнул к Ветрову.

— Иван... — Он не договорил, но и так было ясно, что хотел спросить сосед.

Дрогнули полные плечи хозяйки дома, и она еще ниже опустила голову. Ведала ли она о всех злодеяниях мужа? Об этом Грибов не знал.

Сказав о патронах к «вальтеру», он надеялся уловить реакцию Ветрова, однако тот продолжал сидеть каменной, бесчувственной глыбой и только спустя какое-то время поднял на майора глубоко запавшие глаза, покрутив у своего виска толстым, словно планговый обрубок, пальцем.

— Ну-ну, — явно не согласился с таким заключением Грибов и повернулся к эксперту: — А ты что думаешь, Илья Борисович?

Немолодой уже, зубы съевший на подобных делах, эксперт пожал плечами.

— Есть одно соображение. — Он отвел майора в сторону. — Слушай, а зачем ему держать такую улику при себе, если этим самым пистолетом надо было утопить Колесниченко? Так что по логике вещей получается, что искать патроны надо в доме Колесниченко. Там и только там должен был припрятать их Ветров. Если... если, конечно, они существуют вообще, — добавил эксперт.

— Ну что ж, логично, — согласился Грибов.

Оставив группу продолжать обыск у Ветрова, Грибов поехал к дому Колесниченко.

Извалившийся в пыли, пес Пират встретил майора беззлобным, однако положенным по собачьему уставу

лаем и, прогремев цепью, опять разлегся подле своей конуры, лениво наблюдая за гостем.

Увидев в окно хозяйку дома и помахав ей рукой, Грибов невольно вспомнил Артема. Любила теща своего зятя. Где-то в душе гордилась им. Что ни говори, а тайгу от пожаров бережет, с парашютом прыгает. И еще радовалась за свою дочь, что та обрела в этом крепком надежном парне свое счастье. И вдруг на вот тебе... Тихо скрипнув, открылась дверь, и в темном проеме сеней появилась чуть расплывшаяся фигура хозяйки.

— Здравствуй, Петровна, — улыбнулся ей Грибов. Семью Колесниченко он знал не первый год и поэтому мог позволить себе этот несколько вольный тон.

— Здравствуй, Василий Петрович, — тускло ответила она и повела рукой, тем самым приглашая в дом.

— Да я, собственно, ненадолго. — Грибов присел на резную лавку, что хозяин поставил на просторном крыльце под навесом, снял фуражку, вытер пот со лба. — Жарко, — вздохнул он и тут же, без перехода, спросил: — Слушай, Петровна, к вам, случаем, Ветров Иван Матвеевич не заходил?

— Это который со станции? — уточнила хозяйка дома, недоуменно поджав губы. — Да нет. Чего бы ему у нас делать? Он, поди, и знать-то не знает, где мы живем.

— Та-ак, — протянул майор. — Ну, а может, еще кто заходил? Степана, может, спрашивали?

— Да не было, Василий Петрович, — удивилась такой напористости хозяйка. — Ты же знаешь, меня эти алкаши, что со Степкой моим... Они ж меня за три версты обходят.

Она замолчала, резче обычного проступили морщинки на лице.

— А может, супруг твой видел кого?

— Да нет вроде... Уж он бы сказал, а впрочем... Обожди-ка. Тут Матрена — соседка болтала как-то, будто приходил к нам кто-то. Пират еще разбрехался, а она как раз свиной кормила.

Грибов насторожился.

— А где она сейчас, соседка эта?

— Матрена-то? Да дома. Где ж ей быть. Поди, с год как на пенсии.

— Позови ее, Петровна, — попросил Грибов.

Матрена, или Матрена Анисимовна Концова, как

представилась соседка, вытирая руки о халат и подавая жесткую ладонь Грибову, оказалась женщиной вовсе не старой, с такой памятью, что заместитель начальника по уголовному розыску только позавидовал.

— Как же, помню, — бойко ответила она, когда Грибов спросил о том самом мужике, «на которого брехал Пират». — А было это, когда Артемку убили. С неделю, пожалуй, прошло. Рублю я, значит, пороссятам сечку, а тут вдруг Пират разбрехался чего-то. Да злобно так, аж рыком рычит. Ну, само собой, вышла из стайки, смотрю, на крыльце мужик какой-то в дверь стучится. Да настырно так. Я кричу ему: «Нет никого!» А он: «Ага, спасибочки». И пошел вроде как к калитке. Я тоже в стайку зашла. Однако, видать, он не сразу-то со двора ушел. Пират, поди, еще минут пять брехом заливался. А у меня как раз Васька из стайки вырвался, так что не до него было.

— Васька — это хряк Матренин, — пояснила Петровна.

— Понятно, — хмыкнул Грибов, удивляясь, отчего это на Руси всех котов и пороссят непременно Васьками кличут. А ведь хорошее имя — Василий, «царский» значит.

— Матрена Анисимовна, а не могли бы вы описать этого мужичицу? Ну, возраст, рост, из себя каков?

Концова покосилась на свою соседку, словно испрашивая разрешения, сказала:

— А чего ж не могу-то? Очень даже могу... — И она с завидной легкостью обрисовала портрет Ветрова, которому, оказывается, что-то было нужно в доме Колесниченко, хотя он отлично знал, что Степан в это время ох как далеко находится от Кедровки.

Ничего не понимающая Анна Петровна слушала соседку, изредка бросая вопрошающие взгляды на майора.

Когда Концова сказала: «Ну вот, кажись, и все», Грибов уже точно знал, что эксперт оказался прав в своем предположении: патроны к «вальтеру» надо искать только здесь. Причем где-то в надворных постройках, до которых не мог дотянуться из-за своей цепи Пират.

...Иной раз везет и при обыске. Едва Грибов с понятыми вошел в покосившийся сарай, наполовину занятый колотыми, аккуратно уложенными дровами, как его внимание привлек чурбан, прислоненный к стене.

Был он кряжистый, разлапистый у основания, зато верхняя часть разлохматилась и яснее ясного говорила о том, что именно на нем-то и колят дрова. Все бы ничего в этом чурбане, но вот стоял он явно не на месте. Незачем было хозяину таскать эту махину с середины сарая к стене. Это уж Грибов знал по себе, единожды и на долгие годы «прописав» такого же дубового «дедушку» у себя в сарае. А посему и хмыкнул удивленно. Потом пригласил понятых подойти поближе, кряхтя залез на чурбан и, пошарив рукой за грубо приколоченной доской, что держала поверху оконную раму, достал из проема небольшой пакет, накрест перевязанный шпагатом.

Стараясь не смазать возможные отпечатки пальцев, он развязал узел — на куске целлофана матово блеснули гильзы.

Прикрыв лицо рукой, тихо вскрикнула мать Степана.

XVIII

Никогда еще Верецагин не готовился так тщательно к допросу, как в этот раз. И невольно волновался, хотя ведал о Ветрове-Калмыкове практически все. Вместе с ревизорами сотрудники транспортной милиции довольно оперативно раскрутили методику хищений с орсовского склада в Кедровом, и Верецагин теперь точно знал, отчего завскладом настолько опасался Артема Шелихова, что решился даже на убийство. Он, видимо, узнал, что парашютист из лесоохраны подбивает леспромхозовских бригадиров написать статью в краевую газету о том, как кое-кто отоваривается в орсовском складе. А следовательно, не миновать тогда дотошных ревизоров, а то, глядишь, и милиции. А Ветрову было чего бояться...

Тщательная проверка установила, что за три последних года были искусственно созданы излишки овощей, фруктов и продуктов более чем на пятьдесят тысяч рублей. Ветров, после того как ему предъявили изобличающие его документы, признал, что излишки по складу создавала бухгалтер Тиняева, но как она это делала, он не знает, так как отчеты за него она составляла сама. Войдя в сговор с Тиняевой, он совместно с ней занимался хищением, присваивая деньги. Правда, при очной ставке они разошлись в той сумме, что пе-

редал бухгалтеру Ветров, однако это были уже частности. Спецы из отдела БХСС располагали десятками свидетельских показаний о том, что Ветров продавал дефицит со склада с черного хода, но было также очевидно, что продать все это на сумму в пятьдесят тысяч рублей практически невозможно.

Негромко скрипнула дверь, конвоир ввел арестованного. Верецагин, если не считать фотографий, впервые видел Калмыкова и подивился сходству между ним и сестрой.

Доложив, что «гражданин Ветров доставлен», конвоир вышел из следственной камеры. Теперь они остались одни и откровенно изучали друг друга. Калмыков — все еще стоя у двери, Верецагин — сидя за столом, на котором лежало распухшее за время следствия «дело». Как показалось Верецагину, в глазах этого оборотня даже не мелькнул мало-мальский страх за свою судьбу. Все, видимо, просчитал: и то, что его икорный бизнес не такой уж большой криминал, ну а насчет хищений со склада, так там главное лицо — бухгалтер Тиняева. К тому же приближается очередной юбилей Октябрьской революции, уже сейчас поговаривают о предстоящей амнистии, так что, учитывая его возраст, прошлые «заслуги» в трудовой деятельности, а также положительные характеристики... Да, умный человек Василий Борисович Калмыков, он же Иван Жомов, а пыне — Иван Матвеевич Ветров.

Кивнув на табурет, Верецагин пригласил:

— Садитесь, гражданин Ветров.

Когда тот, не торопясь и все так же продолжая разглядывать следователя, сел, Верецагин достал чистый протокол допроса.

— Ваше полное имя, отчество, фамилия, год и место рождения?

— Ветров, Иван Матвеевич. Тысяча девятьсот двадцать шестой год. Деревня Ченцы... — Арестованный обстоятельно рассказывал биографические данные, и только когда Верецагин спросил его, почему тот взял фамилию жены, Калмыков впервые ступшевался: — В общем-то, из-за потомства своего несбывшегося фамилию поменял. Я-то ведь от роду — Жомов, ну и когда мальчонкой еще был, чего только вытерпеть не пришлось. И Жомов, и... В общем, когда женился, то сразу решил, что ее фамилию возьму. Думал, пойдут детишки, так зачем же им клички разные терпеть. Од-

нако, — развел он руками, — не дал бог потомства.

— Ясно, — согласился с таким доводом Верещагин, дал расписаться под первой страницей протокола Калмыкову, откинулся на спинку стула, долго, очень долго разглядывал сидящего перед ним человека, наконец сказал: — Итак, вам предъявляется обвинение по статье сто восьмой, а также по статье сто второй Уголовного кодекса РСФСР. Поясняю. Сто вторая — это умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или же смертной казнью.

На какое-то мгновение в камере стало тихо, и вдруг эту тишину разорвал смех. Громкий, раскатистый. Отсмеявшись, Калмыков тыльной стороной ладони вытер глаза и, уставившись на следователя, спросил:

— Вы что — идиот? Или меня за такого держите?

Собственно говоря, Верещагин и не ожидал иной реакции.

— За идиота я вас не принимаю, — сказал он спокойно. — За дурака тоже. Да и себя к таковым не отношу. А по сему буквально под каждым ответом, который будет занесен в протокол, попрошу расписываться. Чтобы потом, знаете, недоразумений не было. Также должен предупредить, что за дачу ложных показаний...

— Слышал об этом, — перебил следователя Калмыков.

— Вот и ладненько, — кивнул Верещагин. — Итак, первый вопрос. Вам знаком Степан Колесниченко?

Видимо, он ожидал это. Прокрутил все возможные варианты — и почти мгновенно ответил:

— Да.

— Распишите вот здесь, — попросил Верещагин и, когда Калмыков вернул ручку, задал следующий: — Как долго вы знаете Степана Колесниченко?

— Ну-у, где-то с середины прошлого года. Его рабочий мой на склад привел. Как раз грузчик был нужен, однако я не взял. Своих пьяниц хватает.

— Фамилия того рабочего?

— Волков, Павел Волков.

— Как часто вы встречались с Колесниченко?

— Я? — ткнул себя пальцем Калмыков. — Боже меня упаси, чтоб я с такой швалью... — Он не договорил и вроде как виновато посмотрел на следователя. —

Впрочем, каюсь. Мне с Владивостока сетку японскую прислали, ну, я Волкову с полсотни метров продал. А тот и проболтался своему дружку. Так что пришел он как-то ко мне и чуть в ногах не валялся, умоляя продать ему сотню метров. Взял я грех на душу — уступил ему. Хотя и догадывался, что мужик браконьерничать будет.

Верецагин записывал вопросы и ответы, давал под каждым из них расписываться Калмыкову и думал: «Ах, до чего ж хитер и прозорлив бывший завскладом. Ведь практически все предусмотрел, подставляя вместо себя Степапа Колесниченко».

— В августе этого года вы приходили к нему домой?

— Было такое, — подтвердил Калмыков. На его месте глупо было бы отказываться, так как Матрена Анисимовна Концова опознала в нем того самого мужика, «шо стучался в ихнюю избу».

— С какой целью?

Калмыков хмыкнул, исподлобья посмотрел на следователя.

— Если честно, то Степан еще сетки попросил. Ну, а мне-то она ни к чему. Вот и решил продать остатки. А тут как раз по пути шел. Дай, думаю, зайду. Может, за приличную цену и сговоримся. А его и дома-то не было. Так что, гражданин следователь, с чем я пришел, с тем и ушел.

Умен... умен был Василий Борисович Калмыков.

— Значит, вы к этим патронам никакого отношения не имеете? — Верецагин выложил на стол небольшой пакетик, упакованный в плотный целлофан.

Калмыков недоуменно пожал плечами:

— Впервые вижу.

— Распишитесь вот здесь, — попросил следователь. Затем достал из стола «вальтер», положил его перед собой. — Вы когда-нибудь раньше встречали этот пистолет?

Ни один мускул не дрогнул на лице завскладом. Просто он чуть приподнялся с табуретки, мельком глянул на «вальтер», сказал спокойно:

— И это тоже впервые вижу.

— Распишитесь, пожалуйста.

Калмыков аккуратно вывел свою подпись.

Когда протокол лег на стол, Верецагин чуть сдвинул его в сторону, сказал:

— И все-таки, может быть, вы облегчите душу чистосердечным признанием? Ведь должны же вы понимать, что все эти вопросы я задаю не из праздного любопытства.

Пожав плечами, Калмыков усмехнулся:

— Насчет любопытства — не знаю. Что же касается, как вы тут изволили выразиться, чистосердечного признания, так все, что касается склада, я рассказал. А вот насчет убийства, тем более умышленного... Тут уж простите. Адресочком, как говорится, ошиблись.

Он замолчал и демонстративно отвернулся в сторону.

Не спешил и Верещагин. Он пытался понять психологию сержанта Калмыкова, превратившегося в «благодетеля» Ивана Матвеевича Ветрова, который все эти сорок лет хранил оружие, из которого когда-то был убит Иван Комов. Ведь он же понимал всю ту опасность, что таил в себе этот пистолет... И хранил. Что это было: страх за содеянное, когда оружие прибавляет уверенности, или тот самый случай, когда безнаказанность за одно преступление рождает уверенность в такой же безнаказанности и другого преступления? В этом он надеялся разобраться чуть позже, когда Калмыков заговорит, а пока, достав акты экспертизы, сказал громко:

— Все дело в том, гражданин Ветров, что ваши отпечатки пальцев зафиксированы на внутренней стороне планки «вальтера». Видимо, вы оставили их, когда смазывали пистолет.

В какое-то мгновение Калмыков дернулся, вскинул голову, однако смог собраться и в следующую секунду только недоуменно пожал плечами.

— Также, — продолжал Верещагин, — при обыске в вашем доме был найден рулон целлофановой пленки, от которой был оторван кусок и в него завернуты патроны, подброшенные вами Колесниченко. Вот акты экспертизы.

Калмыков медленно развернулся, взял акты, долго и очень тщательно изучал их, потом выдавил тихо:

— Я не готов отвечать на этот вопрос.

— Верю, — согласился Верещагин. — Однако я помогу вам, Василий Борисович...

Впервые назвав сидящего перед ним человека его настоящим именем, Верещагин ожидал взрывной реакции, однако Калмыков то ли действительно успел на-

прочь забыть свое прошлое, то ли у него были железные нервы, но в первый момент он даже не отреагировал на эти слова, и только спустя минуту-другую что-то замельтешило в его глубоко запрятанных глазах, дрогнули губы.

— Да-да, я не ошибся, гражданин Калмыков, — подтвердил Верещагин. — Хотите очную ставку с сестрой или вам достаточно будет вот этих фотографий? — и он выложил на стол пачку фотографий, переснятых из старого семейного альбома.

Калмыков подался вперед, его большие, полные руки дрогнули, трясущимися пальцами он взял одну фотографию, вторую, долго смотрел на постаревшую сестру.

— Жива, значит... — хрипло сказал он. — Сколько раз подмывало в Кежму приехать. Хоть глазком посмотреть, а вот... — Он замолчал и вдруг спросил, неприязненно уставившись на следователя: — Раскопали, выходит, ачинское дело?

— Да уж не обессудьте.

Калмыков усмехнулся:

— Ну что ж, ваша взяла. Однако ни хрена у вас, гражданин следователь, не получится. Как вам известно, есть такое положение в нашем родном законодательстве — давностью лет называется. Посчитайте, сколь годков-то прошло, как Ваню Комова... Да и кто его убил — неизвестно. Ну, а то, что я его документами воспользовался да «вальтер» этот прихватил, так это от страху, что и меня к нраотцам отправят. Нажился на том складе в Ачинске кое-кто прилично. Наши войска как раз на Дальний Восток перебрасывали, порядка на складах никакого, так что — воруй не хочу. Когда корифей этого дела почувствовали, что жареным запахло, а Ванюшка напц, как самый молодой да неопытный, колонуться может — его и того... Ну, а моя вина в чем: дезертировал, пистолетик с патронами припрятал, под чужим именем жил. Но ведь сорок лет прошло, гражданин следователь.

Он помолчал, поерзал, повздыхал.

— Настоящая-то моя вина в том, что «вальтер» этой собаке Колесниченко продал. Он его случайно у меня увидел. Пристал: продай да продай. Мол, в тайге частенько бывает, а карабин не всякий раз с собой возьмешь, так что... Грех тут действительно мой. Но

статью свою — сто вторую, по которой вышку дают, не по адресу предъявляете.

Ушлым человеком был Василий Борисович Калмыков. Все рассчитал. И подивился Верещагин тому, как же иной раз везет дуракам и пьяницам.

— Значит, вы утверждаете, что этот пистолет с патронами продали Колесниченко?

— Ему самому.

— Когда?

— Да где-то весной, пожалуй. — Калмыков вдруг замолчал, пристально и даже несколько испуганно посмотрел на следователя. — А что, насколько я понимаю, именно из этого «вальтера» того парня?.. Ах, Степан, Степан...

Вполуха слушая Калмыкова, Верещагин достал справку из медвытрезвителя, как бы невзначай выложил на стол фотографии, где он был снят с Игорем Кравцовым. Верещагин тогда смог подобрать кедровник, довольно похожий на тот, откуда стрелял в Шелихова Калмыков, и впечатление было такое, что Игорь рассказывает и показывает следователю, как произошла та страшная трагедия.

На какую-то долю секунды Калмыков сжался, непроизвольно потянулся к снимкам. Однако сумел переусилить себя, тяжело выдохнул и опять принял прежнюю позу.

— Что с вами, Василий Борисович? — спросил Верещагин.

— Н-нет. Ничего, — ответил тот. И тут же: — А это кто?.. Тот? Второй?..

— Да, это Игорь Кравцов. Тот самый, который, услышав выстрелы, сумел догнать вас, и если бы вы не ранили его в голову, мы бы давно закончили это дело, — как можно спокойно сказал Верещагин и, видя, с каким страхом всматривается Калмыков в фотографию парня, спросил: — Василий Борисович, вы когда-нибудь задумывались о неотвратимости наказания?

Тот дернулся, будто его ударили, наморщил лоб, непонимающе уставился на следователя.

— О не... неотвратимости?

Верещагин пододвинул ему справку из медвытрезвителя.

— Это было в тот самый вечер, когда из вашего «вальтера» был убит Артем Шелихов и ранен Игорь Кравцов.

Около гостиницы Верещагин вылез из милицейского газика и, попрощавшись с Грибовым, поднялся в свой «люкс». Наконец-то Калмыков признался в убийстве Шелихова, они провели следственный эксперимент, и скоро можно будет возвращаться домой.

Машинально включив телевизор, который благодаря вмешательству Грибова не только показывал, но и рассказывал, что творится на белом свете, Верещагин бросил на стул куртку, без сил онустился в потертое полукресло. Сказывалась усталость последних дней. Он едва успел расслабиться, как в дверь постучали, и тут же вошел летнаб Курьянов, а за ним среднего роста, спортивно-подтянутый мужчина лет пятидесяти — Давыдов, руководитель производственных испытаний нового парашюта для лесных пожарных. Их познакомил Курьянов, и тогда же Давыдов пригласил следователя на «дружеский, абсолютно неприязнательный ужин у костра». «Тридцать лет одному хорошему человеку исполняется», — сказал он.

— Петр Васильевич, — начал с порога Давыдов, — ждем. — Был он в потертой летной куртке, джинсах, на ногах кроссовки — одним словом, никак не походил на человека с солидным положением.

— А я уж собираюсь, — соврал Верещагин и сам же засмеялся вранью.

Хоть и теплая еще стояла погода, но вечерами холодало, в низинах стелились туманы, и Верещагин под куртку натянул свитер, боясь простудиться. После ранения на границе врачи посоветовали ему беречься простудных заболеваний и боже упаси подцелить воспаление легких. Когда собрался окопчательно, вопросительно посмотрел на Курьянова:

— И все-таки неудобно как-то без подарка.

— Да бросьте вы, — успокоил его Давыдов. — Петро — свой парень, поймет. А сегодня ему тем более не до подарков. Можно сказать, второй раз родился.

— Это как? — не понял Верещагин.

— Не знаю даже, как объяснить, — развел руками Давыдов. — Он же парашютист-испытатель. Работа сама по себе рискованная. Профессионализм и осторожность нужны такие, что... Ну, а сегодня он сам, по своей воле, на риск пошел.

Они вышли на улицу. Забывая звездную россыпь неба, ярко светились уличные фонари, взбредивали поселковые собаки, и только от реки, которая темной лентой стелилась под обрывом, доносились негромкие аккорды гитары.

— Вы представляете новый вариант парашюта, что мы отработываем для лесных пожарных? — спросил Давыдов.

— Ну-у, в общем-то, да.

— Так вот, чтобы на этом куполе подняться в воздух, необходим хоть какой-нибудь встречный ветер. А сегодня полный штиль. Я уж думал, что опять придется на тренажере работать, как вдруг наш Петя, это тот самый парашютист-испытатель, которому сегодня тридцать лет исполнилось, отдает команду готовить машину к буксировке. Я было воспротивился, однако он настоял... В общем, случай этот пересказать практически невозможно. Как жив остался, до сих пор понять не могу.

Они уже подходили к реке, когда руководитель производственных испытаний нового парашюта «Лесник» закончил рассказ. Где-то на самой середине реки плескалась рыба, мерцали звезды, а Верещагин почти наяву видел, как поднимается над кромкой леса разноцветный купол...

Пересказать этот случай действительно было практически невозможно, настолько какие-то очень важные для испытателя детали были незаметны для постороннего глаза. Петр дольше обычного бежал с раскрытым куполом за буксирующей машиной, наконец оторвался от земли, поднялся над кромкой леса, и вдруг все увидели, как стало заваливаться полотнище парашюта. А шофер гнал машину вперед, пытаясь вытянуть испытателя на безопасную высоту.

«Ну же!» — выдохнул кто-то из парашютистов.

По идее Петя должен был войти в штопор и упасть. И упал бы с высоты десятиэтажного дома, смалодушничай хоть на мгновение. Однако он продолжал нестись параллельно взлетной полосе, все больше заваливаясь набок и почти не набирая высоты. И тут он начал «прокачивать» левую сторону. В какой-то момент полотнище выровнялось, купол наполнился воздухом и плавно пошел вверх.

Хоть и была далеко не жаркая погода, Давыдов с Курьяновым вытерли со лба пот, а кто-то из парашю-

тистов уже бежал навстречу испытателю, чтобы помочь донести парашют.

Когда Петр подошел к стартовой полосе, он был все такой же спокойный, как и десять минут назад. Попробовал только:

— Мужики, узнайте скорость ветра.

Скорость ветра, как сообщили на метеостанции, не превышала двух метров в секунду, падая порой до полного штиля...

Почти у самой воды, под обрывом, горел костер, в землю были воткнуты две увесистые рогатины, а на перекладине висело три ведра. В двух, как смог убедиться по запаху Верецагин, варилась уха из чебаков, в третьем кипятилась вода под чай. Парашютисты, оказывается, подарили перешедшему свое тридцатилетие испытателю шахматы, и он, растроганный от этого чуточку грубоватого, с подначками внимания, делился ощущением прошедшей буксировки. Верецагин перезнакомился с испытателями и с удивлением обнаружил, что это не просто день рождения у костра, оказывается, Давыдову, как, впрочем, и всем остальным, важно было прийти к общему решению: годится ли купол «Лесника-2» для подготовки курсантов.

Верецагину зачерпнули две большие поварешки наваристой ухи, подали ложку с ломтем хлеба, и он, уютно устроившись на бревне, поставил глубокую алюминиевую миску на колени, подловил ложкой аппетитный кусок разваристого чебака, с интересом прислушиваясь, о чем говорят парашютисты. Были они примерно такого же возраста, как и Верецагин, и только четверым было за сорок. «Старички», как охарактеризовал их Давыдов.

Так вот у «старичков», насколько понял из обрывочных фраз Верецагин, мнение насчет «Лесника-2» было одно: система хорошая, годится как для подготовки стажеров, так и для тренировки опытных парашютистов.

— Ясно, — сказал Давыдов и повернулся к Старикову, который подкладывал в костер сушняк. — А что скажет молодежь?

Венька раскрасневшееся лицо.

— А чего говорить? Сами видите, система надежная. Думаю, ребята примут буксировку беспрекословно, а вот основному составу придется перебороть психологи-

ческий барьер. Честное слово, когда начал отрываться от земли и трос потащил меня вверх, испугался малость. Даже за землю руками хотелось схватиться.

— Во-во, — согласился с ним Серега Колосков. — А при этом начинаешь «задавливать» клеванты, как бы ища упора для рук.

— И как избежать этого? — спросил Давыдов, делая пометки в блокноте.

— Как?.. Думаю, при буксировке необходима хотя бы односторонняя связь, чтобы действия парашютиста могли контролировать с земли. На себе испытал. На третьем подъеме у меня начался небольшой свал, и тут появился страх, что купол может сыпануться. Вот здесь-то и нужна шлемофонная связь.

— Верно, — добавил из затемненной части костра Мамонтов. — Я тоже немного испугался, когда вдруг почувствовал, что правая сторона начинает висеть. И если бы кто-нибудь командовал моими действиями снизу, то ошибок, пожалуй, было бы меньше.

Говорили парашютисты много. И о том, что буксироваться надо на более открытых местах, а не в столь узком коридоре, как они делали до этого. И скорость ветра чтобы была не менее четырех метров в секунду. Проанализировали, из-за чего едва не «сыпанулся» Петр. Оказывается, не было начальной скорости подъема, а когда он все-таки взошел над лесом, то попал в воздушный провал. Хорошо еще, что сумел вовремя сориентироваться.

Верещагин пил чай, слушал парашютистов, а в навалившейся на реку темноте ярко полыхал костер, разносился запах лаврового листа, и кто-то из парней, перебирая струны гитары, пел негромко. Как понял Верещагин — о лесных пожарах.

Мы прыгаем в лес на огонь,
Палатки нам вместо гостиниц,
И дружбу мужскую мы чтим —
Наш главный жизненный принцип..

Песня была самодельная, может, чуть нескладная, но слышалось в ней то, что невозможно передать обычными словами.



Повесть

I

Приказ, как всегда, был лаконичен и краток: доставить в Тарбоган раненых, а оттуда, завтра же, — продовольствие и медикаменты афганским дехканам в кишлак Шоппа.

Николай Громадин всего месяц пробыл в Афганистане, а казалось — вечность, и был безмерно рад снова оказаться на Родине, в маленьком уютном городишке, в котором предстоит служить после вывода полка с проклятой всеми богами и аллахами территории, где нет мира и покоя не только военным, но и штатским.

В Тарбогане Николай прожил неделю перед отправкой в Афганистан, не успел рассмотреть как следует город, ознакомиться с улицами, а будто домой вернул-

ся. Пока сдавал документы, наводил порядок в своей холостяцкой комнате в гостиничном общежитии, мылся и гладил штатский костюм, наступил вечер. Вышел на улицу и дохнул полной грудью — здесь и дышалось по-другому: воздух чище и прохладнее, деревья с пышными кронами листвы источают нежный аромат, от цветов на клумбе веет приятной свежестью. Он шел неторопливо, с интересом рассматривая наряженных девиц и парней, фланирующих по улице, — последняя неделя летних каникул. В сквере ему повстречались две таджички в легких полупрозрачных блузках и шелковых шароварах, симпатичные черноглазые смуглянки; обе засмотрелись на него, а когда он прошел, что-то сказали и громко рассмеялись.

«А не так уж я заплешал под знойным солнцем, коль девицы на меня заглядываются, — усмехнулся Николай. И затосковал по Наталье, Аленке. — Надо забирать их сюда, потерпят, пока отделают дом, где выделили квартиру».

Утром он разыскал начальника гарнизона и, объяснив ситуацию, попросил разрешения пожить семье в его гостиничной комнате.

— Не хочется дергать дочку из школы в школу, когда начнутся занятия, — пояснил он.

— Пожить-то не проблема. Но без вас им тоже покажется здесь не сладко. Там как-никак Россия, стены кажутся родными.

— Там они тоже живут на чужой квартире, потому и спешу забрать. Об Афганистане они пока не знают, и я прошу вас встретить их, помочь устроиться. Объясните, что я в командировке.

— Это само собой, товарищ майор. Можете не беспокоиться: и встретим, и устроим, — согласился Дехта.

На стоянке уже шла загрузка мешков с мукой, коробок с макаронами, медикаментами, тюков с одеждой. Руководил старший лейтенант Мезенцев, а прапорщик Савочка стоял рядом с лукавой улыбкой на лице и донимал своего непосредственного начальника каверзными вопросами. Николай услышал его насмешливый голос:

— А чем отличается Надир-шах от Дауда, а Таракки от Амина?

Мезенцев подумал.

Они частенько спорили на политические темы, и техник, догадавшись, что прапорщик приготовил ему

ловушку, обдумывал, как в нее загнать самого ловца.

— Не философский вопрос, — наконец сказала Мезенцев. — Если я начну перечислять их отличие, времени до вылета не хватит. Ты вот лучше ответь на такой вопрос: зачем и почему мы везем туда хлебушек, одежду и какой навар будем иметь?

— А ты не знаешь? — сделал удивленное лицо Савочка. — Темный ты в политическом отношении человек, Семен Митрофанович. И злостный собственник: продукты, барахло трудовому народу пожалел.

— Так мы же сами зерно и хлопок за границей покупаем.

— Ну и что? Идешь в гости, неси в горсти.

— Н-да, — покачал головой Мезенцев, — прямо как в том анекдоте, когда Мойша Даян предлагал напасть на Советский Союз. У него спрашивают: «А если русские победят?» «Вот и хорошо, — отвечает Мойша. — Пусть думают, как нас прокормить».

«Не очень-то оптимистично настроен техник, — подумал Николай. — Надо как-то поговорить с ним... Хотя пули душманов весомее всяких слов».

Николай подошел к авиаспециалистам, поздоровался. Поинтересовался, как дома.

— А что ночью увидишь? — отозвался Савочка. — Семен Митрофанович жену свою спросонья за душмана прицал, чуть не задушил.

— Вот трепач, — беззлобно отозвался Мезенцев. — Ему б в замполиты, а не в авиаспециалисты.

— А что, можем, — сделал серьезную мину Савочка. — Только звание повыше б да оклад побольше.

— Карьерист ты, Савочка. Тридцати нету, а уже прапорщик, по две звезды на погонах, на третью запрашиваешься.

— А разве не заслужил?.. Скромность мне мешает, а то давно бы обскакал тебя...

— Штурман не приходил? — прервал их перепалку Николай.

— В штаб за картами пошел, — ответил Мезенцев.

— А майор Сташенков?

— Сташенкова не видели. Он тоже полетит?

— Посмотрим. — Николай забрался в кабину, сел в кресло и, положив на колени планшет, стал писать письмо Наталье. Пусть приезжают, перебьются нес-

колько дней в его комнате. Предупредил, что встретить, возможно, не сумеет (не станет же он отпрашиваться из-за такого пустяка в Тарбоган). Для Натальи это не в новинку — в Кызыл-Буруне он тоже частенько бывал в командировках... А если с ним что случится? Правда, последнее время активность мятежников заметно спала, но чем это объяснить, уборочной страдой или предстоящим выводом первых советских полков, трудно сказать. Бабрак Кармаль пытается примирить оппозицию, созывает джирги, призывает моджахедов сменить автомат на мотыгу, но соседи с пакистанской и иранской стороны делают все, чтобы посильнее разжечь огонь междоусобной войны — греют руки на продаже оружия, решают свои политические и экономические интересы за счет чужого народа...

Николай написал письмо, запечатал конверт. Вылеза из кабины, увидел шагающих к вертолету офицеров экипажа Сташенкова. Чуть позади шел и сам командир.

Сташенков доложил:

— Товарищ майор, экипаж вернулся из отпуска без замечаний. Разрешите приступить к выполнению своих обязанностей?

— Разве у вас кончился отпуск?

— Два дня осталось, потом догуляем. Капитан Дехта просил нашим друзьям-соседям продуктишек подбросить.

Глаза у Сташенкова были красноватыми — не выпался. Но держался он браво.

— Как себя чувствуете? — Николай испытующе смотрел ему в лицо. Сташенков выдержал взгляд.

— Превосходно чувствую. У врача был. Какие еще будут вопросы?

Он начинал заводиться. Обострять отношения было не место и не время, и Николай ответил как можно спокойнее:

— Вопросов нет. Готовьтесь. Через полчаса слетаю с вами.

— А может, обойдемся без проверки? — В голосе зама звучала обида.

— Не обойдемся, — отрезал Николай.

Перерыв в летной работе на Сташенкове не сказался: он пилотировал так, словно и не был в отпуске. Николай расписался в летной книжке о допуске и пошел к своему вертолету.

Еще через полчаса взлетели и взяли курс на юг. День, как и предыдущие, был безоблачным, душиным.

Вот и чужая земля. Даже горы кажутся другими — суровыми, неприветливыми, а из черных бездонных расщелин веет могильным тленом. На душе у Николая заняло, и стало так тягостно и тоскливо, словно он улетал из родного края навсегда.

— Домой что-то захотелось, — дурашливо заблажил Савочка. — Может, повернем, командир?

Значит, не одного его тянет домой, не он один подвержен магической силе — притяжению родимой сторонки.

— Твой непосредственный начальник Семен Митрофанович не соглашается, — пошутил Николай. — Говорит, в Шошше его ждет не дождется черноглазая пуштунка.

— Он у нас такой, — поддержал шутку Савочка. — Дюже до женского пола охочий. Дома троих настрогал, теперь на сторону смотрит.

— А тебе завидно? — отозвался Мезенцев. — Бракодел несчастный. Одного смастерил, и то девчонку.

— Прекращаем о любви. Внимательнее следите за землей, — напомнил Николай. — О нас тут очень соскучились и тоже, наверное, приготовили подарки.

Вертолеты прошли над перевалом и со снижением направились к узенькой безымянной речушке, ведущей прямо в Шошшу. Левее речушки, километрах в двух, пролегал шоссе, соединяющая Файзабад с основной магистралью. Там курсировали наши самолеты и вертолеты, охраняя движущиеся по ней колонны автомашин. Николай решил держаться от трассы подальше, чтобы не мешать крымским патрульным и избежать излюбленных мест засад душманов.

И решение оказалось верным: до самой Шошши по ним не сделали ни одного выстрела.

В кишлаке их уже ждали: на ровной площадке за дувалом собралось человек сто — женщины, старики, дети. У дувалов стояли две машины с десанниками и бронетранспортер. Пятеро царандоев ходили около толпы и прогоняли с площадки вездесущих мальчишек.

Николай и Сташенков приземлили вертолеты. Не успели остановиться лопасти, как толпа окружила машины. Солдаты еле сдерживали людей. Наконец их удалось оттеснить, чтобы заняться выгрузкой. К Ни-

колаю подошел немолодой худощавый мужчина в за-
ношенном халате и полосатой чалме, что-то стал гово-
рить. От тогда отделился царандой и перевел:

— Староста кишлака Зафар благодарит вас от име-
ни дехкан за помощь и желает благополучных по-
летов.

— Спасибо, — сказал Николай и пожал старосте
руку.

Тот заговорил снова.

— Староста предлагает помощь в разгрузке, — пе-
ревел царандой.

— Хорошо, — согласился Николай. — Наши солда-
ты будут выносить из вертолетов, а дехкане уклады-
вать мешки и коробки вон на той площадке.

— Биссер хуп*, — сложил староста на груди руки.

Мезенцев и Савочка расставили десантников цепоч-
кой у вертолетов. К ним присоединились дехкане.
Мальчишки лет 10—12 тоже лезли в помощники, но
их отгоняли.

Николай с жалостью смотрел на оборванных и го-
лодных до изнеможения людей: женщины с морщини-
стыми лицами и безрадостными глазами, согбенные
старики в лохмотьях — кожа да кости, грязные маль-
чишки и девчонки, спующие между взрослыми в на-
дежде чем-то поживиться. Те, кто не был занят раз-
грузкой, молча наблюдали за мешками и коробками,
ожидая, когда начнется дележка, когда можно будет
сварить суп или макарены, испечь лепешки, утолить
мучительный голод.

Мальчишки-непоседы бегали вокруг вертолетов и
норовили заглянуть в их утробы, а то и забраться ту-
да. На них прикрикивали, они отбегали, но спустя не-
много лезли снова.

Пацан лет десяти, на теле которого был лишь за-
мызганный хлопчатобумажный пояс, заменяющий
трусы, исцарапанный и невымытый целую вечность, при-
близился к Николаю и протянул руку.

— Капитана, да афгани.

— Зачем тебе афгани? — поинтересовался Николай.

— Клеба, — пояснил малыш.

— А ты неплохо знаешь нужные слова, — улыб-
нулся Николай и позвал Савочку. — Поднимись в ка-
бину и принеси наши борнтайки.

* Биссер хуп — хорошо.

Прапорщик с проворностью спортсмена юркнул в кабину и вернулся с пакетом. Николай развернул бумагу, протянул бутерброды мальчишке. Тот схватил их, крикнул: «Пасибо!» — и скрылся в толпе.

— Теперь понял, почему у афганцев много детей? — спросил Савочка у Мезенцева и, не ожидая ответа, пояснил: — Пока такого отмоешь, быстрее нового сделаешь...

К Николаю приблизилось еще трое пацанов.

— У нас ничего не осталось? — спросил Николай у Савочки.

— Только яблоки, товарищ майор.

— Тащи яблоки.

Не успел Савочка выйти из вертолета, как их окружили десятка два мальчишек и девчонок. Неожиданно среди них появилась симпатичная молодая женщина с большими черными глазами, сердито прикрикнула на детей, и они разбежались.

— Зря вы, — укорил Николай женщину. — Они голодные.

Женщина прищурила свои большущие глаза, гордо вскинула голову и, круто повернувшись, ушла, не удостоив его ответом.

«А она совсем не похожа на соотечественниц, — отметил Николай. — И одета чисто, опрятно, можно даже сказать, модно — в легкой кремовой блузке, узкой серой юбке с большим разрезом сбоку; непокрытая — густые черные волосы спадают на плечи, в ушах — золотые серьги полумесяцем. И вид не как у других, не отягченный заботами, а независимый, гордый. Не иначе жена богатого бая или главаря шайки».

Женщина вошла в толпу и обернулась. Николай обратил внимание, что и присутствующие афганцы следили за ней с любопытством, будто видели впервые. Кто она и почему вмешалась, в общем-то, в несвойственное женщинам дело: в присутствии мужчин здесь не принято командовать даже детишками.

Симпатичная незнакомка заметила, что за ней наблюдают, и углубилась в толпу.

Разгрузка подходила к концу, лица дехкан светлели, в толпе нарастало оживление. Пацанов уже трудно было удержать, и они носились вокруг людей, ныряя под вертолет, трогали руками стойки колес, створки люков, подкосы. Николай поискал взглядом женщину в кремовой блузке и с серьгами полумесяцем —

что-то в ней показалось ему знакомым, уж не встречались ли они в Ташкенте три года назад, когда он был там в командировке — зрительная память у него отменная, — но тут же отогнал эту мысль: что делать афганской девушке в Ташкенте? Внимание его снова привлек мальчуган, которого он угостил бутербродами: теперь на нем висел, как на пугале, халат не по росту. Кто это успел его «приодеть»? Халат стеснял мальчугана, сползал с плеч, и он придерживал лацкан рукой. Хотя нет, это он что-то держал за пазухой, видимо бутерброды, оставив их братьям и сестрам. Но почему у него такой встревоженный, испуганный вид — все время озирается по сторонам, словно боится, что у него отнимут гостинцы?

Пацан покрутился у вертолета Николая и перешел к группе Сташенкова. Там народу было поменьше, а пацанов побольше, и они свободнее, словно жуки, лавали под фюзеляжем и хвостовой балкой. Присоединился к ним и «крестник». Он прополз под хвостом, приблизился к подвесному баку и, достав что-то из-за пазухи, прилепил снизу. И бегом в толпу.

Николай бросился к вертолету Сташенкова. Нагнулся и оторвал от бака магнитную прицепку — металлическую коробку с часовым механизмом.

К Николаю подошел царандой*, выполняющий роль переводчика. Поцокал языком, выругался по-своему. Сказал:

— Душмань, покарай их аллах.

— Очень уж юные душмань, — грустно усмехнулся Николай.

— Мы его поймаем и накажем.

Подошел староста с капитаном ХАД**. Капитан сказал что-то царандою, и тот устремился в толпу.

Пацанов от вертолета словно ветром сдуло.

Николай отдал мину капитану.

— А ты спрашивал, какой навар мы будем иметь, — услышал Николай ироничный голос Савочки. — Мы им пироги и пышки, а они нам мины да шишки.

— Как волка ни корми, он все равно в лес смотрит, — констатировал Мезенцев.

* Царандой — милиция.

** ХАД — органы контрразведки Афганистана.

«И верно, — подумал Николай. — Сколько мы сюда уже привезли, сколько за них жизнью положили, а они все равно нас оккупантами считают. И попробуй переубедить их».

Минут через пять царандой притащил за руку упирающегося, в слезах, «диверсанта». Халат распахнут и сполз с плеч, обнажив острые лопатки и выпирающие, казалось, просвечивающие сквозь кожу ребра.

— Вот он, — и встряхнул перед Николаем. — Что прикажете с ним сделать?

— Задавить, как клопа вонючего, — высказался Сташенков. — Его, гаденыша, от голода спасают, а он — мины...

Сквозь толпу к ним протиснулась женщина в кремовой блузке. Остановилась, сверкая глазами, как разъяренная волчица, готовая броситься на тех, кто взял ее волчонка.

— Ваш? — спросил Николай.

Женщина вздрогнула, мотнула головой и что-то сказала по-своему.

— Говорит, нет, — перевел царандой. — Но требует отпустить, он, мол, ничего еще не понимает.

— В десять лет не понимает, что такое мина? — И наклонился к мальчику: — Кто дал тебе эту «игрушку»? За что ты хотел меня убить? Разве я чем-то тебя обидел?

Царандой заговорил с пацаном, и тот снова захныкал. Потом сквозь слезы рассказал: его заставил моджахед. Обещал много афгани. А если не сделает, то убьет его мать, братьев и сестер.

— А где у него отец?

— Погиб в восемьдесят втором.

«Вот и ответ, почему они нам «мины да шипки», — мысленно возразил Николай Савочке. — И тут ничего не подделаешь».

— Отпустите его, — сказал Николай царандой. Тот непонимающе уставился на советского начальника.

— Его надо расстрелять.

— Отпустите, — повторил Николай и помог освободить ручонку мальчика.

Женщина в кремовой блузке все это время наблюдала за ним. Но вот сзади к ней подошел симпатичный молодой мужчина с черной бородкой, положил на плечо руку; она обернулась, и на лице ее Николай прочи-

тал удивление и радость. Она схватила мужчину за руку и увлекла в толпу.

А вот его, красавца с короткой черной бородкой, Николай узнал.

...Он совершал свой первый боевой вылет. За инструктора с ним летел майор Сташенков, пресвоевавший здесь уже более полугода. Состояние было необычное: страха Николай не испытывал, а все тело было напряжено до предела: в глазах пощипывало, в ушах звенело. И вертолет гудел приглушенно, шел над долиной осторожно, крадучись, делая змейки влево и вправо. Куда ни глянешь, ни души. Люди прячутся, подстерегают друг друга из засад, потому приходится вести вертолет над самой землей вдоль быстрой и бурливой речушки, вжатой с обеих сторон каменистыми берегами. Слева и справа возвышались громады гор, отполированные ветрами и ливнями. Лишь у подножия виднелись хиленькие кустики с причудливо закрученными ветвями. Летчики звали эту долину Долиной привидений, но майор Сташенков сказал, что здесь самое тихое место в Афганистане: недалеко наша граница, места труднопроходимые, а душманы предпочитают южные и восточные караванные тропы. Но случается, появляются и здесь. Вот и несет вертолетная эскадрилья досмотровую службу вдоль долины, помогая Народной армии Афганистана перехватывать пришельцев с оружием из Пакистана и других недружественных стран.

Они возвращались уже домой, когда Сташенков вдруг наклонился вперед и стал пристально смотреть на землю.

— Что там? — Николай тоже окинул долину беглым взглядом, но ничего, кроме серых валунов вдоль речки, не увидел.

— Вы не обратили внимания вот на те валуны, что лежат на взгорке? Когда туда летели?

Николай пожал плечами:

— Их тут столько...

— По-моему, они не там лежали, вон у тех деревцев.

— Не помню, — откровенно признался Николай.

— А ну-ка давайте сделаем кружок, и чесаните из пулемета, над головами. Для остротки.

Николай прибавил «шаг-газ» и, описав с набором высоты дугу, направил нос машины прямо на валуны.

Метров со ста нажал на гашетку. Снаряды кучно ударили у валунов, подняв фонтанчики пыли.

И один валун вдруг ожил, обратился в человечесьё обличье и метнулся к деревьям.

— Ух ты! — поразился Николай, выводя вертолет из снижения.

— «Ноль семьдесят второй», прикрой, захожу на посадку, — скомандовал ведомому Сташенков и взял управление на себя.

— Осторожно, командир, с той стороны может быть засада, — предупредил ведомый.

— Может быть. Потому и прошу — прикрой, — властно потребовал Сташенков.

Они не ошиблись: едва вертолет стал заходить на посадку, с южного берега из-за каменных глыб сверкнули огненные трассы. Били, по крайней мере, с трех точек.

— Садиться нельзя! — крикнул Николай и взглядом указал на противоположный берег: — Стреляют.

— Следите вон за теми, — недовольно оборвал Сташенков и передал в отсек: — Группе захвата приготовиться к высадке. Хватать — и сразу в кабину!

— Давайте сделаем кружок, нугнем стреляющих.

— Я инструктор, и я — командир! Уберите руки с управления.

Сташенков был прав: хотя по должности он находился в подчинении Николая, в полете являлся инструктором и за все нес ответственность. Но решение его Николай считал неверным: вертолет прикрытия один ничего не сделает — при маневре, как только он прекратит стрельбу, душманы могут ударить по приземлившемуся из гранатомета, да и крупнокалиберный пулемет достанет.

— Тогда заходите так, чтобы в случае чего я мог стрелять из пулемета и ПУРСами*.

Сташенков скривился, как от зубной боли — только совстов ему по хватало, он никогда не придавал должного значения тактике, верил только в силу мастерства и смекалки; но на этот раз все-таки послушал Николая, развернул вертолет носом к южному берегу и пошел на посадку.

Ведомый в это время поливал душманов огнем из носового пулемета, а когда стал разворачиваться, от-

* ПУРС — неуправляемые ракетные снаряды.

крыли стрельбу борттехник и бортмеханик. Трассы из-за камней погасли — душманы залегли, и достать их за глыбами было не так-то просто.

Николай снял пулемет со ступора и нацелил на самый большой валун, откуда сверкнула первая трасса. Боковым зрением увидел троих мужчин в белых чалмах и серых халатах — как раз под цвет камней, — бежавших к реке. Пришлось перенацелиться и стрелять перед ними. Душманы залегли.

Послышался толчок колес о землю, и шестеро наших десантников вихрем метнулись к залегшим.

Из-за валунов снова блеснули огоньки. Николай дал по ним длинную очередь.

Вертолет ведомого снова вышел на боевой курс и ударил неуправляемыми ракетными снарядами. Дым и пыль скрывали на время убежища душманов и огневые точки. А когда смрад стал редеть, из отсека крикнули:

— Пошел, командир, все в порядке!

Вертолет взревел и, оторвавшись от земли, круто взял вправо, подальше от душманов. Ведомый догнал его и пристроился в правый пеленг.

Минуты через две к кабине летчиков протиснулся командир группы захвата старший сержант и доложил:

— Товарищ майор, захвачены трое неизвестных. Один мертвый, убит при перестрелке. У всех в сумках, кроме фисташковых орехов, ничего не обнаружено.

У Николая по коже пробежал холодок: «А если мирные жители?.. Почему тогда стреляли с южной стороны?.. И кто убил одного?.. Я стрелял не по ним, а перед ними, чтобы заставить залечь. Из группы захвата вообще никто не стрелял... Значит, провокация? Но с какой целью?..»

Вопросов много, и дадут ли ответ задержанные? Ранее, слышал Николай, бывали случаи, когда афганские дехкане переправлялись с той, мятежной, стороны за орехами, по чтобы их прикрывали огнем крупнокалиберных пулеметов, такого не случалось. А если фотокорреспонденты, кинорепортеры все засняли и поднимут шум, как советские вертолетчики расправляются с мирными жителями, собирающими фисташковые орехи? И попробуй оправдаться. Дехкане, разумеется, могли и не знать, что за ними охотятся с фотокамерой, и убили одного свои же ... Но как, в таком случае, следовало поступить экипажу и десанникам?

Появившиеся в долине люди конечно же не дехкане — зачем им было прятаться, маскироваться? Зачем убегать? И как было не стрелять, когда из-за укрытий по вертолетам бил крупнокалиберный пулемет?..

Все будто бы верно, а на душе муторно, неприятно, словно сделали что-то не так. Хотя такое ощущение испытывает, похоже, он один, Николай Громадин. Сташенков, наоборот, сидит расправив плечи, лицо светится, как у полководца, выигравшего важное сражение, на командира эскадрильи посматривает с превосходством: вот, мол, как я их, а ты сомневался, кружок предлагал сделать лишней, погугать из пулемета.

Он-то не стрелял, ему переживать нечего...

— Вы почему скисли? — обратил внимание на Николая Сташенков. — Что-нибудь не нравится в моих действиях?

— Хочу угадать, что за всем этим кроется, — ответил Николай.

— Не было куме печали, — поморщился Сташенков. — Мы свое дело сделали, и, считаю, неплохо. А отчего, почему — пусть у начальства голова болит.

— А за фисташки совесть не мучает?

— Чего? — не понял Сташенков. И покрутил в улыбке головой. — Ну, Николай Петрович... Лучше, если бы у них в сумках гранаты лежали?.. Подождите, еще и с таким повстречаетесь.

— Товарищ командир, Центральный передает, чтобы шли к ним, видимо «духами» заинтересовались, — сообщил по переговорному устройству бортовой радист-механик.

— Понял, — ответил Николай.

На Центральном аэродроме задержанных сдали подполковнику из разведуправления. Одного из них, чернобородого красавца, и узнал Николай. Он даже помнил его имя — Абдулахаб.

2

Наконец-то Абдулахаб разыскал свою Земфиру. Шурави * продержали его у себя более недели.

Сколько он пережил за это время, чего только не передумал! Допрашивали его советские контрразвед-

* Шурави — советские.

чики вместе с хадовцами*, и Абдулахаб больше все-го боялся, что им удастся дознаться, кто он и какую роль играл в отряде Башира, а потом Масуда. Боялся, что выдаст напарник Мурмамад. Правда, знает он мало — в отряде вторую неделю, но что Абдулахаб ведал казной — в курсе. А если выдаст — прощай золото, и что намыто на берегу Кокчи, и что припрятано недалеко от кишлака Мармуль. Но похоже, Мурмамад настоящий моджахед: не спаниковал при появлении вертолетов и на предварительном допросе, когда их еще не разлучили, твердил одно: они дехкане из кишлака Шаршариф, перебрались через речку, чтобы завестись на зиму фисташками.

Абдулахаб предлагал и второй вариант: советские контрразведчики захотят использовать его в своих целях. Предложение он примет, только бы отпустили, а когда окажется на свободе, заберет Земфиру, и ищи ветра в поле, как говорят русские. Абдулахаб снова станет Абдулахабом, а не Саидом, коим он назвался, присвоив себе имя убитого, — у Саида не такая известная биография, он тоже в отряде недавно, месяца три, и не представляет для Советов такого интереса, как бывший студент Ташкентского государственного университета, посланный учиться новым, революционным правительством Амина, затем начальник снабжения геологоразведочной партии в Файзабаде, а еще позже — казначей банд Башира и Масуда.

Но дни шли за днями, допросы за допросами, а никто ему ничего не предлагал, даже намеков на сотрудничество не делал. Его мучила неизвестность, неопределенность положения и все больше беспокоила судьба Земфиры. Как она там? Выдержит выпавшие на ее долю испытания? Первый год жизни в Афганистане она перенесла довольно тяжело: в Ташкенте у нее была хотя и небольшая однокомнатная квартира — жили они вдвоем с матерью, — но с удобствами, с газом и горячей водой. В Файзабаде же, куда привез ее Абдулахаб, пришлось привыкать к земляному полу, к керосинке и костру, к невкусной, с горечью, воде, которую она могла пить только кипяченой. А потом, когда Башир увел Абдулахаба в банду и Земфира более месяца жила в страшных ожиданиях и лишениях, она

* Хадовцы — сотрудники органов контрразведки Афганистана.

пошла за мужем дорогами испытаний, еще больших страданий, скитаний и бесконечных боев. И только любовь ее к Абдулахабу помогла переносить зной и холод, трудные длинные переходы, насмешливые, а то и недобрые взгляды единоверцев мужа. Правда, никто в отряде Башира не смел и словом оскорбить ее — боялись Абдулахаба, самого сильного и ловкого в отряде воина, пользующегося покровительством главаря. И Башир относился к Земфире с почтением, иногда долго не отрывал от ее стройного стана вождеденных глаз. Абдулахаб опасался, что однажды предводитель не выдержит искушения и, отправив Абдулахаба на задание, прикажет Земфире явиться в его палатку. Но Башир, имевший в десятке кишлаков жен и любивший женщин, оставлял Земфиру в покое, то ли дорожа прежней дружбой с Абдулахабом, то ли боясь его мести. А возможно, выжидал более подходящего момента. И Абдулахаб не знал, чем закончится страсть главаря к его жене, пока отряд Башира не попал в засаду.

Их тогда окружили со всех сторон: со стороны кишлака сарбазы* и царандой, со стороны гор — десантники, высаженные из вертолетов. Случилось это ранним утром, когда отряд Башира направился в кишлак Мармуль, чтобы захватить завезенное туда накануне советскими вертолетами продовольствие и одежду и покарать неверных, продавшихся проклятым шурави.

Кто-то их предал, разведка, побывавшая ночью в кишлаке, ничего не обнаружила. А сарбазов и царандоев находилось в засаде не менее двух сотен. Едва началась перестрелка, загудели в небе вертолеты. «Стингеров» в отряде не было, да и вряд ли ими можно было воспользоваться: вертолеты вынырнули из-за гор внезапно и шли на такой малой высоте, что трудно было прицелиться из пулемета и автомата.

И все-таки группа противовоздушной обороны, имевшая два крупнокалиберных пулемета, ударила по закружившим над ними Ми-24. В ответ сверкнули молниями реактивные снаряды. Пока вертолеты прикрывались прижимали огнем моджахедов к земле, Ми-8 совершили посадку, и десантники отрезали путь отступления к горам.

* Сарбазы — солдаты.

Абдулахаб, побывавший уже не в одном бою и умевший здраво оценить ситуацию, сразу понял, что на этот раз живым вырваться из кольца удастся немногим. Понял это и Башир. Абдулахабу показалось, что он увидел на лице сардара * печать смерти: оно вытянулось и побледнело, глаза горели безумием, как у смертельно раненного волка, а в смолисто-черной бороде вдруг закурчавились седые волосинки...

Башир знаком подозвал к себе Абдулахаба. Сказал не властно, как приказывал раньше, а скорее попросил:

— Оставайся рядом. Уходить будем через кишлак. Передай по цепи.

Но не успела команда облететь рассыпавшийся почти на голом месте отряд — и валунов здесь было мало, и кювет у дороги довольно мелок, — как стрельба со стороны кишлака и со стороны гор, где замкнулось кольцо, затихла. Над головами моджахедов прокатился громовой голос:

— Моджахеды, бирардары **! Слушайте и не стреляйте, пока не обдумаете свое решение. Мы даем вам на это полчаса. Вы окружены и сами видите, положение ваше безнадежно. Предлагаем не проливать напрасно кровь, сдаться. Можете выделить для переговоров парламентаря. Стариков, детей и женщин, если такие имеются, просим покинуть поле боя. Выход — по дороге к кишлаку...

Башир выругался:

— Кафиры, гяуры ***! Пусть шакалы терзают ваши трупы! — Кивнул в сторону, где укрылась в кювете Земфира: — Пусть уходит женщина. Остальным готовиться к прорыву.

У Земфиры на глазах выступили слезы.

— А ты? — повернулась к мужу.

— Будешь ждать меня в Файзабаде.

— Вы сдадитесь?

— Иди, — подтолкнул он жену.

Когда вернулся к Баширу, тот еще раз повторил:

— Будь рядом. Если ранят — вынеси. Если убьют, снимешь этот пояс и отдашь Гулям. Понял?

* Сардар — военачальник.

** Моджахеды, бирардары! — Воины, братья!

*** Кафиры, гяуры! — Неверные!

Абдулахаб кивнул: Гулям — старшая жена Башира, и она знает, как распорядиться состоянием мужа; что в поясе драгоценности, Абдулахаб не сомневался.

— Казну сдашь Масуду.

Абдулахаб знал и этого главаря, действовавшего со своим отрядом восточнее Файзабада, а иногда и объединявшегося с Баширом. Но это было редко: каждый имел свое задание, получаемое от главы «Фронта национального освобождения Афганистана» Себгатуллы Моджаддеди из Пакистана.

— Не надо, саиб*, вместе уйдем.

Башир не ответил, глубоко вздохнул.

Стрельба прекратилась, даже одиночных выстрелов не слышалось; лишь вертолеты, кружившиеся над залегшими моджахедами, нарушали тишину прекрасного весеннего утра: Абдулахаб, как никогда ранее, вдруг уловил сквозь гарь пороха медвяный запах свежих трав и цветов, которыми покрылась земля, напоенная вешними водами; светло-фиолетовый колокольчик на тоненьком стебельке тянулся из-под камня к самому лицу Абдулахаба и, казалось, щекотал своими нежными лепестками ноздри. И поднявшееся над зубцами гор солнце было такое ласковое, теплое...

— Кто это? — Башир толкнул локтем Абдулахаба, взглядом указав на запагавшего за Земфирой старика Расула, примкнувшего к отряду с неделю назад.

— Расул Самад, он из здешних мест, — пояснил Абдулахаб и прижал к плечу автомат, беря старика на мушку.

— Пусть идет, — остановил Башир. — Сам пришел, сам ушел. И толку от него, как от сломанного посоха.

Навстречу Земфире и старику направились двое мужчин с карабинами в форме карандая. Остановились, о чем-то поговорили и повели их в кишлак.

— Башир! — раздался все тот же зычный голос в усилителе. — Осталось десять минут, а ты не высылаешь парламентаря. Мы знаем, сколько у тебя воинов, и не хотим, чтобы их кровь пролилась напрасно. Твои собратья-сардары уже перешли на сторону народной власти, советуем и тебе со своим отрядом последовать их примеру. Народ устал от войны, хочет мира, хлеба. И поля истосковались по вашим рабочим рукам...

* Саиб — господин.

— Кафиры! Гяуры! — зарычал Башир и дал длинную очередь из автомата. В ту же секунду со всех сторон застрочили пулеметы, заухали легкие душки, гранатометы, и моджахеды, делая короткие перебежки от камня к камню, устремились в сторону кишлака. Цепочка сарбазов дрогнула, изогнулась и стала рваться, особенно на правом крыле, где оборону держали царандои.

— Туда, — указал на слабое место Башир. Абдулахаб еле успевал за ним.

Патрулировавшие вертолеты открыли стрельбу, но вскоре вынуждены были прекратить ее — моджахеды смешались с сарбазами и царандоями; ослабили огонь и десантники — в дыму и пыли легко было поразить своих. Воспользовавшись этим, остаток отряда Башира достиг кишлака и занял наиболее выгодные позиции — дувалы, мазанки, арыки.

— Из кишлака не уходить, жителей не выпускать, пока к нам на помощь не подойдут моджахеды Масуда, — отдал приказ Башир. Он шел вдоль дувала, не кланяясь пулям, которые свистели то тут, то там, взбивали фонтанчики пыли, рикошетили от камней. Остановился около открытой двери мазанки, но внутрь входить не торопился. — Сколько, думаешь, сможем продержаться здесь? — спросил у Абдулахаба.

Сардар спрашивал у сарбаза... Похоже, на помощь моджахедов Масуда он не очень рассчитывал. А может, придумал?..

— Когда должен подойти Масуд? — на вопрос вопросом ответил Абдулахаб.

Башир только сверкнул глазами. Посмотрел на крышу и, опершись ногой о камень, легко взобрался наверх. Абдулахаб последовал за ним. Распластавшись на плоской, чуть покато́й поверхности, они подползли к противоположному краю, откуда хорошо просматривались окраины, и увидели, как десантники, сарбазы и царандои обтекают кишлак с востока, юга и с севера. Свободной оставалась лишь западная часть. Пока...

По тому, как решительно Башир спрыгнул с крыши, Абдулахаб понял, что он принял решение.

Почти в каждом кишлаке, где отряд действовал, у Башира были осведомители и верные люди, а готовясь к набегу, он брал обычно лошадей или ишаков для вывоза награбленного. На этот раз ни лошадей, ни иша-

ков в отряде не было, значит, Башир рассчитывал взять их в кишлаке.

Абдулахаб не ошибся. Башир вошел в мазанку и появился оттуда с длинным седобородым стариком. Пригибаясь при каждом выстреле и цоканье невдалеке пуль, тот повел их вдоль дувала к западной окраине. Остановились около полуразрушенной мазанки, за стенами которой увидели четырех лошадей. Башир, не говоря ни слова, прыгнул на спину одной. Старик едва успел подать ему повод, как он ударил лошадь в бока каблуками и, выбравшись наружу, помчался на запад, где невдалеке виднелись горы. Там можно укрыться в густых зарослях, подняться по малохоженным и мало кому известным тропам к перевалу... Если только не заметят их с вертолета.

Лошадь под Абдулахабом, несмотря на впалые бока и острую спину, на которой сидеть было мучительно неудобно, бежала довольно резво и потихоньку сокращала расстояние до Башира.

Они проскакали с полкилометра, когда услышали позади рокот двигателей, и впереди их на дороге взметнулись фонтанчики разрывов.

Вертолеты, промахнувшись с первого захода, пошли на второй. Абдулахаб видел, как начал петлять Башир, бросая лошадь с одной стороны дороги на другую, и тоже попытался сманеврировать, но его «рысак», и без того уже вздымавший боками как после длительной скачки, сбился с галоп на трусцу и заартачился, не обращая внимания на понукания и удары каблуками в бока.

Пулеметная дорожка легла совсем рядом, и вертолет пронесся над самой головой Абдулахаба, чуть ли не задев его колесами, и это взбодрило, а вернее, напугало лошадь — она рванулась вперед, туда, где конь Башира вдруг споткнулся и грохнулся в дорожную пыль.

Абдулахаб ожидал, что сардар сейчас вскочит и придется ему уступить лошадь, но тот не вставал. И когда Абдулахаб подскочил ближе и увидел распластанное тело, у него зашевелились волосы на голове: череп сардара был расколот надвое, одна половина с окровавленной чалмой лежала рядом, вторая была отброшена на добрых полметра. Лошадь хрипела и билась в предсмертных судорогах: снаряды раздробили ей круп.

Не отдавая себе отчета — так уж приучили его выполнять волю господина, — Абдулахаб спрыгнул с лошади и отстегнул пояс сардара. Он совсем забыл про вертолет, и только когда снаряды полоснули перед глазами, упал, прижался к земле. Первой мыслью было открыть ответный огонь из автомата, защищаться до последнего патрона, но он тут же отогнал ее: что может сделать пуля бронированному чудовищу с крупнокалиберным четырехствольным пулеметом? А если?.. И он, откинув руку, притворился убитым. Лошадь убежала на обочину и стала щипать траву.

Вертолет сделал один круг, второй. Уж не хочет ли он сесть? Тогда придется принять последний бой...

Но вертолет вдруг круто развернулся и направился к кишлаку, где продолжали греметь выстрелы. И когда он завис над восточной окраиной, Абдулахаб пополз прочь от Башира, над которым уже зажужжали мухи, встал и пустился во всю мочь к горам.

Ему удалось уйти от преследования, и через неделю он разыскал жену Башира Гулям. Разыскал, но драгоценностей отдавать не стал: Гулям переметнулась к неверным, ушла жить к царандою. И Абдулахаб припрятал сокровища Башира до лучших времен, уверенный, что они скоро наступят. А казну, как и велел саиб, доставил самому Масуду.

Абдулахаб не рассчитывал на особое доверие в новом отряде и был немало удивлен, когда Масуд без особых расспросов и проверки оставил его при прежней должности. Еще больше удивился, узнав, что казна отряда содержится в том же самом банке в Файзабаде. Так он стал служить новому хозяину. Но если для отряда Башира жалованье и наградные за уничтоженных шурави, бронетранспортеры и вертолеты шли от Себгатуллы Моджаддеди из Пакистана, то моджахеды Масуда, помимо боевых задач, занимались добычей золота, на которое покупали оружие, и Абдулахаб почти не бывал в отряде, жалел, что согласился взять Земфиру с собой. Жене у Масуда жилось далеко не так вольготно, как у Башира. Вначале сардар относился к ней с недоверием, считал чуть ли не шпионкой шурави, а потом непонятно за какие заслуги приблизил, сделал хозяйкой своей палатки.

Такое положение еще больше расстроило Абдулахаба. Теперь он уходил на задания с грустными мыслями и тяжелым сердцем. Надо бежать, все настойчи-

все зрело решение. Забрать Земфиру и... в Арабские Эмираты или еще куда-нибудь: драгоценностей Башира, если умело ими распорядиться, хватит и им, и их детям... Можно прихватить и золотишко, намытое на Кокче. Только бы выбраться от шурави...

В этот день на допрос его вызвали уже вечером. Средних лет капитан, все тот же, который с первого дня задержания ведет с ним словесный поединок, был менее сух и официален.

— Так ничего и не хотите нам сказать? — спросил с непонятной веселинкой.

Переводчик перевел более жестко и неточно: «Так что, будем продолжать в молчанку играть или наконец вспомните, куда и зачем шли?»

Абдулахаб, как и прежде, сделал вид, что русский не понимает, ответил переводчику:

— Я все сказал, бирардар, что знал; да будет аллах тому свидетель.

— Какой я тебе брат? — возмутился переводчик. — И не боишься, что аллах покарает тебя за неправду?

Абдулахаб не боялся: во-первых, он не очень-то верил в аллаха; во-вторых, если аллах и есть, он не накажет мусульманина за обман шурави, а ниспошлет ему благополучие, ибо каждый неверный есть злейший враг ислама и заслуживает самой суровой кары.

Переводчик обратился к капитану:

— Бесполезно, Иван Андреевич. Эти фанатики, что им вбили мушкетеры в голову, то и будут твердить.

«Значит, Мурмамад тоже ничего не сказал», — обрадовался Абдулахаб.

— Ну что ж, — поднялся из-за стола капитан. — Скажите ему, что передам их, в таком случае, органам национальной безопасности Афганистана. Там быстрее разберутся, кто они и что делали на западном берегу. Хотя вполне вероятно, что приходили за золотом, а когда их обнаружили, охранники ухлопали казначея, чтобы он не выдал место захоронения. Ничего, все равно найдем.

Абдулахаб с трудом сдерживал рвущуюся из груди радость: лучшего он и не ждал — главное, их отправят к своим, а там он сумеет выкрутиться, вплоть до того, что попросится на службу сарбазом или царандоем. Разыщет Земфиру и... Он даже в мыслях прерывал свою мечту, боясь, как бы не разгадали ее. А придет

время, он и до этого золотишка, что на берегу, доберется. Только бы обрести свободу...

Переводчик перевел слова капитана. Абдулахаб благодарно приложил к груди руку:

— Да ниспошлет вам аллах милость и благоденствие.

...И вот он вместе с Земфирой!

Хадовцам тоже ничего не удалось выяснить о нем и, продержав две недели, они выпустили его, взяв обязательство проживать в кишлаке Шаршариф и никуда пока не отлучаться.

Абдулахаб поселился в заброшенной мазанке — война многих лишила родного очага — и вскоре обнаружил, что за ним следят. Это его не удивило — видимо, за тем и выпустили, чтобы выявить связи. Возможно, в биографии его что-то не совпало — он надеялся лишь на то, что следователи не будут столь дотошными, чтобы выяснять мельчайшие детали, которых он сам не знал, но если им удастся установить его личность, дело может обернуться худо.

Еще в камере к нему примазались двое, доверительно рассказывали о действующих в тех или иных провинциях отрядах моджахедов и о их храбрых сардарах, давали советы, как вести себя на допросах, — старались завоевать его доверие и вызвать на откровенность. И он «клюнул» на их приманку, «призвался» в том, в чем «каялся» хадовцам.

Похоже было, что контрразведчики не очень-то поверили ему, а возможно, кое-что и выяснили — не о Саиде, коим он представился, а о Абдулахабе, сыне Махмада, сподвижника Амина, посланном в 1979 году на учебу в Ташкентский университет и вернувшемся оттуда в 1985 году инженером горнорудного дела с красавицей Земфирой.

Еще в начале 1980 года он узнал о гибели Амина и его приближенных, что стало с отцом, ему было неизвестно, и он со страхом ждал, что его отзовут с учебы. Но прошел год, другой, никаких распоряжений из Кабула не поступало. После второго курса можно было поехать домой на каникулы, как делали некоторые его земляки; он воздержался, сославшись на желание лучше узнать жизнь и работу в Союзе, и попросил послать его с геологами на Памир. Просьбу удовлетворили, и он около трех месяцев странствовал с экспедицией у подножья Дарвазского хребта в поисках пен-

ных минералов. Сколько они тогда исходили, излазили, то поднимаясь к самым вершинам, то спускаясь в долину к быстрой и коварной речке, не ведая и не гадая, какую судьбу она определит ему впоследствии...

Горы, горы, речка Кокча... В то лето в его жизни произошло два важных события: он влюбился в Земфиру, сокурсницу того же Ташкентского университета, геологоразведочного факультета, принявшую участие в поисковых работах, а когда вернулся из похода, получил от старшего брата письмо, доставленное студентом-земляком, побывавшем в Кабуле на каникулах.

Брат писал, что по-прежнему работает начальником уездного царандоя — на эту должность он назначен был еще при Амине, что об отце сведений пока не имеет, высказывал возможность ухода его за кордон: «Ты же знаешь его фанатизм, упрямство и приверженность корану, — осуждал он открыто, как и бывало ранее, отца, с чем не всегда соглашался Абдулахаб и из-за чего между братьями возникали ссоры. — Его всю жизнь учили владеть оружием и повиноваться, вдалбливали в голову, что не существует бога, кроме аллаха, и нет более правозверных на свете, кроме мусульман, осуждали дружбу с шурави, считая это веротступничеством. И отец не сумел понять, что режим Амина был обречен с самого начала, когда тот, расправившись с Тараки, захватил власть, не оценил того громадного значения, которое имеет интернациональная помощь Советского Союза, спасшего апрельскую революцию, афганский народ от векового рабства и нищеты...»

Абдулахаба не очень-то огорчили распри отца со старшим братом — они и раньше бывали, — а вот что отец, вероятно, жив — обрадовало; кто из них прав, кто виноват, он не задумывался: время — лучший судья, оно рассудит; главное, что Абдулахаб может спокойно учиться — уж коли брата не отстрашили от работы в царандое, то его и подавно не тронут.

Он успокоился, и любовь всецело завладела им: Земфира ответила ему взаимностью, и мир для них стал безмятежен и прекрасен. Вечерами они просиживали в библиотеке или просто бродили по городу, летом снова отправились с геологоразведочной партией в горы.

Земфира, несмотря на то что росла единственной дочерью в семье — отец оставил их незадолго до по-

ступления Земфиры в университет, — в безбедности и благоустроенности, оказалась выносливой, с сильным характером девушкой: спать могла в любых условиях и на любом ложе, а если требовалось, и не спать по несколько суток; легко лазала по горам, к пище была непривередлива, никогда не унывала, умела интересно рассказывать и заразительно смеяться; ее все любили и потому всегда охотно брали в экспедицию.

На пятом курсе Абдулахаб сделал предложение, Земфира дала согласие, даже не спросив, а где он собирается жить после окончания института. Об этом они заговорили позже, когда настала пора распределения выпускников по местам предстоящей работы.

О том, чтобы остаться в Советском Союзе, Абдулахаб и слушать не хотел, и не потому, что ему не нравилось здесь, скорее, наоборот: но как он мог допустить, чтобы над ним верховодила женщина? Если узнают на родине, ишаки будут смеяться. И на вопрос Земфиры он ответил непреклонно:

— Поедем ко мне.

— Хорошо, — безропотно согласилась жена.

В Кабуле выпускников встретили радушно — специалисты нужны были стране, — обеспечили на первое время продовольствием, деньгами, распределили по городам и уездам на высокие должности. Абдулахаб и Земфира попали в Файзабад. Ему предстояло возглавить материально-финансовый отдел по обеспечению изыскательских работ, Земфиру же просили заняться пока педагогической деятельностью — преподавать в школе-интернате русский язык.

Повидался Абдулахаб и с братом, вначале обрадовались, а потом поссорились. И снова из-за отца: Хаким обвинял его во многих преступлениях, вскрытых после падения режима Амина.

— Не нам судить родителей, — возразил Абдулахаб. — Отец выполнял свой долг. А ты уверен, что мы служим тому, кто достоин?

Хаким удивленно поднял брови:

— И это говоришь ты, которого народ послал учиться, которому доверил высокий пост?

— Только без громких слов, — остановил его Абдулахаб. — Послал меня, ты это отлично знаешь, не народ, а Амин, потому что отец служил ему верой и правдой. Высокий пост — кто-то должен двигать прогресс. Но дело не в этом, и я не против народа, народ-

ной власти. Но скажи мне честно, что принесла народу эта власть?

— Как — что? Ты не видишь различия между феодализмом и социализмом? Где ты учился, в Советском Союзе или в Пакистане у Бурхануддина Раббани*?

— Не беспокойся, я не проповедник ислама, не шпион Себгатуллы Моджаддеди и знаю различие между феодализмом и социализмом. В Советском Союзе меня учили не только наукам, политике, но и размышлять, анализировать факты, события, политические ситуации. Вот ответ мне на такой вопрос: почему в Кабуле, в сердце нашей страны, каждый день стреляют, убивают десятки людей? А что происходит в горах? Почему народ оказывает такое сопротивление своей же власти?

— Народ? Почему ты душманов называешь народом? — Хаким уже злился, горячился.

— Потому что в душманы идут не только баи.

— А и наемники, — вставил Хаким. — Пакистанские, иранские — те, кому хорошо платят американскими долларами. Ты этого не знаешь?

— Знаю. Но и помню такой случай. Еще до поездки в Союз на учебу бродили мы как-то с Баширом — помнишь, его отец служил вместе с нашим отцом? — на окраине. Видим, у одного дома шурави во главе с большим начальником окружили женщину с шестью малышами. Все оборванные, грязные — кости да кожа. Сардар шурави** что-то спрашивал у женщины, переводчик переводил, но она молчала. Тогда один из дехкан сказал, что муж этой женщины ушел в душманы и погиб, а она не в состоянии прокормить такую ораву. Сардар шурави приказал принести женщине одежду, продукты. Все это быстро было доставлено. Сардар шурави вручил женщине, но она продолжала молчать. Переводчик объяснил, что, мол, она растерялась. Но только шурави оставили женщину в покое, ношли к машине, она швырнула подарки им вслед. Что ты на это скажешь?

— А то, что народ наш еще забит и темен...

Он еще что-то хотел сказать, но Абдулахаб перебил:

* Бурхануддин Раббани — глава «исламского общества Афганистана».

** Сардар шурави — советский военачальник.

— Вот теперь ты пришел, наконец, к истине: да, наш народ слишком еще забит и темен, и многие не принимают революцию потому, что она отнимает у них отцов, сыновей, братьев. Зачем земля, когда на ней работать некому?..

Абдулахаб понимал, что спорил больше с собой, чем с братом: Хакиму все было ясно, а ему, прожившему в Советском Союзе шесть лет, видевшему, что принесла революция узбекскому народу, как преобразила эту в недалеком прошлом отсталую пустынную страну в цветущий оазис; не давали покоя картины увиденных разрушений на родине, кровавой междоусобной резни. Он понимал — без революции с баями, с феодализмом не покончить, но такой ли должна быть революция? Трудно изменить обычай, уклад жизни народа, который складывался веками; дехкане согласны платить баю вдвое больше податей, только чтобы не забирали их сыновей в солдаты, не разрушали кишлаки, не жгли посевы. Война озлобляет людей, разделяет на непримиримые лагеря, бьющиеся не на жизнь, а на смерть. Ежедневно гибнут сотни, тысячи соотечественников, страна разоряется, нищает. А помощь извне — это все подачки, это все временное, чужое...

В Файзабад их доставили на советском вертолете, местные власти помогли с устройством: не хоромы, даже не такая уютная со всеми удобствами однокомнатная квартира Земфиры в Ташкенте, но вполне терпимое жилье. Земфира украсила комнату дешевенькими покрывалами, навела чистоту, и зажили они новой, суетливой, беспокойной и напряженной жизнью. Они привыкли к частым взрывам, к перестрелкам в городе, но не могли привыкнуть к подозрительным, а нередко и враждебным взглядам, и трудно было понять, где тут свои, где чужие.

Однажды изыскателям потребовалось переправить в горы около полутонны взрывчатки. Абдулахаб приготовил ее, упаковал и ждал, когда придет за ней машина. Но на второй день взрывчатка исчезла. Ключи от склада были только у Абдулахаба, о взрывчатке знало ограниченное число людей — грузчики. Началось расследование. А пока оно велось, на четвертую ночь после похищения взлетела на воздух школа-интернат, в которой преподавала русский язык Земфира, погибло около сотни подростков.

Земфира, несмотря на крепкие нервы и выдержку, ревела как белуга.

На очередном допросе, который вел очень молодой и очень горячий лейтенант ХАД, Абдулахаб вдруг понял, что органы государственной безопасности имеют веские основания подозревать его в контрреволюционной деятельности: они выяснили, что отец Абдулахаба служил верой и правдой Амину, исчез куда-то — не иначе к душманам, — и у сына довольно много темных пятен по этому делу: почему взрывчатку готовил заранее, когда не было еще машин, почему замки открыты, а не взломаны, почему жена находилась во время взрыва дома, а не в интернате?

Вопросы были глупые до идиотизма, но, говорят, чем глупее вопрос, тем труднее на него ответить. Абдулахаб тоже вспылал, обозвал лейтенанта чим-чиком* и хлопнул дверью.

А вечером к нему пришла девушка, работавшая вместе с Земфирой, и передала Абдулахабу просьбу почтенного человека, которого он хорошо знает, встретиться с ним у духащника Мамеда.

Абдулахаб, поколебавшись немного, отправился на свидание. И очень удивился, узнав в почтенном друга детства Башира. Они не виделись с 1978 года, когда Башир уехал учиться в Америку. Теперь его было не узнать: лицо окаймляла черная борода, на голове — белая чалма, одет в халат, какие обычно носили дехкане.

— Хуб астид**, американец, — приветствовал его Абдулахаб. — Вот не ожидал тебя здесь встретить, да еще в таком виде.

Башир приложил к губам палец:

— Тихо, рафик Абдулахаб. У неверных и стены имеют уши. Не удивляйся моему халату, он не богат, но под ним надежное оружие. Я узнал, какая беда с тобой приключилась, и позвал тебя, чтобы помочь. Уже заготовлен приказ о твоём аресте — мой человек служит в ХАД, — и завтра, если ты меня не слушаешь... Ты знаешь, как неверные поступают со слугами аллаха. Им стало известно, что твоего отца, — он дважды утвердительно кивнул, заметив недоумение на лице Абдулахаба, — да, твоего отца, как и моего, рас-

* Чим-чик — так афганцы называют воробьев.

** Хуб астид — здравствуй.

стреляли в ту же ночь вместе с Амином. И считают, что ты прибыл сюда мстить за него. Так и следовало бы поступить по закону корана. Дух наших отцов кружит вокруг нас и вызывает о мести. Решай — или мы их, или они нас...

Так Абдулахаб стал моджахедом, правой рукой сардара Башира.

Кишлак Шаршариф, приютившийся у подножия горы Шарша, небольшой и неприметный, словно прячущийся от людского взора, за шесть лет подвергался более десятка раз обстрелам из пулеметов и гранатометов, ракетным ударам и бомбежкам с воздуха. Расположенный на бойком месте — караванном пути из Пакистана, — он переходил из рук в руки: то его занимали отряды Народной армии, пытавшиеся создать здесь кооператив дехкан, то захватывали моджахеды Башира, Самада, Масуда. Теперь дорогу прочно оседлали отряды царандо и шурави, и набеги прекратились, но кишлак почти пустовал, дехкане не рисковали здесь селиться и заниматься сельским хозяйством. Жили шесть семей пуштунов, четыре — таджиков и одна — узбеков. Появлялись еще какие-то люди, но в тот же день уходили.

Ему с самого начала было ясно, почему местом жительства определен кишлак Шаршариф — не потому, что «он» там родился и вырос, — и почему разрешили свободно добираться туда, предоставив возможность бежать, — его проверяли: дорога, по которой он добирался, тщательно контролировалась отрядами Народной армии, царандоев и шурави. О нем наверняка всюду оповестили, и все его контакты фиксировались, а если бы он попытался бежать, вряд ли дали возможность далеко уйти. И он ждал.

Теперь ждать становилось опасно: органы ХАД несомненно ищут кого-то из старожиллов кишлака, чтобы окончательно убедиться, Саид ли это и какова его подлинная биография; а что из старожиллов никого не осталось, Абдулахаб не был уверен.

Итак, уходить... Куда, как? Дороги перекрыты, в горах настигнут собаки шурави, хорошо натасканные искать по следу. И оставаться с каждым днем становилось все опаснее.

Он стал готовиться к побегу: запаса воды, сушеным тутовником, орехами — основной пищей афганцев, которая не обременяет особой тяжестью, но пи-

тательна и быстро восстанавливает силы. А ему требовалось их очень много: преодолеть труднопроходимый перевал через Шаршу, на котором ему уже довелось побывать с Баширом, и пройти более 10 фарсах*, чтобы добраться до провинции Арсак, где, по рассказу Земфиры, обосновался в последнее время Масуд.

Хорошо, что он оставил Земфиру в Шопше.

3

Масуд удивился появлению в отряде Абдулахаба — считал его погибшим — и обрадовался. Приветствовал по восточному обычаю, сложив у груди руки, повел в пещеру, у входа в которую стояли телохранители, устланную внутри коврами. Усадил напротив.

— Рассказывай, — потребовал коротко и строго.

Абдулахаб подробно изложил свои мытарства и поинтересовался, не вернулся ли Мурмамад.

— Он тоже жив? — вскинул Масуд густые брови.

— Погиб только Саид, — повторил Абдулахаб, — чьим именем я и воспользовался.

— С женой виделся? — Масуд испытующе смотрел ему в глаза.

— Разве она не в отряде? — сделал Абдулахаб удивленное лицо — пусть сардар думает, что он пока ничего не знает о их взаимоотношениях.

— Красивая женщина в отряде — яблоко раздора. И я разрешил ей уйти, хотя не имел права — слишком много она знала.

— Земфира не из тех, кто предает единоверцев.

— Кто знает, — усомнился Масуд. — Будем надеяться. Во всяком случае, женщина не должна стоять между сарбазами, когда релается судьба родины.

— Так, мой господин, — согласился Абдулахаб.

Масуд, разумеется, ему не поверил, приставил соглядатаев, которые днем и ночью следили за Абдулахабом. Знает кошка, чье мясо съела, как говорят русские, боится мести. И правильно, что боится. Как ни оберегается, Абдулахаб дождетя своего часа, расплатится за поруганную честь сполна...

Сардар рассчитывал на то, что моджахед не посмеет поднять руку на господина, на примирение.

* Фарсах равен 6—7 км.

В первом же набеге на кишлак неверных, где было расстреляно 27 представителей и активистов народной власти, в доме начальника царандоя Масуд со своими телохранителями застал жену слуги закона, женщину лет тридцати, и двенадцатилетнюю дочь, сущую красавицу с уже оформившимся станом и соблазнительно выпирающей из тонкого платья грудью.

Масуд вожделенным взглядом облапил женщину и девочку. На последней задержался особенно долго. Потом разрешил телохранителям забрать вещи и выйти.

— Абдулахаб, останься, — остановил казначея. И кивнул на девочку: — Она твоя. А я с мамашей разговееюсь.

Абдулахаб увидел, как в страхе расширились глаза девочки, как закаменело ее лицо и губы остались полуоткрытыми, не в силах закричать, позвать на помощь.

Она была очень хороша, эта девчушка, черноокая, чернобровая, с миндалевидным разрезом глаз, похожая на индианку — над правой бровью лицо ее украшало родимое пятно с горошину. И не выполнить волю господина значило зародить в нем подозренье, насторожить его...

Масуд хотел девочкой откупиться от мести. Абдулахаб принял подарок господина, но слишком это была дешевая плата за надругательство над женой — мало, что сам насильно держал ее в наложницах, так в завершение, устав от ее сопротивления и открытых оскорблений, отдал на ночь самому странному и жестокому телохранителю Азизу.

Такое не прощают.

Масуд, несмотря на то что оставил Абдулахаба в прежней должности казначея, обласкивал и доверял многие тайны, держал с ним ухо остро и не раз подвергал проверке: посылал в Пакистан к Себгатулле Моджаддеди с истязателем жены Азизом, в другие отряды как связников и координаторов боевых действий. Предоставлял отличные возможности свести с ним счеты, если задумана месть. Но Абдулахаб не так глуп, чтобы клюнуть на столь дешевую приманку. С Азизом у него будут другие возможности расквитаться, а вот с Масудом, главным обидчиком, нелегко найти подходящий момент и условия, чтобы остаться в живых самому: сардар наверняка предусмотрел раз-

ные варианты, в том числе и тот, который задумал Абдулахаб, — уйти с Земфирой за кордон.

Да, Масуд не Башир: предусмотрителен, коварен, хитер, и все-таки, как говорят русские, на всякого мудреца довольно простоты. Не зря Абдулахаб учился в Ташкенте, не зря во время каникул лазал по горам с геологоразведчиками: хорошую идею родили те походы — уйти через Дарвазский хребет; трудно будет, места там почти непроходимые, но они с Земфирой постараются. Спрячут золотишко и драгоценности где-то по ту сторону у подножия, а года через два, когда все успокоится и шурави признают их своими — русские доверчивы и примут их, в этом он не сомневался, — можно будет извлечь сокровища...

Двухмесячное пребывание в отряде, строгое повиновение и исполнительность сделали свое дело: Масуд успокоился, доволен им и постоянно держит при себе как переводчика. В конце сентября отряд совершил три нападения на советские заслоны — один на перевале и два у дороги. Во всех трех случаях удалось захватить пленных. Масуд не церемонился с ними, и главный метод допроса был пытки, которые с удивительным изобретательством и изощренностью вел Азиз, этот гиббонообразный ублюдок, одним своим видом заставлял трепетать людей. Худой и сутулый, с крючковатым носом, похожим больше на клюв хищной птицы, с длинными руками и тонкими пальцами, он как гриф-стервятник терзал свою добычу, упинаясь мучками жертвы: сажал обнаженного пленника на стул, привязывал руки к спинке и двумя пальцами-клепнями правой руки начинал давить на самые болевые места, доводя человека до исступления. Пальцы у него были сухие и сильные: он протыкал ими тело как гвоздем, вырывал из груди соски, отрывал уши, выдавливал глаза, раздирал рот...

Нет, наверное, страшнее и болезненнее мук, чем муки от пыток, и редко кто выдерживал их, чтобы не выдать тайны.

Из допросов Масуд выяснил: 1 октября шурави начнут выводить свои полки из Афганистана, о которых советское правительство заявило по радио еще раньше. А 27 сентября из Пакистана в отряд прибыл полномочный представитель Себгатуллы Моджаддеди и передал приказ выдвинуться отряду к дороге, по которой намечено движение полка, и совместно с дру-

гими отрядами моджахедов не дать уйти ни одному неверному на свою землю.

Масуд построил отряд.

— Да сбудется воля аллаха всемилостивого, милосердного! Да ниспошлет он смерть и проклятье кафирам! Страна наша, земля и люди стонут от насилия и осквернения нашей веры, попрания нашей свободы и надругательства над нашими обычаями. Небо и горы, солнце и звезды взывают к мести. Те, кто пролил нашу кровь, не могут, не должны уйти с нашей земли безнаказанно. И мы должны сделать все, чтоб их кровью смыть позор и унижение. Время мести настало! За оружие, мои верные моджахеды!..

Они шли ночами малохоженными горными тронами и, соединившись с тремя такими же отрядами, вышли к 1 октября в намеченный район к большой дороге, соединяющей Афганистан с Советским Союзом. Два отряда заняли кишлаки, Масуд со своими моджахедами оседлал высотку, откуда далеко просматривалось все вокруг.

Еще два года назад на этой дороге ежедневно грохотали взрывы, взлетали на воздух подрывавшиеся на минах бензовозы, грузовики, бронетранспортеры и всякая другая техника; в удобных местах колонны поджидала засада, и небо затягивало смятым пожаров. Теперь стало труднее: дорогу охраняют сарбазы Народной армии, советские солдаты; почти все тропы, ведущие к ней из-за горы, перекрыты; над горами и дорогой постоянно курсируют самолеты и вертолеты, от зоркого глаза шурави трудно укрыться. И все-таки на этот раз им удалось пройти почти сто километров без единого выстрела: у них были опытные караванбаши*, надежные осведомители, которые предупреждали о малейшей опасности. Да, у Масуда и его соратников информация была поставлена на высшем уровне: в каждом кишлаке имелся осведомитель, и в плате им сардар не скупился...

К утру 1 октября дорога была перекрыта крупными соединениями моджахедов почти на каждом фарсахе. Чтобы не раскрыть готовящийся удар, жителей из кишлаков не выпускали. Каждый дом, каждую мазанку превратили в оборонительный узел или огневую точку. В последнюю ночь у кишлака Шаршариф была

* Караванбаши — проводники каравана.

расконсервирована база, и каждый моджахед взял столько патронов, гранат, сколько мог унести; снаряды к малокалиберным скорострельным пушкам, мины к минометам и ленты к крупнокалиберным пулеметам везли на верблюдах и ишаках, конфискованных у дехкан близлежащих кишлаков.

По данным, полученным от пленных на допросе, и информации осведомителей, вывод полков планировалось начать ранним утром, во поскольку полки снимались из разных мест, для координации действий отряды моджахедов снабжались радиостанциями и радистами со строгим приказом на связь выходить только в определенное время или при экстренных ситуациях. Круглые сутки велось прослушивание эфира, но особо важных сведений перехватить не удалось.

Объединенному отряду Масуда поручалось разгромить полк, уходящий из района Файзабада. Засада была организована недалеко от границы, где менее всего шурави могут ожидать нападения. План был прост, но дерзок: как только колонна втягивается в кишлак Батулшак, что у подножия горы Батул, мины взрывают радиоуправляемые мины, моджахеды наносят удар по колонне со всех сторон из всех видов оружия и входят с шурави в непосредственное соприкосновение, чтобы лишить возможности удара авиации. Своему отряду Масуд поставил задачу противоздушной обороны, для чего весь остаток ночи и рассвет прошел в подготовке площадок для установки крупнокалиберных пулеметов, ракетных комплексов «Стингер» и «Блоупайн», рытье целей и сооружений для укрытия от вражеского огня.

Непонятно, когда и каким путем сюда прибыли иностранные журналисты, окружившие Масуда, чем, донял Абдулахаб, сардар был недоволен, от интервью отказывался и направлял их к другим командирам. И вообще, заметил Абдулахаб, Масуд был не в духе и чем-то обеспокоен.

Как только на востоке обозначилась полоска горизонта и потухла последняя звезда на небосклоне, позиция погрузилась в благодатную предрассветную тишину. Казалось, все уснуло крепким, непробудным сном.

Масуд сидел в пещере на толстой кошме, прислонившись к прохладному камню, и делал вид, что дремлет; но при малейшем движении радиста, находивше-

гося рядом, приоткрывал глаза и прислушивался. Здесь же бодрствовали телохранители Азиз и Тахир, американский журналист — француза и итальянца Масуду удалось выпроводить в другие отряды.

Абдулахаб полулежал в глубине пещеры и размышлял над происходящим: шурави начинают вывод своих войск, значит, дела у народной власти не так уж плохи и, надо ожидать, в скором времени в Афганистане врагами моджахедов останутся только сарбазы, царандой да хадовцы; значит, воевать придется только со своими? Чем это обернется? Сейчас уже народ не очень-то поддерживает их «освободительную» борьбу, а чем тогда они будут объяснять свои набегі? Не потому ли Моджаддеди дал команду не выпускать шурави с афганской земли?.. Спит сейчас, наверное, в мягкой постели и видит приятные сны, а они месяцами не моются, горячей пищи не едят. Осточертело все. И Земфира заждалась, испереживалась — жив ли он?.. Чем окончится этот бой? Раньше попадали в сложные переделки, но там были отдельные отряды, бои, как говорится, местного значения: удар, налет — и снова в горы. А здесь — бой с отлично вооруженным, обученным и сильным противником. В полку бронемашины, танки; сверху будет прикрывать авиация. Не зря задумался Масуд, не хочется умирать, и, похоже, война и ему поперек горла стала: он, любитель комфорта, красивых женщин, вкусной пищи и крепких напитков, лишен всего этого...

В пещере становилось все светлее. Радист стал подремывать: голова его в наушниках медленно клонилась на грудь, достигала подбородком микрофона; он вздрагивал, как от укола, и откидывал голову, виновато таращась в сторону сардара. Масуд приоткрывал глаз и снова закрывал. Американец перешептывался с Тахиром и записывал что-то в блокнот — видимо, готовил репортаж о бесстрашных моджахедах, сражающихся за свободу и независимость.

Абдулахабу тоже стоило бы заняться «эпистолярным» делом: составить списки на жалованье, уточнить адреса, куда переводить денежное содержание и награды за головы кафи́ров и уничтоженную технику, — поистине нужно высшее образование, чтобы все учесть и рассчитать, — но им владела апатия и ничего не хотелось делать. На душе было мутно и тяжело, словно в предчувствии большого несчастья. Неужели

ему суждено погибнуть в этом бою, и Масуд с Азизом останутся неотомщенными? Правда, сардар не посылает его на огневую позицию, держит около себя, как и верных телохранителей, но при современном оружии никакое укрытие не может гарантировать безопасность.

Жаль, если Земфира останется одна, и зря он не открыл ей тайник с драгоценностями. А может, и не зря: почему она должна пользоваться всеми благами и прелестями жизни, если он будет гнить в земле? Аллах знает, что делать, и коль не подал ему эту мысль при встрече с женой, значит, так и должно быть. А вот если останется жив, тогда он не вправе скрывать от жены сокровища...

Солнце уже поднялось над горами, а вокруг по-прежнему стояла могильная тишина. Лишь легкий ветерок, появившийся от прогрета солнца, залетал иногда в пещеру, вытесняя на миг пропитанный потом и табаком воздух. Масуд уже не прикрывал глаз, но молчал, сидя в прежней, не очень-то удобной позе, и не вставал. И никто уже не дремал, все с затаенным дыханием прислушивались к тишине, и на лицах нарастала тревога: что задумали шурави, почему молчит радиостанция в дороге пуста? Неужто шурави сардарам стало известно о готовящемся нападении и они отменили выступление? Вполне вероятно, разведка у них работает тоже неплохо, и немало таких осведомителей, которые продают секреты и нашим и вашим.

Не успел так подумать Абдулахаб, как послышался гул самолета и совсем рядом грохнули взрывы. Затрещали пулеметы, и тут же их заглушили новые взрывы. Со стен пещеры посыпались мелкие камешки, и пыль поползла к выходу. Вокруг все гудело, содрогалось, грохотало, и земля под ногами ходила ходуном, словно гора, на которой разместился отряд моджахедов, превратилась в огнедышащий вулкан. Пещера наполнилась запахом тротила, Масуд закашлялся, пошел было к выходу, но Азиз заслонил собой проход.

— Нельзя, мой господин. Надо переждать.

— Почему прекратили стрельбу пулеметы? — прорычал Масуд. — Выйди и посмотри. Если эти гяуры прячутся, пристрели их.

— Слушаюсь, мой господин. — И Азиз, пригибаясь, выскользнул из пещеры.

Дым и смрад становились все гуще, глаза слези-

лись, и трудно было рассмотреть друг друга. Масуд снова поднялся, и снова путь ему преградил телохранитель, на этот раз Тахир.

— Подождем Азиза, мой господин.

Его голос заглушила новая волна взрывов. Грохот бомб и снарядов, гул самолетов то приближался, то удалялся. Когда он немного стих, Абдулахаб шагнул к выходу.

— Я выясню, что там происходит.

Он не раз бывал под бомбежками, считал себя не трусом, но при виде этих стремительных короткокрылых машин, испускавших огненные смерчи, тело помимо воли сжималось в комок и сердце уходило в пятки; панический страх затмевал рассудок, и голова, как у страуса, искала укрытие. Некоторые моджахеды больше боялись вертолета: меньшая скорость и более мощное вооружение — помимо бомб, ракет или реактивных снарядов имелись крупнокалиберные пулеметы — позволяли им вести более точный огонь. Абдулахаб же к этим «летающим кенгуру» относился более терпимо: по ним можно стрелять, и на его глазах они горели и падали, как обыкновенные головешки.

Да, страх — ужасное состояние, и не каждому удастся преодолеть его; не менее угнетающе действует иногда на человека и неизвестность. Пока Абдулахаб сидел под следствием у шурави, потом у хадовцев, нервная система его настолько истощилась, что он был на грани признания. Вот и теперь — эта стрельба, бомбежка, вой снарядов и рев двигателей... Что творится вокруг, каковы силы шурави, только ли авиация атакует их; как соседи в кишлаках, не высадили ли шурави десант?.. А Масуд, этот горе-сардар, сидит и ждет, когда ему доложат, что творится вокруг...

То, что увидел Абдулахаб, заставило его содрогнуться: прямо у входа в пещеру лежали в луже крови два моджахеда, чуть далее еще и еще. Но Азиза среди них он не признал. ДШК, что располагался напротив пещеры, молчал, и людей там видно не было, значит, все погибли, чуть левее и ниже, на уступе, пулемет бил короткими очередями. Стреляли и справа...

А синее небо было словно избрызгано черными кляксами, и среди этих «клякс» вдруг появились пятнистые «кенгуру», ошетилившиеся огнем. Вертолеты взмывали откуда-то из-за утеса, наносили удар и проваливались вниз, в ущелье, уводящее к подножию горы. Сколько

их кружило вокруг горы, сосчитать было невозможно, да и разные это или одни и те же, делавшие по несколько заходов, не разобрать. Вся западная сторона горы, обращенная к дороге, где должен был появиться полк, дымила черным смрадным дымом. А дорога была пуста. Из кишлаков по вертолетам вели стрельбу, но вреда она им не причиняла — слишком далеко. И удар по кишлакам авиация пока не наносила.

Один вертолет шел прямо на Абдулахаба, трассы из счетверенного носового пулемета прочерчивали ровную огненную дорожку, приближавшуюся к Абдулахабу. Он упал, попятился назад к зеву пещеры. Его обдало крошевом камней и песком. Вдогонку вертолету сверкнули сразу две трассы — снизу и справа. Вертолет круто скользнул в ущелье. Не успел стихнуть его гул, как стал нарастать новый, более мощный, и Абдулахаб, приподняв голову, увидел две лобастые винтокрылые машины. Сделав горку, они нырнули, из-под брюха первой польхнуло пламя; длинные хвостатые чудовища понеслись вниз, откуда бил ДШК. Гора вздрогнула, и Абдулахаб невольно полез наружу, боясь, что пещера обрушится и придавит его.

Пещера не обвалилась, а там, где только что была установка крупнокалиберного пулемета, расплзались черно-бурые клубы дыма, пыли, крошева земли и камня.

Откуда-то появился Азиз, ползя на четвереньках. Мельком глянул на распластавшегося у входа в пещеру Абдулахаба затравленными глазами и, не говоря ни слова, юркнул в отверстие.

А из-под горы уже катилась новая волна гула и грохота — атаки вертолетов продолжались.

Помочь отряду уже никто и ничем не мог. Отряду Масуда. А в кишлаках по-прежнему было тихо, если не считать тщетных попыток достать оттуда огнем ДШК вертолеты.

Когда Абдулахаб вернулся в пещеру, на лице Масуда, сидевшего все в той же позе, нетрудно было прочесть обреченность. Он и взглядом не повел в сторону моджахеда, который пришел оттуда и мог доложить кое-что ценное. И Абдулахаб молча опустился на прежнее место.

Бомбежка, стрельба, гул двигателей продолжались около часа. И стихло все так же внезапно, как и началось. Но Масуд минут пять еще не поднимал го-

ловы, а когда зашевелился, Азиз первым бросился к выходу.

Дым и пыль еще висели над горюю — и в низине, и в вышине, — но плотность их редела, рассасывалась, таяла. Откуда-то доносился стон.

Долго стоял Масуд в безмолвии, с тоскою глядя вдаль. Вот из-за развалин появился один моджахед, второй, третий. С измученными, скорбными лицами, кто держась за руку, кто припадая на ногу, они шли к своему сардару, неся печальные вести. Из двухсот моджахедов осталось всего тридцать семь, более половины из них были ранены хотя и легко, но каждый нуждался в медицинской помощи. Еще четырнадцать моджахедов нашли у пулеметов еле живыми...

К Масуду подошел радист и доложил, что из кишлаков сообщили: шурави выбросили листовки с призывом сдать. В противном случае требуют вывести из кишлака мирных жителей. На раздумья дали один час...

Значит, это еще не все.

Масуд долго молчал. Потом окинул взглядом своих приближенных и сказал с грустью:

— Шурави нас спровоцировали. Они не собираются уходить. Во всяком случае, сегодня. — И повернулся к радисту: — Передайте: пусть уходят в горы. Ночью. А до ночи держаться и никого из кишлаков не выпускать.

— Мой господин, как быть с тяжелоранеными? — спросил Азиз.

— Оказать помощь и снести всех в пещеру. Та, которая ниже. А ночью переправить в Шопшу. Убитых похоронить и всем поставить зеленые флажки*.

Абдулахаб, взяв пятерых моджахедов, стал вместе с ними сносить убитых в одну яму. Некоторых трудно было узнать, и Абдулахаб в списке делал особые пометки, чтобы позже уточнить имя погибшего и выплатить семье причитающееся в таких случаях пособие. Скольким матерям, отцам, женам и детям принесет он слез своей благотворительностью! Сколько осталось и еще останется сирот на его истерзанной войной земле!

С северной стороны послышался гул самолета. Моджахеды бросили работу и кинулись к воронкам. Серебристый истребитель-бомбардировщик вынырнул

* Зеленые флажки ставятся на могилах неотмщенных.

из-за горы, сделал круг над кишлаком и ушел туда, откуда пришел. По нему даже не стреляли — то ли не успели, то ли выжидали до отпущенного им шурави часа.

Минут через десять самолет пролетел над кишлаком снова, только с другого направления. Разведчик, понял Абдулахаб. На этот раз вслед ему протянулись трассы, но вреда, похоже, никакого не причинили: истребитель-бомбардировщик, круто описав дугу, исчез за горой. Потом появился снова и снова.

— Где же «Стингеры»? — возмутился один из моджахедов. — Почему не стреляют?

«Стингерами» хорошо пассажирские сбивать, — усмехнулся про себя Абдулахаб. — А попробуй в такого прицелиться — сверкнул как метеор. Даже если вслед ракету пустить, она может по своим долбануть — высота-то вон какая маленькая». Но разъяснить не стал — не хотелось ни говорить, ни видеть своих единоверцев.

Моджахеды заканчивали подбирать убитых, когда на дороге, ведущей из близлежащего кишлака, показался мотоциклист с седоком позади. Он быстро приближался к горе и стал по тропе подниматься ввысь. Приказав зарывать убитых без него, Абдулахаб направился к Масуду, тоже заметившему мотоциклиста и поджидавшего его у входа в пещеру.

Водитель был опытен и ловок — мотоцикл лихо взбирался по крутой тропе, петляя из стороны в сторону. Ему потребовалось менее получаса, чтобы преодолеть довольно трудную и опасную дорогу. В прибывшем Абдулахаб узнал связного из отряда Гулетдина, расположившегося в кишлаке. Со второго сиденья слез молодой, с проседью в бороде, мужчина лет пятидесяти, невысокий, худощавый, в изношенной одежде и полосатой чалме.

— Да ниспошлет вам аллах милость, — поклонился мотоциклист Масуду. — Вот привез вам парламентаря из кишлака Шопша с чрезвычайными полномочиями, старосту Зафара, верноподданного новой власти и самого Бабрака.

— Гулетдин не мог выслушать его? — недовольно спросил Масуд.

— Наш сардар для него не авторитет, — усмехнулся более откровенно мотоциклист. — Ему подавай чуть

ли не самого Кармаля. Вот Гулетдин и распорядился.

— Что ты хочешь, кафир, собачий сын, прислужник красной нечисти? Как посмел явиться перед мусульманином, верным слугой аллаха, кто проливает кровь за свободу своей родины, за землю, которую ты продал проклятым шурави?

— Выслушай внимательно меня, Масуд, а потом бранись, — примирительно ответил Зафар. — Я пришел к тебе по воле всех дехкан нашего кишлака. Они кланяются тебе и верят в твое милосердие. Ты знаешь, какие условия поставили шурави. Не осуждаем вас за то, что вы отказываетесь сложить оружие, на то воля аллаха и ваша воля, но в кишлаке дети, женщины, старики. Не дай погибнуть им — ведь это наше семя и корни.

— Значит, ты и твои ублюдки хотите жить? — Глаза Масуда, казалось, налились кровью. — А мы — нет? Ты видел, скольких они положили наших? Абдулахаб, поведи и покажи ему.

— Я видел, когда проезжал мимо, — ответил староста. — Не почему вы не хотели, чтобы они ушли с нашей земли?

— А кто их сюда звал? — рявкнул Масуд.

— На этот вопрос мог ответить только Амин. Но пришли они к нам с миром.

— И это говоришь ты, мусульманин? Нет, не мусульманин ты, ты кафир, продавший нашу веру, нашу землю, нашу свободу и обычаи, и ты умрешь как предатель.

— Меня можешь убить, но пощади детей, женщин и стариков, даже шурави не хотят пролить их кровь, не начинай бой, пока вы не выведете их.

— Опять шурави! — сквозь зубы процедил Масуд. — Ты и сам стал шурави. Азиз! — позвал он своего телохранителя, заговорившего с американским журналистом. — Вырви у этого кафира язык и сердце и выброси воронам, чтобы и на том свете он не мог обманывать аллаха.

Мрачное лицо Азиза будто просветлело, он вплотную приблизился к Зафару и чиркнул пальцем по открытой груди, давая понять, чтобы тот разделся.

Зафар сбросил халат, и Абдулахаб увидел на том месте, где прочертил палец Азиза, красную, сочащуюся кровью полосу.

Палач засучил рукава, зашел к приговоренному сзади и связал ему руки. Подвел к камню.

— Садись.

Зафар не подчинился, и тогда Азиз силой заставил его опуститься на камень. Черные крючковатые пальцы рванули за пояс брюк, пуговицы с треском полетели в стороны.

— Разреши, мой господин, лишить этого кафира мужского достоинства — чтоб и на том свете он не мог сеять дурное семя?

Масуд чуть заметно кивнул.

Душераздирающий крик ударил в уши Абдулахабу и оглушил сильнее бомбы.

Азиз поднял окровавленные пальцы, зажал голову Зафара левой рукой и через несколько секунд выбросил на землю еще шевелящийся язык — будто живое существо корчилося в предсмертных судорогах, испуская дух.

Абдулахаба начало тошнить, но он видел, как Масуд зорко следит за каждым, и не мог отвести глаз от палача и его жертвы.

Снова откуда-то донесся гул самолета. Казнь на время приостановилась: все устремили взгляд в небо, насторожились.

На этот раз истребитель-бомбардировщик прошел над кишлаком выше, следом за ним елочкой вспыхивали дымки — самолет применял противоракетную систему.

Едва он минул кишлак, как за ним устремились три огонька — на этот раз моджахеды успели пустить «Стингеры». Полыхнул один разрыв — в стороне, другой — чуть ближе, третий. И над горой пронесся радостный вопль трех десятков горл: самолет клюнул носом, задымил и понесся к земле. Столб огня и дыма взметнулся у подножия горы. Моджахеды, продолжая визжать и смеяться, кинулись обнимать друг друга.

Масуд дал насладиться радостью победы и поднял руку, призывая к вниманию.

— А теперь приготовиться к бою. Сейчас они появятся, — кивнул он в сторону упавшего самолета. Повернулся к бившемуся в муках Зафару: — Кончай с ним.

Нет, как бы холостяки-скептики ни хвалили свою «свободную» жизнь, семья — это прекрасно: это блаженство и сладкое волнение, это уют и благоденствие. И как на душе легко и радостно, когда ты знаешь, что тебя ждут дома, что есть с кем поделиться своими заботами и печалью, посоветоваться, полюбозничать. А как замечательно лежать в белоснежной постели, пахнущей фиалкой или ландышем, рядом с любимой, почувствовать теплоту ее тела, дыхание, биевые сердца; и твое сердце наполняется нежностью, сладкой истомой, мечтой, зовущей в неведомое сказочное царство...

Наталья лежала на руке Николая, белотелая, красивая; черные волосы рассыпались по подушке и касались его лица, вызывая приятное ощущение; небольшие сочные губы приоткрыты, будто ждут поцелуя. Сон ее сладок и безмятежен. А Николай уже проснулся — летная служба приучила его к ранним пробудкам, — но он не вставал — жаль было тревожить жену, да и день воскресный, торопиться некуда, и он нежился, предавшись размышлениям.

В последнее время ему подозрительно-предостерегающе везет: не однажды из боя вывозил раненых, атаковал укрепленные позиции душманов, прикрываемых венитными комплексами, перехватывал караваны с оружием, и ни одна пуля, ни один осколок не царапнул его. И эта встреча с Натальей. Не успел он вернуться в Долину привидений, как последовал приказ: эскадрилья убыть в Тарбоган на отдых. На замену ей прибыла 2-я эскадрилья.

И в Тарбогане Николая ожидала радость: вопреки предсказаниям лифтера, дом комиссия приняла, и он в тот же день перевез Наталью с Аленкой из своей гостиничной комнаты в квартиру.

Квартира — не люкс, но вполне приличная, двухкомнатная, с горячей водой, с большой кухней; во всяком случае, Наталье и Аленке понравилась: какая-никакая — своя, а главное — все вместе собрались.

Надолго ли? Командир полка использовал временное затишье в Афганистане, связанное с уборкой урожая, и в любой день, в любой час может поступить приказ... А от рубежа жизни и счастья до рубежа стресса и смерти — полчаса лету...

Судя по заявлению нашего правительства, по публикациям в газетах, ограниченному контингенту советских войск недолго осталось находиться в Афганистане, уже в этом году планируется вывести несколько полков. Выдержат ли сами афганцы натиск контрреволюции? Николаю искренне было жаль этих бедных, обездоленных людей, которых нещадно эксплуатировали баи и муллы.

В эскадрилье тоже грядут перемены: скоро начнут увольняться старослужащие, на замену им придут необстрелянные солдаты. Забот прибавится. Правда, офицеры, сержанты и прапорщики уже готовятся к встрече молодого пополнения, обновляют в классе учебные пособия, оборудуют более совершенными макетами тир...

В комнате стало совсем светло — восемь часов, и Алленка еще спит — сегодня в школу не идти. А возможно, проснувшись и лежит, как он, не желает тревожить родителей — девочка она на редкость понятливая и добрая. Надо устроить им сегодня настоящий праздник, сводить в парк, в кино, купить что-нибудь вкусненькое, другой такой возможности, похоже, не предвидится: по радио передают, что обстановка в Афганистане снова обострилась, на заявление Советского правительства о начале вывода наших войск повстанцы ответили новыми провокациями, нападками на караваны, на колонны с продовольствием для мирного населения. Значит, и в Долине привидений неспокойно.

Наталья проснулась, посмотрела виновато на мужа.

— Ты уже не спишь? Прости свою засонюшку, пригрелась около тебя...

— Да, в авиацию не годишься, — пошутил Николай. — Каждый день будешь наряды получать.

— Если на кухню, согласна, — улыбнулась Наталья. — Кстати, ты еще не проголодался? Вас-то, ранних птичек, и кормят рано.

Николай вытащил из-под головы руку, приподнялся.

— Полежи еще. Пока птичка ранняя гимнастикой займется.

— Нет уж, женщине не менее важно быть стройной и гибкой. Я с тобой.

— И я с вами, — открыла дверь соседней комнаты Алленка.

— Тогда быстро одеваться! — скомандовал Николай. — Чтобы всё по форме. — И пропел: — «Буду утром водить на зарядку всю семью от жены до детей».

Наталья и Алёнка ушли в детскую и вышли оттуда в черных спортивных костюмах, красивые, стройные, похожие на акробатов цирка.

— О-о! — восторженно отметил Николай. — Да с вами хоть на Олимпиаду. Только на голову что-нибудь наденьте.

В дверь позвонили. Николай открыл и увидел на лестничной площадке солдата. «Вот и все семейное счастье, — грустно усмехнулся про себя, — весь план выходного дня».

— Товарищ майор, приказано срочно явиться на аэродром, — козырнул солдат. — С чемоданом.

Объяснения не требовалось — снова лететь в Долину.

Наталья с грустью и надеждой смотрела на него — может, есть какая-то причина или повод остаться? Алёнка чуть не плакала: коль пришел за папой солдат, значит, самые важные дела там, на аэродроме.

— Только мой экипаж? — спросил Николай.

— Нет, всю эскадрилью.

Значит, дело серьезное. В последние дни все чаще производили на их аэродроме посадку самолеты с ранеными и с оцинкованными гробами...

— Хорошо, сейчас приеду.

Николай сбросил футболку и направился в ванну. А Наталья как стояла посередине комнаты, так и осталась стоять, глядя на него повлажневшими, опечаленными глазами.

Расставанье... Он не любил само это слово и время, которое отводилось на сборы, потому всегда спешил сократить его. Правда, расставанье расставанью — рознь; одно дело, когда он уезжал на учебу, улетал в командировку на авиационный завод или в другую часть, и совсем другое — в Афганистан, где у каждой горы могут прятаться душманы с крупнокалиберными зенитными пулеметами или «Стингерами».

Он быстро побрился и, вытираясь на ходу, стал помогать Наталье укладывать в чемодан свежее белье, платки, носки, бритвенные и туалетные принадлежности.

— Ты же говорил, что пробудешь дней десять? — обиженно спросила Наталья, словно он сам виноват в вызове.

— Хорошенького понемногу, — решил Николай шуткой развеять огорчение. — А то еще надоедим друг другу.

— Если через неделю не вернешься, я тебя вызову телеграммой, — приняла шутку Наталья, не желая, видимо, усугублять и без того невеселое настроение.

— Папочка, мы тебя будем очень, очень ждать, — повисла у него на шее Аленка.

На аэродроме его уже поджидали командир полка, начальник политотдела.

— Извини, что выходной тебе испортили, медовый месяц прервали, — невесело пошутил командир полка полковник Серегин. — «Духи» заставили. Надеюсь, радио слушаешь, газеты читаешь?

— Случается иногда, — в том же тоне ответил Николай.

— Вот и хорошо. Значит, все ясно. — Посмотрел на часы. — В десять ноль-ноль — вылет в долину. Конкретное задание получишь на месте...

В начале десятого вся эскадрилья была в сборе, за исключением заместителя командира майора Сташенкова. Николай попросил у инженера бортовую машину и приказал штурману капитану Марусину ехать в город, разыскать Сташенкова.

Замкомэск приехал на аэродром перед самым вылетом, когда Николай построил эскадрилью для дачи последних указаний. Попросил разрешения стать в строй. Лицо у Сташенкова было злое и помятое, глаза красные, видимо снова кутыл.

— Идите к врачу, через пятнадцать минут вылет, — еле сдерживая раздражение, приказал Николай.

«Вот тебе еще «подарочек», — пронеслось в голове. — Срыв вылета на боевое задание. Разговоры и упреков на год хватит...»

Он, напомнив порядок взлета и следования на аэродром в долину, распустил строй.

К его удивлению, Сташенков вернулся повеселевший, доложил:

— Все в порядке, разрешите занять место в кабине?

— А как себя чувствуете? — не поверил Николай.

— Превосходно, — ответил тот с усмешкой. — Можете справиться у врача.

— Занимайте.

Времени для выяснения состояния здоровья заместителя не было, и Николай снова вынужден был перенести разговор на потом.

5

— Все, больше я тебя никуда не отпущу. — Земфира намыливала мужа ароматным мылом, поливала из пластмассового кувшина теплой водой и терла мочалкой так старательно, словно он за эти три недели, что лазал по горам, копотью покрылся. Он не спорил, даже не возражал — так приятно было сидеть в теплой воде, чувствовать прикосновение сильных и нежных женских рук.

— Ты посмотри, что от тебя осталось. Одни кости. Этак скоро и мне ничего не останется. Или ты себе другую нашел и она из тебя все соки вытянула?

— Масуд у меня один. Он соки вытягивает.

— Не произноси при мне это имя, — попросила Земфира. — Я каждый день молю аллаха, чтобы он быстрее послал ему погибель.

— Не торони аллаха, он мне доверил его судьбу.

Земфира перестала тереть, на лице отразился испуг.

— Ты решил?.. Масуд очень коварен, телохранители глаз с него не спускают.

— Я тоже телохранитель и казначей.

— Я боюсь за тебя. Не надо, давай бросим все и уйдем.

— Куда?

— Куда пожелаешь. Я пойду за тобой всюду, кроме как к Масуду. Ты говорил об Арабских Эмиратах.

— Надо через Пакистан. А там псы Масуда и Моджаддеди.

— Тогда пойдем к нам, в Узбекистан. Ведь советские командиры тебя отпустили. А если мы придем сами...

Она угадала его мысли. Но Абдулахаб промолчал: женщины слишком эмоциональны, а в таких делах нужен холодный, верный расчет.

Потом они лежали на плетеной с низкими ножками кровати, застланной белоснежной простыней — Земфира сохранила привычку к чистоте и аккуратности, что

он ценил в ней, — и он, насладившись страстной любовью, глядя упругие груди, впалый живот с нежной шелковистой кожей, стройные ноги, не мог уснуть, несмотря на то что не спал уже не одну ночь. И не страсть, не возбуждение были тому причиной, сердце его kloкотало от негодования: как посмел Масуд надругаться над этим прекрасным телом, осквернить гиббоном Азизом?! И сон не шел к Абдулахабу, голову переполняли думы о мести, и не будет ему покоя, пока живы на земле Масуд и Азиз...

Сардар дал ему три дня на то, чтобы разнести по кишлакам пособие семьям погибших, Абдулахаб справился за два дня, сэкономил один для Земфиры: передал списки погибших и афгани муллам, они сделают все остальное.

Сбор отряда, вернее остатков его, назначен на 5 октября в районе провинции Мазари-Шариф. Оттуда Масуд намерен направиться в Пакистан для пополнения отряда. Нетрудно догадаться, почему он местом сбора избрал кишлак Шаршариф, что у самой границы с Советским Союзом, где уже однажды побывал Абдулахаб, — хочет все-таки забрать золотишко, несмотря на то, что шурави установили недалеко от захоронки пост наблюдения. Без боя там не обойтись. И хотя силы шурави — 10 десантников, блокировать пост будет не просто. Операцию Масуд, несомненно, планирует на ночь. Но вертолеты и ночью могут появиться. Значит, надо не блокировать пост, а уничтожить, внезапно, мгновенно, чтоб не успели подкрепление подбросить.

Кого Масуд пошлет с ним за кладом? Надо попросить Азиза... А как добраться до Масуда?.. Убрать и Тахира?.. Если не будет другого выхода...

— Помнишь, как мы лазали у подножия Дарвазского хребта? — спросил Абдулахаб.

— Еще бы, — улыбнулась Земфира. — Здорово там было, правда?

Он кивнул.

— И места те помнишь?

Она вопросительно посмотрела на него:

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Я подумал над твоим предложением.

— Ты... ты решил к нам, в Советский Союз, в Узбекистан? — поправила она, вспомнив, что слова «Советский Союз» он не любил произносить.

— Нам придется идти через хребет, — сказал он, чтобы напомнить, какие трудности их подстерегают.

— Но зачем? Мы выйдем там, где есть пограничный пост.

— И нас вернут обратно, — возразил Абдулахаб. — Правительства не захотят из-за нас ссориться. И у нас кое-какой груз будет, который не понравится пограничникам.

— Ты имеешь в виду оружие?

— Не только. Мы возьмем с собой золото и драгоценности.

Земфира смотрела на него расширенными глазами.

— Там все равно отберут.

— Вот потому я и хочу провести тебя через хребет. Драгоценности спрячем на той стороне. Потом мы сможем их использовать? У ювелиров, скупщиков?

— Наверное. Когда мы с тобой учились в университете, там взятки брали только золотом.

— Биссер хуп. На рассвете я уйду. Ты завтра же отправишься в Мармуль. Заберешь драгоценности. Я объясню, где тайник. Приготовь обувь и одежду для гор. О продуктах особенно голову не ломай: осенью в горах есть чем питаться. Шестого вечером жду тебя в Шаршарифе, во втором от северной окраины доме, в двадцать один ноль-ноль. Не удастся шестого, жди седьмого, восьмого, девятого. Я обязательно приду.

6

Полковник Шинов стоял у карты, висящей на стене, и ждал, когда летчики рассядутся.

Тесная комнатенка, служащая и классом, и штабом, и местом, где летчики собирались на постановку задачи и на разбор боевых вылетов, еле вместила всех. Но к этому здесь привыкли, и никто на такие неудобства внимания не обращал, даже Шинов.

Когда стук и скрип стульев прекратился, полковник остановился, качнулся с носков на каблуки и окинул всех изучающим взглядом.

— Как вам известно, — заговорил он хорошо поставленным командирским голосом, — Советское правительство объявило о выводе шести наших полков из Афганистана. Но руководителям оппозиции такое решение оказалось не по душе, и они всеми силами и средствами стремятся сорвать его, блокируют дороги,

по которым намечается вывод. Первого октября такая попытка для некоторых бандитских формирований окончилась плачевно: наши войска совместно с войсками Народной армии Афганистана разгромили их. Остатки одного из отрядов, то ли спасаясь от преследования, то ли по другим причинам, оказались недалеко от вашего аэродрома, а точнее, вот здесь. — Полковник подошел к карте и указал точку. — На горе, которую вы называете Двугорбой. По данным нашей разведки, отряд состоит примерно из тридцати человек, вооружен крупнокалиберными пулеметами, гранатометами, не исключено, и ракетами «Стингер» или «Блоупайп». А возможно, где-то там располагается и их база. Короче говоря, надо остатки этой банды уничтожить. Десантникам такая задача поставлена. Ваша эскадрилья обеспечивает высадку, прикрытие огнем и, соответственно, эвакуацию с поля боя.

Николаю задача не понравилась: много в ней было неясного и неконкретного: «отряд состоит примерно...», «вооружен... не исключено...», «возможно...». Словно на прогулку летчиков посылает, а не на боевое задание.

— Какие будут вопросы? — Полковник еще раз обвел присутствующих веселым взглядом, как бы подбадривающим: покажите, мол, себя, на что вы способны.

— Разрешите? — Николай встал. — Задача ясная, товарищ полковник, за исключением некоторых деталей, без которых трудно принять грамотное решение: сколько крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, откуда известно, что это остатки банды, а не ее головной дозор, коль там имеются или могут иметься «Стингеры» или «Блоупайпы»?

Полковник качнулся с посков на каблуки, усмехнулся.

— Сколько крупнокалиберных пулеметов и гранатометов у душманов, к сожалению, они не дали нам такой возможности сосчитать. Что касается других данных, еще раз поясню: вчера объединенные отряды Гулетдина, действующие в районе кишлаков Батулшак и Шопша, пытались перекрыть выход одного нашего полка из провинции Файзабада. Как я уже говорил, банда разгромлена. Разгромлена, но не уничтожена, — сами понимаете, в горах это сделать не так просто. Сегодня утром остатки одного отряда обнаружены на Двугорбой. Обнаружены вашими коллегами, авиато-

рами: Почему это остатки, а не головной дозор, ясно по пути следования. Это подтверждают и наши друзья из ХАД. Теперь о крупнокалиберных пулеметах, гранатометах и «Стингерах». В том бою были сбиты самолет — «Стингером» и вертолет — крупнокалиберным пулеметом. Экипаж самолета погиб, экипаж вертолета удалось спасти. Три человека при этом получили ранения. Какие еще вопросы?

Вопросов не было. Все было ясно и Николаю, за исключением одного: как уничтожить отряд душманов, чтобы не потерять ни одного своего человека? Шипов, похоже, всецело полагался на него, командира эскадрильи, да на командира десантной роты, который находился здесь же. Но высадить десант на такой горе без потерь...

— Разрешите? — снова поднялся Николай.

— Слушаю вас. — На лице Шипова промелькнула досада — экий дотошный и бестолковый майор.

— Я не раз садился на горе Двугорбой и знаю ее как свою ладонь.

— Тем лучше для вас, — одобрил полковник.

— С одной стороны, — возразил Николай. — Но гора захвачена душманами. Там широкие террасы с нагроможденным гранитных валунов, которые будут служить душманам отличным укрытием от пуль и снарядов. Подойти к этой горе не так просто. Если же высадить десант внизу — поставить десантников в еще худшее положение.

— Это уже ваша проблема, как лучше спланировать бой и с меньшими потерями. На то вы и авиационный командир. — Полковник устало прошелся вдоль карты.

— Не с меньшими, можно вообще без потерь, — возразил Николай.

— Кто же вам мешает? Действуйте, майор. Мы вам только спасибо скажем.

— Мне не спасибо надо, а пушки, минометы. — Николай понимал, что горячится, говорит резко и это Шипову не нравится, но сдержаться уже не мог. — Мы высадим их на соседней горе и не упустим ни одного душмана.

— Может, вам целую армию сюда прислать с ракетным комплексом «Град» против этих тридцати недобитых бандитов? — Безбровые глаза Шипова недобро прищурились.

— Армию — не надо. Но если есть возможность уничтожить врага без потерь, почему не воспользоваться этим? Мы и так слишком много...

— Хватит! — прервал его Шипов. — Вы любите дискутировать, товарищ майор, но у нас на это слишком мало времени. Конечно, воевать без риска, во много раз превосходящими силами — предпочтительнее. Но так на войне, к сожалению, не бывает. И ждать, когда нам пришлют артиллерию, минометы, мы не можем. Приказ: к вечеру доложить об уничтожении остатков банды. Какие по этому поводу могут быть разговоры?

— Разрешите? — вдруг поднялся майор Сташенков. — Товарищ полковник, я прошу эту задачу поручить мне. Для решения ее, считаю, достаточно пяти вертолетов: три — для десантирования, с сорока пятью десанниками, и два — для прикрытия.

— Вот это по-военному, — одобрил решение заместителя Шипов. — А от вас, майор Громадин, не ожидал. Не ожидал, — с сожалением повторил он.

— И все-таки, товарищ полковник, я прошу артиллерию и минометы.

— А где я их возьму? У меня нет, а просить у главкома — увольте. Да и о чем разговор? Задачу взялся решить майор Сташенков, и я верю, что он решит ее блестяще. Пусть отберет экипажи по своему усмотрению, и, как говорят, с богом...

Сташенков сиял. А Николай сгорал со стыда: доспорился, полковник, по существу, выразил ему недоверие, перепоручив боевую задачу заместителю. И попробуй теперь докажи, что ты не струсил...

После перерыва он стоял один на улице и ломал голову: идти в класс, где Сташенков и командир десантной роты разрабатывали детали плана, или не идти? Обида жгла сердце, хотя сознание оправдывало: нельзя подвергать людей риску, когда есть возможность бить душманов без потерь. Куда полковник торопится, очередной орден получить или очередное звание? Такая у нас техника, такое оружие, а потери несем... Связался бы по радио с командующим, и через час, два артиллерию и минометы были бы на противоположной горе. Пусть «тридцать недобитых душманов», их тоже голыми руками не возьмешь...

И все-таки в класс надо идти: от командования эскадрильей его никто не отстранял и за бой он тоже

несет ответственность, а Сташенкову особенно доверять нельзя, горячая голова, самонадеянный, может бед натворить...

Николай вошел в класс, когда Сташенков заканчивал последние указания. Узнав, что он решил разделить группу надвое и заход на цель для удара и высадки десанта осуществить с двух сторон, посоветовал:

— Лучше не распылять силы — управлять экипажами будет легче.

Сташенков саркастически усмехнулся:

— Знаете, товарищ майор, почему любовью занимаются только ночью? Чтобы советчиков было меньше...

7

Сташенков отобрал лучших летчиков эскадрильи, с которыми летал не раз, знал их технику пилотирования, умение стрелять, твердость характера — капитанов Тарасенкова и Мазепова, уже побывавших в подобных переделках, Запудина и Сарафанова, молодых пилотов, но настойчивых, смекалистых, дорожащих своим авторитетом и товарищеской дружбой, — на таких можно положиться, в сложной ситуации не бросят.

Отряд разделил на две группы: первую, состоящую из двух Ми-24 — вертолетов огневой поддержки — и одного Ми-8 — вертолета десантирования с 15 десанниками на борту, на котором летел сам. Вторую группу, состоящую из двух Ми-8 с 30 десанниками, вел капитан Тарасенков.

Группы шли недалеко друг от друга. Не доходя до горы Трехгорбой, первая набирала высоту и уходила влево, чтобы обойти Двугорбую с севера, вторая продолжала идти вдоль долины, прикрываясь отрогами. В 11.30 и 11.31 обе группы должны нанести по душманам ракетно-бомбовый удар — группа Сташенкова с северо-востока, Тарасенкова — с северо-запада. Затем они становятся в круг, и Ми-24 уничтожают оставшиеся огневые точки, отвлекают удар на себя, а Ми-8 высаживают на террасе, что выше занятой душманами, десант и добивают остатки банды.

Сташенков не сомневался в успехе — 30 человек против такой техники и хорошо обученных солдат! Если и будут потери с его стороны — на то война...

А Громадину он здорово врезал. Стратег! Конечно, если на Трехгорбую высадить артиллерию, минометы, от душманов пыль пойдет, и никакого риска. Но прав Шипов, без риска на войне не бывает. А риск, читал он в детстве, — это трезвый расчет, это смелость; риск — это подвиг. И если ему удастся, а он постарается, пусть узнает полковник, кто достоин быть ведущим эскадрильи, пусть узнают все. И пусть попробует оправдаться Громадин, что не струсил. Песенка его будет спета.

Они летели над долиной, уже поменявшей краски: хотя холодов еще не было, листья с деревьев почти облетели, а оставшиеся поблекли, пожухли — дунь ветерок, закружатся в воздухе. И небо стало синим с редкими, похожими на коготки, перистыми облаками. В центральной полосе такие облака — предвестники теплого фронта, здесь же не поймешь, что за ними.

Впереди показалась Трехгорбая. Сташенков накрепил вертолет и, увеличив «шаг-газ», повел его в набор высоты вдоль склона. Справа, почти вровень с вертолетом, поднимался изломанный хребет, то острый, как первобытный каменный тесак, то плоский, будто срезаемый бульдозером специально для посадки вертолета, то с большой трещиной, которую не преодолеть десантникам и без оружия. Сташенков все подмечал, прикидывал, сравнивал. Склон Двугорбой очень походил на этот, правда, там придется снижаться вдоль восточного хребта, а они имеют различие, но душманы, вероятнее всего, обоснуются с западной стороны и будут оттуда ожидать вертолеты. Во всяком случае, нападение с обеих сторон должно осложнить им задачу отражения удара, а когда обрушится около десятка бомб и несколько сот реактивных снарядов, от переносных зенитных комплексов мало что останется. Хотя среди нагромождения валунов и скал достать каждого дуцимана будет непросто. Но это проблема десантников.

Чем выше забирались вертолеты, тем могучее и грознее казались горы, тем чернее зияли пропасти, провалы, расщелины; из их глубины веяло страхом: если вертолет подбьют вот над таким местом, его не приземлишь, и оттуда не выберешься...

К черту страх, выбросить из головы, думать только о том, как лучше выполнить задачу. Все будет хорошо, все кончится благополучно...

А сердце не подчинялось рассудку, частило так гулко, что казалось, слышно, как стучит оно сквозь рокот двигателей.

Трехгорбая будто бы расколослась, глубокое ущелье разделило гору надвое — на северную и южную часть. Сташенков повел вертолет вдоль ущелья. Ведомые повернули за ним. Радиостанции молчали — летели в режиме радиомолчания, чтобы не обнаружить себя преждевременно: душманы имеют самую современную радиоаппаратуру и прослушивают эфир.

Начиналась болтанка — солнце нагрело камни, и теплый воздух устремился ввысь, оттесняя холодный, сминая его, давя, отбрасывая — всюду в природе идет борьба, даже между невидимыми, неощутимыми частицами.

Обогнули Трехгорбую с севера, повернули на юг вдоль отрога. До цели оставалось совсем немного, и Сташенков чувствовал, как возрастает напряжение: лицо летчика-штурмана будто окаменело — сосредоточено, почти недвижимо, только ярко поблескивающие глаза зыркают слева направо, вверх, вниз — осмотрительность, отработанная до автоматизма еще с курсантской поры; ни одного звука по переговорному устройству, что так нехарактерно для экипажа: Михаил любил отпустить какую-нибудь соленую шутку для разрядки и подчиненных приучил не дремать в полете. Хотелось и на этот раз сказать что-нибудь веселенькое, но на ум ничего стоящего не приходило, и он просто спросил, стараясь придать голосу побольше бодрости:

— Как, штурман, со временем, не торопимся мы поперед батьки в пекло?

Сказал и осекся: «поперед батьки в пекло». Повеселил, называется. Но штурман понял его, отозвался с юморком:

— О'кей, командир, точно, как в аптеке. Если брат Тарасенков не подведет, мы свалимся душманам как снег на голову.

— Не подведет, мужик он строгих правил.

Гребень горы покатился вниз, вдалеке обозначилась гряда душманских гор, что лежала за Кокчей. Впереди — долина.

— Приготовиться, оружие к бою! — приказал Сташенков и стал прижимать вертолет к самому склону горы.

Стрелка высотомера побежала по окружности в обратную сторону, показывая снижение.

Отрог горы все сильнее заворачивал к востоку, на высоте около 500 метров Сташенков перевалил хребет и, снова прижимаясь к склону, повернул на запад.

Вертолеты шли вдоль долины, прикрываясь отрогами, то ныряя в низины, то взмывая над скалистыми гребешками.

У Двугорбой Сташенков взял еще правее, и кривая их полета подскочила на двести метров; пилотировать стало сложнее, он почувствовал, как запылало лицо, хотя в кабине температура не превышала двадцати градусов; но было не до этих мелочей — главное, выйти внезапно на цель.

Вдруг голову пронзает неприятная, но слишком запоздалая мысль: Громадин-то предлагал дело — не разделять группу, идти всей пятеркой правым пеленгом, впереди Ми-24, вертолеты огневой поддержки, имеющие броню, которые должны принять огонь на себя, за ними Ми-8; командиры экипажей, бортстрелки и борттехники ведут огонь, летчики-штурманы выбирают площадку для десантирования. Круг не делать, чтобы не подставлять себя под удар ни над долиной, ни с Трехгорбой, ни с противоположной стороны, где тоже могла прятаться засада, а выполнить восьмерку и ударить с обратным курсом; высаживать десант по обстоятельствам.

«А струсил ли Громадин?» — вдруг подумал он. Гнев Шиннова воспринял спокойно и особых эмоций, когда боевое задание было перепоручено заместителю, не проявил.

Двугорбая надвигалась темной ровной громадой, кое-где на отвесных скалах виднелись разноцветные слои пород, а внизу зияла глубокая, петляющая то влево, то вправо расщелина с тонкой речушкой.

Сташенков резко накренил вертолет и двумя клевками дал знать ведомым выйти вперед — последний поворот, за которым начинается поиск противника.

Судя по донесению, душманы оседлали Двугорбую часов двенадцать назад, значит, укрепиться и замаскироваться у них времени было достаточно, и первыми, вероятнее всего, они увидят вертолеты и откроют огонь. А чтобы этот огонь был малоэффективен, надо не дать душманам бить прицельно — резко маневрировать и сразу же ответить на удар более мощ-

ным ударом, а для этого смотреть в оба, видеть, откуда и из какого оружия ведется огонь, выбирать и поражать наиболее опасные цели.

Что касается маневра, тут его подчиненные действовали как виртуозы: вертолеты ни на секунду не задерживались на одной линии полета, то уклонялись влево, вправо, то взмывали ввысь, то опускались к самому подножию горы — будто пара мифических птиц совершала ритуальный свадебный танец, — и Сташенков еле успевал на своем менее маневренном и более загруженном Ми-8 выполнять замысловатые манипуляции. Надеялся он и на летчиков-штурманов Ми-24, старших лейтенантов Биктогирова и Елизарова, офицеров молодых, собранных, с творческой живинкой, не раз отличившихся снайперской стрельбой в боях с душманами. Фанус Биктогиров горячеват, правда, но горячность его сочетается с мгновенной реакцией, а это в скоротечном бою важнее важного.

Впереди показался конец отрога Двугорбой, поросший густым кустарником, а за ним, сверкая солнечными бликами, река Кокча, такая же извилистая, быстротечная, как и западнее. Долина была безлюдной и без малейших признаков жизни. «Видимо, душманы обосновались на южных склонах», — подумал Сташенков и в тот же миг увидел, как справа метнулась трасса к вертолету ведущего.

— Цель справа! — крикнул Сташенков по радио. — Разворот вправо!

Но уже и без его команды три огненные струи скрестились на горе, откуда бил ДШК: борттехники всех трех вертолетов не просмотрели цель. Трасса оборвалась, исчезла. Но не один же там прятался душман, и не один выставили пулемет...

Вертолеты с набором высоты прошли над точкой, откуда велась стрельба. Это была небольшая площадка, окруженная валунами, — будто специально сделанное укрытие, — на краю которой, тоже за валунами, промелькнула установка ДШК и лежавший у нее человек. И все. Ничего другого Сташенков рассмотреть не успел — надо было смотреть вперед, вести вертолет, уклоняясь от препятствий и новых огневых точек, которые, конечно же, где-то здесь, рядом.

И Сташенков не ошибся: едва перевалили восточный отрог, как южный скат Двугорбой обозначился десятком замелькавших огоньков — били пулеметы, ав-

томаты и то ли легкие переносные зенитные пушки, то ли гранатометы. Душманы поджидали их: со всех трех опорных пунктов, которые успел заметить Сташенков, велась интенсивная стрельба. И все-таки налет вертолетов произвел на душманов ошеломляющее впечатление: снаряды летели мимо, на площадках чувствовалась суета, паника. А когда Ми-24 произвели по первой площадке залп и гора окуталась огнем, дымом и пылью, вражеский огонь заметно ослабел.

— Командир, впереди пара Тарасенкова, — доложил штурман.

— Отворачиваем влево! — скомандовал Сташенков. — Экипаж, продолжайте наблюдение за огневыми точками.

Вертолеты отошли влево, освобождая место для удара паре Тарасенкова. И когда гора окуталась новыми клубами дыма, Сташенков испытал невероятный восторг: прав он, прав был, предлагая два Ми-24 и три Ми-8. Разве устоять душманам против такой силы! Смелость, решительность, натиск — вот они, основополагающие законы тактики!

— Заходим для основной работы! — скомандовал по радио Сташенков. — «Ноль семьдесят второй» и «ноль семьдесят третий», пристраивайтесь к нам.

Пока они разворачивались на обратный курс, ветер (он заметно крепчал) растянул дым по вершине горы и обнажил прежние площадки, откуда велась стрельба и куда следовало теперь высадить десантников. Для экипажа это лучше, а вот для тех, кому вступать с ходу в бой... Но в бою зачастую выбирать не приходится.

Сташенков рассчитывал, что в первой атаке уничтожены если не все опорные пункты душманов, то два наверняка, и очень удивился, когда навстречу вертолетам снова потянулось около десятка трасс. И все-таки решение уже принято — надо садиться. Ми-24 прикроют, и десант завершит уничтожение банды.

— Штурман, площадку! — властно крикнул он по переговорному устройству.

— Прямо по курсу, командир, — бодро ответил Марусин. — Над первым опорным пунктом, чтоб сразу на голову бородачам.

— Не годится, — критично отверг Сташенков. — Садимся прямо на опорный пункт. Только целясь лучше.

— Понял, командир, сделаем, как учили.

Ми-24 дали еще залп: ведущий по второму опорному пункту, ведомый по первому. Сташенков остаток ракет выпустил по площадке, напоминавшей террасу, с углублением в горе, откуда особенно интенсивно стреляли, и повел вертолет на посадку.

Из-за дыма и поднятой пыли очертания площадок почти не были видны, и пришлось снижаться еле-еле, чтобы не зацепить винтами за валуны. По дюралевой обшивке зашлепали то ли осколки, то ли пули — рассматривать было некогда. Сташенков видел только клочок земли впереди, куда снижался вертолет, громадные валуны. Пришлось поворачивать вправо, и вот она, наконец, опора — колеса чуть самортизировали, машина будто облегченно вздохнула. Штурман сидел за пулеметом и бил короткими очередями на всякий случай.

— Готов, командир, взлетайте, — доложил бортовой техник, и Сташенков мысленно поблагодарил десантников: молодцы хлопцы, вертолет, можно сказать, не успел опуститься на все три колеса, а они уже на земле.

Майор увеличил обороты двигателей, дал ручку управления от себя, и вертолет, зависнув на секунду на месте, рванулся вперед. Штурман, борттехник и бортмеханик ударили из пулеметов. Стрекот выстрелов слился со стрекотом двигателей, и вибрация ошутимее передавалась на ручку управления. Сташенков, уводя вертолет от площадки с крутым левым креном, увидел, как выскакивали десантники из вертолета Тарасенкова — тоже быстро, стремительно, с изготовкой к стрельбе. Недалеко от него приземлился последний Ми-8, капитана Сарафанова.

А где вертолеты огневой поддержки? Сташенков novel взглядом по небу, и тревожная мысль мелькнула как молния: вот она, первая ошибка — Ми-24 только заходили для атаки, машины Тарасенкова и Сарафанова остались без прикрытия.

Он перенес взгляд на Ми-8. Вертолет Тарасенкова уже взлетал; из утробы машины Сарафанова выпрыгнул последний десантник, створка грузового люка закрылась, и в этот момент грохнул разрыв. Пламя полыхнуло в самом центре фюзеляжа («Из гранатомета», — успел подумать Сташенков), и вертолет охватило огнем.

«Ах, сволочи!» — Сташенков еще круче положил вертолет в вираж, стремясь быстрее прийти на помощь товарищам. Он увидел, откуда бьет гранатометчик — очередную гранату душман пустил по вертолету Тарасенкова, но она не долетела, — и, взяв управление пулеметом на себя, повел машину прямо на валуны, за которыми засел гранатометчик. Нажал на гашетку. Фонтанчики разрывов вспыхнули над валунами. Душман залег, притаился, достать его за таким укрытием было непросто.

Сташенков прекратил стрельбу и, не спуская глаз с валунов, повел вертолет на высоту, чтобы ударить сверху.

Душман, похоже, разгадал замысел летчика: из-за валунов высунулось дуло гранатомета. Сташенков дал еще очередь. Дуло исчезло.

Рискуя быть простреленным просто автоматными пулями — у Ми-8 броневой защиты, к сожалению, не имелось, — Сташенков завис над самой террасой, где обосновались душманы, и выжидал, когда гранатометчик появится из-за камней или выкурят его оттуда десантники. Он понимал нелепость своего упрямства: поединок вертолета, имеющего три мощные огневые точки, с одним душманом — детство, тактическая безграмотность, но не хотел упустить живым именно этого душмана, поразившего вертолет Сарафанова. Остался ли кто-нибудь из экипажа жив? Вряд ли...

— Видел, куда я стрелял? — спросил у штурмана.

— Видел. И того душмана, — ответил Марусин.

— Ну-ка попробуй его достать.

Сташенков медленно повел вертолет к горе. Марусин полоснул очередью по валунам. И душман не выдержал, выскочил из-за валунов и бросился под прикрытием скалы, карнизом нависшей над террасой. Он не пробежал и половины пути, как трасса Марусина опрокинула его, пригвоздила к земле.

— Командир, отходи влево, не мешай десанникам, — посоветовал Марусин.

Сташенков и сам видел, что по всему карнизу мелькают фигуры наших десантников, что бой перешел, можно сказать, в рукопашную и стрелять с вертолета опасно — можно поразить своих, накренил вертолет и со скольжением стал отходить от горы.

По фюзеляжу стеганула трасса, будто вертолет зацепил за макушку деревьев; Сташенков ощутил гулой

удар в правую ногу, она сделалась чужой и непослушной, но боли он не чувствовал. Вертолет продолжал разворачиваться влево, но когда настала пора вывести его и Сташенков нажал на правую педаль, ногу пронзила острая боль.

— Бери управление! — крикнул Сташенков Марусину. О том, что ранен, умолчал, чтобы не тревожить экипаж.

Летчик-штурман незамедлительно выполнил команду. Не выпуская из поля зрения панораму боя, Сташенков стал ощупывать ногу, и рука чуть выше колена наткнулась на теплое и липкое. Вот куда... Пуля — это от той хлесткой очереди, которую он слышал. Похоже, кость не задета — боль притухла. Но когда он увидел на пальцах и ладони сгустки крови и почувствовал ее специфический дурманящий запах, у него закружилась голова. В глазах поплыла рябь, приборную доску подернуло туманом. «Теряю сознание», — мелькнула мысль. Только не это... Врач как-то объяснил, что в подобных случаях надо глубже дышать — легкие требуют больше кислорода. Вдох, выдох. Еще глубже... А еще — обеспечить прилив крови в голову. Наклон вниз, вверх... Мешает ручка управления... Еще, еще... Уже лучше.

— Что с вами, командир? — обеспокоился Марусин. — На вас лица нет.

— Ничего, — попытался улыбнуться Сташенков. — Зацепило, кажись.

Марусин скользнул по нему взглядом, увидел, куда ранен командир, и крикнул бортовому технику:

— Петрухин, срочно в кабину командира с индикатором! — И к Сташенкову: — Я на всякий случай отойду подальше.

— Не надо! — приказным тоном возразил Сташенков. — Душманы должны чувствовать наше присутствие.

За спиной появился бортовой техник с индивидуальным медицинским пакетом.

— Бинт! — протянул к нему руку Сташенков. — Потом дашь жгут.

Едва прикоснулся к предполагаемому месту ранения, как острая боль разлилась по всей ноге. Бинт сразу же прилип к пропитавшему брюки сгустку крови. Сташенков обернул ногу один раз, второй, затягивая покрепче, чтобы остановить кровь. Боль усилива-

лась, по он пошевелил пальцами, побольше изогнул ногу в колене; нога повиновалась — значит, ничего серьезного. Надо только приостановить кровь. Еще виток, еще. А кровь мгновенно просачивалась сквозь бинт и расплывалась большим пятном, пропитывая штанину брюк.

В глазах снова зарябило, и тошнота подкатила к горлу. Сташенков откинул назад голову, сделал глубокий вдох.

— Разрешите мне? — Петрухин взял из рук командира бинт и продолжил перевязку.

— Потуже, — попросил Сташенков. — А теперь чуть повыше, жгутом...

Перевязка не уменьшила боли, но кровь, похоже, прекратила сочиться и рябь исчезла.

— Идите к пулемету, — приказал Сташенков борттехнику, и в это время увидел впереди взметнувшуюся красную ракету. В наушниках раздался голос лейтенанта Штыркина, командира группы десантников:

— «Беркут», я «Мангуста», вызываю на связь!

— «Беркут» на связи, — отозвался Сташенков.

— Операция закончена, прошу борт для раненых.

— Понял. «Беркут ноль полсотни первый». Иду на посадку. «Ноль семьдесят второму» и остальным осуществлять прикрытие. — Сташенков кивнул в сторону дымящегося вертолета Сарафанова и приказал Марусину: — Давай туда.

Первым делом надо было забрать раненых, а там, где разорвалась граната в момент десантирования, их больше всего. И самому нужна более квалифицированная помощь. В группе есть врач и санинструктор, но во время посадки будет не до этого. Десантников было сорок пять, на трех вертолетах, теперь придется увозить на двух. Плюс четыре члена экипажа. И среди душманов найдутся, видимо, раненые, не бросать же их. Надо задействовать и Ми-24, хотя бы человека по четыре. А сколько душманов?.. Запросить у КП еще вертолеты?.. После боя — не резон...

Нога страшно ныла, ее будто выкручивало из бедра, и Сташенков ерзал по сиденью, кусал губы. Хорошо, что не видел Марусин — он всецело занят был посадкой. Приземлить вертолет на мизерной площадке среди валунов — не простое дело. Да еще после полуторамесячного перерыва. И особым мастерством в тех-

нике пилотирования он не отличался, потому и вели его вверх по штурманской лесенке.

Вертолет завис метрах в десяти от обломков Ми-8 Сарафанова, который уже не дымился. Стащенко повернул головой и указал на площадку левее: она была еще меньших размеров, но впереди свободная от нагромождения камней, что имело немалое значение для взлета. А поскольку предстояло взять на борт лишний груз, и летчику, и машине придется трудиться в экстремальных условиях. Если бы не нога... В своем мастерстве Стащенко не сомневался. А вот справится ли Марусин?.. Надо будет не спускать глаз...

— Прибери «шаг-газ» и ручку — на себя, — подсказал он Марусину, лицо которого блестело от пота, а широко открытые глаза метались то влево, то вправо. — Так, хорошо. Еще чуть-чуть... Отлично!

Колеса коснулись земли. Марусин облегченно вздохнул и смахнул тыльной стороной ладони со лба пот. И хотя вертолет сильно накренился, штурман был очень доволен — посадил в таких условиях! Стащенко же крен обеспокоил: на склон попали, в ямку, или что-то с одним колесом? При благоприятных условиях следовало бы выключить двигатели, осмотреть машину: пули могли пробить не только ему ногу, но и повредить топливную или масляную систему. Правда, давление в системах манометры показывали нормальное, и все-таки пули простучали по всему фюзеляжу...

— Осмотри внимательнее кабину и показания приборов, — попросил Стащенко Марусина. — А борттехник пусть снаружи глянет...

Пока грузили раненых, Петрухин облазил фюзеляж со всех сторон, отбежал метров на пять и проследил, как вращаются лопасти винта — что он мог там увидеть? — и, забравшись в кабину, браво доложил:

— Все в порядке, товарищ майор. Двадцать три пробойны насчитал, но потеков масла, керосина не видно. Сколько будем брать на борт?

— Сколько уже взяли?

— Девять раненых и шесть здоровых.

К ним протиснулся лейтенант Штыркин.

— Разрешите обратиться, товарищ майор?

— Слушаю вас.

— Всех будем забирать или группу оставим?

— Сколько всего пассажиров, с душманами, с ранеными?

— Пятьдесят четыре.

Многовато, прикинул Сташенков. Но надо увозить всех: мало ли что может случиться. А поводов для упреков он и без того заработал достаточно: девять раненых, уничтоженный вертолет...

— А сколько погибло?

— Шестеро. Двое — из экипажа.

Много... Нельзя было садиться вертолету Сарафанова без прикрытия. Вот оно, пренебрежение тактикой... Правда, в бою всего не предусмотреть... «На то ты и командир, чтобы заранее все рассчитать», — услышал он мысленно возражение Громадина. «Но на войне как на войне, без потерь не бывает», — ответил Сташенков. Философия бездарей и ретивых служак, которые «за ценой не постоют»...

— Так сколько будем брать? — повторил вопрос борттехник.

— Еще девять посадите. Уместятся?

— Уместить-то уместим, но перегруз большой.

— Не такой уж большой, — возразил Сташенков, прикидывая дополнительный вес девяти бойцов, высоту, где приземлились. Учитывая боевое снаряжение, бронежилеты каждого — где-то около тысячи килограммов, минус израсходованный боекомплект килограммов триста; в общем, превышение предельно допустимой взлетной массы — килограммов на семьсот. Пусть даже на тысячу, но никого на поле боя он не оставит, даже если это грозит опасностью. «Лучше славная смерть, чем бесславная жизнь» — вспомнилась некстати поговорка. Нет, умирать он не собирается и взлетит, чего бы это ему ни стоило, и покажет всем, какой он летчик, какой командир!..

— «Веркуты», я «ноль пятьдесят первый», слушайте приказ. «Ноль семьдесят второму» взять на борт двадцать три человека, «ноль пятьдесят пятому» и «пятьдесят шестому» — по четыре человека. Как поняли?

— «Ноль семьдесят второй» понял — двадцать три.

— «Ноль пятьдесят пятый» — взять на борт четыре.

— «Ноль пятьдесят шестой» — четыре.

— Правильно поняли. Посадку — по очереди. Я ухо-

жу с ранеными. Ведущим пазначаю «ноль семьдесят второго».

— «Ноль семьдесят второй» понял.

Пока переговаривался с экипажами, бортовой техник принял и разместил «лишних» 9 десантников. Захлопнулся люк и боковая дверь. Сташенков взялся за ручку управления, чтобы помочь штурману на взлете. Но едва пошевелил ногой, острая боль пронзила все тело, и приборная доска снова словно подернулась туманом. Нет, в таком состоянии лучше довериться Марусину. Это по теоретическим расчетам перегрузка, а практически Ми-8 поднимали и более тяжелые грузы.

— Взлетай, — приказал он штурману. — Спокойно и уверенно, эта машина и не на такое способна.

Марусин увеличил «шаг-газ». Двигатели натужно заурчали, вертолет приподнялся и закачался, словно кто-то не отпускал его от земли, удерживая с обеих сторон невидимыми путами, но вот машина оборвала путы, подпрыгнула и зависла, словно переводя дыхание.

Сташенков кивком похвалил штурмана, Марусин стал увеличивать «шаг-газ», чтобы набрать высоту, но вертолет вдруг просел, и штурман, стараясь удержать его в воздухе, хватил «шаг-газ» до упора вверх. Обороты сразу упали. Сташенков, чтобы спасти положение, толкнул рычаг «шаг-газа» обратно, на самую малость, и отдал ручку управления от себя, но было поздно: вертолет ткнулся колесами и хвостовой пятой о землю, зацепил лопастью хвостового винта о валун. Еще один подскок, еще удар — теперь уже, видимо, передним колесом — и наконец вертолет в воздухе. Набирая скорость, он стал уходить от земли. Все произошло так мгновенно и неожиданно, что Сташенков только теперь осознал случившееся: не зря он сомневался в Марусине — штурман несоразмерно и резко сработал ручкой управления и рычагом «шаг-газа», не учел просадку во время исчезновения эффекта «воздушной подушки», а он, Сташенков, понадеялся на него, обольщенный началом взлета, и проворонил опасную ситуацию...

Двигатели тянут будто бы нормально, и перебоев не слышно, а вертолет летит как-то боком, словно подраненная в крыло птица.

«Ах, Марусин, Марусин, — сокрушался Сташенков, — что теперь будет, что будет?.. С него-то спрос

невелик — штурман, а с меня... Никакие благие намерения не оправдают поломку. Хорошо еще, если долетим благополучно до точки».

— Командир, ничего страшного, — решил успокоить его бортовой техник по переговорному устройству. — Подломана передняя стойка и деформирована немного хвостовая балка.

Как в той песенке: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...»

— Как ты установил?

— Очень просто: высунулся из люка, все осмотрел.

— Не хватало еще тебе вывалиться.

— Что вы! Меня так крепко держали, — хохотнул Петрухин.

А Сташенкову было не до смеха. Даже рана не причиняла такой боли, как сознание своей вины в гибели шести человек, потере вертолета и аварии. А ведь все могло быть не так...

8

С вечера подул «афганец» — сухой, колючий ветер, и заходящее солнце сразу затянуло грязной, часто рвущейся пеленой; иль, песок, листья поднялись метров на двести, и все вокруг почернело, приобрело зловещие очертания: дома, деревья, бурьян и кустарники стали похожи на притаившиеся и изготовившиеся к атаке танки и бронетранспортеры шурави, на пушки и залегших солдат. А гремевшие за дувалами порывы ветра казались отдаленными выстрелами и рокотом моторов.

— Вот теперь пора, — сказал Масуд, глядя на север, в темноту, за которой еще утром виднелась широкая долина, привлекающая безлюдием и тишиной, извилистой речушкой и еще чем-то таинственным, пленительно-завораживающим. Там золото! Его, Абдулахаба, а не Масуда, и пусть он не пялит на тот берег глаза, ведь не пойдет же, побоится за свою драгоценную жизнь, а пошлет казначея — его жизнь не так дорога и давно бы пора ему сгинуть, чтобы не терзать сердце страхом о мести, — и потому не получит он ни крупинки, не имеет на него права — сам аллах под-сказал эту мысль Абдулахабу.

Они стоят на склоне горы вчетвером: Масуд, Азия,

Гулям — еще одна «правая рука» Масуда, исполняющий волю сардара непосредственно в бою и при карательных набегах на кишлаки, где ислам променяли на лозунги шурави о мире, равенстве и братстве, — и он, Абдулахаб. Масуд долго и отрешенно смотрит в темную круговерть и думает свою думу. «Вот теперь пора» — приоткрывает завесу его намерений: в первую очередь забрать золото. Не зря он поручил Гулямю днем и ночью следить за постом наблюдения советских десантников. 10 солдат — для отряда Масуда не сила, правда, и отряд после ловушки у кишлака Шопша насчитывает 33 моджахеда, но для того чтобы уничтожить этот пост, вполне достаточно. «Афганец»-ветер поможет: вертолеты в такую погоду не полетят, а по долине к посту сутки надо добираться... Куда потом намеревается податься Масуд? В Пакистан, как он говорит, за новым отрядом? Возможно. Но что-то после последнего боя с авиацией шурави погрузился он и стал более задумчив и озабочен. Похоже, и ему надоело лазать по горам, подставлять своих солдат и себя под пули... Но на примирение он не пойдет: клятву давал самому Сайеду Ахмаду Гейлани, лидеру «национального исламского фронта Афганистана». Скорее всего, надумал, как и Абдулахаб, махнуть куда-нибудь с золотышкой в невоющую, нейтральную страну. Пусть мечтает, надеется...

— Значит, все проследил, все продумал? — повернулся Масуд к Гулямю.

— Так, мой господин, — прижал подобострастно руку к груди Гулям.

— Сколько тебе потребуется воинов, чтобы разделиться с этой кучкой кафилов?

— Надо бы весь отряд, мой господин, — покорно склонил голову Гулям. — У шурави — две собаки. Если учуют...

— Ты глупее собак? — недовольно сверкнул глазами Масуд. — И в такой ветер.

— Он дует с нашей стороны, — возразил несмело Гулям.

— Обойдите подальше. В общем, можешь забрать и весь отряд. — Масуд испытующе посмотрел на Абдулахаба. — А тебе сколько нужно?

«Я и один справлюсь», — чуть не выпалил Абдулахаб, но знал — Масуд никогда одного его к золоту не

отпустит, и потому ответил как можно равнодушнее:

— Мне одного вполне достаточно. Вот с Азизом сходим.

— Азиз останется со мной, — не согласился Масуд. — Возьмешь Тахира.

Такое решение сардара несколько путало карты Абдулахаба: когда два этих шакала будут вместе, с ними труднее расправиться. И Тахира ему не хотелось убирать. Но... пути аллаха неисповедимы.

— Хорошо, мой господин.

— Время рассчитайте сами. В пять ноль-ноль мы должны покинуть это место...

Нападение на пост назначили на 23.00. Раньше не получалось — пока преодолеют речку, обойдут гору с востока, чтобы ветер не донес их запах собакам, поднимутся на вторую террасу, на которой обосновались десантники, уйдет не менее четырех часов. А шел уже седьмой час. Оставалось время только на сборы и уточнение действий между каждым моджахедом.

Абдулахаб, чтобы развязать себе руки и не быть зависимым от Гуляма, предупредил:

— Мы пойдем с запада, так что нам не по пути.

— Может, еще возьмешь пару моджахедов? — предложил Масуд.

— Нет. Вдвоем пройдем тише и спокойнее.

— Хорошо.

Отряд Гуляма отправился к реке, едва стемнело. Абдулахаб не торопился: проверил и почистил автомат и пистолет, то же заставил сделать Тахира.

В пещере, где обосновался Масуд, кроме него и Азиза осталось пять моджахедов: один часовой на входе и четверо — у самого входа, внутри; Масуд и Азиз — в углублении за крутым изгибом, чтобы не слышать голосов подчиненных и спокойно отдыхать. Здесь же находились Абдулахаб и Тахир. Сардар не обращал на них внимания, сидел у стены, где висел электрический фонарь, и просматривал захваченные сегодня днем в уездном комитете партии киплака Андава бумаги. Это были газеты и листовки, какие-то брошюры, отдельные листы с напечатанным и скорописным текстом.

Абдулахаба удерживало в пещере не любопытство

к этим бумагам и не забота об оружии, он изучал обстановку и обдумывал план, как лучше отомстить своим обидчикам. Вернуться сюда, когда они лягут отдыхать перед дальней дорогой? Попасть в эту пещеру будет не просто: со стороны часового войти ему, конечно, можно, но поднимут вначале Азиза, а это означает — не выйти. Остается потайной лаз, закрытый в углу горной глыбой... Но Масуд, как правило, укладывается спать на него. Так что рисковать не стоит. Остается один выход...

Абдулахаб подошел к Азизу.

— Идем, покажу тебе, где спрятана казна.

— Зачем? Сам к рассвету вернешься.

— Мало ли... Но на свидание идем.

Азиз неохотно поднялся. Раньше Абдулахаб оставлял казну на Тахира, и главный телохранитель был недоволен новым поручением. Но сардар не вступил-ся, значит, с ним согласовано.

Часовой, спрятавшись от ветра за скалу у входа, почти не был виден. Не спросил и не сказал ничего — Азиза и Абдулахаба знал по походке.

Абдулахаб повел Азиза в подветренную сторону. Пистолет лежал за пазухой с патроном в патроннике, на всякий случай; рука сжимала ребристую рукоятку острого кинжала.

— Что-то ты далеко казну свою запрятал, — сказал насмешливо Азиз, сбавляя шаг.

— Дальше положишь, ближе возьмешь, — ответил ему в тон Абдулахаб. Завернули за скалу. — Вот и пришли. — Встал к нему лицом к лицу и, несмотря на темноту, увидел, как обеспокоенно и затравленно заметались глаза. — Что, страшно? Это тебе не у связанного Зафара яйца выкручивать. Знаешь, зачем я тебя сюда привел?

— Я давно подозревал, что ты продался кафирам...

— Врешь. Ты давно догадывался, что я тебе не прощу Земфиру. Как ты смел, грязный гиббон?..

Азиз беззвучно пошевелил губами, со страхом глядя на тонкое лезвие, приставленное к сердцу. Он отпрянул назад, стараясь поймать в падении руку с кинжалом, но Абдулахаб был наготове, увернулся и нанес удар снизу. Азиз захрипел, задержался на руке в предсмертных конвульсиях.

Абдулахаб выдернул кинжал и вытер о полу халата бывшего телохранителя...

Масуд продолжал читать добытые документы. Тахир был уже наготове с рюкзаком за плечами.

— А где Азиз? — спросил он.

— Считает афгани, — ответил Абдулахаб.

— Во жмот, он и себе, наверное, не верит, — усмехнулся Тахир.

— Иди, я догоню, — указал ему взглядом на выход Абдулахаб. — Мне кое-что надо сардару сказать.

Тахир понимающе кивнул: не один Абдулахаб, уходя на задание, оставляет на всякий случай наказ господину.

Когда он вышел, Абдулахаб совершил намаз и встал напротив повелителя. Тот отложил бумаги, чуть наклонил голову, приготовившись выслушать если не завещание, то исповедь.

— Посмотри мне в глаза, Масуд, — сказал Абдулахаб жестко, так, что не узнал своего голоса.

Сардар удивленно вскинул на него глаза. И все понял. Рука из-под бумаг поползла под халат.

— Не надо, — предупредил Абдулахаб. — Не успеешь. — И приставил к его горлу кинжал. — Ты был плохим сардаром и мусульманином: трусливым и бездарным, похотливым и неверным. Ты не водил в бой своих моджахедов и погубил отряд, ты нарушил заветы корана, насиловал невинных детей и чужих жен...

— Ты забыл о своих грехах, — вставил Масуд.

— Нет, не забыл. Но мои грехи по сравнению с твоими — милость аллаха...

— Твоя жизнь тоже была в моих руках, и я пощадил тебя.

— Верно, Масуд. Меня не за что было наказывать. Но что бы ты сделал, если бы я надругался над твоей женой?

— Я бы сказал тебе спасибо, — постарался выразить улыбку Масуд, но губы его дернулись уголками вверх и тут же опустились. — Женщина без мужчины что арык без воды — засохнет, зачахнет.

— Это вы-то с Азизом мужчины? Да вам только обезьян осеменять, и то насильственно.

Масуд рванулся под халат к пистолету, но не успел: лезвие легко проткнуло халат и тело чуть ниже соска слева; другой рукой Абдулахаб зажал сардару рот...

Моджахеды спокойно пили чай, сидя у самого выхода.

— Господин просил не беспокоить его, он лег отдыхать, — сказал, выходя, Абдулахаб.

— Исповедался? — спросил с чуть заметной насмешкой Тахир.

— Самую малость, — ответил Абдулахаб.

— Ты считаешь, очень серьезно? — насмешки в голосе Тахира как не бывало.

— Идти на встречу с шурави всегда серьезно.

— Но ведь захоронка далеко от поста?

— А ты уверен, что ее не нашли шурави и не сделали на том месте засаду?

— Я не подумал.

— И напрасно. В нашем деле мозги должны шевелиться, как электронная машина. Все вычислить, все предусмотреть. Потому мы торопиться не будем, пусть вначале Гулям разделяется с десантниками.

Ветер мешал говорить, в рот залетали пыль, песок, и Абдулахаб замолчал. Шли не менее получаса.

— Куда ты меня ведешь? — обеспокоенно спросил Тахир.

— Мы зайдем вначале в Шаршариф.

— Зачем?

— Я заберу Земфиру.

— Куда? — Тахир остановился от неожиданности.

— С собой.

— И тебе не жалко ее? — сочувственно спросил Тахир.

— Жалко. Потому и забираю.

— Напрасно.

— Думаешь, снова к Масуду, Азизу попадет?

— Ты... ты знаешь? — совсем остановился Тахир.

— Идем. Нам еще предстоит многое узнать.

— И ты простил? — никак не мог унять Тахир.

— Скажи, ты зачем пошел в моджахеды? — на вопрос вопросом ответил Абдулахаб.

— Чтобы мстить неверным.

— Вот и я за тем же. А почему, думаешь, Масуд сам не повел отряд?

— Масуд — господин, — без тени сомнения ответил Тахир.

— А чем господин отличается от нас с тобой?

Тахир замялся.

— Тем, что он богат, — подсказал Абдулахаб. — А ты хочешь быть богатым?

— Я получаю две тысячи семьсот афганей, у меня шестеро сестер и братьев, больная мать...

— А знаешь, сколько получает Масуд?

— Масуд — господин, — подчеркнуто твердо повторил Тахир.

— Это я слышал. А ты хочешь стать господином? Тахир помолчал.

— Нет. Аллах создал меня дехканином.

«Вот и поговори с ним, — мысленно усмехнулся Абдулахаб. — А Тараки революцию провозгласил. Не случайно дехканы не берут байскую землю — батрак родился батраком и умрет им, так в коране записано. И Тахир, если нам удастся завладеть золотом, ни крупинки не возьмет... Придется как-то отделаться от него. Но это там, на той стороне. Помощник он верный и может пригодиться».

9

Ветер выл за окном, гудел и стопал, стегал по стеклу с такой силой, что казалось, оно вот-вот рассыплется вдребезги. Лампочка, висевшая у подъезда общежития летчиков и обычно освещавшая весь фасад здания, еле пробивалась тусклым светом сквозь наплывающие волны песка и пыли, а иногда и совсем меркла, и комната, где отдыхал Николай, погружалась в могильную темноту, набывая и без того невеселые мысли.

Шипов улетел на Центральный в очень плохом настроении и с явным игнорированием командира эскадрильи: ни «до свиданья» не сказал, ни напутствий и указаний не сделал, будто никто здесь Громадин. Возможно, теперь и никто. Без последствий «тактические соображения» Николая он не оставит и за потери, неудачу с него спросит. «Это уже ваша проблема, как лучше санировать бой с меньшими потерями. На то вы и авиационный командир», — оговорил он сразу свои указания. Вот так-то. А потери... Стыдно будет рассказать об этом бое: против тридцати недобитых душманов пять вертолетов с сорока пятью десантниками участвовало. И умудрились один вертолет потерять, один полемать; шесть человек погибли, двое из эскадрильи, девять — ранены... Не иначе Сташенков нахрапом полет, пренебрег законами тактики... И Шипов обласкал его, чуть ли не героем представил: «Спасибо за

службу, сынок. Так и надо: сам погибай, а товарища выручай. Вертолет — железка, еще сделаем, а вот людей...»

Разумеется, решение забрать всех солдат с Двугорбой верное, и в том, что Марусин подломал вертолет, не вина Сташенкова — он был рапен; возможно, и над полем боя создалась такая ситуация, что от летчиков большего нельзя было ожидать, душманы умеют воевать. Но зачем Сташенков пошел на авантюру, поддался пресловутой присказке: «Без потерь на войне не бывает». Так можно любые потери оправдать... Когда же мы будем учиться воевать «малой кровью могучим ударом»?

Шипов не захотел звонить в штаб, просить артиллерию — слишком много хлопот, и какой же он представитель Генерального штаба, если сам не может решить? А результат... «Это уже ваша проблема, как лучше спланировать бой с меньшими потерями...» Сташенков, как глупый ерш, попался на голый крючок: «Разрешите мне, товарищ полковник...» Выслужились...

«Что же делать? Написать в Генштаб?.. Сочтут еще кляузынником, обвинят черт-те в чем...»

Телефонный звонок прострочил над ухом, как пулеметная очередь. Николай снял трубку.

— Слушаю, Громадин.

— Это я, Николай Петрович, — узнал он голос командира полка. — Только что передали с поста наблюдения: отражают нападение. Отряд душманов вроде бы небольшой, но и наших там, сам знаешь, сколько. Нужна срочная помощь. Погода нелетная, знаю. Но и другим ничем не поможешь. Кого можешь послать? Десантникам уже дали команду.

— Разрешите мне, товарищ полковник?

— Разрешаю. А еще кого?

Николай перебрал в памяти всех подчиненных. Нет, в таких условиях гарантировать безопасность он не мог, летчики давно не летали в сложных метеоусловиях.

— Еще мог бы Сташенков, но...

— Знаю. Надо только посадить десант. У подножия горы. Огонь вести не придется — там теперь не разберешь, где наши, где душманы.

— Если получится, я сделаю два вылета, три, — подсказал выход Николай.

— Постарайся, чтоб получилось, — попросил полковник. — Надо помочь ребятам. Дорога каждая минута.

— Понял, товарищ полковник. Разрешите выполнять?

— Действуйте.

10

Мать умоляла ее: «Одумайся, Земфира! Там чужая страна, чужие порядки. И разве ты не знаешь, что женщину там ставят ни во что!..»

— Абдулахаб не такой, — возразила она. — Он любит меня.

— Мужская любовь что свет от луны — не согреет.

— И я его люблю.

— Любовь должна приносить счастье. А твоя принесет тебе только муки...

Как мать оказалась права! Сколько перенесено мук, терзаний, унижений! И сколько их еще впереди! Вот и теперь бредет по каменистой дороге в обществе двух таких же несчастных женщин неизвестно куда. Теперь она уже не думает о счастье, о любви — найти бы только тихий, спокойный угол. Что ей приготовил на этот раз Абдулахаб? Если он снова останется в банде, она одна уйдет к русским и попросит разрешения вернуться в родной Ташкент: теперь, когда она поняла, что у нее будет ребенок, тянуть дальше нельзя. Теперь надо заботиться о нем.

— Ты уверена, что в Шаршарифе спокойно? — в который раз спросила женщина.

Ей, по ее рассказу, тридцать пять, а выглядит она на все пятьдесят, и не мудрено, пережила больше чем Земфира: па глазах растерзали мужа, изнасиловали двенадцатилетнюю дочь...

— Приграничный кишлак: моджахеды туда не навдываются, пародная власть тоже — брать нечего и не с кого, остались старики да старухи, — пояснила Земфира.

В кишлак добрались к вечеру. Второй дом от края, в котором наказал поселиться Абдулахаб, был, как и многие другие, пуст. У Земфиры в рюкзаке были лепешки, тутовник, орехи. Лепешками она поделилась со спутницами (тутовник и орехи оставила на более дальнюю дорогу), запили теплой принесенной с собой

водой и легли отдыхать — мать с дочерью в дальней комнате, Земфира в другой, у входа.

Дом, если можно назвать эту мазанку домом, был абсолютно пуст — ни домашней утвари, ни тряпки, — и Земфира расстелила на глиняной лежанке мужнину куртку, которую купила в Файзабаде. Несмотря на усталость, не спалось, разные невеселые мысли лезли в голову: удастся ли Абдулахабу благополучно уйти из отряда, куда намеревается ее увести, как будут жить дальше?

Спутницы тоже не спали, тихонько переговаривались. А когда стемнело, Фарида — так звали девочку — зажгла свечу и стала читать небольшую книжку.

«Бедное дитя, — подумала о ней Земфира. — Не успела созреть, как какой-то негодяй надругался над ней. Был бы жив отец, он отомстил бы за нее. Теперь она собирается сама отыскать того подлеца и вонзить ему в горло кинжал».

Земфира начала дремать, когда скрипнула дверь, и из темноты тихий голос позвал ее:

— Земфира!

Голос Абдулахаба. Или это ей снится?

Из второй комнаты со свечой в руках вышла Фарида, осветила Абдулахаба и, дико вскрикнув, бросила ему в лицо свечу, рванулась в комнату к матери. Земфира услышала возню, плач и уговоры женщины:

— Не надо, милая... Я все равно тебя не пущу.

— Собирайся, быстро! — требовательно сказал Земфире Абдулахаб.

— Куда? В Эмираты я не хочу, — слабо запротестовала Земфира, ошеломленная открытием.

— Ты пойдешь туда, куда я поведу, — сказал он непреклонно. Схватил рюкзак и ее за руку, потащил на улицу.

Вертолет раскачивало и содрогало, как при землетрясении, ветер бесновался вокруг, бил в фюзеляж, с боков и сверху, звенел лопастями, стараясь опрокинуть готовящуюся к взлету машину. И это у земли, в долине, где скорость сдерживают холмы, деревья, постройки, а что творится на высоте?.. И чернота такая, будто дегтем все залито вокруг; не видно ни звезд, ни

соседних машин, ни авиаспециалистов, перекрикивающихся друг с другом.

Николай ощуно пробрался на свое сиденье, за ним — штурман. Пащупал тумблер освещения кабины, включил. Фиолетовый свет выхватил из темноты приборную доску с фосфоресцирующими стрелками и цифрами, ручку управления, рычаг «шаг-газа», кнопки, гашетки...

— Вот это ветерок! Как взлетать будем? — обеспокоенно произнес Мальцев, пристегиваясь ремнями. Его в полк перевели месяц назад по ходатайству Николая. Служба в Кызыл-Буруне крепко сдружила их, они переписывались, и когда Николай прибыл в Тарбоган, Мальцев попросился в его экипаж. Полковник Серегин удовлетворил просьбу друзей.

— Взлетать — полбеды: тут и аэродромные огни, и буксировщик на полосе вытащит, — шутливо отозвался Николай. — А вот как ты, штурман, поведешь меня между гор в такой кромешной темноте, как будешь помогать садиться?..

— О-о, командир, провести между гор — это тоже для меня полбеды, каждый поворот я хорошо запомнил, и глаза у меня, как у кошки, видят в темноте, — повеселел и штурман. — Что же касается посадки, тут придется поломать голову. Без подсветки не обойтись, значит, надо не у самой Золотой, чтоб душманы, как Сарафанова, не подкололи.

Об этом же думал и Николай. Вертолет Сарафанова, по рассказу Тарасенкова, душманы сбили во время высадки десанта. Если бы не такая критическая ситуация с постом наблюдения, можно было бы приземлиться подальше, по десантникам дорога каждая секунда. А вертолет с включенными фарами будет представлять отличную мишень... И ветер такой, что с ходу не посадишь... И прикрыть некому...

— Товарищ майор, группа десантников в количестве двадцати человек к выполнению задания готова. Разрешите погрузку в вертолет? Командир группы лейтенант Штыркин.

— Радиостанцию взяли? — спросил Николай.

— Так точно.

— Сразу, как только выгрузитесь, — связь. Связь во что бы то ни стало. Будете обеспечивать мою вторую посадку, когда я привезу вам подкрепление.

— Есть! Будет выполнено.

— Грузитесь...

Тягач вытянул вертолет на взлетную полосу, развернул против ветра. И едва он отъехал, борттехник запустил двигатели. Включил фары. В пучках света понеслось, замелькало все, что было вокруг, и создалось такое ощущение, что вертолет уже летит. Земля просматривалась с трудом. Николай пригнулся к стеклу, чтобы убедиться, нет ли впереди препятствий, и хоть краешком глаза зацепиться за какой-нибудь предмет.

Машина уже дергалась и рвалась в небо, словно устала от борьбы с ветром, от хлестких и колючих подстегиваний, двигатели ревели, заглушая хлопки и завывания. Николай плавно опустил «шаг-газ» и послал ручку управления вперед; вертолет вздрогнул, наклонил лобастую голову и тяжело устремился навстречу стихии.

Набрали высоту 100 метров. Мальцев, ориентируясь по огням аэродрома, направил вертолет на речку, которая вела к самой цели.

— Вот по речке и потонаем, — сказал он удовлетворенно.

— А ты видишь ее? — спросил Николай. Он лишь на долю секунды оторвал взгляд от приборной доски за борт, но ничего, кроме черноты, не рассмотрел.

— Само собой. Не здорово, но просматриваю. Чуть левее подверни... Вот так.

«И впрямь кошачьи глаза», — с теплотой подумал о штурмане Николай. Сколько он с ним летает, Мальцев ни разу не подвел. И по самолетовождению, и по бомбометанию, и по стрельбе. Одним словом — ас. А душа какая!

— Теперь чуть вправо... Еще на пяток градусов... Так держать. А теперь влево. Можешь метров на двадцать снизиться, я тут каждый бугорок помню.

К удивлению Николая, болтанки почти не было, и ветер на высоте казался слабее. А тут еще и луна проглянула сквозь грязную толщу, обозначив черные контуры гор; правда, землю по-прежнему не было видно, но кое за что глаз уже мог зацепиться.

Пролетели минут пятнадцать, и Николай почувствовал, как устала правая нога — он жал ею до отказа, удерживая вертолет от сильного бокового ветра, а

путевая скорость не превышала 60 километров. Значит, лететь еще более получаса.

Еще через десять минут полета Николай услышал в наушниках какие-то звуки, но разобрать что-либо из-за сильного треска было невозможно. И все-таки он надеялся, что душманам не удастся до их прилета завладеть пунктом наблюдения — укрепления там солдаты соорудили довольно надежные, — но рука уже сама потянула рычаг «шаг-газа», а ручку управления — от себя, чтобы увеличить скорость.

— Командир, вижу впереди вспышки, — доложил штурман.

Николай на секунду оторвал взгляд от приборной доски и прямо по курсу увидел на Золотой горе мигание огоньков и пунктиры трасс, вспарывающих ночную темноту на уровне полета вертолета. Попять, кому принадлежат эти трассы, было невозможно. Значит, и поддерживать группу поста огнем с вертолета, как и предполагал Николай, экипаж не мог.

— Приготовьтесь к посадке! — подал он команду. — Штурман, следите за высотой, фары включим у самой земли.

— Понял, командир. Семьдесят... Шестьдесят... Пятьдесят...

Вертолет снижался медленно, словно на ощупь, и Николай с замирающим сердцем прислушивался к рокоту двигателей, к вибрации обливки, ожидая, что вот-вот по ней грохнет удар. До душманов было около километра, и поразить машину они могли не только «Стингером», но и из крупнокалиберного пулемета. Развернув вертолет против ветра, на юго-запад — в противоположную сторону от Золотой горы, Николай не видел, что творится позади, и ощущение было такое, словно за спиной кто-то притаился и выжидает момент, чтобы вознестись в спину нож, а повернуться, отвести опасность, нельзя...

— Пора, командир, — напомнил штурман о фарах.

Да, пора. Земля! Николай каждой клеточкой своего существа чувствовал ее, она была рядом; на ней — валуны, камни, ямы, чуть прозеваешь — и без снаряда попадешь в аварию. А свет — это вызов огня на себя...

Два голубых пучка распорили темноту и выхватили мчащуюся навстречу лавину песка, чудом сдерживаемую вертолетом; гигантский поток дробил, рассеивал...

вал свет, создавая зеркально-белые пятна, которые слепили глаза, мешали рассмотреть землю.

— Чуть вправо, командир, слева валуны! — крикнул штурман.

— Может, тебе задний ход включить? — пошутил Николай, удерживая вертолет от дальнейшего спижения.

— Задний не надо, душманы близко, — поддержал штурман Мальцев. — Еще чуть-чуть... Так. Можно садиться.

Теперь и Николай увидел бьющий бурунчиком о камень воздушный поток. Снова развернулся против ветра. Едва отпустил на миллиметр ручку управления, как переднее колесо толкнулось о землю. А за ним и основные.

Душманы то ли побоялись привлекать к себе внимание летчиков боевой машины, то ли вели бой и было не до вертолета, но они не сделали по нему ни одного выстрела.

Пока десантники изучали обстановку на месте и настраивали радиостанцию, Николай решил пройтись дальше по долине, привлечь к себе внимание дозорных с поста наблюдения и связаться с ними. Когда пролетал вдоль горы, по вертолету ударил ДШК. Трасса прошла мимо, но стреляли почти с того места, где находился главный опорный пункт наблюдающих. Или Николаю показалось?.. Показалось или нет, но душманам удалось, видимо, забраться на террасу, оборудованную высаженной группой.

— «Карагач», я «Беркут», вызываю на связь, — нажал на тангенту радиопередачи Николай. — Вызываю на связь «Карагач», я «Беркут».

В ответ все тот же треск и отдаленные непонятные разговоры.

«Похоже, плохи дела дозорных», — подумал Николай.

— «Беркут», я «Барс», как меня слышите? — включился в разговор радист из десантной группы.

— Отлично слышу, «Барс», — радостно отозвался Николай. — С «Карагачем» — глухо. Будьте осторожны, там стреляют.

— Мы видели, «Беркут». Ждем вас...

Да, надо везти подкрепление. Душманов могло оказаться больше, чем сообщили дозорные. Хотя стрельба ведется довольно жиденькая...

Николай уже взял обратный курс, когда в наушниках раздался слабый и прерывистый голос:

— «Беркут», я «Карагач»... У меня двое тяжело раненных. Прошу забрать. Двое тяжело раненных...

— Где вы? Где раненые? — Николай стал разворачивать вертолет. — Сообщите точку посадки.

Пауза показалась Николаю довольно длинной.

— На второй террасе. Поднимитесь, «Беркут».

— Я не смогу там сесть, сильный ветер, — возразил Николай.

— Двое тяжело ранены, — стоял на своем радист. — Я тоже, но могу терпеть. А они, если не заберете...

— Но не могу я сесть у вас при таком ветре! — озлобляясь непонятно на кого, крикнул Николай. — Может, вниз сможете спустить их, в долину?

— Нет, зависните над нами, сбросьте веревочную лестницу.

— Хорошо, «Карагач», иду. Дайте ракету, где зависнуть.

Секунд через пять в небо взвилась красная ракета. Почему красная, а не зеленая? Хотя, разве раненый будет искать патрон с зеленой ракетой, какой попался под руку, тем и выстрелил... И именно оттуда бил ДШК. Или у страха глаза велики, всюду опасность, сомнения в голову лезут?

— Что ты надумал, командир? — удивленно уставился на него штурман.

— Дозорные отозвались, просят забрать двоих раненных.

— Но как это сделать?

— Передай борттехнику, пусть приготовит веревочную лестницу и веревку. Будем рисковать. Ты и бортмеханик — за пулеметы. Следите и бейте сразу.

— Полял. — Штурман включился в разговор с борттехником и бортовым механиком.

Золотая гора приближалась. Николай набирал высоту, бросая молниеносные взгляды за борт. К радости его, ни трасс, ни одиночных выстрелов, направленных в сторону вертолета, не виделось. Похоже было, что бой на земле затих — ни снизу, ни сверху не стреляли. Боятся ответного удара? Вполне вероятно. А десантники еще не подошли...

Слева снова взметнулась красная ракета. Николай

стал подворачивать к ней, продолжая набирать высоту.

Он почти поднялся над точкой, откуда взлетела ракета, стал разворачиваться против ветра, и в это время по вертолету, в упор, ударили два крупнокалиберных пулемета. Машина содрогнулась, будто раненное живое существо, двигатели закашлялись; запахло керосином и гарью, и Николай толкнул ручку от себя, стараясь быстрее уйти вниз.

Справа полыхнуло пламя, и тут же загорелось табло «Пожар в отсеке правого двигателя». Николай отработанным движением выключил автопилот и правый двигатель, закрыл пожарный кран, отключил генератор.

Загорелись табло «Кран открыт», «Сработали баллоны автоматочереды», однако пожар не прекращался. Николай нажал противопожарную кнопку «Пожар в отсеке правого двигателя». Пламя разгоралось все сильнее.

— К огнетушителям! — приказал Николай штурману. И крикнул борттехнику: — Сеня! Тушите вручную.

Но ни борттехник, ни бортмеханик не отозвались.

Не прошло и минуты, как штурман вернулся в пилотскую кабину, сбивая с себя остатки пламени.

— Быстрее на посадку, командир! — крикнул в самое ухо, чтобы перекричать рев двигателя, гул ветра и пламени, дробь пуль и осколков по дюралю. — Савочка и Мезенцев убиты. Пожар охватил всю правую часть, видимо, пробита топливная проводка...

Николай и сам понимал — если через минуту они не сядут, пламя подберется к основному топливному баку или к снарядам... Но и сесть здесь — либо разбиться о камни, либо попасть под пули душманов, потому он тянул как мог, вел вертолет со скольжением над самым склоном, стараясь отойти подальше.

Что-то позади треснуло — то ли обломился один из шпангоутов, перебитый пулями, то ли еще что... Вертолет вот-вот может развалиться на части. Нет, должен еще минутку выдержать. Еще немного... Еще...

Ветер раздувал пламя, и впереди обозначились контуры деревьев, а в просветах между ними — изгиб реки, отразившей отблески пламени.

Николай еле успел отвернуть вправо и взять на себя ручку управления, как машина ударилась коле-

сами о землю. Летчиков кинуло на приборную доску, и если бы не защитные шлемы, не бронежилеты, им пришлось бы худо...

Ручка управления уперлась в нагрудную пластину бронежилета Николая и так сильно сдавила грудь, что он не мог перевести дыхание. А тут еще Мальцев упал справа в проход. Он ударился головой обо что-то и никак не мог выйти из шокового состояния; мычал, стонал и не поднимался.

А пламя уже гудело, било через перегородку, разделяющую пилотскую кабину от пассажирской.

Николай задыхался — и от упершейся в грудь и заклинившейся ручки управления, и от тяжести штурмана, и от дыма. Ни пошевелиться, ни вздохнуть, перед глазами распылялись то черные, то оранжевые круги... Он понимал, что теряет сознание, и ничего не мог сделать. Неужели так на роду написано — стореть заживо? В тридцать два года... А как Аленка, Наталья, отец, мать?.. Сколько горя они пережили... А этого не переживут...

Он собрал последние силы, втянул в себя воздух, напрягся. Штурман снова замычал и приподнялся. Николаю чуть полегчало.

— Вставай! — крикнул он, но голоса не услышал.

Штурман застонал, распрямился.

— Открой блистер! — кивком указал Николай на сдвижную форточку, через которую надо было выбираться.

Штурман соображал плохо, стонал, качался из стороны в сторону, грозя снова придавить его.

Николай уперся ногами в пол и с большим трудом приподнялся, самую малость, из-под ручки управления. Попробовал левой рукой дотянуться до сдвижного блистера, но рука повиновалась плохо, и в левом плече вдруг больно кольнуло. Он повернул голову и увидел разорванную ткань куртки. Ранен...

Штурман наконец пришел в себя, понял, в какой они находятся ситуации, и схватился за ручку сдвижного блистера. Потянул назад. Она не стронулась с места.

— Заклинило! — крикнул он.

А пламя уже прожгло перегородку, и от жары становилось нестерпимо.

— Сбрось аварийно, — указал взглядом на красную ручку над блистером Николай.

Штурман схватил красный Т-образный рычажок и дернул вниз, блистер вылетел наружу. В проем рванулся ветер, облегчая дыхание.

— Помоги отжать ручку, — попросил Николай.

Вдвоем к ней трудно было подступиться, да и оба были в таком состоянии, что сил хватило лишь на то, чтобы сдвинуть ручку лишь на миллиметр, и то в сторону. Но этого миллиметра оказалось достаточно, чтобы выбраться из капкана.

— Прыгай! — освободил Николай место штурману.

— Я за тобой, давай, — поторопил его Мальцев.

— Прекрати! Быстро!

И пока Николай отстегивал парашют, штурман прыгнул.

Очень мешал бронежилет — сковывал тело, отяжелял, — но сбросить его не было времени — пламя уже лизало одежду, и до взрыва, по прикидке Николая, оставались считанные секунды.

Он не ошибся в расчете: едва упал на землю и покатился от вертолета, как полыхнуло пламя. Его обдало огненными брызгами, ткань на бронежилете вспыхнула в двух местах, опалив лицо. Николай прижался грудью к земле.

Вокруг было светло как днем: невдалеке он увидел Мальцева, лежащего у камня и машущего ему, слева — редкие деревца, за которыми угадывался берег речки, впереди — большие валуны, за которыми можно укрыться от пуль душманов и от новых огненных всплесков вертолета. И Николай пополз туда. Боль в плече усиливалась, затрудняла дыхание, и он, чтобы не тревожить рану, лег на правый бок, стал передвигаться, опираясь на приклад автомата.

Пламя над остатками вертолета то клубами взлетало к небу — начали рваться снаряды, то заслонялось черным дымом — горело вытекающее из маслобака масло.

— Сюда, командир, сюда! — Мальцев сноровисто, словно ящерица, скользнул за валун. А Николай выбивался из последних сил — боль в плече становилась нестерпимой и при малейшем движении пронзала все тело.

Он до крови раскусил губу, остановился, слышуул. Позади бабахало, гудело и трещало, и трудно было разобрать, стреляют ли это душманы, рвутся снаряды или гудит пламя, раздуваемое ошалелым ветром.

Мальцев показался из-за валуна, схватил Николая за руку и потащил.

— Они же стреляют, гады, — сказал переводя дыхание. — И светло как днем... Надо уходить, командир.

Николай, сцепив зубы, еле сдерживал стон.

— Перевяжи, — проговорил он чуть слышно.

— Сейчас. Потерли немного. Надо вон в тот закуток, — кивнул он влево, где виднелось целое нагромождение валунов.

— Не могу... Сними бронезилет.

Мальцев, положив автомат рядом — чтобы был под рукой, — достал индивидуальный пакет, сунул за пазуху — он был уже без бронезилета — и стал стаскивать с командира хотя и неудобную, но спасшую не раз одежду. Осмотрел рану, присвистнул. Но сказал ободряюще:

— Ничего страшного, командир. Сейчас мы ее... Куртку снимать не будем. Главное — кровь остановить. Кость, похоже, не задело...

— Потуже, — попросил Николай, когда штурман стал бинтовать плечо.

— Само собой... Только не так-то здесь просто — плечо... Вот так. Полегчало?

Николай кивнул, хотя боль несколько не унималась.

— А теперь — за те камни, — командирским тоном приказал Мальцев. И, подхватив автомат, пополз вперед.

У Николая кружилась голова, боль, словно раскаленная магма, обдавала грудь, лишала его сил. Ползти было трудно, рука и ноги почти не повиновались, но ползти надо было, надо было добраться до более надежного укрытия.

Стрельба позади стала стихать и пламя поубавилось. В том закутке, куда им удалось наконец добраться, было темно и почти безветренно, значит, можно переждать, пока пожар совсем потухнет, чтобы в темноте уйти отсюда еще дальше. Душманов здесь, видимо, не 20—30, как передал радист, а намного больше, и в ближайшее время дозорные (если кто-то из них уцелел) и десанникам никто и ничем помочь не сможет. Надо ждать утра... Экипажи на аэродроме сидят, наверное, в полной боевой готовности и в полном не-

ведении: Савочка и слова не успел произнести в эфир...

Как же все так получилось? Кто их так хитро выманил на пулеметы? Душманы, имевшие радиостанцию и переводчика, или радист с поста наблюдения попал к ним в плен и не выдержал пыток? Пытать душманы, рассказывали побывавшие в плену войны, умеют с иезуитской изощренностью. И страшная догадка, как вспышка молнии, обожгла сознание: ракета! Красная ракета! Тот, кто просил по радио помощи, красной ракетой предупреждал — посадка запрещена, уходите! Как Николай не додумался раньше!..

— Вон в тот закуток, — указал в темноту Мальцев, помогая Николаю ползти. — Дай мне автомат.

— Не надо. И сам держи наготове.

— Здесь тихо. И можно подняться — вон какие каминцы. — Мальцев встал, схватил Николая под руку.

Голова закружилась еще сильнее, но боль в плече отпустила, и, переждав с полминуты, Николай потихоньку двинулся в темноту. Штурман поддерживал его.

— Абдулахаб! — вдруг донесся из темноты жепский голос. Мальцев вскинул автомат.

— Кто здесь? — спросил он, озадаченный нежным, зовущим голосом, совсем не вязавшимся с военной обстановкой.

Молчание.

— Выходите, иначе стрелять будем! — Мальцев передернул затвор автомата.

Из темноты показалась тонкая женская фигура с поднятыми руками. Приблизилась к ним. Вспыхнувшее над вертолетом пламя озарило на миг красивое лицо с большими черными глазами, спортивную одежду.

— Ты кто такая и с кем здесь? — спросил Мальцев.

Женщина молчала. Скользнула взглядом по Николаю и снова пытливо уставилась на штурмана, державшего автомат на изготовку.

«Не знает русский язык или не желает отвечать?» — мелькнула мысль у Николая.

Внезапно позади раздалась шаги и чужая незнакомая речь. К ним шли двое.

— Стоять! — крикнул Мальцев.

В ответ полбснула очередь. Падая, Николай и Мальцев нажали на спусковые крючки. Душманы тоже упали. Все произошло так стремительно и неожиданно, что Николай, оказавшись рядом с женщиной — она упала между ним и штурманом, — не понимал, откуда она взялась — он не читал и не слышал, чтобы в отрядах душманов были женщины, и что означает произнесенное ею слово «Абдулахаб» — пароль или еще что-то? Если душманы шли к женщине, что наиболее вероятно, почему они открыли огонь? Не слышали ее голос?..

Эти мысли молнией пронесли в голове Николая. Ответ на них тут же нашелся в блеснувшем пистолете в руке женщины. Николай ударил по руке, грохнул выстрел, и пистолет отлетел в темноту.

Там, где упали душманы, захрустели камни. Николай дал туда очередь, и все стихло, если не считать отдаленных выстрелов да свиста все еще беснующегося ветра.

Ему показалось, что штурман захрипел, и он позвал его:

— Гера, как ты?

И снова хрип, что-то булькающее...

Николай метнулся к штурману.

Мальцев лежал, привалившись на левый бок. Куртка на груди была пропитана кровью. Он уже не дышал, а только издавал последние предсмертные хрипы.

У Николая из глаз хлынули слезы. Горе и отчаяние разрывали сердце, он рыдал как мальчишка, не в силах совладать с собою, забыв об опасности, о том, что за камнями душманы, а рядом женщина, тоже враг, пытавшаяся убить его.

Женщина зашевелилась — он, склонившись над телом штурмана, придавил ее. Николай вспомнил, кто она, кто повинен в гибели его лучшего друга. Злость хлынула в грудь и вытеснила все остальное — горе, отчаяние, боль. Николай встал, дал еще очередь за валуны, где с минуту назад слышался шорох, и приказал глухим, не своим, голосом:

— Поднимайся, сука.

Женщина встала. В слабом отблеске он снова увидел ее большие миндалевидные глаза, отраженную в них вспышку. Но страха в них не было.

— Убей меня, — сказала она на чистом русском языке, и Николай от удивления опустил автомат. —

Мне надоела жизнь, и я вполне заслуживаю смерти.

— Ты русская?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Я узбечка. Из Ташкента.

— Как ты оказалась здесь?

— Это длинная история и не интересная для тебя... Убей меня, — повторила она просительно.

— Но... Ты из Ташкента?

— Да. Там родилась и жила до восьмидесят пятого.

— Кто те двое? — кивнул Николай в сторону, куда стрелял.

— Мой муж, Абдулахаб, и его сослуживец: моджахеды, или, как у вас называют, — душманы.

— Много их здесь?

Женщина пожала плечами.

— Отряд Масуда. Но самого Масуда здесь нет. Так сказал Абдулахаб.

— Сколько их?

— Не знаю. Я пришла одна.

— Зачем?

Она помолчала.

— Хотели с мужем уйти из отряда. Начать новую жизнь.

— Почему же он стрелял в нас?

— Он — моджахед. И новую — не значит вашу.

— Понятно. Идемте.

— Куда? Убейте меня здесь.

— Вы же знаете: советские воины безоружных не убивают. А если вы виноваты, ответите по советским законам.

— Разрешите мне проститься с мужем? — кивнула она в сторону, где упали душманы.

— Вы думаете?..

— Я видела, как он упал.

Николай не знал, что делать: отпустить — может убежать, пойти с ней — можно попасть под автоматную очередь. А живы те двое или погибли, знать хотелось.

— Хорошо, идите, — принял наконец он решение: убежит — не велика потеря, не убежит — прояснится картина, как отсюда выбираться.

Женщина пошла. Николай на всякий случай приподнял автомат, хотя уже принял решение — не стрелять, даже если она побежит.

Женщина нагнулась, походила между камней и вернулась.

— Они ушли. Но кто-то ранен, там кровь, — она показала ему руку, испачканную кровью. — Надо уходить.

Он и сам понимал, что каждую минуту здесь могут появиться душманы и если не пленить его, то убить. А плечо ныло нестерпимо, и во всем теле была страшная слабость.

Он склонился над Мальцевым, приложил руку к лицу — оно уже захолонуло. Захоронить бы, чтобы не растерзали звери, но не было ни сил, ни времени. Придется ждать до утра, пока не появятся наши. Звери не должны тронуть — выстрелы их далеко отогнали...

Николай забрал у штурмана документы, автомат, пистолет и, осторожно ступая, направился вдоль берега на запад. Женщина послушно пошла рядом. Ему было тяжело, она это видела и предложила:

— Дайте мне автомат, я понесу.

— С патронами? — усмехнулся он.

— Можно и без патронов, — тихо ответила она.

Ее покорность вызывала сочувствие и раздражала! Николай немало слышал о коварстве восточных людей, а ему в его положении было не до того, чтобы разгадывать, что она задумала, когда по пятам следует ее муж с душманами.

Автоматы оттягивали плечо, затрудняли движение, и бросать жалко — все-таки наши, советские, его автомат и штурмана; отдать этой женщине — мало ли что у нее на уме, и без патронов может огреть прикладом...

Отсоединил рожок у одного, выбросил патрон из патронника и швырнул автомат в реку. На всякий случай постарался запомнить место: невысокое деревце на берегу с характерным изгибом у самого комля. Рожок отдал женщине.

Прошли молча около получаса. Выстрелы позади смолкли — то ли бой закончился, то ли ветер унес их.

Если душманам удалось уничтожить пост наблюдения и отряд десантников, они обязательно предпримут поиски советского летчика, тем более что он увел же-

ну одного из них. Не лучше ли ее отпустить?.. Вряд ли это облегчит положение. Да и женщина не просит...

— Как вас зовут? — спросил он.

— Земфира, — ответила женщина.

— Николай. — Он тут же осекся, усмехнувшись над собой: познакомились, называется. Кино! Ночь, луна, он и она. А вместо цветов — автомат со взведенным затвором...

Он уже еле передвигал ноги. А надо было уйти как можно дальше — чем дальше уйдут, тем труднее будет их искать. И сил больше нет, голова кружится, перед глазами все мелькает... Если придется стрелять, сумеет ли рука твердо держать автомат?..

Надо отдохнуть. Добраться бы до Двугорбой да залезть на вторую террасу — там и пещеры есть, и настоящие блиндажи из валунов. Но сколько туда идти?.. И вверх подниматься он не сможет.

Речка повернула вправо, и путь им преградил довольно густой и колючий кустарник. Здесь было относительно затишье — вот бы где передохнуть! Но в случае боя кустарник — плохая защита. И Николай повернул вправо. Споткнулся о камень и чуть не упал.

— Вам надо отдохнуть, — посоветовала женщина.

Он не ответил.

Почти сразу от реки начинался крутой отрог, и они пошли по нему вверх. Николай вынужден был останавливаться чуть ли не на каждом шагу.

Наконец нашли большой валун и опустились за ним с подветренной стороны. Боль поутихла, и сразу захотелось спать. Много отдал бы он сейчас хотя бы за пятиминутный сон! Но нельзя даже задремать, на секунду потерять бдительность.

— Скажите, Земфира, что заставило вас уйти к душманам? — спросил он, стараясь хоть чем-то разогнать сонливость.

— Когда я выходила замуж, Абдулахаб не был душманом, — ответила женщина с грустью в голосе.

— Кто же он был?

— Студент Ташкентского университета. Мы учились с ним вместе. Я полюбила его.

— А он?

— И он. Иначе зачем бы он повез меня к себе на родину.

— Давно вы поженились?

— В восемьдесят четвертом. А в Афганистан уехали в восемьдесят пятом, после окончания университета.

— И как же вы позволили ему уйти в душманы?

— Если восточная женщина противоречит мужу или не согласна с его решением, она недостойная жена и презираема всеми.

— И все-таки вам удалось уговорить его уйти из отряда?

— Нет. Ему самому надоела собачья жизнь. Масуд много причинил нам зла, и Абдулахаб убил его.

— Кто такой Масуд?

— Сардар. Военный начальник, господин.

— Почему же вы не ушли к нашим? Не сдались?

Женщина промолчала.

Плечо ныло, и по телу разлилась такая слабость, что трудно было пошевелиться. А становилось холодно, не согревала и демисезонная куртка. Николай застегнул замок повыше, поднял воротник — не помогло; его начала бить дрожь.

Женщина прислонила к его лбу ладонь.

— У вас жар, — сказала тоном медсестры, приставленной ухаживать за больным. — Вам надо сделать хорошую перевязку, продезинфицировать рану.

— В этих-то условиях? — усмехнулся Николай.

— У вас есть аптечка?

— Только индпакет.

— Давайте индпакет.

— До утра потершим.

— Мне кажется, рана сочится, я чувствую запах крови.

— Ничего, вся не вытечет.

Он тоже чувствовал, что левая сторона куртки намочла еще больше и сильно отяжелела, но довериться жене душмана не решился: кто знает, что у нее на уме; стоит чуть надавить на рану, и он потеряет сознание. А возможно, где-то недалеко ее муж с единовверцами. Надо уходить как можно дальше.

Он через силу приподнял голову от камня и взглянул в ту сторону, куда идти. И застыл от удивления: два светящихся глаза уставились на него. Барс, тигр или волк? До хищника было несколько десятков метров. Видимо, учуял запах крови и пришел сюда.

Николай потянул автомат, положил перед собой. Зверь не шевельнулся. Полежал немного и подполз

еще ближе: видимо, запах крови дразнил его и он, не в силах сдержатъ голода, готовился к нападению. Можно было одним выстрелом в упор уложить его. Но душманы пострашнее этого зверя...

Земфира выглянула из-за камня и отпрянула назад.

— Тигр? — спросила она испуганно.

— Не знаю. Откуда он здесь возьмется?

— Они по долине спускаются из Пакистана и доходят к нам, в Узбекистан. Мы видели их однажды у подножия Дарвазского хребта.

Хищник не спускал глаз со своей жертвы. Видимо, был очень голоден, а неподвижность человека, запах крови подсказывали ему, что человек бессилен и справиться с ним особого труда не составит, потому хищник приближался все смелее и вел себя довольно дерзко.

Вдруг он насторожился, повернул голову к реке, откуда пришли Николай с Земфирой. Поведение его становилось все беспокойнее. Кого он услышал или увидел?

До Николая донеслось его злое рычание; зверь поднялся и неторопливо и недовольно поплелся прочь.

Николай еще больше высунулся из-за камня, всматриваясь в темноту. Песок и пыль били по лицу, мешали смотреть. Но ветер, кажется, начал стихать: луна уже просматривалась бледным пятном сквозь поднятую над землей муть.

Ничего, кроме близлежащих камней да еле различимых у речки кустов, видно не было. А зверь ушел. Уступить без боя свою жертву он мог только человеку. Здоровому человеку. Человеку, с которым в данный момент и в данной ситуации Николаю не хотелось встречаться.

Их взгляды встретились — человека и зверя. Они были очень недовольны этой встречей, у каждого была своя цель: зверь охотился на человека, не на этого, на раненого; человек охотился не на зверя, на человека. На того, которого зверь по праву считал своим — он первый вышел на него. Кто-то должен был уступить. Закон гор как и закон джунглей — уступают тому, кто сильнее. А человек — сильнейший из всех

обитателей и гор, и джунглей. Его боятся все, и все ему уступают.

Зверь зарычал от бессилия и злобы, повернулся и пошел прочь. Долго смотрел ему вслед Абдулахаб, рассуждая, откуда он взялся и что бы это значило. Шел он, несомненно, с запада, вдоль реки, высматривая, видимо, животных, приходящих на водоной. А означало это то, что на западе никого нет, Абдулахаб промахнулся мимо преследуемых.

Почему Земфира ушла с шурави? Ведь у нее был пистолет... Струсил? Шурави было двое. Случайно они вышли на Земфиру, до перестрелки или после?.. Тахир был хорошим слугой, но плохим оказался воином: на окрик, вместо того чтобы упасть, как сделал это Абдулахаб, начал стрелять и получил в ответ три пули в живот. Бряд ли выживет. Просил добить, но у Абдулахаба рука не поднялась. Перевязал, положил меж камней и велел подождать, пока он приведет жену; тогда вместе что-нибудь придумают, как помочь ему.

Но Земфиры у валунов не оказалось. Недалеко от того места, где он оставил ее, лежал труп шурави, видимо, одного из летчиков с вертолета — Абдулахаб видел, как Ми-8 сбили и как он горел...

Абдулахаб, не найдя Земфиру, решил, что она спряталась в другом месте — оставаться там, где упал вертолет, было опасно; он облазил вокруг все камни, все кусты, Земфира словно сквозь землю провалилась. Но в одном месте, у речки, где песку намело что снега в метель, он осветил фонариком и увидел два следа: один большой, от мужских ботинок, второй — от Земфириных кед... Ушла с шурави, видимо, с одним из тех, с кем велась перестрелка. Оплочал Абдулахаб, давно не тренировался стрельбе в падении, вот и срезал только одного. А Тахир молод, очень горяч...

Силой заставил шурави уйти Земфиру с ним или добровольно она согласилась?.. В последнее время жена стала непонятной, строптивой, своевольной. «Только домой, на родину. В Ташкент или другой город Узбекистана...» Словно не знает, что там сейчас происходит, — и радио слушала, и газеты, взятые у убитых солдат шурави, он приносил ей... Попробуй объехать в стране с золотом и драгоценностями, где идет борьба с нетрудовыми доходами, с взятками, коррупцией. А на что жить будут? Работать?.. Уволь! Он за этот

год «работы» моджахедом унижением, лишением, попранием своей чести и чести жены заслужил капитал на всю жизнь. И никто больше не заставит его ни работать, ни воевать. И совесть не будет мучить его из-за драгоценностей Башира и золота Масуда — он имеет на них прав не меньше...

У шурави и Земфиры был только один путь — на запад, по долине вдоль реки. Далеко они не могли уйти, и на помощь им, пока дует ветер и не наступил рассвет, вряд ли кто придет. Он нагонит их...

Он шел быстро и неслышно, как умеет ходить каждый опытный воин, родившийся в горах. Глаза его, привычные к темноте, несмотря на пыльную бурю, сносно различали предметы; он был уверен, что при встрече с шурави окажется зорче и ловчее...

И вдруг этот зверь!

Сомнений не оставалось: шурави и Земфира спрятались где-то в камнях. Но искать их... Тот, кто в засаде, имеет главное преимущество — выстрелить первым.

Нет, Абдулахаб не станет искать их меж камней. Рано или поздно они продолжат путь на запад. И место здесь самое удобное — узкое, — и мимо него они не пройдут.

Он отошел немного назад — казалось, глаза хищника все еще светятся в темноте, — выбрал удобное место для засады среди нагромождения валунов и засел там.

13

Рана нестерпимо ныла, от озноба стучали зубы, а в груди все сильнее нарастала тревога: зверь испугался и ушел, значит, где-то рядом человек. Не человек — враг, который страшнее любого зверя...

Надо идти. Видимо, душманы организовали погоню... С такой болью в плече он плохой ходок. И здесь оставаться небезопасно — узкая горловина между рекой и горами, — на них запросто могут наткнуться... И вертолету сесть трудно, особенно при таком ветре.

То, что в полку уже что-то делается для оказания помощи десантникам и экипажу вертолета, Николай не сомневался. Но практически эта помощь может прийти не ранее утра: десантников выбросят на Золотую гору (душманы к тому времени могут и сами

уйти), Николая обнаружат, когда он даст им сигнал. А ракетницу взять из вертолета не удалось, не до нее было. Значит, при любых ситуациях надо уходить отсюда, найти более подходящее место для посадки вертолета и спрятаться там...

Его тревога, видимо, передалась и женщине. Она выглянула из-за валуна в ту сторону, где находился зверь, и сказала с беспокойством:

— Он ушел. Это тоже плохо — душманы близко.

Николай не ответил.

Женщина посидела, потом выглянула в другую сторону, прислушалась.

— Надо идти, — сказала она тоном, в котором Николай уловил искреннее желание помочь ему. — Холодно и опасно здесь.

А ему трудно было подняться. Голова гудела от боли, и он боялся потерять сознание.

— Если Абдулахаба ранили, он пошлет за мной погоню, — заговорила она еще убедительнее. — И у меня драгоценности, с которыми он не захочет расстаться... Давайте я помогу вам подняться, — взяла она его под руку.

— Подождите. Душманы могут прятаться за камнями и увидят нас.

— Пока их здесь нет, но где-то недалеко. — Она еще раз выглянула за валуны и встала. — Видите, не стреляют. — Снова взяла его под руку.

Он с трудом поднялся и, поддерживаемый ею, медленно и осторожно стал спускаться вниз, где валунов было меньше и идти легче.

Ветер стихал, и Николай подумал, что вертолеты могут появиться раньше. Но как дать им знак о себе? Разжечь костер?.. Душманы ухлопают его раньше, чем вертолет пойдет на спижение.

А идти было очень тяжело. Каждый шаг отдавался по всему телу болью, голова кружилась, и ноги казались свинцовыми. Он обхватил здоровой рукой плечо женщины и, как ни стыдно было, почти повис на ней, чтобы не упасть. Она, к его удивлению, оказалась намного сильнее, чем предположил он, глядя на хрупкую и худую фигуру.

Они прошли еще минут сорок, и вдруг Николаю показалось, что за ними кто-то идет. Он обернулся. Ни светящихся глаз, ни какой-либо подозрительной тени не увидел. И все-таки проверить надо было.

У реки по-прежнему встречались редкие невысокие деревца или колючий кустарник. Он выбрал кустарник погуще, сразу за поворотом, и шепнул Земфире: — Подождем.

Опустились на землю, затаились. Прошло минут пять. Никто не появлялся. Люди вряд ли догадались бы, что они залегли именно здесь, да и почему они не стреляли, если видели их?.. Зверь? Но у него светились глаза... Значит, просто ему померещилось. Не зря говорят: «У страха глаза велики».

Идти дальше не хотелось. Из-за усталости, из-за того, что здесь было сравнительно тихо, да и площадка позволяла вертолету беспрепятственную посадку. И отсюда они первыми увидели бы преследователей...

Вот только собачий холод. Зубы снова начали выстукивать противную дрожь. И боль — словно кто-то выкручивает руку.

— Наденьте мою куртку, — предложила Земфира и стала расстегиваться.

— Не выдумывайте, — остановил ее Николай. — Сами замерзнете.

— На мне свитер, теплый, из овечьей шерсти.

— А на мне — летняя куртка, с ватином и подкладкой, — попытался шутить он. Но каждое слово отдавалось в плече болью.

— Тогда кладите вот сюда голову, вам будет удобнее и отдохнете быстрее.

— А если усну?

— Я буду сторожить. Или как у вас, военных: на страже... Все-таки, может, перевязать рану?

— Нет. Бинт присох.

Она почти силой положила его голову к себе на колени и, наклонившись, старалась согреть своим телом.

Он был ей благодарен и почти верил. Как, оказывается, мало надо, чтобы понять человека, проникнуться к нему сочувствием и уважением. И Земфирини руки, прикрывшие полую куртки раненое плечо и придерживающие голову, были так нежны и ласковы...

— С матерью поддерживаете связь? — спросил он.

— Изредка, — вздохнула Земфира. — Если бы она знала всю правду, она не пережила бы... — Помолчала. — Как я соскучилась по ней, по своей уютной квартирке, по милой кровати, по красивому Ташкенту. Вы были в Ташкенте?

— Да.

— Правда, красивый город? Проспекты Алишера Навои, Шота Руставели... А площадь Ленина, фонтаны, горные каскады? — Она восхищенно причмокнула губами. — Они мне по ночам снятся. Вот вернусь домой, детям и внукам буду наказывать: нет ничего дороже родной матушки и Родины. Раньше думала, что это только слова, а теперь на себе испытала. И люди какие у нас: добрые, душевные, доверчивые. А тут — жестокие, злые. Столько мне пришлось насмотреться... — Она снова помолчала, вздохнула. — Далеко нам еще идти?

— Если твой муж с друзьями не помешает, завтракать будем у наших.

— Он либо ранен, либо убит, иначе догнал бы.

— Жалко его?

— Было жалко... пока не узнала, что он изнасиловал двенадцатилетнюю девочку.

— А почему вы раньше не перешли на сторону народной власти?

— А вы видели эту народную власть?

— Разумеется, видел.

— А мы служили ей. Абдулахаб — в геологоразведочном управлении, я преподавала в школе-интернате русский язык. И если бы не ушли к моджахедам, нас уже не было бы в живых.

— Почему?

— Потому что это Азия. На словах они за народную власть, а на деле — как правили баи и муллы, так и правят...

Внезапно слух его уловил далекий, то появляющийся, то исчезающий стрекот, похожий на шум работающих двигателей вертолета. Или это от боли в плече обманчивый шум в ушах?..

Нет, стрекот все явственнее, все четче.

Прислушалась и Земфира.

— Вертолет? — спросила она.

— Похоже. И кажется, не один.

Да, это гул вертолетов. Они шли с запада вдоль долины, по маршруту, по которому часа два назад летел он, Николай. По меньшей мере — пара. Наверное, сам командир полка с кем-то. А возможно, и с Центрального успели прилететь: десантники из группы Штыркина сообщили о положении дел и командование

выслало подкрепление. Да и ветер заметно ослаб, так что берегитесь, душманы!

Николай приподнялся, готовый от радости кричать во все горло. «Возвращаться обратно, — мелькнула мысль. — Душманы, завидя такую силу, драпанут, несомненно».

— Надо туда, — сказал он и попытался встать. Но голова закружилась, и он упал бы, если бы Земфира не подхватила его.

— Лежите, — сказала она строго. — Еще неизвестно, куда эти вертолеты летят и с какой целью.

Он-то знал наверняка, куда и с какой целью, но спорить не стал. Да, дойти туда он не в силах, и не лучше ли дать сигнал, чтобы забрали их отсюда? Но не теперь, а когда будут возвращаться обратно.

Гул был все ближе и ближе. Вот вертолеты прошли над ними: один, второй, третий, четвертый. Четыре вертолета! Из них, как определил Николай, три Ми-8 и один Ми-24. Это же сила!

— Послушайте, Земфира, — обратился он к женщине по имени в знак доверия. — Надо быстро набрать сушняка и разжечь костер. Минут через пятнадцать они будут возвращаться и должны увидеть нас.

— А моджахеды?

— Им сейчас не до нас.

— Хорошо. Но на всякий случай дайте мне пистолет.

У него мелькнуло сомнение: будет ли она защищать его, если появится муж?.. И отказать не мог: после того, как она тащила его, согревала своим телом, выразить недоверие — значит оскорбить ее. Он вытащил пистолет из кармана и протянул ей.

— Патрон в патроннике. Стрелять умеете?

— Абдулахаб научил.

Она сунула пистолет за пазуху и пошла вдоль курстарника, собирая сушняк.

Ему казалось, что она слишком долго отсутствует, заволновался, но взглянуть на часы не мог — надо поднять руку, а это вызовет страшную боль.

— Пора зажигать, — поторопил он, когда Земфира вернулась с небольшой охапкой дров.

— Прошло всего восемь минут, — посмотрела она на часы. — И дров маловато.

— Они скоро прилетят.

— Я внимательно слушаю. Надо еще немного...

Когда она принесла вторую охапку, он уже обдумал, где разжечь костер: метрах в пятидесяти от них, почти в центре лужка — хорошо будет видно с вертолета и удобное место для посадки.

— А может, здесь? — предложила Земфира. — И вы согреетесь, и ветер потише, не так быстро прогорят дрова.

— Здесь затемняет кустарник, могут не увидеть. Она не без труда разожгла костер, и ветер, ее мучитель и противник, быстро раздул пламя, которое стало пожирать сухие палки с удивительным аппетитом.

В отблесках пламени он увидел блеснувшие в ее ушах серьги полумесяцем.

— Так это вы были в Шошше, когда мы привозили туда продовольствие?

Она ответила не сразу.

— А я вас узнала еще там, у вертолетов...

Костер горел уже минут пять, а вертолеты не появлялись. Земфира подбрасывала в пламя по одной веточке, держа наготове сухую охапку, и прислушивалась к шуму ветра — стрекота вертолета пока не доносилось.

Николай наблюдал за ней из своего укрытия и благодарил судьбу, пославшую ему такую прекрасную спасительницу — без нее душманы давно бы расправились с ним. Что ожидает ее впереди? Как отнесутся к ней наши власти, поверят ли? И что может сделать он, чтобы помочь ей?..

У костра вдруг мелькнула вторая тень, и рядом о Земфирой Николай увидел мужчину с черной бородой. Душман!

Николай схватил автомат и нацелил на опасного пришельца. Но рука дрожала, держать оружие было тяжело и неловко. Можно промазать либо убить обоих.

Он попытался сесть. В плече дернуло так, что помутилось в глазах. Ему удалось опереться о ветку и, подогнув ноги в коленях, положить на них автомат.

Душман что-то спросил, и Земфира ответила, как показалось Николаю, довольно спокойно и по-русски:

— Замерзла. Решила согреться.

— Ник айтан на русски? *

* Ник айтан на русски? — Почему говоришь по-русски?

— Потому что соскучилась по русскому языку. Помнишь, когда в последний раз разговаривала? Когда учила детей в школе.

Понятно: по-русски она заговорила для Николая, чтобы он понял, о чем речь. И бородатый — не иначе Абдулахаб, ее муж. Значит, не убит, не раблен.

— Кайда шурави? *

— Я здесь одна, никого со мной нет, — ответила Земфира.

Душман заорал на нее зло и угрожающе, стал тыкать в небо пальцем.

Николай понял и это: не грешься, мол, а ждешь вертолеты.

Земфира ответила то ли по-узбекски, то ли по-пуштунски. Душман снова стал орать и показывать рукой в горы. Земфира отрицательно покачала головой.

— Нет, если хочешь, чтобы я тебя простила, идем в Советский Союз.

— Алтын белан ничек? **

— Золото и драгоценности сдадим властям.

Снова истеричный крик, угрозы.

— Ты другое ничего теперь и не можешь, кроме как убивать, — сказала Земфира. — Уж коль двенадцатилетнюю девочку не пожалел...

Да, это был ее муж.

— А ты, шлюх, забил Масуд, Азиз? — заорал душман, переходя на русский.

— Ты смеешь упрекать? Разве не сам оставил меня на растерзание этим бандитам?

— Я мстил, — сбавил тон Абдулахаб.

— Ты отомстил, когда они надругались... И не за меня их прикончил, боялся, что золото тебе не достанется.

— Ты сталь гюрза, а не жена. Дай бриллиант!

Земфира развязала под курткой свернутый поясом платок и протянула мужу. Тот взял, сунул за пазуху.

— Пойдешь со мной, я мало-мало учить буду, какой у мусульман жена.

— Ни за что!

С востока донесся рокот двигателей вертолета. Земфира схватила охапку сухих дров и бросила в костер.

* Кайда шурави? — Где советские?

** А золото, драгоценности?

— Так вот кому ты жег костер?! — окончательно рассвирепел Абдулахаб и попытался схватить Земфиру за руку. Она отпрянула. — Идем!

— Нет!

Абдулахаб снял с плеча автомат.

Дальше ждать было нельзя. Николай дал очередь над головой душмана.

Он позавидовал реакции и натренированности Абдулахаба: тот сразу же упал и дал ответную очередь по кустарнику. Еще и еще. Автоматную очередь перекрыли два глухих одиночных выстрела. И все стихло.

Земфира стояла у костра, освещенная кровавыми бликами, опустив голову. Но вот она наклонилась, и Николай увидел у нее в руках автомат.

Рокот вертолетов приближался.



В. СМЕРНОВ ГОРЕЧЬ НАШИХ ПОБЕД

Старик еще спал. Вернее, недвижно лежал в глубоком наркозном забытии. На серой больничной наволочке тонкий пух его жидких волос дрожал под легким сквозняком из растворенного жаркого окна, затянутого от мух рваной марлей. Пергаментно-прозрачное, смятое морщинами лицо, косо приоткрытый жалкий рот, истонченные временем костистые руки, бессильно лежащие поверх простыни, — таким отца он еще не видел. И кто-то колюче-мохнатый, сидящий глубоко внутри, медленно и зловеще-предупреждающе сжал сердце...

— Чего ж вы хотите — такой аппендицит в семьдесят лет, — перехватив его взгляд, сказала медсестра и поправила на груди старика простыню. — Но ничего. Он у вас дедуля крепкий.

Она окинула хозяйским взглядом палату, где в спертой, густой, будто заваренной лекарствами духоте выжидающе молчали еще шестеро, а у окна тихо и привычно стонал выдохами весь опутанный жуткими трубками дренажа седьмой, беспамятный.

Лицо пришедшего исказила гримаса мгновенной боли.

— Ничего, проснется, — неловко-старательно улынулась медсестра. — Проснется...

— Что значит — проснется? — сипло спросил сын, чувствуя в себе нарастающее раздражение. — Разве ж так...

Не договорив, он устало махнул рукой и отвернулся. Он еще не мог опомниться: праздник у лучшего друга почти до утра, тугой грохот музыки, запутанные тосты, горячие волны духов, пудр, помад, многообещающе-жаркий пульс тонкой руки, лежащей у него на плече, и — почти без перехода, с двадцатиминутным интервалом на такси — горький, безнадежный, бессиленный тихий плач матери («А я нигде, нигде не могла найти тебя, а его увозили, и он все спрашивал тебя, просил и спрашивал!..»).

Он никак не мог прийти в себя, был оглушен, кажется, вообще не до конца воспринимал ситуацию. Ему казалось, что все видят и с отвращением понимают его небритость, воспаленный блеск глаз и разноцветную застольную ночь.

— А то и значит. Никуда ваш дедушка не денется, — сестра взялась за ручку двери. — Ну, все. Сейчас вам тут делать нечего.

Он резко, едва не оттолкнув ее плечом, прошел в дверь и, не прощаясь и не благодаря, широко пошагал темным безрадостным коридором: мимо палатных дверей с замазанными белой масляной краской стеклами, мимо поста медсестры с тускло-желтой унылой настольной лампой, мимо запасных коек и обеденного, что ли, длинного стола, на котором юная длинноногая санитарочка — явно из «нарабатывающих» абитуриентский стаж — лениво резала на тампоны широкий бинт.

— А халат? — окликнула его сестра.

Он, не оборачиваясь, не желая оборачиваться, кивнул.

— Да куда ж, халат! — почти крикнула она.

Он крутнулся так, что она едва не налетела на него, и, сдернув мятый, в каких-то муторно-ржавых пят-

нах драный чехол, который она назвала халатом, протянул ей, смяв его, скомкав в дрожащем кулаке.

— Де-ду-ля?! — злым шепотом выкрикнул он. — Он тебе не дедуля! Он мой отец! Тебе ясно? Отец! И он... Он!..

Сестра непонимающе вскинула брови.

— Дедушка!.. — почти с ненавистью прошептал, нет, шепотом прокричал он. — Как же вы тут так можете... Привыкли?! Людей у вас тут нет!.. Кто он, что он — все вчера, не нужно, брошено, забыто!

— Нет, ну вы видели? — изумленно осведомилась сестра у коридора. — К ним по-людски, так они в ответ... В следующий раз — в часы приема, ясно? И со своим халатом!.. Э-э, да он выпивши! — почти радостно воскликнула она, призывая темно молчащий коридор в свидетели.

Он махнул безнадежно рукой и пошел прочь. Его душила злоба, испугавшая его самого. Он что-то внезапно понял, что-то чертовски важное. Важное не сейчас, не сегодня, не завтра, но — всегда, всю жизнь. Но бессонная гремящая ночь давила, глушила его; мозг, одурманенный невыветрившимся, непроспанным алкоголем, вяло и угрюмо ворочался, не в состоянии поймать ускользающую тут, рядом, мысль.

Ничего не видя, он размахисто прошагал туннельно-тоскливым коридором, вырвался на залитое жарко-слепящим солнцем широкое крыльцо и, болезненно щурясь подвспухшими воспаленными глазами, плюхнулся на парковую скамейку у входа. Он ненавидел, он люто, свирепо ненавидел себя.

Вчера капитан Ионов — нет, уже майор Ионов, чудесный парень и замечательный летчик Сашка Ионов — созвал гостей по случаю майорской звезды. Все они были друзьями, все любили работать и встречаться, и не пойти он не мог. Да и отчего было не пойти-то? Кто ж знал...

— Пр-р-роклетье! — яростно простонал он сквозь зубы: ведь пили-то они с Сашкой за здоровье и долгие лета своих отцов, пилотов-фронтовиков.

Он поймал изумленно-испуганный взгляд какой-то нечесаной девицы, читающей «Огонек» на самом солнцепеке в больничном кошмарном халате, подвязанном идиотской бельевой веревкой, подхватился со скамей-

ки и ринулся в прибольничный яблоневый сад. Все его естество металось, дергалось, требовало действия — ему необходимо было поймать что-то невероятно важное, какое-то высокое знание, доступное отцу, и которое он должен был взять у него, отца, сегодня — чтобы жить завтра. Всегда. Вообще. Жить самому. Потому что, пока этого знания не было, он жил — теперь он вдруг ясно, просветленно, увиденно понял это — жил за отцом, за его спиной. Полтора года назад женился на любимой и любящей женщине, полгода назад принес в дом сына, месяц назад увидел, как была куплена его первая книга, но позавчера, когда отец вечером неожиданно рассказал ему ту историю, ту свою страшную и горькую победу, и, рассказав, не поставил точку, чего-то недоговорил, что-то ожидал услышать от него, сына, — он впервые ощутил, что знания, того знания, без которого человеку можно жить, но жить человеком — нельзя, этого знания у него нет! Нет! Можно зарабатывать деньги, честно наслаждаться славой, воспитывать добро сына, писать и учиться — но жить?..

Он остушился в густой спутанной траве, чуть не упал, матюкнулся, вцепившись в низко провисшую яблоневую ветку с крохотными зелеными яблочками, и встал. Куда ему теперь? Брату, поди, мать позвонила — даром что воскресенье, он все равно на работе. Домой? Нельзя, глаза девать некуда... «А башка, башка-то как трещит, господи!.. Дети, если б вы только знали, как у Дедушки Мороза болит голова... Боже ж ты мой, старик при смерти, а ты о чем? Ох, до чего ж все мерзко, стыдно, гнусно. И главное — ничто неизменно... Что же, что он хотел сказать мне, объяснить позавчера? Чего-то он не стал говорить — того, что я должен понять сам...»

Он задрал голову. Солнце больно ударило по глазам, остро сверкая сквозь дрожащую, радужно мерцающую сеть ветвей. Тогда, в то утро, оно тоже было — неизменное и вечное солнце. И старик, никогда не говоривший образно, в тот раз, обращаясь к нему, сказал: «И когда мы вышли из виража, солнце белым пламенем хлестануло по глазам...»

«Я знаю, куда сейчас пойду», — решил он, выругался бессильным шепотом и решительно полез напролом через испуганно затрепавший колючий кустарник...

...И когда они вышли из виража, солнце белым пламенем хлестануло по глазам. Слепящим праздничным сиянием были заполнены отмытые весенним рассветом голубые звенящие небеса, и такое же сияние взмывало снизу, от жмурящейся в брызжащих пересверках голубой чистейшей воды Балтики.

— Прямо, — хрипловато сказали наушники. — «Полста пятый», цель прямо.

Анатолий мотнул головой, словно стояя солнечное смеющееся марево. Ах, черт, когда же он закончит свою войну?.. Ведь пять, нет — шесть, уже шесть лет! — а она для него все продолжается...

— Командир, вот он! — быстро сказали наушники голосом Проняхина. — Вот он идет. Ох и здоровый же, комод...

— Вижу, — негромко ответил ему Симонов. — «Салют»? «Салют», я «полста пятый», цель вижу. Идет к береговой черте, высота три тысячи. Начинаю сближение.

— Как учили! — напомнили наушники кодированную команду: «Цель реальна, атака на поражение».

Он мягко дослал вперед сектор газа и покосился в зеркало — там, в холодном блеске оптики, размыто покачивался «лавочкин» Проняхина. «Ладно, — подумал он. — Ладно... Не я у него — он тут, у меня. У нас! Чего же теперь от нас он может ожидать? Что уж теперь-то...»

Он старался не разглядывать темно-серый размашистый силуэт «Суперкрепости». Видел их в свое время. Навидался. Совсем недавно, шесть лет назад.

Эх, когда ж они, те, угомонятся — те, кто посылает людей умирать..

Он оглянулся — вторая пара его звена пла за ним, быстро растягиваясь и выходя в боевой порядок атаки. А Б-29, такой привычный, узнаваемый сразу, темнел впереди — широченным смазанным косым крестом на фоне стеклянного неба.

Анатолий зло ткнул кнопку «Перезарядка оружия». Впереди под капотом, слышно даже сквозь мощный рев принипоренного двухтысячесильного мотора, вкрадчиво-зловеще прошипел сжатый воздух, раздался звонкий щелчок-лязг затвора, запечатавшего досланный в ствол первый снаряд.

— «Полста пятый», я — «Салют», почему молчите? — нервно спросили наушники.

— Цель вижу. Преследую. Выполняю перехват, — сухо ответил Анатолий, покосившись через плечо. Проняхин был уже за спиной выше, быстро переходя влево вверх, чтобы прикрыть его, командира, и одновременно увеличить Анатолию сектор стрельбы и маневра; если же сейчас его, Симонова, собьют (ведь он ведущий звена и в первом заходе ему нельзя маневрировать, он будет, как требует того закон, заводить нарушителя, точнее, подставлять себя под огневые установки «Крепости», а их там десять — десять! — стволов) — так вот, если его собьют, Проняхин тут же ударит по нарушителю. Обо всем этом, «проигрывая» возможные ситуации, они не раз договаривались на земле, в долгом томительном ожидании нарушения государственной границы — нарушения, которое повторилось в последние три месяца семь раз и которое сегодня должно стать восьмым — и последним.

— Повторяю — как учили! — тревожно напомнил оператор наведения.

— Да помню же!.. — сквозь зубы отругнулся Симонов.

Впереди слева мягко засветилась медовой желтизной береговая черта. Б-29 висел абсолютно неподвижно, лишь медленно, чуть заметно ползла под ним синеватая густая масса сплошного леса, да далеко-далеко за ним, на пределе видимости, мощно синела грозозовая туча. Май был душным, горячим и празднично-грозным. Настоящий май.

Анатолий мягко положил «лавочкина» в левый крен и плавно развернулся на курс «крепости». Громадная машина тяжелого бомбардировщика теперь зависла впереди справа, совсем недалеко, в каких-то восьми-десяти метрах, а прямо по курсу — в полгоризонта — легло море. Пилот-нарушитель был настолько спокоен и уверен в опыте предыдущих семи пролетов, что, видя зveno Ла-11, даже не увеличил скорость, и потому Анатолий быстро нагонял его, отчего бомбардировщик словно пятился к нему задом. Море быстро приближалось.

«Каникулы», — вдруг вспомнил Симонов. Школьные каникулы еще не начались — значит, на пляже народу будет не так уж много; впрочем, сегодня воскресенье. Значит, надо все закончить или до береговой черты, или после...

И тут он сообразил, что уже все решил, понял, что

будет стрелять. Решил? Но ведь он не хочет этого! Это же... это неправильно! Нет, черт, не то — это страшно! Это же страшно — стрелять в недавнего союзника, товарища, собрата по битве. Политики и вожди, те, кто послал этих парней сюда, могут говорить и требовать что угодно — но они не могут изменить то, что было, и они не могут заставить нас забыть, что мы с этими парнями, возможно, встречались там, на Востоке или Западе, каких-то шесть лет назад. Но как нам узнать друг друга здесь, сейчас?..

Ставшая вблизи серебристо-серой, «дюралевого» цвета, махина медленно-тяжко ползла справа; Симонов уже видел силуэт, вернее, светлое пятно лица кормового стрелка в узко-высоком, хрустально поблескивающем граненом стеклянном «скворечнике» над длинно торчащим стволом 20-миллиметровой пушки. Он уже видел бархатно-коричневые густые потеки копоти на подрагивающей обшивке мотогондол за выхлопными коллекторами здоровенных двигателей, видел даже «строчки» — швы юбок обтекателей. Он растянато обгонял четырехмоторный бомбардировщик, идя слева от него.

Оглядываться было уже некогда, но он и так знал, что Проняхин держится сзади слева и выше (на миг он будто увидел Серегино лицо: нервно сжатые губы, подрагивающие тугие скулы, капельки пота на носу, острый прищур и если б не наушники — то аж шевелящиеся от напряжения уши); вторая пара звена, как и условились, должна была уже занять позицию справа выше нарушителя — на подстраховке. «Но неужели, неужели же парни в этой машине еще надеются, что и сегодня будет так, как прежде? Неужели командир экипажа еще ничего не понял? Он же видит нас, видит всё... Вон его лицо! Обернулся! Смотрит на меня — в глаза ведь смотрит!..»

Какие-то длинные секунды два летчика — истребитель, изготовившийся к стрельбе, и другой, несущий угрозу, заключенную в мощном боевом корабле, — смотрели друг на друга сквозь непостижимо огромное расстояние пятидесяти метров — смотрели, узнавая и не узнавая друг друга.

Симонов не выдержал — он коротко отмахнул затянутой в шевретовую перчатку рукою: «Вправо! Давай вправо!» Командир бомбардировщика то ли улыбнулся, то ли что-то сказал. Симонов вновь вскинул руку,

насколько позволял фонарь кабины, и размахисто ткнул большим пальцем вправо вниз. Американец широко покачал головой.

Но Анатолий, просчитывая еще наблюдал вправо, как все быстрее и быстрее напыляет напряженно дрожащий моторный капот на ждущее недвижимое море, — Анатолий еще надеялся, все-таки верил и надеялся, поэтому толчком дослал сектор до упора и, выйдя уже вперед, осторожно дважды указывая чуть качнул машину вправо; косясь, он отчетливо видел того пилота — обернувшись, тот, видимо, что-то говорил своим.

Анатолий выждал еще пару погано-томительных секунд, упрямо оттягивая неизбежное. Но покато-ровенькая кромка правого крыла с чуть поободравшейся местами матово-зеленой маскировочной краской уже закрыла береговую черту.

— «Полста пятый», почему мол... — явно нервничая, начал оператор наведения, но его перебил вскрик Пропахина:

— Командир, полундра! Блистеры!

Симонов рывком откатнул, отдернул машину влево и успел увидеть, как жутко-змеино крутнулись на него в плоских приплюснутых, тускло блестящих на солнце башнях-блистерах тонкие длинные стволы спаренных крупнокалиберных пулеметов верхних турелей бомбардировщика, как уставились в лицо черные дырки-зрачки нижней носовой турели — хотя разглядеть их, эти дырки, на таком расстоянии никак, конечно, не мог.

«Ну, вот и все, — вдруг с облегчением подумал он. — Всё! Игры кончились...»

Из выхлопных патрубков бомбардировщика густо вылетали рваные клубы черно-коричневого дыма — пилот дал полный газ. Корабль медленно двинулся вперед, пока медленно, но все быстрее набирая скорость и тем самым облегчая истребителям работу.

Анатолий «дал» левую погу, отваливаясь в сторону и косясь на «Крепость», вернее, на ее блистеры. Пилот видел его, должен был понимать, зачем русский резко отвалил, и потому Анатолий вмиг ощутил себя таким незащищенным и беспомощным, что рот свело и уши заложило тонким комариным писком. Он знал — война слишком хорошо и наглядно его этому научила, — как выглядит сейчас в прицелах бортстрелков: идеальная полигонная и... и живая мишень. И он от-

лично помнил — видел! — что творится с истребителем под залповым ударом в упор бортовых установок: мгновенный фонтан искрящегося разноцветного дыма, бенгальское сверкание-фейерверк рваного огня, беспечный разлет обломков — и только что грозная и живая машина, сумасшедше-бессильно вертясь и кувыряясь, летит, «сыплется» вниз, рассыпаясь в груды горящего мусора...

Затылок стремительно мокро-льдисто немел, шею колюче свело в суженно-недвижных холодных зрачках сквозь невидимые кольца застывших коллиматорных прицелов поверх рифленых черных стволов. Но... «Крепость» молчала — молчала, молчала...

Анатолий рывком сдернул, на мгновение зажмурившись, со лба на глаза очки (когда ударят стволы, он, может, еще успеет сам открыть огонь — даже, может, еще и прыгнуть успеет, когда...). Но «Крепость» упорно молчала, лишь длинно тянулся за ее крыльями грязно-коричневый шлейф четырех дымов форсируемых моторов.

Бомбардировщик уже обогнал его; Симонову вновь стал виден кормовой стрелок; огромное крыло перечеркнуло горизонт вперед.

Внизу резко оборвался лес. Стрелка альтиметра покачивалась на отметке две тысячи восемьсот метров; Симонов глянул влево за борт — там, внизу, ярчайше, детским рисунком, засветился пляж. И воскресенье, и скоро полдень, и, значит, наверняка дети... Ох, ч-черт!..

Он резко на три секунды сбросил газ, отпуская вперед нарушителя, мягко перевалил заурчавшую машину вправо — «Крепость» висела уже впереди — и вновь аккуратно влево с досылком газа. Вот она, цель! Точно на курсе, на линии прицеливания. Все 43 метра размаха чуть прогибающихся крыльев огромной машины распластались над морем поперек неба, придавив горизонт, — поперек майских улыбчивых, нежных небес. Эти четыре десятка метров цели уже были заранее, на земле, выставлены на лимбе прицела; сейчас Анатолий деловито и быстро перещелкнул прицельную дальность стрельбы на 400 метров — как и были стандартно пристреляны пушки — и вновь дал полный, до упора, газ — уже уверенно, уже неизменно. Все стало окончательно и неизбежно ясно...

«Лишь бы он не отвернул вдоль берега, — еще успел подумать Симонов перед тем, как прицел засло-

нил все, перед тем, как весь мир остался где-то там, за рамкой прицела, растворился в его бездонном светящемся зеркале. — Лишь бы не отвернул, иначе его, или мои, или наши с ним обломки упадут в береговую черту — на пляжи, дачи, бульвары, в веранды и карусели...»

«Крепость» быстро вползала в прицел, устойчиво разрасталась в нем. Анатолий демонстративно шел впрямую, не маневрируя, словно говоря — нет, крича, крича: «Вот он, я, вот! Ну, видишь? Сейчас я буду в тебя стрелять!»

Та-ак, дистанция 600... Почему-то опять темный — ах, это из-за солнца — силуэт бомбардировщика неподвижно замер в покачивающихся в голубой дымке ромбах-«зайчиках» АСП*. Только б он не отвернул; пусть даже стреляет, нет, пусть лучше стреляет — но не отворачивает...

В наушниках шуршит натянувшаяся до предела тишина; падсадный рев перегруженного мотора, звон и гул вспарываемого воздуха — все пропало, исчезли все звуки. Не отрываясь от прицела, Симонов лапнул тумблер управления огнем — да, стоит на «залп»...

550 метров... Он увидел, но уже не хотел, не желал, поздно было видеть, как дернулся на него ствол кормовой пушки, как приподнялись и зашевелились, нащупывая его лоб, спаренные пулеметы в двух мертвенно-плоских башнях на «спине» бомбардировщика. Но это было уже неважно. Вообще ничто не было важно, кроме одного: попасть с первого залпа.

500 метров... Песок в горле?..

450... Вот сволочь — не продохнуть...

Еще чуть-чуть... Почему они не стреляют?..

А наушники и вправду молчат. Молодцы ребята — не мешают, не суетятся, не лезут; если что — они всё доделают...

И когда солнечные лукавые «зайчики», плавая в голубом прозрачном зеркале прицела, наконец сошлись на силуэте «Крепости» и, точно и четко обрвав ее, показали: «400 метров. Дистанция стрельбы», Симонов, не думая, но зная, что времени больше нет — ни на что нет, ни на какие иные решения, попытки, сомнения и надежды, — зная, что теперь изменить или

* АСП-3 — авиационный стрельбовый прицел, устанавливаемый на истребителе Ла-II.

исправить ничего никому нельзя и что всё, всю его дальнейшую жизнь — всю жизнь, жизнь, вот же в чем суть-то! — решит одно его следующее движение, одно-единственное, — зная всё это, он хрустнул зубами, мотнув головой, и... И нажал, вдавил, вогнал гашетку общей стрельбы!

Сразу обдало теплой волной внутренней радости, небесная голубизна будто плеснула в глаза добрым светом.

Симонову это прибавило силы и уверенности — небо-то родное!

Мощные пушки грохнули разом*; «лавочкина» дернуло и мелко, но ощутимо затрясло; три ствола били захлест длиннейшей, страшной, убийственной очередью, стремительно ошорожня снарядные ящики; Симонов не отворачивал и смотрел, смотрел, смотрел сквозь призрачно мечущееся перед лицом жутко-бесцветное рваное пламя, как багровые сверкающие шарики снарядов вырвались из этого пламени и, завиваясь тугими голубыми шнурами дымных трасс, понеслись вперед и уперлись, воткнулись, вонзились в борт, в крыло, в центроплан огромного самолета. Мгновенно мигнула в корме слепяще-солнечная вспышка ответного огня, молния пушечной трассы жутко-бесшумно вспыхнула над самой головой и погасла, косыми рваными росчерками мелькнули пулеметные струи-иглы, откуда-то снизу, из-под брюха бомбардировщика, вылетел черный стремительный клуб искрящегося дыма и взметнулись наискось ввысь два огромных куска вырванной обшивки — и в борту полыхнуло белое взрывчатое пламя. Фугасно-зажигательные снаряды яростно, бешено, свирепо били, рвали «Крепость», попадая вразброс. Всё! Всё, хватит!..

И тут, оторвав чужой, непослушно-онемевший палец от гашетки, Анатолий увидел невероятное, фантастическое зрелище: из корня левого крыла вылетел огромный фонтан то ли голубого дыма, то ли распыленного высотой и давлением бензина, крыло неспешно, рассыпая мелочь опметков, отделилось, отплыло от фюзеляжа, нелепо задралось и чудовищно, противостоестественно, кошмарно ринулось вверх, полетело само

* Ла-II вооружался тремя автоматическими пушками НС-23 скорострельностью 800—860 выстрелов в минуту, каждая калибра 23 мм, стреляющими синхронно, сквозь диск винта.

по себе, вонзаясь в чистую голубизну бешено вращающимися винтами; самолет же неторопливо, ужасающе-неотвратно повалился влево и стал бесконечно падать, падать, падать, широко и медленно раскачиваясь и чертя равнодушное небо увечно задраным правым крылом. Анатолий завалил истребитель в глубокий вираж со снижением, не отрывая глаз от гибнущего корабля, который густо дымил обломки; и вот выгнулось и переломилось правое крыло, вот медленно, стреляя кусками лопающейся обшивки, изогнулся у основания и отвалился огромный хвост; а левое, отдельно летящее ввысь обезумевшее крыло беззвучно лопнуло белым пламенем и исчезло в серо-черном рвущемся на ветру облаке. А корабль — его остов — все падал и падал, разваливаясь, распадаясь — и вот уже на синеголубой поверхности вечного моря возникли белые медленные всплески и тут же стеклянно рассыпались в радужном, разноцветном сверкании брызг.

Все кончилось. Все. И ни одного парашюта, ни единого — из возможных одиннадцати...

«Отвоевались, друзья!» — вспыхнула непонятная мысль и мгновенно угасла. Симонов быстро осмотрелся. Теперь наступил момент, когда необходимо было подумать и о своем положении, в горячке боя не до этого, главное — победить противника, свалить его, а потом уж... Вот и добился своего, «свалил»...

Он шел в развороте, не замечая, что уже заваливается в крутую спираль, срываясь в скольжении и теряя высоту.

— Командир! — встревоженно включились наушники. — Что, в чем дело?!

Анатолий, опомнившись, сунул вперед ручку, срывая угрозу штопора, «дал ногу», вырвался из начинающегося кружения и, выровнявшись, перешел в набор высоты. Земля, услышав Иронякина, тут же вошла в связь:

— «Подста пятый», почему молчите? Обстановка?..

Улыбнувшись, Симонов по привычке снова окинул ворским взглядом, что там справа, слева, сзади и, довольный собой, прокричал:

— Всё... — Анатолий закашлялся — перехватило горло. — Как учили...

Земля шумно вздохнула и после потрескивающей паузы явно облегченно распорядилась:

— Домой. Все домой.

— Вас понял, — коротко ответил он.

Заруливая, Анатолий увидел, как к его капониру бежит майор-замполит. Анатолий вло, «чертом», развернулся, тормознув так, что бедный «Ла» едва не скапотировал и, глубоко кивнув своей лобастой башкой-мотором, встал, резко откачнувшись назад, на хвост. Остальные машины звена рулили по стоянке, вздымая вихрящиеся клубы пыли с просохшей после утренней сырости грунтовки. Анатолий прожег свечи так, что изумленный «АШ» * зашелся, взыв до хрипа, и чуть не кулаком вырубил закигание.

Неторопливо отстегивая привязные ремни, Симонов не поднимал головы. Потом он с грохотом согнал назад фонарь и молча глянул на запыхавшегося замполита, радостно задравшего к нему голову.

— Ну? — хрипло выкрикнул замполит. Механик за его спиной тревожно глядел на Симонова, не понимая пока лица своего командира, но уже чувствуя: «Не то...»

Не погасив еще радостного возбуждения, Анатолий молча смотрел на майора.

Замполит раскинул руки, точно готовился обнять летчика, снова повторил свой короткий вопрос:

— Ну?!

Анатолий, не отвечая, деловито-угрюмо возился в кабине: щелкнул «собачкой» пряжки парашютных ремней, со стуком откинул их с плеч на борта, рывком раздернул замок шлемофона и выщелкнул штуцер «папа-мама» радиопровода, окончательно освобождаясь от самолета.

— Так с орденом, а? — майор влнзу улыбался.

— Ящики пустые, — раздраженно буркнул механику Симонов и странно-неловко, «раком», полез из глубокой кабины на крыло.

Замполит недоуменно задрал рыжеватые брови. Механик привычно лягнул замками капота ** и вздернул его скрежетнувшую створку над собой, сунувшись внутрь, в горячую, густо дышащую тошнотным бензином, перекипевшими маслами, раскаленным металлом и сторевшим порохом тьму. Замполит настороженно ждал. Неподалеку рычаще взревел мотор последнего

* Поршневого двигателя АШ-70 мощностью 2100 л. с.

** На Ла-11 пушки располагались за блоком цилиндров непосредственно над мотором, т. е. под моторным капотом.

из четверки, разом стих, пару раз прохлопнув, и сразу стал слышен урчащий говорок «бобика» комполка, лихо мчавшегося поперек летного поля сюда, на стюанку.

— Вот это да-а!.. — задумчиво сказал из-под капота механик.

— Чего? — дернулся майор, заглядывая под фюзеляж. Анатолий тяжело спрыгнул с крыла и негромко потребовал:

— Фуражка, Егор!

— Командир, ты чего, в одну очередь весь ящик засандалил? — высунув голову из-под створки, удивленно-укоризненно спросил механик.

— Где фуражка? — раздражаясь, повторил Анатолий и, увидев ее на инструментальном ящике, сказал: «Ага!», неспешно напялил ее поглубже и неторопливо пошел навстречу тормозящему «бобику», уже не слыша — или все так же не слыша — недоуменный голос майора за спиной:

— Чего это он?

— Его и спрашивайте — он командир, я его технарь. Но как же стволы-то не заклинило... Разрешите-ка...

— Ну, с победой? — деловито осведомился Романюк, ловко выпрыгнув из машины. — С одного захода?

— Так точно. Разрешите доложить: цель реальная. Перехват выполнялся составом звена по высоте...

— Знаю-знаю! — прервал Романюк. — ВНОСовцы * все дали. Чего унылый, победитель?

Симонов покосился на шофера, сидевшего за рулем открытого автомобиля-ящика и «ничего не слышавшего», и, глядя Романюку в глаза, медленно проговорил:

— Я ему в борт стрелял. Прямо перед звездой.

— Ну?

— Точно перед звездой, — с расстановкой повторил Симонов. — А ведь я их всех помню...

— Кого?!

— Всех. В воздухе встречал. Там... — он неопределенно взмахнул рукой. — На Востоке. Тогда...

— Ну, Симонов... — досадливо сказал за спиной замполит. — Тут, понимаешь... Такая победа!..

* ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение, связь (наземная вспомогательная служба).

— Нет победы! — оборвал его Анатолий, не обращаясь. — Понял? Нету! Он военный летчик. Офицер. Как я.

— Это ж как понимать прикажете, товарищ Симонов? — тихо осведомился странным голосом замполит.

— А так и понимать. Тот парень... Не он там должен был быть. И не его я должен был сбить.

— Чего несешь, Яковлевич? — предостерегающе проговорил Романюк. — Ты выполнял боевую задачу. Боевую!

— Не он! — зло-упрямо отрезал Анатолий. — А тот, кто его послал. А он — он обязан был сказать «Есть!». Мы друг друга метелим, а все они... Тебе, — он рывком обернулся к замполиту, — тебе этого не понять.

— Э-эй! — поднял голос комполка. — А ну прекрати. Прекрати, майор! Ты ж фронтовик. Боевой летчик.

— В том-то и дело, — безнадежно сказал Анатолий. — В том-то всё и дело... Я того паренька-футболера помню. А этот вот... — Он ткнул большим пальцем через плечо. — Вот он — нет.

— Какого паренька? — раздраженно осведомился замполит. — И что за манера такая — спиной разговаривать?

— А-а... Товарищ подполковник, разрешите идти, рапорт писать? — Симонов вскинул ладонь к виску.

— Ты его помнишь? — тихо, задавленно спросил Романюк.

— Того парнишку с «Тандерболта»*? — Симонов усмехнулся. — Еще бы...

— Ну конечно, — хмуро кивнул подполковник. — Верно... Это же ты с Лешкой, с Бикмаевым, его тогда вытащил...

...Они с Лешкой выскочили из облачности и неожиданно перед собой ниже увидели, как четверка «Зеро»** трещит огрызающийся одинокий «Тандерболт», и японцы — явно еще неопытные, вернее, уже неопытные, как почти все японцы конца этой распроклятой бесконечной войны, злые и упрямые, — вцепились в

* Рипаблик П-47 «Тандерболт» — тяжелый истребитель дальнего действия ВВС США времен второй мировой войны.

** Мицубиси А6М5 «Зеро» — массовый японский морской истребитель, один из лучших истребителей мировой войны, заслуженно всюду почтительно именовавшийся «Зеро-Сан» — «Господин Зеро».

него, в несчастного невезучего одиночку, заблудшего в небесах, как в раю; а он вертится отчаявшимся псом, по вырваться не может и крутится осатанело в безнадеге, и ему влетает слева, справа, снизу, сверху, в поддых и по задривку — он ведь один, и чертов Н-47 утюг утюгом в сравнении с вертким крепышом А6М5, не помогают и не спасут ни восемь стволов, ни все громадные две тыщи восемьсот коней могущего «Прагт-Уитни»; сейчас, вот сейчас его таки завалят, ох, свалят — прямо в стылый осенний океан, откуда нет спасенья... И они с Лешкой, мигом ономнившись и не успев переброситься и парой фраз, кинулись к нему, к погибающему союзнику, бездарно влетевшему в эту гиблую кашу, но не успели подойти на выстрел, как японцы, узрев их, на диво грамотно разом крутнулись на контркурсы, ухнули, отрываясь, в пикирование под русских, тут же рванули в вертикаль и моментально сгнули в облаках, браво продемонстрировав высокий класс молодеватого ухода в ретираду.

А янки, когда русские подстроились к нему и, улыбаясь, вскинули в приветствии руки, — янки распахнул фонарь, сорвав черный намордник маски и, размахивая рукой, что-то им орал, хохотал, радостно тыча в пробоины в борту и крыле, вытирая слезы, выжатые, наверно, ветром, и опять суетился, аж подпрыгивал в кабине, что-то счастливейше выкрикивал, высовываясь за борт, — ведь связаться по-человечески по радио они не могли, не зная частот друг друга, но прекрасно понимали друг друга — летчики одной битвы, братья по духу и Победе.

Взмахнув приглашающе рукой, американец лихо загнул опаснейшую, дурную в такой дистанции фиксированную бочку, и Бикмаев, радостно выматерившись по радио, вертанул бочку за ним, а потом все трое — ну, одним словом, сплошное веселье.

У союзника кончался бензин. Как выяснилось потом, оп, взлетев с островной базы в составе патруля, по неопытности оторвался от своих, элементарно «блуднул», в общем-то разумно дунул по компасу в сторону материка, поскольку удачно вовремя сообразил, что очутиться на каком угодно, но твердом берегу будет обязательно веселей, чем пускать пузыри в очень глубокой и наверняка холодной водичке, — и вот тут-то, войдя уже в советскую оперативную зону, он и нарвался на черт-те откуда взявшееся (не исключено,

что также заблудшее!) японское звено. А налет-то у него был всего ничего, у салаги несчастного, зато страху, нервотрепки и усталости хватало с избытком; в общем... В общем, он и сам потом не мог понять, восемнадцатилетний «флайинг лютенант», почему японята не сбили его сразу. Видать по всему, и вправду были асы вроде него самого...

Все это выяснится потом, а пока они втроем пошли на советский полевой аэродром на побережье залива. Первым садился Симонов, показывая гостю подход к полосе и посадочную глиссаду, а парнишка послушно шел за ним, а до конца войны оставалось четыре — всего четыре! — дня, но того они не знали и знать не могли, как не знали, что послезавтра Лешка Бикмаев упадет в тайгу, перешибет позвоночник и останется калекой на всю жизнь, а Толик Симонов через год станет его свояком-родственником, по-прежнему будет летать, как кадровый, а спустя неполных шесть лет расстреляет над балтийским побережьем соотечественника, или приятеля, а то и родственника этого вот паренька, уже выпустившего шасси и смело, доверчиво и уверенно садящегося сейчас на русский, на большевистский, «красный» и спасительный аэродром. И тогда, в те секунды... Э-эх, да что там! Никто никогда не знает, ибо — «нам не дано предугадать». Наперед — никто и никогда...

И едва американский «Тандерболт», послушно и вежливо следуя взмахам флажков русского финишера, зарулил аккуратно на стоянку и выключил мотор, его сразу окружила изумленная толпа. Люди молча, не зная, что говорить и делать, разглядывали непривычно белые крупные звезды в разлапавшихся белых же «ушах» опознавательных знаков на бортах, удивлялись странному, несуразно-несимметричному расположению этих звезд на крыльях: на левом только на верхней плоскости, на правом — только на нижней. Молча, с уважительным и печально-знающим пониманием давно воюющих и многое повидавших солдат приглядывались к рваным пробоинам, сплошь лохмато-безобразно изодравшим обшивку плоскостей, бортов и хвостового оперения, безошибочно оценивали густо-тягучие капли, медленно натекающие под проби-

тым капотом в черно-блестящие радужные лужи. Да и профессионально вся эта не по-русски крупная, тяжелая, мощная машина вызвала недоуменно-почтительный интерес. А молоденький — да нет, как теперь стало видно, юный! — ее пилот медленно, с металлическим скрипом сдвинул глухо стукнувший упором фонарь, так же медленно стянул с головы необычно короткий, прямо куцый, забавно ушастый здоровенными наушниками желтый шлемофон, зачем-то потер им загорелую конопатую физиономию и растерянно-вопросительно уставился на выжидающую толпу, мальчишески помаргивая. Был он отчаянно белобрыс и веснушчат, и пшеничный чубчик его, слипшийся от пота под шлемофоном, воинственно торчал кверху.

А Симонов уже торопливо выбрался из кабины своего ЛаГГа и с Лешкой вместе бежал к «Тандерболту», возвышающемуся непривычно огромным четырехлопастным винтом над толпой. Когда они протолкались вперед, американец уставился на них — он сразу понял, почему все расступились перед этими двумя запылавшимися летчиками, один из которых даже не успел на бегу снять шлемофон, отчего «косички» радиопроводов смешно болтались за его плечом и «ошейник» ларингофонов чернел на горле удавкой.

Какие-то длинные секунды трое глядели друг на друга, вновь друг друга узнавая — уже тут, на общей земле, их принявшей.

— Ну и?.. — шипло осведомился Симонов, в тишине щелкнул кнопкой ларингов и, длинно переведя дух, наконец стащил шлемофон. — Что, там и замечуешь?

— О! — только и выдавил из себя восхищенный американец, тыча в небо большим пальцем.

— Главное молись теперь своему богу, что жив! — хохотнул Анатолий, рассматривая незнакомца.

Парень перевел глаза на заулыбавшегося Бикмаева, вновь оглядел настороженно выжидающую толпу, неожиданно хрипяще, сорванным крайней усталостью голосом негромко что-то сказал — и вдруг в его руке оказался... мяч. Мяч? Ну да — ободраный, великолепный мяч!

Парень, широчайше улыбаясь, подержал его в левой руке высоко над собой, вскинул над толпой правую, торжествующе потряс двумя выставленными углом пальцами и, победоносно-хрипло рывкнув: «Вик-

тори! Виктори, факин шийт!..» * — сильнейшим тренированным ударом запустил мяч в вертикаль над головами и, легко откинувшись на коричнево-матовый кожаный заголовник бронеспинки, сипло захохотал, счастливо раскинув руки за борта.

И все. Все! Мяч со свистом взлетел свечой в изумленные небеса, толпа разом освобожденно-радостно басом взревела и массой ринулась к самолету. Симонова больно шарахнула в спину и едва не подмяли, а парнишку уже тащили, волокли на руках из кабины, обнимали, тискали, били по спине, тыкали ему в нос раскрытые портсигары, мяли руки, кто-то орал: «Точно — виктория! Виктория, мать вашу!», кто-то с видом знатока лез в чужую, необычно широкую и просторную кабину, и бесполезно было пытаться что-либо понять, ясно было одно: люди счастливы. Счастливы! Ведь человек жив, и он здесь, и победа тоже здесь, все-таки победа — громадная, оглушительно-прекрасная победа! Несердито сердился замполит, безнадежно пытаюсь навести порядок; веселым мальчишеским басом ругался командир полка; кто-то громко отсчитывал шаги, устанавливая тут же, за капониром, футбольные ворота из шлемофонов, патронных ящиков и красных тормозных колодок, и кто-то резонно протестующе кричал: «Мужики, его ж сначала накормить надо!», а ему столь же резонно возражали: «Вот ты и будешь с полным брюхом за мячиком скакать...»

А американец в смятенной толпе безошибочно нашел взглядом Анатолия, вырвался из чьих-то объятий, оттолкнул чей-то портсигар и пошел на него сквозь руки, улыбки, зажигалки, на ходу срывая с пальца какое-то кольцо, а оно все никак не слезало — явно самодельное, грубое и толстое серебряное кольцо, — и, растерявшись, парнишка, морщась и едва не плача, рвал его, выдирая собственный палец и бормоча под нос:

— This is good luck and fortune of my family... It was made by my grand-grand father — pioneer. He could fight for the liberty... O-oh, d-devil!.. **

* «Победа! Победа...» — далее следует неприличное выражение.

** — Это удача и счастье моей семьи... Это делал сам еще мой прадед — пионер. Он тоже умел воевать за свободу... О-о, черт!..

Он стоял перед Анатолием, отчаянно тряся рукой, уже малиново-пятнистый лицом, со слезами в глазах, и Бикмаев сердито посоветовал из-за плеча Анатолия:

— Да обними ж ты его, командир, Христа ради! Он же сейчас расплачется, и будет международный скандал. Обними пацана, чурбан!

И Симонов сгреб паренька в разом наступившей мертвой тишине, и сказал ему в глаза, в душу, черт бы подрал этого союзника:

— Плюнь. Плюнь на эту херобень, друг. Это не важно. Ты лучше запомни. Меня. И его вот... — Он нащупал локоть Лешки и подтанцил его к себе. — Ты понял? Понял?

Парень сморщил обветренно-загорелый лоб в белых полосках-морщинках и молчал.

— Так понял, нет? Мне плевать, кем ты будешь потом. Но нас — меня и его вот... — Он ткнул Лешку кулаком в бок. — Вот его, и его, и всех нас, всех — ты запомни. И этот наш день. Чтоб если, не дай бог, нам придется... Чтоб ты ж вспомнил! Ты все понял? Вот оно, гляди, — наше небо. И наш с тобой день. Наш день! Ну?! — и крепко тряханул паренька за мягко-желтое мятое плечо кожаной летной куртки.

— This day... — медленно сказал, нет, прошептал юный летчик-истребитель и чуть кивнул.

— Не знаю, — грубовато сказал Симонов. — Может, и «дэй», тебе видней. Но ты же понял? — И он вновь тряхнул парня.

И тот кивнул. И положил Симонову руки на плечи — на такую же мягко-желтую мятую кожаную куртку. И быстро сказал, мотнув головой назад, на свой утомленно потрескивающий раскаленным остывающим мотором в предвечерней прохладе, изрешеченный, безжалостно избитый истребитель:

— She'll remember... She — too. And then she'll tell it... And mummy... Oh, ya-ya — d've caught. This is truth — and fate *...

Нет-нет, они не обнимались. Зачем? Они мужчины,

* — Она тоже запомнит... Она — тоже (в сленге американских летчиков самолет — лицо одушевленное; причем «она». — В. С.). И все потом расскажет. И моя мама... О, да, да — я понял. Это правда и судьба.

А может, и братья. Чего ж суетиться... Они и так всё друг про друга знали. И верили...

Сын стоял в дверях палаты, беззвучно плакал, и слезы — бешеные, невидимо-черные, яростные бессильные слезы — текли по пятнисто-серым от щетины и мучки щекам.

Палата молчала в вечернем полумраке.

А отец медленно просыпался.

Отец всплывал из тошнотворной мути и багрово-горячей темноты боли, страха и наркоза к свету. Маняще, радостно и молодо-привычно качался перед ним чистейше-голубой и вечно юный горизонт, и сияло над празднично-бесшабашной грозой солнце, брызжущее победой, жизнью и счастьем, и в хрустально посверкивающей стеклами кабине он видел того паренька, И парнишка, углядев отца, сразу узнал его, обрадованно замахал рукой, и ярчайше сверкала его счастливая улыбка. И отец помахал ему в ответ, тоже улыбнулся — и, не удержавшись-таки, засмеялся, потому что этот задиристо-бравый мальчишка нахально врубил полный газ и лихо рванул свою машину ввысь, в небеса, приглашающе махнув отцу. И отец, смеясь, вогнал РУД до упора, взял на себя ручку и рванулся за ним — рядом с ним, вдвоем — выше, выше и выше, в самую глубину восхищенной синевы. И перед ним — перед ними! — распахнулось великолепное в бесконечности небо...

Сын неотрывно смотрел сквозь кислотно-режущие страшные слезы на счастливую улыбку, застывшую на лиловых губах. Люто, лютейше ненавидя себя, он смотрел и напоминал эту густую тяжкую мглу в палате, этот осязаемо спертый плотный воздух, хриплую больничную тишину, — и свое гнусное похмелье, прощенья за которое не будет, похмелье, которое таскать ему на горбу до могилы, до последнего своего часа, таскать и проклинать эту непомерную, невыносимую и снасительную тяжесть...

Он смотрел и запоминал, как постепенно тускнеют синие, широко раскрытые глаза — в них уже не было солнца... Оно ушло куда-то глубоко, непостижимо глубоко, куда нет доступа живым. И...

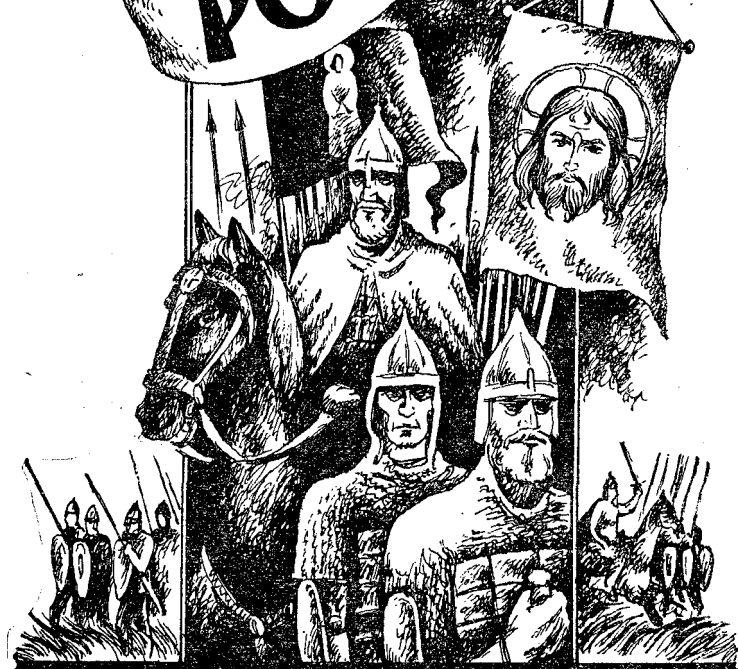
И все кончилось.

Отца уже не было. Как не было солнца. И дня. И всей прежней жизни.

И сын повернулся, наткнувшись на медсестру, замершую со шприцем, незряче отпихнул ее плечом и длинно ровно пошел по желто-тусклому в вечернем освещении, бесконечному, безвыходному коридору, наткаясь на какие-то фигуры, столы, беззвучно сшибая стулья и не спотыкаясь, не слыша ненавистного оглушительного вопля за спиной: «А халат?!»

Не слезы — небо застило ему мир. Одно огромное небо — одно на всех.

РАТНАЯ ЛЕТОПИСЬ РОССИИ





А. СЕРБА ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ

Историко-приключенческая повесть

1

В великокняжеском замке цвели розы. Между их кустами расхаживал, припадая на правую ногу, невысокий худенький человек. Непомерно большая для его роста голова, приподнятое к самой мочке уха левое плечо, сморщенное детское личико с жидкой седой бороденкой. Смиренный взгляд, скромное серое одеяние — ничего, кроме чувства жалости, не могла вызвать подобная фигура у постороннего человека.

Однако у тех, кто хоть однажды сталкивался с хромоногим садовником, его вид вызывал страх. Потому что это был боярин Адомас, ближайший советник и наставник великого литовского князя Ягайлы, сына недавно умершего Ольгерда.

Адомас с детства мечтал о военной карьере, но несчастный случай — его едва не до смерти изорвали вырвавшиеся из сарая псы — сделал эту мечту несбыточной. Однако маленький калека стойко перенес удар судьбы и смело пошел наперекор ей. Запретив себе даже помышлять о бранной славе, он стал служить великому князю чем только мог. Вскоре природные ум и сметка, отсутствие угрызений совести за содеянные им неблагоприятные поступки, а также чувство зависти и ненависти ко всему живому и здоровому вначале приблизили его к Ольгерду, затем сделали незаменимым для его сына.

Звуки раздавшихся невдалеке шагов заставили Адомаса распрямить спину и повернуть голову. По усыпанной мелким речным песком дорожке к нему приближался слуга.

— Боярин, с тобой желает встретиться Богдан, воевода русского князя Данилы. Что передать ему?

Хотя Адомас меньше всего ожидал услышать подобное известие, он ничем не выдал удивления.

— Ответствуй воеводе, что жду его.

Боярин проводил взглядом удаляющегося слугу, снова облокотился на заступ. Лишь сейчас в его глазах зажглось любопытство. Князь Данило и воевода Богдан... Знакомые имена! От одного только воспоминания о них начинала бушевать в душе ярость!

Минуло уже почти полтора года, как Литва, спасенная от татарского нашествия русским мечом и русской кровью, воспользовалась последовавшим ослаблением Руси и захватила часть ее южных и западных земель. С тех пор и существуют в Литовском великом княжестве кроме своих, литовских, также русские князья и бояре, с того времени говорит больше половины его населения по-славянски. Вот уже полтора века две трети территории Литовского княжества составляют некогда русские земли.

Однако не смирились с этим гордые и свободолюбивые русичи, много крови испортили они за это время литовским князьям и их верным слугам. Немало бессонных и тревожных ночей заставили провести они и его, боярина Адомаса. Среди непокорных русичей, с трудом терпящих над собой власть Литвы и с надеждой взирающих на крепнущую от года к году Русь, были князь Данило со своим воеводой Богданом. Опасные люди, от таких постоянно жди смуты!

Но что могло понадобиться русскому воеводе от него, правой руки великого литовского князя, неприимого врага Руси? Наверное, опять будет жаловаться на своих соседей, литовских бояр? Это было бы совсем некстати. Потому что великий литовский князь заключил недавно союз с бывшим темником, ныне ханом Золотой Орды Мамаем, и со дня на день собирается двинуться в поход на Русь. Для этого ему как никогда необходимы единение и дружба всех своих вассалов, и в первую очередь литовских и русских князей. Ведь Литве в предстоящих сражениях так нужны полки и дружины воинственных и храбрых русичей, до этого уже не раз приносивших ей славные победы на северном и западном побережье.

Однако зачем ломать голову, если сейчас все станет известно от самого воеводы? Широко ступая за семейным мелкими шажками слугой, он уже показался в начале садовой дорожки. Богдан был во всегдашней своей чешуйчатой кольчуге, с длинным мечом на поясе. Его скуластое лицо было сурово, глаза чуть прищурены, ветер слегка шевелил волосы на непокрытой голове. Среднего роста, кряжистый, он по виду ничем не отличался от десятков и сотен виденных Адомасом русских воинов. Лишь тяжелый властный взгляд под нахмуренными бровями да большая золотая гривна на шее отличали его от простого дружинника.

Приблизившись к Адомасу, Богдан слегка наклонил в полупоклоне голову, тут же выпрямил ее.

— День добрый, боярин.

— Будь здоров, воевода. Что привело ко мне?

— Дело. Хочу говорить о нем без лишних глаз и ушей.

— Оставь нас, — повернулся Адомас к слуге, и тот послушно исчез.

— Боярин, челядник сказал, что ты занят. Я тоже тороплюсь, поэтому буду краток.

— И правильно поступишь, поскольку время дорого всем. Особенно в нашем с тобой возрасте.

— Скажи, не забыл ли ты о моей недавней поездке с князем Данилой и боярином Векшей в Москву?

— Помню о ней.

— Думал ли ты, что мой князь и я вернемся тогда из Москвы снова в Литву?

Адомас на мгновение задумался. Он прекрасно помнил, как около года назад русский боярин Бобрск,

ближайший сподвижник великого московского князя Дмитрия, пригласил в Москву на день ангела своей жены ее литовских родственников — князя Данилу и боярина Векшу. Сопровождая их, с княжеской охранной сотней ездил на Русь и стоявший сейчас против него воевода. Многие думали, что князь Данило останется в столь милой ему Москве навсегда. Однако тот возвратился, чем вызвал немало толков и пересудов. Искал тогда причину неожиданного поступка своего недруга и он, боярин Адомас... И вот сегодня, спустя год, этот страшный вопрос воеводы.

— Нет, не думал. Когда вы вернулись, был удивлен.

— И, конечно, стал допытываться обо всем у боярина Векши? Что сказал этот продажный пес?

— Что князь Данило оказался верен Литве и своему великому князю, — уклончиво ответил Адомас.

— Ты поверил сему?

— Нет.

Воевода чуть заметно усмехнулся.

— Ты был прав. Князь Данило и боярин Боброк отлично знали, что за человек Векша, и ни в чем ему не доверяли. Зато они не остерегались меня. Потому лишь четыре человека в Литве и на Руси доньше ведают, зачем князь Данило ездил в Москву и почему вернулся оттуда. Это великий московский князь Дмитрий, его мудрейший советник боярин Боброк, мой князь Данило и я.

Адомас недоверчиво посмотрел на воеводу.

— Возможно ли такое? Три сановитых державных мужа и ты, простой воевода? Трудно поверить.

Однако Богдан совершенно не реагировал на ядовитое замечание собеседника. Его лицо оставалось спокойным, голос звучал бесстрастно, правая ладонь неподвижно покоилась на крыже меча.

— Опасаясь боярина Векши, который ни на шаг не отставал от князя Данилы, московский Дмитрий и Боброк, переодевшись в простое платье, сами ходили по ночам в опочивальню моего князя и вели в ней тайные беседы. На страже дверей опочивальни всегда стоял только я, ближайший воевода князя Данилы. Стоял, дабы ни одно слово, прозвучавшее там, не достигло чужого уха. Но ты, боярин, знаешь, что для того, кто очень хочет видеть и слышать, не существует стен и дверей, равно как и стражи у них.

Адомас прищурился, его маленькие глазки пронизывающе уставились в лицо воеводы.

— Слуга, подслушивающий своего хозяина, уже изменяет ему, — осторожно заметил он.

— И ищет того, кому можно было бы подороже продать его тайны, — невозмутимо, как и прежде, прозвучал голос Богдана. — Ответствуй, боярин, желад бы ты стать пятым человеком, знающим самые сокровенные тайны своих недругов в Москве и Литве?

— Великий князь Ягайло щедро наградит того, кто откроет ему планы московского Дмитрия, — ответил Адомас, глядя в глаза воеводе.

Тот поморщился.

— Боярин, мы не маленькие дети, и оба знаем, что Литвой правят два человека: ты и потом уже великий князь. Потому и спрашиваю: что можешь обещать, ежели я сделаю тебя этим пятым человеком?

— Я еще не знаю цены твоему секрету.

Богдан понимающе хмыкнул.

— Хорошо, слушай... Московский Дмитрий ведает о литовском сговоре с Мамаем и считает, что у Руси сейчас два врага: на юге — Орда, на западе — Литва. Но дабы разбить их сразу, у Руси не хватает сил. И Дмитрий с Боброком замыслили громить своих недругов поодиночке. Они уже подняли на Мамаю всю Русь, и с этой доселе небывалой и грозной силой уничтожат вначале самого страшного и опасного врага — Орду. Потом, боярин, они примутся за твоего великого литовского князя, сегодняшнего союзника Мамаю.

Вцепившись в рукоять заступа, Адомас жадно слушал воеводу, стараясь не пропустить ни одного его слова.

— Но московский Дмитрий понимает, что Орда и Литва вряд ли станут спокойно ждать, когда он разобьет их, и могут напасть на Русь первыми, причем в одно и то же время. Дабы не позволить растащить собственные силы по частям, а иметь возможность бить недругов порознь, московский Дмитрий и Боброк замыслили следующее. Решив лишить Орду подмоги с запада и схватиться с ней один на один, они хотят вывести Литву из игры чужой силой, руками других ее врагов. Ты их знаешь, боярин. На юге это бесчисленные степные орды, не признающие власти золотоордынского хана, на западе — поляки, на севере — крестоносцы. Когда Ягайло покинет с войском Литву, эти

извечные его враги по тайному сговору с Москвой двинутся на ваши кордоны. Внутри княжества их подержат русские князья и бояре, тяготящиеся властью Литвы, а также Ягайловы недруги из литовской знати, кто давно уже недоволен им. А когда пожар в собственном доме, уже не до вражды с соседом. Поэтому литовскому князю придется спасти свое родное и кровное, а не зариться на чужое. Такова хитрая задумка московского Дмитрия и Боброка... Вот для чего нужна им помощь князя Данилы и прочих его единомышленников...

Воевода смолк, в упор посмотрел на Адомаса.

— Теперь и ты, боярин, ведаешь то, что знают на Руси лишь московский Дмитрий с Боброком, а в Литве — я с князем Данилой. Какова, по-твоему, цена моим словам?

Отведя глаза от лица Богдана и уставившись взглядом куда-то в пространство между двумя крепостными башнями, Адомас некоторое время молчал.

— Воевода, мне слишком много лет, чтобы верить кому-то на слово, — наконец заговорил он. — Жизнь научила меня ценить лишь дела и поступки, все остальное — ничто.

— Я знал, что ты не поверишь мне, а потому пришел только сегодня. Ни днем раньше, ни днем позже. Был уверен, что потребуешь доказательств моих слов, а я их до сего дня не имел.

Адомас сразу встрепнулся, насторожился.

— А сейчас?

— Суди сам. Три дня назад к князю Даниле ночью прискакали трое конных. Он сам встретил их у ворот, проводил на свою половину. Двоих прибывших я признал в тот же миг, как увидел, — это были доверенные люди боярина Боброка. Те, от кого у него нет тайн и кто проводит в жизнь все его хитроумные планы-задумки.

— Ты не мог ошибиться?

— Я не единожды видел их в Москве, когда был гостем Боброка, и хорошо запомнил.

— Что делают москвиты у князя Данилы?

— Покуда ничего, отсыпаются да отъезжают. Однако князь велел мне держать постоянно наготове конную полусотню, а заодно сыскать верного человека, хорошо знающего дорогу в Польшу и к черкасам-ватажникам. Такого человека я нашел, отборная полу-

сотня дружинников днем и ночью при конях. Для чего все это, мне пока неизвестно.

Сжав рукоять заступа с такой силой, что побелели кончики пальцев, Адомас задумался. Боярин Дмитрий Боброк-Волынец! Имелся ли в мире еще хоть один человек, которого бы он так боялся и ненавидел? Пожалуй, нет.

Выходец из далекой Волынской земли, боярин издревле русского княжества, попавшего после Батыева нашествия под власть Великого Литовского княжества, он не выдержал на своей родной земле чужого засилья и покинул отчий кров. Обретя после многолетних странствий приют и спокойствие души в Московском княжестве, он принес туда как память о крае отцов свое прозвище Боброк-Волынец. Его верная служба новой родине не осталась незамеченной, и вскоре он стал правой рукой и незаменимым советником Великого Московского князя. Не родовитость или богатство, не угодничество или слепое послушание позволили ему занять положение, которого старались добиться многие. Был он честен и прям, умен и храбр, знал несколько иноземных языков, мог читать латинские и цесарские книги. Бывал в разных далеких странах, повидал много страшного и поучительного, познав все стороны жизни и обретя немалый опыт. Сам же московский Дмитрий ценил в нем глубокий ум и воинскую доблесть, умение одновременно быть увертливым дипломатом и настойчивым проводником в жизнь политики Великого Московского князя. Боброк появлялся везде, где только грозила Москве беда, и на любом месте оказывался незаменим.

Адомас отвлекся от мыслей, глянул на Богдана:

— Все едино не верю тебе.

Русский воевода снова остался невозмутим.

— Я предвидел и это, боярин. Коли желаешь, представлю тебе способ проверить мои слова. Каждая птичка рано или поздно возвращается к своему гнезду. Точно так люди Боброка в конце концов тоже вернутся к тому, кто верховодит ими в Литве. Я покажу московских лазутчиков твоим слугам, а как поступать дальше — не тебя учить. Когда окончательно решишь, можно ли мне верить, мы продолжим наш сегодняшний разговор. Согласен?

— Ты еще не сказал, что желал бы получить за свою верную службу. Говори.

От взгляда Адомаса не укрылось, как застыли у воеводы на скулах желваки, опустились в землю глаза.

— Боярин, князь Данило стар и одинок. Ежели его вдруг не станет, вспомните с великим князем обо мне.

— Обещаем это, — без раздумий ответил Адомас.

Он мог обещать этому человеку что угодно, поскольку был убежден, что до выполнения обещаний дело никогда не дойдет и воевода попросту не успеет воспользоваться какими-либо плодами своего предательства.

— Благодарю, боярин. Скажи, где и когда ждать твоих людей, дабы указать им московских лазутчиков.

— Они будут у тебя сегодня ночью. Узнаешь их по такому перстню. — И Адомас протянул воеводе руку.

— Прощай, боярин. Помни о своем обещании.

— До встречи, воевода. Будь и дальше верным слугой великого князя Ягайлы.

Развернувшись, Богдан той же размеренной поступью направился к выходу из цветника. Он уже исчез, а Адомас все еще продолжал стоять, опершись руками о заступ и уставившись глазами в землю...

Воевода подошел к группе поджидавших его русских дружинников, вскочил в седло.

— К князю! — бросил он сотнику.

Однако покинуть замок им удалось не сразу: в крепостные ворота въезжала кавалькада всадников. Впереди на рослом буланом жеребце восседал преисполненный важности боярин Векша. На нем был роскошный жупан, на голове золоченый шлем с султаном из перьев, на боку усыпанный самоцветами меч. На жеребце бросался в глаза чепрак с серебристой бахромой, конская грива, дабы ее не лохматил ветер, была убрана под сетку из тонкой, полупрозрачной зеленоватой ткани. Мелодично звенели посеребренные бубенчики на ногах жеребца, глухо и размеренно ухал набат на седле — даже слепой должен был знать, что мимо едет боярин, и уступить ему дорогу.

По бокам Векши на белых тонконогих аргамаках ехали его два сына: молодые, статные, с лихо закрученными усами. Если младший спокойно смотрел перед собой на дорогу, то старший, подбоченясь в седле, гордо озирался по сторонам, окидывая встречных пренебрежительным взглядом. У младшего боярского сына чепрак заменяла шкура барса, у старшего —

рыси. Крупные, с оскаленными пастьми головы зверей лежали выше седельных луков, их согнутые лохматые лапы с выпущенными на всю длину когтями плотно обхватывали бока лошадей.

— Не русский боярин, а прямо-таки аломанский князь, — презрительно заметил придерживавший подле воеводы скакуна сотник из его отряда. — Спеси-то сколько! Откуда она и берется? Ведь ни умом, ни воинской доблестью боярин никогда не блистал.

— Зато его младший сын — добрый рубака, — сказал Богдан. — Я дважды ходил с ним на крестоносцев. Немале мы тогда их рогатых шлемов вместе с хозяйскими головами на полях оставили. Жаль будет, если такой молодец пойдет по дорожке своего отца.

— Старший уже пошел, — проговорил сотник. — Я был с ним на ляшском порубежье, знаю.

Воевода не поддержал разговора. Проводив глазами последние ряды конной боярской дружины, следовавшей за Векшей и его сыновьями, он вытянул коня плотью.

— За мной, сотник. Князь Данило ждет нас.

2

Опустив на колени манускрипт, Адомас медленно окинул взглядом представшего перед ним слугу. Усталое, осунувшееся лицо, оцарапанные ветвями деревьев руки, покрытые слоем пыли сапоги. Было видно, что ему пришлось проделать длинный и нелегкий путь, прежде чем предстать перед боярином. Это был один из слуг, которых он посылал к воеводе Богдану с приказанием следить за московскими лазутчиками.

— Слушаю тебя, Казимир.

Прибывший входил в число тех немногих близких слуг, которым боярин поверял свои самые тайные и опасные дела. Хорошо знавший привычки господина, Казимир был немногословен.

Воевода Богдан сделал все, что обещал. Будучи единственным и полновластным распорядителем внутренней жизни княжеской усадьбы, он выдал присланных литовских соглядатаев за новых княжеских дворовых, избавив их от неизбежных в таких случаях расспросов. Лично Казимир, приглянувшийся воеводе своей сметкой, был направлен к челядникам, которые обслуживали москвитов. Когда двоим из них пришло

время покидать усадьбу князя Данилы, воевода назначил Казимира им в провожатые. Хорошо известными ему звериными тропами он провел москвитов в Черное урочище. Но когда те отпустили его, пошел не обратно в усадьбу, а за ними. Так названным гостем он попал в тайный лесной лагерь москвитов.

— Я родился и вырос в этих местах, знаю здесь каждый камень и куст. Поэтому змеей прополз мимо секретов москвитов и очутился на краю большой поляны. Посреди нее горел костер, вокруг сидело несколько человек. Но я узнал только одного, к которому подошли вновь прибывшие. Я вначале не поверил собственным глазам и даже ущипнул себя — не сон ли вижу? Потому что этим человеком был не кто иной, как боярин Боброк-Волынец.

Адомас вздрогнул так, что в стоявшем сбоку от кресла канделябре заплесало пламя свечей.

— Врешь, холоп, — прошипел он, подавшись корпусом вперед. — Откуда тебе знать боярина Боброка?

— Господин, ты несколько раз посылал меня с тайными письмами в Москву. Там три или четыре раза я видел боярина Волынца и запомнил на всю жизнь. У меня, как у старого охотника, острый глаз, я чувствую живую тварь в темноте, как зверь. Для меня лес — родной дом, я смог бы узнать в нем боярина Боброка даже с закрытыми глазами по одному лишь дыханию, а на поляне он сидел от меня всего в десятке шагов и был освещен ярким костром. Ошибиться я не мог никак — это был Дмитрий Боброк, и никто другой. Верь мне, боярин.

Откинувшись на спинку кресла, Адомас старался унять охватившую его нервную дрожь.

— Дальше...

— Еще раньше по твоему велению, господин, наши люди обложили со всех сторон усадьбу князя Данилы. Высмотрев что нужно, я потихоньку отполз от пристанища боярина Боброка и направился к ближайшей нашей засаде. Привел часть ее людей с собой к поляне, приказал тайно следить за москвитами и лишь после этого прискакал к тебе. Скажи, что нам делать дальше?

Хороший слуга что умело выпколенный пес. Выполняй приказ, он должен ждать нового. Однако давать следующую команду рано, поскольку самому хо-

вяину не все ясно до конца. Адомас выпрямился в кресле, пристально глянул на Казимира.

— Что еще скажешь о москвитях? Сколько их, каковы собой?

— На поляне их было человек тридцать. Но боярин Боброк осторожен и, конечно, расставил вокруг своего становища сторожу. Думаю, всего наберется их душ пятьдесят. Все конны и оружены, в бронях или кольчугах, молодец к молодцу. Лучше с медведем один на один в лесу повстречаться, нежели с таким в чистом поле.

— Что заметил на поляне помимо москвитов?

— Два воза. Стояли рядышком подле костра, и ходила вокруг них стража с копьями.

— Возы? — насторожился Адомас. — Что за возы? Откуда? С чем?

Казимир пожал плечами:

— Не знаю, господин. Возы как возы, такие почти в каждом хозяйстве имеются. Оба с поклажей, обшиты рядном и перевиты всревками. И кони из упряжей рядом пасутся.

Да, Казимир, не зря послал он тебя к князю Даниле. Много ты рассказал интересного, есть над чем поломать голову. Но слугу, как хорошую собаку, нельзя баловать излишней лаской. И Адомас строго посмотрел на челядника:

— Говоришь, провожал в урочище двоих москвитов? А как твои люди упустили третьего, что был с ними у князя Данилы?

Казимир смик, отвел глаза в сторону.

— Винюсь, боярин. Этот москвит усакал с княжьей полусотней, о которой говорил воевода. Вырвались они в полночь из ворот усадьбы и взяли сразу в полный намет. Пятьдесят с лишним мечей... От такой силы надобно держаться подальше и без крайней нужды не связываться. Двадцать верст мои люди за ними гнались и след держали, а в одной лесной низине утеряли его. А в чащобе ночью, куда попало не сунешься: стрела или меч быстро прыти поубавят. Когда же рассветло и подошла подмога, беглецов и след простыл.

— Что сказал о вашей промашке воевода?

— Вместе с дружинниками был проводник, знающий дороги от Крыма до Карпат. Повели сей отряд княжий сотник Андрей и москвит, верный человек

Боброка — тоже сотник по имени Григорий. Но куда и зачем они отправились, воевода не ведает.

Полузакрыв глаза и вытянув руки вдоль широких подлокотников кресла, Адомаc задумался. Значит, Боброк не на Руси, не с московским Дмитрием, а рядом, на русско-литовском порубежье, почти под боком у великокняжеского замка. Отчего он здесь, что ему надобно? Неужто его присутствие для князя Дмитрия сейчас важнее здесь, в Литве, нежели в самой Москве или на кордонах с южной степью, откуда надвигается на Русь Мамай? Что за люди с Боброком, что связывает их с князем Данилой? Что в тех обвязанных рядном возах, которые даже при Боброке окружает стража? Кому и зачем потребовалась полусотня отборных дружинников князя Данилы с его вернейшим сотником Андреем? Куда они поскакали, для чего им нужен проводник, знающий дороги до самых Карпат?

Вопросы теснились в голове, от их обилия темнело в глазах и ломило в висках. Каждый таил неведомую и оттого еще более страшную угрозу, требовал немедленного решения. А все сводилось к тому, что в урочище, где пребывает Боброк, должен отправиться он сам, поскольку лишь ему по силам единоборство с таким противником, как Дмитрий Боброк.

Адомаc открыл глаза, глянул на Казимира.

— Хочу сам видеть Боброка. И как можно скорее.

— Если выступим в дорогу через час, к вечеру будем у ночного становища московитов.

— Отправляемся в урочище немедля. Предупреди об этом всех, кого надобно. Заодно пусть будут готовы три конные сотни великокняжеской стражи. Ступай.

Адомаc проводил глазами уходящего Казимира, повзвонил в колокольчик.

— Вели седлать моего коня и помоги переодеться, — сказал он тотчас вошедшему дворецкому.

Как предсказывал Казимир, на место лагеря Боброка они прибыли к вечеру. Едва скакавший первым Казимир остановил коня перед остатками потухшего костра, с ветвей одного из деревьев, окружавших поляну, прыгнул человек и подбежал к нему.

— Туда, — коротко сказал он, указывая направление.

Его слова были излишни, поскольку в ту сторону вели две глубокие борозды от колес телег и уходила цепочка следов конских копыт. Быстро осмотрев пустую поляну, на которой не было обнаружено ничего заслуживающего внимания, отряд Адомаса двинулся по оставленной колее. Впереди шел напарник Казимира, поджидавший его прибытия на дереве, за ним ехал Казимир с десятком латников, и лишь затем на рослой, с огромным крупом кобыле — боярин Адомас. Хотя вместо обычного седла под ним было нечто среднее между седлом и мягким стульчиком, длительная дорога его изрядно утомила. Ломило позвоночник, болели тазовые кости и бедра, к горлу подкатывал и не давал нормально дышать сухой першистый комок.

Однообразие медленного движения постепенно начало укачивать боярина, он все чаще закрывал глаза. Вдруг внезапно остановившаяся кобыла чуть не заставила его вылететь из седла-кресла. Схватившись за рукоять длинного охотничьего ножа, который он привык носить вместо меча, Адомас повел глазами по сторонам и вздрогнул. Прямо перед копытами его лошади лежали один возле другого три трупа. Соскочивший с коня Казимир уже нагнулся над ними и переворачивал лицами вверх.

Это были трупы его людей, которых он оставил наблюдателями вокруг поляны и которые после ухода с нее отряда Боброка пошли следом за московитами. Все трое были поражены стрелами. Из двух тел стрелы были вытащены и лишь у одного обломок торчал между ребер. С холодком, невольно пробежавшим по коже, Казимир отметил про себя меткость неизвестных стрелков и их хозяйственность опытных воинов, хорошо знающих в походе цепу каждой стреле и не желающих напрасно терять ни одной из них. Встреча с такими сулила мало приятного, и, не будь рядом боярина, он предпочел бы находиться подальше от головы колонны.

Выпрямившись, он хотел подойти к Адомасу, однако тот, недовольно скривив губы, махнул рукой. Боярину все было ясно и без объяснений. На этом месте охотники, шедшие по следу, сами превратились в дичь. То ли они позволили московитам почувствовать погоню, то ли те попросту решили проверить свой «хвост», но результат был налицо: несколько стрел, пущенных

чуть ли не в упор, избавили отряд Боброка от нежелательного сопровождения.

Приказав выслать вперед разведку, боярин пропустил мимо себя полтора десятка всадников и лишь потом тронул кобылу с места.

Борозды от колес привели преследователей к широкой, спокойно несущей свои воды лесной речушке. Ее низкие, слегка заболоченные берега густо поросли осокой и тальником, к чистой воде вела узенькая, прорубленная в кустарнике тропинка. В ее начале, посреди небольшой поляны, стояли два пустых распряженных веза и пузырилась гора брошенной холстины. Следы лошадиных копыт вели по тропинке к воде, на противоположном берегу, чуть ниже по течению, они начинались снова, исчезая затем в береговом кустарнике.

Приподнявшись на стременах, боярин зорко всматривался в пустынный берег, как вдруг неясный шум сбоку привлек его внимание. Обернувшись, он увидел, что возле одного из оставленных московитами везов стоят на четвереньках двое его дружинников. Один, вцепившись товарищу рукой в горло, стремился дотянуться до его руки, сжатой в кулак и отведенной за спину. Казимир, перехватив взгляд Адомаса, поднял коня на дыбы и очутился возле дружинников. Разревала воздух плеть, опускаясь на их плечи, свистнула еще раз, обвиваясь вокруг сжатой в кулак руки. Кулак разжался, и на землю упали несколько тускло блеснувших кружочков. Казимир соскочил с коня, быстро нагнулся над ними. Подобрал их, он почему-то также опустился на четвереньки и начал медленно ползать под везами.

Встав с земли, Казимир подошел к наблюдавшему за ним боярину, молча протянул руку. На ладони лежали несколько золотых монет. Адомас взял одну, поднес к глазам и довольно прищурился. Именно то, что он и предполагал. Вот почему везы были так тщательно перевязаны и охранялись даже от своих людей. А Казимир уже протягивал боярину другую руку с зажатой в пальцах короткой толстой веткой. Между мелкими чешуйками ее коры застрял обрывок грубой серой нити.

— Торопились московиты, боярин, видно, погони нашей опасались. Брод искать недосуг было, а река в этом месте для переправы тяжелых везов никак не

годится. И глубина в два человеческих роста, и дно неподходящее: ил засосет колеса возов по ступицы. Вот и пришлось москвитам перегружать поклажу на седла, в спешке кто-то зацепил мешком за ветку. Монеты, что в дыру просыпались и на виду оказались, москвиты подобрали, а которые в траву укатились, времени искать не было.

Адомас бросил монету Казимиру, брезгливо вытер о лошадиную гриву пальцы.

— Обоих в железо, а вернемся в замок — в погреб, — отрывисто бросил он, даже не взглянув на провинившихся дружинников. — Или нет, стой, — с усмешкой остановил он бросившегося выполнять его приказание Казимира. — Отправь их первыми на тот берег. Пусть не я, а бог станет им судьей.

Адомасу вовсе не было жалко тех золотых кружочков, которые пытались утаить от него воины. Что значили они для него? Ровным счетом ничего. Разве можно было обменять их на здоровье или откупиться от постоянно сидевшей в нем боли? Все золото мира было бессильно помочь боярину в его беде, а потому ни вид драгоценного металла, ни обладание любым его количеством Адомаса несколько не волновали. Наказывал же он дружинников за то, что, утаив монеты и не стань ему известно о находке, кто знает, какой дальнейший ход с цели появления Бобрка в Литва получили бы его мысли.

Адомас с интересом наблюдал, как оба дружинника медленно, опасливо, один за другим спустились по тропинке к реке и заставили коней войти в воду. За ними цепочкой двинулись остальные всадники.

Что заставило боярина ударить кобылу в бока шпорами и кинуть с ней в обступившие поляну кусты, он точно объяснить не мог. То ли расслышал звон летящей стрелы, то ли в нужный миг безошибочно сработал инстинкт самосохранения, так сильно развитый в нем с детства. Как бы то ни было, прежде чем посланные первыми через реку дружинники, пронзенные стрелами, стали падать с лошадей, он уже оказался в кустах и выглядывал из-за ствола толстого дерева. Оставив мертвых товарищей в мелкой прибрежной воде, великокняжеские стражники разворачивали коней обратно. Но тут снова просвистели в воздухе стрелы, и двое из них, взмахнув руками и выпустив поводья, повалились из седел. Пока уцелевшие воины

сумели достичь спасительного берегового кустарника и исчезнуть в нем, еще двое из них свалились с лошадей.

Адомас непроизвольно передернул плечами, вытер со лба холодный пот. Шесть стрел и столько же неподвижно лежащих тел. Да, Боброк знал, кого брать в попутчики, на кого можно смело положиться в рискованном путешествии по Литве.

— Боярин, я знаю эти места, — прозвучал у него над ухом голос Казимира. — Верстой ниже на реке будет брод. Если позволишь, я незаметно переправлю там одну нашу сотню и ударю на москвитов. Мы зажмем их с двух сторон, и золото московского Дмитрия станет нашим.

Золото, опять золото! Проклятый металл! Оно слепит людям глаза и отбирает у них последние крохи разума. Разве не ясно, что на противоположном берегу обыкновенное прикрытие, какой-нибудь десяток стрелков, которые должны как можно дольше задержать погоню и дать возможность остальным москвитам уйти от преследователей. Если на том берегу все такие лучники, что сейчас сорвали переправу его латников, они изрядно проредят отряд Адомаса еще до того, как дело дойдет до рукопашной.

И самое главное: из-за чего он должен рисковать? Особенно теперь, когда солнце прячется за вершины деревьев и в лесу вот-вот наступит темнота. Тем более что он уже узнал все, из-за чего пустился в это сопряженное с риском для жизни преследование.

— В замок! — выкрикнул он в лицо Казимиру. — Как можно скорее, пока не село солнце!

3

Разговор Адомаса с великим литовским князем состоялся на следующее утро после возвращения в замок. Ягайло внимательно выслушал рассказ боярина, ни разу не перебив и не задав ни одного вопроса. Нахмутив лоб, он некоторое время смотрел на замолчавшего Адомаса, затем отвел глаза в сторону.

— Ты брал с собой три сотни воинов. Кто мешал взять их десять, пятнадцать, двадцать? Кто мешал окружить весь лес, чтобы навсегда забыть о Боброче и его золоте?

— Великий князь, я хорошо знаю боярина Боброка... Возможно, так же, как самого себя. Уверен, что в его отряде был проводник из местных русичей и он ушел бы от любого числа наших воинов. Таких врагов, как Боброк, берут не числом, а хитростью.

— Тогда для чего у меня ты? — с иронией произнес Ягайло. — Чтобы не мешать Боброку разгуливать по Литве, как по своей Москве?

Адомас позволял себе терпеть подобный тон только от одного человека во всей Литве — от великого князя. Поэтому он тотчас погасил готовый вспыхнуть в груди приступ ярости.

— Великий князь, куда Боброк бежит от нас по лесным чащобам, он не страшен. Нам опасны его встречи с единомышленниками, письма к ним, доставленное из Москвы золото. Я окружу урочище, где он спрячется, засадами и секретами, направлю в лес лучших своих лазутчиков. Я каждый день буду стягивать вокруг него свою смертельную петлю все туже. Настанет час, когда Боброк, живой или мертвый, окажется в моих руках.

Ягайло пренебрежительно хмыкнул:

— Можешь не стараться. Я завершил приготовления к походу на Русь и не сегодня завтра двинусь с войском на московского Дмитрия. Что тогда для Литвы какой-то скитающийся по ее лесам и болотам москвит, будь он даже самим Боброком?

Адомас нервно провел рукой по подбородку, щипнул бороденку.

— Великий князь, о предстоящем походе на Москву я и пришел говорить с тобой.

— О походе? — удивился Ягайло. — Что смыслишь ты в воинском деле, боярин? О чем нам говорить? У меня сейчас пятьдесят тысяч воинов, с которыми Литва не раз била поляков и громила крестоносцев. Я сам поведу их на Москву. А когда мой меч нависнет над Русью с запада, с юга двинется Мамай, в результате князь Дмитрий окажется между молотом и наковальней.

— Великий князь, ты хорошо подсчитал собственные силы. А знаешь ли ты своих врагов?

— На Псковщине пятнадцать тысяч русичей, на Брянщине — двадцать, остальные русские войска в Москве и Коломне. Однако они собраны против Мамая, которого Москва страшится пуще всего, и Дмитрий не

возьмет оттуда против меня ни одного воина. Я все рассчитал.

— Великий князь, ты видишь своего врага только на востоке. Скажи, разве нет его на юге? А на западе и севере?

— На литовских рубежах везде покой.

— Пока покой, великий князь. На русских кордонах тоже тишина, но разве не нависла над ними смертельная угроза? Я рассказал тебе о моем разговоре с русским воеводой Богданом и том плане, что замыслили против Литвы московский Дмитрий с Боброком. Тогда я не поверил воеводе, а сейчас начинаю верить. Иначе для чего появился в Литве боярин Боброк, один из творцов сего плана? Зачем с ним два воза московского золота? А может, были и другие возы, о коих нам неизвестно? Куда золото идет из Москвы? Ясно, что к друзьям Руси, значит, недругам Литвы... Но к каким? Тем, что угрожают нам на юге? Или, может, на западе? А вдруг к крестоносцам? Откуда ждать Литве удара в спину, когда ты поведешь свои войска на Русь?

Адомас был прав — опасность грозила Литве не только с востока. На юг и юго-восток от границ Великого Литовского княжества простиралась дикая степь, по которой кочевали орды ханов и мурз, привносящих над собой единственную власть — золото. Вчера они шли в набег на Русь, сегодня — на Литву, завтра пойдут на Польшу. Сколько сил и крови стоило Литве сдерживать этот разрушительный вал на своих южных кордонах!.. На западе и севере были поляки и немцы, послушные слуги римского папы, только и мечтающего о продвижении католичества в языческую Литву и на православную Русь. Ягайло мог нересчитать все годы, когда на западных или северных границах Литвы не сверкали бы мечи и не лилась кровь. Боярин не грешил против истины: опыт прошлого не позволял великому князю забывать о своих врагах на юге, западе и севере.

— Я завтра же прикажу усилить наши западные и северные крепости и гарнизоны. Велю двинуть на границу со степью несколько конных полков. Я замкну все литовские кордоны на крепкий замок.

В комнате раздался дребезжащий смех Адомаса.

— Великий князь, в результате этого ты лишишься десяти тысяч воинов, и для похода на Русь оста-

нется уже сорок тысяч. А ведь ты не обменялся с московским Дмитрием еще ни одной стрелой, ни единым ударом меча.

— Пусть так, боярин. Но и с сорока тысячами воинов я отвлеку на себя русичей, что расположились на Псковщине и Брянщине. Это без малого четверть русского войска, которое собрал московский Дмитрий. Разве это не будет помощью Мамаю?

И тогда в голосе Адомаса зазвучал металл:

— Великий князь, ты думаешь и заботаешься только об Орде и Мамае, твердишь все время о помощи татарскому хану. А представляешь ли, чем может обернуться эта помощь для тебя самого? Говоришь, на Псковщине пятнадцать тысяч воинов-русичей? Да, там стоят русские дружины, однако во главе их полурусич-полулитовец — твой родной брат Андрей Полоцкий. На Брянщине тоже двадцать тысяч русичей, но их главный воевода опять-таки полурусич-полулитовец — твой родной брат Дмитрий Трубчевский. Не тысячи русских воинов твои враги на востоке, великий князь, а эти двое, такие же сыновья старого Ольгерда, твоего отца, как и ты сам, — князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. Опаснее этих недругов у тебя нет никого в мире.

Ягайло вздрогнул, его лицо исказилось ненавистью, сложенные на груди руки сжались в кулаки.

— Боярин, ни слова об этих предателях, — прохрипел он. — Ни слова, прошу тебя.

Адомас внутренне рассмеялся: он всегда рассчитывал свой удар так, чтобы тот был как можно точнее и болезненнее. Он не ошибся и сейчас. Великий князь терпеть не мог даже упоминания о родных братьях, православных князьях Дмитрие и Андрее Ольгердовичах, вскоре после смерти отца, прежнего великого литовского князя Ольгерда, перешедших на службу к московскому Дмитрию и ставших князьями в Брянске и Пскове. Ласково принятые самим Дмитрием и его двоюродным братом князем Владимиром Андреевичем Серпуховским, женатым на их сестре, тоже православной княжне, они служили Руси верой и правдой, став самыми непримиримыми врагами своего брата Ягайлы. Сколько литовских и русских князей и бояр, следуя их примеру, также отошли от Литвы, признав над собой руку великого московского князя!

Прекрасно зная это и отлично понимая причину вспышки гнева Ягайлы, Адомас тем не менее все

не собирався щадить самолюбие великого князя и лить бальзам на его душевные раны. Совсем не для того явился он к нему, будучи больным и едва держась на ногах от усталости. Если в заботах о благе Литвы боярин не щадил самого себя, то что ему до тщеславия и домашних неурядиц семейства Ольгердовичей!

— Проклятые изменники, из-за зависти ко мне и моему титулу они переметнулись к московскому Дмитрию!

Глаза великого князя были сужены от злости, на лице появились красные пятна.

— Нет, великий князь, вовсе не зависть или желание обладать великокняжеской властью заставили их покинуть Литву и уйти в Москву. Их матерью была русская княжна, с ее молоком они впитали любовь к Руси, с детства выросли не в язычестве или латинской вере, а в православии. Если Ольгерд и ты смотрели на Русь как на врага и шли на нее с мечом, то они видели в ней друга и звали к союзу с ней. Они хотели, чтобы Русь и Литва, как две сестры, пресекали вместе ордынский грабеж на востоке и юге, равно как папское нашествие на западе. Вот почему стали вы чужими, великий князь, вот отчего вы, трое Ольгердовичей, превратились в непримиримых врагов.

— Согласен, что московский Дмитрий сделал хороший ход, выставив против меня моих же братьев. Но почему я должен их бояться, а не они меня?

— Вы все трое сыновья Ольгерда, вместе росли и воспитывались, у вас были одни и те же друзья. Сейчас эти товарищи детства и юности стали литовскими князьями и боярами, твоими воеводами и придворными. Но знаешь ли ты, что творится у них в душе, чего они тайно желают? Чью сторону примут они, потерпи ты хоть малейшую неудачу в борьбе с Русью? Уверен ли, что в этом случае им милее окажешься ты, а не твои братья? Случись последнее, я не знаю, на голове какого из сыновей старого Ольгерда очутится его корона.

Ягайло промолчал, отвернулся к окну. Вскоре снова донесся его глуховатый голос.

— Ты прав, боярин, я согласен с тобой. Давай не будем больше бередить старые раны.

— Хорошо, великий князь. Однако помни следующее. Татарский Мамай будет сражаться только с Русью, с московским князем Дмитрием. А ты в первую

очередь обнажишь меч против своих родных братьев, соперников на место великого литовского князя. Если Мамай, потерпев неудачу, лишается только богатой и лакомой добычи, ты, не победив братьев, можешь потерять Литву и, возможно, жизнь. Никогда не забывай об этом.

Адомас замолчал, какое-то время в комнате висела тишина. Но вот фигура великого князя, доселе неподвижно стоявшего у окна, сдвинулась с места, он вновь сел за стол, подпер голову руками. Его глаза остановились на сгорбившемся возле двери Адомасе.

— Я воин, боярин. Никто даже из моих врагов не упрекнет меня в трусости или неумении воевать. Однако политика не моя стихия. Скажи, что сейчас делать мне, великому князю Литвы, у которого со всех сторон только враги, а единственный союзник и друг — бывший ордынский темник, с которым не сегодня завтра я сам буду вынужден скрестить меч.

Огонек торжества мелькнул и тотчас погас в опущенных глазах боярина, волна радости разлилась по его телу, моментально притупив никогда не затихающую боль.

— Великий князь, прошу тебя только об одном — не торопись. Влезть в драку всегда куда легче, нежели выбраться из нее. Мамай обещал прислать к тебе гонца, жди его, выслушай, что он скажет, и лишь тогда решай, как тебе поступить. А пока не спускай глаз со своих братьев, потому что неспроста стоят они на нашем порубежье. И запри на крепкий замок все границы, ибо враги не дремлют и в любой миг готовы воспользоваться малейшей твоей ошибкой. Не торопись и жди.

— Хорошо, боярин. Но обещаю, что избавишь меня от Боброка. У меня слишком много хлопот, чтобы ждать каждую минуту его козней.

— Обещаю, великий князь, — торжественно произнес Адомас. — Забудь это имя, поскольку никогда больше не услышишь его.

Не только литовский князь Ягайло и его боярин Адомас ждали гонца из Орды.

На несколько сот верст южнее, на черте, где море северных лесов переходит в безбрежное раздолье южной степи, на вершине высокого кургана лежали трое. Одним был сотник князя Данилы Андрей, другим — московский сотник Григорий, очутившийся в Литве

вместе с Боброком. Третьим был атаман той бесшабашной и воинственной, не признающей никого на свете, свободолюбивой южнорусской вольницы, которая в это время начала формироваться на славянском порубежье со степью и которая через столетие войдет в историю всей Европы под грозным именем казачества.

Над их головами высилась наскоро сложенная из бревен и жердей сторожевая вышка, на верху которой попеременно днем и ночью дежурил кто-либо из дружинников сотника Андрея. У подножия кургана расположились остальные дружинники и несколько десятков людей атамана Дороша.

Все они тоже дожидались гонца из Орды. Оба сотника хорошо помнили слова Боброка и князя Даниила, сказанные им на прощанье. Несметные полчища Мамай уже двинулись на Русь и остановились у впадения в Дон реки Воронеж. Там Мамай решил разбить свой лагерь и собрать воедино все разноплеменное и разноязычное воинство. Оттуда, из его ставки в устье Воронежа, несколько дней назад им посланы гонцы к союзникам — рязанскому князю Олегу и великому литовскому князю Ягайле.

Содержание полученной в Рязани грамоты уже известно князю Дмитрию и Боброку, однако в ней нет ничего, что касалось бы Литвы и совместных планов Мамай и Ягайлы. Послания, отправленного в Литву, у московского князя и Боброка покуда на руках нет, а как важно оно для них! Как необходимо знать, сколько и каких сил собрал Ягайло для похода, когда и как замыслил он выступить из Литвы, как намерен использовать его войска Мамай. Как много значило раскрытие этих замыслов врагов для действия князя Дмитрия, как помогло бы ему принять единственно верное решение. Вот почему обоим сотникам было приказано перехватить гонца, везущего послание в Литву, и таким образом проникнуть в неприятельские тайны.

С этой целью в степном порубежье в их распоряжение поступали три сотни вольных людей-ватажников со своим атаманом казаком Дорошем, которого связывала с князем Даниилом давняя и крепкая, загадочная для обоих сотников дружба. Ускользнув в результате многочасовой бешеной скачки из-под наблюдения лазутчиков боярина Адомаса и незаметно проскочив мимо пикетов пограничной литовской стражи,

сотники в условленном месте встретились с атаманом Дорошем. И вот уже четвертые сутки они вместе ждут известий от своих дозоров, рассыпанных широким веером в степи и взявших под неусыпное наблюдение все известные Дорошу и его людям дороги и тайные тропинки, ведущие от Дона к Литве.

Дозорные прискакали лишь на шестой день, к вечеру. Усталые, запыленные, с провалившимися от бессонницы глазами, с потрескавшимися от солнца и ветра губами. Они остановили взмыленных лошадей у подножия кургана, соскочили с них и медленно, разминая затекшие от долгой скачки ноги, двинулись к сторожевой вышке. Но атаман и сотники уже сами спешили им навстречу.

— Ну? — строго спросил Дорош у старшего из дозорных.

— Скажут, атаман, — еле слышно ответил тот, — Сотня их. Идем за ними от Гнилого ручья.

Дорош нахмурил брови, недоверчиво посмотрел на дозорного.

— Ничего не путаешь, казаче? Уж больно далеко они влево взяли. Как будто не в Литву, а в Польшу скачут.

— Они это, атаман, знаю их проводника. Местный нагаец, давно в ордынских да литовских тайных делах замешан. А влево они взяли потому, что боялись встретить московские дозоры, которые вокруг Дона по степи рыщут. Мы сами их несколько раз видели.

— Сотня? — удивился Андрей, переводя взгляд с дозорного на Дороша. — Маловато что-то. Такая грамота, и всего сотня охраны...

— А зачем больше? — пожал плечами Дорош. — Главное для ордынцев — скрытность, а в таких делах чем меньше людей, тем лучше. Не на свои сабли, а на быстрых коней рассчитывают они.

— Идут каждый о двуконь, — продолжал дозорный. — Днем спят, скачут только ночью. Нагаец знает эти места не хуже нашего, так что темнота им не помеха. Определили мы их не больше, чем на два ночных конных перехода.

— Где ждать ордынцев? — нетерпеливо спросил сотник.

— От Гнилого ручья на Литву две дороги, — ответил дозорный. — Когда станет ясно, какую они выбе-

рут, наши еще гонца пришьют. Мои хлопцы продолжают неотступно вражий след держать.

— Не упустим? — взглянул на атамана Андрей.

— Не тревожься, — весело улыбнулся тот. — Коли уселись ордынцам на хвост, никуда им от нас теперь не уйти и не деться. Никто лучше нас этих мест не знает, мы здесь хозяева. Так что готовь с Гришей своих кольчужников к встрече дорогих гостей...

Радость атамана оказалась преждевременной. Около полуночи перед ним стоял другой вестник, на этот раз от одного из тех дозоров, что были отправлены острожным Дорошем в сторону литовской границы.

— Атаман, в полтора переходах от тебя конники Ягайлы, — едва переведя дух и не соскочив с коня, залпом выпалил оп. — Пятьсот мечей, держат путь в степь. Ведут их три проводника-крымца.

Дорош нахмурился, зло дернул длинный ус.

— Что молвите, други? — спросил он, глядя на сотников. — Зачем пожаловали литовцы в наши края, что им здесь понадобилось?

— Неужто идут по нашему следу? — предположил Григорий. — Не должно быть такого, от погоны мы оторвались в первый же день. Здесь наверняка что-то иное.

— Верно, Гриша, и мне сдается, что не из-за вас погнал Ягайло в степь пять сотен своих латников, — задумчиво проговорил атаман. — Будь я проклят, ежели эта полутысяча не идет навстречу гонцу из Орды. Встретятся, где договорились заранее, и никакой черт татарве страшен не будет. Московские заставы тихом обошли, а чтобы и дальше с гонцом ничего не приключилось, Ягайло выслал ему собственную охрану. Вот почему ордынцы шли от Дона одной сотней.

— Думаю, атаман, ты прав, — сказал Андрей. — Но сколько бы ни было степняков и литовцев и как бы они ни хитрили, грамоту мы должны отбить. Не тебе объяснять, что она для Руси значит.

— Сдается мне, что ничего не получится у Мамая и Ягайлы с их затеей, — усмехнулся Дорош. — Имеется у меня думка, как оставить этих мудрецов в дурнях.

Он подозвал к себе находившегося невдалеке ватажника, приказал немедленно разыскать и привести к нему сотника Ярему. Через минуту сотник в полном

снаряжении, словно его не оторвали только что ото сна, стоял перед атаманом.

— Ярема, от литовского кордона навстречу ордынскому гонцу движется Ягайлов загон в пять сотен мечей, — сразу начал Дорош, в упор глядя на сотника. — Если они соединятся, не видать нам Мамаевой грамоты, как собственного затылка. Поэтому надлежит тебе утром выступить со своей сотней наперерез литовцам. Знаю, Ярема, что хитер ты как ведьмак, да и места эти изучил как свой карман, а потому умри, разорвись, но задержи латников хотя бы на день. Дразни их, не давай отдыха ни днем, ни ночью, выматывай их коней, но придержи переход. Не подведешь, друже?

Скуластое, с плутоватыми глазами лицо сотника расплылось в улыбке.

— Когда я подводил тебя, атаман? Коли надобно придержать — значит, придержу. Ярема может черта за хвост изловить, а Ягайловых кобыл с галопа сбить ему все равно что по ветру плюнуть.

— Потому и посылаю тебя, сотник. Выступишь с рассветом, а покуда отдыхай.

Когда сотник ушел, атаман повернулся к Андрею с Григорием:

— Вам, други, советую то же. Идите и ложитесь, потому что с солнцем поскачем и мы с вами. Но если Яремина дорога лежит навстречу литовцам, то наша к степнякам. Покуда Ярема станет морочить голову Ягайловым латникам, мы должны отбить грамоту...

Когда первые лучи солнца коснулись земли, степной курган был пуст. Лишь сиротливо торчала на его вершине одинокая сторожевая вышка да едва дымился потушенный наскоро костер.

Нахлестывая коней, оба сотника мчались рядом с Дорошем, за ними растянулись ватажники атамана и дружинники Андрея. Они не проскакали и половину пути, как высланный вперед дозор вернулся обратно. Вместе с дозорными были два неизвестных сотникам всадника. Один из них подъехал к Дорошу, они за просто похлопали друг друга по плечу, обнялись.

— Чем порадуешь, сотник? — спросил у всадника атаман после обмена приветствиями. — Что заставило прискакать самого, а не прислать хлопца с известием?

— Не знаю, порадую тебя или опечалю, только залегли басурманы в спячку, как медведь зимой. То скакали как угорелые, а вот уже день и две ночи сидят

подле одного неприметного болотца и носа оттуда не показывают. Выставили во все стороны сторожу и ни слуху ни духу о себе не подают.

— Говоришь, в спячку ударились? — оживился Дорош и подмигнул Андрею. — Пускай отдыхают, нам не жалко. Главное, чтоб наше недремлющее око всегда на них было. Мыслию, други, что дело к концу движется. — Он коротко рассказал прибывшему сотнику о сообщении дозорного с литовского порубежья, а также о собственных предположениях в связи с появлением отряда латников. — Думаю, что болотце, возле которого затаились ордынцы, есть то место, где они должны встретиться с Ягайловой охраной. Оттуда, не страшась никакого врага, они вместе с латниками поскачут дальше. Предлагаю сообща обмозговать, как завладеть грамотой раньше, чем к болоту пожалуют литовские конники.

— Чего мудрить? — пожал плечами прискакавший сотник. — Степняков сотня, нас почти в три раза больше. Навалимся все разом — ни один ордынец не уйдет.

— Вдруг да уйдет? — прищурился Дорош. — И как раз тот единственный, у которого грамота при себе?.. Степь широкая, кони у ордынцев быстрые, литовцы почти рядом. Так что рисковать нам никак нельзя, уж больно дело серьезное.

— Никакого риска не будет, атаман, — возразил прибывший. — В моей сотне имеются стрелки, что птицу на лету бьют, а человеку за сто шагов стрелой в переносицу попадают. Три стрелы — и одного из секретов, коими ордынцы обложились у болотца, как не бывало. Мои хлопцы знают все вражьи секреты наперечет, к любому без звука подкрадутся. Да и кони у нас не хуже татарских, догоним любого беглеца.

— Верно задумал, друже, — сказал Дорош. — Снимем потихоньку один из секретов и подберемся к самому логову. Свершим это дело в самую жару, когда всякую живую тварь в сон клонит...

Все произошло как было задумано. В полдень ватажники бесшумно сняли татарский секрет, ползком подобрались почти вплотную к ордынскому лагерю и по команде Дороша выпустили по нему тучу стрел. Прежде чем уцелевшие татары смогли оказать организованное сопротивление, нападавшие уже отрезали их от пасущегося невдалеке табуна и прижали с трех сторон к болотцу.

Сотник Андрей первым ворвался в единственный небольшой шатер, стоявший на берегу, принял на щит удар сабли прыгнувшей на него из полутьмы фигуры в полосатом халате, нанес удар мечом сам. Тотчас шатер затрепал под дружным напором снаружи, в него с разбегу влетели Дорош и Григорий, на входе с копьем в руках застыл сотник, встретивший их в пути.

— Мурза, — кивнул сотник на лежавшую в шатре неподвижную фигуру в халате. — Шатер для него одного везли, он в нем на всех привалах от солнца прятался. Видать, непростая птишка.

— Да, птица важная, гонец самого Мамаю, — сказал Дорош, выпрямляясь над трупом и держа в руках пергаментный свиток. — На грамоте печать золотоордынского хана.

Он протянул грамоту Григорию, сконфуженно улыбнулся:

— Держи, сотник. Понимаешь, я три десятка годов за спиной оставил, а в грамоте ни черта не смыслю.

Григорий бросил меч в ножны, принял от Дороша грамоту. Сорвал с нее печать, развернул свиток. Какое-то время молча всматривался в пергамент, затем нахмурился.

— Тайнопись. Ничего не поймешь. Не для нашего брата писание писано, не нам его читать.

Через его плечо в свиток заглянул Андрей, недоуменно передернул плечами.

— Читаю по-русски и по-польски, разумею письмо фряжское и татарское, а такого еще не видывал. Ни одного слова, ни единой буквицы, одни какие-то заковыки.

— Тайнопись это, — повторил еще раз Григорий, сворачивая пергамент. — Каждая заковка — буквица или даже слово, а вот какие — для сего ключ знать надобно. По этому делу особая наука имеется, только я ей не обучен.

— Ты не обучен, зато боярин Боброк ее знает, — уверенно заявил Дорош. — Князь Давило не раз говорил, что Дмитрий Волынец всем хитростям обучен и все науки превзошел. Коли так, послание быстрее к нему доставить надо...

Однако атаман переоценил способности боярина. Получив грамоту и оставшись наедине с князем Данилой, Боброк долго смотрел на столбцы непонятных ему знаков, после чего отложил пергамент.

— Выходит, зря мы охотились за этой писулькой? — спросил князь, указывая на грамоту.

— Нет. Догадывался я, что грамота должна быть с хитростью, и захватил с собой из Москвы одного ученого грека-схимника. Уж он воистину все тайны сущего постиг. Он и займется посланием.

— А коли не осилит ордынского да литовского секретаря?

— Тогда плохо наше дело. Впрочем, у нас с тобой сейчас иная забота: доставить эту грамоту тому, кому она предназначалась. Желательно как можно скорее.

У князя Данилы от удивления округлились глаза:

— Вернуть послание Ягайле? Зачем мы его тогда отбивали?

— Отвечу. Охотясь за грамотой, мы узнали, как поддерживают между собой связь Орда и Литва. А через время, даст бог, сумеем прочитать и их тайнопись. Грек не сможет, помогут верные люди, что у нас с князем Дмитрием в Орде имеются. Коли так, то мы, перехватив в следующий раз нужного нам гонца, узнаем не менее важные для нас вести. Не грамота сейчас была нашей целью, а тайна ордынского письма, которую обязательно разгадать следовало. Посему, князь, самая главная ордынская грамота у нас с тобой еще впереди. Разумеешь меня?

— Да, боярин.

— Значит, поймешь мою задумку и дальше. Но чтобы Ягайло не заподозрил ничего неладного и не изменил свою тайнопись, нам и следует вернуть ему захваченную грамоту. Причем сделать это так, дабы у него не возникло подозрений, что она побывала в наших руках.

— Однако как свершить подобное? Мамаево посольство перебито до единого человека, гонец без головы, печать с грамоты сорвана.

— Предоставь сию заботу мне, князь. Лучше скажи, имеется ли человек, которому ты доверял бы, как себе? Хочу послать его на опасное дело. Могут ждать

его смерть и пытки, а посему никак нельзя в нем ошибиться.

— Такой человек есть, боярин, Атаман, что отбил грамоту.

В глазах Боброка мелькнуло удивление.

— Ты говоришь о Дороше? Но что связывает тебя, родовитого русского князя, с безродным степным ватажником? Отчего он у тебя в такой чести?

Князь Давило задумчиво потер переносицу.

— Сомневаешься в моих словах, боярин? Ладно, слушай. Давно это случилось, десяток лет назад. Настигли однажды в лесу мои челядники беглого холопа, ловец и преисполнен ярости он был. Крепко отбивался, двоих или троих моих людей рогатиной своей зацепил. Да только скрутили его мои молодцы и привели ко мне на расправу. Молчал он, волком на всех смотрел, да нам не пужны были его слова. Потому что еще два дня тому назад присылал ко мне боярин Векна гонцов, и те рассказали, что один их холоп из-за опозоренной певесты подстерег обидчика, старшего боярского сына, и хотел его жизни лишить. Однако тот, раненный, сумел от него ускокать, а холоп после того в бега подался. И доставили челядники ко мне как раз этого холопа, поднявшего руку на своего паныча. А наши законы ты знаешь, боярин: за кровь своих челядников я мог беглеца сам насмерть забить или отдать псам порвать, а мог вернуть на расправу к бывшему хозяину, боярину Векне. Только не сделал я ни того, ни другого. Велел его накормить, напоить, укрыть подалее от чужих глаз. А через время, темной ночью, дал ему коня, саблю, харчей на дорогу, проводил до степного порубежья и отпустил на все четыре стороны... Не забыл оп той встречи, боярин, однажды и меня от лихой беды спас. С тех пор держимся мы друг дружки, всегда на помощь один другому приходим. Ежели нужен тебе верный человек, положиись на Дороша смело. Порукой тому мое княжеское слово.

Некоторое время Боброк раздумывал, потом медленно скатал пергамент в свиток, положил сверху сорванную печать.

— Что ж, князь, коли ты веришь атаману, мне верить и бог велел. Теперь слушай, что за мысль мне в голову пришла...

Поглаживая пышную бороду, боярин Векша с нескрываемым интересом рассматривал атамана Дороша. Да, сильно изменился за последнее время его бывший холоп. Пожалуй, ничего не осталось от вчерашнего челядника в этом бравом плечистом молодце с дерзкими глазами.

— Не признаешь, боярин? — с усмешкой спросил Дорош.

— Узнал, как не узнать, — важно проговорил тот. — Хоть изменился ты знатно. Никогда не подумаешь, что мой беглый холоп.

— Пустые слова молвишь, боярин. Не твой холоп я, а вольный человек и сам себе хозяин. Так что забывай при мне это слово.

Рука Векши замерла на бороде, он нахмурился.

— Кому дерзишь, холоп?

Положив ладонь на рукоять сабли, Дорош громко рассмеялся.

— Очнись, боярин, где зришь холопа? — Он согнал с лица улыбку, его глаза стали колючими. — Еще раз говорю тебе и запомни хорошо мои слова: не твой челядник, а казачий атаман Дорош стоит перед тобой, вольный человек, у которого только один хозяин — он сам. Не вспоминай былого, боярин, не бери душу, не тревожь память. Не то свистну, и раскатают мои ватажники твои терема по бревнышку.

Выпучив глаза, забыв закрыть от испуга рот, внимал Векша словам Дороша. Когда тот смолк, он дрожащей рукой перекрестил вначале его, потом себя.

— Свят, свят, о чем говоришь, атаман? Прости за глупое слово, невзначай, по привычке вырвалось. Разве поминаю я прошлое, заросло уже все быльем, кануло в Лету. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон.

— Вот так будет лучше, боярин. Поскольку не было пришел ворошить я, не о старом говорить с тобой. Сдается, что можем мы сегодня помочь друг другу в одном важном деле.

В глазах Векши зажглись огоньки любопытства.

— Чем смогу, помогу, — обрадованно сказал он. — Все, что только в моих силах, сделаю для дорогого гостя, казачьего атамана.

Дорош покосился на боярских челядников, стоявших у дверей с копьями в руках, однако Векша успокаивающе махнул рукой.

— Говори смело. Что при них сказано, то навсегда похоронено.

— Коли так, слушай. Казак — вольная птица, а по-сему не сидит на одном месте. Нет поэтому у меня и моих друзей-товарищей лугов и пашен, не имеется у нас кузниц и сукноделен. Кормимся и живем лишь тем, что господь бог да ночка темная нам посылают, что сабля острая да удаль молодецкая даруют. Не разбираем мы в этом деле никого: ни фрягов и литвинов, ни крымцев и поляков. Вот и третьего дня наткнулся мой дозор на татарскую сотню. На самих ордынцах было кое-что из ружьяшки и воинского доспеху, да и шли они каждый о двуконь. Словом, решили мы, что лишние они в нашей степи. И взяли мои казаченьки-ватажники этих нехристей возле одного болотца в сабли да копыя...

Но мере того как Дорош говорил, в глазах Векши появлялся все больший интерес. От волнения он несколько раз облизал толстые губы.

— Однако дело не в этом, боярин. Когда обшаривали мои хлопцы их главного, что один был в шатре, то нашли при нем забавную штуковину. Смотри...

Дорош сунул руку за широкий пояс и достал печать со шнуром от Мамаевой грамоты. Боярин выхватил печать у атамана, поднес к глазам. Казалось, он рассматривал ее целую вечность.

— Что молчишь? — насмешливо спросил Дорош. — Вижу, знакома тебе сия вещица.

— Это печать великого золотоордынского хана, — пршептал Векша. — Ее он ставит на личные послания. — От внезапно пришедшей в голову догадки в глазах боярина мелькнул ужас. — Значит, эту печать ты сорвал с ханской грамоты? Выходит, твои разбойники перебили посольство самого Мамаея?

— Боярин, для нас все татары одинаковы, будь он самый знатный бей или последний ханский нукер, — беспечно заявил Дорош. — У нас с ними со всеми один разговор...

У Векши, только сейчас полностью осмыслившего все услышанное, зашевелились на голове волосы.

— Неужто у тебя и Мамаева грамота? О боже, он вырезал ханское посольство, завладел грамотой и после этого является в мой дом, — схватился Векша за голову. — Да что подумает обо мне великий князь, если узнает?

— Боярин, не будь бабой, — засмеялся атаман, беря из рук Векши печать со шнуром и снова суя их за пояс. — Чего страшишься? Не ты побил ордынцев, а я, не тебе и ответ держать. Посему не хнычь, а выслушай, что я дальше скажу.

— Дальше? — изумился Векша. — Неужто думаешь, что стану слушать тебя и дальше?

— Будешь, боярин. Поскольку выгоду от моих слов будем иметь мы оба. И не знаю, кто из нас большую.

Векша перестал причитать.

— Выгоду? Ничего подобного покуда не вижу. А вот великокняжеский гнев за связь с тобой на собственную голову накликают могу.

— Выгода паша, боярин, вот в чем. У нас, ватажников, такой закон: завладели добычей, валим всю в общий котел и делим на всех по-братски. Досталась мне при дележке добычи, захваченной при ханской сотне, эта кольчуга. — Дорош ударил себя кулаком в грудь, которую обтягивала тонкая, венецианской работы кольчуга с серебристым отливом. — Богатая вещь, знатная, с ихнего бея сняли. Под такой доспех и конь добрый нужен, и шелом достойный. Загрустил было я, а тут мне грамоту сию приносят. Сорвал печать, глянул на письма и хотел было в костер ее за ненужностью. И вдруг на меня снизошло: ведь кому-то грамота писана, значит, кому-то нужна. А ежели следует она из Орды, то, может, ждет ее сам Ягайло-литвин? Так почему бы мне, грешному, не сотворить людям доброе дело? Надобно же и о душе своей думать...

Векша от волнения зажал бороду в кулак, его глазки радостно заблестели.

— Правду молвишь, атаман, сущую правду. Люди мы все, христиане, и добро должны человекам творить. Зачем быть собакой на сене? Сам не ам и другому не дам.

— И я тогда подумал об этом, — продолжал Дорош. — И сразу вспомнил тебя. У кого табуны лучше, чем у боярина Векши? Знаю сие не с чужих слов, а сам нас их. Да и шеломов боярину не занимать, полно их у него разных и на любой вкус. Поразмыслил я и надумал повидаться с тобой, обговорить и решить дело с грамотой полюбовно и по-христиански. Хочешь менять товар на товар — давай. Не желаешь — сыщу другого покупателя. Вот весь мой сказ.

Сделав вид, что раздумывает над предложением Дороша, Векша какое-то время молчал, уставившись на носки своих сапог.

— Хорошо, атаман, допустим, возьму я у тебя грамоту, а что скажу, ежели ответ придется держать, откуда она у меня? Ведь Мамай не мне ее вручал, а гонца, который ныне порубанный в степи валяется. Большая кровь на этой грамоте.

— Что хочешь, то и говори, — спокойно ответил Дорош. — Какое мне дело до твоих слов. Я отбил грамоту у татарского гонца, точно так ты можешь отбить ее у меня. Кто проверит? Не я же явлюсь к князю Ягайле уличать тебя во лжи?

Векша, решившись, рубанул рукой воздух:

— Уговорил, атаман. Давай грамоту.

Дорош рассмеялся.

— Не рабовато, боярин? Когда будет конь и шелом, тогда получишь и грамоту. У нас с тобой дело без обмана, по-честному. Как и подобает быть промеж старых друзей.

— Пусть будет по-твоему, атаман. Позволь лишь взглянуть на грамоту. Удостовериться, что не обманываешь меня.

— Э нет, боярин, — лукаво усмехнулся Дорош. — Лучше сделаем так: назначай место и время, где завтра встретимся, там и получишь ханское послание. А с собой вели прихватить белого аргамака, коего я вчера под твоим Николаем видел. И привози аланский шелом с бармицей, что в углу стоит. А заодно прихвати и вон ту саблю. — Взгляд Дороша уперся в большой персидский ковер, висевший на стене позади Векши, на котором были развешаны сабли и мечи, шестоперы и булавы, боевые топоры и кинжалы.

— Какую еще саблю? — спросил Векша, поворачиваясь к ковра и стараясь проследить за взглядом Дороша.

— Ту, косоюзскую, что с чернью по ножнам. Люблю тонкую работу, особливо по серебру, — простодушно признался Дорош. — Да и клинок должен быть неплохой. Я их встречал и знаю: надежен, легок, остер. Как раз для моей руки.

— Послушай, атаман, но договор был только о коне и шеломе, — запротестовал Векша. — Ты мне ханскую грамоту, я тебе — белого аргамака и аланский шелом с бармицей.

— И саблю в серебряных ножнах с чернью, — упрямо повторил Дорош. — Станешь торговаться, уйду и сыщу другого покупателя. А заодно скажу ему, что вначале предлагал грамоту тебе, а ты пожалел за нее саблю дать. Пускай великий князь Ягайло знает, как ты о благе Литвы печешься и что его милость и расположение к себе дешевле какой-то сабли ценишь.

— Ладно, бери, — потускневшим голосом ответил Векша. — Для тебя мне ничего не жалко.

— Тогда добро, боярин, — расцвел Дорош. — Говори, где и когда завтра встречаемся?

— У старого дуба на поляне. Надеюсь, то место еще не забыл?

— Помню, боярин. В полдень с двумя хлопцами буду тебя там ждать. До встречи.

Дорош неторопливо направился к выходу из светлицы. Ударом сапога распахнул дверь, прошел между двумя парами боярских челядников, неподвижно стоявших по ее сторонам. Едва замер шум его шагов, ковер с оружием, висевший позади Векши, зашевелился. Из маленькой ниши в стене, которую он скрывал, в комнату шагнул старший сын боярина, Николай.

— Слышал? — спросил его Векша.

— До единого слова. Хотя, откровенно говоря, с большим удовольствием услышал бы твой сигнал, чтобы разделаться с этим разбойником.

— Потерпи. Степной атаман может сослужить нам вначале неплохую службу.

— Ты на самом деле веришь в его сказку о ханской грамоте?

— Я собственными глазами видел и своими руками держал печать великого золотоордынского хана. Так что ошибиться я не мог никак.

— Печать еще не грамота, — назидательно заметил Николай.

— Верно, поэтому завтра я и встречу с Дорошем. Если у него действительно грамота Мамаю, я не пожалею за нее целого табуна, а не только своего артамака.

— Думаешь, это грамота, которую сейчас так ждет из Орды великий князь Ягайло?

— Уверен в этом. Судя по рассказу Дороша, речь идет о ханском посольстве, которое на днях бесследно сгинуло в степи. Печать подтверждает его слова.

— Тебе видней. Скажи, ты на самом деле собираешься отдать атаману моего лучшего скакуна? — нахмурился Николай.

— Я отдал бы ему даже своего... Пока не получил бы из его рук грамоты, — хихикнул Векша.

Сын понимающе улыбнулся.

— Ты прав, отец. Этого человека нельзя отпускать живым. Если получим от него ханскую грамоту, он будет ненужным свидетелем того, каким образом она очутилась в наших руках. К тому же его труп лучше всяких слов докажет, что мы отбили грамоту у степного разбойника в бою, рискуя жизнью.

— Он должен умереть, даже если у него нет ничего, — с металлом в голосе произнес Векша. — Это мой и твой враг, недруг всей нашей семьи. Чтобы спокойно жили мы, не должно быть его.

— Завтра он навсегда останется на поляне, где собирается встретиться с тобой, — твердо сказал Николай. — Имеется у него грамота или нет, это будет последний его день.

— Будь осторожен. Я знаю казаков, их не так просто обхитрить, а в бою с ними лучше не встречаться.

— Я отправлюсь на поляну еще затемно и обоснуюсь там с воинами задолго до прибытия Дороша. Я вовсе не собираюсь рисковать.

— С богом, сын.

Боярин Векша прибыл на поляну ровно в полдень. Рядом с ним восседали на огромных конях два великана-телохранителя, закованные в доспехи и с копьями поперек седла. Сам боярин тоже был в кольчуге и шлеме, его левое плечо прикрывалось щитом. Один из сопровождавших Векшу воинов держал в поводу красивого, золотистой масти иноходца, на седле которого были прикреплены ватребованные Дорошем шлем и сабля.

Атаман и два его спутника уже ждали боярина. Их вид был вполне мирным и дружелюбным и не вызвал у Векши никаких подозрений. Пока Дорош любовался конем и вертел в руках шлем и саблю, боярин с интересом рассматривал его спутников. Он многое слышал о воинственных и свободолюбивых выходцах из русских земель, бежавших от княжеского и боярского гнета в пограничные с Ордой степи и живущих

там своими ватагами и станицами. Он несколько раз встречал в походах их быстрые, неуловимые конные отряды, в мгновение ока исчезающие в степи. Однако видеть казаков так близко, лицом к лицу, ему пришлось впервые.

Сейчас, глядя на их суровые, обветренные и обожженные солнцем лица, на сухощавые, мускулистые фигуры, на легкую пружинистую посадку в седлах, боярин ощутил в сердце неприятный холодок. Вот они какие, казаки. Те, что своим существованием заставляли теплиться в душе каждого смерда и холопа извечную мечту о воле.

Эти отважные, не признающие над собой ничьей управы войны всегда были опасны для княжеской и боярской власти. Вначале, во времена Киевской Руси, беглецы устраивали пристанища в низовьях Дуная и именовали себя берладниками. Позже стали уходить на Дон и Днепр и называться ватажниками, станичниками, черкасами, а чаще всего казаками. Если отношение к ним русских властей постоянно было враждебным, то ханы Золотой Орды старались проводить в их отношении гибкую политику. Сначала, считая всю степь собственной вотчиной, они безжалостно истребляли казаков, затем, боясь роста могущества Руси, стали поощрять отток мужского населения из центральных областей Руси на окраины. Ордынские баскаки даже получили указание организовывать в степном пограничье с Русью и Литвой поселки для русских беглецов из княжеских и боярских вотчин.

Однако не для того бывшие смерды и холопы покинули родные избы и хаты, чтобы сменить кабалу русских и литовских князей и бояр на гнет татарских ханов и баев. Собираясь в вооруженные ватаги и станицы, цenia пуще всего свободу и беспрекословно подчиняясь своим выборным атаманам и сотникам, беглецы стали представлять настолько грозную военную силу, что вскоре отбили у русских и литовских бояр всякую охоту бороться с ними и заставили кочевавших рядом татарских и ногайских мурз искать с собой мира и дружбы.

Никто не знал точно, откуда пошло это слово — казаки. Одни искали его корни в тех далеких временах, когда в степях господствовали племена скифов и сарматов. Другие считали, что это слово пришло из языка татар, как прозвание свободного, независимого

человека. Третьи серьезно утверждали, что корень слова взят из названия дикого степного животного — козы, мясо которой было основной пищей казаков, и вооруженные отряды которых быстротой и осторожностью ничем не отличались от поведения этого пушного животного.

Веселый голос Дорона вывел боярина из задумчивости.

— Вижу, сдержал ты свое слово. Коли так, вот тебе ордынское послание.

Он сунул руку за пазуху и протянул боярину пергаментный свиток, обвязанный шнуром с ханской печатью. Схватив грамоту, Векша лихорадочно развернул ее, впился в пергамент глазами и не смог удержать взгласа разочарования.

— Что это? — с недоумением спросил он. — Я здесь ничего не понимаю.

— Что отбили у гонца, то и передаю, — невозмутимо ответил Дорон. — А ежели тебе не суждено понять написанного, так это немудрено. Не боярину Векше сия грамота послана.

В словах казака была определенная логика, и Векша успокоился. Осторожно свернул грамоту, снова перевязал шнуром и сунул себе за пазуху.

— Вот, атаман, и свершили мы каждый свое дело, — сказал он. — Прощай и не поминай лихом.

— Прощай и ты, боярин, — спокойно ответил Дорон.

Перехватив повод с приведенным Векшей аргамаком, он кивнул боярину и вместе со спутниками медленно тронулся к лесу. Оставшись на месте, Векша с улыбкой провожал его глазами, время от времени поглядывая по сторонам.

Поляна, на которой происходила встреча, занимала весьма значительную площадь. Давным-давно, еще во времена славянского язычества, люди выжгли в лесу этот участок, распахали и занимались на нем земледелием. Затем ушли на юг, на более плодородные почвы, и бывшее поле постепенно превратилось в обыкновенную лесную поляну, густо поросшую высоким, чуть ли не в человеческий рост разнотравьем, кустами бузины и лещины. На поляне пересекались несколько лесных дорог и пешеходных тропинок. По одной из них, ведущей в сторону южного рубежа, двигалась сейчас тройка казаков.

Они проехали половину расстояния до леса, как из-за кустов и деревьев стали появляться вооруженные всадники и растекаться влево и вправо от дороги, охватывая казаков широким полукругом. С десятка конников, сомкнувшись, перегородили дорогу. В одном из них по блестящему шлему и развевающемуся пурпурному плащу Векша узнал своего старшего сына. Однако, к величайшему удивлению боярина, Дорош и его спутники, словно не замечая высыпавших из леса всадников, как ни в чем не бывало спокойно ехали по дороге прямо на выставленные им навстречу копы.

Громкое конское ржание, раздавшееся одновременно с разных сторон поляны, моментально объяснило Векше причину их спокойствия. Из травы, покрывающей бывшее лесное поле, во множестве появились вначале шлемы и лохматые шапки, затем плечи, лошадиные морды, и вот уже все пространство поляны оказалось усеянным незнакомыми боярину всадниками. С копытами в руках, со щитами на плечах, они подъезжали к дороге, по которой ехал Дорош, и выстраивались за ним в колонну по четыре в ряд.

«Полусотня, сотня... Две, три...» — машинально прикидывал на глаз их число Векша. Да, Дорош оказался не той птичкой, которую можно было взять голыми руками. Его ватажники залегли на поляне еще с вечера. Привычные к многочасовым безмолвным засадам, сумевшие приучить к этому и своих коней, они поднялись с земли именно в ту минуту, когда их присутствие стало необходимым.

Закусив от ярости губу, вцепившись рукой в бороду, Векша следил за тем, как Дорош и двигавшаяся за ним казачья колонна приближались к его сыну и находившимся с ним воинам. Едва расстояние между ними сократилось до дальности полета стрелы, всадник в блестящем шлеме поднял коня на дыбы и, освобождая дорогу, быстро поскакал в сторону. Вслед за ним, перегоняя друг друга, бросились другие боярские воины.

5

Князь Данило любил охоту, и лишь наступившая темнота заставила его прекратить преследование стада вепрей, поднятых загонщиками в камышах. Нанизав на острие копы большой сочный кусок мяса, он сунул

его в костер и, сидя на корточках возле огня, наблюдал, как мясо постепенно покрывалось нежной румяной корочкой. Осторожное покашливание слуги заставило его поднять голову, оторвать взгляд от костра.

— Княже, к тебе человек.

— Кто он?

— Мне неизвестно. Хочет сказать тебе что-то важное.

— Откуда прибыл? Воин или смерд?

— Не рассказывает, княже. По одежке больше на смерда схож.

— Скажи, пусть обождет. Сейчас буду.

Князь проверил, хорошо ли вынимается из ножен короткий меч, повел плечами в надетой под кафтаном тонкой кольчуге и пошел за слугой.

Человек, ожидавший его, стоял в тени ветвистого дуба, тесно прижавшись к нему спиной. Был он невысок ростом, тщедушен, нижнюю часть лица скрывал темный плащ, в который он был закутан почти до пят.

— Здрав будь, добрый человек, — проговорил князь, останавливаясь в шаге от темной фигуры и произвольно кладя ладонь на крыж меча.

— Здравья и тебе, князь Данило, — ответил незнакомец. — Прости, что беспокою на охоте, однако дело, с которым к тебе явился, не терпит.

— Может, пройдем к костру? — предложил князь. — Там согреешься и поужинаешь с нами.

— Нет, княже. Нельзя, чтобы кто-то видел нас вместе, потому и пришел я ночью. Непростое дело привело меня к тебе, княже, и ежели узнает о нашей встрече боярин Адомас, не сносить мне головы.

— Кто ты и почему боишься боярина Адомаса? — спросил Данило.

— Княже, наш разговор для двоих, — оставив вопрос без ответа, сказал незнакомец. — Отошли своего человека и узнаешь все.

Князь кивнул слуге, и тот удалился. Незнакомец проследил за ним глазами, рывком отбросил плащ с лица.

— Узнаешь, княже?

— Постой, постой, — проговорил князь Данило, всматриваясь в незнакомца. — Уж не конюший ли ты боярина Адомаса? Не тебя ли я видел неделю назад в великокняжеском замке?

— Меня, — прозвучал ответ. — Теперь, княже, ты понимаешь, отчего мне нельзя показываться у костра.

Князь Данило усмехнулся:

— Ты прав, добрый человек, не друзья-товарищи мы с боярином Адомасом. Вряд ли погладит он тебя по голове, пронохай о нашем разговоре.

— Мало у нас времени, княже, поскольку в любой миг может хватиться меня боярин. Дозволь к делу перейти.

— Говори.

— Страшен враг в чистом поле и густом лесу, но еще страшнее он в родном доме. Опасен враг, идущий на тебя с мечом, однако еще опаснее, ежели улыбается и прячет нож за пазухой. Согласен со мной, княже?

— К чему твоя присказка?

— Богат и знатен ты, княже, — словно не слыша его, продолжал конюший. — Многих приблизил к себе и осыпал милостью, многих считаешь верными друзьями. И не знаешь, что не все слуги верны тебе, не ведаешь, что некоторые, пригревшись подле тебя, только и ждут случая, чтобы ужалить больнее. От одного из таких оборотней хочу остеречь тебя.

— Кто он? — нахмутив брови, спросил Данило.

— Воевода Богдан.

— Воевода Богдан? — переспросил Данило. — Мой лучший и вернейший друг? Знаешь ли ты, холоп, что он вырос на моих глазах? Что стал в моей дружинке из простого воина первым воеводой, что я рубился рядом с ним в десятках битв и он не единожды спасал мне жизнь? Как смеешь, грязный холоп, возводить хулу на моего лучшего воеводу?

Он шагнул к конюшему, схватил руками за грудь.

— Признавайся, холоп, кто подослал тебя ко мне, кто заплатил за сей подлый навет? Отвечай, не то задушу собственными руками.

И Данило прижал конюшего к дереву с такой силой, что тот захрипел.

— Правду молвлю, княже, сущую правду, — испуганной скороговоркой забормотал конюший, отчаянно болтая в воздухе ногами и не находя под ними опоры. — Не гневись, выслушай меня до конца. Тогда и решай, правду или ложь принес я.

— Говори. Но ежели врешь, велю запороть плетьюми здесь же.

Князь отпустил конюшего, тот поправил сбившийся с головы капюшон плаща, снова прислонился спиной к дубу.

— Значит, не веришь мне, княже? Ладно, слушай все с самого начала. Помнишь, гостил ты прошлым летом в Москве у боярина Боброка? И ночами в надежном месте говорили с ним о том, что, когда поведет князь Дмитрий Русь на Мамаю, надобно натравить на Литву ее врагов, дабы не смог князь Ягайло помочь Орде и тоже напасть на Русь. Было вас приговоре трое, тайным был он, да только знают о нем сейчас и боярин Адомас, и литовский Ягайло. Скажи, откуда? Кто донес им? Ты сам, московский князь Дмитрий или боярин Боброк? Ответствуй, княже.

Сурово сдвинулись брови князя Данилы, гневом блеснули глаза.

— Никто из нас троих не мог передать этого Ягайле или Адомасу. Однако откуда знают они об этом?

— Оттуда, княже, что говорило вас трое, а слушало четверо. Ибо всегда стоял у ваших дверей на страже воевода Богдан и не пропускал ни единого вашего слова. А когда возвратились вы в Литву, передал он все вызнанное боярину Адомасу, тот — великому князю Ягайле. Теперь веришь мне, княже?

— Нет, — твердо ответил Данило. — Иным путем попало сие известие к литовскому Ягайле. Не верю, что воевода Богдан способен на подобную измену.

— Не веришь? — язвительно спросил конюший. — Хорошо, слушай дальше. Давно был тот разговор Богдана с Адомасом, ничто не подтверждало воеводиных слов, и вдруг недавно появился в наших местах боярин Боброк. Разбил в Черном урочище лагерь, привез с собой из Москвы два воза денег, чтобы подкупить и натравить на Литву ее врагов — соседей. Хоронились и в твоей усадьбе Боброковы соглядатаи, были среди них его десятский Иванко и сотник Григорий. Иванко с товарищами вскоре вернулись к Боброку и московскому золоту, а Григорий ускакал с твоими воинами и сотником Андреем к ляхскому кордону. Все это тоже знает боярин Адомас. Он даже вознамерился перехватить Боброка и его возы с золотом, только руки оказались коротки. Что молвишь теперь, княже?

— Опять он? — насупившись, спросил Данило. — Снова его рук дело?

— Да, об этом тоже донес Адомасу воевода Богдан.

— Скажи, холоп, — после некоторого молчания произнес Данило, — чего хочешь за свои вести?

— Ничего, княже, мне от тебя не надобно, поскольку не в твоей власти отблагодарить меня.

Он отшатнулся от дуба, сделал шаг вперед, развернулся к Даниле боком. И тот лишь сейчас увидел на спине у конюшего горб. Вот почему он все время жался к дереву, вот отчего постоянно стремился быть к князю лицом — не хотел показывать собственное уродство.

— Никакая твоя милость, княже, не обрадует меня, любая, даже самая щедрая награда не вернет того, чего у меня давно уже нет.

Князь был удивлен:

— Но что заставило тебя, рискуя жизнью, прийти ко мне?

Горбун грустно улыбнулся:

— Что заставило, княже? Не знаю, поймешь ли меня. Большинство людей при свершении важных дел движет чувство любви либо желание разбогатеть. Однако иногда ими движет ненависть, которая сильнее всех других начал, потому что она не ведает преград и пощады. Не любовь к тебе, княже, не жажда наживы привели меня в этот лес, а ненависть к боярину Адомасу.

В последних словах горбуна прозвучало столько злобы, что Данило внутренне содрогнулся.

— Но что боярин мог сделать тебе, калеке? Чем смог заслужить такую ненависть?

— Сейчас, княже, узнаешь. После этого суди, что питал бы к нему ты сам, будь на моем месте.

Горбун вновь отступил к дубу, скрестил под плащом на груди руки.

— Нас было у молодого боярина Адомаса трое, мальчиков-слуг, одинаковых с ним по возрасту. Однажды ночные псы-волкодавы вырвались из псарни и порвали нашего паныча. Псарей закопали живьем в землю, Адомаса отправили на лечение к знаменитой в наших краях ведьме-знахарке. Когда он вернулся, мы все трое, его мальчишки-слуги, на следующее утро пришли в спальню одевать его. Вначале он, не говоря ни слова, лишь смотрел на нас, потом стал кричать, упал на пол и зашелся в припадке. Сбежались другие слуги, пожаловали сами боярин с боярыней, стали допытываться, в чем дело. Тогда, указывая на нас, мо-

лодой Адомас спросил, почему мы лучше его — прямые и здоровые? Той же ночью по велению его матери нас всех троих искалечили, после чего приставили постоянно к молодому Адомасу, запретив допускать к нему на глаза прочих сверстников. Вот почему у меня поврежден позвоночник и искривлены ноги, вот как стал я калекой. Вся моя жизнь оказалась растоптанной по прихоти-капризу юного паныча! Теперь, княже, ответь, есть ли за что любить мне своего боярина?

Данило перекрестился.

— Бог судья вам обоим, тебе и боярину. Возьми от меня.

Он сунул руку за пояс, достал кошелек, протянул конюшему. Однако тот отрицательно качнул головой.

— Княже, не твое золото, а ненависть к боярину Адомасу привела меня к тебе. Сейчас прощай, к утру мне надобно быть на конюшне. Услышу или прознаю еще что-либо о твоём воеводе или о кознях боярина, снова явлюсь к тебе. До встречи.

Горбун поправил на голове капюшон плаща, сделал два шага в сторону и пропал среди кустов. Не хрустнул под его поступью ни один сучок, не шелохнулась ни единая ветка. Он словно растворился в темноте ночи, оставив возле дуба погруженного в тревожные думы князя Данилу.

Заложив руки за спину и глядя под ноги, великий московский князь Дмитрий не спеша шел по ухоженной тропинке монастырского сада. Рядом с ним, плечом к плечу, неслышно ступал его двоюродный брат Владимир, князь серпуховский.

— Великий князь, — звучал голос Владимира, — вся русская земля поднялась на святой бой с Ордой, завтра русские войска выступят из Коломны навстречу Мамаю. Только я по твоей воле остаюсь в Москве и не приму участия в великом походе на степь. Скажи, чем прогневал тебя, чем не угодил? Иль нет уже былой веры в меня?

В голосе брата звучала плохо скрываемая обида. Дмитрий замедлил шаг, отломил от иблони тощую веточку, легонько хлопнул себя по высокому сафьяновому сапогу.

— Нет, брат, совсем не из-за того оставляю тебя в Москве, что не верю, — глуховато произнес он. — Как

раз наоборот, что верю в тебя, как в никого другого. Лишь ты сможешь вынолнить то, для чего даю тебе пятнадцать тысяч лучшей конницы и оставляю за своей спиной.

Владимир Серпуховский грустно усмехнулся.

— Что я могу свершить в твоём тылу, великий князь? Защитить Москву от Ягайлы? Оказать подмогу Андрею или Дмитрию Ольгердовичам, если навалится на них литовское войско? Понимаю, должен кто-то и беречь Москву, и прикрывать спину главного войска, но почему сие должно стать именно моим делом? Разве нет у тебя других князей и бояр, разве нет в русском войске иных храбрых и опытных воевод, искушенных в воинском деле?

— Верно, брат, имеются у меня другие князья и бояре, хватает в русском войске старых, заслуженных воевод. И если бы речь шла лишь о том, о чем ты сейчас говоришь, я и оставил бы вместо тебя кого-нибудь из них. Однако совсем для другого нужен ты и лучшие конные дружины в Москве.

— Но для чего? — с удивлением спросил Владимир Серпуховский.

Какое-то время Дмитрий, не отрывая глаз от земли, шел молча, затем поднял голову.

— Много недругов у Руси, брат, главный из них — Орда. Страшную силу собрал Мамай на Дону, ничуть не меньше той, что вел когда-то на Русь Батыга-хан. Нас, русичей, вдвое меньше, причем супротив Мамайя я не могу выставить полностью даже этих сил. Потому что нависает надо мной с запада враждебная Литва, союзник Мамайя. В любой миг может двинуть князь Ягайло полки на Москву или нанести удар в спину моему войску. Потому стоят на литовском порубежье без малого сорок тысяч русичей, оттого вынужден оставить я в Москве пятнадцать тысяч лучших конных воинов. Треть войска не могу двинуть я из-за этого на Орду. А сие значит, что там, на Дону, каждому русичу придется рубиться уже не с двумя врагами, как случилось бы, окажись у меня все русское войско целиком, а с тремя.

— Понимаю это и я, великий князь, но что можно сделать другое? Убери ты с литовского кордона Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, Ягайло соединится с Мамаем, и тебе в бою придется выставить против литовских полков те же сорок тысяч воинов, что держат

их сейчас в Литве. А оставь ты без защиты Москву, кто знает, может, уже завтра будут под ее стенами сучьепостаты. Все мы, русские князья и воеводы, понимаем это, великий князь, каждый знает, что в твоём положении ничего иного сделать невозможно.

Дмитрий весело рассмеялся.

— Ты совершенно прав, брат, в твоих словах нет ни одного промаха. Уверен, что именно так мыслят все мои князья и воеводы, что так же рассуждают Мамай с Ягайлой. Как благодарен я небу, что в сию тяжкую для Руси годину рядом со мной оказался боярин Боброк, в бездну ума которого я страшусь даже заглянуть.

Остановившись, Дмитрий положил руки на плечи брата.

— Ягайло и Мамай знают, что, выступи Литва против меня или останься на месте, она свою задачу выполнит: треть русского войска окажется не у дел. Такое для них вполне приемлемо. Но оно никак не устранист меня, брат, поскольку мне надобно, чтобы и Ягайло со своими полками остался в Литве, и чтобы я со всем русским войском схватился с Мамаем.

— Это невозможно...

— Возможно, брат. Это сделаете вы, кому я больше всего верю и в чьей преданности и отваге никогда не сомневался, — ты и Боброк. А помогут вам Дмитрий и Андрей Ольгердовичи. Вы четверо вернете Руси те пятьдесят с лишним тысяч дружинников, что вынужден держать я сегодня в Москве и на литовском порубежье, и вместе с тем не позволите Ягайле и Мамаю соединиться. Вот что надлежит тебе сделать, брат, вот для чего отправляю тебя сейчас в Москву.

Князь Серпуховский давно знал ум, сметку и предусмотрительность двоюродного брата. Именно Дмитриева дальновидность и опытность в делах государственных и военных вознесли Москву выше остальных русских княжеств. Однако то, что говорил Дмитрий сейчас, не укладывалось у Владимира в голове.

— Великий князь, но как свершу я подобное?

— План сей родился в хитроумной голове боярина Боброка, вдвоем с ним мы продумали и выныачили его. Сейчас о нем узнаешь и ты.

Дмитрий почти вплотную приблизил свое лицо к лицу брата, крепче сжал его плечи.

— У обоих Ольгердовичей и у тебя только конни-

па и малость обозов, а у Ягайлы основная масса войск — тяжелая пехота и море телег с припасами. Значит, одно и то же расстояние ты и Ольгердовичи покроешь в три раза быстрее, нежели Ягайло с литовцами. Я с войском завтра выступаю из Коломны на Дон, потом, по приказу, и ты с Ольгердовичами, оставив Москву и литовское порубежье, двинетесь следом. Когда мы с вами соединимся и окажемся вместе, более медлительный Ягайло все еще будет в пути. Тогда, имея в руках всю русскую силу и не боясь Литвы, я навяжу Орде бой.

Некоторое время Владимир Серпуховский молчал.

— Лучше этого плана человеческая голова не может придумать ничего, — наконец сказал оп. — Однако и наши враги имеют собственные планы. Вдруг Ягайло, узнав о твоём выступлении из Коломны, сам нападет на Ольгердовичей?

— Дабы сего не случилось, расположился сейчас в Литве у него под боком со своими помощниками, верными Руси литовскими русичами, боярин Боброк. Он свяжет руки Ягайле и не выпустит его с войсками из Литвы до тех пор, покуда я подойду к Дону. Хитростью и сметкой Боброк выиграет у Литвы несколько суток, за которые я уйду от Ягайлы на расстояние, когда он будет мне не опасен. Лишь тогда Ольгердовичи и ты получите от боярина Боброка приказ идти ко мне, только после этого станете догонять главное русское войско.

— Великий князь, но если Ягайло, узнав о нашем уходе с порубежья и из Москвы, разгадает твой план и направится с войском на Москву? Что делать тогда?

— То, что я говорил раньше: идти ко мне, только ко мне и со всей возможной скоростью. Разве за Москву подняли мы на смертельную схватку с Ордой всю Русь? Нет, брат, мы идем на бой за всю русскую землю, и судьба Москвы будет решаться не под ее стенами, а там, на донских полях, где вся Русь станет собираться биться за свою честь и свободу. Если победителем в сей битве выйдет русский меч, отстроим мы новую Москву, краше прежней. Ну а если поляжем на тех полях, не быть и Москве. Запомни мои слова, брат. Когда бы ты ни получил приказ боярина Боброка идти ко мне, выполняй его сразу, без раздумий и промедлений. Чтобы ни творилось вокруг, слово Боброка для тебя закон. Пусть вся Литва движется на Москву, пу-

скай литовцы будут в одном переходе от нее или уже лезут на стены, ты обязан бросить все и спешить ко мне. Потому что там, на Дону, будет решаться судьба Руси, а значит, и Москвы, именно там определится доля всего русского народа. Запомни мое последнее слово, брат, и следуй ему.

— Я все понял, великий князь.

— Прощай.

Дмитрий тряхнул Владимира за плечи, они обнялись, трижды на прощание расцеловались.

— Прощай и ты, великий князь. До встречи на Дону.

Владимир развернулся и быстрыми, широкими шагами, придерживая меч, направился к выходу из сада. Дмитрий подошел к старой яблоне, прислонился к ней плечом, опустил голову.

«Жребий брошен, и дороги назад нет. Главное сейчас — выиграть время. Время, дайте мне выиграть время, и победа будет в моих руках».

6

С того памятного дня, когда он шел по следу отряда Боброка, Адомас ждал неприятностей каждый день и любую минуту, его воображение рисовало их одну опаснее другой. Но эта, что сейчас принес гонец Ягайле, была неожиданной и страшной даже для него.

— Великий князь, твой главный воевода на тевтонском порубежье боярин Лютвитас желает себе долгих лет здравия и сообщает, что русские полоцкие дружины снялись без его ведома с кордона и выступили походом домой.

Гонец, доставивший весть, уже минуту ждал у дверей ответа, а они оба, великий князь Ягайло и боярин Адомас, не могли произнести ни слова.

— Когда это случилось? — прозвучал наконец голос Ягайлы.

— Два дня назад, великий князь. Главный воевода Лютвитас направил меня к тебе сразу же, как только убедился, что остановить русов словами невозможно.

— А разве врагов останавливают словами? — едва сдерживая гнев, спросил Ягайло. — Он что, твой воевода, позабыл меч дома или не знает, зачем его носят настоящие воины?

Чувствуя, что великий князь может каждую минуту взорваться, в разговор поспешил вмешаться Адомас.

— Сколько их? — быстро спросил он.

— Сорок сотен, из них не меньше пятнадцати конных.

— Кто ведет русов?

— Воевода Рада, тысяцкие Всеслав и Александр.

— Знаю, всех знаю, — снова загремел голос великого князя. — Сколько их помню, все время в Москве тянутся.

Адомас глянул на гонца:

— Ступай отдыхать. И без моего ведома никому ни слова. Нарушишь запрет — пощады не жди.

Оставшись вдвоем с Адомасом, великий князь дал выход сдерживаемому ранее гневу:

— Изменники! Предатели! Открыли дорогу тевтонам! В то самое время, когда я усиливаю свои границы!

Он метнулся вдоль стола, остановился против Адомаса.

— Боярин, ты обещал изловить Боброка. Теперь видишь, на что способно его золото?

Адомас, в отличие от Ягайлы, был внешне спокоен.

— Великий князь, мы сами помогли Боброку. Хотели прикрыть западные и северные границы от крестоносцев полками подвластных нам русичей, а литовские войска повести на Русь. Однако мы забыли про голос крови и зов родной земли. Это и есть наша ошибка.

Лицо Ягайлы приняло мрачное выражение.

— Боярин, если мы допустили ошибку, нам ее и исправлять. Воевода Лютвитас не удержал русичей словом, я сделаю это мечом. Сегодня же возьму восемьдесят сотен отборной панцирной конницы и поведу ее на полочан. Половиной воинов заплачу за победу над русичами, остальными заткну открытую ими на границе брешь. Для врагов у меня не будет пощады!

Адомас грустно усмехнулся:

— Ты сделаешь большую ошибку, великий князь.

— Ошибку? Какую? Или тебе жалко славянской крови?

— Нет, великий князь, литовской. Мы оба знаем русичей. Они не дрогнут ни перед каким врагом и не отступят в бою ни на шаг. Будут биться с твоими панцирниками до последнего вздоха, и в лучшем случае у

тебя останется половина отряда. А на тевтонском по-рубужье были ведь не только полочане, после их ухода там остались другие русские дружины. Что будет, когда они узнают, как ты уничтожил их братьев-полочан?

Ягайло нахмурился.

— Ты прав, боярин. Я хорошо знаю славян, они никому не прощают своей пролитой крови. Поэтому я возьму с собой не восемь, а двадцать, тридцать тысяч лучших воинов. Я сотру с лица земли не только полочан, но и любого, кто осмелится выступить против меня.

В комнате раздался звук, напоминающий скрип колес плохо смазанной телеги. Это смеялся Адомас.

— Великий князь, спасибо тебе за это скажет в первую очередь московский Дмитрий. Ведь распрей и борьбой с литовскими русичами ты добьешься как раз того, чего он так жаждет: погрязнешь в междоусобицах, и твои братья возьмут тебя голыми руками.

Плотно сжав губы и громко, прерывисто дыша, Ягайло некоторое время раздумывал.

— Ты опять прав, боярин, — выдавил он из себя. — Я не могу сейчас воевать с собственными подданными, особенно с русичами. Однако и прощать открытой измены я тоже не могу. Что же делать?

— Великий князь, мы слышали о полочанах только из уст гонца воеводы Лютвитаса. Но что может понимать в таких делах простой воин, если даже его главный воевода не в состоянии полностью осмыслить случившееся. Я предлагаю увидеть все собственными глазами. Там, на месте, мы и найдем ответ.

Ягайло даже не раздумывал.

— Согласен с тобой, боярин...

Устраивая редкие, кратковременные привалы, Ягайло гнал свой отряд навстречу русичам. Впереди шла дозорная сотня, за ней в первой тысяче скакали великий князь и Адомас, уже за ними растянулись остальные семьдесят сотен тяжелой литовской конницы.

План Ягайлы был прост: перехватить русские дружины как можно дальше от районов со славянским населением, могущим выступить на их стороне, устроить им в удобном месте засаду и, поставив в безвыходное положение, заставить сложить оружие.

Однако судьба вносит поправки в любые планы, даже если их автором является великий литовский

князь. Передовая тысяча, в которой находились он и Адома, только спустилась в широкий, извилистый лесной овраг, как Ягайло по сбившейся рыси своего жеребца и тревожному ржанию, раздававшемуся сразу в нескольких местах колонны, почувствовал, что размеренное, устоявшееся движение его отряда нарушено чем-то непредвиденным. Он распрямылся в седле, сбросил с головы капюшон плаща, которым прикрывался от мелкого морозящего дождя, быстро взглянул вперед. То, что великий князь увидел, заставило его до крови закусить губу, чтобы сдержать крик ярости и обиды.

Он не успел еще ни о чем подумать, а кровь уже хлынула в голову, сердце застучало в груди тяжелым молотом. Он сразу понял: это конец, схватка с русичами уже закончилась, даже не начавшись, и он, великий литовский князь Ягайло, проиграл ее полностью. Его планы потерпели крах вовсе не там, куда он так спешил, не жалея себя и воинов, а здесь, в этом глубоком и широком овраге, который может стать могилой для него самого и тысяч отборных литовских панцирников.

На противоположном скате оврага на самой вершине, посреди лесной дороги, по которой двигалась литовская колонна, виднелась группа всадников. Все в них — и остроконечные, с еловцами, щлемы, и червлёные щиты, и длинные прямые мечи — все их убранство и снаряжение было ему до мельчайших деталей знакомо. Перед ним были не его панцирники, а воины-русичи. Они стояли тесной группой, не шевелясь и не делая ни единого враждебного жеста, и молча смотрели на змеящуюся по дну оврага дорогу, которую уже всю заняла литовская конница. Русичей было не больше десятка, и великий князь с первого взгляда узнал среди них и воеводу Раду, и тысяцких Всеслава и Александра. Это означало, что перед ним не передовой русский разъезд, случайно наткнувшийся на литовцев. Это была засада, западня, ничем не хуже той, что собирался уготовить полочанам сам Ягайло. И виноват в случившемся был только он, великий литовский князь, не ожидавший от русичей такой быстроты передвижения и считавший, что сможет встретить их на следующий день. В суматохе событий он просто забыл о выносливости русской пехоты, славящейся еще со времен последнего киевского князя-язычника Свято-

слава беспримерными переходами и способностью вступать в бой прямо с марша. Платить за эту забывчивость судьба заставила его здесь, в глухом лесном овраге, и цена за эту оплошность грозила быть страшной.

Забыв о дожде, не чувствуя, что по спине бежит струйка воды, стекающая со шлема, Ягайло смотрел, как от группы русичей отделились трое и двинулись навстречу литовским конникам. Их головные сотни уже приблизились к месту, где дорога начинала взбираться вверх по склону, чтобы, вынырнув из оврага, вновь побежать по лесу. Не подозревая о нависшей опасности, панцирники, нахлестывая плетью уставших лошадей, стали медленно подниматься по скользкой глинистой дороге из оврага.

Один из русичей поднял руку, и кусты, которыми густо зарос склон с ведущей из оврага дорогой, зашевелились, раздвинулись, и вместо них по гребню оврага возникла сплошная стена червленых русских щитов. Длинные, суживающиеся книзу, они скрывали стоящих за ними воинов от коленей до плеч, оставляя над собой лишь их остроконечные шлемы. Частая щетина длинных копий возвышалась над этой неподвижной красной стеной. Их острия еще смотрели вверх, однако в любое мгновение могли быть направлены в грудь поднимающимся по склону литовцам. Те интуитивно, чутьем бывалых воинов поняли это, без всякой команды вначале замедлили движение, затем стали останавливаться.

А трое конных русичей уже были против Ягайлы. Посредине ехал воевода Рада.

— Здрав будь, великий князь! — крикнул он.

— Желая здравствовать и тебе, воевода, — ответил Ягайло. — Почему вижу тебя здесь, в самом центре Литвы, а не на тевтонском порубежье, где должен стоять ты против крестоносцев и беречь от них по моему приказу нашу границу?

— Твою границу, великий князь, — поправил его воевода. — Я русич, а у Руси свои границы и свои враги на ней.

— Воевода, ты русич, однако на верность присягал Литве и мне. Отчего ты нарушил эту клятву?

Он никогда не слыл дипломатом, великий князь Ягайло, зато он был воином и прекрасно понимал такого же воина, стоящего сейчас против него. И он не

хитрил, не лицемерил, а говорил прямо в лицо то, что думал и на что хотел получить ответ, поскольку только такой разговор был понятен и приемлем для таких людей, как он сам и русский воевода Рада.

— Да, великий князь, я давал клятву на верность тебе и Литовскому княжеству. Скажи, разве не честно служил я до этой самой минуты? Однако теперь, став врагом Руси, моей родины, ты сам избавил меня от этой клятвы. Ты недруг Руси, великий литовский князь, а значит, мой, и только от тебя зависит, где и когда мы скрестим мечи. Здесь, в литовском лесу, или позже, на русских равнинах, куда ты собрался вести свои полки. Выбрай, великий литовский князь... Я готов к любому твоему решению.

Ягайло, задавая вопрос, был прям и откровенен, не менее откровенным был и полученный им ответ. И великий князь оценил честность и прямоту старого русского воеводы.

— Ты прав, воевода, недруги сейчас Литва и Русь, а потому враги и мы с тобой. Ох как нелегко будет нам сегодня разойтись на этой дороге.

— Что ж, великий князь, каждый из нас исполняет долг перед своей родиной. Не на хмельной пир собрались я и мои русичи, а на смертный бой за родную землю. И коли суждено нам сложить голову в этом чужом лесу, немалой ценой заплатит Литва за победу, кровавой будет ее трезна.

Воевода Рада снова поднял руку в тяжелой железной рукавице, и холодный озноб пробежал по телу великого князя. Тесно сомкнутые ряды русичей, стоявшие до этого неподвижно, дрогнули и быстро раздalisь влево и вправо, еще шире охватывая выход дороги из оврага. А в просветах между копыеносцами показались такие же плотные ряды русских лучников. В щлемах, кольчугах, с мечами на поясах, они стояли положив стрелы на тетивы луков, щиты и копыя лежали возле их ног. Как и копыеносцы, они были неподвижны, но великий князь знал, что по первому же сигналу или команде они поднимут луки, натянут тетивы, и ливень стрел обрушится на сбившуюся в овраге литовскую конницу. И это будет началом конца, потому что ни одна из стрел не пропадет даром, каждая отыщет цель. Им, стоявшим вверху русичам, выросшим в походах и закаленным в боях, одинаково метко стрелявшим в пешем строю и с мчащейся на полном

скаку лошади, попадавшим даже в узкие прорези тевтонских рыцарских шлемов-масок, будет сущим пустяком расстрелять потерявшую воинский порядок, скупившуюся на дне оврага толпу литовских конников, полностью лишенных возможности маневра.

Лишь от него, великого князя Ягайлы, зависела в эти минуты жизнь и смерть тысяч лучших литовских воинов. Только он мог решить, погибнуть ли в этом овраге и ему самому, дав повод для торжества многочисленным врагам, или, уступив сейчас чужим уму и силе, остаться жить, чтобы при следующем, более благоприятном для него случае сполна рассчитаться за сегодняшний позор. Думай и решай, великий князь, судьба в твоих собственных руках. Русичи свое слово уже сказали, теперь ждут твоего.

И великий литовский князь сделал выбор.

— Воевода, чего ты хочешь? — спросил он, глядя в глаза собеседнику.

— Великий князь, я и мои воины-русичи идем на смертельный бой с вековым недругом нашей родины — татарской Ордой. Наше место там, под русским стягом, среди русских воинов. Если не желаешь лишней крови и тысяч напрасных смертей — уйди с нашего пути.

— Пусть будет по-вашему, — помедлив, сказал Ягайло. — Вы вольны идти куда желаете, и никто не встанет на вашей дороге. Это все?

Под вислыми усами воеводы Рады мелькнула улыбка.

— Прежде чем уйти отсюда, ты дашь нам княжеское слово в том, что не бросишь нам вслед свои тысячи, которым мы сейчас, как и тебе, дарим жизнь. Таково наше условие, великий князь.

Жестокими и обидными были слова русского воеводы для великого литовского князя, однако сейчас он не мог дать волю гневу.

— Добро, воевода. Никто из литовских воинов не встанет на твоём пути и не будет преследовать. Даю тебе в том свое великокняжеское слово. Ты доволен?

— Да, великий князь, — прозвучал ответ. — Теперь твои воины пусть продолжают движение. Тевтонский рубеж ждет их.

Рада поднял руку, дважды махнул над головой. Неподвижная стена красных русских щитов на гребне оврага шевельнулась, сомкнула ряды, скрыв за собой лучников, и через мгновение перед глазами великого

князя опять были только лес и кустарник. Ягайло повернулся к группе литовских воевод, что в течение разговора безмолвно стояла за его спиной.

— Боярин Старкус, — обратился он к одному из них, — ты поведешь воинов дальше и будешь командовать ими на кордоне. Делай, что я велел.

Старкус склонил в знак послушания голову, вытянул кося щетью и поскакал в голову литовской колонны. Пока мимо великого князя медленно тянулись усталые панцирники, а затем ровными, четкими рядами двигались в обратную сторону полки русской пехоты и конные дружины, он не проронил ни слова. Лишь когда вокруг все стихло, он хмуρο оглядел десяток всадников, оставшихся с ним, задержал взгляд на Адомасе.

— Запомни этот лес, боярин, — сказал он. — Здесь, даже не обнажив меча, я потерял шестнадцать тысяч лучших воинов.

— Двенадцать, великий князь, — поправил его Адомас. — Четыре тысячи полочан и восемь тысяч литовцев, что займут их место в тевтонском кордоне.

— Шестнадцать, и ни на человека меньше, — упрямо повторил Ягайло. — Потому что против четырех тысяч полочан, что сейчас ушли к моим врагам, я буду вынужден бросить в сражение столько же своих воинов. Вот арифметика моя, боярин.

— Но полочане еще не у твоих врагов, великий князь, — тихо сказал Адомас, отводя глаза. — Они еще в Литве и целиком в нашей власти. Ведь под твоим началом не только те восемь тысяч воинов, что ушли на западное порубежье.

— Я дал русичам княжеское слово, что не трону их.

— Разве тебе обязательно самому вести воинов? Или нет у тебя верных воевод, которые могут не знать о данном тобой слове?

Тяжелый взгляд великого князя заставил Адомаса съежиться.

— Боярин, сегодня русичи подарили мне и тебе жизнь. Я, великий литовский князь, тоже обещал им жизнь. И куда они находятся на моей земле, я сдержу слово.

Они сидели рядом на старом, поваленном ветром дереве. В десятке шагов от них храпели и били копы-

тами кони, на которых прискакал князь Данило со своими людьми. В отдалении, на поляне, горел костер, вокруг которого толпились дружинники боярина Боброка.

— Князь, что заставило тебя скакать ко мне? — тревожно спросил Боброк, стараясь рассмотреть в темноте лицо Данилы. — Ведь знаешь, что после ухода полочан к Андрею Ольгердовичу вокруг твоей усадьбы полно глаз и ушей боярина Адомаса.

— Знаю, боярин, только не было времени ждать твоего человека, а своего посылать опасно: неровен час, схватят его ищейки Адомаса. Вот и пришлось скакать самому, надеясь, что на меня они без ведома Ягайлы напасть не посмеют. Как видишь, так и случилось.

— Что за известие ты привез?

— Беда, боярин. Вчера прибыли к Ягайле гонцы с русского порубежья с вестью, что князь Дмитрий оставил в Москве лишь брата Владимира Серпуховского с малым войском, а сам со всей русской ратью двинулся через Коломну против Мамаю. Уже сегодня Ягайло приказал готовить свое войско к походу. Того и гляди, каждую минуту может навалиться на Ольгердовичей или направиться на соединение с Ордой. А московской рати еще далеко, ой как далеко до Дона.

Боброк опустил голову, невесело усмехнулся.

— Торопится Ягайло, торопится. Знает, что у князя Дмитрия втрое меньше сил, чем у Мамаю, а потому страшится, что хан московского князя один разобьет и Литву не у дел оставит. Вот и не хочет в случае татарской победы свою часть добычи упустить.

— Неужто он решил не дожидаться гонца, которого Мамаю должен прислать ему перед походом на Русь?

— Кто знает, князь. Ягайле сейчас не до ордынских грамот. Ему надобно не опоздать и себе кусок русской земли отхватить.

От рязанского князя Олега, преданного общерусскому делу, однако в силу обстоятельств вынужденно играть роль союзника Мамаю, князь и боярин уже знали содержание той грамоты, что отбили их сотники с Дорошем на степном литовском порубежье. Две недели назад литовские и рязанские послы встречались с ордынскими посланцами и договорились, что все три войска должны соединиться на Дону первого сентября. В грамотах, посланных в Рязань и Литву, Мамаю

сообщал, что в его планах ничего не изменилось. Но поскольку наемная итальянская пехота, нанятая в Генуе, прибыла позже, чем обещала, он вынужден задержать выступление на Русь. Поэтому он пришлет князьям Олегу и Ягайле еще одно сообщение уже об окончательном месте и времени их встречи.

Вот на этого гонца с новой ханской грамотой возлагали Боброк и князь Данило свои надежды. Поэтому лихорадочная активность литовцев после получения Ягайлой известия о начале движения русских войск на Дон могла нарушить их план.

Боброк пристально поглядел на собеседника.

— Много мы с тобой сделали, князь, дабы подольше задержать Ягайло в Литве, да, видно, не все. Самый решающий момент наступил сегодня. Дня три еще простоят бы Ягайле в Литве, и для Руси он уже не страшен. Пусть делает что хочет: судьба Руси решится на берегах Дона без его участия.

Князь Данило тронул длинные усы, медленно, с расстановкой, заговорил:

— Эти три дня нам не подарит никто, придется их самим вырывать у Ягайлы. Для этого остался только один выход — надобно посылать с письмами Иванко.

— Иванко? — тихо переспросил Боброк. — Последнего верного человека, который начал служить мне на Волыни и уцелел до сей поры?

— Да, его. Скажи, боярин, ты раздумывал бы о собственной жизни, ежели бы от тебя зависела судьба Руси?

— Нисколько, князь. Ибо нет большей чести для воина, чем умереть за родную землю.

— Тогда не будем терять времени.

Он громко хлопнул в ладоши, и перед ним выросла фигура одного из сопровождавших его дружинников.

— Десятский, сходи к огнищу. Скажи боярскому человеку Иванке, что боярин Боброк кличет его к себе.

Когда дружинник отошел, князь Данило спросил:

— Не выйдет ли у нас промашки с письмами? Уж больно хитер и недоверчив Адомае.

— Послания писаны самим Андреем Ольгердовичем, его почерк ведом Ягайле и Адомасу. Мою руку они тоже знают, поскольку не раз грамоты с моим письмом читали.

— А если схватят твоего Иванку живым и поднимут на дыбу? Не выдаст?

— Не тот он человек, чтобы предать русское дело. Потому и выбрал его, что не сомневаюсь в нем ни сколько.

— Посылай, и да свершится то, что начертано каждому из нас судьбой.

Князь перекрестился и вздрогнул, так неожиданно появился перед ним Иванко. Был он в кольчуге, поверх нее распахнутый кафтан, на боку широкий меч, на голове дорогая соболья шапка.

— Готов ли в дорогу, десятский? — спросил Боброк.

— Да, боярин. И я, и верный вороной.

— Вороной на сей раз пускай отдохнет, пойдешь пешком. — Боброк осмотрел десятского с головы до ног, остановил взгляд на шапке. — Скажи, Иванко, дорога ли тебе шапка? — спросил он.

— Еще как, боярин. Это же твой подарок.

— Береги ее пуще глаза, избави бог потерять. Лишь в схватке с ворогом, когда собьют ударом меча, можешь расстаться с ней.

— Я лишусь ее вместе с головой.

— Все может статься, ибо опасно поручение, которое предстоит выполнить тебе. В шапку твою сотник Григорий зашил ночью письма, которые надлежит доставить в усадьбу князя Данилы. Знаю, далек и нелегко сей путь, немало опасностей встретится на нем. Потому еще раз говорю: всегда помни о шапке и письмах, что в ней.

— Когда выступать в дорогу, боярин?

— Завтра с рассветом. Князь даст провожатого, так что все должно обойтись.

Данило посмотрел на своего дружинника, продолжавшего стоять рядом с Иванкой.

— Десятский, останешься здесь. А утром вместе с ним, — кивнул он на Иванку, — вернешься в усадьбу. Будешь боярскому человеку провожатым и охраной. Поскольку вокруг усадьбы литовские глаза и уши, идите через Волчий овраг. Там, у родника, встретит вас воевода Богдан с людьми. Жду завтра ночью вас у себя.

Князь встал, внимательно посмотрел в глаза Иванку и зашагал к своим дружинникам.

А через несколько часов перед Адомасом стоял покрытый пылью и тяжело дышащий от усталости Казимир.

— Боярин, с вестью к тебе от воеводы Богдана.

Адомас оторвал глаза от тяжелого манускрипта, лежавшего на коленях, посмотрел на слугу:

— Говори.

— Воевода велел передать, что князь Данило ждет гонца от боярина Боброка. Гонец должен доставить к нему грамоты от Боброка и братьев нашего великого князя, что перешли под руку московского Дмитрия. Самому воеводе князь велел встретить гонца в условленном месте, а также приготовить ему в усадьбе верных людей, что говорят по-литовски и хорошо знают наши края.

— Кто тот гонец и где должен встречать его воевода?

— Гонец кто-то из доверенных людей Боброка, встречать его следует у родника в Волчьем овраге. С гонцом будет княжеский десятский, который состоит при москвите проводником и оберегает его.

Адомас скосил глаза в сторону распахнутого настежь окна, пожевал губами.

— Значит, князь Данило ждет писем от Ольгердовичей? Думаю, великий литовский князь Ягайло тоже будет рад получить весточку от родных братьев. А потому вели седлать моего коня и прикажи быть наготове двум сотням конной великокняжеской стражи.

7

Десятский князя Данилы дал знак Иванко остановиться, осторожно отвел в сторону густую сосновую лапу, выглянул из-за нее на широкую лесную прогалину.

— Отсюда тропка ведет прямо к роднику, — тихо шепнул он замершему рядом с ним Иваню. — Ходу нам осталось не больше часа. Однако что-то не нравится мне сегодня в овраге.

Он еще раз внимательно огляделся по сторонам, потянул, словно зверь, носом воздух, положил ладонь на рукоять меча.

— Я давно знаю этот лес, друже. Здесь, в Волчьем овраге, самые грибные и ягодные места во всей округе. В это время тут обычно бывает полно баб и ребя-

тишек, а мы с тобой за весь день не встретили ни единого человека. И птиц тоже не слышно, а ведь...

Он не договорил. Брошенное сильной рукой копые пробило ему кольчугу и глубоко вошло в спину. Даже не охнув, десятский медленно повалился на бок, а из кустов на Иванко бросились несколько человек в литовских доспехах. Но в руке русича уже сверкнул выхваченный из ножен меч, и в следующее мгновение один из нападавших рухнул наземь с разрубленной головой, а Иванко выдергивал клинок из горла второго. Выставив перед собой окровавленный меч, он рванулся в образовавшуюся среди врагов брешь, однако там уже стояли трое других панцирников, наставив ему в грудь копыя. Остановившись, Иванко быстро повел вокруг себя головой и заскрипел зубами. Враги были со всех сторон, не меньше двух десятков. Упустив возможность внезапно схватить русича, они теперь наступали на него осторожно, прячась за щитами.

Иванко метнулся к толстому дубу, прислонился к нему спиной. Острия литовских копий виднелись рядом, русич был взят врагами в сплошное кольцо. Панцирники двигались не спеша, не спуская с него глаз, несколько копий блистали жалами всего в двух-трех шагах от Иванко. За спинами приближающихся литовцев прятались еще двое, лихорадочно разматывая тонкую стальную сеть. Значит, в запасе у русича осталось всего несколько секунд. Затем острия копий упрутся ему в грудь и накрепко прижмут к дубу, наброшенная сеть спеленает его как ребенка и вмиг превратит из грозного воина в беспомощного пленника.

Нет, только не это! Лучше смерть, чем полон! Ну, а коли ему суждено встретиться сейчас со смертью, он покинет этот мир с честью, взяв за собственную жизнь полную цену.

Иванко ждал, стиснув рукоять меча. Когда острия копий были готовы упереться ему в грудь, он молниеносным ударом перерубил у двух древка и бросился вперед. Ближайший панцирник, выронив щит, повалился мертвым. Другой попытался отскочить в сторону, но русский меч, скользя по кромке щита, успел вонзиться врагу в бок.

Копьеносцы остались за спиной Иванко, теперь перед ним была лишь пара литовцев, что растягивала и готовила сеть. Опецив от неожиданности, они бросили ее себе под ноги и схватились за мечи. Едва улови-

мым обманным движением Иванко выбил у одного из рук оружие, занес меч над головой второго.

— Бей! — закричал литовский сотник. — Бей, пока да не ушел!

Полдюжины копий, брошенных с расстояния в несколько шагов, пробили Иванко пашку.

С помощью слуг-телохранителей Адомас осторожно сполз с седла, медленно проковылял к дереву, под которым лежали трупы Иванко и десятского князя Данилы. Некоторое время не мигая смотрел на мертвых русичей, затем перевел взгляд на литовского сотника, в чью засаду угодили посланцы Боброка.

— Почему мертвы оба? Разве не велел я взять московита живым?

— Я помнил твой приказ, боярин, и мои люди пытались захватить его в полон, — ответил сотник. — Однако этого хотели мы, а не он. Московит предпочел умереть в бою с мечом в руке. Он был храбрым воином, и мы дорого заплатили за его смерть.

Сотник указал на соседний с деревом куст, где один подле другого лежали трое мертвых панцирников и громко стонал, зажимая окровавленный бок, четвертый. Но что могли значить для Адомаса жизни простых литовских воинов, которые все были для него на одно лицо и смысл существования которых заключался в одном — беспрекословно исполнять его приказы. За нужного ему живым посланца Боброка он, не задумываясь, заплатил бы жизнями всей засады, в том числе и сотника. Ноздри боярина от ярости раздулись, в уголках губ появилась пена.

— Я велел взять гонца живым... Живым и только живым! Как посмел ты ослушаться моего приказа?

— Боярин, мы сделали все, чтобы захватить его. А убили лишь потому, что он мог пробиться и уйти. У нас не было иного выхода.

— Пробиться? Один против двух десятков? А где ты был сам? Что делал? Отчего не встал на его дороге, дабы не позволить уйти?

Прискакавший вместе с Адомасом и стоявший сейчас рядом с ним воевода Богдан тронул боярина за плечо.

— Сотник прав, — сказал он. — Этого человека никто не мог взять живым, если он решил умереть. Боброк знает, кому доверять тайны, и его люди верны ему.

Адомас настороженно глянул на воеводу:

— Тебе известен москвит? Откуда? Он что, бывал в усадьбе князя Даниила раньше?

— Да, боярин. Это за ним шел твой челядник Казимир, выслеживая лесной лагерь Боброка. Но я знаком с этим человеком еще до его появления в Литве. Я встречался и разговаривал с ним год назад, когда был с князем Даниилом в Москве. Это Иванко, один из довереннейших слуг Боброка. Он, как и боярин, прибыл в Москву из Волынской земли и с тех пор неотлучно находился при Боброке. Не гнев, а милость должен проявить ты к своим воинам, что не упустили столь важную птицу.

— Иванко, — процедил Адомас сквозь зубы, с интересом глядя на труп гонца. — Слыхивал я о таком, давно слыхивал, а вот свидеться не приходилось. Однако господь не без милости, вот и встретились.

Он довольно рассмеялся тихим, дребезжащим смешком. Затем, нахмурившись, ткнул пальцем в сторону Иванко.

— Общайте. Не пропустите ни одной нитки, ни единого шва или складки.

Несколько боярских слуг одновременно бросились к трупам русичей, склонились над ними. Через время один разогнулся, подошел к Адомасу, протянул ему на ладони стопку узких полосок белого шелка, сплошь исписанных буквами.

— Нашли у москвита в шапке. Больше при мертвых ничего нет.

Мельком взглянув на шелковые полоски, Адомас тотчас сунул их за пазуху и глянул на воеводу Богдана:

— Ступай, вдруг хватится тебя князь Данило. Теперь мне не нужна ничья помощь.

Приблизившись к Ягайле, Адомас положил на стол найденные у мертвого русского гонца шелковые лоскуты. Великий князь внимательно осмотрел их один за другим, зачем-то понюхал и попробовал на ощупь и лишь после этого снова аккуратно сложил на столе.

— Решил порадовать меня известием о родном братце, боярин? — спросил он с усмешкой.

— Не только о нем, великий князь, но и о боярине Боброке. Потому что если три письма писаны твоим братом Андреем Ольгердовичем, то четвертое Дмитрием Волынцем.

— Что же пишут они, кому шлют послания?

Адомас опустил глаза, неопределенно пожал плечами:

— Все письма писаны тайнописью. Нужен особый ключ, чтобы прочесть их. Но уж коли прошли они через руки Боброка, то напрасное это дело, поскольку в хитростях Дмитрия Вольца сам черт ногу сломит.

— Пусть он в них хоть голову сломит, но я должен знать, кому эти письма посланы и что в них сообщается, — повышая голос, сказал Ягайло. — Иначе какой толк от того, что лежат они на моем столе?

— Я велел переписать все письма, и мои люди уже начали разгадывать их тайну.

— Когда они разгадают ее? Завтра, послезавтра, через неделю? Я хочу знать имена своих врагов сегодня, пока еще в состоянии свернуть им шею.

— Великий князь, я и мои люди сделаем все, на что способны. Однако уже сейчас можно извлечь из писем пользу. Мы узнали, что твой брат Андрей через Боброка и князя Данилу поддерживает связь со своими сторонниками в Литве...

Громкий смех великого князя прервал слова Адома-
маса.

— Боярин, я это знал всегда, без тебя и перехваченных сегодня писем. Чем выше положение человека, тем больше у него недругов и завистников, имеются они и у меня, великого литовского князя. Но кто они, с кем связаны, каковы их планы? Вот на что должны дать ответ послания моего брата Андрея.

— Великий князь, мне неизвестно, когда удастся проникнуть в тайну перехваченных лоскутов. Пока хочу предупредить тебя о следующем. Мои надежные сыщики донесли, что боярин Витаутас выступал против твоего похода на Русь и говорил, что, пока московский Дмитрий борется с Мамаем, надобно собрать все наши силы и, не опасаясь Москвы, ударить по крестоносцам. Он против твоего союза с Ордой.

— Бородатый козел! — выкрикнул Ягайло. — Ишь, ему не нравится мой союз с Мамаем и то, что я иду на

Русь. Еще бы, ведь его старший сын женился на смоленской княжне и принял православие. Ничего, боярин, дай только разделаться с Москвой...

— Князь Юстас тоже против союза с Мамаем, — вкрадчивым голосом продолжал Адомаc, подступая ближе к Ягайле. — Третьего дня на охоте он говорил, что Литве вместе с Москвой следует обрушиться вначале на Орду, после чего сообща выступить против тевтонов. Он хвалил твоих братьев и заявил, что только союз с Русью и Польшей может спасти Литву от крестоносцев.

— Лишь его советов мне не хватало, — еле сдерживаясь, проговорил Ягайло. — Желает союза с Москвой? То-то два его племянника ушли с моим братом Дмитрием на Русь. Ничего, дайте мне только покончить с Москвой...

— А боярин Юлиус, сказавшись хворым и оставшись в усадьбе, приехал с сыном только половину воинов, а остальных распустил по домам, — шептал Адомаc. — А жене сказал, что за Орду пусть воюет великий князь, а у него имеются дела поважнее в собственной усадьбе.

Грохнув кулаком по столу, Ягайло вскочил на ноги, метнулся вначале в угол комнаты, затем остановился против Адомаcа.

— До сегодняшнего дня я опасался только русичей, теперь не должен верить и литовским князьям и боярам! Как могу идти на Русь, если в самой Литве измена? Подскажи, что мне делать, как быть?

— Великий князь, мои верные люди неотступно следят за всеми твоими врагами, будь они русскими князьями или литовскими боярами. Конечно, лучше всего поскорее вырвать их всеми жала, да не пришло еще это время. Но придет, нужно только ждать.

— Ждать? Чего? Московский Дмитрий со своей ратью уже выступил из Коломны против Мамаея, а из Орды ни слуху ни духу. Я не могу спокойно сидеть и ждать, видя, что победа уходит из моих рук.

— О какой победе ты говоришь, великий князь?

— Мои братья остались одни, князь Дмитрий уже не в состоянии помочь им, Владимир Серпуховский с его малой дружиной мне не страшен. Я могу разбить братьев поодиночке, куда они разбегутся, а затем двинуться на Москву. Пусть тогда Мамай попробует сказать, что Литва не помогла ему.

— Твои братья не новички в воинском деле, великий князь, разбить их будет не так просто. Поэтому нужно ждать, тем более что осталось недолго. Час назад ко мне прискакал гонец с южного порубежья и сообщил, что их дозор видел в степи татарский чамбул в тысячу сабель. Он следует в нашу сторону. Думаю, это и есть обещанный гонец от Мамаю.

Глаза Ягайлы весело блеснули.

— Боярин, ты исцелил меня! Но смотри, чтобы эту грамоту я получил от Мамаюва гонца, а не из чужих рук, как прошлый раз.

— Великий князь, та грамота оказалась настоящей, а боярин Векша верен нам, как собака хозяину. Клянется всем святым, что отбил ее у казаков-ватажников.

— Тысяча сабель не сто, — проговорил Ягайло. — Будем надеяться, что целый чамбул окажется не по зубам степным разбойникам.

— Я вышлю навстречу гонцу пять сотен панцирников. Но, кроме этого, дабы обезопасить грамоту, я решил сделать и кое-что другое. Выслушай меня, великий князь...

Осторожный стук в дверь прервал разговор князя Даниила с Боброком и воеводой Богданом.

— Княже, дозволю весть передать, — негромко донеслось из-за двери.

— Входи, — разрешил князь Данило и остановил Боброка, поднявшегося было из-за стола. — Сиди, это верный человек. От него можно не хорониться.

Вошедший слуга плотно прикрыл за собой дверь, отвесил присутствующим почтительный поклон.

— Княже, какой-то человек хочет видеть тебя. На обличье худороден, по одежке незнатен, однако говорит, что единожды встречался с тобой на охоте, и уверяет, что ты будешь рад видеть его. Только потому и смею тебя беспокоить, что уж больно настырен он.

Князь переглянулся с Боброком.

— Говорит, встречался со мной на охоте? Невелик ростом, горбат, кутается в плащ? Таков или нет?

— Таков, княже. Уродлив и мерзопакостен на вид.

— Где он?

— Остался на тропинке у трех камней. Сказал, будет ждать тебя с важным известием.

— Хорошо, иди.

Едва за слугой закрылась дверь, князь Данило взглянул на Боброка, на воеводу Богдана.

— Это конюший Адомаса, о котором я рассказывал. Тот, что предупредил меня о воеводской измене и обещал прийти снова. С той первой встречи не было от него никаких вестей, а вот опять явился. Интересно, что у него на сей раз.

Боброк задумался.

— Помню о нем, князь, хорошо помню. Много думал я о нем и его известии, только ни к какому выводу так и не пришел. Непонятный он человек, странным кажется его поступок. А главное, нет причин ни верить ему, ни подозревать в злом умысле. Ведь будь воевода Богдан на самом деле изменником, конюший своим доносом сослужил бы нам неплохую службу. Может, зря мы не верим ему.

— Возможно, и так, боярин. Люди предают себе подобных из-за золота или из ненависти, и если отпадает одно, остается другое. Прощлый раз конюший отказался от моего золота, думаю, вряд ли нужно ему в таком случае и Ягайлово. Значит, остается ненависть. Я проверил и узнал, что старая боярыня, мать Адомаса, действительно велела в детстве искалечить его. Как знать, может, именно ненависть и желание отомстить за свою исковерканную по чужой прихоти жизнь привели его ко мне. Лишь так могу объяснить я поведение конюшего.

— Может, так оно и есть. А возможно...

Боброк не договорил, встал из-за стола. Протянул руку к висевшему на стене плащу, набросил на себя.

— Хватит, князь, гадать нам, как бабам-ворожеям, давай лучше посмотрим еще раз на ночного гостя, теперь уже вдвоем. На месте и решим, что он за человек.

— Добро, боярин.

Князь тоже поднялся со скамьи, положил руку на плечо воеводы Богдана.

— Подожди нас здесь. Рано тебе еще ходить со мной, пускай Адомасовы глаза и уши думают, что ты у меня в опале.

Князь прихватил со скамьи плащ, отворил скрытую

в стене потайную дверь, и они с Боброком скрылись за ней...

Тропа возле трех больших камней-валунов была пуста, и князь уже собирался окликнуть конюшего, как тот сам выступил из-за одной из глыб. Был он в том же, что в прошлый раз, темном плаще, нижнюю часть лица скрывали складки сброшенного с головы капюшона. Нечто от хищной ночной птицы было в его черной, согнутой фигуре.

— Вечер добрый, князь, — отвешивая низкий поклон, приветствовал он Данилу. — Вечер добрый и тебе, боярин Боброк, верный слуга московского князя Дмитрия. Не думал, что вы оба почтите меня своим высоким присутствием.

Боброк, закутавшийся в плащ так, что его лицо невозможно было рассмотреть, невольно сделал шаг назад и едва удержал руку, потянувшуюся к мечу.

— Откуда знаешь меня? — спросил он, впиваясь глазами в черную фигуру. — Видел где?

Хриплые, булькающие звуки, лишь отчасти напоминающие человеческий смех, донеслись из-под складок капюшона, которым был прикрыт рот конюшего.

— О нет, боярин Боброк, никогда не видел я тебя. Не знаешь и ты меня, жалкого литовского холопа, — сказал конюший, перестав смеяться. — Впервые сегодня встречаемся мы с тобой, русский боярин Дмитрий Боброк-Волынец, впервые ведем разговор.

— Тогда как сумел узнать меня? Говори.

— Посуди сам, трудно ли это. Я знал, что ты в Литве, причем в этих местах, постоянно держишь связь с князем Данилой. Кого еще он мог привести с собой, дабы решить, стоит ли верить мне? Князь Данило горд и знатен, он не пожелал бы слушать советов человека ниже его по родовитости. Князь также умен, опытен и не стал бы открывать нашу с ним дружбу человеку, которому не доверял бы полностью. Вот почему он мог привести с собой лишь тебя, боярин Боброк, равного ему по знатности и уму, которому верит как самому себе, вершит вместе одно общее дело и наравне рискует жизнью. Как видишь, боярин, не такой уж сложной задачей было признать тебя, — закончил конюший с усмешкой в голосе.

— Ты не ошибся, — сухо сказал Боброк. — Перед тобой действительно русский боярин Дмитрий Волынец. Ты верно сказал, что у нас с князем одно общее

дело и нет друг от друга тайн. Посему можешь смело говорить при мне все, с чем пришел. Приступай.

— Князь, воевода Богдан вчера вечером ждал у родника в Волчьей балке гонца от боярина Боброка. Скажи, дождался ли он его?

— Гонца еще нет, и воевода с людьми до сих пор в овраге. Всякое может случиться в пути, особенно в наше тревожное и опасное время, однако те, кто должен прийти к роднику, храбры и надежны, и Богдан обязательно дождетя их.

— Нет, князь, воевода напрасно теряет в лесу время, он не дождетя гонца. Точно так, как ты с боярином Боброком никогда больше не увидите этих людей. Дмитрий Волянец — ближайшего слугу Иванко, ты — вернейшего десятского Бориса.

— Что знаешь о них, литвин? — насторожился князь Данило.

— Я видел их сегодня мертвыми в подземелье великокняжеского замка. Мне удалось узнать, что ваших гонцов перехватили люди Адомаса, и те погибли в бою.

— Что смог выведать еще?

— При Иванко нашли зашитые в шапке письма. — Конюший повернулся к Боброку: — Писанное тобой собственноручно и те, что пересылались от князя Андрея Ольгердовича. Сейчас Адомасовы подручные пытаются разгадать их тайнопись.

— Опять воевода?! — резко сказал Данило.

— Да, князь. Ты, видно, не поверил мне в прошлый раз, и вот результат. Но это дело твое, не мне давать советы.

— Тогда мы сомневались в твоих словах, литвин, а сейчас верим, — сказал Боброк. — Ты много сделал для нас, мы благодарны за это. Князь передал мне, что ты отказался от его золота, в таком случае возьми на память обо мне вот это.

Боброк снял с пальца золотой перстень с драгоценным камнем, протянул конюшему. Тот лишь мельком взглянул на подарок и даже не протянул к нему руки.

— Боярин, я благодарен за добрые слова, но твой дар мне не нужен. Зачем он холопу? Да и откуда у него может быть золотой перстень с таким яхонтом? Не для мужицких рук сработан он и не принесет такому, как я, счастья. Оставь его себе, а коли желаешь отплатить мне добром за добро, сделай совсем иное.

— Мы оба, я и князь, обещаем выполнить твою просьбу.

Черная фигура в знак признательности склонила голову.

— Я прошу помощи, чтобы отомстить моему и вашему врагу боярину Адомасу, нанести ему смертельный удар.

Князь Данило удивленно вскинул брови:

— Смертельный удар? Как свершить это? Боярин Адомас хитрее лисы и осторожнее змеи.

Боброк остановил его:

— Князь, мы не дослушали конюшего до конца. Мне кажется, он не просто говорит о мести, а имеет план, как осуществить ее. Я прав, литвин?

— Ты не ошибся, боярин. План моей мести уже созрел полностью, я лишь прошу вас помочь мне.

— Что должны мы сделать?

— Князь и боярин, вы оба сильны и здоровы, поэтому не знаю, поймете ли меня, калеку, но все равно слушайте. Хил и немощен ваш враг, боярин Адомас, нет у него ни друзей, ни товарищей, ненависть и презрение окружают его. Только одно удерживает его в этой жизни — непомерное тщеславие и жажда власти над другими людьми. Они ему заменяют все. Самое страшное для Адомаса — почувствовать себя простым смертным, жалким и презираемым калекой, а значит, лишиться той единственной нити, которая заставляет его цепляться за жизнь. Именно это я и собираюсь сделать с вашей помощью.

Конюший сделал паузу, судорожно сглотнул, поочередно глянул на князя и боярина. Те молчали, и он заговорил снова:

— Сила и могущество Адомаса в его близости к великому князю, в том доверии, которое Ягайло к нему питает. Чтобы уничтожить Адомаса, надобно лишить его милости и благожелательности великого князя. Все остальное доделают его многочисленные и могущественные враги, которые только и ждут, когда он споткнется, дабы навсегда втоптать его в грязь... Умен и расчетлив боярин Адомас, хитер и изворотлив, однако с твоим появлением в Литве, боярин Боброк, ушла от него всегдашняя удача. Не смог он ни поймать тебя, ни отбить московское золото, не удалось ему помешать уходу из Литвы полоцких дружин. Сгинуло в степи ордынское посольство и процала Мамаева грамо-

та. Не сумел он захватить живьем твоего гонца с письмами Андрия Ольгердовича и до сей поры не может прочесть их. Недоволен им в последнее время великий князь, нет у него к Адомасу бывшего доверия и любви. Именно сейчас, князь и боярин, мы можем сообща нанести нашему общему врагу удар, который навсегда покончит с ним.

— Ты неплохо осведомлен о делах своего господина, — заметил князь Давило. — Но где же замысленный план?

— Вот он. Прежде чем выступить в поход, князь Ягайло должен дожидаться гонца от Мамаю, который сообщит, что и когда ему делать. Этот посланец уже в пути, его видели на степном порубежье. Грамота у него, видать, непростая, поскольку охраняет его чамбул в тысячу сабель. А чтобы с грамотой ничего не случилось, как в прошлый раз, великий князь посылает навстречу гонцу боярина Адомаса с пятью сотнями панцирников. Если вы согласитесь помочь мне, ни боярин Адомас, ни князь Ягайло никогда не увидят ордынской грамоты. После этого всемогущий боярин Адомас исчезнет, а в Литве появится убогий калека с его именем и обликом.

Дернув головой, конюший умолк, вытер рукой губы. Внутри у Боброка все дрожало от волнения, однако голос его прозвучал, как и прежде, ровно и спокойно.

— Как ты мыслишь отбить грамоту? Представляешь ли, какой крови это будет стоить?

— Боярин, я давно мечтал о мести и, прежде чем прийти к вам, обдумал все до последней мелочи. Да, грамота будет стоить немало крови, но я в результате выполню обет своей жизни, а вы, князь и боярин, получите в руки грамоту, которая пужна московскому князю Дмитрию не меньше, чем литовскому Ягайле. А ордынское послание станем отбивать так. Нас здесь трое, пусть же каждый возьмет на плечи равную с другими пошу. Вы, князь и боярин, займетесь татарами, я — литовцами. Когда будете отбивать грамоту, знайте, что ни один Ягайлов воин не придет степнякам на подмогу.

Князь Давило окинул конюшего насмешливым взглядом.

— Литвин, понимаешь ли, о чем говоришь? Знаешь ли, что за сила пять сотен отборных великокняжеских панцирников?

В ответ конюший сунул руку за паузу, достал оттуда узелок. Развязал и показал Даниле горстку порошка, завернутого в тряпицу.

— Этого зелья достаточно, чтобы отравить целый колодец. Я сделаю это, оставив без коней все пять сотен Ягайловых воинов.

— Где думаешь отравить воду? — спросил Боброк. — Это надобно сделать там, где литовцы не смогут достать новых коней или послать известие князю Ягайле, чтобы тот отправил вместо них другой отряд.

— Боярин, это случится там, где ты велишь.

— Где должны встретиться ордынцы с литовцами?

— На поляне у старых развалин, что в Черном лесу. Ты знаком с этим местом?

— Я знаю его, — ответил вместо Боброка князь Данило. — Мне не раз приходилось бывать там, и я хорошо помню все дороги и тропы, что ведут к поляне. Известна ли тебе мельница у перекрестка на старой степной дороге? Твой боярин с панцирниками никак не минуют ее, там у колодца и сделайте привал. Мельник Путята будет знать о тебе и, если потребуется, поможет во всем.

— Адомас с панцирниками выступают завтра утром, поэтому мне следует торопиться, — проговорил конюший, взглянув на небо. — Если я больше не нужен, поспешу в дом хозяина.

— Подожди, — сказал Боброк, преграждая ему дорогу. — Выслушай напоследок еще несколько слов и хорошенько запомни их. Я не знаю, кого ты сейчас предал: нас или собственного боярина, но мы доверились тебе. Завтра в бою за грамоту прольется много русской крови, но ежели по твоей вине добавится еще хоть капля, я отыщу тебя везде, чтобы отомстить. Теперь ступай, у нас всех много дел и мало времени.

По лицу конюшего пробежала гримаса, он опустил глаза, набросил на голову капюшон плаща, глухо заговорил:

— Ты зря сомневаешься во мне. Прощайте, князь и боярин, пусть каждому из нас поможет в его деле небо...

Он неслышно шагнул в проход между двумя каменными глыбами и растаял в темноте. Через минуту до русичей донесся удаляющийся конский топот.

Весь обратный путь до усадьбы князь и боярин хранили молчание, каждый был погружен в собственные мысли. Первое слово, сказанное Боброком, было уже в комнате, где их поджидал воевода Богдан. Швырнув на лавку плащ и шапку, боярин сел в кресло, глянул на воеводу и, отвечая на его немой вопрос, сказал:

— Повтори еще раз, что говорил перед нашим уходом.

— В обед прискакал гонец Дороша. Атаман сообщает, что его дозор обнаружил в степи татарский отряд в тысячу сабель. Путь ордынцев лежит в Литву, судя по всему, это и есть Мамаев гонец с охраной, которого мы ждем.

— Теперь послушай, с чем пожаловал к нам ночной гость. — И Боброк со всеми подробностями передал воеводе содержание состоявшегося у камней разговора. — Что молвишь на это?

— Конюший не сказал ничего для нас нового. О гонце нас уже предупредил Дорош, а что Ягайло выплет навстрочу татарам отряд панцирников, мы тоже догадывались.

— Ты забываешь, что конюший предложил собственный план. Если примем его, нам с тобой придется иметь дело не с пятнадцатью сотнями врагов, а с десятью. А это имеет для нас первейшее значение. Князь, сколько у тебя воинов?

— Три сотни у меня, столько же у Дороша, полусотня у тебя. Маловато. Чувствую, что трудненько придется нам.

— Поэтому помощь конюшего для нас дар судьбы. Принять ее или отказаться?

Они долго еще сидели за столом, обсуждая все слова и даже жесты конюшего, советуясь и делаясь сомнениями. И в конце концов все-таки решили довериться конюшему и принять его план. Но для предосторожности договорились установить тайное наблюдение за мельницей Путьяты, чтобы доподлинно и в кратчайший срок знать, что там произойдет.

— Ну, други, коли переговорили обо всем, пора готовить людей и выступать в дорогу, — сказал Боброк, поднимаясь с кресла. — Путь неблизкий — вначале до степного порубежья, затем до самого Дона, под русские стяги великого московского князя Дмитрия Ивановича. С богом...

Первым в ворота въехал толстый важный сотник с огромными усами, за ним по трое в ряд протиснулись десятка два конных латников с длинными копьями в руках. Лишь после этого в воротах появился боярин Адомас, рядом с которым трясся в седле его конюший.

Сотник остановил коня перед вышедшим на крыльцо мельником, расправил усы, грозно глянул на хозяина двора.

— Смерд, напоишь наших коней. Да живо покличь хозяйку, пусть приготовит поесть вельможному боярину, — кивнул он на Адомаса.

Мельник, пожилой высокий мужчина с пироченной бородой, в покрытой мучной пылью рубахе, переступил на крыльце босыми ногами, посмотрел снизу вверх на сотника.

— Лошадей я напою, а насчет хозяйки пусть боярин не прогневается. Нет ее дома.

— Где она? — топорща усы, рывкнул с седла сотник.

— В лес с ребятишками пошла, грибы да ягоды собирать. Время сейчас как раз такое... Кто же знал, что к нам столь важные гости пожалуют.

— Нет так нет, дьявол с ней, — проговорил сотник, соскакивая с коня. — Не помрет боярин и без твоей бабы, у него своих холопов полно. Накормят и напоют не хуже любой мужички.

Сотник пристроил к стене копые и щит, снял с головы шлем, вытер рукавом вспотевшую макушку с наметившейся лысиной. Разгладив усы и откашлявшись от пыли, он посмотрел на въезжавших во двор все новых конников, перевел взгляд на мельника и топнул ногой.

— Чего рот раскрыл? Беги скорей к колодцу да пои лошадей.

— Пускай остынут вначале, — степенно сказал мельник, не трогаясь с места. — Коли напоишь их сразу холодной водой, можно загубить.

— Не загубишь, — проговорил подошедший сбоку конюший. — Последние версты мы еле тащились, так что кони давно остыли. Пошли, я помогу тебе, Да и сам напьюсь, коли угостишь.

Мельник быстро взглянул на конюшего, опустил глаза.

— Угощу, воды не жалко.

Спустившись с крыльца, он вразвалку двинулся к колодцу. Горбун, стараясь не отстать, мелкими шажками потрусил рядом.

— Я от князя Данилы и боярина Боброка, — тихо прошептал конюший. — Поможешь мне отравить колодец и уходи скорее в лес, покуда кони не начали падать и дохнуть.

— Узнал и я тебя, литвин, — так же тихо ответил мельник. — Поспешим к колодцу, пока там еще чисто от гостей незваных.

Они ускорили шаги, подошли к колодцу. Мельник вытянул бадью с водой, перегнул ее край, дал напиться конюшему. Ставя бадью обратно на мокрый сруб, горбун, словно нечаянно, столкнул ее в колодец, подхватил уже на лету внутри сруба. Пока мельник, помогая ему, медленно поднимал бадью, конюший, прячась за русичем, быстро достал из-за пазухи узелок с порошком, высыпал его в темную воду. Едва мельник успел вытащить бадью и снова поставить на сруб, а конюший спрятать опустевшую тряпицу в карман, возле них появился сотник с конем в поводу.

— Что возишься, смерд? — крикнул он мельнику. — Наливай воду в колоды! Или думаешь, что мы собираемся торчать у тебя до вечера?

— Сейчас, пан воевода, сейчас, — заторопился мельник.

Доставая из колодца бадью за бадьей воду, он лил ее в наклонный деревянный желоб, по которому она стекала в ряд долбленых колод, откуда обычно поили лошадей приезжавшие на мельницу крестьяне. Стоя рядом, сотник вначале молча наблюдал за его работой, ватем грубо схватил за плечо.

— Что лъешь, смерд? Чем хочешь поить наших коней?

— Водой, пан воевода, — спокойно ответил мельник, одним движением плеча сбрасывая с себя руку. — Чем же еще поят лошадей?

— Водой? Тогда почему кони не пьют ее? Смотри...

Он указал на колоды, возле которых с обеих сторон уже стояли несколько литовцев с лошадьми в поводу. Действительно, ни одна из них не пила воду.

— Что за вода у тебя, смерд? — закричал сотник, хватаясь за меч. — Отчего кони воруют морды? Может, она дурная и ты задумал погубить их? Пей ее вначале сам! Пей, собака! Слышишь?

Выхватив из ножен меч, он приставил его к груди мельника.

— Пей, или проткну тебя насквозь!

Мельник бросил исподлобья быстрый, внимательный взгляд по сторонам. В нескольких шагах от колодца за низкой изгородью из жердей был лес, однако там стоял литовский сотник. Правда, в руках у мельника была тяжелая деревянная бадья и он мог без труда сбить ею сотника с ног, но рядом были другие литовские воины, прибежавшие на крик. Их копыта и обнаженные мечи были направлены на русича. И мельник спокойно вылил воду из бадьи в желоб, поставил ее на сруб. Выпрямился и с улыбкой посмотрел на сотника.

— Не кричи, пан воевода, — сказал он. — Откуда мне знать, отчего ваши кони не хотят пить воду? Может, не привыкли к ее запаху. У нас кругом болота-торфяники, так что вода помимо запаха имеет и свой привкус. Однако панпил ее, — мельник кивнул на конюшего, — и ничего с ним не случилось... Так что вода хорошая.

Сотник сильнее прижал меч к груди русича.

— Пей!

Мельник неторопливо поднял бадью, припал губами к ее краю. Затем вытер губы, стряхнул капли с усов и бороды.

— Хватит, напился.

Он собрался вылить остатки воды в желоб, но вдруг зашатался, зашелся в глухом надрывном кашле. Схватившись за грудь и жадно ловя открытым ртом воздух, он какое-то время еще стоял на ногах, затем тяжело рухнул на сруб колодца.

Опустив оружие, литовцы с изумлением и страхом наблюдали за происходящим. Лишь сотник, ничему не удивившись, перешагнул через упавшего и подошел к стоявшему невдалеке конюшему.

— Что делать дальше? — спросил он.

— Оставь на подворье стражу, чтобы никто не вздумал пить или поить лошадей, а сам с отрядом отправляйся дальше. Через три версты будет ручей, там

устройте водопой и отдохнете до нашего с боярином приезда. Ступай.

Конюший еще раз взглянул на труп мельника, перекрестился и направился к дому. В чисто прибранной горнице у окна сидел Адомас. При виде конюшего он рассмеялся дребезжащим смешком, потер руки.

— Хочешь сказать, что все идет по нашему плану? — спросил он, мельком взглянув на конюшего и снова отворачиваясь к окну. — Не надо, не говори, я все видел сам. Мельник мертв, но еще живы князь Данило и боярин Боброк. А мне нужны именно они, а не этот русский смерд.

— Я пришел говорить вовсе не о мельнике, боярин, — произнес конюший, останавливаясь у двери и прислоняясь спиной к бревенчатой стене. — Да, князь Данило и бояриц Боброк еще живы, но они в задуманной тобой западне и скоро будут уничтожены. Значит, я выполнил свое обещание. Не забыл ли ты о своем, боярин?

На лице Адомаса появилось недовольное выражение.

— Я все помню, холоп. Мной обещано, что, если ты заманишь в ловушку князя Данилу и боярина Боброка, я отпущу на волю твою приемную дочь. Однако не слишком рано заводишь ты сей разговор?

— Боярин, я выполнил все, что обещал. Дальнейшее зависит уже не от меня, а от храбрости твоих воинов и быстроты их коней. Только поэтому я осмелился напомнить о нашем с тобой договоре.

— Ты рано пришел, холоп, — холодно сказал Адомас. — Мне мало того, что Боброк в западне, мне нужен его труп. Покуда не увижу боярина Волынца у своих ног мертвым, я не буду знать, заслужила ли твоя приемная дочь моей милости.

— Боярин, ты не доверяешь мне так же, как Дмитрий Боброк, — криво усмехнулся конюший. — Скажи, чем могу помочь тебе еще?

— Скажи к боярину Векше и напомни, чтобы лучше следил за князем Данилой, а также лично проверил, надежно ли перекрыты дороги и тропы, по которым могут уйти русичи. Заодно скажи, что через два-три часа я поведу своих воинов ему на помощь.

— Передам, боярин.

Укрывшись в ветвях высокого дуба, сотник Андрей уже давно наблюдал за двором мельника Путяты. Он видел и въезжавших к нему на подворье литовских конников, и как мельник вместе с конюшим боярина Адомаса подошел к колодцу, как обступили его с оружием в руках литовцы. Видел, как старого Путяту заставили пить отравленную воду и как тот упал мертвым на сруб колодца. И лишь когда конюший как ни в чем не бывало ушел в дом мельника, где до этого скрылся Адомас, а литовский отряд, оставив у колодца небольшую стражу и полусотню воинов для охраны боярина, снова двинулся по дороге к степному порубежью, сотник заскользил по стволу дерева вниз.

С минуты, когда он лишь увидел пандирников и догадался, что те выступили в поход не утром, как говорил конюший, а гораздо раньше, в его душе шевельнулась тревога и возникли первые, пока неясные подозрения. Теперь же, став свидетелем смерти Путяты и безнаказанности конюшего, отравившего колодец, он понял все.

— Измена, други! — крикнул он двум дружинникам, поджидавшим его под дубом с конями в поводу. — Быстрей к князю.

Андрей прямо с дерева прыгнул в седло, и тотчас в ствол рядом впилась стрела. Подняв коня на дыбы, сотник втянул голову в плечи и оглянулся. Оба дружинника, сраженные стрелами, лежали бездыханными в траве. Не раздумывая, Андрей ударил коня плетью и направил его на сплошную стену кустов, что высилась перед ним. Однако было уже поздно: несколько стрел впились в конский круп, и лошадь стала медленно заваливаться набок. Сотник успел невредимым соскочить на землю и даже выхватить меч, но брошенный из-за соседнего дерева аркан обвился вокруг шеи и свалил его с ног.

— Вяжи крепче! — весело крикнул старший сын боярина Векли Николай, подъезжая к лежавшему на земле сотнику, на котором сидели несколько боярских дружинников. — Этого удальца я знаю, встречал у князя Данилы не раз. За такой подарок боярин Адомас нам спасибо скажет...

Андрея развязали лишь после того, как втащили в дом мельника Путяты и поставили перед столом, за которым сидел боярин Адомас. Тот внимательно окинул пленника взглядом, слабо улыбнулся.

— Здравствуй, здравствуй, любимый сотник князя Данилы, — дружелюбно произнес Адомас. — Как видишь, знаю я тебя, да только сегодня господь сподобил познакомиться. Чего молчишь? Думаешь, буду выпытывать что-либо? Приготовился небось к дыбе да огню с железом? А мне, представь, ничего от тебя не надобно. Потому что сам знаю все наперед: и зачем князь Данило с боярином Боброком в этом лесу, и где они устроили засаду на татарский чамбул, что сопровождает к князю Ягайде Мамаево послание. Все известно мне, русский сотник Андрей. Потому и мертв уже мельник Путята, бывший с вами в стоворе, оттого и ты сейчас стоишь безоружный предо мной. А к заходу солнца не будет в живых ни твоего князя, ни его напарника, московского боярина Боброка.

Адомас пристально взглянул на Андрея, забарабанил костяшками пальцев по столу.

— Вот почему не нужен ты мне, сотник, а потому отпращиваю-ка я тебя в подарок боярину Векше. Знаю, есть у него счеты к твоему князю, может, припомнит он и тебе какой-нибудь старый грешок. Пусть порадуется моей доброте и заботе...

Оставшись в горнице один, боярин откинулся спиной к стене, подставил лицо теплым лучам солнца, прикрыл глаза. Несмотря на усталость и одолевавшую из-за бессонной ночи дремоту, настроение у него было как никогда хорошее.

К этому были причины. Недавно боярин Векша вручил ему Мамаеву грамоту, которую везло таинственно исчезнувшее в степи ханское посольство, и рассказал историю, как он якобы случайно наткнулся в лесу на казачий отряд и отбил ее. Адомас не поверил ему. Но одного недоверия мало, боярину нужна была правда. Через доверенных людей, имевшихся у него в усадьбе Векши, Адомас узнал и о ночном приезде атамана Дороша, и о встрече, которая состоялась между ними на следующую день у старого дуба на поляне, и о неудавшейся засаде Векши на собственного беглого челядника. А услышав о том, что атаман при встрече у дуба получил из рук боярина дорогого аргамака с отличным племем и саблей, он несколько уже не сомневался, что Векша получил грамоту действительно от Дороша, но только не в бою, а обменяв ее на коня и плем с саблей.

Итак, судьба ханского послания для Адомаса была ясна, понятно ему было и вранье тщеславного и недалекого боярина Векши, однако поступок дерзкого и бесстрашного атамана степных разбойников Дороша был Адомасу не совсем понятен. И он, потомственный литовский боярин, правая рука великого князя Литвы, был вынужден лично заняться более чем скромной особой бывшего беглого челядника, ныне атамана ненавистной ему воинственной русской степной вольницы. Опять-таки через верных людей, имевшихся у него везде, а не только в боярском и княжеском окружении, Адомас узнал, что атамана Дороша в последнее время несколько раз видели с дружинниками князя Данилы, а один раз с воинами, по одежде и говору напоминающими московитов князя Дмитрия. Это заставило боярина задать себе вопрос: по собственной ли воле и разумению напал атаман на татарское посольство, так ли уж случайно угодила к нему Мамаева грамота? Но если атаман уничтожил ордынских посланцев по чужому наущению, почему отдал он грамоту боярину Векше, своему бывшему хозяину, заведомо зная, что в конце концов она очутится у великого литовского князя, то есть у того, кому предназначалась с самого начала? Возможно, весь секрет и заключается в том, в чьих руках Мамаево послание побывало до того, как Дорош появился с ним у Векши? В таком случае, наибольшую опасность для Адомаса представлял не сам атаман, исполнитель чужой воли, а тот, кто направлял его действия. Людей, которых мог интересовать обмен посланиями между великим литовским князем и ханом Золотой Орды, было двое: князь Данило и боярин Боброк. Может, часть доставленного Боброком в Литву московского золота пошла на то, чтобы атаман с его людьми стали послушным орудием в руках самого Боброка и его помощника, князя Данилы?

Много размышлял о случае с грамотой Адомас, немало было в его голове всевозможных догадок и предположений. Результатом явилось то, что однажды вечером перед русским князем Данилой предстал боярский конюший с вестью об измене княжеского воеводы Богдана. Предавая русича, Адомас, по его расчетам, не терял ничего... Если Богдан лазутчик Боброка, он, Адомас, только выигрывает, одновременно избавляясь от втирающегося к нему в доверие врага и заставляя верить человеку, которого сам подсылает к кня-

вю Даниле. Если же воевода действительно пришел к нему с чистой совестью, то и тогда потеря не особенно велика. Богдан многое сделал уже тем, что сообщил Адомасу о пребывании в Литве Боброка и навел его на след московского золота. Что касается утраты воеводы, она в дальнейшем будет с лихвой возмещена деятельностью боярского конюшего, который на костях Богдана войдет в доверие к князю Даниле.

Вот почему он решил заменить чужого, непонятного ему до конца воеводу верным конюшим. Как показывали дальнейшие события, Адомас сделал правильный ход. Сегодня он должен сполна пожать плоды своей удачи.

Адомас открыл глаза, взглянул на висевший над лесом блестящий шар солнца. Протянул руку, взял со стола серебряный колокольчик и громко позвонил.

— Коня! — отрывисто бросил он появившемуся в дверях слуге.

Прислонившись к стволу дерева, Боброк рассеянно наблюдал за тем, как спешившиеся дружинники быстро и ловко подрубали и подпиливали деревья, стоявшие вдоль лесной дороги. Они делали это так, чтобы в нужный момент их легко можно было свалить. Рука, положенная боярину сзади на плечо, заставила его оглянуться. Сбоку стояли князь Данило, сотник Григорий и еще несколько дружинников.

— Прости, что отвлек, — сказал князь, — дело к тебе. Знаешь его? — кивнул он на одного из дружинников.

У дружинника не было кося и щита, ножны меча пустовали. Лицо его воеводе было незнакомо, и он отрицательно покачал головой.

— Впервые вижу.

— Довор задержал его в лесу, говорит, что разыскивает нас с тобой. Хочет передать нечто важное.

От недавней рассеянности Боброка не осталось и следа.

— Значит, искал нас? — спросил он, глядя на дружинника. — Кто ты такой?

Дружинник распрямил плечи, вскинул подбородок.

— Я сотник Кирилл из дружины боярина Векши. Того русского боярина, что продал душу дьяволу, ли-

товскому Ягайле, и сделал все, чтобы сегодня ступить вас обоих. Я прискакал спасти вас.

— Откуда знаешь, что мы с князем в этом лесу?

— Вы здесь несколько часов, а я — двое суток. Вы только начали устраивать засаду на татарское посольство, а боярин Адомас и мой хозяин давно подготовили для вас ловушку и с минуты на минуту захлопнут ее. Дабы этого не случилось, я и разыскивал вас.

Склонив голову, Боброк внимательно слушал сотника и, когда тот смолк, без промедления задал новый вопрос:

— О какой засаде Адомаса говоришь?

Кирилл поднял голову, взглянул на солнце. В глазах его мелькнула тревога.

— Понимаю твое недоверие, боярин, однако нет времени для долгих объяснений. Уясни главное — ваш с князем отряд в западне. За его спиной более полутысячи литовцев, справа и слева — еще два раза по столыку. Они ждут лишь прибытия панцирников Адомаса, которые перекроют последний свободный для вас путь к мельнице Путята, и по сигналу боярина ударят по вам со всех сторон.

— Этого не может быть, — твердо сказал Данило.

— Это правда, князь. Адомасов конюший, коему вы доверились и по чьей злой воле угодили в этот лес, изменник. Поэтому сейчас мертв мельник Путята и целы кони литовского отряда, с которыми следует сюда боярин Адомас. Убиты и два ваших воина, что наблюдали за мельницей, а сотник Андрей в руках боярина Векши.

Как пораженные громом слушали слова сотника Кирилла князь и боярин. Если широко открытые глаза и шумное дыхание Данилы выдавало его волнение, то Боброк внешне был спокоен.

— Откуда знаешь все? — не повышая голоса, заинтересовался он.

— Я — сотник личной охраны боярина Векши. Меня с детства воспитывали вместе с его сыновьями, и ни у кого из боярской семьи нет от меня секретов.

— Тем меньше причин тебе верить, — ледяным тоном проговорил Боброк. — Ты назвал конющего изменником, однако кто или что докажет правоту твоих слов?

— Боярин, я безоружен и полностью в вашей власти, каждое слово неправды может обернуться для ме-

ли смертью. И все же, несмотря на это, повторяю: спешите уйти отсюда. Тем паче, что Мамаев гонец поскачет к литовскому Ягайле совсем по другой дороге, и наша засада здесь бессмысленна. У вас вместе с атаманом Дорошем семьсот мечей, у ваших врагов втрое больше.

Конский топот, раздавшийся поблизости, заставил всех прекратить разговор и повернуть головы. Из-за поворота дороги вырвался всадник, подскочил к ним, круто осадил коня перед князем Данилой. Скакун был весь в пене, недобро косил глазом, всадник тяжело дышал и выглядел встревоженным.

— Литвины, князь. Следуют от мельницы Путяты. Не меньше пяти сотен копий, с ними боярин Адомас.

— Что значит «следуют»? Как «следуют»? — с раздражением спросил Данило. — Конно или пеше?

— Конно, княже.

— Где сотник Андрей? Что передал вам?

— Не было его, княже. И что с ним, не ведаем.

Князь и Боброк переглянулись, боярин шагнул к гошцу.

— Скажи к воеводе Богдану и передай, чтобы он немедленно снимал все наши дозоры и спешил сюда. Слышишь? Снимал всех до единого человека и как можно скорее был у нас. С богом!

Гонец, огрев коня плетью, поскакал обратно, а Боброк снова повернулся к Кириллу.

— Спасибо за важную весть, сотник. Прости, что не сразу тебе поверил. Но обожглись на конюшем... Кстати, что толкнуло его на предательство?

— У него была сестра, а у той дочь-красавица. Сестра давно умерла, и конюший сам, без чьей-либо помощи, вырастил и воспитал сироту. Много бед и опасностей поджидают красивую девушку при боярском дворе, а Адомас посулил дать ей волю, если горбун поможет заманить вас в ловушку. Ежели конюшему, нисколь не дорога собственная нерадостная жизнь, то для счастья племянницы, ставшей для него родной дочерью, он готов на все.

— Пусть будет проклято его имя, — сказал Боброк. — Теперь, сотник, подскажи, как нам вырваться из Адомасовой ловушки.

— Пути вперед и назад закрыты. Уйти лесом тоже невозможно: вокруг непроходимые болота и топи. Через них имеются лишь две тропы, по которым можно

проехать конному, однако они перегорожены завалами и охраняются воинами боярина Векши. Одну из троп стережет моя сотня, и ежели вы, князь и боярин, решитесь мне довериться, я пропущу вас.

— Мы верим тебе, Кирилл, — сказал Боброк и взглянул на сотника Григория. — Верните ему оружие, поскольку негоже стоять воину с пустыми ножнами.

В продолжение разговора боярина с Кириллом Данило угрюмо смотрел себе под ноги. Когда же Боброк направился к коню, князь придержал его за локоть.

— Не торопись, мы еще не узнали главного. Кирилл, — обратился он к сотнику, — где на самом деле должны встретиться ордынцы с литовцами?

— Не знаю, княже. Слышал только, что из степи путь чамбула лежит к Лысому кургану, где должен поджидать его литовский дозор, чтобы вести дальше. Куда — не ведаю.

— Лысый курган, Лысый курган, — задумчиво повторил князь Данило. — Сотник, мог бы провести меня туда?

— Могу.

— Что ты задумал? — насторожился Боброк.

Данило начал тихо рассказывать боярину свой план. Тот, не перебивая, внимательно выслушал князя, помолчал.

— Мысль заманчивая, — наконец сказал он. — Но думал ли ты, чем это грозит? Если татары тебе не поверят — смерть на месте, если поверят и ты заведешь их под наши стрелы — все едино гибель. Я против твоего плана, князь. Эти сутки мы у Ягайлы выиграли, вряд ли он тронется в поход и завтра. Так к чему ненужный риск?

— А если Ягайло двинется в поход завтра? А если князю Дмитрию, дабы схватиться с Ордой один на один, не хватит как раз одного дня? Того самого, из-за которого мы сейчас не захотим рисковать? Как оправдаемся мы тогда перед Русью и своей честью, боярин?

Боброк опустил глаза.

— Дорош передал, что чамбул ведет мурза Тимур. Знай я его так же хорошо, как ты, сам бы поехал к нему. Но не могу приказывать тебе, князь, не имею права распоряжаться твоей жизнью. Поступай как велит совесть. Вот тебе мое слово.

— Спасибо, боярин. Князь Данило старый воин, он хорошо знает долг перед Русью и выполнит его до конца. Давай обнимемся на прощанье. Кто знает, доведется ли нам еще встретиться на этом свете...

Вдали на дороге появилось маленькое облачко пыли, оно росло, разбухало. И вот под лучами солнца заблестели доснехи, наконечники копий, стали видны кони и сидящие в седлах невысокие плотные всадники с круглыми щитами и в пестрых халатах поверх кольчуг.

Увидев на вершине кургана князя Данилу и за ним несколько рядов русских дружинников, передовой татарский разъезд остановился, рассыпался по полю, некоторые из всадников стали торопливо выхватывать из чехлов луки.

Князь Данило тронул с места коня, начал медленно спускаться с кургана навстречу татарам. За ним следовали сотник Кирилл и двое княжеских дружинников. Когда они очутились в десятке шагов от разъезда, один из ордынских всадников выехал вперед, поднял острием вверх копьё, направленное до этого на русичей, изобразил на широком плоском лице улыбку.

— Здравствуй, русский князь, я и мои нукеры рады видеть тебя, — воркующим голосом заговорил он, шныряя глазками-щелочками по князю и его спутникам.

— Здрав будь и ты, храбрый воин, — ответил князь по-татарски, чувствуя непривычную сухость во рту. — Рад и я видеть славных и отважных нукеров Золотой Орды. Легким ли был ваш долгий путь, как чувствует себя мой друг и твой посвода достойнейший Тимурмурза?

Татарин слегка наклонил голову.

— Легким и приятным был наш путь, русский князь. Здоров и весел наш несравненный Тимурмурза, да продлит аллах дни его. Но что делаешь в этой степи ты, отчего стоят на кургане твои дружинники?

— Ты хочешь спросить, храбрый воин, почему на этом кургане я и мои русичи, а не те литовцы, которых ты должен был встретить? — усмехнулся князь Данило. — Это я скажу твоему воеводе, достопочтенному Тимурмурзе. А потому пошли к нему самого быстрого нукера и передай, что русский князь Данило,

посланный ему навстречу великим литовским князем Ягайлой, ждет на этом кургане. А чтобы ноги коня гонца стали быстрее, вручи ему это.

Князь Данило протянул татарину толстую золотую цепочку. Обнажив в улыбке желтые зубы, татарин выхватил ее из рук князя и молниеносным движением сунул за свой широкий пояс. Обернувшись, он крикнул повелительным тоном несколько слов дозорным, двое из них тотчас сорвались с места и быстро поскакали по дороге назад. Сам же татарин, по всей видимости начальник разъезда, отъехал к своим всадникам, замер, как и они, в седле, снова выставив в сторону русичей короткое толстое копьё.

В ожидании мурзы князь Данило со спутниками тоже съехал с дороги, облизал пересохшие от волнения губы. Поверит ли его словам ордынский воевода, удастся ли выполнить план, что замыслили они с Боброком?

Всего час назад на вершине этого приметного степного кургана, названного из-за каменистой и голой верхушки Лысым, находились три десятка литовцев. Подкравшись к ним в густой траве, дружинники князя засыпали их стрелами, а затем в короткой рукопашной схватке расправились с уцелевшими. Командовавший литовцами сотник погиб в самом начале боя, двое захваченных в плен панцирников ничего толком не знали, кроме того, что ждут татар.

На дороге возникло пыльное облако, оно быстро приближалось, и вскоре Данило разглядел лавину всадников. Впереди мчался высокий, худощавый татарин в богатых доспехах, золоченом шлеме и дорогом, расшитом серебром халате. Когда он осадил коня перед князем, тот первым поклонился ордынцу, приложив к груди руку.

— Будь славен, храбрейший Тимур-багатур, — сказал он. — Я русский князь Данило, рад видеть тебя и сопровождать к великому литовскому князю Ягайле, которому ты везешь грамоту от его брата, великого хана Золотой Орды Мамай.

Татарин тоже поклонился князю, сложив на груди руки.

— Будь славен и ты, русский князь. Рад видеть тебя, но почему меня встречаешь ты, а не тот сотник-литовец, что был прошлый раз в Орде и должен поджидать меня на этом кургане сегодня?

Лицо мурзы было холодно и бесстрастно, глазки не мигая смотрели на князя.

— Да, славный Тимур-мурза, тебя должен был встречать литовский сотник с воинами. Но когда великий князь Ягайло узнал, что гонца его брата, великого хана Золотой Орды, сопровождаешь ты, он решил, что столь знаменитый багатур достоин лучшей встречи, и послал меня, равного тебе по знатности и славе.

— Я благодарен великому князю за такую честь, однако почему никто не предупредил меня об этом? Я уже встречался с несколькими разъездами великокняжеской стражи, и ни от одного не слышал, что меня будешь поджидать ты, князь Данило.

— Я должен был встречать тебя вместе с боярином Адомасом, но тот из-за слабого здоровья не вынес дороги и ждет нас сейчас в двух часах пути отсюда. А боярин Адомас не любит, когда лишние люди, тем более простые воилы, знают, где он находится и чем занимается. И провожу тебя к нему, славный мурза, и ты уже с ним отправишься к великому князю Ягайле.

Что-то оттаяло в глубине холодных глаз мурзы, мягче стали жесткие складки в углах губ.

— Литовский князь Ягайло очень мудр, отправив навстречу гонцу великого хана Мамайя первого боярина Литвы. Мой несравненный господин, средоточие ума и силы, и я, его недостойный слуга, не забудем такого внимания.

Данило понял, что его последние слова попали на благодатную почву, и поспешил закрепить успех.

— Великий князь Ягайло ждет тебя в замке, могучий багатур, не будем заставлять его томиться в одиночестве. Чего стоим в пыли и под солнцем, если рядом уготованы нам темень, холодная вода и заслуженный отдых. Эй, сотник! — крикнул князь Кириллу. — Скачи к боярину Адомасу и передай, что мы с Тимур-мурзой скоро будем у него. И скажи, что славный багатур устал с дороги и желает отдохнуть.

— Добавь, что мои нукеры проделали долгий путь, — сказал мурза. — Их кони хотят сочной травы и свежей воды, а воины жирного мяса и душистого кумыса.

— Слышал, сотник, что сказал багатур? — спросил князь. — Бери своих воинов и немедленно скачи к боярину. — Видя, что Кирилл не трогается с места, Данило подъехал к нему вплотную. — Чего ждешь? — быстро

зашептал он. — Мчись скорей к Боброку и передай, что зверь идет в западню.

— Князь, я не оставлю тебя здесь одного, — твердо произнес Кирилл.

Данило нахмурил брови.

— Слышал, что я сказал? Оставь со мной десяток воинов, а с остальными скачи к Боброку. Если Тимурмурза не поверил мне и замыслил дурное, меня не спасет твоя сотня, а Боброку во всех случаях она будет весьма кстати. Прощай, друже, и передай боярину с воеводой, что старый князь Данило желает им удачи, а пуще всего победы Дмитрию и счастья Руси.

9

— Едут! — донесся крик дозорного, и в лесу тотчас все стихло.

Дружинники, и до этого разговаривавшие вполголоса, замолчали вовсе. Те из них, кто еще подрубал или подпиливал деревья, отложили топоры и пилы, бросились к коням.

Сняв с головы шлем, чтобы отраженные от него лучи солнца не могли выдать засады, боярин Боброк осторожно выглянул из-за кустов. Узкая лесная дорога, на которой с трудом могли разъехаться встретившиеся крестьянские телеги, была стиснута с обеих сторон вековыми деревьями и разросшимся у их подножия кустарником. На участке, где была устроена засада, дорога просматривалась сравнительно далеко. В конце ее показались всадники.

Надев шлем, Боброк облегченно вздохнул. Хотя прискакавший сотник Кирилл сообщил ему, что Тимурмурза поверил князю Даниле, на душе у боярина все равно было тревожно. Мало ли что могло случиться за истекшее время! Да и кто знает, действительно ли удалось князю обхитрить подозрительного татарского мурзу, знающего о печальной участи предыдущего ордынского посольства. Лишь сейчас, увидев вражескую колонну, Боброк успокоился.

— Вот и пришло наше время, други, — сказал он, обращаясь к воеводе Богдану и нескольким сотникам, что окружали его. — По местам и бог в помощь!

Сотники вмиг исчезли в лесу, рядом с Боброком остался лишь атаман Дорош. Тихо шумел вокруг вековой бор, пустынной и глухой была бегущая через не-

го дорога, ничто не выдавало присутствия затаившихся по обеим сторонам ее сотен людей.

Вдалеке застучали копыта, их топот приближался, и вскоре мимо боярина пронесся десяток татар. Едва затих храп их лошадей, как перед глазами Боброка заколыхались идущие на рысях густые ряды ордынской конницы. Мелькали раскосые лица под малахаями и шлемами, проносились новые и новые ордынские сотни, а он по-прежнему неподвижно сидел в седле. Вот боярин вздрогнул, его рука, державшая повод, жала. По дороге рядом с высоким худощавым татаринном в богатом одеянии скакал князь Данило. Всего два ряда русских дружинников виднелись за его спиной, а со всех сторон были только чужие, только враги.

Боброк положил руку на плечо Дорошу.

— Сигнал, атаман. Пора!

Дорош сунул два пальца в рот, оглушительный свист далеко разнесся по лесу. Стоявшие вдоль дороги дружинники уперлись плечами в заранее подпиленные и подрубленные стволы, напряглись, и деревья, вначале медленно, затем все быстрее начали падать на дорогу. Но прежде чем они рухнули на головы шарахнувшихся в разные стороны татар, сотни других дружинников и ватажников спустили тетивы луков, и ливень стрел стеганул по ордынской колонне, выкашивая ее целыми рядами.

Поднимая тучи пыли, валившиеся деревья давили и вышибали из седел ордынских всадников, ломали ноги и хребты их лошадям. Обезумевшие от боли и страха животные топтали сброшенных на землю людей, внося еще большую сумятицу в царивший на дороге беспорядок. Среди шума и треска ломавшихся ветвей, тревожного ржания коней, криков раненых и искалеченных людей слышался звонкий посвист летевших с разных направлений русских стрел. Те из татар, кто не был сражен из луков, не погиб под стволами деревьев или копытами лошадей, бросались в стороны от дороги, надеясь в обступившем ее кустарнике найти спасение.

Однако его не было и там. Русские лучники, облюбовав удобные для стрельбы деревья, били на выбор, и большинство беглецов погибло от стрел на обочинах дороги. Те из счастливых, кому удавалось достичь кустарника и пробраться сквозь него к лесу, замирали на месте: на границе придорожного кустарника и леса

высилась сплошная стена червленых русских щитов. Перед ней дрожала, искрилась под лучами солнца щетина острых копий, и страшен был удар каждого из них, направленного умелой и сильной рукой.

Опытны и предусмотрительны были боярин Боброк и воевода Богдан, выбравшие место для засады, смелы и отважны русские воины, встретившие ордынцев, поэтому никто из татар, угодивших под стволы упавших деревьев или под стрелы и копья дружинников не спасся. Только в середине вражеской колонны, где скакали мурза Тимур и князь Данило, еще кипел бой. Желая спасти князя, русичи не обрушили на эту часть ордынцев ни единого дерева, не выпустили по ней ни одной стрелы. Они лишь отрезали ее рухнувшими деревьями от остальных частей чамбула и бросились на выручку князю.

На Данилу и десяток оставшихся с ним русичей сразу же навалилась полусотня нукеров из личной охраны Тимур-мурзы. И если бы не меткие стрелы отборных русских лучников, сидевших на деревьях вдоль дороги и в течение нескольких мгновений значительно уменьшивших число бросившихся на князя татар, его участь была бы решена в начале боя. Сейчас же, образовав с дружинниками круг, он успешно отбивался от обступивших его ордынцев. Но вот упал из седла первый сраженный насмерть дружинник, за ним второй, выронил из рук копьё третий, и круг оказался разорванным. И тотчас Данило завертелся в круговерти безжалостной сабельной схватки, в которой насмерть схватываются не только люди, но и кони. Крупный буланый жеребец князя, прошедший с хозяином сквозь десятки битв и ставший таким же бывалым бойцом, как его седок, дико храпел и, поводя налитыми кровью глазами, вскидывался на дыбы, бил копытами и кусал коней наседавших на князя татар. Данило, выпустив поводья и сжав бока верного скакуна ногами, укрылся за щитом и раздавал направо и налево удары тяжелого длинного меча.

«Держись, княже, держись», — шептал сотник Григорий, прорубаясь к нему на помощь сквозь сверкающее кольцо татарских сабель. Свое копьё сотник давно оставил в груди одного из ордынцев, шлем с его головы был сбит, на плече растеклось кровавое пятно, но Григорий ничего этого не замечал. Перед глазами был только князь Данило и единственный уцелевший воз-

ле ного дружинник, которые с трудом отбивались от десятка нукеров.

— Рубай их, сотник, рубай! — ревел за его спиной Дорош, защищая Григория от ударов с боков и сзади. В затылок за ним спешили еще несколько ватажников, таких же отчаянных и бесстрашных рубак, как их атаман.

Они были уже недалеко от Данилы, когда упал с коня последний его дружинник. Тотчас на плечо князя обрушился удар кривой татарской сабли, и рука его, сжимавшая меч, бессильно обвисла. Отбросив в сторону щит, Давило перехватил оружие в левую руку, и ближайший к нему ордынец, не успевший увернуться, покатился с лошади. Однако силы были слишком неравны, и над головой князя тут же сверкнуло сразу несколько сабель. Выронив меч, он склонился к конской гриве, затем стал быстро заваливаться навзничь. Но прежде чем князь упал на землю, подскакавший к нему вылодную ордынец проткнул его насквозь ударом короткого хвостатого копыя.

— Эх, князь, что же ты?! — простонал сотник, поднимая коня на дыбы и швыряя его вперед.

Он успел достать мечом и развалить до пояса ударившего князя копьём ордынца. Но сверкнула перед его глазами сабля, и Григорий с залитым кровью лицом тоже повалился с седла. Один из татар прыгнул на грудь упавшего на землю сотника, занес широкий нож над его горлом. Скакавший за Григорием Дорош со всего маха смял ордынца коном и, видя, что рядом блещат мечи и копыя следовавших за ним ватажников, соскочил с коня, склонился над лежавшими в шаге друг от друга князем Данилой и сотником.

— Что скажешь, атаман? — тревожно спросил Боброк, вглядываясь в лицо выпрямившегося казака. Боярин только что подскакал к Дорошу от тела варубленного Тимур-мурзы и держал в руке ханскую грамоту.

Атаман повернулся к Боброку, швырнул в ножны саблю:

— Сотник ранен, а князь...

Он отвел глаза в сторону, снял шлем, склонил голову. Боярин последовал его примеру.

— Он честно жил и честно умер, как и подобает настоящему русичу и воину, — тихо сказал Боброк, глядя на неподвижное тело князя. — Не нам, смерт-

вым, ведать свою судьбу и знать конец уготованного нам пути, однако я хотел бы умереть, как он: в бою и с победой, сделав для Руси и ее славы все, что только можно. Пусть земля будет ему пухом...

Боброк выпрямился, надел шлем, глянул на Дороша:

— Труби, атаман, сбор. Надобно поскорее собрать раненых и предать земле мертвых. Литовцы где-то рядом...

Из болотистых лесов они выбрались поздно ночью. На широкой, залитой лунным светом поляне Дорош, ехавший рядом с Боброком, воеводой и с сотником Кириллом впереди отряда, придержал коня, повернулся к боярину:

— Все хлябц и топи позади. За нашей спиной и Адомас с панцирниками, так что до самого русского порубежья путь свободен. Настала пора, боярин, прощаться с ранеными.

— Добро, атаман.

Боброк и Дорош остановили коней, за ними то же сделали воевода с сотником. Стоя сбоку от тропы, ведущей на поляну, они пропускали мимо себя вереницу дружинников и ватажников, пока не дождались раненых. Первым был сотник Григорий, лежавший на самодельной качалке-носилках, сплетенных из гибкой лозы и закрепленных между двумя лошадьми. Следом, с трудом держась в седле, ехал сотник Ярема из ватаги Дороша. Его левая рука, пробитая в предплечье стрелой, висела вдоль туловища плетью, голова, разрубленная за ухом саблей, была обмотана куском холстины, нога, задетая выше колена копьем, не гнулась. Хотя лицо казака было перекосило от боли, глаза его, как всегда, смотрели весело.

— Приехали, сотник, — сказал Дорош, обращаясь к Яреме. — Попрощаемся и отправимся каждый своей дорогой. Коли что было между нами не так, прости и не поминай лихом. Здоровья и счастья тебе, друже.

Он нагнулся к сотнику, слегка тряхнул за плечи.

— Прощай и ты, — как можно веселей сказал Ярема, стараясь не морщиться от боли. — Даст бог, погуляем мы еще с тобой на лихих конях и с острой саблей. Удачи и счастья тебе, атаман.

— Выздоровливай скорей, друже, и казакуй сто лет. До встречи.

Дорош с Боброком соскочили с коней, подошли к началке. Сотник Григорий при их приближении открыл глаза, сделал попытку поднять голову, но тотчас снова ее уронил.

— Лежи, сотник, лежи, — ласково сказал Боброк, — береги силы.

— Где я, боярин? — слабым голосом спросил Григорий. — Что со мной и почему меня качает? Отчего кругом темно и я ничего не вижу?

— Ранен ты, сотник, крепко ранен. Врачевать тебя надобно и ставить на ноги. Оставляем мы тебя здесь вместе с другими ранеными. Отлежитесь у верных людей, наберетесь сил и вновь будете воинами, как прежде.

— Оставляешь, боярин? — встрепнулся Григорий. — А как же Русь, князь Дмитрий? Ведь я должен... — Он от волнения надрывно закашлял, замолчал.

— Ничего ты не должен, друже, — произнес Дорош, наклоняясь над ним. — Все, что мог, ты уже сделал, дай теперь другим исполнить свой долг перед Русью. Сегодня ты пролил кровь на моей земле, завтра я займу место в бою на твоей земле и не посрамлю ни твоего, ни своего имени. Это же сделают и три сотни моих верных и храбрых казаков, что идут вместе со мной под московское знамя.

Простившись со всеми ранеными, Боброк и Дорош снова двинулись в голову колонны. Проехав поляну, они остановились, потому что в лес дальше уходили уже две дороги.

— Твое слово, атаман, — обратился Боброк к Дорошу.

— Обе дороги ведут на Русь, к Оке, — сказал Дорош. — Но эта короче, и потому она наша.

Он хотел было направиться по облюбованной дороге, однако сотник Кирилл проградил ему путь.

— Ты прав, атаман, эта дорога действительно короче. Но только ехать нам следует по другой.

— Почему? — удивился Дорош.

— На ней нас ждут люди. Я обещал, что мы встретимся с ними.

— Кто эти люди, сотник? — настороженно спросил Боброк. — Почему мы должны с ними встречаться?

— Боярин, скоро ты их увидишь и узнаешь, кто они, — уклонился от прямого ответа Кирилл. — А по-

куда верь мне на слово, что тебе не придется жалеть о встрече с ними.

Кирилл, прищорив коня, первый поехал по указанной им дороге. Немного помедлив, следом двинулись Боброк с воеводой, за ними вся колонна.

Устало опустив на грудь голову, Боброк, убаюкиваемый размеренным ходом коня, впал в полудрему. Что ж, он мог теперь позволить себе отдохнуть, русский боярин Дмитрий Боброк-Волынец, правая рука великого московского князя, посланный им с трудным и опасным заданием в Литву и успешно его выполнивший. Пусть отсутствует сейчас рядом половина людей, что пришли с ним в эти места из Москвы, пусть нет ни Иванко, ни сотника Григория, однако все они свое дело сделали. Как и те два загруженных мешками с мелкой речной галькой воза, содержимое которых он с помощью рассыпанной на поляне горсти монет выдал преследующему его отряд Адомасу за привезенное из Руси золото.

О чем тревожиться боярину, если московское войско уже на подходе к Дону, а литовский Ягайло все еще топчется в Литве и ждет от Мамаея грамоту с указанием времени своего выступления? Последняя ханская грамота лежит за пазухой Боброка и никогда не попадет в Ягайловы руки. К обоим Ольгердовичам и князю Владимиру Серпуховскому он еще день назад отправил гонцов с наказом идти на соединение к главному русскому войску, а теперь и сам спешит к нему. Вот почему, несмотря на страшную усталость, спокойно на душе у русского боярина Боброка, оттого может он позволить себе забыться сейчас в сладком полусне...

Громкий свист заставил Боброка вздрогнуть и ментально открыть глаза. Однако вокруг все было спокойно, дорога вела к броду через широкий лесной ручей. Доносилось глухое журчание воды, бегущей между отмелями.

Не доезжая до ручья сотник Кирилл, двигавшийся впереди колонны, придерживал коня и трижды прокричал в темноту филином. Едва смолкло эхо, как из леса на противоположном берегу выехала группа конных с щитами на плечах и копьями в руках, остановилась у уреза воды. Двое незнакомцев въехали в воду и направились к ним.

— Что происходит, сотник? Кто эти люди? — спросил Боброк, кладя ладонь на рукоять меча и напряженно вглядываясь в темные фигуры, приближающиеся к ним.

— Боярин, это люди, о которых я говорил, — ответил Кирилл. — Я обещал им встречу с тобой и сдержал свое слово.

Напрягая до предела зрение, Боброк старался рассмотреть подъезжавших всадников. Выглянувшая из-за туч луна помогла сделать это, осветив с ног до головы переднего. Молодое открытое лицо, висячие южнорусские усы, взгляд прищуренных глаз смел, но не дерзок. Боярин видел его впервые, и обличье воина ни о чем ему не говорило. Зато находившийся рядом с Боброком стремя в стремя воевода Богдан вздрогнул, поклонился к его уху:

— Это один из сыновей Векши, его младший, Глеб. Того самого Векши, что вчера вместе с Адомасом гонялся за нами по болотам. Смотри, боярин Дмитрий, как бы не приключиться беде... Яблочко от яблони недалеко падает.

Нахмутив брови, Боброк повернулся к Кириллу:

— Это правда, сотник?

— Да, боярин, воевода не ошибся, — ответил Кирилл, слышавший каждое слово Богдана. — Это действительно младший сын боярина Векши. Однако воевода не знает и потому не сказал тебе самого важного. Это он, Глеб, рассказал мне вчера об Адомасовой ловушке и послал к тебе, дабы предупредить об угрозе и указать путь к спасению. Это он велел передать вам о встрече литовцев с татарами у Лысого кургана и обещал сбить со следа воинов Адомаса, когда они пойдут за нами через болота. Как видишь, он не обманул ни в чем.

— Почему ты не сказал об этом вчера? — нахмурился Боброк.

— Разве ты или князь Данило поверили бы мне, скажи я сразу, от кого прибыл? — усмехнулся Кирилл.

Тем временем всадники подъехали к ним почти вплотную, остановились против Боброка и Богдана.

— Будь здоров, боярин Дмитрий, — негромко произнес Глеб, глядя на Боброка. — Желаю того и тебе, воевода. Почему не вижу среди вас князя Данилу?

— Здрав будь и ты, боярский сын Глеб, — сухо ответил Боброк. — А князя Данилу ты больше не уви-

дишь никогда. Много битв прошумело над его головой, но вчерашняя стала для него последней. Он храбро бился и честно умер за Русь, и она не забудет о нем.

— Разделяю твою скорбь, боярин, — сказал Глеб. — Князь умер, выполнив долг перед родной землей, однако нам, живым, еще только предстоит свершить это. Вот о чем я и хотел говорить с вами, боярин и воевода.

Боброк с любопытством взглянул на собеседника.

— Слушаем тебя.

— Шесть с лишним сотен воинов идут сейчас с тобой к князю Дмитрию, — начал Глеб. — Три сотни русских дружинников, проклявших свою прежнюю службу боярину Векше и литовскому Ягайле, везу я к Допу той же дорогой. Нелегко у нас обоих путь, боярин, много опасностей ждут нас. Там, где возможна гибель твоих шести сотен, а тем паче трех моих, могут пробиться и уцелеть наши объединенные девять сотен. Я предлагаю соединить наши силы, боярин Дмитрий. Что молвишь на это?

Боброк, опустив голову, не ответил. Молчал, глядя куда-то в сторону, и воевода Богдан. На губах Глеба мелькнула кривая усмешка, он взял из рук спутника копьё, высоко поднял над головой. Лес на противоположном берегу ручья зашевелился, ожил, из него стали выезжать вооруженные, закованные в доспехи всадники и выстраиваться рядами вдоль ручья.

— Их три сотни, — снова заговорил Глеб, возвращая копьё спутнику. — Все они русичи, и каждый готов отдать за Русь жизнь. Если ты, боярин Боброк, решил идти своей дорогой, мы пойдем собственной. Но если кто-либо из нас не придет к князю Дмитрию и без пользы для родной земли сгинет в степи, пусть это будет на твоей совести. Прощай.

Глеб ударил коня шпорами, но рука Боброка перехватила поводья.

— Прости, боярский сын, за сомнения. Одна у нас с тобой судьба, одна дорога, и идти по ней нам суждено вместе. Вот тебе в том моя рука.

— Благодарю, боярин. Но прежде чем выступить в поход, прими от меня подарок.

Глеб повернулся к оставшейся на противоположном берегу группе всадников, призывно махнул рукой, и те тронулись через ручей. Поравнявшись с Глебом, прибывшие остановились, лишь двое двину-

лись дальше, к Боброку и воеводе. Присмотревшись, боярин узнал в переднем сотника Андрея. Он был в полном воинском облачении, с мечом и копьем, с щитом на плече. В его левой руке был конец повода, на котором он вел еще одну лошадь. На ней со связанными за спиной руками, накрепко прикрученный к седлу, сидел конюший боярина Адомаса. Увидев Боброка и воеводу, горбун опустил голову, вздернул выше плечи, надеясь спрятать лицо в складках плаща.

— С возвращением, сотник, — растроганно сказал Боброк, обнимая Андрея. — Мы с воеводой, признаюсь, уж не чаяли увидеть тебя живым.

— Если бы не Глеб, все мы наверняка были бы мертвы, — ответил Андрей. — Он не только спас меня, но и стал отщепенем тому, кто предал нас.

Боброк тронул коня, подъехал ближе к конюшему. Вытащил меч, сбросил лезвием с его головы капюшон плаща.

— Не вабыл меня, холоп? — спросил он. — Вижу, что нет, поскольку дрожишь как осиновый лист. Может, вспомнишь мои слова, что сказал я при нашей встрече на прощанье? О том, что случится, ежели по твоей вине прольется хоть капля русской крови? Как видишь, наступила пора держать ответ за измену. Атаман, — обратился Боброк к Дорошу, — кликни своих хлопцев, пускай займутся им.

Через несколько минут, слившись в одну общую колодцу, оба русских отряда двинулись по дороге. Опустели берега лесного ручья, тихо журчала вода на песчаных перекатах, и лишь слегка поскрипывал сук, на котором из стороны в сторону раскачивалось тело повешенного конюшего.

Русичи, выдержав в пути несколько стычек с бродящими по степи татарскими отрядами, примкнули к великокняжескому войску уже на подходах к Дону. Немногим раньше, чем подошли туда полки обоих Ольгердовичей и дружины князя Владимира Серпуховского.

10

Направляясь к великому князю, Адомас был готов к любой встрече, к самой дикой вспышке Ягайлова гнева, однако спокойствие, с которым отнесся князь к его появлению, удивило и испугало боярина.

— Чем порадуешь? — спросил Ягайло, окидывая Адомаса хмурым взглядом.

— Мы не догнали Боброка, — коротко ответил боярин, настороженно следя за князем и лихорадочно стараясь понять причину его столь странного поведения.

— Значит, вернулись с пустыми руками, — язвительно усмехнулся князь. — Ехали ловить Боброка и князя Данилу, а вместо этого отдали им Мамаеву грамоту.

Опустив голову, Адомас молчал.

— Ладно, боярин, забудь о Боброке и Мамае, плюнь на эту чертову грамоту. Не до них нам теперь, совсем иные заботы свалились на наши головы. О них сейчас будет разговор.

Голос великого князя был тих и ровен, и это его спокойствие бросало Адомаса в дрожь. Забыть о Боброке и Мамае? Плюнуть на ханскую грамоту? Но что может быть важнее, чем ордынское известие о начале совместного похода на Русь или поимка правой руки московского князя, орудующей в Литве? Что же могло случиться за те двое суток, пока не было Адомаса подле великого князя? Какие внезапные события могли так перевернуть Ягайлово представление о происходящем вокруг?

— Великий князь, я не совсем понимаю тебя, — осторожно заметил он.

— Сейчас поймешь, и чем скорее, тем лучше. Потому что нет у нас времени на длинные разговоры.

Весь превратившись в слух, Адомас вытянул шею, его глазки не мигая уставились на великого князя. В горле пересохло, тревожно застучало в висках.

— Пока ты гонялся за Боброком, вчера вечером прискакал гонец с руеского порубежья и сообщил, что мой брат Андрей со своими полками снялся с места и подался на юг. Зачем, боярин?

— Возможно, опасается, что ты можешь разбить его и Дмитрия Ольгердовича, пользуясь их разобщенностью, и стремится не допустить этого. Сорок тысяч мечей — не те двадцать, что были и у него даже вместе с полочанами воеводы Рады.

— Так думал вначале и я. Однако утром примчался другой гонец с вестью, что Дмитрий Ольгердович в то же время, что и Андрей, оставил Брянщину, где

находился до этого, и с дружинами тоже двинулся на юг. Что скажешь теперь, мой мудрый советчик?

Адомас молчал. Мысль, пришедшая в голову, была настолько пугающей, что он не решался высказать ее вслух.

— Молчишь, боярин? — усмехнулся Ягаило. — Но это еще не все. В полдень от одного из лазутчиков, что заслал ты в самую Москву, прилетел ученый голубь. Твой соглядатай доносит, что князь Владимир Серпуховский тоже подался из Москвы на Коломну... Теперь подумай хорошенько над услышанным и ответь, что все это значит.

Великий князь вскочил из-за стола, ударом ноги отшвырнул кресло, подбежал к окну.

— Зря молчишь, боярин, не станет от этого легче ни тебе, ни мне. Потому что перехитрил нас московский Дмитрий, обвел вокруг пальца. Русское войско уже подходит к Дону, вскоре к нему примкнут полки обоих Ольгердовичей и дружины, оставленные в Москве с Владимиром Серпуховским. А мы, даже выступив в дорогу сию минуту, все еще будем на полпути к Мамаю. Если Дмитрию удастся навязать Орде сражение, судьба Литвы решится без всякого ее в том участия, в битве лишь между русами и татарами. Принимаешь это, боярин?

— Да, великий князь. Однако московский Дмитрий опытен и дальновиден, он не оставит границу с Литвой без защиты, не откроет нам дорогу на Русь.

— Именно потому, что умен и дальновиден, он это уже сделал. Он, как никто другой, смог понять, что судьба Руси сейчас решается на Дону, а не в Литве, не под Москвой. Поставив на карту все, Дмитрий идет к своей цели, не обращая внимания ни на какие жертвы. Он лустит нас на Русь и даже отдаст Москву, хорошо зная, что, если одержит верх над Ордой, все потерянное снова вернется к нему. Я не знаю, удастся ли ему победить Мамаю, но нас он уже победил: ловко сбросил со счетов войны десятки тысяч литовских мечей, не заплатив за это ни одним своим.

— Великий князь, уже не в наших силах изменить или хотя бы повлиять на то, что произойдет на Дону, мы, однако, не должны оставаться в стороне.

— Поэтому, боярин, давай думать, хорошенько думать. Только мы с тобой знаем всю правду о нашем

сегодняшнем положении и можем найти из него выход.

Ягайло вернулся к столу, уселся на его край, против Адомаса, скрестил на груди руки.

— Что нам делать, боярин?

— У обоих Ольгердовичей в основном конница, пехота, как принято у русов, посажена на телеги, к тому же они уже опередили нас на два перехода, поэтому вряд ли мы догоним их, — медленно, глядя под ноги, словно разговаривая сам с собой, начал Адомас. — Зато перед нами открыт путь на Москву, откуда мы можем ударить в спину русскому войску. Может, это и есть наша дорога, великий князь?

— Нет, боярин. Прежде чем мы будем в Москве, на Дону уже прогремит битва и станет известно имя победителя. Если им станет Мамай, мы с нашей жалкой помощью будем просто смешны, ежели им окажется московский Дмитрий, любые наши жертвы будут бесполезны. Поэтому забудь о Руси и Москве, боярин.

— В таком случае, что предлагаешь ты, великий князь?

— У нас только один выход — идти на соединение с Мамаем, — твердо произнес Ягайло. — Если не примем участия в битве, то хоть не потеряем лицо.

— Понимаю тебя, великий князь, это действительно наилучший для нас выход. Двинувшись навстречу Мамаю, мы будем чисты во всех случаях, при любом исходе сражения: Мамай сам ввязался в бой с князем Дмитрием, хотя мог уклониться от него и дожидаться нас. Я верно понял твою мысль, великий князь?

Ягайло усмехнулся, и Адомас наконец догадался, почему он все время так спокоен. Просто великий князь уже давно все обдумал, взвесил, сделал свои выводы. Он позвал Адомаса совсем не для того, чтобы советоваться, а дабы сообщить уже принятое им самостоятельное решение.

Ягайло встал, подошел вплотную к Адомасу.

— Теперь, боярин, ты знаешь всю правду о нашем сегодняшнем положении и о том, что надлежит делать. Слушай меня внимательно. Главный наш враг — время, мы должны победить его. Моя конница уже готова в дорогу, я выступлю с ней в поход немедленно. А ты отправишься в путь с пехотой завтра утром, с первыми лучами солнца. Ты должен заставить ее идти

так, как она еще не передвигалась никогда. Надеюсь на тебя, боярин.

— Великий князь, я сделаю то, что еще не удавалось никому.

Рядом, конь о конь, великий князь Дмитрий и боярин Боброк не спеша ехали по степи. Сотня отборных дружинников следовала за ними широким полукругом на расстоянии, исключавшем возможность слышать что-либо из их разговора. Поскольку тому, о чем сейчас вели речь великий московский князь и его ближайший боярин, подлежало покуда оставаться тайной даже для самых верных их сподвижников.

Готовясь к предстоящей битве с Золотой Ордой, Дмитрий и Боброк познали все, что было связано с ведением степным воинством больших и малых войн. Они ведали, что еще Чингис-хан неизменноими условиями победы считал постоянную предварительную разведку, а в ходе боя — сохранение сильного, подвижного резерва, который можно было бы бросить на врага в критический момент и изменить ход битвы в свою пользу.

Дмитрий и Боброк были уверены, что бывший темник Мамай, участник многих ордынских походов, не изменит заветам Чингиса и на сей раз. В том, что неприятельская разведка смогла точно установить численность подошедшего к Дону русского войска, они не сомневались. Были они убеждены и в том, что в решающий момент битвы на русские войска будут брошены свежие отборные чамбулы татарской конницы.

Сейчас Дмитрий и Боброк решали, как перехитрить, перемочь врага.

— Я велел полкам Дмитрия и Андрея Ольгердовичей двигаться посередине нашей рати, а дружинам князя Владимира занять место позади них, — тихо говорил Боброк. — Если ордынским лазутчикам удалось обнаружить подход войск с литовского порубежья, они примут их за воинство, оставленное нами поначалу в Москве. Число оного Мамаю известно, и он присовокупит к нашим еще пятнадцать тысяч дружинников, а не те пятьдесят, что подошли на самом деле.

— А если Ягайло пришлет Мамаю гонца, что оба Ольгердовича выступили на соединение со мной? — поинтересовался Дмитрий.

— Я предвидел подобное, княже. Коли такой го-нец послан, он ни в коем случае не мог поспеть к Дону раньше меня. Теперь ему не попасть к Мамаю все: прибывшие со мной казаки-ватажники надежно перекрыли все пути между Ордой и Литвой.

Великий князь придержал коня, поднялся на стременах. Какое-то время задумчиво всматривался в подернутую голубоватой дымкой степную даль, затем снова опустился в седло. Черты лица Дмитрия затвердели, в глазах появилась холодная решимость, голос прозвучал резко и непререкаемо.

— Значит, поступим, как замыслили с самого начала. Выставим напоказ недругу все свои силы, которые он считал, и расположим в засаде те, о которых ему до сей поры неизвестно. И в решающий час битвы не мы, а Орда почувствует, что такое неожиданный удар десятков тысяч свежих, отборных воинов. Дабы сей удар был нанесен в самый нужный момент и ни на миг раньше, отдаю засадный полк под твое начало, боярин.

— Благодарю, княже. Дозволь мне самолично сыскать место для будущей засады.

— Оно уже найдено, боярин, князь Серпуховский вскоре укажет его тебе. Ведай, что мной уже выбрано и место предстоящей битвы. Имя ему — поле Куликово...

Под бархатным великокняжеским стягом, в богатом воинском облачении, окруженный многочисленной свитой князей и воевод, великий московский князь Дмитрий прямо и неподвижно сидел в седле и наблюдал за идущими мимо него к переправам через Дон русскими полками. Совсем недавно в его шатре состоялся военный совет, на который были приглашены князья и воеводы подошедшего к Дону русского войска. Вопрос был один: остаться по эту, свою, сторону реки и, подготовившись к обороне, ждать нападения татар или самим переправиться на тот, чужой для них, берег и навязать бой Орде?

Голоса, как и следовало ожидать, разделились. Одни призывали к осторожности и благоразумию, пугали более чем двойным численным превосходством татар и опасностью вести бой, имея за спиной реку. Другие

настаивали на немедленной переправе и внезапном нападении на степняков. В том же, что сзади окажется Дон, они видели залог того, что русское войско до единого человека станет биться насмерть, зная, что пути к отступлению нет. Первыми среди тех, кто настаивал на переправе, были Андрей и Дмитрий Ольгердовичи, боярин Боброк, князь Владимир Андреевич Серпуховский. Только они из всех присутствующих в великокняжеском шатре знали, какой ценой оплачено право вступить в бой лишь с Ордой, не опасаясь удара Литвы в спину, чего стоило собрать воедино на берегах Дона все русское войско, разделенное до этого на несколько частей. Только они знали весть, всего час назад принесенную в шатер к Боброку атаманом Дорошем: дозоры, рассыпанные по степи, донесли, что уже имели несколько стъчек с разъездами литовской конницы, находящейся от Дона всего в двух-трех переходах.

Сейчас они стояли на пригорке позади великого князя под его бархатным стягом и смотрели на нескончаемые колонны русского воинства, идущего через Дон. Вся необъятная Русь текла мимо них, вся русская земля, подымавшаяся на бой, проходила перед их глазами. Та, что раскинулась от холодных равнин северного Студеного моря до знойных степей южного Дикого поля, от болот и лесов хмурого литовского и ляшского порубежья до раскаленных песков прикамья и поволжья.

Шли юноши, впервые взявшие в руки оружие, и закаленные в сражениях воины, не помнившие числа битв, в которых им довелось участвовать. Проходили вчерашние холопы и смерды с рогатинами в руках и топорами за поясами, повесившие на плечи самодельные деревянные щиты. Ехали на рослых боевых конях закованные в броню и грозные в своем воинском умении княжеские и боярские дружины, уже не раз испытывавшие в боях крепость руки и надежность оружия.

Все они, сыны русской земли, шли на неведомое им доселе Куликово поле, чтобы завтра утром, едва поднимется солнце, перегородить его из конца в конец рядами червленых щитов и заслонить Русь. Сто пятьдесят тысяч восточных славян встанут грудью против бесчисленного и страшного врага, собравшегося на берега Дона с разных концов Европы и Азии: от Волги

и Крыма, с Кавказа и Закаспия, с залитых солнцем итальянских равнин.

Русичи, не дрогнув, встретят бешеный натиск разноплеменных орд, зальют своей и чужой кровью это широкое поле, загромоздят его горами своих и чужих тел. И ничто — ни дикий напор татарской конницы, ни упорный натиск железных рядов наемной итальянской пехоты, ни визжащие орды кочевников — не заставит их отступить. Они примут на свои красные щиты и неумную ярость полудикой степи, и строго рассчитанный таранный удар лучшей в Западной Европе итальянской пехоты. Нарвавшись на острия их длинных копий, прервет бег и останется на земле грудами тел необозримый вал кочевой конницы. Под ударами их мечей лягут рядами в русский ковыль когорты черной генуэзской пехоты, и ни одному наемнику не суждено будет увидеть вновь родную Италию.

Когда они победят и над полем битвы хрипло прозвучит сигнал трубы, созывающей уцелевших русичей под великокняжеское знамя, они вновь сомкнут ряды залитых кровью щитов на тех же холмах, где стояли утром. И даже у них, чудом оставшихся живыми в этой беспримерной по ожесточенности сече, видевших вокруг себя сотни смертей и самим покрытых ранами, вздрогнет сердце. Потому что вчетверо короче будет стена их щитов. Из ста пятидесяти тысяч, стоявших утром под этим стягом, к вечеру останется только сорок тысяч. И каждый из них, уцелевших в этой битве, знал: доведись встретиться с новым врагом, все так же бесстрашно встретят его.

Однако другого врага не будет.

Передовые литовские конные разъезды будут уже в городке Одоеве, что на реке Упа, всего в одном переходе от Куликова поля, когда Ягайло получит весть, что орда Мамая разбита наголову, а сам бывший темник едва спасся с места величайшего побоища. В тот же день Ягайло повернет свои войска обратно в Литву.

А русичи еще восемь суток будут стоять на поле, где на несколько верст в округе трава мокра от крови, разбирать завалы из человеческих тел и предавать земле своих убитых. Хоронить тех, кто в этой невиданной битве спас Русь, принеся ей немеркнущую славу и заслужив собственное бессмертие.

Но все это случится позже, а пока русичи нескончаемыми рядами двигались к донским переправам, чтобы трем из четырех идущих никогда не вернуться обратно. Даже зная об этом, никто из них не повернул бы назад и не пожелал бы изменить свою судьбу. Шли последние часы перед великой битвой.



А. ШИШОВ И ПРОЗВАЛ ЕГО НАРОД "НЕВСКИЙ"

Возмужание

Родиной прославленного «святого» полководца древней Руси является старинный русский город Переяславль (ныне Переславль-Залесский, что на Ярославщине). Стоит он на красавице реке Трубеж, впадающей в озеро Клецино (Плещесво). Назвали его Залесским потому, что в старину широкая полоса дремучих лесов как бы огораживала, защищала город.

То был типичный русский город-крепость. Почти трехкилометровый вал опоясывал несколько сотен домов, теснившихся вокруг высокого княжеского терема. На валу возвышались крепкие деревянные стены и башни, срубленные из вековых сосен. Переяславль служил столицей князю Ярославу Всеволодовичу, человеку самовластному, решительному и твердому в борьбе

с недругами, большую часть своей беспокойной жизни проведенному в походах. Входило княжество в состав Владимиро-Суздальской земли.

Здесь 13 мая 1220 года у князя Ярослава и его жены княгини Феодосии родился сын, второй по счету, которого назвали Александром. Ребенок рос здоровым и сильным. Когда ему исполнилось четыре года, состоялся обряд посвящения Александра в воины-постриги. Княжича опоясали мечом и посадили на боевого коня. В руки дали лук со стрелами, что указывало на обязанность воина защищать родную землю от врагов. С этого времени он мог руководить дружиной, конечно, при помощи ближнего боярина-воеводы.

Отец готовил из сына ратоборца, но приказал учить и грамоте: читать и писать. Изучал будущий князь и русское право — «Русскую правду». Уроки православия давал мальчику епископ Симон, игумен Рождественского монастыря во Владимире, один из образованнейших людей Руси того времени. Усвоил княжич и счет — арифметику.

Любимым занятием юного Александра, рано выучившегося читать и писать, стало изучение военного опыта его предков и событий родной старины. Отец имел немалую библиотеку рукописных книг. В вопросах воспитания древнерусских князей летописи служили бесценной сокровищницей военной мысли. Внимательно вчитывался будущий полководец в текст «Поучения» своего пращура — великого воителя Владимира Мономаха:

«...В дому своем не ленитесь, но сами смотрите за всем; не полагайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. Выйдя на войну, не ленитесь, но надейтесь на воевод, но угождайте питью, ни еде, ни снаью; стражу сами расставляйте и ночью, везде расставив караулы, около воинов ложитесь, а вставайте рано; да оружие не снимайте с себя вторых, не оглядевшись из-за лени — от этого внезапно человек погибает. Остерегайтесь лжи и пьянства — от этого погибает душа и тело. Куда ни пойдете по своим землям, не позволяйте ни своим, ни чужим отрокам пакость делать ни в селах, ни в полях, чтобы не начали вас проклинать. А куда ни пойдете, где ни остановитесь, везде напоите и накормите просящего. Больше всего чтите гостей, откуда бы он к вам ни

пришел — простой ли человек, или посол, — если не можете одарить его, то угостите едой и питьем. Эти люди, ходя по разным землям, прославят человека или добрым, или злым. Больного посетите, мертвого пойдите проводить, ведь все мы смертны. Не проходите мимо человека, не приветив его добрым словом... Что знаете хорошего, того не забывайте, а чего не уместе, тому учитесь...»

Великий князь Владимир Мономах — грозный победитель половцев, указывал на то, чтобы предводитель войска всегда был бдителем, держал своих ратников в боевой готовности и сам во всем подавал пример воинской дисциплинированности. Если от воеводы Мономаха требовал умения организовать победу, то от младших воинов беспрекословного выполнения приказаний: «...при старших молчать, мудрых слушать, старшим повиноваться, с равными себе и младшими в любви пребывать».

В «Поучении» Владимира Мономаха помимо чисто практических советов содержались понятия о ратном побратимстве и кодексе чести русских воинов. Все это, как губка, впитал в себя юный Александр Ярославич.

Можно утверждать, что теорию военной тактики и стратегии будущий Невский познал в строках «Поучения Владимира Мономаха своим детям», «Слова о полку Игореве», «Повести временных лет», былинных сказаний. И, без всякого сомнения, оставили свой след беседы отца с сыновьями, рассказы старших дружинников.

Но главным все же в обучении княжича стало освоение всех премудростей ратного дела. Это было неписанным, непререкаемым законом того сурового времени, и отец здесь не делал никаких поблажек младшему сыну. Ярослав Всеволодович воспитывал детей так, как воспитывали его самого.

На Руси в древности не признавали долгого взросления. Да его просто и не могло быть.

В четыре года княжич уже обучался владеть мечом. Вернее, его точной копией из мягкого, легкого дерева — липы. Длина далеко не игрушечного меча определялась точно — около 90 см, что позволяло учить держать дистанцию в бою. Затем деревянный меч становился тверже и прочнее — его делали из дуба или

ясня. В фехтовании на таких мечах без синяков не обходилось.

Таким же образом мальчиков из княжеского дома обучали стрельбе из лука. Раз за разом увеличивался его размер, возрастало сопротивление тетивы. Сперва стрелу метали в неподвижную мишень, а затем в летящую — по диким птицам. Менялось и расстояние, и размеры цели.

Одновременно опытные княжеские дружинники обучали детей Ярослава Всеволодовича искусству верховой езды. Первоначально на хорошо выезженных боевых конях. Учили уверенно и крепко держаться в седле, управлять конем, повелевать им. К десятилетнему возрасту княжич обязан был лично усмирить необъезженного коня-трехлетку. Покорить коня своей воле всегда считалось нелегким испытанием даже для взрослых мужчин.

После освоения мастерства (не азов) верховой езды воспитывающие приступали к обучению княжича владением сулицей — русским дротиком. Метко брошенная твердой рукой сулица поражала врага на расстоянии. Носились сулицы в специальных колчанах.

Гораздо больше искусства требовал от ратника бой на копьях. Здесь в первую очередь отработывался решительный таранный удар тяжелым копьём. Вершиной мастерства считался неотразимый укол в забрало — в таком случае всадник, как правило, повергался на землю вместе с конем.

Учили княжича и прочей воинской премудрости: владению щитом, кистенем и палицей, засапожным ножом (кинжалов русские воины не признавали), боевым топориком, секирой. Будущий князь обязан был уметь владеть любым видом оружия.

Такое обучение юного Александра не являлось исключением — оно считалось обязательным в семьях князей. Впрочем, как и в семьях бояр и дружинников.

Будущий князь — это и правитель, и профессиональный воин, каким он оставался до конца своих дней. Поэтому совсем не удивительны те факты, что почти все древнерусские князья лично участвовали в битвах, да еще в первых рядах своих дружин, часто вступали в поединки с предводителями противной стороны. От личного воинского мастерства во многом зависел авторитет князя.

Александр у исполнилось восемь лет, когда отец,

приглашенный новгородцами в третий раз на княжение в Великом Новгороде, взял его со старшим братом Федором с собой. Опекуном к сыновьям Ярослав Всеволодович приставил ближнего боярина Федора Даниловича. Под его строгим присмотром продолжалось обучение княжичей ратному делу. Он же учил их познавать Новгород, его вольные порядки, чтобы в будущем не принимать опрометчивых решений, могущих вызвать ссору со свободолюбивыми горожанами. В таких случаях приглашенные на княжение просто изгонялись — им указывали на дорогу, ведущую из города, со словами: «Иди, княже, ты нам не люб боле!»

Новгород в начале XIII века являлся самым многочисленным и богатым городом на Руси. Поэтому он и назывался Великим. Его не коснулось разрушительное Батыево нашествие. Полноводный Волхов делил город на две половины. Западная сторона называлась Софийской, потому что здесь находился крепкий кремль — «детинец» и красовался величественный каменный собор святой Софии, сверкавший на солнце пятью куполами, крытыми свинцом. С запада соборный портал украшали трофейные ворота из бывшей шведской столицы Сигтуны. Храм являлся большой гордостью горожан, считался у них самым почитаемым.

Длинный мост соединял Софийскую сторону с восточной частью города — Торговой стороной, самым оживленным местом в Новгороде. Тут находился знаменитый торг.

Большая торговая площадь располагалась как бы в кольце нескольких каменных церквей. С раннего утра площадь наполнялась шумом и говором разноплеменной, тысячеголосой толпы. Купцы из новгородских земель — «пятин», с берегов Волги и Днепра, эсты и финны с балтийского побережья, шведы и датчане, норвежцы и немцы встречались на торгу. Русские купцы продавали меха и кожи, бочонки с медом, воском и салом, килы пеньки и льна и многое другое. Иноземцы торговали оружием, изделиями из железа и меди, сукном, тканями и многими другими «заморскими» товарами.

Высшим органом власти на вольной новгородской земле являлось вече — собрание всех свободных граждан, достигших совершеннолетия. Вече приглашало на княжение приглянувшегося новгородцам князя с дру

жиной и избирало из среды богатых бояр посадника. Дружину разрешалось приводить с собой не более чем в 300 воинов, так как горожане опасались, что в возможных конфликтах с князем последний попытается использовать для «вескости» своего слова военную силу.

Приглашенный князь исполнял должность полководца феодальной республики. Боярин-посадник охранял при нем интересы горожан и контролировал деятельность князя и его ближних людей. Приглашенный на княжение (бывший, как правило, из владимирских земель, служивший вольному городу «хлебной корзинкой») не имел права жить в самом Новгороде, за городскими крепостными стенами. Для него и дружины резиденцией служило Городище на правом берегу Волхова. И в этом тоже была предусмотрительность новгородцев, не желавших сильной руки на вече.

Новгород по тем временам представлял из себя мощную и, что особенно важно, мобильную военную организацию. Вопросы вооруженной защиты новгородских земель от внешних врагов всегда находили единодушное решение на вечевых собраниях. Перед угрозой вражеского нападения или выступлением в поход собиралось действительно народное вече. На нем определялись численность и маршруты движения войска. Решение веча считалось законом для всех новгородцев.

По древнему, сложившемуся обычаю каждая семья посылала на бой всех своих взрослых сыновей, за исключением младшего. Отказ выйти на защиту родной земли считался несмываемым позором. Дисциплина в войске поддерживалась устным обещанием-клятвой, в основе которой лежали решения веча. Жители Великого Новгорода по делам и поступкам своим слыли большими патриотами земли русской.

В условиях надвигающейся военной опасности вече являлось, по существу и прежде всего, собранием новгородского воинского ополчения, бояр, князя и его дружины. Преобладающая роль во время общевойскового сбора оставалась за трудовым людом Новгорода. По этой причине в новгородском войске большое значение имело городское и сельское народное ополчение, формируемое из ремесленников и крестьян. Оно являлось главной ударной силой Великого Новгорода. В состав войска входили боярские дружины. Число приво-

димых боярином воинов определялось обширностью принадлежавших ему земельных владений. Личные дружины бояр и новгородских купцов составляли конную «переднюю дружину».

Войско делилось на полки, численный состав которых не был постоянным. Всего Новгородская земля могла выставить примерно 20 тысяч воинов — сила весьма внушительная по тем временам. Во главе войска стояли князь и посадник. В случае отражения военного нападения или похода на врага князь вызывал из своего княжества дополнительные силы. Помощь могла прийти и от княжеских родичей из других княжеств.

Ополчение собственно самого города насчитывало примерно 5 тысяч ратников. Оно имело стройную структуру, соответствующую административному делению Новгорода. Воины набирались с пяти городских концов — Неревского, Людина, Плотницкого, Славенского и Загородского. Ополчение состояло из сотен во главе с сотниками. В сотню входили ополченцы с нескольких улиц. В случае тревоги каждый городской конец срочно выставлял «под ружье» 100—200 воинов. Или, как тогда говорилось, — по одному полку. Городским ополчением командовал тысяцкий — выборный от горожан.

На вооружении новгородского войска находились копья, мечи, топоры, луки, самострелы (в Европе их называли арбалетами) и многие другие виды оружия. Защитное вооружение ратников состояло из щита, кольчужной рубахи, изготовленной из 10—17 тысяч колец, и шлема-щипака. Богатые воины носили кольчужные чулки. Естественно, качество вооружения зависело прямым образом от состоятельности ополченца. А таковыми большинство из них не являлось.

Следует отметить, что новгородские ремесленники и оружейники снабжали свое войско прекрасным оружием и доспехами. Часть их покупалась у иноземных купцов и добывалась в виде военных трофеев.

«Инженерная» вооруженность новгородского войска по тем временам считалась достаточно высокой. При штурме крепостей успешно применялись осадные приспособления и метательные машины. Новгородцам не раз приходилось штурмовать сильные крепости.

Великий Новгород располагал значительным речным и морским флотом. Его жители слыли опытными

и бесстрашными мореходами, умевшими хорошо сражаться и на воде. Их морские суда имели палубу и парусную оснастку. Рулевое весло на корме было длиной около 3 метров, а лопасть его достигала 1,5 метра длины и полметра ширины. Речные суда строились достаточно вместительными, неся на себе от 10 до 30 человек, и быстроходными. Новгородцы умело пользовались ими для переброски войска и перекрытия рек, когда требовалось преградить путь неприятельским кораблям и дать им бой.

Флот новгородцев неоднократно участвовал в военных походах и одерживал убедительные победы над шведским флотом, высаживал на неприятельских берегах. Именно в Новгороде князь Александр Ярославич познал боевые возможности судовой рати, скорость передвижения пешего войска по воде.

Приглашенным на княжение князьям в сражениях и походах было легко управлять боевыми порядками новгородского войска. Они мало чем отличались от войск русских княжеств. В сражении его центр — «чело» — обычно состоял из ополченческой пехоты, многочисленной и стойкой в бою. На флангах — «крыльях», в полках правой и левой руки, становилась конница. Для повышения устойчивости боевого порядка и увеличения его глубины перед «челом» располагался полк лучников, вооруженных длинными луками, длина тетивы которых в 190 см способствовала большой дальности полета стрел и мощной убойной силе. Широко использовали стрелки и самострелы. Последнее было очень важно в постоянных боевых столкновениях с тяжеловооруженными немецкими и шведскими рыцарями.

Такое построение новгородского войска имело целый ряд преимуществ перед боевым построением западноевропейского рыцарства. Оно было гибким, устойчивым, позволяло в ходе сражения маневрировать не только конницей, но и пехотой. Следует отметить, что новгородцы предпочитали сражаться в пешем строю. Да и простой ополченец не имел просто возможности содержать дорогостоящего боевого коня.

Использовали новгородцы и тактическую хитрость на поле брани. Иногда усиливалось одно из «крыльев» и создавалась глубокая ударная колонна «пешцев». Располагавшаяся за ней конница в ходе сражения совершала охват, нанося опасный удар с фланга

и тыла. Такое построение войск в войнах того времени считалось «диковинным», зачастую неожиданным для противника.

На походе русская рать, умевшая даже в пешем строю совершать быстрые и дальние переходы, всегда имела впереди сторожевой отряд для разведки противника и наблюдения за его действиями. «Сторожи» высылались ближние и дальние. Воинов в них отбирали очень придирчиво — от разведки и боевого охранения зависело многое.

Все эти познания военного дела, основы ратного искусства Руси того времени с раннего детства впитал в себя Александр Ярославович. Они и помогли ему стать уже в ближайшем будущем прославленным полководцем земли русской. Военное искусство являлось частью княжеской науки. И едва ли не самой важной.

Пока князь Александр подрастал и набирался княжеского «ума-разума», на границах новгородских земель становилось все тревожнее. Опасность шла с запада. В Прибалтике агрессивно вели себя немецкие рыцари-крестоносцы, уже покорившие мечом и огнем прибалтийских славян. Почти полностью были истреблены полабские славяне — лужичане, ободриты, лютичи. Последний удар приняли на себя пруссы — славянское племя, оказавшее длительное сопротивление натиску немецких феодалов.

Крестоносное воинство не скрывало далеко идущих планов в отношении Руси, прежде всего новгородских и псковских земель. Кроме того, на соседнее Полоцкое княжество участились набеги воинственных литовцев, которые, вступив в борьбу с рыцарями-крестоносцами, вторгались и в пограничные русские земли. На области проживания финнов, бывших под управлением Великого Новгорода, начали совершать «крестовые» походы шведские феодалы.

Новгородский князь Ярослав Всеволодович, чтобы обезопасить северо-западные границы русской земли, совершил ряд удачных походов — в 1226 году против литовцев и в 1227 и 1228 годах в Финляндию против шведов. Но задуманный им поход против немецких рыцарей-крестоносцев неожиданно сорвался. На подкрепление новгородского и псковского войска он вызвал владимирские дружины. Однако бояре Новгорода и Пскова усмотрели в этом опасное усиление для них

княжеской власти и отказались участвовать в походе. Владимирцы вернулись домой.

Ярослав Всеволодович, как человек скорых решений, рассорившись с новгородцами и особенно с псковичами, уехал с женой к себе в Переяславль. Он давал время горожанам одуматься. Но сыновей Федора и Александра оставил в Новгороде. Вскоре там начались серьезные волнения и вооруженные горожане стали громить дворы сторонников переяславльского князя. Февральской ночью 1229 года боярин Федор Данилович и тиун Яким тайно увезли княжичей к отцу. Иначе могла произойти беда.

Для Великого Новгорода наступили черные дни. Простой люд голодал, уходил из города. Крестьяне — смерды отказывались платить подати: землю поразили неурожаем. В народных волнениях и разразившейся государственной смуте бояре и богатое купечество почувствовали для себя большую угрозу. Да к тому же с границ поступали тревожные вести. Пришлось новгородцам мириться с князем и вновь приглашать его на княжение.

Ярослав Всеволодович не мешкая приехал в Новгород и, собрав вече, принес присягу «на всех грамотах Ярославлих». Он обещал горожанам править по старым новгородским обычаям. Вольный Псков тоже признал князя и принял его наместника.

Оба княжича вернулись в Новгород, в котором свирепствовал голод. Постепенно жизнь налаживалась. В 1233 году неожиданно перед свадьбой умер старший брат Федор. Его невеста, черниговская княжна Евфросинья, с горя ушла в монастырь. Смерть брата, достигшего совершеннолетия, резко изменила жизнь Александра.

Отец, готовя себе смену и продолжателя княжеского рода, теперь постоянно держит при себе сына. Тот стал познавать отцовскую науку управлять русскими землями, вести дипломатические отношения с чужеземцами, участвовать в переговорах с другими князьями и командовать войском. Ярослав Всеволодович, заботясь о будущем Александра, проявил здесь большую дальновидность.

Пока шло налаживание привычной жизни на новгородской земле, у ее западных границ созрела серьезная угроза. Вслед за землями латышей рыцари-крестоносцы захватили земли эстов. В 1224 году пал го-

род Юрьев (ныне Тарту). Крепость защищала русско-эстонская рать во главе с русским князем Вячеславом (Вячко). Защищая город, в жестоком, неравном бою погибли все до единого воина. Последующие годы у завоевателей на подавление сопротивления эстов и закрепление на новых землях.

Ободренное успехом войско Ордена меченосцев в 1233 году идет в поход на Русь. Внезапным ударом берется русская пограничная крепость Изборск. Подоспевшая псковская рать выбивает крестоносцев из захваченного ими городка. Но в том же году немецкие рыцари совершают новый набег, теперь уже на новгородские земли. Они явно испытывали на прочность границы своих новых восточных соседей, которых Ордену предстояло покорить.

Требовалось дать незамедлительный отпор Ордену. Князь Ярослав Всеволодович спешно собирается в поход, участником которого становится и подросток Александр. По вызову в Новгород приходит сильный полк переяславльских воинов. К нему присоединяются новгородское и псковское ополчение. Собралась внушительная военная сила. Русские воины горели желанием дать отпор новоявленному «супротивнику».

Объединенное русское войско, во главе которого стояли отец и сын из рода великого князя Ярослава, в 1236 году пошло в поход на немецких рыцарей-крестоносцев. По трудным зимним дорогам рать русичей прошла за неделю триста верст и подошла к Дерпту (Юрьеву). Орденские отряды укрылись за крепкими стенами Дерпта и Отепи (Медвежьей Головы). Немцы решили отсидеться в осаде и стали ожидать штурма.

Но Ярослав Всеволодович не стал брать приступом высокие крепостные стены хорошо укрепленных городов. Он пошел на хитрость, чтобы выманить противника в чистое поле для сражения. Небольшие отряды русской конницы начали жечь орденские замки и поместья. Рыцари, видя такое разорение орденских владений, вынуждены были выйти из-за крепостных стен.

В произошедшей ожесточенной битве немецкое войско потерпело сокрушительное поражение. Опрокинутое сильным ударом русских воинов, потеряв много знатных рыцарей, оно было загнано на лед реки Эмбах (Эмайги). Лед не выдержал огромной тяжести бежавших, закованных в железо людей и проломился. Многие орденские братья ушли на дно реки. А те,

кому повезло, бежали вновь за крепостные стены, затворив в них все ворота.

Битва прошла так удачно, что никто из новгородцев не погиб, а княжеская суздальская дружина потеряла лишь несколько воинов. Разорив до конца владения дерптского епископа, русская рать возвратилась назад.

Немецкие рыцари срочно отправили послов к Ярославу Всеволодовичу, и он «взял с ними мир на всей Правде своей». Меченосцы стали платить дань новгородскому князю и клятвенно обещали больше не нападать на владения Великого Новгорода. Но это не изменило планов Ордена по отношению к русским землям. Пройдет всего лишь несколько лет, и последует новое немецко-рыцарское вторжение на Русь, более мощное и опасное.

Участие в победном походе к Дерпту и сражение у реки Эмбах дало возможность четырнадцатилетнему **Александру** познакомиться в «дело» с немецким войском. Через семь лет на льду Чудского озера он наголову разобьет ражих рыцарей-крестоносцев, закованных в тяжелые латы, с латинскими племени на головах, в белых плащах, с нашитыми на них красными крестами. Может быть, воспоминания о гибели псоврыцарей под эмбахским льдом подсказали князю Александру Невскому мысль загнать их на участки рыхлого льда у Вороньего Камня?

В 1236 году Ярослав Всеволодович отъехал в Киев, чтобы занять там княжеский престол. А подростка сына посадил править в Великом Новгороде. Уходя в Киев, отец собрал народное вече. И при всем честном народе торжественно вручил сыну меч — символ наместника; так Ярослав «в Новгороде посади сына своего Олександра».

Шестнадцатилетний отрок сделался новгородским князем, правителем средневековой вольной республики!

Ему теперь единовластно предстояло править обширной новгородской землей, которой постоянно грозили враги, отбивать решительной рукой их удары и принимать ответственные политические решения. И такое в шестнадцать-то лет! Но Александр, сполна уже познавший отцовскую ратную и великокняжескую науку, знал, кем правит и кого защищает.

Именно в годы пребывания с отцом в Новгороде

сложились те черты характера Ярославовича, как ласково звал его простой новгородский люд, которые впоследствии снискали ему любовь и уважение современников: доблесть и осторожность в бою, умение ориентироваться в обстановке и принимать чуждое решение не только для боя. То явились черты великого полководца, защищавшего в будущем землю русскую невооруженной рукой.

Вскоре наступил грозный 1237 год. На Русь, раздробленную на многие, порой не ладящие друг с другом княжества, обрушилось страшное по своим историческим последствиям монголо-татарское нашествие. Защищаясь от вражеских полчищ, гибли в огне Пронск, Рязань, Коломна, Москва, Стародуб, Ярославль, Переяславль, Суздаль, Ростов, Волок-Ламский, Кострома... От Владимира Батый повернул к богатому Повгороду.

Монголо-татары шли удобным для них Селигерским путем, «людей секуще аки траву». Здесь удар на себя принял небольшой городок-крепость Торжок. Две недели героически отбивали его жители яростные приступы врага. Но деревянные стены не устояли против осадных машин — тараны пробили в них бреши. Свой последний бой горожане приняли на узких улочках, среди горящих домов.

Новгородские бояре и богатое купечество отказали в помощи порубежному стражу вольного города. Под их давлением вече приняло решение запереться, молиться и, если враг придет под стены города, — обороняться. Князя Александра принудили заниматься подготовкой Новгорода к обороне от неизвестного доселе степного противника.

Но страшная гроза прошла для Новгорода стороной. Только сто верст оставалось до него. Войско Батыя неожиданно круто повернуло от урочища Игначкост на юг.

Наступала весенняя распутица, в лесах таяли снега, замерзшие болота грозили превратиться в топи, непроходимые для вражеской конницы. Монгольский хан, предпочитавший зимние походы, устранился разлива многочисленных рек и озер и осмотрительно двинулся в более сухие места, в степь. К тому же войско завоевателей понесло значительные потери.

Но и не мог не знать монгольский владыка о воинственности новгородцев и сильно укрепленном, много-

численном городе на Волхове. Хан Батый и его военачальники видели перед собой пример небольшой новгородской крепости Торжок. Они не хотели рисковать.

...В том же 1238 году на Руси произошло важное, из разряда политических, событие. После ухода монголо-татар на юг в Новгород прибыли гонцы от Ярослава Всеволодовича. Отец звал сына во Владимир на великокняжеский съезд.

Путь Александра лежал через разоренную землю в выжженный, разоренный и опоганенный завоевателями древний Владимир. Отец собирал в нем уцелевших в сражениях русских князей — потомков Всеволода Большое Гнездо. Предстояло решить — кого выбрать великим князем Владимирским.

Съехавшиеся князья назвали им энергичного Ярослава Всеволодовича. Александр вновь возвратился в Новгород. Отец добавил ему владений, выделив еще Тверь и Дмитров. Огнью па восемнадцатилетнего князя легла защита западных русских границ. А военная опасность уже зримо надвигалась на них.

Прошел год после ухода полчищ Батыя. Александр Ярославович женился на дочери полоцкого князя Брючислава Александре. То был и политический союз двух княжеских родов, скрепленных брачными узами. Жениху исполнилось девятнадцать лет — многовато по тем временам. Старшего брата Александра — Федора хотели женить в четырнадцать. Венчался князь в Полоцке, брачную кашу ел в Торопце, на свадебном пиру сидел в Новгороде.

Едва отгремели ликующие звуки свадебных пиршеств, как молодой князь спешит на западные рубежи исковских и новгородских земель. Время торопит. И он приступает к постройке крепостей на реке Шелонь.

Запад грозил Руси. Европейские власти готовились к новому крестовому походу против поморских славян и прибалтийских народов. Вести в Новгород приходили из-за кордона одна тревожнее другой. 12 мая 1237 года глава католической церкви утвердил объединение Ордена меченосцев Ливонии с Орденом тевтонов Пруссии. Магистр тевтонов стал великим магистром (гроссмейстером), а вошедший в его подчинение магистр ливонских рыцарей-меченосцев принял титул магистра края (ландмейстера).

Такое объединение поставило Великий Новгород в весьма тяжелые условия. Тевтонский орден по своим

военным возможностям заметно превосходил ливонцев, которые постоянно угрожали русским землям. Более того, за орденским рыцарством зримо стояли воинственные Германская империя и папство.

На Русь посягал и датский король, «зоной влияния» которого стала северная Эстония с городом Ревелем.

В 1238 году папа римский и великий магистр Ордена подписали договор, который предусматривал поход в земли язычников — ижорян, карел, води, чьи земли входили в состав Новгородской Руси.

Но это было еще не все. Папа Григорий IX призвал немецкое и шведское рыцарство силой оружия покорить финнов. Северным крестоносцам он отпуская грехи за будущие «подвиги» в земле финнов.

Так что бережение северо-западных границ Руси явилось делом чести для молодого новгородского князя, достойного продолжателя ратных трудов своего отца Ярослава Всеволодовича. Грядущие испытания не заставили себя долго ждать...

На древней Руси люди мужали рано. Можно утвердительно сказать, что к своим двадцати годам Александр Ярославович, добывший славу русскому оружию в битве на Неве, уже сложился и как князь, и как воин-профессионал. Только сочетание таких двух сторон личности возвело его в звание великого русского полководца. И не просто великого, а еще и «святого», национального героя России. Немногие из ее великих людей входили в таком звании в отечественную историю.

Можно довольно ясно представить себе исторический образ князя Александра в его двадцать лет, еще не ставшего Невским. И в бою, и в походе он — тяжелооруженный русский всадник, умеющий одинаково хорошо владеть колющим, рубящим и ударным оружием. Одним словом — витязь. Всегда на испытанном и верном боевом коне. Всегда во главе дружины или войска. Всегда под княжеским стягом. С одной лишь щемящей заботой в сердце — сберечь землю русскую. Вернее ту ее часть, до которой так и не докатилась лавина Батыевых войск.

Известно и оружие, которое имел при себе князь Александр Ярославович. В общем-то, это было полное вооружение дружинника-профессионала, только богаче и, скорее всего, качеством выше. Он имел тяжелое

копье (или два), меч или саблю — последняя входила в моду на Руси как более удобная в конном бою, сулицы-дротики, боевой лук со стрелами, увесистый кистень на кожаном ремне, булаву, боевой топорик, засаживаемый нож. Все отточенное, всегда готовое к бою.

Почти ничем не отличались от защитного вооружения дружинников и доспехи князя. Все та же добротная сделанная русскими кузнецами плотно облегающая грудь кольчуга, щит, заметно меньше рыцарского. Голову прикрывал шлем с пристегнутой к нему бармицей для защиты шеи и затылка.

Но это еще не все в экипировке князя. Все крепилось и носилось на крепких сыромятных ремнях: оружие, доспехи. И ножны, и футляр для топорика, и колчан для лука и стрел, для сулиц были отдельно. На руках — боевые рукавицы из крепкой кожи, к которым с тыльной стороны иногда пришивали металлические полоски.

У некоторых историков бытует мнение, что, мол, русские воины слабо владели луком. Но ведь даже князь предстает перед нами как опытный конный стрелок-лучник. Он делал, обязан был делать 6 прицельных пусков в одну минуту на расстояние до 200 метров. За 10 секунд пустить стрелу прицельно в своего противника! Причем прицеливаться мгновенно, одновременно натягивая тугую тетиву. К тому же требовалось еще приловчиться к наконечнику разящей стрелы, иметь его любимый тип — в то время наконечников копий и стрел насчитывалось десятки видов.

Такое поистине пудовое вооружение мог нести на себе только человек, физически крепкий, натренированный годами, умеющий ладно сидеть на коне, сражаться на нем.

На Руси князь-воитель знал твердо свое место в сражении, в его завязке. Битву начинали лучники, которые, осыпая недругов тучей стрел каленых, испытывали тем самым на прочность вражеские ряды. Сейчас это называется разведкой боем. И после нее сходились в рукопашном бою два войска. Князь лично возглавлял верную ему дружину — прижав к бедру тяжелое копье, он становился частицей идущих вперед конников. Место ему всегда отводилось только в первом ряду атакующих. После первой спешки с вражеской конницей в ход пускалось уже и другое оружие.

От отца, из ратных наставлений древнерусских ле-

тописей молодой Александр знал, сколь важна в быстротечном бою скорость мышления предводителя войска, мгновенная реакция на опасность, решительность и смелость, выучка, совершенство владения конем, от которого во многом зависела судьба война.

Из военной истории князь знал, что при удачном начале можно выиграть битву в первые же ее минуты. А она всегда виделась до предела ожесточенной, яростной, трудно предсказуемой, с такой желанной победой. Потому и требовалось в сражениях одинаково от князей и простых дружинников личное мужество, воля к победе, одержимость и бесстрашие.

Александр Ярославович познал тактическое искусство русского военачальника сполна. В погоне за лихими в набегах литовцами брал с собой легковооруженную конницу, чтобы сыграть на опережение противника. Если предстояла осада крепости и большой поход — ставил под свое знамя городских и сельских пеших ополченцев. Против закованных в металл рыцарей выводил в поле хорошо оснащенную конную дружину, подкрепленную конниками-ополченцами.

Знал новгородский князь, как брать камешные и деревянные крепости. Военно-инженерное искусство на Руси к тому времени было развито отменно. Умели сооружать различные осадные метательные орудия — пороки. Название их происходило от слова «прак» — праща. При осаде крепостей их отыскивали — то есть окружали крепким тыном, чтобы врагу не было хода ни туда, ни сюда. Для отвода воды делались подкопы. Если крепости брались штурмом, то на стены взбирались, умело вскидывая наверх лестницы.

Знал Александр Ярославович и как сидеть в осаде. Врага тогда следовало сокрушать во внезапных вылазках, а с высоты крепостных стен отстреливать конных и пеших воинов, осевших на подступах к городу.

И еще одно умение считалось многотрудным для любого полководца. Это искусство управляться с обоями. Совладать с ними в походе — значит положить камень в основание будущего успеха. Не совладаешь — можешь остаться без возимого в обозе оружия или упустишь добычу.

Из «Поучения» Владимира Мономаха сын князя Ярослава ясно усвоил правило, обязательное в любом ратном поиске: всегда и везде вести разведку. Ближнюю и дальнюю. Каждодневную, нестойчивую, даже

рискованную. И постоянно заботиться о дозоре — боевом охранении войска, будь то в походе или на привале. Иначе может случиться непоправимая беда.

Умел предводитель русского войска ставить большие и малые засады. И избегать, сторожиться вражеской западни, проявляя немалую военную хитрость.

Был князь в те времена и военным «администратором». Отец обучил сына и такой премудрости, как строить войска для того или иного вида боя, вовремя раздавать дружине оружие, искусно вооружать и ополченческие полки — конные и пешие.

Ярослав Всеволодович обучил наследника видеть и твердо знать место князя в битве. Княжича еще в детстве приучили к тому, что его место на самом виду у всех. И своих ратников, и неприятеля. Все русское войско для крепости духа должно было видеть в сражении барса или льва на высоко поднятом цветном княжеском стяге, золотой шлем князя, меч с золотой рукояткой в высоко поднятой руке. Как и блестящие шлемы его воевод, их червленые щиты, ибо все знали, что пока блестят шлемы и реют стяги — будет стойко сражаться княжеская рать.

Все это было азами отцовской науки княжить — управлять и воевать за землю русскую. То исконно русское ратное искусство, отшлифованное вековой борьбой с врагами, которых всегда хватало на рубежах Руси во все времена. Именно такое знание позволило Александру Ярославовичу раскрыть яркое дарование великого полководца, испытать свой воинский талант. А к подвигам во славу земли русской его готовили с четырехлетнего возраста, когда опоясали отцовским мечом и посадили на виду всей переяславльской дружины на боевого коня.

Не мог он до конца своей короткой жизни забыть тот миг. Приветливый, чуть пытливый взор сурового отца-воителя. И затуманенный слезой взгляд любимой матери. С четырех лет для княжича детской утехой-забавой стало только то, что помогало стать ему ратоборцем родной земли.

Время испытаний не заставило себя долго ждать. Наступал во всей своей грозе 1240-й год. Из-за Варяжского моря шли войной на вольный Новгород шведы-крестоносцы.

ВРЕМЯ

РАСКРЫВАЕТ

ТАЙНЫ



1582229
22285
515291
812951
291585
7581

15
3



Документальная повесть

Когда при первом знакомстве двадцать лет назад я спросил Семена Яковлевича Побережника, на скольких языках он может объясняться, то услышал в ответ поразившую меня цифру: на одиннадцати. Нет, бывший буковинский крестьянин из села Клишковцы не лингвист и не путешественник, хотя побывал в 33 странах мира. За свою долгую жизнь — в феврале ему исполнилось восемьдесят четыре года — Побережник сменил много профессий. Но главной он все же считает одну — профессию разведчика.

Лазурь Таранто

Весной 1939 года Западная Европа напоминала пороховой погреб, к которому подведен дымящийся фи-

тиль. После аншлюса Австрии фашистской Германией дивизии вермахта оккупировали Чехословакию, а в штабе верховного главнокомандования завершалась разработка планов новых территориальных захватов. Главное стратегическое направление определено фюрером предельно четко: «Дранг нах Osten» — «Поход на Восток». Его союзник по «Антикоминтерповскому пакту» Муссолини не возражает, поскольку втайне мечтает превратить в «итальянское озеро» не только Средиземное, но и Черное море. Уже утверждена пресловутая доктрина Висконти Праска «Война на сокрушение», названная дуче «водливно фашистской» по своему духу и содержанию. Полным ходом идет осуществление шестилетней программы наращивания военно-морской мощи Италии, которая, как надеются в Риме, позволит претендовать на существенные территориальные приобретения в ходе предстоящей перекройки карты Европы, а возможно, и мира.

У коридорного Луиджи сложилось не слишком лестное мнение о высоком сухопаром англичанине Альфреде Джозефе Мунее из 16-го номера. Гостиница «Виа Венета» считалась одной из наиболее уважаемых в Таранто. В ней охотно останавливались состоятельные туристы-иностранцы, щедрые на чаевые. Поэтому жаловаться на жизнь Луиджи не приходилось. Муней же больше лиры-двух никогда не давал. Такая скупость, если у человека водятся деньги, а у англичанина, судя по дорогим костюмам и новенькому «фиату» с римским номером, они явно водились, с точки зрения Луиджи, относилась чуть ли не к семи смертным грехам. К тому же Муней не заказывал в номер ни вина, ни кофе, не проявлял интереса к девочкам, хотя услужливый коридорный не раз прозрачно намекал, что мог бы порекомендовать «товар люкс». Словом, это был типичный пуританин, одним своим чопорным видом пагонявший тоску. Даже выверенный до минуты распорядок дня долговязого бритта в глазах Луиджи свидетельствовал лишь о том, какой он скучный человек. Ровно в семь утра Муней спускался в парикмахерскую, в семь тридцать завтракал неизменной «пастаджута», с которой примирился после безуспешных попыток получить традиционный английский «поридж», запивая макароны чашечкой кофе. После

этого Альфреда Джозефа Муней не видели в «Виа Вестета» до позднего вечера. Обычно он уезжал на своем «фшате», который водил с лихостью профессионального гонщика.

Таранто, с его глубокой естественной гаванью, доками, арсеналом, судостроительными заводами, являлся одной из двух главных баз итальянского флота. Стоит ли удивляться, что местная полиция, по специальному указанию отдела «Е» морской разведки негласно проверявшая всех приезжих иностранцев, не преминула понаблюдать и за мистером Мунеем. Однако ничего подозрительного в его поведении не обнаружилось: он не проявлял повышенного интереса к военной гавани и не пытался заводить знакомства с моряками. Поэтому вскоре англичанин был отнесен к разряду «безобидных», причем за все время пребывания в Таранто его фамилия ни разу не фигурировала в сводках, каждое утро ложившихся на стол начальника управления милиции национальной безопасности Морози.

Большую часть дня Альфред Муней проводил на виду у всех в деловых кварталах города, посещая офисы небольших фирм. Он не скрывал, что приехал в Таранто из Англии специально, чтобы вложить деньги в какое-нибудь предприятие, и теперь искал подходящих партнеров. Как-то один из новых знакомых, владелец небольшой фабрики оливкового масла Гвидо Чезарано, пригласил англичанина вместе с несколькими друзьями пообедать в ресторане «Бельведер», славившемся своей кухней. Непринужденная застольная беседа перескакивала с одной темы на другую, как вдруг Чезарано словно бы невзначай спросил:

— Кстати, мистер Муней, каким ветром вас занесло сюда? Ведь там, на Севере, многие считают, что Италия кончается во Флоренции, в крайнем случае — в Риме, а ланго Медзоджорно¹ вообще не Европа, а скорее Африка, где распаренные солнцем южане поголовно бестолковы и не любят работать. Неужели в Англии не нашлось более подходящего места для делового человека?

По тому, как Чезарано буквально впился глазами в лицо Муней, ожидая ответа на каверзный вопрос,

¹ «Полуденная страна» — так итальянцы называют юг Апеннинского полуострова.

нетрудно было догадаться, что он задан неспроста. Англичанин усмехнулся:

— Как раз это-то и привело меня сюда. Я имею в виду солнце. Видите ли, я вырос в Канаде, жил в Штатах, а когда вернулся в Англию, то, признаться, не смог привыкнуть к дождю и туманам. Что же касается лени, то не верю, чтобы люди, подарившие миру такие великолепные вещи, как спагетти — между прочим, я каждое утро на завтрак ем их — и потеряя, уступали другим в сообразительности.

Ответ был встречен одобрительными возгласами: похвала англичанина польстила местному патриотизму темпераментных южан. Даже если Чезарано устроил эту маленькую проверку по собственной инициативе, Семен Яковлевич Побережник, посивший теперь имя Альфреда Джозефа Муней, с честью выдержал ее.

После того памятного обеда отношение к нему в деловых кругах Таранто стало вполне благожелательным. Впрочем, немалую роль сыграло и то, что, хотя он не привез с собой рекомендательных писем, счет на солидную сумму, да к тому же в фунтах стерлингов, открытый в «Банка д'Италия», служил лучшей гарантией финансовой надежности англичанина. Заманчивые предложения не заставили себя ждать. Но мистер Муней не спешил принимать их, предпочитая, как объяснял он, повременить, чтобы лучше ознакомиться со здешними возможностями. Нередко его приглашали осмотреть то или иное предприятие. Мистер Муней охотно соглашался и при случае давал толковые советы по части электрооборудования, в котором, как оказалось, неплохо разбирался. Вскоре репутация англичанина как знающего специалиста утвердилась настолько прочно, что к нему начали обращаться за платными консультациями.

Вечерами Альфреда Муней можно было встретить в том же «Бельведере», где собирались промышленники и финансисты и который явно пришелся ему по душе. Днем он иногда заглядывал в «Опполо». Это заведение не могло похвастаться большим выбором блюд, но зато имело отличную коллекцию вин, начиная от белого «орвието» и кончая «тоскани». Впрочем, мистер Муней не отличался слишком привередливым вкусом. Он мог сидеть и час, и два, довольствуясь рюмочкой-другой вина с традиционным итальянским «кассата» — ягодным мороженым в высоких вазочках. Неторопливо

потягивая рубиновое «кампари», англичанин не уставал любоваться чудесной панорамой огромного залива, лазурь которого разлилась на десятки километров.

Эта размеренная и в общем-то однообразная жизнь нарушалась лишь загородными поездками по живописным окрестностям с обязательными обедами в крошечной деревенской трактирии. Нередко Мунья сопровождал кто-нибудь из новых знакомых, с гордостью знакомивший приезжего с достопримечательностями Апулии, где еще за три тысячи лет до наших дней селились на рыжей земле греки и финикийцы. Короче, англичанин вел себя так обыденно и естественно, что, даже если бы итальянская контрразведка вздумала фиксировать каждый его шаг, при всем желании она не смогла бы найти, за что зацепиться.

В литературе давно сложился стереотипный образ разведчика: похищенные из сейфов документы, изысканное общество, бешеные гонки на автомобилях с обязательными перестрелками, кутежи в дорогих ресторанах, когда между двумя бокалами шампанского выведываются наисекретнейшие государственные тайны. К тому же наделенный сверхъестественной проницательностью герой легко обходит хитроумные ловушки, которые расставляет противник. Увы, при всей своей привлекательности такой литературный супермен не имеет ничего общего с действительностью.

Конечно, настоящий разведчик должен обладать определенными специфическими качествами, без которых немыслима эта профессия. К ним относятся и смелость, и выдержка, и абсолютная преданность своей Родине. Что же касается наблюдательности, то это просто аксиома. Вообще работа разведчика, считает Побережник, в основном в том и состоит, чтобы уметь видеть, слушать и делать правильные выводы. Причем он должен смотреть на вещи, как говорят англичане, «открытым умом», отбросив все предубеждения, заранее сложившееся мнение. Не поддаваться желанию видеть факты и явления такими, какими хотелось бы их видеть. Словом, не принимать желаемое за действительное. Но не менее важны интуиция, глубокая внутренняя самодисциплина, оптимизм. И еще: разведчику, как и актеру, важно вжиться в предписываемый легендой образ. Но ему недостаточно только убедить

тельно играть свою труднейшую роль так, чтобы в нее постоянно верили десятки людей, в том числе и опытные фашистские контрразведчики. Его поведение должно не просто до мелочей соответствовать этому образу, но и давать максимальные результаты в работе.

...Мы сидим в маленькой кухоньке скромной двухкомнатной квартиры Побережника в районе новостроек на окраине Черновцов. Нетерпеливо пофыркивает на плите закипающий чайник. Извинившись, Семен Яковлевич прерывает беседу, чтобы приготовить свой любимый напиток — крепко заваренный чай. Когда ароматная, обжигающая жидкость налита в стаканы, мы снова возвращаемся на полвека назад в солнечный Таранто, так не похожий на не по-весеннему промозгло-серые нахлывившиеся Черновцы.

— Допустим, разведчик пунктуально соблюдает правила конспирации, заранее рассчитывает каждый шаг. Но ведь все предусмотреть пельзя. Наверняка возникают ситуации, когда обстоятельства требуют действовать экспромтом, рискуя при этом засветиться. Как быть в таком случае? — стараюсь я выяснить специфику работы разведчика, длительное время находящегося во вражеской стране один на один с тысячью опасностей, постоянно подстерегающих его.

Семен Яковлевич ненадолго задумывается. Потом неторопливо говорит глуховатым голосом:

— Прежде всего мастерство разведчика проявляется не в том, чтобы ухитриться найти выход из безвыходного положения. Главное — уметь не попадать в него. А для этого он должен, как шахматист, мгновенно просчитывать развитие ситуации на несколько ходов вперед. Оценить возможные последствия с точки зрения интересов дела. Если последние действительно очень важны, рисковать.

В качестве примера Побережник приводит один случай, произошедший с ним в Италии.

...В тот вечер мистер Муней доказал изумленному коридорному Луиджи, что способен не неожиданные поступки: попросил подать в номер кофе и бутерброды к четырем часам утра, когда еще только-только рассветает. Впрочем, справедливости ради коридорный должен был признать, что англичанин оказался настоящим джентльменом. Щедрые чаевые с лихвой вознаградили Луиджи за то, что пришлось встать чуть свет, а мимоходом брошенная фраза насчет камеренна

Музей до полуночи попасть в Каганитю вполне удовлетворили его любопытство. О том, что в Метапонтю серый «фьат» повернет на север к Неаполю, знать ему было вовсе не обязательно.

В старину Неаполь считался пределом мечтаний путешественников. «Увидеть Неаполь и умереть!» — гласила поговорка. Но Побережника меньше всего интересовали красоты этого города, живописно сбегаящего к голубому заливу. Вечером ровно в восемь предстояла встреча со связником в маленькой траггории, спрятавшейся в переулке по соседству с фешенебельной улицей Аполло. Разведчик должен был передать отчет о сделанной работе и получить от курьера инструкции Центра.

Когда он плывал на обшарпанных «кунцах», им случалось заходить в Неаполь. Но его знакомство с шумным городом, основанным греками-колонистами еще до нашей эры, ограничивалось лишь портовыми кварталами, где есть все для истосковавшегося по суше моряка. Центр же Побережника знал плохо. Поэтому за оставшиеся до встречи часы следовало хоть немного восполнить этот пробел, чтобы в последний момент не запутаться в уличном лабиринте и в то же время заранее не мозолить глаза поблизости от назначенного для контакта места.

Он остановился в небольшой старой гостинице с громким названием «Везувий» на набережной Караччоло, заплатив вперед за двое суток, хотя почевать там не собирался. После утомительной дороги позволил себе три часа отдохнуть, а потом, разложив на коленях план Неаполя, отправился колесить по городу.

Найти нужный переулок оказалось нетрудно. Он медленно проехал по нему, прикидывая, где удобнее поставить машину поближе к траггории. Затем серый «фьат» побывал у оперного театра Сан-Карло, пригормонил возле собора Санто Джованно, постоял у королевского дворца, пока водитель любовался скульптурой юности, укрощающего двух вздыбленных коней. Если бы кто-нибудь следил за приезжим англичанином, то не нашел бы в этом ничего особенного: кто из туристов не захочет познакомиться с этими шедеврами? Но, как убедился Побережник, поглядывая в зеркало заднего обзора, «хвоста» за ним не было.

В восемь минут в минуту он вошел в траггорию,

Окинув рассеянным взглядом полупустой низенький залячик, присел за ближайший к двери столик, небрежно бросив слева от себя свежий номер «Газетта дель медзоджорпо» с вложенными в него тоненькими листочками донесения. Официант тут же поставил чашечку густого черного кофе по-неаполитански с трамезцино — крошечным треугольным бутербродом и, неумовимым движением смахнув с мраморной столешницы монетки, исчез.

Поскольку курьер должен был сам опознать разведчика по описанию, Побережник, полуприкрыв веки, начал смаковать ароматный кофе. Не успел он сделать несколько глотков, как напротив опустился мужчина средних лет с усталым лицом конторского служащего. Подождав, пока отойдет официант, принесший большую рюмку «чинцзано», незнакомец молча выложил на стол такую же газету. По случайному совпадению оба номера оказались лежащими вверх ногами, так что читать их при всем желании было невозможно. Допив кофе, Побережник встал и направился к выходу, «по ошибке» прихватив газету незнакомца.

— Даже если во время контакта все прошло по плану, нужно, не задерживаясь, покинуть место встречи, — рассказывает Семен Яковлевич. — Но когда, сев за руль, я повернул ключ зажигания и нажал на стартер, мотор не завелся. Повторил раз, другой, третий. Безрезультатно. Видно, дала себя знать проделанная утром дальняя дорога. По правилам следовало бы оставить машину, добраться на такси до гостиницы и оттуда позвонить в автомастерскую. Но, честно говоря, побоялся бросить «фиат»: вдруг украдут. Придется покупать новую машину, ведь в Таранто без нее я как без рук. — Позднее я узнал, зачем Побережнику так нужен был собственный автомобиль. — Хотя при выполнении задания разведчика в расходах не ограничивают, конечно в разумных пределах, бросаться деньгами совесть не позволяет. Сам испытал, как тяжело их зарабатывать.

Сию, размышляю, что предпринять. Позади, метрах в тридцати, на противоположной стороне переулка злополучная траттория, и я нет-нет да и посмотрю на нее в зеркальце. Просто по привычке. И вдруг вижу такое, что у меня мурашки побежали. Выходит связник и только было направился в мою сторону, как тут же вперед двинулся мужчина, подошедший погла-

веть, как я с мотором воюю. Могло быть случайным совпадением, если бы он перед этим не переглянулся с каким-то типом. Тот выскочил из подъезда и спрятался за моим «фиатом», чтобы курьер его не заметил. Только связник меня миновал, этот тип следом за ним потопал, хотя и постарался сделать вид, будто просто гуляет. Переулок узкий, прохожих мало, так что все ясно: наружка. Ведут профессионально, «коробочкой».

Уж не знаю, как получилось, наверное от злости, но я так даванул на стартер, что чуть пол не проломил. И надо же, мотор вдруг заработал. Первая мысль — нужно срочно исчезать. Затем прикинул: если связник «под колпаком» и наш контакт зафиксирован, то и я засвечен. Значит, ничего не изменится, если попробую выручить его. Рисковать так рисковать.

Потихоньку догоняю бедолагу. Перегнулся, открыл дверцу и рывкнул по-итальянски: «Садись!» А сам думаю: «Вдруг он этого языка не знает?» Ведь курьер-маршрутник вовсе не обязан быть полиглотом.

Но все обошлось. Связник оказался на высоте, мгновенно среагировал: нырнул в машину и замер, скорчившись, рядом на сиденье. У меня внутри оборвалось: неужели сердце прихватило? Всякое может с человеком случиться. От инфаркта никто не застрахован, а на такой работе подавно. Потом сообразил, что это точный расчет. Шел человек. Мимо проехала машина. В ней как был, так и остался один водитель. А прохожий исчез неизвестно куда. Ведь все произошло настолько быстро, что со стороны едва ли кто мог заметить «похищение».

Я дал газ, выехал на Аполло, движение там большое, затеряться легко. На всякий случай свернул в боковую улицу и стал петлять по переулкам. Как на качелях, вверх — вниз, вверх — вниз. Наконец на какой-то площади остановился. Хлопнул по плечу моего спутника: «Садись, — говорю. — Опасность миновала. Тебе куда?»

Он поднялся, осмотрелся и, как ни в чем не бывало, вежливо отвечает: «Если вас не затруднит, подбросьте к вокзалу». Выговор у него был похож на неаполитанский — звонкий, немного тягучий, но с акцентом, чувствуется, что язык все же не родной.

Изрядно поплутав, добрался до привокзальной площади. Спасибо, связник кое-где дорогу подсказывал, видно, город неплохо знал. Друг друга мы ни о чем не

расспрашивали. Я только предупредил, что за ним «хвост» увязался. Пусть, мол, проанализирует, где его мог подцепить. Несмотря на поздний час, народу на площади было много, особенно у стоянок пригородных автобусов: приезжающие, уезжающие, встречающие, провожающие. В такой сутолоке искать человека все равно что иголку в стоге сена. Я притормозил около памятника Джузеппе Гарибальди, пожали мы руки и расстались. Он в сторону пиццерий запагал, по краям площади многие еще были открыты, а я взял курс прямо к выезду на автостраду, чтобы побыстрее из Неаполя улетучиться.

— Но ведь после того, как вы увезли «объект» из-под носа «топтунов», они наверняка подпяли на ноги всю полицию. Может быть, все же лучше было бросить «фнат», чем рисковать, что вас задержат по номеру, если наружники его запомнили?

Семен Яковлевич сдержанно улыбается:

— Положим, риск был не так уж велик. Это сейчас ГАИ и милиция могут в считанные минуты перекрыть город. Да и то, чтобы найти в нем машину по номеру, потребуется не один час, а то и день. Тогда же на это могли уйти недели. И потом, в нашей профессии есть свои маленькие хитрости. Например, если вы предполагаете, что в ходе какого-то мероприятия возможны осложнения, для подстраховки невредно иметь в запасе второй комплект документов, а номер машины временно подправить соответствующим образом проще простого. В общем, — подытоживает он неапольскую историю, — к себе в Таранто я добрался без приключений, и никто потом меня там не тревожил. Работал спокойно.

При следующей встрече я спросил Семена Яковлевича, как ему удавалось активно добывать разведывательную информацию, если он не имел права ни перед кем расконспирироваться, а значит, и привлекать к работе помощников. Ведь, как гласит пословица, под лежащий камень вода не течет.

— Не согласен. Разведчик — вовсе не лежащий камень. Хотя нервы ему нужны действительно «каменные» или, как принято говорить, «железные». Впрочем, почему «железные»? Иной камень, гранит или алмаз, например, куда тверже железа, особенно если оно ковких сортов. — В глазах Семена Яковлевича мелькает лукавая искорка. — Ну а информацию, за ко-

торой охотится разведчик, пожалуй, действительно можно сравнить с водой. Враг ее прячет-прячет, запирает-запирает, а она возьмет да и просочится. То тут, то там. Умей только найти такие ручейки, и они сами принесут все, что требуется. — И, уже посерьезнев, заканчивает свою мысль: — По сути дела, работа разведчика на восемьдесят процентов заключается в умении слушать, смотреть и запоминать, не обнаруживая при этом интереса к тому, что его интересует.

Вот о последнем часто забывают, когда пишут о разведчиках, — с откровенной досадой говорит Семен Яковлевич. — Между тем, это очень важно. И не только потому, что повышенное внимание к чему-то может вызвать подозрение у окружающих, а там, смотришь, и контрразведка насторожится. Тут есть и другая опасность. Сам того не предполагая, активным интересом разведчик рискует спровоцировать свои контакты на невинную дезинформацию. Допустим, человек искренне хочет удовлетворить твое любопытство, а сказать ему ничего. Он начинает придумывать небылицы. Может даже сам поверить в них. Конечно, нужно стараться перепроверять поступающую информацию. Но в последнем случае представляете, сколько времени и сил будет потрачено впустую...

Из скромности Семен Яковлевич несколько упрощал работу закордонного разведчика-нелегала. Нет, не текли в Таранто ручейки, приносящие Побережнику те ценные сведения, которые он посылал в Центр в своих шифрованных донесениях, выглядевших как совершенно невинная деловая корреспонденция. По каплям собирал он разведывательную информацию, отсеивал, сопоставлял, анализировал факты, чтобы затем уточнить, дополнить их.

...Ресторан «Ополло» полюбился разведчику вовсе не из-за отличного винного погреба: с его террасы хорошо просматривались и доки, и военный порт, и внешний рейд. На яркой бирюзе моря отчетливо были видны серые громады линкоров и крейсеров, прикляснутые силуэты юрких миноносцев, едва выступавшие из воды черные капли подводных лодок. Впрочем, нашивки, ленты, значки итальянских военных моряков, которые, получив увольнение, шумными толпами слонялись по Таранто, также немало говорили Побережнику, в прошлом не один год бороздившему моря и океаны под многими флагами мира.

Итог наблюдений — несколько коротких строчек в очередном зашифрованном донесении в Центр: «В Таранто базируется 2-я эскадра из двух дивизионов в составе 63 единиц. Из них — 3 линкора, 17 крейсеров, 34 миноносца. Здесь же дислоцируется 3-я флотилия подводных лодок — 25 единиц».

Как-то в самом начале пребывания мистера Муней в этом портовом городе Гвидо Чезарано попросил рассчитать, какую предельную нагрузку способны выдерживать электромоторы на его фабрике оливкового масла.

— Вы полагаете, что спрос на него резко увеличится в ближайшие месяцы? — искренне удивился Муней.

— О нет, синьор Альфредо, — Гвидо предпочитал называть его на итальянский манер. — На днях я заключил выгодный контракт с нашим интендантством. Беда только в том, что они не хотят брать масло регулярно, ну хоть раз в неделю, а будут извещать за два-три дня. Поэтому придется выжимать из оборудования все что можно.

— Лучше все-таки из оливок.

Но Чезарано не принял шутку:

— За прессы я спокоен, а вот моторы... Боюсь, как бы их не сожгли. Вы же знаете, что специально держать электромонтера мне не по карману, — извиняющимся тоном добавил итальянец.

Мистер Муней выполнил просьбу фабриканта оливкового масла, конечно, за соответствующее вознаграждение. Больше того, он не только рассчитал максимально допустимую нагрузку, но и великодушно согласился заезжать и приглядывать за злополучными моторами в периоды «оливковой горячки», разумеется, за отдельную плату.

Хотя с чисто финансовой стороны сделка, в общем-то, мало что давала достаточно обеспеченному англичанину, он был доволен. «Справочное бюро» синьора Гвидо Чезарано оказалось выше всяких похвал: разведчик всегда был заранее информирован о намечавшихся выходах эскадры в море и сроках ее возвращения.

Ночью в своем слишком большом и от этого уютном номере на втором этаже «Виа Венера» Побережник иногда часами анализировал увиденное и услышанное за день, стараясь понять истинное значение фактов, дать им правильное толкование: «Завод Мил-

лефьорини получил от арсенала заказ на катки для орудийных башен. Видимо, будут перевооружать линкоры или крейсера, скорее всего на больший калибр. Нужно постараться срочно выяснить спецификации».

Так в «записной книжке» мистера Мунея, а у разведчиков ее заменяет память, появляется еще одна «пометка», требующая уточнения. Проходит неделя, вторая, и Побережник доносит в Центр, что на линкорах класса «Литторио» предполагается установить пятнадцатидюймовые орудия. О ходе работ будет сообщено дополнительно.

«Крейсер «Монте Блемо» вышел из дока на внешний рейд. Значит, не сегодня завтра пойдет на мерную милю. Да, в «Бельведере» офицеры с «Монте Блемо» что-то говорили о главных машинах. Обязательно проверить, не увеличилась ли у него скорость хода после ремонта». В последующие дни разведчик обязательно проводит час-другой на своем наблюдательном пункте — террасе «Ополло». Заметить, что «Монте Блемо» готовится к выходу в море, для наметанного глаза не составляет труда. И синьор Альфредо заранее отправляется на загородную прогулку, чтобы отрешиться от деловых забот. Никому из знакомых и в голову не может прийти, что эти маленькие события как-то связаны между собой. Между тем англичанину давно известно, где находится мерная миля, а швейцарские часы фирмы «Лонжин», не уступающие по точности морскому хронометру, позволяют ему судить о результатах ходовых испытаний не хуже самого командира крейсера.

— Семен Яковлевич, но ведь такое постоянное напряжение выше человеческих сил: все время взвешивать, кто что сказал, замочать и помнить каждую мелочь, и думать, думать, думать...

— Нет, — лицо моего собеседника становится каким-то отрешенно-суровым, — это еще не самое тяжелое. Хуже, когда лежишь ночью в номере и перед глазами встает то, чему пришлось быть случайным свидетелем. Всякий сон пропадает. И такая порой ярость охватывает, что кулаки сами собой сжимаются. Представьте...

Маленькая пыльная деревня. Жара, улицы словно вымерли. Резкий поворот, и... возле дома дюжий кара-

бинер избивает худенького подростка, почти мальчонку. А когда тот падает, карабинер рывком ставит его на ноги, чтобы тут же вновь сбить наземь. И все это делается спокойно, размеренно, с каким-то тупым упованием беззащитностью жертвы.

Или другой случай.

Поздний вечер. Фары выхватывают из темноты группу людей. Пожилой мужчина, судя по одежде — рабочий, одной рукой прижимает к груди какой-то сверток, а другой отбивается от молодчиков в черных гимнастерках. У него белое, как мука, лицо. Чернорубашечники хватают мужчину за руки и за ноги и поднимают высоко над мостовой. Белыми голубыми разлетаются какие-то листочки из свертка. В следующее мгновение его тело с глухим стуком ударяется о камни.

Даже сейчас, по прошествии стольких лет, в голосе Побережника, когда он рассказывает об этих эпизодах, чувствуется скрытое волнение. И я догадываюсь, как же трудно было ему тогда сдерживать свои чувства, находясь среди тех, против кого еще совсем недавно он воевал на опаленной солнцем и снарядами испанской земле. Приходилось вежливо улыбаться и пожимать руки, а хотелось почувствовать под пальцем гашетку пулемета. Впрочем, в Италии он тоже воевал, причем для него этот новый бой ни днем, ни ночью не затихал ни на минуту. Пока ему везло. Но на войне без потерь не бывает. В любой момент могло случиться так, что вражеская пуля найдет и его, пусть даже не раздастся выстрел. Побережник знал законы своей профессии и не питал никаких иллюзий на сей счет. В таком случае пройдет какое-то время, и в Центре его фамилию включают в список безвозвратных потерь, а личное дело из сейфа куратора в отделе передадут в архив с пометкой: «Хранить вечно». Но он старался не думать о возможном провале, чтобы не мешать работе. Примерно так же, как летчик-испытатель, собираясь в очередной полет, прекрасно отдает себе отчет, чем он рискует. Оба — и разведчик, и летчик-испытатель — знают, что этот риск необходим во имя победы, и сознательно идут на него.

Поступивший из Центра приказ свернуть дела в Таранто и выехать в другую страну был совершенно

неожиданным. Чем он вызван, Побережник не знал. Как не знал о многом, известном Центру. Например, о том, что 3 апреля 1939 года начальник штаба верховного главнокомандования вермахта Кейтель подписал директиву на проведение операции «Вейс» — захват Польши, а в мае состоялось секретное совещание фюрера с генералитетом. После него Гитлер писал Муссолини, имея в виду свою главную цель — нападение на СССР: «Разгромив Польшу, Германия... освободит все свои силы на Востоке, и я не побоюсь кардинально решить вопрос там». О том, что подразумевалось под «кардинальным решением», поведал министру иностранных дел Италии Чиано его нацистский коллега Риббентроп, принимавший графа в своем замке «Фушль» под Зальцбургом: «Пока мы ждали ужина, — запишет Чиано в своем дневнике, — Риббентроп сообщил мне, что они решили бросить горящий фитиль в пороховую бочку. Все это он сказал так, будто мы говорили о самом обычном административном вопросе или режиме питания. Позже, когда мы прогуливались по саду, он еще раз повторил: «Мы хотим войны».

Разведчиками не рождаются

Что это так, мне было ясно без объяснений. Но вот как ими становятся? Я не раз задавал себе этот вопрос и не находил ответа. В книгах и мемуарах его обычно деликатно обходят. В лучшем случае коротко сообщается, что Н. пригласили в «соответствующее учреждение», предложили работать в разведке, и после подготовки он приступил к выполнению специальных заданий. Но можно ли за считанные месяцы обучения накрепко, до автоматизма привить человеку специфические павыки, необходимые разведчику? И потом, учеба — это одно, а работа, как теперь принято говорить, в экстремальных условиях — совсем другое. Ведь что греха таить, даже у космонавтов, хотя они проходят строжайший отбор и длительную подготовку на научно разработанной основе, на орбите, случалось, кое-кто чувствовал себя, скажем так: не совсем адекватно.

Однажды я спросил обо всем этом Побережника.

— Ваш вопрос, как становятся разведчиками, не совсем точен. Что значит «становятся»? Как отбирают — это одно; как готовят — другое; наконец, как человек реализует себя на этом поприще — третье.

— Начнем хотя бы с первого, — предложил я. — Судя по литературе, при вербовке агента обычно стараются найти у человека какие-то слабые стороны, например, деньги, женщины, ущемленное самолюбие или, наоборот, непомерное тщеславие, а затем играют на них. Но агент и разведчик-профессионал — люди диаметрально противоположные. Значит, и принципы отбора должны быть такими же?

— Насчет вербовки агентуры я не специалист, никогда этим не занимался. Если и приходилось контактировать с некоторыми людьми, то отношения строились исключительно на доверии, — уходит от ответа Побережник.

— Ну хорошо, а как вы сами попали в разведку? — решаю я зайти с другой стороны.

— Это длинная история. Все началось с того, что в двадцать седьмом году я тайком уехал из моего села Клишковцы в Канаду, чтобы не идти в румынскую армию...

Много испытаний выпало на долю молодого буковинца на чужбине: работал у Форда, не один год плавал матросом. После того, как в 1932 году в Бельгии его приняли в коммунистическую партию, несколько лет жил на нелегальном положении. А когда вспыхнула гражданская война в Испании, добровольцем отправился туда защищать республику.

В воспоминаниях дважды Героя Советского Союза генерала армии Павла Ивановича Батова есть такой эпизод:

«Знойным летом 1936 года, когда от нестерпимой жары, казалось, плавилась камнями мостовая на испанской земле и желтели листья чистеньких оливковых рощ, в штаб Двенадцатой интернациональной бригады, недавно созданной в Альбасете, вошел молодой боец в лихо сдвинутом набок синем берете. Он робко спросил дежурного, где можно видеть командира Пабло Фрица, то есть меня. Ему показали.

— Чефери Чебан по приказу командира второй автороты явился в ваше распоряжение, — громко отпортовал боец.

Передо мной стоял стройный, довольно красивый молодой человек с волевым подбородком и умными серыми глазами. Так впервые я встретился со своим будущим шофером Семеном Чебаном, с которым потом

не разлучался до самого своего возвращения на родину...

Смелый и находчивый в бою, он обладал и другими важными качествами — кристальной честностью, искренностью и бескорыстием в отношениях с товарищами. Он всегда был готов прийти им на помощь, помня гуманнейшее солдатское правило: «Сам погибай, но товарища выручай», протягивал руку в трудные минуты. И делал это он никогда не раздумывая... Каждый, кто сталкивался на фронте со спокойным, хладнокровным и рассудительным Семеном Чебаном, неизменно чувствовал в нем друга, на которого можно положиться, как на каменную гору».

То, что Семен Чебан был у Пабло Фрица — настоящих имен друг друга они тогда не знали, — как говорится, един в трех лицах: и шофер, и переводчик, и адъютант, свидетельствует о многом. Случайных людей к советским советникам в Испании не назначали.

Тысячи километров наездил «чоферо» Чебан с Фрицем по огненным дорогам войны. Вместе прятались в воронках при артналетах и бомбежках. Холодными ночами укрывались вместо одеяла черно-красной мантией захваченного в плен командира итальянской дивизии «Черное пламя». А когда 11 июня 1937 года во время рекогносцировки под Уэской шальным снарядом был убит командир Двенадцатой интербригады генерал Лукач, венгерский писатель-коммунист Мате Залка, и тяжело ранен советский советник, Чебан спас его, ночью по бездорожью доставив в госпиталь. Позднее, когда Фриц стал поправляться, пришел приказ о его отзыве в Советский Союз. И «чоферо» Семен Чебан проводил своего командира до границы, помог переправить во Францию.

Вернуться на фронт ему не пришлось. Он был откомандирован в резерв штаба, находившийся в Валенсии. Там, на тихой зеленой улице Альбора в доме номер шесть, разместилась маленькая советская колония, руководитель которой, пожилой, болезненного вида человек, отдал Чебану весьма необычное в боевой обстановке распоряжение: отдыхать, набираться сил. Возражение Семена, что он чувствует себя прекрасно и готов завтра же отправиться в свою Двенадцатую интербригаду, не подействовало.

За годы эмиграции Побережник научился многому, но вот отдыхать не умел. Походил по магазинам, по-

глазел на витрины, а что дальше? Чтобы убить время, раздобыл несколько книжек на английском, немецком, французском. Только и они мало помогли: мысли все время возвращались к товарищам, оставшимся под Уэской, где шли жестокие бои. Впрочем, скучать Чебану долго не пришлось.

Как-то под вечер в его маленькую комнатку на одной из брошенных пригородных вилл заглянул широкоплечий русский майор с густой темной шевелюрой и широкими, словно усы, бровями. Чебан раньше видел майора, когда тот приезжал в штаб интербригады и уединялся с Залкой, Фрицем и начальником разведки Козовским, слышал, что его зовут Ксанти¹, но кто он и чем занимается, не знал.

Неожиданный гость начал с неожиданного вопроса, озадачившего хозяина:

— Как ты смотришь, Семен, на то, чтобы поехать на родину?

Неужели его хотят отправить домой? Сердце у Чебана упало. И вовсе не из опасения попасть в застенки сигуранцы, печально известной румынской контрразведки. Просто стало обидно: выходит, тут он больше не нужен. Да и перспектива вновь подвергаться унижениям и преследованиям только потому, что ты — украинец, не радовала.

— Отрицательно, — отозвался он. — А насильно отправить меня туда вы не имеете права. Я приехал в Испанию добровольцем.

Теперь настала очередь Ксанти удивиться такому категорическому отказу:

— Не хочешь поехать на родину, в Советский Союз? — недоверчиво переспросил он.

— Как — в Советский Союз? — Чебан не верил своим ушам. От радости он чуть было не бросился обнимать майора. Но тут же сник: — Конечно, очень хочу, только ведь я из-под Хотина, а это в королевской Румынии. Туда так просто не вернешься.

— Ничего, Семен, не огорчайся. Придет время, и вся ваша земля вернется к своей исконной родине. Но впереди предстоит борьба. Жестокая, не на жизнь, а на смерть. Здесь, в Испании, ты сам видел с кем — с

¹ Козовский — псевдоним болгарского интернационалиста Петрова. Ксанти — Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи-Умар Мамсуров.

фанизмом. Нам нужны смелые люди для выполнения специальных заданий.

Теперь Чебану стало ясно, о чем идет речь: стать разведчиком. В его представлении для этой работы нужны были особые люди. А он окончил всего четыре класса. Недоучка. Какая от него будет польза? Чебан так и сказал майору.

— Ты, Семен, себя недооцениваешь. В Америке и в Бельгии в тюрьмах сидел? Считаю, что это уже неполное среднее, — шуточно начал перечислять Ксанти. — Морское дело знаешь. Пока плавал, сколько стран повидал, четыре языка успел выучить. Это даже больше, чем школу закончить. Но главное — ты настоящий коммунист. — Майор пересел на кровать рядом с Чебаном, положил руку ему на плечо. — Делом, а не на собраниях доказал, что не бегаешь от опасности, да и опыта подпольной работы тебе не занимать.

Чебан хотел было возразить, что три года подполья еще не срок, что ничего особенного за это время он сделать не успел, но Ксанти, сильно сжав ему плечо, остановил:

— Ничего не рассказывай. Я все о тебе знаю: как отправился за океан, батрачил в Канаде, плавал на «кушцах», скрывался от бельгийской и французской полиции. Конечно, работа, которую я тебе предлагаю, опасная и ответственная. Не возьмешься — претензий к тебе не будет. Только этот разговор должен остаться между нами. Даю тебе сутки на размышление.

Чебан порывисто вскочил, вытянулся по стойке «смирно» и хриплым от волнения голосом произнес:

— Я готов. Дважды спасибо, дорогой товарищ Ксанти, за доверие! Нехай как Лукач загину, по оправдаю.

Через несколько дней вместе с грузинской советской товарищницей бывший «шофер» Хабло Фрида покинул Валенсию. Но теперь это был не беспаспортный эмигрант Семен Чебан, а гражданин СССР Марченко Петр Иванович. Поездом они добрались до Парижа, а оттуда на пароходе отплыли в Ленинград. Кстати, на этом же судне везли самолет АНТ-25, на котором экипаж Чкалова недавно совершил сенсационный перелет через Северный полюс в Америку. Побережнику это совпадение показалось счастливой приметой: машина, облетевшая чуть ли не «полшарика», тоже возвращалась домой.

— Пока я плавал матросом, много портов повидал, со счета сбился, сколько раз сходил на берег. А тут, когда наш пароход пришвартовался к причалу в Ленинграде, не поверите, волновался так, что словами передать нельзя, — чуть дрогнувшим голосом говорит Семен Яковлевич. — Конечно, очень хотелось посмотреть этот город, «Петра творенье». Я еще со школы «Медного всадника» помню, — чуть смущенно поясняет он. — Но ведь я не туристом приехал. Так что на поезд — и в Москву. Там со мной обо всем обстоятельно побеседовали, сочли, что подхожу, и отправили к морякам в Севастополь. Ну, а затем началась подготовка...

— Семен Яковлевич, а как готовят разведчиков? — Мой вопрос, возможно, не совсем «по правилам», но уж очень хочется понять, что именно дала специальная подготовка Побережнику, не один год успешно работавшему за границей под видом англичанина Альфреда Муenea. Причем никто ни разу не заподозрил, что он не тот, за кого себя выдает.

— Да обычно, — лукаво усмехается мой собеседник. — Занятия напряженные с утра до вечера, инструктора требовательные. Через полгода на выпускных испытаниях получил хорошие оценки...

Такая лаконичность меня не устраивает. Пробую подойти с другой стороны:

— И все-таки чему конкретно, необходимому в работе разведчика вас учили?

— Конкретно? Радиodelу, шифрам, методам визуального наблюдения, правилам конспирации.

— И все?

— А что ж еще?

— Например, умению вести разговор, правилам хорошего тона... Потом есть ведь и другие вещи, хотя бы социальная психология, тоже, думается, небесполезные для разведчика. Наконец, оперативная обстановка в стране пребывания...

— Не спорю, все это нужно и важно. Только тогда было не до психологии. Вы просто не представляете ту обстановку. Сейчас пишут, что Сталин стремился к сговору с Гитлером. Не хочу вдаваться в большую политику, но одно знаю твердо: среди военных никто не сомневался, что с фашистами нам придется воевать. Когда это произойдет, никому, конечно, точно известно не было. Поэтому торопились изо всех сил. Я на-

пример, на курсах зубрил классы итальянских и германских кораблей, запоминал их силуэты. Позднее это здорово пригодилось.

Что касается правил хорошего тона, то считалось, раз по легенде я богатый человек, остальное не имеет значения. Хотя быть богачом тоже нужно уметь. Первое время, пока не привык, честно говоря, чувствовал себя не в своей тарелке. Из-за этого в самом начале произошел со мной такой казус.

Прежде чем выпустить летчика в самостоятельный полет, его несколько раз вывозит инструктор. У нас этого, к сожалению, не было. В первый, так сказать, «полет» после экзаменов меня сразу отправили одного. Что-то вроде практики. Задание дали непростое: объехать чуть ли не вокруг всей Европы и провести разведку портов в Англии, Голландии, Греции, Турции.

Из Москвы в Ленинград я выехал уже в качестве американского туриста. Остановился в гостинице «Европейская» и вместе с интуристовской группой отправился осматривать город. Вечером, перед тем как ехать на вокзал, хватился: нет бумажника! А у меня в нем квитанция от камеры хранения и часть денег, долларов триста. Что делать? Переводчица вызвала милицию, составили протокол. Сыщики стали допытываться, не помню ли я, кто и где возле меня крутился. В конце концов, выдали мне чемодан без всякой квитанции, посадили на поезд в Хельсинки.

Все вроде бы обошлось, а я никак не могу успокоиться. Шутка ли сказать, триста долларов! Для меня это были огромные деньги, раньше я никогда такой суммы в руках не держал. Что теперь обо мне в разведупре подумают, куда я их девал? В общем, до того изнервничался, что на пропускном пункте перед финской границей попросил позвать начальника и говорю ему по-английски: я, мол, американец такой-то, прошу сообщить в Москву в НКВД, что у меня украли триста долларов. Не знаю, что уж он обо мне подумал, но только отвечает: «Езжайте спокойно, мистер. Все будет сделано».

Только на этом неприятности не кончились. Из Хельсинки я вылетел самолетом в Стокгольм, а оттуда пароходом отправился в Англию. И надо же случиться такому совпадению: этим же судном плыла группа испанцев-республиканцев. Пришлось все время лежать в каюте, изображая морскую болезнь, хотя сроду ею

не страдал. Рисковать было нельзя: вдруг кто-нибудь из них узнает меня?

В остальном мое путешествие прошло нормально. Правда, в конце я проявил необдуманную инициативу, за которую потом здорово попало. Дело в том, что, помимо визуальной разведки непосредственно гаваней и портовых сооружений, мне было поручено постараться установить наиболее важные объекты в соответствующих портовых городах. Так вот я решил, что это можно сделать по обычной телефонной книге, и в Пирее стащил ее из телефонной будки.

Последнее испытание пришлось выдержать в Стамбуле. Прихожу в советское консульство за визой, а мне отказывают. По-русски объясняют, что прежде я должен назвать свою настоящую фамилию, чтобы они могли сверить с присланным им списком.

Теперь поставьте себя на мое место: советских порядков я толком не знаю, никаких паролей мне не давали. Может быть, действительно так нужно, только забыли меня предупредить. Все это я лихорадочно прокручиваю в голове, а сам говорю, что не понимаю по-русски.

— Тогда приходи, когда научишься понимать, — сердито обрезал по-русски вице-консул и отдает мой паспорт.

Делать нечего, пожал плечами и ушел. Наведался второй раз, третий. Безрезультатно. Посетителей принимает все тот же вице-консул. Меня он даже слушать не хочет: «Ноу виза» — вот и весь разговор. Больше недели так ходил. Наконец, меня принял сам консул, извинился за недоразумение. Поставил в паспорт визу. Потом уже узнал, что это была проверка на выдержку.

По возвращении написал подробный отчет, приложил к нему вычерченные по памяти планы портов. За успешное выполнение задания меня наградили ценным подарком и путевкой в санаторий. После отпуска выехал уже на постоянную работу...

Между прочим, Семен Яковлевич рассказал мне об интересной детали. Оказывается, в те годы у разведчиков была неписаная традиция: перед выездом в заграничную командировку приходиться на Красную площадь к мавзолею Ленина. Как у теперешних космонавтов перед полетом. И я подумал, что это не случайно:

и те, и другие отправляются в неведомое. Значит, такое прощание с родиной дает человеку дополнительные силы.

Гостеприимная столица

— Вы не поверите, но наша София одновременно самая молодая и самая древняя столица в Европе...

Если Стоян Маринов хотел удивить англичанина, то желаемого эффекта он добился. Мистер Муней действительно не мог поверить в столь пеленое утверждение, поскольку оно противоречило здравому смыслу. Или — или, и никак иначе, о чем он сухо сказал веселому разбитному студенту, хитро поблескивавшему черными глазами.

— А между тем это так. За две с половиной тысячи лет до нашей эры фракийцы основали здесь, у тепло-го минерального источника, свое поселение, которое затем стало городом Сердиком, одним из самых благоустроенных и красивых на Балканах, — тоном заправского лектора продолжал Стоян. — Константин Великий даже собирался перенести сюда из Рима столицу империи. Если бы не нашествие гуннов, кто знает, может быть, сегодня туристы со всего мира ехали бы в Софию, а не в «вечный город». Кстати, имя у нее все не славянское, а византийское, и дала его вот эта церковь Святой Софии, построенная в шестом веке при императоре Юстиниане. — Он показал на невысокую базилику у начала бульвара.

Будь Муней один, он не обратил бы внимания на скромное здание со стрельчатыми окнами и маленьким крестом на покато́й крыше. Другое дело величественный красавец храм Александра Невского, с которого он не сводил глаз, как только они вышли на площадь.

— ...Когда в 809 году болгарский царь Крум завоевал город, то переименовал Сердик в Средец, потому что он находился посередине между западом и востоком. Потом пришли крестоносцы и назвали его Стралицей. Только в XIV веке, во времена второго Болгарского царства, город стал Софией. Это имя сохранилось и при турках, полтыщи лет оккупировавших Болгарию, пока русские в 1877 году не освободили братьев-славян. Вот тогда-то Учредительное народное собрание провозгласило Софию столицей. Так что, как видите, я прав: она и самая молодая, и самая древняя. — Стоян

торжествующе посмотрел на англичанина. — А теперь...

— Дас ист генуг фюр хойте¹, — взмолился тот и, перейдя на ломаный болгарский, объяснил: — Все сраву запомнить невозможно.

Интерес Побережника к архитектурным памятникам болгарской столицы объяснялся просто: он приехал сюда как турист. Страсть англичан к путешествиям общеизвестна. Поэтому в болгарском консульстве в Брюсселе не нашли ничего странного в том, что некий Альфред Джозеф Муней воспыдал желанием познакомиться с их страной, в которой, как он слышал, много интересного.

Эта смена прикрытия была не случайной. Преемное амплуа богатого иностранца, ищущего куда бы выгодно вложить деньги, теперь не годилось. Обычно дельцы в таком сравнительно небольшом городе, как София, хорошо знают друг друга и в случае появления потенциального конкурента начинают дотошно выяснять, что это еще за птица прилетела из-за границы? Естественно, подобное пристальное внимание разведчику совершенно ни к чему. С другой стороны, поскольку задание было прочно осесть в Болгарии не на месяц-другой, а на длительный срок, волей-неволей пришлось бы всерьез заняться бизнесом. А для этого нужны не только специальные знания, но и определенные способности. Можно ли требовать их от бывшего матроса, партийного функционера и бойца-республиканца? В свое время Побережник убедился, что к коммерции в любом виде сердце у него не лежит. Чтобы проуспеть, человек должен быть не просто изворотливым, но и жестоким, даже безжалостным. Он не смог бы заставить себя хладнокровно разорять других ради собственного обогащения.

Конечно, туристская легенда обеспечивала «крышу» лишь на первые несколько месяцев. За это время предстояло акклиматизироваться в новой обстановке и надежно легализоваться. Как? Этого, садясь в спальный вагон знаменитого «Восточного экспресса», Побережник еще не знал.

В Берлине в его купе появился попутчик — словоохотливый толстяк, представившийся Марином Желю Мариновым, софийским представителем немецкой фир-

¹ На сегодня достаточно (нем.).

мы «Адлер» по продаже и ремонту пишущих машинок. Узнав, что англичанин владеет еще и немецким, он тут же обратился к мистеру Мунею с небольшой просьбой — бывать у него в доме и говорить по-немецки с его «мальчиком». «Стоян изучает язык в университете, надеюсь, со временем тоже будет работать в «Адлере», но ему не хватает практики», — сетовал болгарин.

— Я охотно согласился помочь папаше Маринову и его сыну. Чем больше удастся завязать знакомств в Софии, тем легче будет добывать информацию, — объяснил Семен Яковлевич. — Маринов взял слово, что сразу же по приезде я навещу его, добавив, что, если захочу, сын может быть моим гидом. Мне это было на руку. Плавая на судах, а затем в Бельгии и Испании я общался с болгарами. Поскольку русский, украинский и болгарский очень похожи, выучился их языку. А вот англичанин Муней, живший в Америке, знать его не мог. Но в Болгарии ему предстояло пробыть не один год. Значит, нужно было пайти сносно якобы быстро научиться объясняться по-болгарски. Нанимать преподавателя нельзя — англичане-туристы хоть и чудакн, но не до такой же степени. И потом, специалист мог по произношению обнаружить, что его ученик вовсе не англосакс, а славянин. А так все решалось само собой: студент между делом будет обучать мистера Муней своему языку. Даже если тот быстро овладеет им, не беда, значит, обладает хорошими лингвистическими способностями, — смеется Побережник.

Стоян Маринов отнесся к роли гида со всей серьезностью. Целыми днями, благо каникулы еще не кончились, он водил англичанина по Софии, показывая ее достопримечательности. Как и подобает занятому путешественнику, мистер Муней готов был осматривать все подряд: развалины римской крепости, мечети Баня-бани и Булюк-Джами, прекрасные фрески в Боянской церкви, археологический музей и картинную галерею, огромный городской парк и цыганский квартал между вокзалом и Львиным мостом. Довольный тем, что англичанин интересуется не только именами архитекторов и датами постройки, но и мелочами повседневного быта, Стоян тараторил без умолку, мешая немецкую речь с болгарской и давая мистеру Мунею, схватывавшему язык буквально на лету, возможность попрактиковаться.

После многочасовых хождений оба валились с ног

от усталости, но иного способа знакомства с Софией мистер Муней не признавал. Стоян, считавший это блажью англичанина — вполне мог бы нанять автомобиль, — не подозревал, что на самом деле изматывающие экскурсии были нужны его спутнику совсем для другой цели: он стремился досконально изучить город, в котором предстояло работать, а значит — это тоже не исключено, — и уходить от слезки.

— Кстати, в первый же день по приезде в Софию произошел настороживший меня случай, — говорит Семен Яковлевич. — Я остановился в гостинице «Славянская беседа». Вещи распаковывать не стал, а решил пройтись по городу. Уж очень хотелось взглянуть, куда забросили меня судьба и приказ Центра. Когда вернулся в номер, сразу определил: в чемоданах кто-то аккуратно, но основательно покопался. Все перетрихнули, не поленились даже подкладку у костюмов кое-где подпороть, а потом зашить. На следующий день во время прогулки проверился. Так и есть, позади — «хвост». Конечно, избавиться от него не составляло труда, но нельзя: ведь по легенде я обыкновенный турист, а не профессиональный шпион, чтобы ускользать от наблюдения. «Шут с вами, — думаю. — Ходите, пока не надоеет». Впрочем, это продолжалось недолго. Очевидно, сыграли роль мои экскурсии со Стояном.

Вообще расположение, которым пользовался мистер Муней у представителя фирмы «Адлер», оказалось весьма полезным для разведчика. Убедившись, что он разделяет воззрения своего соотечественника Мосли, основавшего Британский союз фашистов, и преклоняется перед гением фюрера, Маринов-старший стал приглашать англичанина к себе домой, когда по субботам у него собирались солидные деловые люди. Они были хорошо осведомлены о секретах болгарской «большой политики» и, не стесняясь присутствия иностранца — хозяин заверил их в абсолютной лояльности мистера Муны, — оживленно обсуждали происходящие события. По общему мнению, растущее сотрудничество с рейхом означает только одно: в начавшейся второй мировой войне царь Борис и правительство будут на стороне Германии.

В свою очередь Стоян ввел Альфреда — как-то за ужином в ресторане они выпили на брудершафт — в узкий круг профашистски настроенных молодых людей, среди которых тоже нашлись интересные для раз-

ведчика личности. Например, штабной флотский офицер Райко, фатоватый лейтенант с узенькими усиками и пышными, во всю щеку, бакенбардами. Подвыпив, он делался болтлив, всячески стараясь своей осведомленностью произвести выигрышное впечатление на богатого англичанина. Ведь тот обычно по собственной инициативе — «Какие могут быть счеты между друзьями!» — оплачивал совместные веселые ужины с обильными возлияниями. Благодаря этому знакомству Муней мог беспрепятственно бывать в кафе при офицерском клубе, где ближе к полуночи велись весьма откровенные разговоры, не предназначавшиеся для посторонних ушей.

Основной темой, естественно, была война. В ее орбиту уже оказались втянуты Англия, Франция, Германия, Италия, Польша, Дания, Норвегия. Теперь, как считали военные, на очереди Балканы. Что же касается Болгарии, то большинство полагало, что в случае войны на Востоке, а дело явно шло к этому, она будет служить для Германии стратегическим плацдармом на Черном море и одновременно тыловой базой снабжения для вермахта. Не случайно в стране активизировались германские концерны, те же «Герман Геринг», «Фарбениндустри», «АЕГ».

Тревожная информация, поступающая к разведчику, заставила его поторопиться с поездкой на Черноморское побережье. Мариновым он объяснил, что ему надоели бесконечные разговоры о войне. Он хочет хотя бы ненадолго отвлечься, посмотреть сказочный Несебыр, отдохнуть на золотых песках Варны.

На самом деле в этом красивейшем уголке мистера Мунея интересовали сугубо прозаические вещи — порт и судоремонтный завод. Любитель пенных прогулок, он выбрал для них склоны высокого холма в предместье Ашарухово, откуда открывался чудесный вид на море. Достаточно было несколько вылазок в пригородные виноградники, чтобы сделать важное открытие: канал, соединяющий залив с Варненским озером, спешно углубляется. Для чего, если торговое судоходство из-за войны резко сократилось и судоремонтный завод простаивал? Вывод напрашивался сам собой: чтобы пропускать по нему военные корабли к заводским причалам. Чьи — тоже было ясно. Германские.

Полезным оказался и визит в Бургас. Вообще-то туристу в этом портовом городе делать было нечего.

Поэтому Муней постарался не задерживаться там, чтобы не пришлось объясняться с полицией. Прежде всего он отправился на вокзал и взял билет на вечерний поезд в Софию. В случае, если бы его задержали, он мог объяснить, что просто возвращается из Пессыра. Потом пошел по улицам, проверяя, нет ли нежелательного сопровождения. И лишь после этого не спеша зашагал к расположенному неподалеку от вокзала порту. Впрочем, заходить на его территорию Муней не стал, а предпочел скоротать время до отхода поезда в припортовой корчме, где подавали мусаку, сытную закуску из мясного фарша, яиц, картофеля, баклажан, и в меру разбавленную сливовую ракию.

Такие неприятельские заведения есть в любом порту мира, причем посещают их одни и те же люди: матросы, докеры, краповицки, косовальцки, мелкие контрабандисты. Здесь никто не лезет к соседу с расспросами и не косится, если человек полдня сидит за рюмкой, забившись в угол. Мало ли у кого какие заботы. За несколько часов, проведенных в дымной и шумной корчме, Побережник получил полное представление обо всем, что заслуживало внимания в Бургасском порту. Самым интересным, пожалуй, было то, что немецкая фирма вела монтаж порталных кранов. А поскольку оборудовались еще и новые причалы, пропускная способность порта должна была намного возрасти. Значит, можно предполагать, что в недалеком будущем нагрузка на Бургас значительно увеличится.

Все увиденное и услышанное Побережником за время пребывания в Болгарии говорило об одном: если начнется война, она, вероятно, пропустит германские войска через свою территорию в Румынию к границам СССР и окажет третьему рейху военно-политическую и экономическую помощь. О собранных им фактах и своих выводах разведчик информировал Центр шифрованными сообщениями.

В Софии Побережник решил перебраться из гостиницы на частную квартиру, где можно было бы, не привлекая ненужного внимания, встречаться со знакомыми, а главное, наладить надежную радиосвязь с Центром. Пока она ему не требовалась. Разведчик вполне обходился шифрованными донесениями, которые периодически посылал по условным адресам. Но в случае обострения обстановки, а тем более войны, от

него будут нужны оперативные данные, причем передавать их следует немедленно. Иначе практическая ценность разведывательной информации может свестись к нулю.

Во время визита к Мариновым мистер Муней пожаловался, что ему до смерти надоел этот «караван-сарай», как с некоторых пор он называл гостиницу «Славянская беседа». Его прежние планы, например, совершить путешествие в Индию, полетели к черту. О том, чтобы ездить по белу свету, когда кругом все воюют, нечего теперь и думать. Судя по всему, он застрял в Софии надолго и поэтому хотел бы сменить опостылевший номер на удобную комнату в тихом частном доме.

— Вас, холостяка, просто тянет к домашнему уюту, к семейному очагу, — поставила диагноз госпожа Маринова. — Этому нетрудно помочь...

Вскоре по ее рекомендации мистер Муней поселился на бульваре Дундукова в квартире русской вдовы-эмигрантки, сносно говорившей по-английски. Свой переезд он отметил тем, что купил хороший приемник «Браун» с растянутыми диапазонами с 12 до 100 метров. Пока разведчик использовал его лишь для приема сообщений Центра. Впрочем, даже односторонняя связь давала немалый выигрыш в работе. Зная, что именно в данный момент больше всего интересует «Каму» — это был позывной передатчика Центра, — Побережник имел теперь возможность сосредоточиться на конкретных объектах, а не разбрасываться по многим направлениям. Отсюда — прямая экономия времени и сил.

...Если информация для разведчика хлеб, то связь — это воздух. Без нее он вообще не может существовать. Поэтому, когда Побережник проходил спецподготовку, радиodelу отводилась львиная доля занятий. Про инструктора, преподававшего его, говорили, что ему ничего не стоит смонтировать радиопередатчик в чайнике и заварить в нем такой ароматный чай, который с удовольствием будет пить самый привередливый англичанин. Понятно, что за несколько месяцев невозможно овладеть всеми секретами мастерства. Успехи Побережника были скромнее: он научился лишь безошибочно собирать и настраивать последнюю новинку разведтехники — специальную приставку, позволявшую превратить обычный приемник в достаточно мощ-

ный передатчик. Но для этого нужны детали, везти которые с собой через границу было слишком опасно. Да и гостиничный номер мало приспособлен для пайки радиосхем. Другое дело отдельная комната, которую хозяйка квартиры из щепетильности даже убирает только в присутствии жильца. И разведчик начал осторожно, не торопясь, доставать лампы, сопротивления, конденсаторы. Чтобы не вызвать подозрение, приобретал их в разных местах — в магазинах, у частных лиц, на барахолке.

Совершенно неожиданно размеренный ритм жизни мистера Муней оказался нарушен. Он уже и думать забыл, о многозначительном намеке госпожи Мариновой насчет семейного очага, как вдруг один из друзей ее сына познакомил Альфреда со своей кузиной Славкой, приехавшей в Софию из Русе в гости к родственникам. Симпатичная скромная девушка понравилась Побережнику. Тут сыграло свою роль и внутреннее одиночество, в котором так долго был вынужден жить этот, на первый взгляд, общительный англичанин, имевший массу знакомых. Что такое риск в разведке, как не привычное, будничное состояние? Но постоянное напряжение не проходит бесследно. Подспудно накапливаясь, оно порой выливается в приступы острой тоски, когда, казалось, все бы отдал, лишь бы побыть с близким человеком, расслабиться, отдохнуть.

Мистер Муней начал встречаться со Славкой, ходил с ней в театр, в кино, ездил за город на пикники. А вскоре стал постоянным гостем в доме ее тетки. Считалось, что Славка учит Альфреда болгарскому языку, а он ее — английскому. Но Побережник все чаще ловил себя на том, что забывает о правилах грамматики, когда смотрит на милое для него лицо с по-детски припухшими губами и черными как ночь глазами, в которых пряталась грустинка.

Но всему прочему выяснилось, что Славка — внучка известной в Болгарии личности — священника Тодора Панджарова, председателя церковного суда Софийской митрополии. О связях и влиянии деда говорило хотя бы то, что к нему домой в Русе приезжали даже лица царской фамилии. Тем не менее этот старец с ясными голубыми глазами ребенка и окладистой бородой библейского пророка, кстати, прекрасно разбиравшийся в политике, придерживался весьма либеральных взглядов.

Как-то он настолько поразил Мунея одним своим чуть ли не революционным высказыванием, что, будь на месте священника кто-то другой, он принял бы это за провокацию. После вечернего чая, когда Славка с сестрой и их мать ушли, они сидели с дедом вдвоем в просторной гостиной. Разговор зашел о жестокости войны и вообще недопустимости насилия, противного человеческой натуре. Заметив, что порой насилие бывает ответом на насилие, Панджаров стал рассказывать Мунею о турецком владычестве. А закончил совершенно неожиданно:

— Впрочем, вам, англичанам, не понять славянскую душу. Был у нас в Болгарии один славный юнак, партизанский командир Атанасов. Большой грех взял он на душу: поднял руку на власть царя, что дана от бога. В двадцать третьем году участвовал в восстании. Суровая кара постигла его. Так вот перед смертью Атанасов сказал, что, когда придет век коммунизма, им и его товарищами будут гордиться. Думается мне, что люди, столь сильно верящие в правоту своего дела, наделены свыше пророческим даром...

Побережник готов был расцеловать старика за эти слова. Но правила, которым он давно подчинил себя, были суровы. Поэтому мистер Муней лишь скептически пожал плечами и поспешил перевести разговор на другую тему...

Чувства англичанина к Славке уже давно ни для кого не были секретом. Ее родные терялись в догадках, почему мистер Муней медлит с официальным предложением. Откуда им было знать, что он ждет, образно говоря, «благословения» Центра. Наконец, расшифровав очередное послание, разведчик прочитал: «Возражений нет. Примите поздравления».

На следующий день Альфред приехал в Русе с огромным букетом белых роз. Торжественно вручив его открывшей дверь Славке, он обнял девушку и прошептал ей на ухо: «Искам да станешь моя съпруга» — «Будь моей женой». Согласие Славки и вышедшей из комнаты матери было дано здесь же, в прихожей. От полноты чувств обе даже прослезились. А когда к обеду пришел дед, то как глава семьи благословил помолвку снятой с иконостаса большой иконой святого Георгия Победоносца. «Жаль, что я не верю в бога, а то бы счел это добрым предзнаменованием», — подумал про себя Побережник.

Начались приготовления к свадьбе. Заказали подвенечное платье для невесты, парадный костюм — для жениха. Но приятные хлопоты пришлось прервать, так как у мистера Муня опять истек срок туристской визы. Для ее оформления один раз он уже выезжал в Белград и там обращался в болгарское посольство. В связи с войной югославская столица превратилась в главный центр британской разведки на Балканах, которая стремилась использовать всех англичан, попадавших в поле ее зрения. Причем она создавала разветвленную агентурную сеть не столько для борьбы со своим военным противником Германией, сколько для того, чтобы обеспечить приход к власти нужных Лондону правительств в этом регионе. Паширмер, английский посол в Болгарии Рэнделл предупреждал Форин офис, что опасается поражения третьего рейха в случае его нападения на СССР, ибо тогда «подвергнется жестокому потрясению монархический строй во всех балканских странах».

Откровенный интерес, проявленный в прошлый приезд сотрудниками «Интеллидженс сервис» к мистеру Муню, исключал возможность повторного визита в Белград. Ему вовсе не улыбалось по возвращении в Софию попасть под подозрение в качестве английского шпиона. Нужно было искать другой выход.

— На сей раз меня взялся выручить дед Славки. У него был старый друг Страшемир Георгиев, которому в свое время он помог окончить Петербургскую духовную академию. Так вот собрались оба святых отца и стали думать, что делать. В конце концов решили, что для получения визы мне следует поехать в соседнюю Турцию. У них были дружеские отношения со стамбульским митрополитом, а тот, в свою очередь, пользовался расположением царя Бориса. Панджаров и Георгиев написали митрополиту письмо, в котором говорилось, что «податель сего — жених внучки Тодора» и что, мол, у них скоро должна состояться свадьба. Поэтому они просили митрополита помочь мне через болгарское консульство оформить визу. «Наш долг — сделать детей счастливыми, а всемогущий господь воздаст за добро...» — рассказывает Побережник. — Сэтим письмом я поехал в Турцию. Митрополит, прочитав послание друзей, отнесся ко мне весьма благосклонно, назвал сыном и обещал все устроить. Когда виза была продлена, я зашел поблагодарить святого отца.

Он благословил меня, пожелал нам со Славкой счастья и благоденствия, а еще просил кланяться Георгиеву и Панджарову...

С моих плеч словно гора свалилась. Теперь можно было заняться одним деликатным делом. Незадолго до отъезда я закончил сборку приставки-передатчика. Для начала работы не хватало только кварцевых пластин, достать которые в Софии было невозможно. Я заранее известил Центр о предстоящей поездке в Стамбул. В ответной телеграмме сообщили, что в течение недели связник будет ждать меня в семь вечера у тумбы с афишами возле касс ипподрома. Конечно, были указания и обязательные в подобных случаях вещественные и словесные пароли.

Пока не решился вопрос с визой, проводить конспиративную встречу не имело смысла. А теперь, когда все уладилось, нужно было, наоборот, как можно скорее выйти на контакт, чтобы не подвергать курьера дополнительному риску. Ведь для него имеет значение каждый лишний день...

Времени до обусловленного часа оставалось много. Поэтому Побережник отправился на улицу Истикляль, чтобы купить Славке подарок. Он неторопливо шел мимо шикарных магазинов, разглядывая выставленные в витринах товары, как вдруг у него возникло ощущение, что чей-то чужой взгляд буравит ему спину. Такое шестое чувство рано или поздно вырабатывается у любого профессионала. Побережник привык доверять ему, и оно еще ни разу не подводило.

Миновав большой ювелирный магазин, он внезапно остановился, с досадой щелкнул пальцами, словно вспомнив что-то важное, а потом вернулся к услужливо распахнувшимся перед ним дверям. Сквозь тянувшиеся во всю стену зеркальные стекла хорошо просматривался большой отрезок улицы. Так и есть. Посреди тротуара, мешая прохожим, растерянно застыл коренастый человек в серой каракулевой папахе. «Ну и физиономия, видно, свиреп как янычар, — подумал Побережник. — А вот работает топорно». Чуть поодаль от Янычара переминался с ноги на ногу рябоватый парень в такой же серой папахе, из-под которой лопухами торчали огромные уши.

Неожиданное наблюдение могло означать только од-

но: мистером Мунеем по какой-то причине заинтересовалась турецкая полиция. Сам по себе этот факт не имел никакого значения — ведь в паспорте имелись все необходимые отметки, — если бы не встреча с курьером. Откладывать ее не имело смысла. Завтра могут пустить более опытных «топтунов», избавиться от которых будет гораздо труднее.

В магазине Побережник задерживаться не стал. Купив для Славки кольцо и серьги с бирюзой, он вышел на улицу и спокойно направился в сторону набережной. Там к причалу Кабаташ как раз пришвартовался паром, перевозивший людей и автомашины через Босфор в Ускюдар, азиатскую часть Стамбула. С парома стекала шумная людская река, медленно сползали машины. Не успели последние пассажиры сойти на берег, как на паром хлынула встречная толпа. Вслед за людьми потянулась вереница машин. Через десять минут паром был готов отправиться к противоположному берегу.

В последний момент Побережник быстро взбежал по трапу, но не стал проходить внутрь, а облокотился на поручни у борта. Это выглядело вполне естественно: приезжий иностранец желает полюбоваться панорамой живописного холма со стадионом «Мидхат-паша», которая открывается между Морским музеем и дворцом султана. Вслед за ним на паром проскользнули Янычар и Упастый. Когда паромщик уже начал убирать сходни, Побережник спросил его по-английски, показывая на часы:

— Смогу ли я вернуться обратно через час?

Тот, конечно, не понял. В разговор вмешался один из пассажиров и перевел вопрос. Паромщик замахал руками, стал объяснять, что на переправу туда и обратно уйдет куда больше времени. Паром уже отчаливал.

— Но я обязательно должен быть здесь через час, а то опоздаю на самолет! — взволнованно воскликнул Побережник. Добровольный переводчик начал что-то сердито втолковывать паромщику. Турок с досадой плюнул, обругал всех этих «муцаторов»¹, схватил какую-то доску и перекинул ее на причал. Разведчик едва успел сбегать на берег. Янычар и Упастый засуетились, попытались пробиться сквозь толпу к борту,

¹ Нечистый (тур.).

но когда это им удалось, было уже поздно: причал и паром разделяла почти пятиметровая полоса воды.

Чтобы больше не рисковать, разведчик сел в такси. К счастью, водитель знал несколько английских фраз. Помогая себе мимикой и жестами, Побережник объяснил, что хотел бы посмотреть город. Повторив для верности несколько раз «гут-гут», таксист лихо развернул свою потрепанную колымагу на крошечном пятачке между ожидавших парома машин.

Для начала он прокатил иностранца вдоль берега Босфора, предоставив возможность полюбоваться видом пролива, усеянного множеством судов, катеров, лодок. Затем таксист остановился напротив дворца Долмабахче и, показывая на резные ворота и ажурную решетку, стал восторженно причмокивать, словно купец, расхваливающий свой товар. Когда это ему надоело, такси покатило к другому дворцу — Чераган, где процедура причмокивания повторилась вновь. Избытком влуса этот лихач явно не страдал, поскольку сами турки смеялись над претенциозной архитектурной нелепицей, в которой перемешались стили разных эпох и народов. После того, как была осмотрена и она, настала очередь знаменитого Крытого рынка — настоящего лабиринта из тысяч лавочек и магазинов, сгрудившихся под одной крышей.

Побережник бывал здесь, когда плавал матросом, и знал, что Капала чарши идеальное место, если нужно уйти от наблюдения. Но поскольку покупать он ничего не собирался, а «хвост», как убедился разведчик, за ним не тащился, то попросил отвезти его к ипподрому.

Припарковав машину на площадке перед центральным входом, таксист вопросительно посмотрел на иностранца. Побережник отсчитал десять долларов и показал на часы, давая понять, что скоро вернется и тогда вручит щедрый бакшиш. Турок радостно закивал, всем своим видом выражая готовность ждать хоть до утра заезжего миллионера.

Встреча со связником произошла настолько быстро, что посторонний наблюдатель вообще не заметил бы ее. Просто у афишной тумбы на минуту остановились двое мужчин и тут же разошлись. Впрочем, позднее Побережник и сам бы не смог описать лицо курьера. В памяти осталось только то, что он был очень молод, почти мальчишка, да синий галстук в крупную

клетку — вещественный пароль — и запах крепких мужских духов, исходивший от переданного ему маленького пакета.

В гостиницу «Отель де Пера» разведчик возвращается не стал, а поехал прямо на вокзал. Оттуда он позвонил по телефону портье, сказал, что неожиданно уезжает, а кое-какие оставшиеся вещи вместе со счетом просить выслать по адресу, который сообщит позднее. Теперь можно было не беспокоиться, что в гостинице поднимут тревогу, разыскивая пропавшего англичанина.

— В Софию я вернулся в хорошем настроении. Но оказалось, что жениться англичанину в Болгарии не так-то просто. Дело в том, что Славка была православной, а я — протестант. По болгарским законам людям разных вероисповеданий вступать в брак не разрешалось. Опять собрался «консилиум» святых отцов. После долгих споров и обсуждений вынесли вердикт: мне следует перейти в православную веру, к которой я, кстати, принадлежал с рождения, хотя священники и не ведали об этом. В итоге мне предстояло стать дважды православным, — смеется Семен Яковлевич.

Однако, прежде чем пройти обряд крещения, нужно было вызубрить молитвы, заповеди, акафисты, в общем, подковаться по части религии. И вот оба священника, Панджаров и Георгиев, организовали ускоренный ликбез. К вящему их удовольствию, англичанин Муней оказался на редкость способным учеником. За какой-то месяц стал неплохо разбираться в церковных премудростях.

— Наконец 10 мая 1940 в лучшей столичной церкви святых Седьмочисленников Страшемир Георгиев совершил таинство крещения и нарек новоиспеченного раба божия Александром. — Это имя Побережник прозвучало так уважительно, словно в нем было нечто особенное. Но мое недоумение тут же рассеялось: — Я выбрал его, так сказать, по политическим соображениям — в честь князя Александра Невского, разбившего немецких рыцарей, о чем, конечно, предпочел никому не говорить. Между прочим, когда я вскоре сочетался браком со Славкой, то обручение тоже проходило в храме, носившем его имя...

Из многочисленных источников, которыми обзавелся Побережник, он знал, что международная обстановка накаляется с каждым днем. В такой момент разведчик не имел права прерывать свою работу. Поэтому Сашо предложил Славке ограничить свадебное путешествие поездкой в Варну и там провести медовый месяц. Она охотно согласилась.

Молодожены остановились на одной из вилл, прятавшихся среди садов в окрестностях города. Утро проводили на пляже, подолгу плавая в ласковой прозрачной воде. Вечером шли в приморский парк, где к услугам курортной публики были казино, кафе, рестораны. Впрочем, ни Славка, ни Сашо не очень-то жаловали подобные заведения. Славка сетовала мужу, что вымученное ресторанным весельем нагоняет на нее тоску. Поэтому обычно они гуляли по усаженным цветами аллеям, заглядывали на набережную выпить по чашечке кофе в летней сладкарнице. Славке и в голову не могло прийти, что ее любящий и заботливый сунруг в эти счастливые, беззаботные часы выполнял важную, ответственную работу.

Еще в самом начале Стоян Маринов рассказал Мупею, что почти сто лет назад во время Крымской войны в России Варна была главной базой английских и французских войск. Теперь на ее рейде замаячили корабли германского военно-морского флота. Тяжело осевшие в воду, с зачехленными орудиями, они хорошо просматривались с набережной. В лучах заходящего солнца их кроваво-красные вымпелы с белым кругом и черным крестом в центре выглядели зловеще. А сами они, неизвестно почему, напоминали разведчику притаившихся в засаде тигров, хотя он никогда не видел этих хищников.

В свое время Побережник потратил много часов, запоминая силуэты и заучивая тактико-технические данные кораблей различных флотов. Теперь он мог с одного взгляда сказать, что на рейде бросил якорь эсминец класса «Леберехт Маас», а уходящее в море вспомогательное судно — старая калоша в полтора тона водоизмещением со скоростью хода 12 узлов, имеющая на вооружении две 37-миллиметровые пушечки. Для непосвященного это были не заслуживающие внимания мелочи. Разведчику же появление в Варне германского эсминца или выход в море вспомогательного судна говорили о многом. Например, о том, что турки

нарушили нейтралитет, пропустив через проливы военные корабли, и поэтому советские транспортные коммуникации на Черном море находятся под угрозой. Вспомогательное судно скорее всего пошло на Бургас. Следовательно, там, возможно, будут базироваться рейдеры.

Несколько раз Сашо сводил Славку в Аспарухово, где в виноградниках уже наливались соком янтарные гроздья. Пока после подъема по крутому склону они отдыхали на согретом солнцем камне, он наблюдал за портом, стараясь, чтобы жена не заметила этого. Там полным ходом шли большие работы. Строились казармы, пакгаузы и, судя по размерам слипов, ремонтные мастерские для торпедных катеров. Словом, курортный наряд Варны быстро менялся на военную форму.

Вскоре после свадебного путешествия в эфир вышел передатчик с позывным «Волга», работавший из дома № 35 по улице Кавала, где сняли квартиру Александр Муней и его жена Славка.

«Волга» вызывает «Каму»

Весна в этом году пришла хмурая. Причем дело было вовсе не в погоде. Как всегда ярко светило весеннее солнце, заливались птицы на софийских бульварах. А вот на политическом горизонте все ближе подползали грозные тучи. Предварительно не уведомив фюрера, Муссолини напал на Грецию. Но авантюра не удалась. Хотя итальянские дивизии носили громкие названия «Тосканийские волки», «Феррарские гераклы», «Пьемонтские красные дьяволы», они терпели одно поражение за другим, особенно после того, как в Грецию прибыл английский экспедиционный корпус.

В Берлине такой поворот событий ускорил реализацию планов «кардинального» решения балканской проблемы силой оружия, предусмотренного в соответствующем разделе секретной директивы № 18: «Балканы. Главнокомандующему сухопутными силами принять подготовительные меры к тому, чтобы в случае необходимости, действуя из Болгарии, захватить континентальную Грецию». Гитлер пишет дуче раздраженное письмо, в котором последними словами ругает его за бездарную кампанию и обещает прийти на помощь оскандалившемуся союзнику. Так рождается план «Марита». В дополнение к нему разрабатывается «опера-

ции-25» — захват Югославии. 6 апреля 1941 года вторжением танковых колонн начинается их осуществление, занявшее считанные недели.

Но Балканы для фюрера — частность. Его главная цель — план «Барбаросса», то есть разгром Советского Союза. Прежде чем приступить к выполнению «великой миссии» на Востоке, Берлин стремится создать надежную военно-политическую и экономическую базу на южном фланге будущего театра военных действий. С фашистской Венгрией Гитлер уже договорился. Разрешил ввод в страну немецких войск и правитель Румынии Антонеску. Обе страны официально присоединились к Трехстороннему пакту¹. Теперь фюрер решил усилить нажим на Болгарию, чтобы и она последовала их примеру. Как поступят царь Борис и премьер Филлов?

Ответ на этот вопрос очень интересовал Москву, которая предложила Болгарии заключить с СССР договор о дружбе и взаимопомощи. Однако София молчала.

— Мама квартира на улице Кавала, 35, оказалась не только очень удобной, но и весьма полезной мне как разведчику. Ее хозяйка Анна Сарафова раньше служила в софийской полиции. Там же работали ее сын Христо и невестка Райна, всячески подчеркивавшие свою верность царю Борису. У них всегда было много новостей, а поскольку они считали меня своим человеком, то часто выбалтывали ценные сведения. Со временем я нашел способ, как заставить Христо специально разговариваться на интересовавшие меня темы. Вечером он иногда заходил послушать последние известия из-за границы. Языков Христо не знал, и я переводил, что вещает Берлин, Лондон или Париж. Поэтому легко было подбросить ему «крючок», например, придумать, будто Би-би-си считает маловероятным какой-нибудь политический шаг Софии. Он тут же заглатывал наживку, начинал с жаром доказывать, в чем ошибаются англичане. Так что мой приемник «Браун» стал многоцелевым, — смеется Семен Яковлевич, — помогал добывать разведывательную информацию, которую потом передавал в Центр.

¹ Берлинское соглашение (Трехсторонний пакт), подписанное 27 сентября 1940 года Германией, Италией и Японией, сформило военное сотрудничество трех агрессоров в деле создания пресловутого «нового порядка» в Европе и Азии.

Однажды, вернувшись с работы, Христо таинственно подмигнул мне: «Есть потрясающая новость, о ней еще никто не знает, но тебе я скажу. Смотри только, никому ни слова... Хотя...» Он заколебался. Я равнодушно пожал плечами: «Что-то слишком много новостей в нашей жизни за последнее время. Уже всем надоели...» Мое безразличие подействовало. «Да ты только послушай, эта новость особенная! — загорячился Христо. — Царь Борис в ближайшие дни встретится с Гитлером. Речь пойдет о присоединении Болгарии к Трехстороннему пакту...»

Значит, решение принято. Той же ночью я отстучал телеграмму в Центр. Позднее, когда в Софии было официально объявлено о подписании союза с Германией, я внес солидный взнос в военный фонд Болгарии. Жалко, конечно, было, по ничему не поделаешь. Моя национальность и так порой вызывала ненужные разговоры. Пусть в полиции знают, что мне не напрасно дали болгарское гражданство: хотя по рождению я англичанин, но целиком на стороне моей новой родины...

Ответная реакция Центра не заставила себя ждать. «Особое значение, — подчеркивала «Кама», — необходимо придавать всему, что связано с политическим, военным и экономическим проникновением Германии в Болгарию. В случае чрезвычайных событий связь по схеме «С».

Впрочем, разведчик и сам понимал, что теперь это приобретает первостепенное значение. От того же Христо ему заранее удалось узнать и сообщить в Центр о предстоящем допуске частей вермахта на территорию Болгарии. Власти в Софии опасались взрыва народного негодования и поспешили принять «профилактические меры». По приказу начальника директората полиции безопасности Павлова по всей стране были произведены массовые аресты. Затем в один прекрасный день радио передало экстренное сообщение: по приглашению правительства в качестве «гостей» в Болгарию прибывают «верные друзья нашего народа доблестные войска великого фюрера». Газеты «Днес», «Вечер», «Слово» из кожи вон лезли, стараясь доказать «мудрость» такого шага: «Мы — маленькая страна, с ней легко справится любой враг. Поэтому приглашение немцев является правильным и предпринято в интересах нашей же обороны». Так предательство возводилось в ранг государственной политики.

На самом деле ввод войск в Болгарию был со стороны рейха лишь одним из завершающих этапов подготовки к нападению на СССР. День за днем разведчик находил все новые подтверждения этому. Причем первый шаг, позволивший раскрыть тщательно оберегаемую тайну, он сделал в Русе.

— У моей жены Славки там жил дядя, Иван Беличев, по специальности судовой механик, устроившийся инженером в городское автохозяйство. Его товарищи по мореходному училищу служили на флоте. Поэтому дядя был хорошо осведомлен, где что происходит на Дунае и Черноморском побережье. Через него и я всегда был в курсе, конечно, не показывая вида, что меня это интересует...

Побережник уже не первый раз подчеркивал эту специфику работы разведчика: не проявлять интереса к тому, что в действительности является объектом самого пристального внимания, чтобы не вызвать подозрения и не стать жертвой дезинформации. Правда, по словам Семена Яковлевича, Беличева можно было не опасаться: он искренне возмущался политикой правительства царя Бориса, «которое оптом и в розницу продает болгар Гитлеру». Однако даже в отношении своего родственника разведчик не отступал от этого правила.

— Однажды Беличев обмолвился, что в Русе с помощью немецких инженеров из организации Тодта¹ сооружается большое нефтехранилище. Вскоре я сам съездил в Русу навестить деда Славки, побывал вблизи этого объекта, убедился, что работы на нем ведутся ускоренными темпами. В тот же день информировал Центр...

Но зачем понадобилось немцам нефтехранилище на Дунае? Разведчик стал осторожно паводить дополнительные справки. Выяснилось, что из Джурджу, румынского порта на Дунае, в Русу уже поступает бензин и дизельное топливо в бочках, которые накапливаются на временном складе с немецкой охраной. Потом Побережник узнал, что значительные запасы горючего созданы в Варне и Бургасе. Но для чего они предназначены, оставалось непонятным до тех пор, пока он

¹ Военно-строительная организация, названная по имени своего создателя генерала Фрица Тодта, который в 1942 году погиб в авиакатастрофе.

не нашел подход к начальнику речного порта в Русе. Оказалось, что немцы перебрасывают по Дунаю в Черное море с помощью понтонов подводные лодки.

В поисках ответа на загадку нефтехранилища разведчик обнаружил и другую любопытную вещь. Поблизости от транспортных магистралей появились большие склады продовольствия, бензина, смазочных масел. По странному стечению обстоятельств все они принадлежали немецким фирмам или болгарским предпринимателям-фашистам. Их назначение вскоре стало ясно. В телеграмме, посланной в Центр, Побережник сообщал: «К румынской границе по железной дороге непрерывно перевозятся немецкие войска и снаряжение. По всем шоссе дорогам прошли моторизованные части. Кроме того, па юг все время движутся грузовики, легковые машины, тапки, артиллерия разных калибров, перевозятся катера и мостовые фермы».

В ночь на 12 июня из дома № 35 по улице Кавала в Софии нелегальная радиостанция с позывным «Волга» передала срочное сообщение: «Во вторник, 24 июня, Германия нападет на СССР». Она ошиблась только на два дня. Впрочем, это не имело значения, так как Центр уже знал об этой дате.

Слушая неторопливые рассказы Побережника, я не переставал удивляться, как скромнен Семен Яковлевич в оценке того, что, будучи разведчиком-нелегалом, делал в Болгарии. Громкие слова о смелости, подвигах, героизме таким, как он, кажутся слишком высокопарными. Между тем вся их работа состоит из бесчисленных встреч с опасностью, постоянных маленьких подвигов. Но они считают это нормой поведения, повседневным бытием, то есть естественным и закономерным состоянием. А высшей оценкой — скупую запись «Работает результативно» в личном деле, хранящемся в сейфе где-то там, очень далеко, что принято называть Центром.

Однажды я сказал Семену Яковлевичу, что не представляю, как можно привыкнуть к мысли о все время висящем над тобой дамокловом мече. Ведь, отправляясь на задание за кордон, разведчик знает: неизбежно будут и неудачи, а значит, возможен провал. И тогда...

— Привыкнуть нельзя, но вот заставить себя не думать об этом — можно и нужно. Еще с Испании я

вспомнил слова командира нашей Двенадцатой интербригады генерала Лукача. Под Теруэлем, беседуя как-то с бойцами о мужестве, он сказал: «Если солдат, идя в бой против врага, прежде всего начинает думать о последствиях этого боя для себя лично, о том, что его обязательно должна найти вражеская пуля, он не сможет быть храбрым, драться самоотверженно...» То же самое относится и к разведчику, — заключил Побережник.

...Нельзя сказать, чтобы начало войны застало его врасплох. Ведь он сам систематически информировал Центр о ее приближении. И все-таки, по признанию Семена Яковлевича, эта страшная новость ошеломила, ударила словно обухом по голове. Только присущая ему выдержка помогла сохранить внешнее спокойствие, остаться обычным, сдержанным в проявлении чувств англичанином Александром Мунеем. Казалось бы, для разведчика-нелегала не имеет принципиального значения, находится страна его пребывания в состоянии войны или нет. С того момента, как пересек границу, он уже вступил в смертельный бой с очень сильным противником — полицией, контрразведкой, службой радиоперехвата. Но это только на первый взгляд. В действительности с началом военных действий ответственность, лежащая на Побережнике, неизмеримо возросла. Он потерял право на ошибки, ибо, хотя Болгария не воевала, за каждую из них будет заплачено кровью солдат там, на далеком от Софии советско-германском фронте, где развернулись гигантские по своим масштабам, ожесточенные сражения.

Одно из первых заданий Центра в эти дни касалось стратегических планов немецкого командования. В свое время, когда царь Борис ездил в Германию, он обещал Гитлеру, что в случае необходимости предоставит в его распоряжение свою армию. Теперь фюрер потребовал в качестве аванса послать на Восточный фронт три болгарские дивизии. От того, удовлетворит или нет София это требование, зависело очень многое.

Сказать со всей определенностью, как поступит болгарское правительство, мог лишь царь Борис, премьер Филов да генштаб. Доступа в столь высокие сферы Побережник не имел. Нужно было искать обходные пути.

Первым потенциальным источником был его «крестный» Иван Златев, подрядчик крупной строительной фирмы, имевший большие связи в дворцовых кругах.

А старый знакомый Маринов, в доме которого по-прежнему собирались деловые люди? Может оказаться полезным и этот представитель фирмы «Адлер». Ну и, конечно же, профашистски настроенные друзья его сына Стояна. При случае надо сказать, как он им завидует: перед ними открывается прекрасная возможность отличиться на фронте и вскоре вернуться домой героями. Ведь доблестные германские армии еще до зимы в пух и прах разобьют русских. Если бы он, Муней, не был англичанином, хотя и с болгарским гражданством, обязательно записался бы добровольцем. Да, не забыть еще всегда хорошо осведомленного флотского лейтенанта Райко. Неважно, что о болгарских ВМС вопрос пока не стоит. Этот любитель покутить за чужой счет наверняка не откажется, если Муней намекнет ему, что неплохо было бы посетить офицерское кафе, чтобы отпраздновать успехи германского оружия. Затем следует повидаться со святыми отцами, дедом Славки и крестившим англичанина попом Георгиевым. Кстати, свидетелем на крестинах был депутат народной палаты Тодор Гайтанджиев. Почему бы не нанести ему визит, узнать о самочувствии, а заодно спросить, как он смотрит на ближайшие перспективы. Ведь не вечно же Мунейю быть туристом. Раз он стал болгарским гражданином, нужно пускать корни, обзаводиться собственным делом. В общем, список неотложных визитов и встреч получался солидный.

В итоге осторожных наводящих разговоров, проверок и перепроверок в Центр ушла шифрованная телеграмма: «Болгарское командование не имеет намерения посылать свои войска на Восточный фронт, так как опасается народного восстания. В стране развернулось такое мощное движение против участия в войне, что правительство решило аннулировать прежние обещания немцам. Царь Борис срочно вызван к фюреру для объяснений».

Прогноз Побережника оправдался на сто процентов. В течение всей войны ни одна болгарская часть так и не была отправлена на советско-германский фронт.

Между тем с прибытием в Болгарию немецких «гостей» работать разведчику стало неизмеримо труднее. Сына его квартирной хозяйки Христо с гордостью сообщил Мунейю о своем повышении: директорат полиции безопасности и особенно отдел «А» Николы Гешева, занимавшийся борьбой с коммунистами, значительно

увеличили штаты, так что для опытных сыщиков открылись широкие перспективы. Активизировалась и РО-3, военная контрразведка полковника Костова, у которого появился строгий контролер — присланный из Берлина доктор Делиус, а на самом деле полковник Отто Вагнер, получивший от шефа абвера Канариса задание покончить с коммунистическим подпольем в Болгарии.

Первым делом доктор Делиус взялся за организацию тотальной контрразведывательной сети, охватывающей каждый жилой квартал, учреждение, казарму. Начались повальные облавы и обыски, во время которых квартира за квартирой проверялись все дома подряд. София была буквально наводнена полицейскими ищейками, многочисленными агентами РО-3, абвера, гестапо, тайными сотрудниками СД. Из Германии прибыли радиопеленгаторы, курсировавшие по городу, Эфир превратился в ловушку.

И все-таки «Волга» продолжала работать строго по расписанию, ни разу не сорвав сеанс связи. Квартира на улице Кавала была словно специально спланирована для разведчика. Из столовой один коридор вел в спальню, а другой — в кабинет Мунея. В нем была еще одна незаметная дверь прямо во двор, где в сарайчике под кучей угля он оборудовал тайник для передатчика.

Славка примирилась с тем, что муж страдает бессонницей и поэтому до поздней ночи засиживается в кабинете, слушая радио и копясь в часовых механизмах, которые стал брать из мастерской на дом для ремонта. Иногда жена тоже приходила к нему, и тогда заботливый супруг устраивал настоящую охоту в эфире, ища для нее хорошую музыку. Но уже ко двенадцати у Славки начинали слипаться глаза, и, поцеловав Сашу, она отправлялась спать. Это было как нельзя более кстати, потому что ровно в полночь — в двадцать четыре часа по Гринвичу — «Кама» ждала на свидание ва тысячи километров свою коллегу «Волгу». Опоздать значило поднять ненужную тревогу.

В 23.57 разведчик выключает «Браун», меняет в приемнике лампу, подсоединяет приставку-передатчик. Пальцы привычно ложатся на ключ. Как только часы начинают бить двенадцать, Побережник вызывает Центр. Получив ответ, сразу сыплет в эфир пулеметную дробь цифрогрупп. Секундная пауза, чтобы сменить кварц и перейти на другую волну. И вновь зву-

чит морзянка. Сеанс длится не более полутора минут, чтобы немецкие «слухачи» не успели запеленговать передатчик. В следующий раз «Волга» выйдет в другом диапазоне, а во время передачи еще дважды сменит волну.

Теперь прием. Перед ним уже лежит листок бумаги, в руке — остро отточенный карандаш немецкой фирмы «Фабер», мягкий, очень удобный для записи. Разведчик улыбается: забавно, против немцев используется немецкий приемник и немецкий карандаш. Но вот раздается позывной «Волги», и он весь превращается во внимание. Московский оператор работает виртуозно. Побережник едва успевает записывать пятизначные шифрогруппы. От напряжения деревенеют пальцы. «Кама» заканчивает передачу клером: «Желаем успеха!» — и умолкает.

Теперь нужно расшифровать текст. Слово за словом складываются лаконичные фразы: «Просим подробно освещать: состав германского флота, базирующегося на болгарские порты; перевозки по Дунаю; прибытие и выход в море кораблей всех классов. Детально сообщайте о всех мероприятиях немецкого командования, проводимых в Болгарии. Для быстрой победы над германским фашизмом сосредоточьте все силы на выполнение этих задач».

Ничего особенного не произошло. Как обычно горит на столе лампа под абажуром. Деловито шуршит под половицей мышь. С олеографии на стене парадно улыбается отпрыск Саксен-Кобургской династии Борис III, с отнюдь не царскими кирпичными скулами и тоненьким, в ниточку, английским пробором. И все-таки даже такой, в силу необходимости мимолетный контакт со своими много значит для разведчика.

— Каждый раз, когда я принимал передачи Центра, у меня от волнения сжималось сердце, — признается Побережник. — Старался успокоить себя мыслью, что, находясь в тылу врага, я все же чем-то помогаю Родине, приношу какую-то пользу. Надежная двусторонняя связь позволяла регулярно передавать данные о передвижениях немецких войск, прибытии и дислокации новых частей, их вооружении, строительстве укреплений на побережье. Особенно подробно я сообщал о действиях германского флота на Черном море, информировал о том, что происходит в портах Руссе, Варне, Бургасе, через которые шли подкрепления на Вос-

точный фронт. — Семен Яковлевич ненадолго умолкает, а потом немного смущенно говорит: — За передачу ценной разведывательной информации я несколько раз получал благодарности. А однажды принял такую радиogramму: «За образцовое выполнение заданий вы представлены к правительственной награде».

...При всем желании невозможно уложить в ограниченные рамки документального повествования четыре года жизни разведчика Семена Яковлевича Побережника, из которых больше двух лет пришлось на войну. Как, впрочем, невозможно перечислить всю разведывательную информацию, переданную в Центр. Например, ему удалось раскрыть одну хитрую уловку немцев, что позволило спасти немало жизней советских моряков: он «всего-навсего» установил, что германские подводные лодки стали пристраиваться в кильватер советским эсмишцам и сторожевым катерам и на «хвосте» у них прорываться через минные заграждения.

«Волга» сообщала, что болгарские войска сменяют в Македонии и Западной Фракии такие-то и такие-то немецкие оккупационные части, которые будут переброшены на советско-германский фронт; что немецкие органы, ведающие снабжением продовольствием группы «Юг», сталкиваются с серьезными трудностями, так как план поставок систематически срывается растущим сопротивлением болгарских крестьян; что после Сталинграда среди немецких солдат катастрофически подскочило число «самострелов» и симулянтов, не желающих ехать на Восточный фронт.

Кстати, поражение немецких войск под Сталинградом вызвало ликование по всей Болгарии. «В стране растет саботаж. Новобранцы скрываются от призыва», — передавал разведчик.

В других телеграммах он сообщал:

«Германская авиация разместила свои подразделения на всех 16-ти военных аэродромах Болгарии. На них удлиняют взлетно-посадочные полосы. В офицерском клубе болгарские летчики высказывают предположение, что вскоре придут «Мессершмитты» — для «Юнкерсов» и «Дорнье» достаточно старых полос».

«Значительно увеличилось число эшелонов с ранеными, прибывающих в Софию».

«Для карательных акций против партизан в помощь полиции и армейским подразделениям мобилизуются члены фашистских организаций «Ратник», «Нацио-

пальный легион», «Бранник», «Отец Паисий» и ряда других».

Причем за все время немецкие пеленгаторщики, периодически засекавшие появление на диапазонах радиолюбителей неизвестного передатчика, не смогли хотя бы приблизительно определить его координаты. Даже асы радиоперехвата, специально вызванные из Берлина, потерпели поражение в этой затяжной дуэли.

Война не знает передышек. Центр требовал от каждого из своих солдат невидимого фронта максимум того, что он мог дать, и еще многое сверх этого максимума.

Вариант «Но пасаран»

В последнее время Славка не раз просила мужа показаться врачу. Иначе бессонница совсем доконает его. Он сильно осунулся, похудел, и это очень тревожило жену. Но Саша отшучивался, мол, лишний вес приближает старость. Между тем он сам чувствовал, что устал. Как-никак уже пятый год англичанин Альфред, сиречь Александр Муней работает без отпуска, хотя Славка не знает об этом. Дело вовсе не в ночных бдениях, к ним он привык. Просто теперь у разведчика появилось совместительство, которое тоже отнимает время и силы.

— Чтобы не бросаться в глаза моей «бездеятельностью» в течение дня — ширма туриста давно не годилась в той обстановке, — я решил подыскать себе официальное занятие, хоть как-то оправдывающее мой образ жизни. Имея несколько профессий, сделать это не составило труда, — рассказывает Побережник. — Поскольку я неплохо разбираюсь в часовых механизмах, для начала предложил свои услуги одному часовщику-армянину, но с условием: работу буду брать на дом. Тот согласился. Так что мой кабинет превратился в настоящую часовую мастерскую. Иногда в нем скапливалось столько ручных, карманных, настенных часов, что там просто негде было повернуться. Дело, конечно, было не в лени. Ведь для ремонта у меня оставались вечера да ночи, днем приходилось заниматься главным — добывать разведывательную информацию.

— Но вы же — богатый англичанин, могли открыть собственную фирму. Хозяину не нужно ни перед кем отчитываться, куда и зачем он уходит или уезжает.

Для посторонних глаз все выглядело бы нормально, а у вас было бы достаточно свободного времени для основной работы. Да и для того, чтобы заводить полезные знакомства, визитная карточка «предпринимателя Александра Муиея» наверняка очень бы пригодилась. Выбор такой «крыши» кажется мне странным.

— Вот тут вы ошибаетесь. Действительно, по легенде я был состоятельным человеком, любящим путешествовать англичанином. До войны она служила отличным прикрытием. Никто из моих болгарских знакомых не сомневался, что я — тот, за кого себя выдаю. Среди них нашлись люди, повидавшие свет, хотя до матроса Побережника им было далеко. По моим рассказам они смогли убедиться, что я побывал во многих странах. И вдруг путешественник подается в предприниматели. Как бы это выглядело? Потом я уже говорил, что для коммерции нужны знания и соответствующие способности, которых у меня не было.

— Ну, хорошо, пусть не предприниматель, но хотя бы инженер. А то часовщик — как-то не вяжется с богатым англичанином.

— Наоборот, — живо возражает Семен Яковлевич. — Часы — мое хобби, как теперь говорят. Ведь англичане — известные чудаки. Другое дело, что сама моя национальность с началом войны оказалась не слишком удачной. Кое-кто даже подозревал во мне английского шпиона. Чтобы разубедить их, я сделал «финт ушами», — смеется Побережник. — Стал брать подряды в качестве электромонтера. Обзавелся шлямбуром, бермановскими трубками, прочим инструментом. Менял проводку, ставил розетки. Ни один полицейский или контрразведчик никогда бы не поверил, что разведчик-джентльмен из Интеллидженс сервис будет заниматься таким пыльным делом. А для окружающих все понятно: англичанин поиздержался, перевести деньги из-за границы невозможно — война. В семье жены меня стали уважать за то, что не чураюсь физической работы. Кстати, сама Славка записалась на курсы стенографии, не хотела сидеть дома без дела. Я не возражал. Думал со временем подключить ее к моей работе...

За множеством неотложных дел Побережник не заметил, как подкралась осень. О ней напомнили опавшие листья каштанов. Совсем недавно они редкими светлячками желтели на софийских бульварах, а теперь

устилали их сплошным ковром. В прошлом году в это время он четко отмечал дни и недели, напряженно следя за гигантской битвой, разгоревшейся на берегах Волги у Сталинграда. Кстати, «Кама», с которой держала связь софийская «Волга», еще осенью сорок первого перебазировалась на Волгу, только не к месту впадения в нее дочери-реки, а в Куйбышев. Там, на одной из окраин, стояло окруженное высоким забором неприметное здание, «объект Баня», как именовалось оно в секретных документах, откуда радисты Центра — разведывательного управления Генштаба — выходили на связь с десятками своих корреспондентов в разных странах. Но об этом разведчик, естественно, не знал.

Люди по-разному реагируют на приход осени. На одних она нагоняет хандру, у других дают себя знать разные хвори. Здоровье у Побережника было прекрасное. А настроение после разгрома ударной группировки вермахта под Курском и подавно. Красная Армия продолжала гнать немцев. Он надеялся, что недалек день, когда она придет на берега Днестра. Там уже рукой подать и до его родины — села на семи холмах, которое и при румынах сохранило свое старинное название Клишковцы. Как только его освободят, он обязательно попросит Центр навести справки о своих близких, от которых давно не имел вестей.

...При других обстоятельствах Побережник с радостью выполнил бы переданный «Камой» приказ на месяц уехать отдохнуть куда-нибудь в деревню. Подумать только: можно будет спать хоть целый день, пить парное молоко, по вечерам гулять со Славкой. Лучшего курорта не придумать. Но сейчас не давали покоя тревожные мысли: везде ли он вел себя правильно, не засветился ли Александр Муней?

Все началось с того, что он получил указание провести конспиративную встречу. За прошедшие годы ему не раз доводилось делать это, процедура отработана до мелочей, поэтому каких-либо трудностей не предвиделось.

Контакт предстоял короткий, на ходу. У Львиного моста со стороны вокзала нужно было встретиться с моложавым толстяком и после обмена паролями взять у него сообщение для передачи в Центр. Тем не менее Побережник принял необходимые меры предосторожности. Из таксофона заранее заказал на 21.30 машину

ж парикмахерской Ангелова, находившейся на углу сразу за Львиным мостом, а на 22 часа взял билеты в «Модерн». Там шел боевик «Обрела свободу», который очень хвалили газеты. Славка должна была ждать мужа у кинотеатра.

Встреча прошла по плану, и, пересев из такси на трамвай, он как раз успел к началу сеанса. «Хвоста» за ним в тот вечер не было. В этом разведчик убедился, несколько раз перепроверившись по дороге к «Модерну».

Потом еще дважды с санкции Центра он выходил на контакт с человеком по имени Дима, который, судя по всему, был не просто курьером, а тайным информатором, имевшим с Центром только одностороннюю связь.

Но вот тому, что последовало дальше, Побережник не находил объяснения.

— Однажды, якобы случайно увидев меня на улице, Дима сам подошел и предложил важную, как он утверждал, информацию для передачи в Центр. Без соответствующего указания оттуда я, конечно, отказался. Поступить иначе значило бы грубо нарушить непреложные правила конспирации. Что это, неопытность? Или... — Чувствуется, что Семен Яковлевич до сих пор не пришел к определенному выводу об этом странном эпизоде. — На всякий случай, чтобы запутать следы, полдня петлял по Софии. Во время очередного сеанса связи сообщил о непонятной «самодеятельности» Димы. Мне ответили: «Поступили правильно. Без нашей санкции ничего от него не брать».

К сожалению, на этом история с Димой не кончилась. Как-то, увидев меня в центральном универмаге, он чуть не бросился с распростертыми объятиями. Я сделал вид, что не заметил его, постарался затеряться в толпе, благо народу вечером в магазине было много. Вот тогда-то мне и приказали отправиться отдыхать...

Спустя месяц, проведенный со Славкой в деревне вдали от столичной суеты, Побережник вернулся в Софию. В ту же ночь связался с Центром, получил разрешение возобновить работу. Причем разведчику запретили показываться в офицерском кафе и вообще рекомендовали по возможности меньше бывать на улицах. В шифровке также говорилось, что в случае осложнений следует действовать по варианту «игрек»,

при чрезвычайной ситуации вступает в силу вариант «Но пасаран»...

Жизнь текла своим чередом. Злополучный Дима больше не понадался, так что причин для тревоги не было.

В то воскресенье Побережник отправился на кладбище положить цветы на могилу Славкиной родственницы. Сама жена приболела, а ее мать написала из Русе, что из-за дел не сможет приехать на годовщину смерти сестры. Посетителей на кладбище в Орландовцах было немного, и он долго бродил по пустым аллеям, наслаждаясь тишиной и с удовольствием вдыхая свежий осенний воздух, слегка пахнувший прелыми листьями.

На обратном пути, когда он подходил к пивной «Здраве», сзади послышался шум подъехавшей машины. Хлопнула дверца, по тротуару зацокали торопливые шаги. Разведчик не мог объяснить, почему у него возникло ощущение приближающейся опасности. Он хотел было юркнуть в пивную, но оттуда вышли трое парней. Продолжая что-то оживленно обсуждать, они остановились на некотором расстоянии от Побережника, загораживая тротуар.

Не раз и не два он пытался представить свой арест, но никогда не предполагал, что все произойдет настолько буднично и просто. Сзади кто-то легонько тронул его за плечо. В этом прикосновении не было ничего враждебного, но оно, словно током, ударило по нервам. Он с трудом удержался, чтобы, резко обернувшись, не сбить противника с ног и не броситься бежать. Однажды в Бельгии Чебан так и поступил, когда за ним увязался шпик. Однако здесь, в Софии, он был не подпольщик-коммунист, а законопослушный гражданин. Сейчас это значило бы сразу с головой выдать себя. К тому же, судя по шагам, преследователей было двое, да еще подозрительная тройца, блокировавшая улицу впереди. Мелькнула слабая надежда, что, возможно, все ограничится обычной проверкой. Тогда ничего страшного, документы у него в порядке, а каких-либо компрометирующих записей он при себе никогда не носил.

— В чем дело? — обернулся Побережник к двум догнавшим его хорошо одетым мужчинам, совсем не похожим на полицейских.

— Прошу вас проехать с нами, — негромко сказал один, отворачивая лацкан и показывая значок с четкой надписью «Дирекция на полицивта».

— Но позвольте, это какая-то ошибка. Я — Александр Муней, вот мой паспорт. Учтите, мой тесть — председатель митрополийского суда Тодор Панджаров, его хорошо знает сам царь... — попытался протестовать Побережник.

— Не волнуйтесь, разберемся. А сейчас не мешайте прохожим, — заявил полицейский, хотя, кроме уставившейся на них тройцы у пивной, на улице никого не было.

Сильные руки с двух сторон взяли его за локти и мгновенно втолкнули в распахнувшуюся дверцу подъехавшего «форда». «Такой же был у меня в Испании», — машинально отметил Побережник.

Еще на родине при подготовке разведчик заранее отработывает свое поведение в случае ареста, чтобы потом не пришлось импровизировать в экстремальной обстановке. Незадолго до этого Центр специально напомнил, что нужно придерживаться варианта «игрек», то есть отрицать какую-либо причастность к разведке, тем более советской.

— Агенты привезли меня в директорат полиции безопасности на улице Марии-Луизы, отвели к какому-то чину, причем, судя по отдельному кабинету, немалому. Это был средних лет мужчина, как я узнал позднее, старший следователь Коста Георгиев. Лицо бесстрастное, аккуратно подстриженные усики под Гитлера, косматые брови. Он указал на стоявший напротив его стола стул, предложил кофе, сигареты. Я отказался. Продолжал возмущаться незаконным арестом.

«Откуда вы взяли, что вас арестовали, господин Муней? — издевательски усмехнулся он. — Просто задержали, чтобы выяснить кое-какие мелочи: на кого вы работаете, где спрятана рация, что передавали и от кого получали сведения. Только и всего».

Я, конечно, заявил, что не понимаю, о чем он говорит.

«По происхождению я англичанин. Принял болгарское подданство, женился на внучке...»

«Не тратьте зря слов, господин Муней, это мы знаем и без вас. Нас интересует другое — ваша шпионская работа...»

Так продолжалось часа два: он требовал признания,

я все отрицал. Наконец полицейский не выдержал. С перекосившимся от злобы лицом перегнулся через стол и по-боксерски без замаха сильно ударил меня в подбородок.

«Вот из-за таких, как ты, гибнут тысячи людей!»

Я вскочил, закричал:

«Вы не имеете права бить меня! Я буду жаловаться царю!»

«Хоть самому господу богу! Только он не поможет. Подумай до утра, потом продолжим нашу беседу...»

Ночью в камере я почти не спал, пытался разобраться, почему меня взяли. Работал я один, без помощников. Если даже устроили обыск в квартире, ничего компрометирующего найти не могли. Единственная улика — передатчик, а его у них нет. Значит, не все еще потеряно, может быть, удастся выкарабкаться... — вспоминает о начале своей долгой тюремной эпопеей Побережник.

Утром в кабинете следователя его ожидал неприятный сюрприз — очная ставка с Димой. На ней присутствовал начальник полиции безопасности Козаров. Разведчик же решил придерживаться прежней тактики. Когда Дима заявил, что передавал через англичанина разведывательную информацию для русских, Побережник отрицал это. Утверждал, что по неизвестной причине тот старается оговорить его, Мунея, абсолютно ни в чем не виноватого болгарского гражданина, чью ложь могут подтвердить многие уважаемые люди.

Начальник полиции был явно разочарован, так как, видимо, возлагал на очную ставку большие надежды. Держать под арестом зятя весьма влиятельного, причем не только в церковных кругах, священника Панджарова значило идти на риск крупных неприятностей, если тот действительно окажется невиновным. Поэтому прямо при Мунее Козаров приказал произвести повторный тщательный обыск на улице Кавала: «Проверьте в луну каждую половицу! — раздраженно потребовал он от следователя. — Потребуется, разберите дом по кирпичику!..»

Теперь Побережнику стало ясно, что послужило причиной ареста. Он сам никаких ошибок не совершил. Поскольку ни его настоящего имени, ни адреса провокатор не знал, полиция, скорее всего, нашла Мунея по словесному портрету, установила за ним наблюдение. Однако, убедившись, что никто из многочисленных зна-

комых англичанина не является его агентом, а следовательно, он — не резидент, стоящий во главе разведывательной сети, на улице Марии-Луизы, очевидно, решили взять Муней, даже не имея прямых доказательств, что зять Панджарова связан с русскими. Со стороны контрразведчиков это был вынужденный шаг, продиктованный большой, по их мнению, опасностью, которую представлял этот шпион-одиночка.

Через три дня, когда Побережника привели в знакомый кабинет, по сияющему виду следователя он сразу догадался, что случилось самое худшее.

«Вот видишь, мистер Муней, как мы умеем работать, — торжествующе сказал Георгиев, поднимая прикрывавшую стол газету: под ней лежала приставка-передатчик. — Если тебе дорога жизнь, советую прекратить бессмысленное заперительство...»

Отрицать очевидное действительно не имело смысла. Оставалось одно — молчать.

В конце концов, терпение у следователя лопнуло. «Не хочешь по-хорошему, заставим по-плохому», — зловеще пообещал он, нажимая кнопку звонка.

В кабинет ввалились два дюжих молодца. Ни о чем не спрашивая Георгиева, они подошли к арестованному, каждый наступил ему на ногу, чтобы тот не мог откачнуться или отступить, и принялись деловито избивать его. Разведчик не издал ни единого стона. В паузах, когда следователь задавал вопросы, по-прежнему упорно молчал.

Совершенно обессиленного, Побережника приволокли в камеру и швырнули на пол. Он долго лежал неподвижно, ожидая, пока немного утихнет разлитая по всему телу боль. Бетон приятно холодил разбитое, опухшее лицо. «Славка пришла бы в ужас, если бы увидела сейчас своего Сашу, — почему-то подумалось ему. — Бедная Славка, она теперь осталась одна...»

— Что касается меня, то я не питал никаких иллюзий, — вспоминал позднее Побережник. — Спасти могло только чудо. Но в чудеса я не верил, хотя в моей жизни и было два случая, которые граничили с чудом: в Канаде, когда я ехал «зайцем» в поезде и был близок к гибели под колесами, и в Испании, когда задремал во дворе штаба за баранкой машины и по этой причине не поехал на повторную рекогносцировку под Уэской, благодаря чему остался жив...

В подвале директората полиции безопасности чудо исключалось.

Потянулись казавшиеся бесконечными недели жестоких побоев и истязаний. Особым садизмом отличался некий Богдан. Тот по ночам врывается в камеру и, ставив Побережника за волосы на бетонный пол, принимался топтать. Следователь Георгиев не терял надежды сломать упрямца-англичанина. Раз пятнадцать он применял такой прием: допрашивал разведчика сразу после зверской, как он говорил, «экзекуции». Расчет строился на том, что у измученного пыткой человека скорее развяжется язык. От Муней требовали, чтобы он раскрыл шифр и схему связи, назвал лиц, через которых добывал разведывательную информацию. Но «расколоть» его никак не удавалось.

Делом советского шпиона заинтересовались гестапо, СД и доктор Делиус, личный представитель начальника абвера адмирала Канариса. Они потребовали передать англичанина им, гарантируя «положительный результат», однако болгарские контрразведчики не пошли на это.

— Впоследствии я узнал, что фактически меня спасли родственники Славки, в первую очередь ее дед, использовавший свои немалые связи. А матери, Петранки Петровой, даже удалось добиться свидания со мной. Она была душевная женщина, хорошо относилась к зятю и очень переживала мой арест. — Семен Яковлевич показывает фотографию немолодой болгарки с простым, открытым лицом, напряженно глядящую в объектив, как это бывает с непривыкшими фотографироваться крестьянками. — Во время свидания она рассказала, что ее и Славку тоже арестовали, подзревая в «содействии государственному преступнику», то есть мне. Но быстро выпустили за отсутствием улик, установив, что они знают меня только как приехавшего из Америки туриста, англичанина по национальности, и не имеют никакого понятия о моих секретах. Их показания свелись к тому, что я умел чинить часы, мог работать электромонтером, а одно время даже был совладельцем мелкого транспортного предприятия. Под конец свидания Петранка шепнула: «Дед Тодор благодарит тебя за то, что помогал русским братушкам».

Изредка в камеру наведывались тюремщики, но били скорее по инерции, хотя боль от этого не стано-

вилась менее острой. Неожиданно их визиты и допросы прекратились. Об арестованном словно забыли, предоставив заживо гнить в затхлом подвале. Началась изошренная, мучительная пытка неизвестностью.

Тесная холодная камера походила на каменный гроб. В тусклом свете лампочки под потолком, забранной частой металлической сеткой, все было серым: стены, одеяло, собственные руки. Время тянулось невыносимо медленно. Иногда казалось, оно вообще остановилось. Следователь Георгиев не сомневался, что рано или поздно англичанин заговорит. Когда почувствует, что сходит с ума, превращается в животное, инстинкт самосохранения заставит его сделать это. Нужно только запастись терпением.

Что такое тюрьма, Побережник узнал еще в Америке, испытал в Бельгии. Главное — не распускаться. Где-то там, за толстыми стенами, на бульварах, наверное, уже проклевываются почки на деревьях, а на Витоше удерживается зима, лежит снег. Хорошо бы сейчас от Драгалевцев пешком, не торопясь, подняться к ее вершине, полюбоваться оттуда лежащим впризуд, словно в чаше, городом. Кругом такой простор... «Да у меня же приступ клаустрофобии¹», — ловит себя разведчик. Чтобы не терзать душу, он решает «прогуляться» в Люлин. Это, конечно, далековато, но времени у него сколько угодно. Тем более что ходьба — шесть шагов по диагонали, три по торцу — помогает думать.

...Однажды в Испании, сбившись с дороги, они чудом проскочили на машине по захваченному франкистами мосту. Тогда Пабло Фриц сказал: «Хуже смерти лишь плен. Если у тебя остался последний патрон, считай, что святая Мария сделала подарок. А если она отвернулась, сумей умереть достойно, по-солдатски, стиснув зубы и не проронив ни звука».

Фриц прав. Но разведчик не просто солдат, и смерть для него далеко не всегда единственный достойный выход. Его долг продолжать сражаться даже тогда, когда это кажется невозможным. Побережнику вспомнились слова одного из наставников, человека с двумя ромбами в петлицах, фамилию которого он не знал: «В случае провала нужно приложить все силы, чтобы известить своих и уберечь от опасности других, пусть неизвестных тебе товарищей».

¹ Боязнь замкнутого пространства.

...Человек сидел спиной к окну, его лицо было в тени, но Побережник все-таки разглядел и слишком белые для такого возраста виски, и две резкие вертикальные морщины, прорезающие лоб от ежика к переносице, и неожиданно толстые, мягкие губы добряка. Посмотрев на них, физиономист наверняка бы отметил среди черт его характера уступчивость и душевную податливость. И попал бы пальцем в небо: этот человек, побывав в самых немыслимых ситуациях, доказал, что обладает железной волей и редким, даже для людей его профессии, хладнокровием.

Еще труднее определить его национальность. Он мог быть и греком, и турком, и французом. Последние два года находился там же, где и сидевший перед ним бывший волонтер Двенадцатой интербригады. Только «по другую сторону баррикады»: был испанцем и работал в штабе генерала Мола, который считал его образцовым офицером и настоящим фалангистом. Известие о гибели своего любимца — он «утонул», купаясь в Эбро, — генерал воспринял как личное горе и три дня носил на левом рукаве черную траурную повязку.

В тот день наставник был весел. Шутил, улыбался. А напоследок сказал: «Как это ни парадоксально, но радиоигра, если ее ведут умело, может помочь раскрыть истинные планы противника».

Кстати, Центр недавно напомнил, что в крайнем случае следует использовать вариант «Но пасаран» — так условно назвал ложную перевербовку наставник. Побережник понимал, что рассчитывать на помощь извне не приходится, нужно полагаться только на себя. Именно для того, чтобы убедительно сыграть будущую труднейшую роль, он упорно молчал. Согласие работать под контролем у него должны вымучить. Вот тогда ему поверят. Главное при этом было точно выбрать момент, когда должен «сломаться» англичанин Александр — Альфред Джозеф Муней.

По тому, что вдруг стали лучше кормить, дали второе одеяло, разведчик догадался: приближается развязка. Наконец, после долгого перерыва его вновь повели на допрос.

В кабинете кроме следователя Георгиева находился и начальник полиции Козаров. Оба держались подчеркнуто вежливо, даже любезно. Правда, их, на первый взгляд невинные, фразы о приближении весны,

о том, как приятно оказаться на свободе в такое чудесное время года, невольно бередили душу. Потом, как и в самый первый раз, ему предложили кофе, сигареты.

— Кофе — с удовольствием, — делая вид, будто принимает их показную любезность за чистую монету, согласился Побережник. — От сигарет увольте, берегу здоровье.

— Напрасно. Выкурить хорошую сигарету большое удовольствие. А о здоровье не беспокойтесь, оно вам не понадобится. Завтра вас расстреляют, — меланхолично сказал Козаров.

— Как... это? — изображая растерянность, с трудом выдавил из себя Побережник.

— Очень просто: на стрельбище в Лозенце.

Контрразведчики могли праздновать победу. Психологический шок подействовал куда сильнее физических пыток. Арестованный чуть не сполз со стула. Хваленое английское хладнокровие изменило ему. Лицо стало жакким, а губы тряслись так, что он не мог произнести ни одного слова.

Вдоволь насладившись зрелищем поверженного врага, Козаров бросил утопающему спасательный круг:

— Впрочем, для вас еще не все потеряно, если проявите благоразумие и немного поработаете на нас. Согласны? — Ни в коем случае нельзя дать ему опомниться.

— Да... — еле слышно прошептал англичанин.

В тот же вечер из тюремной камеры Муней передал телеграмму, в которой сообщал, что лежал в больнице с воспалением легких, но сейчас выписался, чувствует себя лучше и готов приступить к работе. Когда Побережник зашифровал ее, он поразился примитивности составленного контрразведчиками текста. В Центре сразу сообразит: воспаление легких не такая уж висзанныя и тяжелая болезнь, чтобы разведчик не смог предупредить о перерыве в связи. Ведь для экстренных случаев предусмотрено специальное расписание. Кроме всего прочего в текст было включено предупреждение о том, что в среду на следующей неделе «Волга» передаст очень важную информацию. Это вообще не укладывалось ни в какие правила. Для верности Побережник поставил в конце сообщения точку — условный знак работы под контролем. Проверив-

ший шифровку специалист-криптограф ничего не заметил, и телеграмма ушла в эфир.

После небольшой паузы «Кама» коротко ответила: «Вас поняли. Надеемся на скорое выздоровление. Ждем сообщений».

Вариант «Но пасаран» вступил в силу.

Присутствовавшие при сеансе связи начальник полиции Козаров и неизвестный Побережнику полковник в жандармской форме остались очень довольны. Шутка ли сказать, иметь такой козырь перед немецкими «друзьями» из абвера и гестапо, как работающая под их диктовку советская агентурная радиостанция.

Во время второго выхода на связь Муней сообщил о намерении немцев вернуть значительную часть своих кораблей для усиления обороны дунайского побережья Австрии и Венгрии. Чтобы у Центра не оставалось сомнений, что это — дезинформация, разведчик, как и в прошлый раз, не стал менять кварцы в ходе передачи, а в конце опять поставил точку. Наблюдавшие за ним радисты не обратили на это внимания. Они были уверены, что Муней полностью «раскололся». По его признанию, сигналом тревоги являлось отсутствие даты в телеграмме.

Увы, проверить это оказалось невозможно, поскольку немецкая и болгарская службы радиоперехвата располагали лишь обрывками прошлых сообщений «Волги». Сколько ни бились с ними немецкие криптографы, они не смогли прочесть ни слова: шифр был слишком стойкий. Англичанин использовал роман Киплинга «Свет погас», наугад выбирая страницы и каждый раз меняя способ наложения гаммы. Естественно, никаких пометок в книге он не делал, а запомнить детали каждой шифровки было сверх человеческих сил.

То, что «Волга» «попала в плен», Центру стало ясно еще во время первого сеанса связи. Было принято решение помочь оказавшемуся в трудном положении разведчику. В очередном сообщении «Кама» специально «от имени командования» передала благодарность за важную информацию, касающуюся оперативных планов германских ВМС на Черном море, и просила впредь такие сведения направлять вне всякой очереди. Эти два слова «от имени командования» сказали Побережнику, что радиоигра началась.

О «блестящем успехе» болгарской контрразведки было доложено генштабу, поспешившему подключиться

к столь многообещающему в плане наград обману русских. Музея перевели на конспиративную квартиру — маленький двухкомнатный домик в Коневнице, обнесенный глухим забором. В первой комнате поселились четыре охранника, один из которых круглосуточно дежурил во дворе. Во второй, с забранными решетками окнами, жил англичанин. Днем его выводили подышать воздухом в крошечный садик с несколькими чахлыми деревьями, почти не дававшими тени. Когда предстоял выход в эфир, к вечеру являлся радист-шифровальщик, доставал из железного ящика передатчик, а потом сидел рядом, пока Побережник работал на ключе. Донесения «Волги» и расшифрованные телеграммы «Камы» он каждый раз забирал с собой.

Радиообмен между «реками» был настолько интенсивный, что, как прикинул Побережник, для составления дезинформации в генштабе наверняка пришлось оторвать от дел не одного, а целую группу офицеров. Впрочем, не осталась в стороне и контрразведка. По ее заданию «Волга» попросила Центр организовать присылку подводной лодки к определенному участку побережья в районе Варны, чтобы взять на борт бежавшего из тюрьмы человека, чей псевдоним — Диран.

«Кама» ответила согласием, был обусловлен день и час randevu в море неподалеку от берега. Но в назначенное время подводная лодка не пришла. Не было ее и на следующий день. Затем из Центра сообщили: помешала слишком яркая луна. Придраться контрразведчикам было не к чему. Вторая ночь действительно выдалась безоблачной и лунной. Не могли они возразить и против решения Центра вообще отменить операцию, поскольку подлодке было опасно слишком долго находиться поблизости от побережья.

Однако смеливший Павлова новый глава директрата полиции безопасности Сава Куцаров полагал, что подконтрольная «Волга» все же должна помочь ему списать славу непревзойденного охотника за шпионами в глазах очередного премьера Муравьева.

На сей раз переданная разведчиком в понедельник просьба была скромна: положить сто тысяч левов в лунку под правой задней ножкой крайней скамейки на Драгомирском бульваре. Деньги нужны для подкупа тюремной охраны в Варне. После неудавшегося randevu полиция выследила и опять схватила Дирана. Причем время не терпит, так как в ближайшие дни

арестованного могут перевести в Софию и освободить его будет гораздо труднее.

В четверг ночью Куцарову доложили, что от русских получен ответ: за деньгами нужно прийти в пять часов утра в пятницу.

Побережник был уверен, что в Центре найдут способ выйти из положения и одновременно не скомпрометировать ведущуюся радиоигру. Но вот как это сделать, он не представлял и поэтому весь день не находил себе места.

Вечером, как всегда за два часа до эфира, пришел новый радист. Когда он начал проверять и настраивать передатчик, Побережник мимоходом спросил, где его постоянный контролер Георге, уж не заболел ли? Тот молча сложил из пальцев решетку. Остальное рассказала предназначенная для отправки телеграмма: «В лунке нашел пустой конверт. Деньги, видимо, украдены. Прошу повторить закладку тайника с подстраховкой, заранее сообщив время». Она объяснила и исчезновение Георге. Когда контрразведчики обнаружили, что вытянули пустышку, то задали себе вопрос: кто знал о деньгах? Только радист, очевидно, соблазнившийся большой суммой и через сообщников организовавший дерзкое похищение. А в насмешку над ротозеями-филерами оставили пустой конверт.

С тех пор как разведчик оказался в этой маленькой тюрьме на окраине Софии, он, пожалуй, впервые с таким удовольствием работал на ключе. Больше всего радовало сознание, что он не один, рядом продолжают действовать его товарищи. Да еще как виртуозно! Бульвар, вне всякого сомнения, находился под наблюдением тайных агентов. И все-таки они ухитрились обвести их вокруг пальца.

Ответное сообщение «Камы» напомнило Побережнику ловкий ход в запутанной шахматной партии: «О решении сообщим через два дня». Интересно, как долго продлится она и каков будет исход?

Об этом же гадали в директорате полиции безопасности, обосновавшемся в бывшем Народном доме на улице Марии-Луизы. Не случайно в тот вечер, когда от «Камы» должен был прийти ответ, на конспиративную квартиру явился уже знакомый разведчику жандармский полковник в сопровождении какого-то геперала. Ровно в полночь Побережник отстучал свой позывной, перешел на прием. И тут же понеслись скоро-

стрельные очереди точек и тире. Вместе с радистом они записывали их в две руки. Телеграмма оказалась длинной. Наконец, после традиционного пожелания успеха, «Кама» умолкла.

Муней взял толстый том романа «Свет погас», нашел нужную страницу и не спеша начал превращать в буквы колонки цифр. Рядом, проверяя его, сопел радист. За спиной нервно переминались с ноги на ногу офицеры. Но вот сообщение Центра аккуратно выписано на специальном бланке, который англичанин вручил полковнику: «На Драгомирском бульваре сегодня заложены еще сто тысяч левов. Тайник надежно обеспечивается постоянным наблюдением. Пакет следует взять немедленно. Освобождение Дирана считаем целесообразным провести в Софии. Деньги передайте полковнику Петру Жекову. Он согласен организовать побег арестованного при доставке из тюрьмы на допрос в следственное отделение. Для встречи с Жековым на ваше имя в кассе кинотеатра «Модерн» оставлен билет рядом с ним в 10-м ряду на последний сеанс в среду. Выемку денег и передачу по назначению подтвердите».

Оба офицера буквально впились глазами в текст телеграммы. Побережник с удивлением увидел, как вдруг побагровело лицо полковника. Генерал, напротив побледнел. «Сдайте оружие», — властно приказал он, как только чтение закончилось. И тут разведчику пришла кажущаяся невероятной мысль: «А что, если полковник Жеков и есть этот офицер в жандармской форме?»

Трясущимися руками полковник расстегнул кобуру и протянул пистолет генералу. Тот спрятал оружие в карман, затем бросился в соседнюю комнату охраны. Через распахнутую дверь было слышно, как он по телефону приказал срочно выслать дежурный наряд на Драгомирский бульвар. Он тоже сейчас выезжает туда...

После того как офицеры поспешно ушли, растерянный радист еще целый час сидел у Побережника, ожидая распоряжений, что делать дальше. В конце концов он забрал злополучную шифровку и уныло покинул конспиративную квартиру. Больше разведчик его не видел.

Присланный на замену третий по счету радист-шифровальщик Петко, в отличие от остальных, оказал-

ся веселым, словоохотливым парнем, к тому же большим любителем выпить. До начала сеанса он обычно ограничивался рюмочкой-другой мастики. Зато потом, когда связь была закончена, Петко все внимание переключал на бутылку, предоставив Мунейю заниматься нудной расшифровкой.

Побережник не понимал, как можно пить эту гадость с отвратительным лекарственным запахом. Однако радист утверждал, что мастика — лучший в мире напиток, который даже не надо закусывать. Его изобрели греки, а делают из аниса, таких красненьких яблочек, просвещал он бестолкового англичанина. Петко холост, спешить ему ночью некуда, да и боязно. В последнее время в Софии активизировались партизанские боевики. От этих пуль уже погибло немало верных правительству людей, например, видный деятель Янев, председатель Союза легионеров генерал Луков и даже бывший директор департамента полиции Софии, председатель военно-полевого суда Пантев. А ведь их охраняли, не то что его, беднягу радиста, вздыхал Петко.

В припадке пьяной откровенности он выболтал разведчику, чем закончилась история со злополучной телеграммой. Ведь Муней, доложивший в Центр, что задание выполнено, не знал главного. Когда начальство примчалось на Драгомирский бульвар, в тайнике действительно лежали деньги. Тогда генерал вернул пистолет Жекову и сказал: «Надеюсь, утром мне доложат, что вас уже нет». На следующий день полковника нашли застрелившимся у себя в квартире. При обыске в кармане одного из его штатских костюмов обнаружился и билет в кинотеатр «Модерн».

...В начале августа радист исчез. Вместо него никто больше не приходил, поэтому «Волга» молчала. Между тем из разговоров встревоженных охранников Побережник узнавал радостные новости: «Красная Армия все ближе подходила к границам Болгарии.

— Друзья в последствии шути спрашивали меня: «Семен, где ты прячешь свою рубашку?» — «Какую рубашку? О чем вы?» — «Да ту, в которой родился!»

Смех смехом, но в каждой шутке есть доля правды: судьба все же была ко мне милостива, хотя я не один раз был, как говорится, на волосок... В той же Софии, например, контрразведка вполне могла в по-

следний момент ликвидировать «перезербованного» агента...

Побережнику повезло. Когда в ночь на 9 сентября в столице произошло восстание, подготовленное Коммунистической партией Болгарии, полиция разбежалась. Скрылись и охранники с конспиративной квартиры.

— Так, видно, спешили, что даже входную дверь за собой не заперли, — вспоминает Семен Яковлевич. — Я очутился на свободе. Но, поскольку обстановка оставалась тревожной, решил временно опять уйти в подполье. Благополучно выбрался из города и отправился к Василию, второму дяде Славки, который жил в селе Девеница. Там я узнал долгожданную весть: советские войска под командованием маршала Толбухина перешли румыно-болгарскую границу и идут к Софии.

Пути-дороги

Впервые о Семене Яковлевиче Побережнике я услышал в конце пятидесятых годов. Тогда он был «человеком без имени», одним из тех закордонных советских разведчиков, которые внесли немалый вклад в Победу. Таким Побережник оставался для меня целых десять лет, пока я не прочитал в журнале «Экран», что «человек этот необычной биографии, во многом родственной биографии Рихарда Зорге; своей храбростью, находчивостью он не раз отличался в боях и тогда, в Испании, и после, во время Отечественной войны, когда работал в тылу врага и передавал нашему командованию ценнейшие сведения о противнике». Это написал прославленный полководец, генерал армии Павел Иванович Батов.

Значит, Семен Яковлевич Побережник наконец пришел из небытия и о нем можно писать! Полный надежд, я выехал в командировку в село Клишковцы Хотинского района Черновицкой области, где жил бывший разведчик-интернационалист.

...На тихой улочке, где дома спрятались в густой зелени садов, притулилась хата с маленькими оконцами, под камышовой крышей. Один ее скат нависает над стеной с низенькой дверью. Перед ней — истертая каменная плита.

— Здесь я родился и рос, — говорит Семен Яковлевич, — от этого порога начались мои странствования.

А вот эти семь холмов, — он широким жестом обводит вокруг, — виделись мне всю жизнь. Знаете, как в песне поется: «С чего начинается родина...»

Между прочим, с этим отцовским подворьем связан любопытный случай. Однажды Побережник решил разобрать стоявший там старый сарай и в тайнике между бревен обнаружил пожелтевший газетный сверток. Недоумевая, что бы это могло быть, развернул. В руках оказалась пачка собственных писем — их аккуратно собирал и прятал покойный отец. На конвертах выцветшие от времени штемпели: Детройт, Антверпен, Стамбул, Париж, Мадрид...

О чем же писал из дальних краев в родные Клишковцы Семен Побережник? Я перебираю ломкие от времени листочки, вчитываясь в размашистый угловатый почерк.

«Вы спрашиваете, где я держу деньги. Об этом нечего журиться, бо их нет, — бросаются в глаза, видимо, подчеркнутые отцом строчки в одном из первых писем откуда-то из Латинской Америки. — Спрашиваете, обеспечен ли я чем-нибудь, случись в море несчастье. То я вам отвечаю, что нет. Потому что за это обеспечение надо платить из своего жалованья, Дело обстоит так: если пароход утонет, кто останется живой, получит жалованье за два месяца и одежду».

«До сих пор не могу найти работу, — сообщает Побережник из Неаполя. — Здесь и вообще везде стало очень трудно. С каждым днем все хуже и хуже. Но хуже, чем в Италии и Германии, нет нигде».

«Вы пишете, что у вас пала одна власть и ее место заняла другая, — отвечает он из Антверпена на письмо отца. — Это явный обман, чтобы затмить населению глаза. В сущности, ни рабочим, ни крестьянам легче не станет до тех пор, пока в стране не будет правительства, которое не на словах, а на деле начнет защищать их интересы».

«Я еще не работаю и не предвидится. Продолжаю быть здесь на нелегальном положении», — извещает он родных из Парижа.

Потом, когда я слушал воспоминания Семена Яковлевича, то подумал, что не одну, а несколько жизней, совершенно непохожих друг на друга, прожил этот седой человек с орлиным профилем. Первая прошла здесь, в украинском селе Клишковцы, где мальчишкой он сопровождал отца-лесника в обходах по солнеч-

ным дубравам, в земско-приходской школе познакомился с Пушкиным, Шевченко, Гоголем, а в октябре семнадцатого года видел, как за околицей румынские каратели расстреливали восставших клишковецких крестьян.

Вторая жизнь началась в 1927 году, когда, спасаясь от призыва в румынскую армию, Семен Побережник тайком от властей подался за океан. Неприветливо встретили в провинции Альберта, житнице канадского Запада, буковинского парня, умевшего лишь «пахать, сеять да за лошадьми смотреть». Перебивался случайными заработками: батрачил, был подсобником на стройке, мойщиком машин. «Здесь так же, как в нашей Бессарабии, тяжело жить простому человеку, — писал Семен на родину. — Доллар тут хозяин. А добыть его рабочему человеку не так-то легко». В ответ получил от отца письмо с адресом родственника, устроившегося в США в городе Детройте.

«Почему бы, в самом деле, не двинуться туда?» — подумал Побережник и пустился в дальний путь чуть ли не через всю страну. Со многими приключениями, «зайцем» на товарняке, а то и пешком, добрался он до автомобильной «столицы», разыскал этого родственника, и тот помог устроиться к «самому Форду»... черно-рабочим в литейный цех.

Первое время буковинец очень страдал от одиночества, от того, что на него смотрели словно на коврики или опоку с формовочной землей. Объяснялись односложными командами да жестами: «Подай! Убери! Отнеси!» Но постепенно Семен убедился, что и здесь есть душевные люди, что не каждый сам по себе. Нашелся в литейном цехе американец по имени Адамс, знавший русский язык, который побывал на Украине, работал там в кооперативе.

— Не знаю почему, но он вызвал у меня доверие, — вспоминает Побережник. — Я рассказал, как очутился за океаном; признался, что чувствую себя на заводе никому не нужным чужаком. Адамс познакомил меня с другими рабочими, учил языку, словом, помогал освоиться в непривычной обстановке. Да и литейщики вскоре перестали сторониться новичка. Однажды ко мне подошел горновой и шепнул, чтобы я зашел в кладовую за инструментами. Я еще удивился: «Чего это он шепчется?» А в кладовой вместо инструмента дали пачку листовок, чтобы я незаметно распространил их

в литейном и в соседних цехах. Ничего особо крамольного в них не было, просто требования к администрации: ввести восьмичасовой рабочий день, не снижать расценки, не увольнять рабочих, чтобы взять на их место других за меньшую плату.

Свое первое общественное поручение я выполнил быстро. Только оно оказалось и последним: когда уже доклеивал листовки в уборной, меня застучали охранники, отвели в контору. Оттуда напрямиком в тюрьму, а через неделю суд вынес приговор: девять месяцев заключения. Помню, подумал: «Стоило ради этого плыть за океан?..»

Тогда Побережник не мог и предположить, что еще не раз за ним будут с лязгом захлопываться двери тюремных камер в разных странах.

Когда срок заключения подошел к концу, с Семена взяли подписку в том, что он уведомлен о запрещении впредь жить или появляться на территории США. Потом под охраной его доставили в Балтимор, где посадили на старый бельгийский сухогруз «Ван», шедший в Чили за селитрой. По пути, когда судно заходило бункероваться в американские порты, за ним каждый раз являлись полицейские и на время стоянки запирали в местную тюрьму. «Надо же, как меня, простого буковинского хлопца, боятся», — не переставал удивляться Семен.

На судне он узнал, почему его выслали столь необычным способом: на «Ване» был некомплект команды, и капитан согласился за небольшую плату доставить за границу нежелательного иностранца. Побережника же волновало, что он будет делать, если его высадят в каком-нибудь порту. Поэтому он изо всех сил старался быть полезным: драил палубу, помогал на камбузе, с готовностью выполнял любые поручения. Старательность буковинца понравилась капитану, и он объявил обрадованному парню, что зачисляет его юнгой в палубную команду. Так потомственный крестьянин стал моряком.

— За полтора месяца, что мы шли до Чили, я буквально влюбился в море, мог часами любоваться им. Оно завораживало, умиротворяло, куда-то улетучивались все неприятности и заботы. — Обычно сдержанно-серьезное, пожалуй, даже немного суровое лицо Семена Яковлевича прямо на глазах смягчается, молодеет. — Не поверите, но, качаясь почью на подвесной

койке в дульном кубрике, я видел во сне море, какие-то фантастические острова, диковинных голубых птиц. И что самое удивительное, такие сны продолжали сниться мне и потом, когда я расстался с морем...

Команда на «Ване» была разношерстная: греки, скандинавы, немцы, чехи, итальянцы. Среди них оказались двое людей, сыгравших решающую роль в судьбе Побережника: русский Федор Галаган и венгр Ян Элен. Первый плавал на броненосце «Потемкин», после восстания бежал за границу и с тех пор скитался по свету. Молодой буковинец приглянулся бывшему матросу-потемкинцу. А когда он услышал, что в Штатах Побережник сидел в тюрьме за распространение листовок, дружески хлопнул по плечу:

— Выходит, мы с тобой одного поля ягоды. Ты, Сема, духом не падай. Про Ленина слышал? Будет порядок. А пока выikai в наше моряцкое дело. Вижу, выйдет из тебя заправский мариман...

И Галаган взялся учить его: объяснял назначение различных механизмов на судне, обязанности членов экипажа, а попутно рассказывал о городах и странах, которые повидал, о Советах, появившихся на родине.

Второй наставник, венгр Элен, во время первой мировой войны оказался в плену в России, стал коммунистом. Вернувшись домой, сражался за установление советской власти в Венгрии, потом был вынужден эмигрировать.

— С Эленом я прошел марксистский ликбез, узнал, за что борются коммунисты, какова их программа да и многое другое. Ну а жизнь давала дополнительные уроки, особенно по части непримиримости интересов пролетариата и буржуазии, — смеется Семен Яковлевич. — То, что ему нечего терять, кроме своих цепей, я усвоил твердо. И, конечно, что за свободу нужно бороться, за нее не жалко и кровь пролить.

Куда идет истосковавшийся в плавании матрос, когда судно заходит в порт? Ясно, что туда, где можно развлечься: в кабак, в бордель. А вот Галаган, Элен да и кое-кто еще из команды шли в интерклуб. Почитать свежие газеты, встретиться со старыми друзьями, узнать последние новости. Меня тоже стали брать с собой, — продолжает Семен Яковлевич свой рассказ. — В таких клубах имелась и революционная литература, но давали ее, разумеется, не всем. В Антверпене, где был приписан «Ван», Элен познакомил

со своими товарищами-коммунистами. Спустя несколько месяцев, когда присмотрелись, проверили, приняли в партию и меня. Произошло это в 1932 году. Поскольку коммунисты находились в подполье, я взял себе партийный псевдоним Чебан, в память о нашем клипковчанине-революционере Чебане, которого на моих глазах расстреляли румынские каратели...

Навсегда запомнилось Семену Яковлевичу первое поручение: нелегально провезти на судне в Роттердам трех товарищей. К тому времени его уже сделали боцманом, так что все прошло без осложнений. Потом коммунисту-подпольщику Чебану еще не раз случалось тайно переправлять «живой груз» в Англию, Бельгию, Голландию, доставлять партийную литературу в фашистскую Италию. А когда по решению ячейки он осел на берегу, то, поскольку знал несколько языков, занялся политической пропагандой среди моряков заходивших в Антверпен судов. Так продолжалось целых два года, пока бельгийские власти не арестовали его за «антиправительственную деятельность». Приговор: шесть месяцев тюремного заключения с последующей высылкой из страны.

После отсидки оставаться в Бельгии, хотя бы и на нелегальном положении, стало опасно, и Семена Чебана — теперь уже Побережник стал им окончательно, — минуя пограничные формальности, переправили в Париж.

— Перед отъездом меня снабдили несколькими адресами. В их числе был и адрес «Союза возвращения на родину», то есть в Советскую Россию, на улице Дебюсси, 12, куда я первым делом и отправился. Там же размещалась партийная организация. Мне подыскивали квартиру, где можно было остановиться без паспорта, не опасаясь полиции, ведь я же находился на нелегальном положении. Впрочем, иногда приходилось ночевать на вокзалах или в гараже у одного моего товарища-сторожа, — рассказывает Побережник. — Позже на собрании секции металлистов Парижа меня приняли во французскую компартию, обменяли партбилет.

Нелегко было жить Чебану на птичьих правах в Париже. Чтобы заработать на кусок хлеба, мыл окна, натирал паркет, разгружал овощные фургоны на рынке, даже позировал натурщиком. А когда при «Союзе возвращения» открыли дешевую столовую, его

взяли туда поваром. Жалованья он не получал, зато больше не голодал. Это место было очень удобно еще и по другой причине. Партийная организация поручила Чебану вести работу среди эмигрантов. Ну а кому, как не повару, к тому же выходцу из России, готовы открыть душу истомившиеся на чужбине люди. Бывший крестьянин и бывший моряк быстро находил с ними общий язык. Объяснял, какими путями искать дорогу на родину, а пока — как отстаивать свои права, добиваться справедливости. Заходила речь и о фашизме. Чебан старался растолковать, какую опасность таит он в себе, причем не только в Германии, но и здесь, во Франции. Случалось Семену выполнять задания, связанные с риском, например, выступать перед белоэмигрантами, чтобы срывать их сборища, на которых поливали грязью Советскую Россию. До стрельбы, правда, дело не доходило, а так постоять за себя он умел, силой его природа не обидела.

«Пад всей Испанией безоблачное небо»

Семен Чебан не имел ни малейшего представления об этой условной фразе, переданной 17 июля 1936 года в сводке погоды из Сеуты, небольшого городка в испанском Марокко, которой генерал Франко дал сигнал к фашистскому мятежу. В Испании вспыхнула гражданская война. Из многих стран мира стекались добровольцы на помощь сражающейся республике. Немало желающих стать волонтерами нашлось и в «Союзе возвращения», причем одним из первых был Семен Чебан.

Однако секретарь парторганизации Ковалев охладил его пыл:

— В Испании нужны не просто те, кто готов идти в бой с фашизмом, а люди военных специальностей: артиллеристы, пулеметчики, шоферы... — начал было вагитать он пальцы.

— Это точно, что шоферы тоже нужны? — перебил Семен.

— Да, но ты же не шофер...

— Значит, буду им, — уверенно заявил Чебан.

Для такой уверенности у него были основания. Ночуя в гараже на улице Жевель, Семен из любопытства решил разобраться в устройстве двигателя, подолгу копался в испорченных моторах. Потом сел за

руль, научился перегонять по двору «рено» и «ситроены». Теперь же, чтобы стать заправским шофером, Чебан поступил на курсы и уже через месяц сдал экзамены на право вождения автомобиля. С гордостью сообщил об этом Ковалеву.

— Молодец, — скупо похвалил тот. — Готовься, скоро поедешь.

...В купе третьего класса почтового поезда, уходящего с маленького парижского вокзальчика д'Орсе на юг, в Перпиньян, было тесно: вместо восьми пассажиров на деревянных лавках жались десять. Поношенные куртки, кепки, рюкзаки вместо чемоданов без слов говорили, что отъезжающие направляются не на курорт. Скорее, они походили на безработных, едущих убирать урожай куда-нибудь в провинцию.

Сидевший у двери мужчина лет тридцати, в штопанных брюках гольф и высоких шнурованных ботинках, придирчиво разглядывал своих спутников. На худом, словно после болезни, лице бросался в глаза крупный, с горбинкой нос. Наряди этого человека в сутану, и получилась бы точная копия католического священника. А может быть, это просто казалось, поскольку в купе стоял полумрак.

Донесся свисток, вагон с лязгом дернулся. Когда за окном промелькнули последние парижские пригороды, «священник», разомкнув тонкие, бескровные губы, строго произнес:

— Я — ваш «респонсаль», старший группы. До Фигероса, пока не перейдем границу, прошу выполнять все мои указания. Меня зовут Семен Чебан.

— Неужели в Испании не хватает своих поваров? — притворно удивился юноша у окна в бельгийской блузе на «молнии».

— Повар — в прошлом. Теперь, как и вы, — волонтер, — не принял шутки Чебан. Он отвечал за доставку всей группы и считал, что нужно уже сейчас привыкать к военной дисциплине.

— Почти сутки тащился наш почтовик до Перпиньяна, куда прибыли уже под вечер. На всякий случай из вагона выходили поодиночке и, делая вид, что незнакомы между собой, направились по длинному перрону к зданию вокзала. Я шел впереди с двумя свертками в руках — вещественный пароль, по кото-

рому меня должен был опознать встречающий. В то время отправка добровольцев в Испанию происходила с соблюдением всех правил конспирации, но к этому за то время, что находился на нелегальном положении, и давно привык, — объясняет столь странный ритуал Семен Яковлевич. — После обмена условными фразами с каким-то невзрачным пареньком, подошедшим ко мне, все так же, цепочкой, мы направились за ним в город. На одной из окраинных улочек сопровождающий приостановился, едва слышно шепнул: «Ждите здесь. Никому не отлучаться. За вами придут» — и тут же исчез.

Ждать пришлось целый вечер. Лишь когда совсем стемнело, появился новый проводник и приказал идти за ним. «Соблюдать полную тишину! Не разговаривать, не кашлять, не курить!» — предупредил он. Следуя за немногословным провожатым, мы вышли из города и стали подниматься по каменистой дороге в горы. Мне этот почтой марки напомнил мой переходы бельгийско-французской границы, с той только разницей, что здесь шел проводник, а впереди была определенная цель. Все уже порядком устали, хотелось пить, но о привале никто даже не заикался. Наконец, далеко за полночь мы вышли к какому-то домику, где ждал старый, разбитый автобус. Это была уже долгожданная Испания.

В Альбасете, где формировалась Двенадцатая интербригада, меня зачислили в автороту водителем санитарной машины, — продолжает свой рассказ Побережник. — Конечно, хотелось взять винтовку и идти в бой, но в армии приказы не обсуждаются. Впрочем, как только нас отправили на фронт, я быстро убедился, что работа у меня отнюдь не тыловая. За ранеными подъезжали к самому переднему краю, поэтому, случалось, попадали в такие переделки... Под Мадридом, например, нашу «санитарку» изрешетили из пулемета, пришлось отдать ее в ремонт...

Но не только за баранкой воевал волонтер Семен Чебап.

Осенью 1936 года в республиканскую армию стали поступать советские танки Т-26. Получила их и Двенадцатая интербригада. Но танков было мало, поэтому командование отдало приказ — не оставлять на поле боя ни одной подбитой машины, во что бы то ни стало

эвакуировать их. А тут, как назло, во время атаки у Т-26 снарядом перебило гусеницу, и он, размотав за собой длинную стальную ленту, застыл на ничейной земле. Франкисты пристрелялись по нему из пулеметов и не давали подойти к подбитой машине. Из-за сильного огня экипаж тоже не мог носа высунуть, но и противнику приблизиться не позволял: с десятков трупов лежали перед танком. На случай, если кончится боекомплект, все время были наготове интербригадовские снайперы. И все же положение оставалось критическим.

Прошло почти двое суток, когда в расположение батальона приехал за ранеными Чебан. От них он узнал об осажденном танке и сразу загорелся мыслью попытаться спасти его. Чтобы обмануть противника, он попросил командира танковой роты Родригеса ближе к рассвету начать поочередно запускать танковые моторы. Франкисты решат, что с утра интербригадовцы пойдут в атаку, будут готовиться к ее отражению, внимание к подбитому танку у них наверняка ослабнет.

— Когда чуть-чуть забрезжило и в тишине застреляли выхлопы танковых моторов, я вылез из окопа, — вспоминает Побережник. — Немного подождал. Пулеметы молчат. Тогда я по-пластунски пополз к поврежденной машине. Пока добирался до нее, меня, к счастью, не обнаружили. А вот как дать о себе знать? Стучать по моторной части? Могут не услышать. Подобраться сбоку к боевому отсеку? Опасно. Если франкисты заметят, начнут поливать из пулеметов. И ребят не выручу, и сам погибну. Кое-как протиснулся под днище, тихоенько постучал. Никто не откликается. Постучал сильнее: «Я — свой! Спите, ребята? Есть кто живой?»

Слышу, в танке зашевелились, но молчат. Видимо, опасаются, не провокация ли это, не хотят ли их хитростью выманить. Чтобы убедить танкистов, назвал фамилию Родригеса, а заодно и свою. Наконец они осторожно открыли люк и один за другим выскользнули из своей стальной мышеловки. Обрато доползли тоже незамеченными. Нам повезло: днем франкисты к танку больше не совались, а на следующую ночь вытянули его тягачом на длинном тросе.

Как говорится, аппетит приходит во время еды, — смеется Семен Яковлевич. — Вскоре я так паловчился в этом деле, что меня начали всерьез считать специа-

дистом по эвакуации с поля боя поврежденной техники...

Отличился Семен Чебан и в качестве изобретателя нового оружия. Во время боев в Университетском городке на окраине Мадрида рота интербригадцев занимала правую сторону улицы, а прорвавшиеся мятежники — левую. Расстояние между ними было всего несколько десятков метров, поэтому артиллерию применить нельзя. Без нее же выбить франкистов, засевших в каменных домах, никак не удавалось.

Тогда Чебан предложил выкурить их из огнеметов. Сначала командир не понял его: ведь никаких огнеметов, ни ранцевых, ни стационарных, на вооружении интербригадцев не было. Оказалось, что смекалистый волонтер имел в виду обычную винодельческую технику, с которой когда-то имел дело у себя в селе. Здесь в подвалах Семен разыскал винные бочки, ручные насосы и длинные резиновые шланги для перекачки вина. Идея была проста: залить в бочки бензин, ночью завести концы шлангов в дома, где находились фашисты, а затем поджечь.

План Чебана был одобрен. С наступлением темноты несколько добровольцев во главе с ним переползли улицу, волоча за собой шланги. К их концам заранее привязали тлеющие фитили. Осторожно просунув шланги в дверные и оконные проемы, смельчаки благополучно вернулись назад. Как только последний оказался в своем расположении, бойцы начали качать бензин. У франкистов в это время бодрствовали лишь выставленные на ночь наблюдатели. Хлынувшие в комнаты струи огня настолько ошеломили их, что они даже не сразу подняли тревогу. Часть спавших фашистов погибла в том большом пожаре, остальные в панике бежали.

Вообще, в боевой обстановке Чебан не раз проявлял находчивость, свойственную крестьянину, на плечах которого лежат заботы о хозяйстве. Кстати, был случай, когда из-за нее Семена в автороте прозвали «капиталистом». После ожесточенного боя неподалеку от переднего края остались два подбитых грузовика. Приезжая за ранеными, Чебан все поглядывал на них, никак не давали они ему покоя. Во время затишья пробрался к ним, осмотрел. Кузова почти целые, оси

тоже. Моторы хоть и задеты пулями, но еще можно отремонтировать.

Вернувшись, Семен сказал напарнику, бельгийцу Жаку, что хочет попробовать спасти грузовики: спрячется возле них, дождетя, когда будет проходить какая-нибудь воинская часть, и попросит отбуксировать в ближайший мадридский гараж. Напарник пожал плечами, стоит ли из-за двух разбитых машин рисковать головой, но отговаривать Чебана не стал. При его упорстве это было бесполезно.

Все вышло как нельзя лучше. В Мадрид шла колонна, и Чебан уговорил взять на буксир его трофей. Механики в гараже, осмотрев машины, пообещали вернуть их к жизни. Напоследок спросили Семена, из какой он части. Тот ответил: «Интербригада».

Прошло две недели. Чебан уже забыл о спасенных грузовиках, как вдруг его вызывают к командиру автороты. Это был спокойный, немного даже флегматичный немец, не склонный к юмору. Поэтому Семен не на шутку струхнул, когда тот принялся сердито отчитывать его:

— Ты есть шлехт человек, айн капиталист. Зачем скрывать, что иметь цвай машина?..

Оказалось, что речь шла об оставленных им в гараже грузовиках, из-за которых Чебана разыскивали по всей интербригаде. В тот же день вместе с другим водителем он пригнал обе машины в часть и пересел на одну из них.

— В общем, моя боевая «карьеря» складывалась неплохо. Поэтому я удивился, когда однажды после рейса подходит командир автороты и говорит: «Геноссе Чебан, сдавайт свой грузовой машина. Ты переходить ест в распоряжение айн командир Пабло Фриц. Твой будет возить его на «форд».

Я, как и положено, выполняю распоряжение моего непосредственного начальника. Но он понял, что я не особенно радуюсь этому, похлопал меня по плечу и сказал: «Не унывай, наш Пабло...» — и выставил большой палец, да и «форд», мол, машина хорошая.

Вот такие дела...

Новое назначение я встретил без особой радости, — признается Семен Яковлевич. — Раньше начальство во-

¹ Под этим псевдонимом в Испании воевал известный венгерский писатель-коммунист Матэ Залка.

зять не приходилось, как это у меня получится! Фрица я видел несколько раз вместе с командиром бригады генералом Лукачем¹. Невысокого роста, худощавый. Одет в защитную форму без знаков различия. От ребят в автороте слышал, что это какой-то штабной работник, знает русский язык. Помню, меня даже обидело: товарищи будут жизнью рисковать, а я — в тылу, в штабе, отсиживаться...

Но Семен Чебан ошибся. Его новый начальник проводил на передовой не меньше времени, чем в штабе. Никогда не забудут они Уэску, куда на Арагонский фронт была переброшена бригада генерала Лукача...

— Я до сих пор помню до мельчайших подробностей все, что произошло в тот день, 11 июня 1937 года. С утра вместе с Лукачем и комиссаром Реглером съездили на рекогносцировку. Когда вернулись в штаб, солнце стояло уже высоко. Фриц предупредил, что скоро поедем еще раз, и я остался в машине. Накапуне ночью спал мало, поэтому не заметил, как задремал. Когда командиры опять собрались на рекогносцировку, Лукач пожалел будить меня. Решили ехать на его машине. Как я казнил себя потом, что уснул, можно сказать, на посту! — По горестным морщинам, вдруг резко обозначившимся на лице Побережника, чувствуется, что ему нелегко вспоминать об этом трагическом дне, но он, помолчав, продолжает: — Разбудил меня один из штабистов. «Мигом в медпункт бригады! — кричит. — Передали по телефону, с нашими что-то стряслось!»

Дорогу туда я знал. Примчался, бросился к большой палатке под оливами. Вбегаю — и сердце оборвалось.

На деревянной койке, уже без сознания, умирает Лукач. Рядом на носилках Фриц, бледный как полотно. Ноги забинтованы, френч расстегнут, грудь тоже в марле. Увидел меня, подозвал: «Семен, узнай, что о остальных... Возьми мой планшет. Там документы... В панцу машину возле моста попал сна...» Он не договорил, потерял сознание

Я достал из-под изголовья его планшет, бросился к телефону, связался со штабом. Вскоре приехал бригадный врач, осмотрел Фрица и сказал, что советника нужно срочно доставить в госпиталь — его может спасти только переливание крови. Я сразу предложил свою, но она не подошла по группе. У остальных, мед-

персонала и бойцов охраны, тоже. А медлить больше было нельзя...

Чебан взял Фрица на руки, отнес в машину, устроил на заднем сиденье, обложив подушками. Обычно он ездил аккуратно, не спеша, но тут гнал свой «форд» на бешеной скорости, хотя из-за темноты дороге почти не было видно, а включать фары слишком рискованно — передний край близко, могли покрыть артогнем. Меньше чем за час доехал до Лериды, разыскал госпиталь.

Но надо же, незадача: и там не нашлось донора с группой крови Фрица. Врачи устроили консилиум, а время шло. Не выдержав ожидания, Чебан сам пошел по госпиталю искать, у кого подходящая группа. Уже рассвело, когда она обнаружилась у пришедшей на дежурство медсестры. После переливания Фрицу благополучно сделали операцию.

Через несколько дней, когда врачи разрешили транспортировать раненого, Семен отвез его в Барселону. Но это было еще полдела. В городе действовало немало замаскированных фашистов. Они орудовали и в госпиталях, где лежали раненые бойцы-республиканцы. Чтобы не рисковать, Чебан связался с местной организацией компартии, и ему помогли устроить Пабло Фрица в такое учреждение, где медперсонал в большинстве состоял из коммунистов...

— Когда мы прощались, Фриц сказал: «Вернемся домой, я обязательно вытащу тебя, Семен, в Москву. Будешь у меня первым гостем...» Я удивился, — вспоминает Побережник, — но набрался храбрости и спросил: «Разве вы из Москвы? Ведь у вас совсем не русская фамилия...» Мой «шеф» улыбнулся и уклончиво сказал, что в Москве, как и во всей Советской стране, живут люди многих национальностей. На этом мы расстались...

Кто знает, может быть, и побывал бы в гостях у Батова «чофером» Семен, когда приехал из Испании в Советский Союз, если бы там, в Валенсии, советский военный советник Ксапти не предложил волонтеру Двенадцатой интербригады Чебапу стать разведчиком. Так с его легкой руки Побережник начал свою четвертую жизнь, превратившись в богатого англичанина Альфреда Джозефа Мунея. Кстати, сам Ксапти — впоследствии один из руководителей советской военной разведки Герой Советского Союза генерал-полковник

Хаджи-Умар Мамсуров — выведен Хемингуэем, с которым не раз встречался в Испании, в образе Роберто Джордана в известном романе «По ком звонит колокол».

Обо всем, что довелось услышать от Семена Яковлевича о его четырех далеко не обычных жизнях, но возвращении в Москву я написал в очерке «На семи холмах». Но, как выяснилось позже, у моего героя, оказывается, была еще и пятая, и шестая, а возможно, смотря как подойти, и седьмая, нынешняя жизнь. Однако о них тогда, в 1968 году, Побережник предпочитал не распространяться. Гранки очерка я передал генералу армии Павлу Ивановичу Батову, который вернул их с таким окрылившим меня отзывом:

«Я с большим удовольствием прочел гранки повести «На семи холмах». Правдиво, живым образным языком удалось рассказать о судьбе замечательного бойца-интернационалиста Семена Яковлевича Побережника, в рамках возможного показать его жизненный путь, путь борьбы, становления у него коммунистической идеологии, твердой воли, характера, наконец, показать его верным патриотом нашей социалистической Родины. Я до конца дней буду гордиться, что моя скромная помощь сыграла какую-то роль в судьбе этого война-разведчика».

А вот у «комитетных органов» мнение было прямо противоположным: «Опубликование очерка на «Семи холмах» считаем нежелательным».

Потом я еще дважды обращался туда, но в разрешении на публикацию каждый раз получал отказ. Причина этой непреклонности стала мне понятна только теперь, двадцать лет спустя, когда я узнал «заключительные главы» жизненной эпопеи Семена Яковлевича Побережника.

Когда пришла победа

Военные разведчики, как и все военнослужащие, числятся в списках личного состава своей части. Только часть эта необычна. Далек не каждый в ней знает фамилии командира, прямых, а порой и непосредственных начальников, даже своих сослуживцев, входящих в одно и то же подразделение. Военным разведчикам не зачитывают перед строем приказов о награждении,

Да и подвиги их, за редким исключением, не подлежат огласке. Случается, они вообще остаются никому не известными. Ничего не поделаешь, таковы суровые законы разведки.

Разведчики — люди особого склада характера и ума. Говорят: «Разведчиком, как и поэтом, надо родиться».

Если бы не народное восстание в Софии в ночь на 9 сентября 1944 года, освободившее Побережшкка из тюремного застенка, возможно, никто бы и не узнал о его длившемся почти год неравном поединке одного против многих.

— Когда я выбрался из конспиративной квартиры, где меня держали последние месяцы, на улицах еще стреляли. Поэтому пришлось укрыться в пригородной деревне у родственника моей жены Славки. Впрочем, и там обстановка оставалась тревожной. Конечно, для подстраховки следовало бы на время затаиться. Но ведь я — разведчик. Поэтому был обязан как можно быстрее связаться с Центром, доложить о себе, — рассказывает Семен Яковлевич. — На третий день все же рискнул выбраться в Софию. Побродил по улицам и на площади возле храма Александра Невского заметил советского офицера. Остановился рядом, сделал вид, что люблюсь храмом. Даже несколько раз перекрестился. Потом, не поворачивая головы, тихо сказал, что хочу поговорить с ним. Вообще-то, я поступил опрометчиво: офицер мог начать расспрашивать, что и как, и «засветить» меня, а фашистская агентура в те дни еще действовала в городе. Но он среагировал четко, видно, был наш брат, разведчик: повернулся ко мне спиной и так же тихо спрашивает: «С какой целью?» Отвечаю, что мне нужно связаться с командованием. «Хорошо, приходите сюда через два часа». С этим и разошлись.

Офицер явился точно, минута в минуту. Но вот сообщение принес отнюдь не радостное: «Советских войск в Софии нет. Ждите».

Пришлось опять укрыться в деревне, а через три дня повторить вылазку. На этот раз она оказалась успешной. Встретил армейский патруль и у них узнал, где в пригороде стоит воинская часть. Отправился туда, пробился к командиру, подполковнику, доложил, что я — советский разведчик, ищу связь с Центром. Он тут же вызвал оперуполномоченного «Смерш», при-

казал помочь мне, а пока суть да дело, разрешил остаться в части. Выделили мне в помощь солдатика, отвели комнатку.

Началась не жизнь, а лафа. Сброшено постоянное напряжение, расслабился — даже дышать стало легче. Кругом свои: и лица, и голоса, и улыбки. Как же это хорошо, черт возьми, все свои, свои, свои...

В общем, дни идут, война продолжается, а я живу как на курорте, бью баклуши. Стал теребить опера из «Смерш», но он только руками разводит: нет, мол, указаний от ваших хозяев. Почти два месяца тянулась эта канитель. Наконец вызывает меня командир части. В кабинете у него сидят оперуполномоченный и какой-то флотский лейтенант. Подполковник улыбается: «Ну вот, Семен Яковлевич, кончились ваши переживания. Поедете на родину. За вами прибыли», — показывает он на лейтенанта.

Я как-то смотрел один послевоенный фильм, где пели радостную песенку: «...путь обратный, путь в Россию, через села, города...» Вот и у меня так же получилось, — продолжал свой рассказ Побережник. — Лейтенант прибыл не один, а с двумя матросами на машине. Я уже знал, что жена Славка после моего ареста вернулась в Русе к своему дяде Ивану Беличеву, и попросил лейтенанта заехать туда.

«Что за вопрос, конечно! Нам все равно в Констанцу через Русе ехать. Кстати, там можно устроиться переночевать?» — согласился он.

Я заверил, что с этим никаких проблем не будет.

Через несколько часов я постучал в знакомую дверь. Открыла Славка. С тех пор как мы виделись в последний раз, она осунулась, похудела. Ни слова не говоря, бросилась мне на шею, разрыдалась. Потом, когда немного успокоилась, засыпала вопросами. Дядя и ее дед Тодор Панджаров тоже никак не могли поверить, что мне удалось спастись. В общем, для всех мой приезд стал настоящим праздником. Накрыли общий стол. Рядом с мусакой и кувшинами вина на нем были и солдатские припасы из вещевых мешков.

Первый тост, как старший среди нас, поднял дед Панджаров.

«Владыко мой праведный! Видишь и знаешь ты, как я всегда любил Россию и ее сыновей. Если бы не она, до сих пор страдали бы мы, рабы твои, в ярме,

Спасибо вам, русские братья...» — поклонился старик в пояс морякам и каждого перекрестил.

Утром, когда я прощался с женой и ее родными, они не могли сдержать слез. Словно чувствовали, что больше увидятся нам не придется. И не по моей вине.

Видно, судьба.

Ну а дальше все пошло своим порядком. Добрались до румынского порта Констанца, где нас ждал катер. Когда мы вышли в море, я вдруг почувствовал, как соскучился по нему за эти годы. В кубрик спускаться не стал, так и простоял на мостике до самого Севастополя.

...Жизнь прожить не поле перейти, особенно если она не одна, и все они, жизни, такие, какие выпали Семену Яковлевичу Побережнику. Всякое в них бывало: и радости, и беды, и страх. «Как у любого нормального человека, — говорит он. — Это только Штирлиц в кино ничего не боится». Случалось, подступало и отчаяние, когда после ареста заживо гнил в каменном мешке в подвале директората полиции. Чтобы не поддаваться ему, разведчик устраивал для поднятия духа «сеансы бодрости»: думал о том, как вернется на родину. Теперь это сбылось. Да к тому же так удачно, нарочно не придумаешь — в самый канун Седьмого ноября. Оба прошлых раза — после Испании и первой спецкомандировки — в силу обстоятельств возвращение проходило скромно, почти тайком. Но сейчас Семен Яковлевич решил отпраздновать его по-настоящему, тем более что оно совпало с праздником Великой Октябрьской социалистической революции.

В севастопольском порту прямо к причалу, где пришвартовался катер, подкатил закрытый «додж». Подобная сверхконспирация слегка удивила Побережника, но он не придавал ей значения. Его привезли в управление «Смерш» на Морском бульваре и под конвоем отвели в одиночную камеру. Такую же сырую и темную, как в Софии, и тоже в подвале.

В том, что разведчика после длительной заграничной командировки на первое время поместили в «карантин», не было ничего необычного. Предстояло написать отчет, пройти проверку. Немного смутило другое: сделано это было в какой-то непонятной сменке. В управлении «Смерш» никто не сказал ему и двух слов. Не

иначе виповата предпраздничная суматоха, утешил себя Побережник. Поэтому и не стал требовать встречи с начальством, рассудив, что ему сейчас не до него. После праздника разберутся и уж тогда, извинившись, наверняка дадут возможность пусть скромно — война! — отметить возвращение домой, на родную землю. Ведь не каждый же день им приходится встречать разведчиков-нелегалов, целую пятилетку проработавших, как пишут в книгах, в стане врага.

Предположение относительно праздников оказалось правильным. Утром девятого ноября конвоир отвел Побережника в кабинет кого-то из начальства, где ему... предъявили постановление об аресте.

Началось следствие. Нет, к нему не применяли «мер физического воздействия», как к другим, потому что знали: бесполезно, у этого человека железная воля. В софийском застенке его так истязали, что за неделю он поседел, сломали ребра, но ничего не добились. Вместо этого следователи — сначала некий Ильин, а затем молоденький лейтенант Петр Хлебников — избрали тактику ночных допросов. Вызывали обычно вскоре после отбоя и отправляли обратно в камеру за час-полтора до подъема. Днем надзиратели строго следили, чтобы подсудимый не спал. Такой режим, а по сути дела утонченная пытка, ломал человека почище самых жестоких побоев. Побережника выручало умение полностью выключаться, спать стоя с полуприкрытыми глазами, чтобы наблюдавший через волчок надзиратель не мог придраться и отправить в карцер.

Такой жесточайший режим продолжался не один день, и конца его не было видно.

Никаким компроматом «Смерш» не располагал, если не считать рассказанного самим разведчиком о радиоигре. Увы, по тем временам этого оказалось более чем достаточно. «Нам все известно!» — и кричал, и уговаривал следователь, добиваясь признания в том, что Побережник немецкий шпион. «Ложь», — категорически отрицал он. «Тогда почему тебя не расстреляли?» — приводил Хлебников «неопровержимый», как ему казалось, аргумент. Напрасно требовал разведчик, чтобы местное управление «Смерш» запросило Центр. Война близилась к завершению, и никто не собирался беспокоить Москву из-за «мелкого» дела.

Но дело было не такое уж «мелкое» для отважного

разведчика, отдавшего все мужество и талант служению любимому Отечеству. Но изменить что-либо было не в его силах и он продолжал требовать связи с Центром, но его никто не желал слушать. Хотя дело его не залеживалось.

Несколько раз оно передавалось в прокуратуру и особое совещание, но неизменно возвращалось обратно на доследование «ввиду невозможности вынести решение за недостатком материала», как указывалось в отказной сопроводилровке. Однако, сколько ни бились следователи, «признательных показаний» от арестованного получить не удавалось. Он продолжал стоять на своем: делал только то, на что имелась санкция Центра.

Когда Семен Яковлевич рассказывал о совершенной над ним чудовищной несправедливости, я спросил, что помогло ему выдержать, не оклеветать себя?

— Сознание того, что я — коммунист. — Он немного помолчал, а потом продолжил: — В болгарской тюрьме я продолжал оставаться разведчиком, сражавшимся с врагом. Здесь — бойцом партии. Оклеветать себя значило предать ее, предать дело, которому я отдал всю жизнь.

Почти год я просидел в одиночке. Поэтому, когда осенью сорок пятого перевели в общую камеру в тюрьму, для меня это стало праздником. Месяца через два вызвал сам начальник тюрьмы. Честно признаюсь, сердце у меня екнуло: «Все выпускают!» Да и он начал разговор весьма обнадеживающе:

«Ну вот, пришло решение по вашему делу. Как думаете, какое?» — «Ясно: освободить».

«Ошибаетесь. Десять лет исправительно-трудовых лагерей и два года спецпоселения. Распишитесь», — протягивает мне какой-то бланк.

Я отказался:

«Подписывать не буду. Я ни в чем не виноват».

Никогда не забуду его злорадную ухмылку:

«Я не прошу расписываться в своей виновности, а только в том, что ознакомлены с решением особого совещания. Считать себя невинным вам же личное дело».

Десять лет, от звонка до звонка, провел Побережник за колючей проволокой: в Тайшете начинал про-

кладывать БАМ, строил нефтеперегонный завод под Омском. Печеловечески страшен был лагерный мир. Даже в лютые морозы жили в палатках, все болезни лечили касторкой. От непосильной работы и голода ежедневно умирали десятки людей, но он выжил, хотя как это получилось, и сам не знает. «Наверное, помогла тюремная закалка», — невесело шутит Семен Яковлевич.

После смерти Сталина и расстрела Берии, когда начали пересматривать дела сотен тысяч несправедливо осужденных заков, Побережник неоднократно посылал в Москву заявления с просьбой разобраться в его деле, но ответа так и не получил.

Два года ссылки отбывал в спецкомендатуре в Караганде, работал на шахте. Там познакомился со своей нынешней женой. Наконец в 1957 году Побережнику разрешили вернуться в родные Клишковцы. Неприветливо встретили односельчане своего земляка, невесть где пропадавшего столько лет, да к тому же отсидевшего в тюрьме. Даже мать и младший брат — отец к тому времени уже умер — не пустили его к себе в хату. Но жить как-то нужно. Вот и пришлось с женой и маленьким сыном снимать угол у чужих людей.

Пошел Семен Яковлевич к председателю колхоза проситься на работу. Сказал, что он первоклассный шофер, профессия по тому времени в деревне дефицитная. В ответ услышал откровенно враждебное: «Завод еще не собрал ту машину, на которой будет работать Побережник». Его послали подсобником в садоводческую бригаду: убирать мусор, обихаживать фруктовые деревья, уничтожать химикатами вредителей. Из дома он уходил рано утром, взяв с собой кусок хлеба да пару луковиц. Это был сразу и завтрак, и обед, и ужин, поскольку обратно возвращался частенько за полночь. Рабочих рук в колхозе не хватало, так что бывшему разведчику приходилось и навоз в коровнике убирать, и кочегара подменять, и разную сельскую технику чинить.

За житейскими хлопотами-заботами незаметно пролетел год. Постепенно стало меняться отношение односельчан, которым Побережник поведал кое-что о своих заграничных скитаниях. Но о том, что не один год был «англичанином Альфредом Мунеем», конечно, молчал.

Ведь в свое время он дал подписку о неразглашении, а перед освобождением из ИТЛ взяли и вторую.

Как бы не трудны были эти годы, но в душе все же теплилась надежда. Не верилось, что правда не восторжествует. Нет — будет на его улице праздник. Обязательно будет! И он терпеливо ждал и ждал этого дня. От тяжелых дум спасала работа, которой он отдавал всего себя, какой бы работа эта не была. Да и семья поддерживала: жена, сынишка!

Может быть, так и остался бы Побережник безвестным героем, если бы не случай. Приятель убедил его попытаться разыскать того советского советника, с которым судьба свела волонтера Семена Чебака в Испании. Он обратился в газету «Правда», откуда сообщили, что Пабло Фриц — это Павел Иванович Батов, ныне генерал армии, дважды Герой Советского Союза, и дали его адрес в городе Риге.

— Так вот кого я возил по фронтовым дорогам Испании! Жив, жив мой дорогой Фриц! От радости чуть было не прослезился, — рассказывает Семен Яковлевич. — Поколебавшись, в тот же вечер написал в Ригу письмо. Коротко напомнил о себе, в двух словах изложил свою историю после Испании, сообщил свой адрес. Попросил, если не затруднит, ответить. Прошла неделя, другая, третья. Ничего. Чтобы не было так больно, убеждал себя, что это естественно. Ведь с тех пор прошло около четверти века. Он вполне мог забыть меня. Тем более, что столько людей промелькнуло перед его глазами за годы Отечественной войны. На всякий случай решил написать еще одно коротенькое письмо. Для очистки совести. И на этом поставить точку. Памяти не прикажешь...

Но Побережник, к счастью, ошибся. Ответ пришел. Командующий Прибалтийским военным округом Батов извинялся за задержку — выезжал в войска, — приглашал в гости и даже выслал деньги на дорогу.

Можно представить, с каким волнением ожидал этой встречи с боевым товарищем Семен Яковлевич. Он не может скрыть его и сейчас, когда вспоминает о ней:

— Не успел я снять полушубок и вытереть с мокрых валенок грязь, как в дверях появился в полной генеральской форме военный. С трудом узнал в нем испанского Пабло. Прямо в передней мы бросились в объятия друг другу. Троекратно расцеловались. И тут

к горлу у меня что-то подступило, сдавило как клещами — ни откашляться, ни проглотить. По моему лицу потекли слезы.

«Ну что ты, Семен! Успокойся, друг, не нужно!» — говорит Батов, а я никак не могу взять себя в руки. Внутри словно какая-то плотина прорвалась.

Павел Иванович обнял за плечи, провел в гостиную, усадил на диван. Еще и еще раз посмотрел мне в лицо, на седину, покачал головой и с грустью говорит: «Да, не пожалела тебя жизнь... Рассказывай обо всем без утайки».

О многом переговорили боевые товарищи за месяц, что гостил Семен Яковлевич в Риге. Узнав о его судьбе, Батов как депутат Верховного Совета СССР обещал помочь восстановить справедливость.

Минул год. Побережник уже начинал свыкаться с мыслью, что так и не удастся добиться реабилитации, поскольку его заявления оставались без всякого ответа. Однажды Семена Яковлевича вызвали к начальнику милиции в райцентр Хотин.

— Я терялся в догадках: зачем? Никаких правонарушений вроде бы не допускал... Захожу в кабинет начальника, и тот прямо с порога огорошил меня вопросом:

«Читать, писать умеете?»

«Да», — отвечаю, а сам прикидываю, зачем это ему! может быть, какую-нибудь недозволенную агитацию хотят пришить?

«А по-русски?»

«Тоже».

«Давайте паспорт».

Подую. Он раскрыл его, берет ручку и крест-накрест перечеркивает разворот с фотографией. Все, думаю, началось, но виду не показываю, что на душе кошки скребут. Тут уж начальник милиции не выдержал:

«Ну и выдержка у вас, Семен Яковлевич. — Открывает сейф и дает мне какой-то документ: — Читайте».

А я без очков ничего разобрать не могу. Тогда он сам прочитал постановление о реабилитации.

«Идите, товарищ Побережник, в паспортный стол, заполняйте анкету на получение нового паспорта».

Вскоре после этого мне по почте прислали справку о том, что Военный трибунал МВО отменил постанов-

ление ОСО «за отсутствием состава преступления»... Как же я был рад тогда!

Кому-то это может показаться не совсем уместным, но я все же задал Семену Яковлевичу деликатный вопрос о материальной компенсации за все, что было совершено с ним.

— В справке было указано, что я могу обратиться по последнему месту работы, где обязаны выплатить среднюю заработную плату за два месяца. Вот и понимай как хочешь, куда именно: то ли к тем, кто меня за границу посылал, то ли в управление исправительно-трудовых лагерей, то ли на шахту в Караганду. Если в Центр, то я даже не представлял, какое у меня было денежное содержание как разведчика-нелогала. Нам ведь тогда накрепко внушили, что советские разведчики работают не за деньги, а за идею. Короче, за все про все перевели мне сто двадцать рублей, по-нынешнему двенадцать, за что я сказал спасибо. Не знаю только кому. Правда, позднее мне установили персональную пенсию местного значения в размере шестидесяти рублей...

После этого и правление колхоза тоже кое в чем пошло навстречу: выделило участок для дома, разрешило брать бутовый камень в карьере. Только на своих плечах много не натаскаешь, а с транспортом в колхозе все никак не получалось. Кто знает, сколько бы маялся Побережник, если бы из Черновицкого гарнизона не прислали несколько машин со стройматериалами и солдат-строителей. Да, не зря тогда, в Риге, Батов сказал при расставании: «Не унывай, Семен, с крышей что-нибудь придумаем». А когда строительство близилось к концу, зашли к Побережнику и председатель сельсовета с парторгом.

— Походили, посмотрели, порадовались, что скоро переберусь под свой кров, а потом и говорят: «Что ж ты молчал, что воевал в Испании, работал для Родины в Болгарии?» Ну что я мог им на это ответить? В общем, лед недоверия ко мне окончательно растаял, — вспоминает Семен Яковлевич о том, как началась новая жизнь.

Не сразу, но пашли ветерана-интернационалиста и заслуженные награды. Среди многих других рядом с советским орденом Отечественной войны с гордостью носит он итальянскую медаль Гарибальди, польскую «За свободу вашу и нашу», памятную медаль «Участ-

ник национально-революционной войны в Испании 1936—1939 гг.». Приняли его и в ряды КПСС, но без восстановления прежнего партийного стажа: секретарь обкома убедил, что так будет проще. Однако Семен Яковлевич продолжает добиваться, чтобы в графе «Время вступления» в партийном билете стояло: «1932 год».

...Конечно, возраст дает себя знать: в феврале Семену Яковлевичу исполнилось 84 года. Но все еще бодр и по-молодому подтянут этот высокий седой человек с орлиным профилем. Живет он теперь в областном центре городе Черновцы, активно участвует в работе совета ветеранов, охотно встречается с молодежью. Есть о чем рассказать ей бывшему батраку, моряку, коммунисту-подпольщику, волонтеру-интербригадовцу, разведчику-нелегалу, заку и колхознику Побережнику.

При расставании я наконец решился задать ему мучивший меня вопрос: как он после всего случившегося с ним относится к партии?

И вот что услышал в ответ:

— Сейчас модно критиковать партию, обвиняя ее, как говорится, во всех тяжких. Но не побоюсь сказать, что лично мне принадлежность к ней всегда придавала силы. Я был и остаюсь коммунистом.

*с. Клишковцы — Черновцы — Москва
1968—1990 гг.*

**СЛУШАЙТЕ
ВСЕ!**





В. Пикуль АРМИЯ-ЛЮБОВЬ МОЯ

Не мне судить, какой из меня получился писатель, но работник из меня, кажется, получился. Вот моя старая чернильница, вот мое обычное перышко, как у школьника. Буква за буквой, слово за словом, строка за строкой, страница за страницей, книга за книгой — так проходит моя жизнь, и сам не пойму, что я нашел в ней хорошего. Думаю, что отбывать каторжные работы, таскать за собой тачку, все-таки интереснее...

Жизнь без выходных, без праздников, без дней рождения, без отпусков — это жизнь особая, и недавно же я помянул каторгу. Жена — без тени юмора — не раз говорила мне:

— Ты у меня законченный трудоголик...

Пусть лучше так! Надеюсь, моя одержимость будет понятна читателям, да простят они мне то, что я не успеваю отвечать на их письма. Но такая жизнь не всегда понятна моим же коллегам. Вот уже сорок лет

я все же присутствую в литературе, но с недоступных высот Олимпа суровые боги взирают на меня с большим подозрением:

— Где ему добраться до нас? Скоро сломает себе шею...

И все эти сорок лет критика присматривалась ко мне, как к редкому зверю, уже внесенному в Красную книгу, рассуждая между собою — в какую клетку меня посадить, в какой зверинец упрятать? Вообще, кто он такой, этот Валентин Пикуль? Ясно, что на других членов ССП он не похож, ибо мы его дружно и регулярно избиваем, хвост ему уже выдрали, все уши пообрывали, а он, наглец такой, все еще мелькает в печати...

До меня дошли и такие их разговоры:

— Помилуйте, а кто видел Пикуля? Кто его встречал на собраниях, в Доме творчества или в ресторане Дома писателей? Ясно, что он прячется от нас... боится! А если его никто не видел, так будем считать, что его попросту не существует.

Почти двадцать лет длилось упорное замалчивание моего имени, и когда мои доброжелатели спрашивали у начальства о причине такого замалчивания, им вежливо отвечали:

— Да, все это так. Но Пикуль... поупоминаем!

— Почему? — следовал естественный вопрос.

— Так нужно, — отвечали высокие умы...

Много лет (после выхода в свет романа «Из тупика» в 1968 году) я проплавал в страшной «зоне молчания», как плывут корабли в чужих водах, чутко вслушиваясь в эфир, который сами они не смеют потревожить своими позывными. Не скрою, иногда мне хотелось самому выйти в «эфир» недоступной мне гласности с критическим обзором всего написанного мною.

Мое желание критиковать свои же романы — это желание вполне естественное, какое возникает у любого хозяина, желающего навести порядок в собственном доме. Не думайте, что я в этом случае стал бы щадить себя; напротив, моя самокритика была бы очень безжалостной, даже обидной для моего авторского самолюбия. Спрашивается: кому, как не мне, автору, знать о своих ошибках? Пожалуй, только один автор способен точно указать на слабые свои места и на все просчеты, которых критик даже и не заметит.

Вынужден сознаться, что у меня бывали (и не раз) досадные промахи, а начинал я свой литературный путь с книги большой и несуразной, которая останется для меня постоянным укором. В оправдание себе могу сказать лишь одно: как в море бывают приливы и отливы, так и в жизни каждого человека бывают срывы и неудачи, порою даже трагические.

Если прожита большая половина жизни, надо уметь без страха оглянуться назад, и тогда, наверное, представится точная «линия судьбы» — как след от работы винтов за кормою корабля; вот эта линия и выписывала сложную синусоиду жизни.

Помню, как меня, юнгу, старшина учил плавать: — Если уж упал в воду, так плыви, иначе потонешь...

Вот я и плыву. Плыву много лет, чтобы не потонуть на мелком месте. Зато там, где подо мною зияет бездна, там я не потону никогда. Бездна сама удерживает меня на поверхности моря, чтобы я мог лучше видеть дальние горизонты...

Я еще не сделал того, что мною задумано сделать!

Эти «Размышления» явились, пожалуй, первым моим опытом в публицистике. А «виновником» обращения к необычному для меня жанру был Сергей Иванович Журавлев, дружеские беседы с которым и легли в основу данной книги.

Он же и подготовил ее к печати, за что я ему сердечно и искренне признателен.

ИСТОРИЯ — ОГОНЬ, А НЕ ОСТЫВШИЙ ПЕШЕЛ

Моя жизнь сложилась так, что я навсегда остался самоучкой. Хорошо это или плохо? Не знаю. Во всяком случае, я ни о чем не жалею. Ибо занимаясь самостоятельно своим образованием, сначала «на ощупь», потом все более и более целенаправленно и целеустремленно, я в конце концов нашел свою настоящую любовь, которая заполнила меня всего без остатка, стала смыслом и целью моей жизни, — Историю.

Чтобы увидеть истоки этой любви, мне придется несколько слов сказать о себе. И не потому, что моя биография — какое-то исключение. Напротив, она ти-

пична для людей моего поколения. Этим-то она, может быть, и интересна.

Тяжелейшим, ни с чем, наверное, не сравнимым по трагичности событием в истории Родины стала Великая Отечественная война. А нашему поколению, сменившему тогда школьную форму на военную, она дала первый толчок к размышлениям над поступками людей, к осознанию своей причастности к огромному делу, к всенародной борьбе. Ведь для каждого честного человека личная судьба и судьба Отечества неразделимы. Войне мы без остатка посвятили свою юность, а день 9 мая 1945 года стал как бы днем получения главного и наиболее дорогого диплома: самый трудный экзамен был сдан!

А встретил я войну в Ленинграде. Было мне тогда 13 лет. Отец, Савва Михайлович, плававший еще на эсминцах типа «Новик», потом окончивший институт и ставший инженером, был призван на флот. А мы с мамой, когда разбомбило наш дом, перебрались к бабушке. Там, по сути дела, я и пережил эту первую и самую страшную блокадную зиму. Вместе с другими мальчишками дежурил на крышах, тушил немецкие зажигалки. Потом, в разгаре зимы, когда голод стал нестерпимым, зажигалки эти уже никто не тушил, сил не хватало просто передвигаться, не то что лазать на крыши.

Очень дорожу медалью «За оборону Ленинграда».

Весной 1942 года эвакуировался в Архангельск по месту службы отца. Он служил в это время на Беломорской флотилии в звании батальонного комиссара.

И вот однажды бреду я по улице — я сильно болел тогда цингой — и вдруг вижу: идут строем мальчишки, чуть постарше меня, в сопровождении старшин и матросов. Кричу: «Кто вы такие?» Они в ответ: «Мы — юнги». Я побежал домой, схватил свои «научные труды» — два «тома» собранных мной иллюстраций, статей — все по морскому делу, прибежал к воротам флотского экипажа и пристроился к ребятам. Так попал в школу юнг. Как раз в этот день мне исполнилось 14 лет. И этот день я считаю днем своего, если можно так выразиться, гражданского рождения.

В декабре того же года, уже на Соловках, нас привели к присяге. Это было крупнейшим событием в нашей жизни, оставившим глубокий в ней след. Сегодня смотришь иной раз по телевизору, как принимают при-

сягу. Родители приезжают, оркестр исполняет праздничный туш. Ничего этого у нас не было. Застывший лес, шинель, ботинки разваливаются, руки без перчаток. И вот берешь рукавом шинели винтовку ледяную, промерзшую и даешь присягу. Вроде буднично, не романтично, даже грубо как-то. Но все это было нами до глубины души прочувствовано. Присяга давалась в сложных условиях, и никакой папа, никакая мама, никакая бабушка не смотрели в этот момент на нас. Мы были наедине друг с другом — мы и присяга. И хором, я помню, мы ее не читали. Каждый произносил присягу сам. И этой, единственной в жизни, клятве мы верны по сей день.

С 1943 года и до окончания войны служил на Северном флоте, в составе экипажа Краснознаменного эсминца «Грозный».

Когда лично меня спрашивают, не жалею ли я о том, что вместо школьного учебника в 15 лет держал штурвал боевого корабля, я совершенно искренне отвечаю — нет, не жалею. И сегодня, с высоты прожитых лет, я еще яснее, чем раньше, вижу, что ни один учебник никогда не дал бы мне столько знания жизни, людей, как тот суровый опыт, что получил я в годы войны.

После демобилизации я с такой же неистовой страстью, как в свое время на флот, устремился в литературу. Как и большинство писателей, пришедших в литературу из сырых фронтовых траншей и со скользких палуб кораблей, я знал, что надо писать, но не всегда понимал, как надо писать... А у меня к тому же не было даже среднего образования. И потому, ясно понимая, что, если я серьезно не займусь самообразованием, писателя из меня никогда не выйдет, я начал изо дня в день, как на работу, ходить к открытию в публичную библиотеку. Запоем читал русскую и советскую классику, штудировал книги по искусству, по русской истории, делал выписки, составлял конспекты.

Образование чрезвычайно важно в становлении личности. Однако в моем представлении образование не тот, кто получил аттестат зрелости или диплом института, а тот, кто всю жизнь непрестанно учится. Бывает так: встретишься с ученым и убедишься — хам, а поговоришь с водопроводчиком и видишь в нем аристократа духа. Интеллигентность, на мой взгляд, определяется благородством натуры, добротой, отзывчивостью души,

стремлением помочь ближнему. Значимость личности сегодня в обновляющемся обществе возросла. Думаю, что человек обязан оставаться самим собой, не растворяться в коллективе, а, напротив, должен стремиться именно выделяться...

После войны, когда начал писать, наиболее сильное влияние оказали на меня четыре человека, люди широко и самостоятельно мыслящие, сильные духом, натуры возвышенные и стойкие. Первый — Н. Ю. Авраамов, старший офицер еще царского флота, большой специалист в области морской практики. Затем — редактор моей первой книги А. А. Хржановский. Он преподавал мне уроки честного отношения к литературному труду, любовь к нестандартному мышлению, умение оставаться самим собой, не обращая внимания на кривотолки. Часто вспоминаю профессора С. Б. Окуня, возглавлявшего кафедру истории при Ленинградском университете. Мы с ним спорили, во многом наши мнения расходились, но он всегда защищал меня перед редакторами-перестраховщиками, говоря: «Автор имеет право думать иначе, нежели историк-профессионал. Роман — не учебник по истории. Физик или геолог имеют свое мнение о гибели Помпеи, которое вряд ли совпадает с тем, что мы видим на картине Карла Брюллова...»

Четвертым назову Л. И. Родионова, потомственного питерского пролетария, человека кристальной честности. Когда говорят о рабочем классе, я всегда вспоминаю именно его. Именно таким должен быть рабочий с большой буквы — образованный, культурный, убежденный, гордящийся своей профессией. Такой человек никогда не скалтурит, не обманет, не придет на работу выпившим. По возрасту он годился мне в отцы, но мы с ним очень дружили. Он верил в меня и очень мне помогал, даже материально. «Что бы ни случилось, — внушал он мне, — хоть камни с неба станут рушиться, все равно ты обязан ипачить. Поверь мне, даже болезни отступают перед работающим человеком. В труде будешь жить долго, и нет такого лодыря, который мог бы похвастаться своим долголетием».

Благодарен я Вере Пановой и Юрию Герману, которые, заметив меня смолоду, давали цепные советы, а затем рекомендовали в Союз писателей.

Очень большое влияние на меня как литератора оказала (и продолжает оказывать) русская классиче-

ская и мировая живопись. Музеи научили многое понимать, а картины обострили мой глаз. Кстати, сознаюсь, что никогда не был поклонником новейших тенденций в искусстве (хотя всегда старался их знать): все эти Кандинские, Шагалы, Ларионовы и Пикассо — для меня они пустой звук. В этом я остаюсь глубоко «консервативен». Но зато не могу представить себе, как бы я писал свои исторические романы, не пережив множества восторгов перед полотнами прошлого — от Антропова до Репина, от Рокотова до Борисова-Мусатова, от Левицкого до Сомова, от Тропинина до Кустодиева. Я много раз убеждался, что живопись взаимосвязана с литературой, а пишущему об истории просто немислимо пройти мимо картин старой русской жизни. Я, например, не могу писать о человеке, не посмотрев ему в лицо. И потому я еще молодым начал собирать репродукции картин, составлять портретную картотеку. Сейчас у меня собрано более двадцати пяти тысяч портретов. Это огромная работа, которой я отдал почти сорок лет жизни.

Что же касается моей любви к истории, то здесь опять «виновата» война. Уже тогда мы, воевавшие с фашизмом, стали, может быть во многом еще неосознанно, понимать, что кроме пушек и танков, самолетов и боевых кораблей наше Отечество обладает и еще одним грозным оружием — героическим прошлым. В те грозные годы как будто проснулись от дурного сна, стали понимать, что мы — не Иваны, родства не помнящие, что есть у нас и славная история, и национальное достоинство. Не случайно ведь во время войны писали и о подвигах советской комсомолки Зои Космодемьянской, и о походах русского полководца Александра Суворова. Летом 1941 года мы выстояли еще и потому, что нам в удел достался дух наших предков, закаленных в прошлых испытаниях. Память — это сильнейшее оружие. Когда в канун гитлеровского нашествия вышел на экраны фильм об Александре Невском, образ защитника Отечества отложился в душах миллионов людей, взывал к мужеству и патриотизму. Во время войны для отличия наиболее талантливых командиров были учреждены ордена с профилями Кутузова и Суворова — ими гордились. А вот появление ордена Ушакова пришлось объяснять через газеты, ибо адмирала Ушакова, к сожалению, успели забыть. На крутом переломе войны ввели погоны, и вся армия,

весь флот незримо подтянулись, как бы ощутив на своих плечах полную меру ответственности в великой преемственности поколений. Это событие застало меня еще на Соловках, и мы, мальчишки, в звании «юнга» погонами гордились, как орденами. Никогда не поверю циникам, утверждающим, что знамя — это лишь красиво расшитая тряпка. Патриоты погибали за Отчизну, осененные шелестом знамен. К сожалению, когда война закончилась, снова ослабло внимание к отечественной истории, к историческому, а значит, и патриотическому воспитанию. А ведь роль истории в развитии великого народа, каковым является наш народ, — огромна. Она воспитывает человека в духе осмысленного патриотизма, ибо нельзя быть патриотом сегодняшнего дня, не опираясь при этом на богатейшее наследство наших предков. Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, тверже характером и зорче разумом. История воспитывает в нем необходимое чувство национальной гордости. История требует от нас уважения и к себе, и к дедовским могилам, ведь культура народа всегда зависела от того, насколько народ знает и ценит свое прошлое. Сравнивая прошлое с настоящим (и делая выводы на будущее), мы должны знать, что наше государство не имело блаженных времен и жизнь русского народа всегда была сопряжена с преодолением неслыханных кризисов. Принижать свою историю, забывать ее или извращать — значит оплевывать могилы своих предков, боровшихся за родную русскую землю...

Подлинный патриотизм зиждется на глубоком понимании прошлого, ибо в прошлом мы черпаем опыт, необходимый для созидания будущего. Патриотизм — в соблюдении и развитии лучших традиций народа. Патриот, знающий много, видящий далеко, не позволит подрывать нравственные устои общества, осквернять отечественные святыни, взрывать храмы или возводить танцплощадки в местах, где упокоились предки.

Воспитание патриотизма должно начинаться с истории. Никакое дерево не растет без корней, и чем глубже корни, тем крепче дерево. Захватчики всех времен понимали значение исторической памяти народа.

Новгородский памятник Тысячелетия России был потому так торопливо повержен с пьедестала фашистами, что они желали заставить народ забыть своих великих предков, вычеркнуть нас, русских, из всемир-

ной истории человечества. У нас же за плечами столетия такой громкой истории, которой не надо стыдиться. Н. Г. Чернышевский очень точно когда-то заметил: «Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами Родине, а его человеческое достоинство — силою его патриотизма».

Знакомить человека с историей, воспитывать в нем осознанный патриотизм необходимо с детства. Ребенку нужны «Мойдодыр», «Дяди Степы», это бесспорно. Но ему еще более необходимы живые, интересно написанные книги по истории. С ранних лет он должен быть знаком с великими деяниями своих соотечественников от Дмитрия Донского до Юрия Гагарина, от Александра Невского до Александра Матросова, Николая Гастелло. Ведь это тоже — история! К великому сожалению, таких книг издается крайне мало.

Сегодня, будем смотреть правде в глаза, у нас история до семнадцатого года, по сути дела, скудная. Даже учебники для вузов — не говоря о школьных — это чашечки конспекты. И тот, кто хочет действительно взять историю, просто не знает, где взять нужные ему книги. Это — беда.

В XVII веке маньчжурская династия Цин взошла в Китай и свергла китайскую династию Мин. Китаю велено было производить отчет истории с того года, как они покорились династии маньчжуров, которые понимали главное: у дерева надо обрубить корни, и дерево зачахнет.

Не произошло ли нечто подобное в 20-е — 30-е годы нашего века, когда русская история была задернута траурным флером. Историю заменяли либо история развития общественных формаций, либо история революционных движений, либо история классовой борьбы. Истории как изложения событий в хронологическом порядке не было или почти не было. Во многом тут виновата вульгарная социология. Были у нас такие горе-теоретики, которые пессимизм лирики Лермонтова объясняли понижением цен на зерно, что, дескать, и настроило на унылый лад лиру поэта-помещика. История России была задвинута в самый дальний угол образования, словно одряхлевшая мебель. Если о ней вспоминали, то дальше Степана Разина, Емельяна Пугачева и декабристов идти как-то робели.

И такое положение длилось довольно долго. Вместо

истории давали какие-то отсежки, дуранду вместо хлеба. К сожалению, эту дуранду продолжают пихать и сейчас. Почему-то история Месопотамии или Древнего Рима у нас преподносится более широко и ярко, нежели история Отечества.

И что еще глубоко меня возмущает, это когда говорят или пишут о том, что Россия, темная, отсталая, забитая, состояла сплошь из рабов и крепостников. Но я вот думаю: как же из этого темного мира рождались светлейшие личности? А их было немало на Руси, немало! И непонятно, откуда же тогда явился нам Пушкин?

И то, что в свое время были разрушены замечательные памятники искусства, памятники людям прошлого — это результат преступного отношения к истории.

Я глубоко убежден, что нам всеми силами, всем народом надо срочно, незамедлительно поправлять это положение.

Начать надо, как я уже говорил, с книжек для самых маленьких, со школьных учебников и продолжить более серьезной литературой.

Наша страна нуждается сегодня в одном — пусть хотя бы пока одним — широко популярном, народном издании по истории. Что-нибудь типа издания старой «Нивы». Ведь в чем был успех «Нивы» — журнала не исторического, но и не обходившего истории? Он доступным языком рассказывал о том, что произошло в мире, кто приехал в Россию, выехал из России, печатал художественные произведения. И что немало важно — был хорошо иллюстрирован. Печатал картины русских и зарубежных художников. Ведь недаром многие известные деятели искусства в своих мемуарах отмечают, что на их становление огромное влияние оказал журнал «Нива».

Кстати, неблагоприятно обстоит у нас дело не только с изданием чисто исторических трудов. Почти невозможно достать тексты древнерусских летописей, произведений средневековых авторов. «Слово о полку Игореве» у нас издают, слава богу, хорошо, а вот «Жизнь... Аввакума» — редкость. А ведь его надо не просто читать — многократно перечитывать, для того хотя бы, чтобы вспомнить те русские слова, которые мы забыли. А они, между прочим, очень точные, как пули снайпера. Если даже отбросить религиозное подвижничество Аввакума — что само по себе вызывает большое

уважение, — то и как писатель он заслуживает почетного места в русской истории и литературе.

Без знания истории немислим культурный человек,

Без знания прошлого — повторяю это еще раз — невозможно сегодня быть и патриотом. История — могучий фактор воспитания осознанного патриотизма.

Скажу о себе. Несмотря на то что я ушел добровольцем на флот, вроде бы неплохо воевал, прослушал массу политбесед, которые в те годы носили далеко не формальный характер, я по-настоящему начал познавать и узнавать свое Отечество только тогда, когда стал изучать историю. Я, как дерево, вдруг обнаружил те корни, которые меня питают. Патриотизм держится на глубоком знании своей Родины — знании самом всеобъемлющем. Одного лишь умиления березкой, кустом черемухи человеку мало. Мы должны смотреть на свою Отчизну широко, объемно — в пространстве и во времени.

Вот я никогда не был за границей. Если не считать Норвегии, куда заходил наш эсминец во время войны. Но меня, скажу прямо, за границу и не тянет. Я бы чувствовал, что поступаю неправильно, поехав, например, в Париж, если я никогда не бывал в Иркутске, Астрахани, Вологде — тех городах нашей страны, в которых я хотел бы побывать. Сначала надо дома у себя оглядеться, узнать его как следует, а значит, и полюбить.

К великому сожалению, сегодня и в жизни, и в литературе люди стали как-то сдержанно выражать свои чувства к Родине. И я боюсь, не стоит ли за этим некоторое равнодушие? Мне иногда мои друзья, писатели, прямо говорят: «Ну зачем ты так открыто пишешь о патриотизме? У тебя герои сплошь и рядом валяются: «Друзья, я очень люблю свою Родину». Так в литературе сегодня не принято». А чего стесняться? Я сам считаю себя патриотом и не боюсь говорить об этом громко.

Думаю, что искусство наше должно говорить о любви к Родине во весь голос. Не стесняясь. Народ нужно учить добрым примером. Ну зачем, скажите, специально писать о том, как воруют в универмаге? Воруют — сажайте! Но при чем тут литература? Все это, я думаю, не предмет для искусства.

Правда, и патриотическую тему могут начать эксплуатировать халтурщики и приспособленцы. Но здесь

все же трудно притворяться. Никакое произведение не будет иметь патриотического воздействия, если сам писатель, композитор, режиссер не является искренним патриотом. И как бы профессионально грамотно ни было сделано произведение, фальшь все равно даст о себе знать. Каков ты есть — такова будет и твоя книга.

А как богата наша история примерами героизма! Примерами поистине бесценными для патриотического воспитания молодежи.

Ведь сколько в истории Отчизны было критических моментов, и ничего — выдержали! И не просто выдержали, а победили.

А много ли сегодня знаем о доблестных делах наших далеких и близких предков?

Я никогда не думал, что в своих научных и писательских интересах когда-нибудь «заберусь» на Дальний Восток. Но мне попались интересные материалы по обороне Камчатки во время русско-японской войны, по созданию народного ополчения. Я увидел, как народ, отнюдь не «передовой», а чувствующий патриотизм больше шкурой, поднялся против оккупантов. Так родился мой роман «Богатство». А когда я вчитался в материалы по обороне Владивостока нашими крейсерами — я просто ахнул: какой там кладезь! И меня, как историка и писателя, привлек в первую очередь тот огненный патриотический порыв в командах наших крейсеров, которые, оказавшись в очень неудобном тактическом и стратегическом положении, сделали огромное дело.

Да мало ли таких примеров!

Вот знаменитая атака кавалергардов при Аустерлице, вошедшая в историю нашей воинской славы. У меня в коридоре висит картина Самокиша «Апель» — это призыв вернуться из атаки. Но возвращаются единицы. А шли они в атаку, зная, что идут на верную смерть, что враг их не пощадит. Но они пошли. Ибо надо было спасти честь русской гвардии. Спасти ценой собственных жизней. Только и всего.

Я часто думаю над этим фактом нашей истории. Что это были за люди? Откуда такой огненный порыв самопожертвования? Вышли все из дворянских усадеб, болтали по-французски, пили шампанское, ухаживали за дамами. Специально же военно-патриотическим воспитанием никто не занимался.

По делу в том, что вся атмосфера жизни была пронизана духом патриотизма. С детских лет эти юноши слушали разговоры взрослых о Родине, о подвигах, о славе. Смотрели на портреты своих предков, увешанных орденами, погибших в битвах за Отечество. Заходили в лакейскую, а там пели русские народные песни, рассказывали подлинные истории тех или иных походов. Так складывались характеры патриотов.

И вот я думаю, всегда ли мы сегодня используем тот огромный духовный опыт, те героические традиции, что вынесли из огня Великой Отечественной войны? Всегда ли мы внимательны к людям, к ветеранам, несущим с собой и в себе весь накал патриотизма военных лет?

Иногда видишь, идет ветеран, надел свои медали, ордена — что кто заслужил, — он и гордится своими наградами, и чего-то стесняется, чем-то смущен. И никто на него не смотрит, толкают его, пихают. Плевать, что ветеран. Жалко мне их иногда бывает. И горько за нашу равнодушие.

И сам ветеран, и как же больно иногда делается, когда где-нибудь в компании услышишь, как кто-то из ветеранов начнет рассказывать о том, как штурмовал он Прагу или Берлин, а его не слушают, перебивают. А то и дети еще скажут: ладно, папа, хватит, мы это уже слышали, подумаешь, война, есть сегодня заботы и поважнее. И замолчит этот человек, наткнувшись на равнодушие. А сколько мог бы он еще рассказать! И рассказы эти — бесценны. Ибо правдивы. Иному писателю, пишущему о войне, такая правда и не снилась.

Записывать надо эти рассказы, издавать. А то у нас все больше печатают мемуары военачальников. Хорошие мемуары, но ведь солдат тоже восвал. И видел войну, кровь, смерть, как говорится, в глаза.

Вообще, минувшая война — это наша недавняя история — кладезь для серьезного писателя. Сколько там таится тем! Причем не обязательно связанных с батальями.

Больше и лучше надо говорить и писать о том времени. Но одно условие, замечу попутно, должно быть неизменным для пишущего вообще, а о войне тем более — правда. Многие писатели так называемого фронтового поколения не раз говорили о том, что именно желание сказать правду о пережитом заста-

вило их взяться за перо. Да и сам я начал писать потому, что порой не находил в литературе тех лет этой самой правды. А ведь как бывает: признанный писатель, мастер слова, красиво и завораживающе рассказывает читателю о том, например, как полковник после ранения плыл по Оке. В старой усадьбе встретил он учительницу, которая вышла, согревая руки в муфте. Полковник оставил свой чемодан и провел волшебный вечер в вазневом саду...

Я читаю — и не верю. Не было этого волшебного вечера! Не было дамы с муфтой. Вышла к полковнику измученная нуждой, войной женщина с кошелкой, где лежали две картофелины, которые ей надо поделить между тремя детьми, и полковник вынул сало, хлеб, которые вез матери, и сунул ей — бери! Вот это — правда. Хотя жестокая и не романтичная. Но правда.

У нас историю часто понимают как нечто минувшее, ушедшее в небытие. Но история — это не остывший пепел и не только день вчерашний. Это — неразрывная связь времен, единая цепь, где важно каждое звено, в том числе и день сегодняшний. Вот почему сейчас весь наш народ с таким энтузиазмом воспринимает те решения партии, которые ведут к положительным переменам в жизни общества. Важно только, чтобы эти положения не потонули в красивых речах, благих пожеланиях. Ведь ни на одном съезде партии не принималось плохих решений — все замыслы были хорошие. Все зависит от их исполнения. Если командир отдал приказ — он должен быть уверен, что приказ его будет понят и выполнен в точности. На этом держится воинская служба. Но на этом должен держаться и весь государственный аппарат. Задача сейчас — довести решения до дела, а дело — до конца. Мало того, необходимо, чтобы весь народ проникся идеями грядущих перемен, понял жизненную их необходимость. Тогда успех обеспечен. Причем это касается не только экономики, но и проблем социальных, духовных, нравственных.

Вот, к примеру, развернувшаяся в последнее время в общегосударственном масштабе борьба с пьянством. Это очень нужное и своевременное дело. Пьянство — страшное, всеразрушающее зло. А ведь, как ни странно, за последние двадцать лет это отрицательное явление привяло угрожающие масштабы. Но опять же ни-

какими, даже очень хорошими, постановлениями не изжить этого зла, если борьба с ним не станет делом общепародным.

Скажу как историк: широко бытующая молва о том, что-де на Руси-матушке всегда пили, что «веселие Руси есть питье», — это злонамеренная, злоязычная ложь. Пьянство никогда не было свойственно русскому народу. А там, где оно появлялось, с ним всенародно старались бороться. Целые уезды объявлялись на сходках безалкогольными, убирались из сел трактиры и т. д. Вспоминаю в этой связи мемуары прекрасного художника Александра Герасимова, уроженца города Козлова, ныне Мичуринска.

Жители этого города были в основном прасолами — торговцами скотом. Были в городе и трактиры. В пять утра город просыпался, и жители его — с детьми, бабками — шли в эти трактиры и пили там, чай. Спиртного никто не пил. Но вдруг кто-то взял рюмку водки. Все. Он мог из этого города уезжать. Ему больше не верили. С ним не заключали сделок, не давали ссуды и т. д. Ему оставалось только бежать из города. И все потому, что он в присутствии горожан выпил рюмку водки. Вот что значит сила общественного мнения!

Важнейшей проблемой сегодняшнего дня кажется мне проблема семьи. У нас мало думают о священном таинстве брака. Отсюда — огромное число разводов, несчастных детей, поломанных жизней. Многое зависит здесь от женщины. А ей приходится сейчас очень трудно. Она и на работе наломается, и дома дел невыворот. Где уж ей о себе подумать!

Когда-то очень много говорили и писали о равноправии женщин. Один всемирно известный ученый, ратуя за это самое равноправие, утверждал, что женщина может даже работать в шахте, ибо у нее якобы позвоночник более гибкий, чем у мужчин. Лично я не признаю такого равноправия. Женщина стояла и стоит выше мужчины. У древних славян было глубочайшее почтение к женщине, и женщина называлась словом замечательным — берегиня. Хранительница очага, хранительница семьи, хозяйка, жена, наконец, семейный мудрец, который разрешает все конфликты. А у нас зачастую равноправие оборачивается очень неприглядной стороной: женщины ломом орудуют, а мужчина — бригадир, ходит, покуривая, с записной книжечкой. Нет уж, пусть наши женщины лучше ходят по цветам,

а не спускаются в шахту. Тогда и в семье будет мир и согласие.

Несколько слов хотелось бы сказать о семьях военнослужащих, офицеров. Выйдет замуж молодая девушка, живущая в большом городе, за курсанта. А его после окончания училища или академии направляют в отдельный гарнизон, на боевую точку. Каково женщине, привыкшей к удобству, уюту, жизненной стабильности, менять свой быт? Ведь женщина по природе своей домоседка. А офицер меняет местожительство часто. Послали в одно место, получил квартиру, вбил гвозди, повесил картину. А завтра — новое назначение. Значит, гвозди выдергивай, собирай чемоданы. Трудная жизнь. Особенно для женщины. И потому, коли она решила вступить в брак с офицером, она обязана внутренне подготовиться к грядущим тяготам армейской жизни. Я глубочайше уважаю жен офицеров. Считаю, что быть офицерской женой — это профессия. Это большая честь и большая ответственность!

Огромные, исторической важности задачи стоят перед нашим народом по охране памятников прошлого. Причем мы еще до сих пор говорим «по охране».

Вынуждены так говорить. Ибо варварское, а точнее, преступное их уничтожение еще встречается. Каких бесценных сокровищ мы лишились! Одно нажатие кнопки — и не стало построенного на народные копейки в честь победы в войне 1812 года храма Христа-спасителя. На народные же деньги был воздвигнут памятник национальному герою — Скобелеву. И его свергли. Зачем? Да мало ли таких примеров! И что это — вопиющее варварство или вредительство?

И вот уже встречаешь в газете, что не в 30-е годы, а сегодня где-то подожгли древнюю часовню, мало того — разрушили памятник героям гражданской войны или партизанам войны Отечественной. Исторический нигилизм не проходит даром. Он калечит души людей, лишает их понимания национальных святынь. И не пора ли спрашивать за это с полной строгостью, как за самое тяжкое преступление? А разве не в том же ряду варварских, преступных действий надо рассматривать спроектированный без глубокой научной основы и уже начавший осуществляться переброс северных рек, против которого единым фронтом выступила научная, писательская, да и вообще широкая общественность? Слава богу, проект отменили. Но отве-

тил ли кто-нибудь за это преступление, понес ли какое-либо наказание? А ведь это миллиарды рублей. Да бог с ними, в конце концов, с миллиардами. А затошленные множества городов и сел, в которых есть жемчужины мирового водчества, их кто восстановит? Кто вернет народу, нам с вами, нашим детям и внукам? И простят ли нам дети и внуки эти бесценные потери?

Так давайте помнить, что, живя и работая сегодня, мы живем в Истории и для Истории. И надо делать все для того, чтобы потомки наши — через сто, двести, триста лет — не стыдились нас, а гордились нами.

* * *

Пусть простит меня читатель за то, что столь часто возвращаюсь памятью к дням своей юности, к дням войны. Но иначе не могу. Слишком глубокий след оставило то время и в жизни всего народа, и в судьбах отдельных людей. Лично же для меня — при всей его трагичности и суровости — это военное время дорого не только тем, что ярко высветило духовную красоту русского человека, но еще и потому, что на всю жизнь неразрывно связало меня с армией, с флотом.

Сегодня, пожилой уже человек, я все отчетливее и яснее понимаю, как мне повезло. И мысленно благодарю судьбу, что жизнь моя сложилась именно так, а не иначе, что в юности я попал на флот, что флот меня принял, одел, обул, дал профессию и, главное, воспитал как солдата, гражданина и человека. Это было самое счастливое время в моей жизни, может быть, даже больше, чем сейчас, я чувствовал тогда свою необходимость в этом мире. Я был нужен, и от меня многое зависело. Я давал курс кораблю, определял глубину, скорость хода. От моего гирокомпаса зависела стрельба торпедных аппаратов и орудий. Ничего, что мне было пятнадцать лет. Я стоял в общем строю и делал общее дело. И за это меня уважали. И вот это сознание нужности своей делало меня гордым и счастливым, несмотря на трудности. А ведь нам, мальчишкам, не было тогда легко и хорошо. Нам было зверски тяжело. Но я благодарен флоту даже за то, что было тяжело. Благодарен за привитую дисциплину, за истинно мужские качества, которые он сформировал в нас.

Я глубоко убежден, что каждый юноша должен пройти школу военной службы, — это крайне необходимо для последующей жизни.

Лично мне флот дал ту «закваску», которая помогает и теперь жить и работать. И когда мне в жизни бывает нелегко, я вспоминаю годы войны, проведенные на флоте, и понимаю, что тогда было еще тяжелее. И ничего — выжил, выдержал, и надо ломить дальше, до конца...

Нас было полторы тысячи юнг. И сегодня все с огромной благодарностью и теплым чувством вспоминают при встречах флот. Нашелся лишь один мерзавец — один из полутора тысяч! — который сказал: «Я проклинаю эти годы и эту службу».

Характерная деталь. Никто из моих боевых товарищей не потерялся в жизни, не опустился, не спился. Все, как говаривали в старину, вышли в люди. Есть среди них адмиралы, известные ученые, артисты, рабочие: Коля Махотин — доктор технических наук, лауреат Государственной премии; Вадим Коробов — вице-адмирал; Василий Копытов — контр-адмирал; Виктор Бабасов — Герой Социалистического Труда; Борис Штоколов — известный певец; Виталий Гузанов — писатель... Перечисление это можно было бы множить и множить.

В творческих и жизненных успехах бывших юнг опять же «виновата» военная служба. Она дисциплинировала нас, учила видеть цель и добиваться ее.

А учили нас крепко. Вспоминаю Соловки, были там ребята сильные и не очень, дерзкие и скромные, неизбалованные и «маменькины сынки». Одним словом — разные. И из этих «разных» надо было сформировать настоящих воинов — крепких, выносливых, профессионально подготовленных. Чтобы, придя на боевой корабль, они органично влились в сплоченный и монолитный коллектив, имя которому гордое и прекрасное — экипаж.

Когда мы встречаемся, всегда с любовью вспоминаем начальника школы Аврамова — человека внешности суровой, поначалу одним своим видом вгонявшего нас прямо-таки в шок. И лишь позже мы поняли, какой это добрейшей души человек! Аврамову я посвятил первый свой роман «Океанский патруль».

Но спуску он нам не давал. Жили мы на Соловках в землянках, нами самими вырытых и оборудованных. Комаров там уйма, спать нас заставляли нагишом. Утром, по холодку, — это ведь Север! — построят всех в колонну в чем мать родила — и пробежка километров 5—6. Потом к озеру: первая четверка — в воду, вторая — в воду, третья — в воду и т. д. А по берегам старшины ходят и смотрят, чтобы никто к берегу не приближался. Умеешь плавать, не умеешь — барахтайся как можешь. Я, например, не умел. Но деваться было некуда, и быстро научился. От стыда.

Или ходьба на шлюпках, в которой Авраамов был великолепным специалистом. Поставим паруса и идем. Шлюпка дает крен на левый борт, а он приказывает всей команде: «Ложись на левый борт». Ляжем и, почти касаясь ухом воды, идем дальше. Берег уже еле заметной кромкой обозначился. Вода в Белом море прозрачная, дно видно. Авраамов останавливает шлюпку и вставляет нас нырять и достать дно. А в доказательство мы должны были что-то принести с грунта. Это была прекрасная школа, которая делала из мальчишек мужчин.

А потом нас учила уже сама военная жизнь, флотская служба на боевых кораблях.

Да еще как учила!..

На эсминце «Грозный», куда меня направили, встретил я людей замечательных, прекрасных специалистов своего дела. И в этой связи, как историк, опять возвращаюсь в прошлое. Служба солдатская в старой России длилась 25 лет. Практически все лучшие годы своей жизни человек проводил в казарме, в строю, в походах, в сражениях. И потому, когда возвращался он к мирной жизни, зачастую места в ней не находил. Любимая его вышла замуж, родные забыли, от крестьянского труда он отвык. Куда было податься оставшемуся солдату или матросу на склоне лет? Отсюда так много человеческих трагедий, отраженных, в частности, в русской литературе.

Но этот огромный срок имел одно неоспоримое преимущество. Оторванный молодым парнем от семьи, от родной деревни, человек не видел и не имел другой семьи, кроме военной. Для него казарма становилась родным домом, а воинская служба — смыслом жизни.

Но если двадцатипятилетний срок службы — это безобразно много, то сейчас — и это мое глубочайшее

убеждение — служат мало. Трудно стать хорошим солдатом за два года, а матросом — за три. Только-только начинает парень становиться боевым специалистом, а ему уже пора чемодан собирать — увольнение в запас. И приходит на его место новичок, которого опять надо учить.

Не берусь давать каких-то универсальных рецептов, но, думаю, проблема тут есть, и проблема непростая. Почему бы, например, не подумать об увеличении числа сверхсрочников — кадров, на которые всегда опирались наша армия и флот, особенно в воспитании молодежи. Мне самому выпало счастье служить с такими людьми. Когда я прибыл на эсминец, то встретил там матросов, которые служили уже по восемь — десять лет, и все матросами. Так жизнь сложилась — война с Финляндией, потом с Гитлером.

Но какие это были специалисты, какие герои!

И как все их ценили, как уважали!

Возвращаемся мы из похода, выстраиваемся на палубе, запели горны. Командующий флотом А. Головкин выслушивает рапорт, жмет руку командиру корабля, потом поворачивается и подает руку мичману Холину, который еще вчера был матросом-сверхсрочником.

Этот мичман Холин в походе, во время атаки подводной лодки, когда надо было голыми руками, ногтями отодрать ото льда и сбросить глубинные бомбы, раньше всех выбежал, прямо босиком, и, пока отбой не сыграли, он так босиком и стоял на юте, и не просто стоял, а выполнял боевую задачу. Вот кто такой мичман Холин.

И конечно же, такие люди своим поведением, своим мужеством и профессиональным умением оказывали на нас огромное влияние. Как и тот массовый героизм, которым была буквально пронизана атмосфера времени. Я сам никаких выдающихся поступков не совершил, просто старался честно нести вахту, которая мне была поручена. Но я был свидетелем и очевидцем таких героических деяний, которые по сей день наполняют меня гордостью за своих флотских товарищей...

В конце войны, кажется, осенью 1944 года, мы шли всей бригадой миноносцев вдоль Кольского полуострова. Сильно штормило. Немецкая подводная лодка торпедировала М-08 «Достойный». Мы столпились в радиорубке и слушали, как радист «Достойного», оста-

ваясь на вахте, открытым текстом передавал сообщение о состоянии корабля. Потом, когда генератор залило водой, перешел на аккумуляторное питание и опять вышел в эфир. Он не назвал ни своего имени, ни своей фамилии. Только крикнул напоследок: «Товарищи, прощайте!» А дальше — только треск и шипенье. Он так и погиб безвестным для нас вместе с кораблем.

В «Моонзунде» у меня описана сцена 1917 года, как офицеры одного из боевых кораблей, гибнущего в водах Балтики, отказываются его покинуть и, собравшись в кают-компанию, медленно погружаются вместе с кораблем в пучину.

Были такие случаи и во время Великой Отечественной на Северном флоте. Мне рассказывали, как во время гибели «Сокрушительного», разломанного пополам, шестеро матросов и механик (БЧ-5) отказались покинуть корабль, разделив с ним его участь. Механика посмертно наградили, а матросы так и остались безвестными.

Такие случаи имели, конечно, потрясающее воспитательное воздействие. Сегодня они производят на меня, в моем преклонном уже возрасте, еще более сильное впечатление, чем в юности. Тогда эта героиня казалась, в общем-то, нормой жизни. А сейчас я думаю — ведь они могли спастись. Почему же они этого не сделали? Почему не покинули корабль? Ведь молодые ребята погибли — им бы жить еще и жить. Видимо, было для них, как для их отцов и дедов, что-то более важное, чем жажда жизни.

Завет русского флота всегда был один: «Погибаю, но не сдаюсь!» И последний сигнал гибнущего в бою корабля поднимался на мачте тот же: «Погибаю, но не сдаюсь!» И эта передающаяся из века в век традиция, так же как и глубочайший патриотизм, беззаветная любовь к Родине, стойкость, мужество, высокий профессионализм — все то лучшее, что было в старом флоте, восприняты и флотом советским. Вообще же традиции в военном деле играют роль огромную. Правда, не все они оказались созвучны новому времени, нашему социалистическому строю, это естественно. Но некоторые из них мы забыли или начинаем забывать, мне кажется, напрасно. В русском флоте в кают-компанию царил полная демократия. Там все — от старпома до юного мичмана — были равны. Коман-

дир корабля мог зайти в кают-компанию только по приглашению. И считал за честь, когда это приглашение получал. Во время Отечественной войны традиции демократизма кают-компании развились еще больше. Закончился поход, команда обколола лед, сделала приборку, и все ждут праздничного ужина — ведь мы пришли с моря, задание выполнили, остались, слава богу, живы. По радиотрансляции сообщают: матрос Никифоров, матрос Иванов, матрос Петров, явиться в кают-компанию. И никого не удивляло, что отличившиеся матросы ужинают вместе с офицерами и беседуют с ними на равных. И офицеры относятся к ним, как к товарищам. Это была истинная демократия. А на следующий день — офицер командует, матрос несет свою службу, никакого панибратства. Все в порядке вещей.

Не так давно был я на одном боевом корабле, после осмотра которого меня повели обедать. И вот на что обратил я внимание — в кают-компании два стола. За одним столом сидят лейтенанты, капитаны третьего ранга, за другим — начальство. И мне было стыдно сидеть за этим столом, потому что я видел, как на нас смотрят.

Не то что матроса пригласить, была нарушена даже многовековая традиция кают-компании.

Во время войны такого не было. Да и кормили нас из одного котла. Разве что иногда офицерам картошки поджарят. Вот и все отличие.

А по тяготам, которые нам выпадали, офицеру было куда тяжелее, чем матросам. У командира же жизнь вообще была каторжная. Он с мостика сутками не сходил. Бывало, придешь в ходовую рубку на вахту, споткнешься обо что-то, смотришь, шубы какие-то свалены. А это у ног рулевого командир спит...

Я всегда, всю свою жизнь, с особым уважением относился к людям, избравшим делом своей жизни воинскую службу, — к офицерам. И это уважение пытался, как мог, выразить в своих произведениях. И потому, когда меня иногда критики называют с известной долей условности «офицерским писателем», я не спорю. Действительно, большинство действующих лиц моих романов — офицеры. Хотя в «Моонзунде», например, или в романах «Из тупика», «Реквием каравану PQ-17» у меня довольно широко представлены матросы. Здесь дело вот в чем. Я сознательно добиваюсь, чтобы было привито и всячески поддержано понятие

офицерской чести. Офицер — это звучит громко и очень гордо. Матрос или солдат, при всем громадном к ним уважении, отслужили свои два-три года и ушли на «гражданку».

Офицер всю свою жизнь связал с армией, защитой Отечества. Это его профессиональное дело, его доля и его жизнь. И всегда, во все времена в нашем Отечестве офицеры гордились своим званием, выше жизни цена офицерскую честь. И сегодняшний советский офицер это хорошо понимает, чувствует и осознает. Необходимо честь и достоинство офицера всячески поддерживать.

Раньше были прекрасные слова — офицер, представляясь, заявлял: «Честь имею». Это чрезвычайно емкое понятие.

Под честью офицера я подразумеваю помимо личной чести еще и комплекс каких-то первостепенной важности качеств. Главное — это патриотизм, готовность не задумываясь отдать жизнь за Родину. Обязательный профессионализм, отличная специальная подготовка. Ну и само собой — большая культура, чистоплотность в поведении, стремление к самосовершенствованию, возвышенное отношение к женщине. Пьянство в офицерской среде недопустимо.

Офицер в моем понимании — это образец человека и поведения человека.

Надо учитывать, что офицер не только защитник Отечества, он еще и воспитатель. И от того, каков он сам, во многом зависит, и каковы будут его подчиненные. Да и отношение подчиненных будет зависеть от этого.

Ведь матросы или солдаты судят своего командира, особенно молодого, так, как ни одна аттестационная комиссия. Судят очень строго и замечают все, любые мелочи. Вот мы на своего командира молиться готовы были, хотя лекций он нам не читал, душещипательных бесед не проводил. Но всем своим поведением, своим отношением к службе, тем, что спал на мостике, что всегда можно было прийти к нему и поговорить, получить совет, — подавал нам пример. И мы его уважали и как воина, и как командира, и как товарища. Он даже с нами в Мурманске в футбол играл, и я ему тогда часы раздавил. А когда война закончилась, встретил я его случайно в Ленинграде на улице. «Слушай, — говорит, — юнга, у меня жена беременная,

а я в море ухожу, будь другом, поколи дрова». Представьте, для меня это было счастье. Я с места сорвался и с утра до вечера колоч дрова. Я делал это для человека, которого глубоко уважал. Товарищеские отношения между матросами и офицерами в дни войны — не редкость. Общее дело и общая опасность сближают людей. Но в то же время офицер всегда оставался для нас офицером, а приказ приказом. Иначе и быть не могло.

По-другому обстояло дело на американском флоте, жизнь которого пришлось мне довольно близко наблюдать. Стою я как-то на вахте, рядом с нами пришвартовался американский крейсер. Вижу — вылез матрос из машины, а рядом три офицера стоят, курят. Этот матрос шлеп одного из офицеров по плечу и молча сует ему сигарету к носу. Тот дает ему прикурить, и матрос уходит. У нас такое невозможно. И правильно. Ибо это уже не демократия, а расхлябанность, полное отсутствие воинской дисциплины.

Сейчас, мне думается, нужна большая требовательность. Ведь дисциплина не самоцель. Она основа армейской службы, основа воспитания солдата, война. В боевых условиях даже секунды играют решающую роль. Когда на корабле играли боевую тревогу, звенели колокола громкого боя, ты должен был превратиться в черта, в дьявола. Каждая секунда отвоевывалась твоими ногами, твоей ловкостью. Нужно миновать трапы, люки, не разбиться при этом и занять свой боевой пост, чтобы отразить атаки немецких подводных лодок и не получить торпеду в борт. Матросы русского флота всегда славились своей лихостью — попробуй в парусном флоте по канатику взлететь на высоту семиэтажного дома. Взлетали, не боясь разбиться насмерть.

В дореволюционном флоте морское офицерство было своеобразной кастой со всеми ее положительными и отрицательными сторонами. Изучая генеалогию, я прослеживаю судьбы целых династий морских офицеров. Чичаговы, Головины, Крузенштерны, Кроуны, Панафидины из поколения в поколение служили Родине на морях. И это мне кажется чрезвычайно ценным, ибо рождает фамильную гордость в лучшем смысле этого слова, заставляет заботиться о чести офицерского звания и собственного имени. Очень хорошо, что в Советской Армии и на Флоте начинают появляться подобные династии. За примерами далеко ходить не

надо, почти каждый из нас мог бы их привести. Я же лично знаю их множество. Взять хотя бы того же Николая Юрьевича Аврамова — бывшего начальника нашей школы юнг. Офицер царского флота, перешедший на сторону Советской власти, он с честью служил на морях, выпустил еще до войны учебник по морской практике, по которому училось несколько поколений офицеров. Его сын Георгий, с которым меня связывает давняя дружба, пошел по стопам отца. Сейчас он вице-адмирал, начальник одного из училищ. Внук Аврамова тоже пошел по стезе отца и деда. И, думаю, стремится стать, как и отец, адмиралом. И в этом стремлении нет ничего зазорного. Напротив, честолюбие — необходимое качество военного человека, ибо способствует его развитию, заставляет его не стоять на месте, совершенствоваться, достигать каких-то новых высот. В самом слове «карьера» я не вижу ничего оскорбительного для офицера, но лишь в том случае, если это не самоцель и достигается ради дела, а не ради личных выгод.

Размышляя о традициях нашего флота, я беспокоюсь вот о чем: не произошла ли сегодня некая обезличка, ведущая к потере гордости за свой корабль. Раньше в одном и том же дивизионе каждый боевой корабль имел свои традиции. Пусть даже корабль незначительный, но на ленточках матросской бескозырки обязательно была надпись с его названием. Вот знаменитый матрос Дыбенко, служивший на тральщиках, — у него на ленточках стояло «Ща». Он ходил и этим «Ща» гордился.

Помню, с какой гордостью вышагивал я по городу, ощущая за своей спиной развеваемые ветром ленточки бескозырки, на которых золотом было выведено гордое слово «Грозный». Я был переполнен гордостью. Мальчишка, я безмерно уважал себя и знал, что меня тоже уважают.

А сегодня — идет матрос, а у него на ленточках, к примеру, «Балтийский флот». А может, он на берегу кладовщиком работает? А вот если бы у него стояло — «Гордый», «Неукротимый», «Свирепый», он бы прежде всего сам себя по-иному чувствовал. Думаю, что обезличка здесь недопустима. Необходимо всячески воспитывать и культивировать чувство гордости за свой корабль.

В каждом человеке заложена доля романтики,

И нигде она, пожалуй, так не пужна, как в военном деле. Ведь, по сути дела, летчики, моряки, танкисты, десантники, пехотинцы — это романтики. И очень плохо, если командир будет пытаться эту черту в своих подчиненных подавить и приземлить. Напротив, ее всячески необходимо выявлять и развивать с первого дня службы. И даже раньше. Уже в военкоматах необходим строгий и точный отбор юношей в различные рода войск с учетом склонностей, желаний и интересов. Какой-нибудь допризывник из деревни, который и моря-то в глаза не видел, может быть, мечтает стать моряком, стремится на флот. Как когда-то мечтал об этом в глуши тамбовских лесов юный Ушаков, ставший впоследствии знаменитым адмиралом Ушаковым. Такое возможно? Необходимо учитывать желание молодого человека, тогда он не будет на протяжении всей службы думать о чемодане, который пора складывать.

Или бывают такие случаи: мечтает человек попасть в авиацию, а ему говорят — не годен, у тебя, мол, одна сотая процента зрения нарушена. Да бог с ним, с этим глазом. И с переломанным позвоночником люди летали, без обеих ног возвращались в авиацию. Главное здесь — одержимость, любовь к своему делу, к своей профессии.

Говорю об этом так определенно, потому что со мной произошло нечто подобное. Я был зачислен на корабль рулевым-сигнальщиком. Постоял вахту, другую. Вижу, чувствую — плохо веду корабль, хотя и сдал все экзамены на «отлично». А мой приятель, Коля Ложкин, троечник, взял штурвал и повел корабль как по писаному, любо-дорого глядеть. Меня же потянуло к гироскопам. Офицеры наши были людьми понимающими и, учитывая мое желание, перевели меня с мостика на днище, в гиросост. И стал я в результате неплохим специалистом, командиром боевого поста. А Коля Ложкин — прекрасным рулевым, старшой на мостике.

Говорят, техника бездушна. Но она тем не менее способна вдохновлять человека. Я верю в дружбу человека с техникой. Мне в жизни приходилось много плакать. Приходилось, сознаюсь. Но рыдал я, по-настоящему рыдал, бурно, когда после Победы, в Кольском заливе, я должен был прощаться с эсминцем и своим гироскопом. Даю честное слово, я обнял гироскоп, как родимую матушку обнимают, плакал, уби-

вался. А казалось бы — бездушная техника, но она снаилась, срослась со мной. А на современном флоте такая связь человека с техникой особенно важна.

Сегодня насущна и необходима широкая и всеобъемлющая пропаганда знаний, налаживание спортивно-оборонной работы, которая находится у нас в каком-то загоне, ведется из рук вон плохо. Я понимаю, что дворник не будет ходить по квартирам и звать молодежь на какие-то мероприятия. Здесь первое слово за комсомолом. Нужно вовлечь как можно больше молодежи в оборонно-спортивную работу. Ведь каждый мальчишка — я убежден в этом — с превеликим удовольствием повел бы танк, прошелся бы на шлюпке под парусом, пострелял из автомата, изучил какие-то военные дисциплины. Мне сейчас 59 лет, а я увлекаюсь парашютным спортом. Прыгать, конечно, уже не могу, но изучать — изучаю. Главное — заинтересовать молодежь, отойти от стереотипов, шаблонов. Именно так велась эта работа до войны. Я и мои товарищи начали изучать военно-морское дело еще в пионерской организации, ходили на занятия как на праздник. Когда мне дали значок «Юный моряк», я гордился им, как гордятся люди орденом.

Потому, когда пришли мы на флот, то многое уже знали. И нас на какой-нибудь моряцкой «хохме» было не поймать. И нас таких были тысячи, тысячи. В школу юнг был тщательный отбор. Дураков не брали.

И вот что еще в этой связи надо отметить. Говоря о романтике воинской службы, нельзя затушевывать сложности этой службы, а они колоссальные, и к ним молодежь тоже надо готовить — и морально, и физически.

Думая об армии, о ее роли в жизни народа, я вижу эту роль не только в основном назначении Вооруженных Сил — защите Родины, ее мирного созидательного труда. Чрезвычайно важна, особенно сегодня, и другая сторона — воспитательная, ибо, на мой взгляд, воспитание молодежи — едва ли не главная проблема современной жизни. Здесь у нас не все обстоит благополучно.

Не так давно одна молодежная газета распекала меня за то, что я осмелился сказать в телевизионном интервью об острой проблеме — о том, что мы слиш-

ком много даем молодежи и слишком мало с нее требуем. Но разве это не так? И разве проблема эта не очевидна?

Я не говорю здесь о пьянстве, о наркомании, этом страшнейшем зле. Но давайте пройдем по городу и взглянемся в очереди у ресторанов, кафе, пивных баров. Ведь в этих очередях есть и молодежь. А не свидетельствует ли это об отсутствии у этих молодых людей серьезных жизненных интересов, высоких устремлений, определенного интеллекта, наконец. Уважающий себя человек не будет стоять в такой очереди. Значит, не были привиты им те зачатки нравственности и культуры, которые необходимы для развития личности. Это их беда и наша, взрослых людей, вина.

Мы очень любим говорить о борьбе двух идеологий, о непримиримости этой борьбы. Но часто слова остаются словами, а на деле мы сами культивируем у себя худшие образцы западной массовой культуры, в основе своей антинациональной и антинародной, не препятствуя, а поощряя создание всякого рода ВИА, рок-, поп- и прочих групп, которых расплодилось по стране сотни, а то и тысячи и которые считаются тем моднее, чем больше в них орут, визжат и кривляются. И разве так уж нам нужны с точки зрения воспитания, с точки зрения государственных интересов многочисленные дискотеки, создание которых некоторые комсомольские организации считают чуть ли не главным достижением своей работы?

Я однажды в своей жизни видел эпилептика — страшное зрелище! Но когда, бывает, случайно видишь по телевизору (да, да — по телевизору, на многомиллионную аудиторию!), как 200, 300, 500 и больше человек дергаются как припадочные в роковом экстазе, то хочется вызвать «скорую помощь» и отправить их всех в психиатричку. Ведь это настоящая болезнь. И духовная, и физическая. Не случайно ведь во всем мире серьезные врачи бьют тревогу по поводу беспрецедентного разгула рока, о его агрессивном влиянии на молодежь, о его разрушающем — подобно наркотику — воздействии на человеческую психику.

Сейчас в Америке создана пятимиллионная ассоциация учителей и родителей. Они разворачивают общественную кампанию, добиваются слушания в конгрессе, их гневный лозунг: «Хватит рока! Ни шагу дальше!..» Но вот мы в нашей прессе читаем статью, где

металл-рок подается как нечто сверхчеловеческое и нужное.

Вдумаемся: пятимиллионная ассоциация по борьбе с роком создана в Америке. А мы до сих пор благодарствуем, мало того, внедряем, пропагандируем всячески западную массовую культуру. Страшная позиция. Если это заблуждение — то оно опасно. Ссылки на «моду», «современность», «особые» интересы молодежи — в лучшем случае маскировка полного непонимания идеологической борьбы на современном этапе.

Вызывает возмущение и та экспансия эстрадной пошлости, что буквально захлестнула наше телевидение. Несколько «модных» певцов и певиц с нарочито хриплыми или визгливыми голосами, с развязными манерами изо дня в день преподносят миллионам зрителей образчики своего «искусства», которое, я давно заметил, развращающе действует на молодежь. Ну что, скажите на милость, какие добрые чувства, какие идеалы вынесет какая-нибудь девочка-пэтэушница в застиранном платъице, живущая мечтой о красном будущем, с концерта подобных «знаменитостей», из этого зала, наполненного воем и оглушающими ударами музыкальных инструментов? Наверное, настало уже время оградить молодежь, да и не только ее, от такого «искусства», сделать так, чтобы подобная эстрада перестала надоедать порядочным людям.

Я убежден, что в нашей молодежи заложено много хорошего. Иначе и быть не может. Но задача государства, партии, комсомола заключается в том, чтобы направить молодых людей по правильному пути, обозначить правильные ориентиры.

И здесь я опять возвращаюсь к воспитательной роли армии, которая вырабатывает у человека чувство ответственности, коллективизма. Коллектив — это великая сила, и хочешь не хочешь, а он тебя воспитает. В армии, особенно в боевых условиях, человек раскрывается полностью.

Но к армии тоже молодежь нужно готовить. И им служить будет легче, и армии польза большая. Надо отходить от шаблонов воспитания, искать новые формы.

Можно было бы, например, организовать такое военно-спортивное движение, которое принесло бы несомненную пользу — отвлекло от дурных настроений, научило многому полезному в жизни: как одной спич-

кой разжечь костер под дождем или сварить суп без котелка, как определиться по звездам, перебраться через бурную реку, поймать рыбу без снасти. Одним словом, формировало бы здоровое поколение. А во главе этого движения поставить людей увлеченных и способных увлечь. Это могли бы быть те же солдаты и офицеры, вернувшиеся из Афганистана. Люди сильные, мужественные, многое знающие и умеющие, для ребят они были бы живым примером, учителями в лучшем смысле этого слова.

Я вспоминаю Соловки и думаю, насколько бы нам было там легче, если бы мы прошли подобную школу. Ребята мы были все городские. И когда столкнулись с трудностями, оказались к ним почти не подготовленными. И костра мы толком не умели разжечь, и по звездам не ориентировались. А были бы мы более подготовленные — и настроились бы гораздо быстрее, и раньше бы попали на боевые корабли.

Коснусь немного литературы, которая, я считаю, еще не сказала весомого слова о современной армии, не отразила достаточно полно и художественно сильно по армейской и флотской жизни. А ведь тема эта чрезвычайно благодатная и благодарная для думающего художника. И очень актуальная.

Меня не раз спрашивали мои друзья моряки, не собираюсь ли я взяться за тему современной армии. Я же всегда твердо и однозначно говорил: нет, ибо не хочу халтурить. Ведь сплошь и рядом бывает: приезжает писатель на неделю-другую в творческую командировку, вроде бы все повидал, все узнал — можно садиться и писать. Так же, впрочем, приезжают на завод, фабрику, ферму. И получается халтура.

Когда я прихожу на современные боевые корабли, прошу показать то, что мне более или менее знакомо — ходовую рубку, гиропост, компасы. И я вижу, что техника изменилась, усложнилась, а современные матросы как специалисты грамотнее меня. Значит, чтобы писать, мне надо изучить технику. Но если развились техника, то изменились и люди, их психология. И ее мне надо узнать. А для этого необходимо встать на боевую вахту и года два послужить. Это мне теперь не под силу.

Меня иногда спрашивают: Валентин Саввич, вы опять, как это бывало раньше, вернулись к теме Великой Отечественной войны? А я от нее никогда и не

уходил. Она всегда со мной и во мне. Это для меня не тема даже — это моя юность, моя жизнь.

Теме Великой Отечественной войне был посвящен мой первый роман «Океанский патруль». Затем я написал «Реквием каравану PQ-17». Наконец, после того как узнал подробности гибели отца в рядах морской пехоты, защищавшей Сталинград, я начал писать большой роман о героике этого славного города. Сразу оговорюсь: битву в Сталинграде я вижу в плане большой стратегии и большой политики того периода, когда вершились судьбы всего мира. До сих пор помню знойное лето 42-го года — как уходил на флот, а отец покидал флот, чтобы воевать на суше. Мы встретились тогда. Он обнял меня, поцеловал, сказал «благоденствуй» и взял с меня обещание, что я до 20 лет не буду курить. Обещание я сдержал, а отца больше никогда не видел. Но образ отца — батальонного комиссара — всегда со мной. И, естественно, во время работы над романом о Сталинграде я должен задуматься над главным трагическим вопросом тех дней: как могло случиться, что дивизии вермахта прорвались к Волге?

Многое еще предстоит переосмыслить.

Что касается темы современной армии, то, я думаю, здесь слово за теми писателями, которые придут или уже пришли в литературу из казармы, с плаца, со стрельбища, с танкодрома, аэродрома, боевого корабля. За теми, кто с полным основанием, искренне может сказать: «Армия — любовь моя!»

МОЯ ЖИЗНЬ — МОЯ РАБОТА

Существует довольно распространенное мнение о писательском труде как о деле если и не несерьезном, то, во всяком случае, далеко не обременительном. «Подумаешь, — рассуждает иной обыватель, — сидят себе в тени и уюте, чиркают перышком по бумаге. Это небось не кирпичи таскать. А живут-то, живут-то как! На машинах разъезжают, дачи строят...»

Грустно делается порой от таких рассуждений. Ведь литература наша — если иметь в виду истинную литературу, а не поденщину ради заработка, истинных художников, а не приспособленцев и халтурщиков — это всегда титанический труд, это полная самоотдача и добровольный отказ от многих удовольствий жизни, это своего рода подвиг, наконец.

Недаром же наша художественная словесность, начиная со времен Ломоносова и Пушкина или даже еще более ранних времен, занимала и занимает столь важное место в жизни общества, являя пример гражданственности и беззаветного служения народу.

И вот что показательное: чем талаптливей художник, тем обостреннее чувствует он проблемы времени, тем граждански он активнее. Я не могу не восхищаться гражданской позицией замечательных наших писателей — Юрия Бондарева, например, или Валентина Распутина, Виктора Астафьева, Василия Белова, не только написавших такие поднимающие животрепещущие проблемы времени произведения, как «Игра», «Пожар», «Печальный детектив», «Все впереди», но еще столько сил и времени тратящих на борьбу за сохранение экологической среды, памятников старины и культуры...

А как не вспомнить «Байкальское движение», организаторами которого выступили те же В. Распутин, В. Астафьев, В. Белов.

Одним словом, истинная литература неразрывна с жизнью, а истинный художник — это трепетный нерв народа....

...Здесь мне хотелось бы, основываясь на личном, вот уже сорокалетнем литературном опыте, немного рассказать о писательском труде, приоткрыв двери собственной — как теперь модно стало выражаться — творческой лаборатории, попутно ответив и на письма читателей, в которых наряду с традиционным вопросом: «Как Вы пишете?» — встречаются вопросы и довольно курьезные, например: «Как алкоголь влияет на Вашу творческую потенцию?» и «Правда ли, что Вы можете полноценно работать, только выпив бутылку водки?» или «Откуда у Вас такая библиотека и собрание исторических материалов? Говорят, Вы обменяли все это на продукты во время блокады? А может, получили по наследству?».

Так вот, я всегда считал себя в литературе человеком случайным, ибо ни учебой, ни воспитанием не был подготовлен к общению с деликатным пером. Отец мой — Савва Михайлович Пикуль — крестьянский парень, призванный служить на один из эсминцев Балтийского флота, тоже с юности особой грамотностью не отличался, хотя человеком был достаточно незаурядным и, имея лишь начальное образование, посту-

пил как «выдвиженец» из народа в политехнический институт, который окончил с отличием. Книг у нас в доме было немного. Помню, стояли на полке «Краткий курс ВКП(б)», томик стихов Тараса Шевченко на украинском языке, сборник М. Ю. Лермонтова. Правда, довольно много было тоненьких детских книжечек, с помощью которых отец прививал мне любовь к чтению.

К сожалению, ни одной из этих дорогих моей памяти книг не сохранилось. Они погибли, когда в наш дом попала бомба. Началом же моей личной библиотеки, о которой я позже скажу еще несколько слов, первым «камнем», положенным в ее основание, была книга историка Евгения Шумигорского, купленная мной в 1952 году за 20 рублей по старым деньгам. Я тогда заканчивал работу над первым своим романом — «Океанский патруль», где попытался передать впечатления своей боевой юности, и тогда же увлекся историей тех мест, в которых мне пришлось воевать. Начал собирать исторические материалы, книги по истории Севера.

Мое счастье в том, что я не сразу начал с истории социальных движений, с декабристов, а — с истоков, издавна, со времен варягов и освоения Севера русским человеком.

Север — это, на первый взгляд, вода, камни, небо. И, казалось бы, какая там может быть особая история? Но когда я познакомился с историческими материалами, я был потрясен величием и красотой этой истории. Гордые, красивые, сильные, добрые люди, почти сплошь грамотные. Культурные центры, богатые библиотеки, хранилища древних рукописей. Когда Ричард Ченслер впервые, при молодом Иване Грозном, случайно попал на наш Север, он в каждом доме видел чистоту, порядок, здоровье, держал в руках книги древнего благочестия, обернутые в холщевые полотенца. Для него, англичанина — Англия была тогда страной отсталой, — это было открытием...

От истории русского Севера я, естественно, перешел к изучению истории всего нашего государства. Начал серьезно изучать материалы, собирать библиотеку, очень сильно увлекался генеалогией и русским портретом.

Правда, уже в ту пору я четко осознал, что наша история настолько огромна, сложна, масштабна, что

одному человеку освоить ее практически невозможно. Потому я сразу же попытался ограничить себя жесткими временными рамками — с 1725-го, года смерти Петра I, по 1825-й, год восстания декабристов. И, хотя я в своих произведениях довольно часто «окунаюсь» и в другие эпохи, это время для меня наиболее интересно. И именно о нем пишу я свою «главную книгу». Мне хочется, чтобы читатель, взяв в руки уже написанные романы «Слово и дело», «Пером и шпагой», «Фаворит» и «Аракчеевщина», над которым я сейчас работаю, мог бы представить себе то время, в мельчайших подробностях, почувствовать его аромат, ощутить всю его сложность и драматичность.

Вообще же, хлеб писателя, занятого исторической темой, добывается нелегко. Если художник, пишущий о современности, живет в ней, прекрасно знает все ее реалии, то историческому романисту, прежде чем писать, надо досконально изучить эпоху, психологию людей, мелочи быта.

И вот тут-то мне лично очень помогает собранная мной библиотека, портретное собрание и генеалогическая картотека.

Главная задача для меня — найти ответ на любой вопрос. Сразу же, мгновенно, не выходя из дома. Если нужно знать, к примеру, как делали в старину кесарево сечение, мне достаточно протянуть руку и открыть нужную книгу. Как варили сталь, сколько добывали чугуна в России в таком-то году, какие были моды, когда веер стал особым языком объяснения в любви — пожалуйста. И потому я не сажусь писать роман, пока не соберу все или почти все нужные мне источники. Даже зная, понимая, что и четверть собранного, прочитанного, изученного, систематизированного в роман не войдет, — все равно это надо знать.

Библиотека у меня, на мой взгляд, достаточно интересная, хотя она меня удовлетворяет все же не до конца. Каких-то книг, которые мне хотелось бы иметь, у меня нет. Я гоняюсь за ними годами, а достать не могу. И это часто отнюдь не какие-то очень старые или художественно оформленные издания. Иногда простенькая брошюрка в несколько десятков страниц важнее для работы, чем роскошные старинные фолианты.

Есть в моей библиотеке книги просто уникальные, которые я не имею права после своей смерти оставить

кому-то. Я обязан их завещать государству. Это очень редкие книги.

Я почти не собираю беллетристики, за исключением книг тех писателей, к которым питаю слабость. Это Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Серафимович, Франсуа Рабле, Бронислав Нушич.

Из поэтов люблю Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, Есенина.

Что касается исторической романистики, то здесь мне ближе всего Вячеслав Шишков, всегда неукоснительно следовавший исторической правде. «Емельяна Пугачева» я считаю шедевром советской прозы, думаю, что именно так надо писать исторические романы.

Почти сорок лет я собирал и продолжаю собирать русский портрет. Вырезаю и наклеиваю на паспарту гравюры, репродукции, медальоны, изображения надгробных изваяний, — короче говоря, все, что касается русских исторических деятелей, представителей известных фамилий. На карточке рядом с изображением — краткая аннотация о человеке, указан художник, дата исполнения. Увлекательнейшее занятие! И если в моей библиотеке никто, кроме меня, пожалуй, не разберется, ибо там почти нет никакой систематизации, все книги находятся у меня «в голове», то портретное собрание я содержу в идеальном порядке. Это редкий случай разделения портретов людей, живших задолго до нас, не по эпохам, не по художникам, не по музеям, а по алфавитной системе, как в энциклопедии: от Аарона до Яцуржинского. Причем я стремлюсь обязательно узнать судьбу изображенного на портрете человека. И, конечно же, без этого собрания мне было бы очень трудно, а точнее, невозможно писать свои исторические произведения. Ибо, изучая портрет, я как бы проникаюсь настроением времени, чувствую характеры людей той эпохи, вижу, как они одевались и т. д.

Многие мои миниатюры родились именно от портрета.

Толчком к написанию романа «Три возраста Окини-сан» явилась репродукция картины, на которой изображена юная прекрасная японка, одетая в красочное кимоно. Потом уже мне попали в руки и фотографии самой Окини-сан. Да и окончание романа, завершающегося трагической гибелью героев, было под-

сказано мне японской гравюрой, на которой изображены мужчина и женщина, бросающиеся, обнявшись, в море. Таков был старинный японский обычай кончать неудачно сложившуюся жизнь.

Ну и, наконец, портретное собрание помогает расслабиться, отдохнуть. Когда мне становится совсем невмоготу за письменным столом, я перехожу в другую комнату и начинаю рассматривать портреты. Это создает какое-то особое настроение, будит мысль и чувство, восстанавливает душевные и физические силы. И можно опять садиться за письменный стол.

Моя жизнь сложилась так, что лучшие годы я отдал флоту, ночным вахтам. И потому, наверное, и в литературной своей работе я так люблю ночь. Вот уже на протяжении четырех десятилетий я — ночной житель, а мой рабочий день — это ночь. Как бы я себя плохо ни чувствовал, но часам к 9—10 вечера я иду к письменному столу. К полуночи я уже работаю в полную силу, и этого «накала» хватает часов до четырех-пяти утра, после чего я плотно обедаю. Около семи часов я заканчиваю писать и, что-то почитаю, подумав о работе на завтра, приготовив нужные материалы, ложусь спать. Дневной сон действует на меня более освежающе, чем ночной. Вечером все повторяется сначала.

Смолоду я писал автоматической ручкой, потом появилась машинка, и я стал сразу же отстукивать текст на ней. Потом отказался и от такого способа работы. Уже много лет пишу обычной ручкой, макая ее в чернильницу. Если вижу, что текст «вытанцовывается», переносю его на машинку. Это у меня еще одна возможность что-то подправить, прояснить, прописать, подредактировать. Все свои романы — все до одного — перепечатал самостоятельно, без машинистки.

Я так или иначе работаю каждый день. Иногда по десять часов, иногда по четырнадцать, а иногда, когда чувствую, что «пошло», — и больше. Заканчивая роман «Пером и шпагой», я просидел за столом, практически не поднимаясь, более двух суток, написав за это время два с половиной авторских листа. Но я отнюдь не являюсь сторонником довольно распространенной теории «ни дня без строчки». Есть что-то от графоманства в подобном ежедневном писании. Так, в лучшем

случае, можно наработать профессионализм. А ведь в творчестве должен быть и период накопления, и осмысления, какие-то душевные терзания, наконец. Я за труд, но, к сожалению, часто вижу результаты труда в бездарнейших книгах, которые не хочется читать.

Лично мне очень нравится заниматься изучением материала, а вот писать я не люблю. Для меня это настоящая каторга. И потому, когда настает время переложить изученное и как-то осмысленное на бумагу, мне приходится делать большое волевое усилие. Я хватаю себя за остатки волос и тащу к столу. А кроме того, и настроение или чисто физическое состояние не всегда сопутствуют работе. Случаются досадные перебои, которые я мучительно переживаю, хотя и отдаю себе отчет, что и они, наверное, нужны — для самоанализа, для обдумывания материала и т. д.

Когда заканчивается период изучения материалов и я вымотанную приступаю к работе над тем или иным романом, тут я становлюсь буквально одержимым. Я никуда не выхожу из дома, не разговариваю по телефону, не смотрю телевизор, ни с кем не встречаюсь и, конечно же, не позволяю себе ни капли спиртного. Даже четверть стакана пива для меня исключена. Держусь я в этот период на крепком чае. Ем всего лишь один раз в сутки. Для меня не существует выходных или праздников. Даже несколько Новых годов я встречал за рабочим столом.

Я глубоко убежден, что во имя любимого дела вполне можно высидеть это добровольное заключение. Конечно, у каждого творческого человека своя «метода» работы. Но мне трудно понять тех писателей, которые утром, отработав какие-то часы, идут по делам, принимают гостей и т. д. Непонятно мне, как можно писать в Домах творчества, в которых я никогда не был и не знаю, как там двери открываются. Мой кабинет — это моя творческая лаборатория, а моя жизнь — это работа. Да и что может быть лучше работы, когда она любима!

Меня часто спрашивают, какое произведение досталось мне труднее всего и какое мной самим наиболее любимо. Не буду говорить о своем самом первом, очень слабом романе. Он шел у меня очень трудно. Я был еще молод и неопытен. Нелегко дался мне и второй том романа «На задворках Великой империи».

Но здесь причина другого порядка. Я уже увлекся иной эпохой и не хотел его писать. Но договор был заключен, и писать было надо. Наверное, это насилие над собой сказалось и на романе. Мне кажется, что первый том написан лучше, чем второй.

Особенно долго и мучительно работал я над «Словом и делом». Царствование Анны Иоанновны очень слабо отражено в нашей литературе — и художественной, и исторической. Материал приходилось собирать буквально по крупицам, по кусочкам, как мозаику. У Лажечникова в «Ледяном доме» больше вымысла, чем истории. Мне же хотелось донести до читателя эпоху в ее подлинности и максимальной достоверности. Я вообще в своем творчестве стараюсь избегать вымысла. Юрий Тынянов как-то заявил, что он начинает писать там, где кончается документ. Мне кажется это опасным для исторического романиста. Ибо там, где «кончается документ», невольно возникает некоторая вольность в обращении с историей.

Нелегкой была работа и над «Битвой железных канцлеров», потому что очень непросто доступно и понятно передать сложную, порой запутанную политическую обстановку Европы периода Горчакова и Бисмарка. Ведь массовый читатель, естественно, не знаком с тайнами политической жизни того времени. И необходимо было написать так, чтобы самая специфическая и неинтересная — а в то же время необходимая и важная — информация была интересна читателю, волновала и увлекала бы его. Очень много времени ушло у меня на поиск формы изложения. Ну, а что получилось — судить не мне.

Что же касается «самого любимого произведения», то я боюсь говорить об этом, я ведь почти не перечитываю своих романов. Мне даже легче назвать неудачную вещь. Иногда кажется — вот этот-то роман у меня действительно хорош. Но проходит время, как это было с «Баязетом», — и начинаешь видеть какие-то его слабости.

Достаточно серьезным кажутся мне лично «революционные» романы — «Из туника» и «Моонзунд». Но самой сложной и самой лучшей своей книгой я считаю «Нечистую силу», вышедшую в журнале «Наш современник» в безобразно сокращенном виде под названием «У последней черты». Царствование Николая II — тема очень трудная. Обилие исторических ра-

курсов, борьба партий, множество политических перипетий, чехарда в государственном аппарате, наконец, Распутин и те силы, которые за ним стояли.

Основным источником для написания этого романа послужили семь томов «Падения царского режима» — стенограммы допросов министров, жандармов, высших чинов империи. И вот что интересно: нет ни одного свидетеля, который бы не затронул распутинщину. Это издание вышло под редакцией известного пушкиниста Павла Елисеевича Щеголева. Он был секретарем следственной комиссии. В эту же комиссию входил Александр Блок. Ну а кроме того, использовал я многочисленные мемуары, периодику тех лет.

Исторический роман — это роман во многом и современный. Я думаю, что автор, воссоздавая прошлое, вольно или невольно соотносит его и с настоящим. Возникающие сплошь и рядом аналогии между историей и современностью закономерны. И потому я иногда даже прерываю свой текст о каких-то событиях прошлого и отмечаю, что нечто подобное случалось, допустим, в 1941 году. В истории многое связано. Да и замыслы моих романов иногда связаны с какими-то событиями современности. Я до сих пор благодарен С. С. Смирнову, который открыл нам героев Брестской крепости. После этого я нашел себя как литератор, начав писать исторический роман «Баязет», где, по сути дела, очень схожи были ситуации между защитой Баязета в русско-турецкой войне и защитой Брест-Литовской крепости в 1941 году.

Началось у нас освоение целинно-залежных земель. Я откликнулся на это событие романом «На задворках Великой империи».

Роман «Слово и дело» напрямую связан с разоблачением культа личности. Я привел примеры того беспорядка, той безнравственности, той жестокости, которые свойственны культу личности.

«Три возраста Окини-сан» и «Крейсера» вышли к трагической для нашей страны годовщине Цусимского сражения. Я сознательно решил откликнуться на эти события. Мне хотелось предвосхитить самурайские вопли по поводу юбилейных для них торжеств, напомнить, во-первых, о беззаветном героизме русских моряков и, во-вторых, рассказав о том, что была и первая битва при Цусиме в 1904 году, когда три наших крейсера приняли неравный бой с целой японской

эскадрой броненосных крейсеров под флагом вице-адмирала Гиконоя Камимуры. «Рюрик» героически погиб, открыв кингстоны, а два крейсера вернулись во Владивосток.

Наконец, мой роман о Распутине. Проследившая разложение царского самодержавия в канун революции, я пытался показать, что Распутин был лишь видимой фигурой той отвратной, продажной камарильи, которая плясала вокруг престола последнего царя, тех тайных сил, которые режиссировали историческое действие. Это все и есть «нечистая сила», это шабаш, своего рода «пир во время чумы».

Так почему этот роман был так остро воспринят? Да потому, что некоторые вышестоящие товарищи и взятки хапали, и врал, и лицемерили, и орденами себя обвешивали, они увидели в этом романе самих себя. Вот мне и досталось от критиков!

Я уже говорил, что при написании своих романов стараюсь опираться на документы, на подлинные исторические материалы. Мне кажется, что сегодня именно документ больше всего убеждает читателя. Это не значит, что я таким образом гарантирован от ошибок. Они у меня есть. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. И я бываю искренне благодарен, когда мне на эти ошибки указывают. Но нередко случается и так, что какой-нибудь читатель или критик, познакомившись с одними источниками и найдя там разночтение с романом, спешит поделиться своими сомнениями или возмущением с редакцией, с автором, не подозревая, что существуют и другие документы, другие источники, трактующие исторические события иначе. Подобные разночтения встречаются сплошь и рядом. И на многие события прошлого существует зачастую несколько версий.

Одному историку более обоснованной кажется такая-то версия, второму — иная. И это все в порядке вещей, это наука. Важно только, чтобы каждый мог свое мнение аргументированно обосновать, документально подтвердить. Тогда в споре и родится истина. Гораздо хуже, когда невежда пытается утвердить только свое мнение. Да мало того, еще и покрикивает на несогласных.

История не терпит шаблонов, а тем более ярлыков, которые у нас иногда приклеивают на те или иные события или на отдельные личности,

Для примера возьмем тоже уже упоминавшееся Цусимское сражение. Мы считаем его поражением царского флота. Да, поражение. Но почему-то мы отмечаем тот высокий героизм, тот боевой накал, который сопровождал Цусимское сражение. Матросы и офицеры шли на смерть, заведомо зная, что они погибнут, но шли, ибо дороже жизни для них была честь России.

Вот конкретный пример. Эскадра шла от Либавы до берегов Японии, останавливалась в иностранных портах, и был только лишь один дезертир за все время, хотя, повторяю еще раз, люди знали, что идут почти на верную смерть.

От Цусимы я позволю себе перекинуться к Потемкину. Что о нем вообще было известно? Любовник Екатерины, сибарит, одноглазый, да еще враги России придумали какие-то потемкинские деревни, которых никогда не существовало.

А историку важно докопаться до истины и показать действительный образ человека, его роль в истории государства. Так вот, Потемкин — великий государственный деятель, с которым считались дворы Европы, мнение которого оспаривало мнение кабинета и самой императрицы Екатерины. Он освоил Причерноморье, был первым командующим Черноморским флотом, при нем Ушаков и Суворов одерживали блистательные победы.

И получается совершенно иной образ. Да, сибарит, да, пил квас, щи (щи тогда пили), да, ел репу, любил женщин. Денег, правда, не имел никогда, но протягивал руку, говорил — дай! И ему давали. И вместе с тем это страстный патриот.

Я не люблю героев однозначных, которых надо писать либо черной, либо белой краской. В каждом человеке есть недостатки, но есть и что-то хорошее. И когда я выискиваю в истории человека, которого надо писать одной лишь краской, — я в растерянности. Это не живой человек. Но мне попадались и такие — пегодяи, подлецы варвары, — Анна Иоанновна, например. А бывали примеры и еще хуже.

Я не считаю, что историю надо подавать на золотом блюде с ароматным гарниром внушений от автора и чтобы герой обязательно был положительным. Мне нужно крепко полюбить героя или сильно возненавидеть его. Ведь иногда как раз на отрицательных

примерах можно вызвать нужную тебе реакцию. Скорее, выбираю не героя, а эпоху. Через мысли и поступки героя стараюсь развернуть картину эпохи.

Я не могу долго оставаться в какой-либо одной эпохе. От этого иногда очень устаешь. Требуется какая-то разрядка, смена настроений. И тогда я из XIX, например, века перехожу в XX, а из XX — в XVIII, отсюда — в гробные годы Великой Отечественной войны...

Так было с «Реквиемом...». Я целиком был поглощен эпохой Семилетней войны, походами Фридриха Великого, баталиями, дипломатией, интригами того времени, когда меня «вдруг» властно увлекло мое собственное прошлое. Со мной что-то случилось. Я как бы вновь испытал жестокие размахи качки, изнурительные ночные вахты, услышал завывание корабельных сирен, вновь увидел океан, задымленный кораблями союзных караванов...

Так я пришел к написанию «Реквиема...». Моя юность жила, да и сейчас еще живет во мне.

Кстати, первая операция, в которой я участвовал, придя на Северный флот осенью сорок третьего года, это были как раз поиски разгромленного каравана. Оставшиеся корабли разбрелись по морю, в эфир не выходили, вот мы их и искали. Это было первое впечатление боевой юности. Ну, а кроме личных впечатлений в работе над романом были использованы многие документальные материалы, опубликованные мемуары, рукописные свидетельства участников и очевидцев, их воспоминания. Пришлось перечитать огромное количество переводов с английского, французского, польского...

Роман выдержал множество изданий. Но у меня все время «руки чешутся» — хочется что-то дописать, улучшить, усилить. Все время появляются какие-то новые материалы, которые нельзя обойти. Вот, например, я показывал своим друзьям фотографию перевернутого кверху дном «Адмирала Тирпица». И вдруг недавно узнал, что корабль этот куплен фабрикантом булавки для дамских шляп. Интересный факт.

Я написал много романов. Написал и забыл о них. Но роман «Реквием...» всю мою жизнь будет оставаться «романом на рабочем столе».

Меня часто спрашивают: «Счастливы ли вы?» И я всегда твердо отвечаю: «Да, счастлив!» Я нашел лю-

бимое дело, любимую работу, которая стала не просто частью жизни, но самой моей жизнью.

Но если бы мне заново, зная все, что меня ждет, предложили строить свою судьбу, я бы, вполне вероятно, и не пошел бы в литературу. Ибо слишком это тяжелый крест, слишком большая ответственность ложится на плечи писательские. А если уже встал на эту стезю, то меньше всего должен думать о деньгах, наградах, успехе. Главное для писателя — любить свой народ и всеми силами служить ему.

*Очерки подготовлены к печати кандидатом
филологических наук С. И. Журавлевым*

Г. Некрасов

ЛОМАНУЛИСЬ НЕ В ТУ СТОРОНУ

Несколько лет подряд в советской печати идет непрекращающийся антиармейский шабаш. Пальму первенства в этом деле надо конечно же отдать роману-анекдоту Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Слово «солдата» в заглавии присутствует не случайно (в литературе случайностей не бывает!), и Войновичу, надо полагать, известно, что воинов рядового состава тогда называли «красноармейцами». Не случайно и то, что печатание романа-анекдота растянуто на несколько лет. И несколько лет уже полыхают по поводу его вакханальные факелы: таким способом в головы читателей внедряют мысли о том, каким олухом царя небесного являлся и является русский воин. Действуют по-руссофобски напористо и беспардонно.

В 1988 году появилась первая публикация сего творения. Выразительный на журнальную страницу рисунок художника Г. Новожилова изображает на фоне тучи табачного дыма уродливого красноармейца в пиlotte, гимнастерке, через плечо скатка и противогазовая сумка у бедра, в обмотках и огромнейших ботинках и летящего к нему Сталина с глупейшим лицом женоподобного существа, похожего на черепаху, с ядерными грудями, солидным носом, черными усами и дымящейся трубкой. И пошло-поехало «необычайное приключение» храброго солдата.

Шуму было много. Но вскоре он затих. Это, видно, напугало редакцию журнала, и вот в январе 1990 года «Юность» вновь напомнила о Чонкине.

В редакционной врезке читаем: «В прошлом году «Юность» завершила публикацию романа В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Редакция и автор получили большую почту, реакция критики и общественности была бурной и неоднозначной. Поэтому, помещая подборку читательских писем, мы решили сопроводить их своеобразным комментарием В. Войновича». «Завершила»?! А рукопись второй книги «анекдота» о бойце Чонкине лежала уже на редакционном столе. Ёрники от литературы готовили неожиданный антиармейский залп новой публикации.

Но вернемся к читательским письмам. Автор с ними особо не церемонится. Ведь он чуть ли не единственный в своем роде, кого природа наделила «сатирическим даром» пачкать все, чего ни коснется.

Для своего «анекдота» автор преднамеренно взял самый трагический период нашей истории — начало Великой Отечественной войны, когда ответственность за судьбу Отчизны легла на плечи всего народа, от мала до велика. По мнению читателя В. П. Чебо из города Донецка, сатирику удалось это сделать и достоверно, и смешно. Прочитав сей «анекдот», он, восторженный, пишет автору: «Найдутся доносчики... чтобы оклеветать Вас». И сердечно признается: «Сознавая горькую правду тех лет, так точно описанных в романе, я смеялся и плакал. Я узнал себя». Однако интервью Войновича поразило меня еще больше. Отвечая на вопрос И. Хургиной: «Что бы вы ответили читателям, которые обвиняют вас в очернительстве, в том, что «Чонкин» — это пасквиль?» — писатель скромно сказал: «...это негодяи, которые говорят это просто из корыстных соображений, для многих «священные коровы», до сих пор существующие в Советском Союзе, еще не пали». И объяснил: «Я смеюсь над кретинами, и если некие люди воспринимают это на свой счет, то им надо подумать, кто они...» Один из них сам представился. Но в Советском Союзе проживает далеко не один В. Н. Чебо. Хотя среди почитателей у сатирика не только он. Среди них и доцент из Одессы В. А. Смирнов. Он разразился протестом в адрес членов клуба «Золотая Звезда». Недоволен доцент, что прославленные воины выразили «Юности» и «Огоньку» возмущение. Да как они могут, явится доцент, «...авторы письма глубоко заблуждаются... В. Войно-

вич показал не первый день Великой Отечественной войны, как поняли авторы письма — герои этой войны, а один из многих дней (в том числе и июня 1941 года) той скрываемой чуть ли не до сего времени беспощадной войны против собственного народа, которая велась сталинщиной многие годы».

Вот уж, как говорится, все поставлено вверх ногами. Если В. П. Чебо узнал себя и тем удостоверил, что «воевал» он все же с немецко-фашистскими захватчиками, то ученый муж из Одессы опровергает и его. По В. А. Смирнову: советский народ воевал против советского народа, хотя в одном случае доцент называет его «сталинщиной». И все же я имею на этот счет свое мнение и больше согласен с В. Войновичем, который признается: «О Советской Армии не было ничего в подобном духе». Надеюсь, что В. А. Смирнов разберется с В. Войновичем, кто из них прав. А мне, пользуясь свободой мнений, хотелось бы высказать свое суждение о том, как я понимаю роман-анекдот о Красной Армии, а заодно сказать о другой повести о Советской Армии, повести Сергея Каледина «Стройбатовцы». Войновича и Каледина, как мне кажется, многое роднит. Оба пишут об армии, и обоих жалуют «гражданские» журналы, которые вдруг обратили внимание на эту тему. Правда, интересуют их не ратные дела. Этими публикациями они подчеркивают свою откровенную ненависть к людям в военной форме.

Роман-анекдот В. Войновича повествует о страшных днях нашей Родины — 1941 года. Автор решил позубоскалить по этому поводу. Что же в «анекдоте» происходит? Красноармеец Чопкин в канун нападения фашистской Германии на СССР послан охранять военный самолет, совершивший вынужденную посадку у деревни Красное. Началась война, и перепуганное командование о самолете и бойце забыло. Автор объясняет это не трагизмом обстоятельств, а всеобщей глупостью и тупостью — в анекдоте, кроме поросенка — простите, кабана — Борьки, нет ни одного мало-мальски мыслящего существа.

Мертвых не опасаются. Литературный провокатор ныне храбро зубоскалит над миллионами бойцов и командиров Красной Армии, отдавших свои жизни ради того, чтобы остановить врага, защитить Отечество, а если быть более точным — и все народы мира.

Сидящему на западно-германских хлебах В. Войно-

вичу, может быть, чуждо теперь понятие Родина, а издательству «Ардис», с разрешения которого «Юность» опубликовала пасквиль на Красную Армию, это тем более безразлично, но советские-то издатели, у них что же, совсем угасла (если была!) память?

О героях романа говорить неприятно, но — лишь для примера...

Взять генерала Дрынова. По замыслу В. Войновича — типичного представителя высшего командного состава Красной Армии. От него только и слышно:

«— Что за едрит твою маты!»

Больше всего в описываемой автором операции бесит его один «опорный пункт», именуемый «сортиром». Что там привлекает генерала, не сказано, но он решительно старается разделаться с ним. В телефонную трубку Дрынов кричит артиллеристу:

«— Прикажи подтянуть орудие к уборной, на которой что-то написано иностранными буквами, и пуской вдарят прямой паводкой в упор».

Ему докладывают, что местность простреливается, будут большие потери, но Дрынов стоит на своем:

«— Гуманист тоже нашелся. На то и война, чтобы гибли. Подтащить орудие, я приказываю!»

При таком командовании дивизией победа не заставляла себя ждать. Когда же Дрынов узнал, что воевал всего-навсего с бойцом Чонкиным, удивился его храбрости, «снял с себя орден и прикрутил его к гимнастерке Чонкина».

Но через несколько строк, как положено в анекдоте, произошло непредвиденное:

«— Товарищи, мой приказ о награждении рядового Чонкина отменяется. Рядовой Чонкин оказался изменником Родины. Героем он притворялся, чтобы втереться в доверие. Ясно?»

Нам все ясно. Посмеялись от души. Но, не оставившаяся на мелочах, хотелось бы спросить, все ли ясно журналу «Юность»? Думается, не все. Не случайно же редакция сначала сопроводила «роман-анекдот» статьей об авторе, а затем и «Послесловием». Б. Сарнов употребил весь свой талант, чтобы доказать читателям, что черное есть белое, а белое — черное. Критик привел даже слова самого В. Войновича о том, что «сатирик отличается от писателей, работающих в иных жанрах, тем, что он концентрирует свое внимание на теневых сторонах жизни и негативных тенден-

циях». Эту прописную истину нам не следовало бы разжевывать, не следовало бы и упрекать читателей как бы в невежестве, в непонимании прочитанного. Откуда Б. Сарнову знать, что читатель подумал, закрыв журнал. «К сожалению, однако, доказывать приходится», пишет критик и, как бы оправдываясь, добавляет: с «Войновичем природа сыграла особенно злую шутку, наградив его сатирическим даром». Мол, даже в святом он видит теперь гадость и поэтому издевается над тем, что больше всего тревожит воспоминаниями сердца советских людей. Каждый здравомыслящий человек содрогнется при мысли, что было бы, если бы Красная Армия и весь наш народ не разгромили оккупантов. Напрасные потуги заставить это забыть, а войну свести до уровня анекдота! Сатира сатире рознь! Так и хочется сказать критику Б. Сарнову: не путайте Божий дар с солдатом Чонкиным, не прикрывайтесь Гоголем и Щедриным. Никогда русские классики не позволяли себе святотатства. А его теперь в современной литературе хватает.

Заглянем в повесть Сергея Каледина «Стройбатовцы» — еще один антиармейский «шедевр». Автор явно задался целью «перецлюнуть» в клевете на армию даже «роман-анекдот» В. Войновича. Как пакостны мысли В. Войновича и С. Каледина, так мерзостен и язык их сочинений. Попробуйте прочитать в кругу семьи такие, к примеру, выжимки:

«— Нажрались, суки, а зажрать толком не научились».

«— Ссышь, когда страшно, значит, уважаешь».

«— Грузин хрен с ним, а нашего жалко».

«— Кусок паскудины!.. Чеси репу — и скачками».

«— Задергался хахаль кособрюхий... Побахвалиться захотелось перед сикухой: нет, мол, на меня управы!.. Хочу дурь сосу, хочу — бабу в роту черепажу... Дурак!»

«— Ишь, какая нация шерстистая, хуже грузинов».

В общем, язык «героев» В. Войновича как две капли похож на язык «героев» С. Каледина, и наоборот. Тут, как говорится, одного поля ягода. Но под похабщиной скрывается и более страшный смысловой пласт — разжигание национальной розни. Смотрите, мол, как эти русские говорят о грузинах и других национальностях. Русофобство подается похабщиной, как бы заостряя на этом внимание.

- «— Глуши козлов!..
- Сучье позорное!..
- Петушня помойная!..
- Мочи пидаров!..»

«Дам в лоб — козла родишь».

«Не бзди, мужики!.. Главное, всей хеврой навальтись».

«Стой, падлы». Или: «Удав гнутый».

Даже грузин Георгадзе говорит этим же языком:

«— Маму твою, петух комнатный».

Такой же мерзкий, приклатненый язык и авторской речи. Иногда он требует даже перевода. Вот начало повести:

«— Баба!.. Кил Мында!..

Бабай дернул башкой, оторвал ее, заспанную, от тумбочки, вскочил, чуть не сбил огнетушитель и ломанулся не в ту сторону».

Чем занимается у С. Каледина воинская часть? Это, как видно, военная тайна, и автор не решается ее разгласить. Зато он красочно расписал, как бедный еврей Фишель Ицкович и цыган Нуцо Владу копают яму для туалета; а Костя Карамычев («дембель») «месяц назад... вконец оборзев, понес куда не надо лоток да и загазованный уже был, прямо на стражу парвался. Стража сообщила в часть». Он «пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не просыхал» и занимался воровством. «Командир роты капитан Доцинин предложил Косте на выбор: или он заводит на него дело, или Костя срочно, до активного потепления, чистит все четыре отрядных сортира».

Конечно, в воинской среде не изжито сквернословие. Да и туалеты существуют. Все как в гражданской среде. И поскольку армия — слепок общества, стало быть, по С. Каледину, такое общество? А поскольку С. Каледин член этого общества, то... Впрочем, все, вероятно, как раз наоборот. Образ общества и, следовательно, армии С. Каледина, скорее всего, списывает с себя. Потому-то нет у него в повести ни одного порядочного человека и лица. Все «герои» умственно недоразвитые уроды с физическими дефектами.

Капитан Доцинин, вымогающий у солдат деньги, — «при Сталине... сажал других»; еврей Ицкович — «глаза подслеповатые»; даже библиотекарь с «кривыми ножками Люсенька не скрывала, что пошла работать в армию в поисках жениха», «Быгов хотел было

прэгнать ее за блуд с личным составом», не сжалился. О других тоже можно привести из повести самые не-
лестные характеристики. Создается впечатление, что
в СССР найти других невозможно.

А чем у С. Каледина заняты военные строители? Они чистят сортиры и копают ямы для новых, ночами
вдыхают через челим «замечательный дым», дерутся
рота на роту и т. д. — не армия, а одурманенная вод-
кой и наркотиками неуправляемая, развращенная бан-
да. Опять же с кого списано? С природы, с общества
или со своего, калединского, окружения?

С. Каледин явно перещеголял В. Войновича, со-
брал такой букет отвратительного и карикатурного,
что и под сильным увеличением во мраке не видно
просвета. А что же редакторы? Такое впечатление,
что они задались единственной целью — загугать до-
призывную молодежь. Не рассчитана же подобная
«литература» на зарубежного читателя, чтобы пугать
его Советской Армией. Во-первых, ее перевести на
другой язык не так просто. Как объяснишь, например,
что такое «кусоч паскудины», «чеши репу», «хахаль
кособрюхий», «дурь сосу», «бабу в роте черепажу»,
«петушня помойная» и т. д. и т. п. А ведь таким язы-
ком написана почти вся повесть, герои которой, как
и Чонкин, рвутся теперь на театральные подмостки.

Нет, не герои В. Войновича и С. Каледина пред-
ставляют людей, говорящих на русском языке. Про-
читав такое, Александр Сергеевич Пушкин едва ли
сказал бы: «Чтение — вот лучшее учение»; а Фридрих
Энгельс не воскликнул бы: «Как красив русский язык!»
Не наше ли время имел в виду Николай Семенович
Лесков, говоря: «Надо беречь наш богатый и прекрас-
ный язык от порчи».

Может быть, Б. Сарнов и прав, что с В. Войнови-
чем «природа сыграла особенно злую шутку, наделив
его сатирическим даром». Да автор Чонкина и сам
просил читателей, что, мол, если его вещь «покажется
не интересной, скучной или даже глупой, так плюньте
и считайте, что я ничего не рассказывал». Плюнуть,
конечно, можно. Но на Руси говорили: «Тот в слове
стоит твердо, кому слово дорого!» Дорого ли оно
В. Войновичу и С. Каледину, а с ними вместе и ре-
дакция? Как видно, все они, вместе взятые, ломану-
лись действительно не в ту сторону!

В 1990 году была опубликована вторая книга про

Чонкина, а теперь, если прочно журнальное обещание, читателей ждет встреча и с третьей. А возможно... Тема-то неисчерпаемая. Да и Центральное телевидение 9 марта 1991 года показало, как А. Дементьев с микрофоном в руках собирает кадры бывших авторов «Юности» не в родном Отечестве, а на зарубежной ниве, рассыпая перед ними комплименты, сманивая под знамена «своего» журнала. Что ж, каждому свое. Но Советская Армия существует и будет существовать. И едва ли Россия забудет ратные дела своей заступницы. Как бы ни изворачивались в словоблудии ее хулители, старающиеся вновь перекроить историю.

На этом можно было бы поставить точку. Но впереди третья книга. Ведь в деревню Красное, как сообщается во второй книге, пришли уже немцы, и «освобожденный» «Чонкин, увидев, что стоит на крыльце конторы худой длинный немец в черном мундире и в очках», позабыл о своей Нюрке и, «никем не замеченный, покинул деревню». Значит, приключения его продолжатся. Что будет дальше? Вдруг Чонкин подается в партизаны, вдруг да выйдет в победители? Победа сорок пятого года все же исторический факт. А может, и ее анекдотской грязью? Теперь гласность, теперь все можно, теперь подобным писателям все разрешено. Читая их сочинения, невольно задаешься вопросом: почему они в почете у некоторых издателей? Не потому ли, что идет откровенное шельмование русской истории? Перестройка породила толпы русофобов, стремящихся убить память народную. А без памяти — нет и самого народа. Русофобы бьют упорно, истушенно, уверенные, что капля камень точит. Чей выполняется заказ? Беспардонное, массированное шельмование армии, вообще русской нации поддерживается не только на митингах, в «демократической» прессе, но и по радио и телевидению. Подключились к этому постыдному делу и некоторые писатели, не только живущие в пределах СССР, но и так называемые «люди мира», шипящие злобно на свою бывшую Родину за то, что она не создала шикарных условий для них.

А в какие условия теперь поставлено большинство литераторов, которые не желают писать подобное? Они вообще исчезли со страниц многих изданий. Зато разливается половодьем грязь, пошлость, разврат.

Можно ли себе представить, что В. Войнович, наделенный, как он сам утверждает, даром все видеть

только в черном цвете, снизойдет до того, чтобы понять, что в СССР живут люди, не только носящие русские фамилии. Или для сатиры, по его мнению, подходят только русские фамилии? Мне могут возразить, что Войнович упомянул даже Сталина, Берия, Гитлера... Да, это так. Но что касается руководства фашистской Германии и командования вермахта, то они поданы как бы с доброй улыбкой. Да и Москву, оказывается, они не захватили только лишь из-за сердобольности фюрера. Остановил он танки Гудериана, заставил фельдмаршала фон Бока повернуть бронетанковую армаду от советской столицы...

Вот как это произошло в «романе-анекдоте»: танки уже у Москвы, а фюрер узнал, что в стороне от главного направления в заточении находится русский князь Чонкин-Голицын, и он не смог не оказать ему помощь. Несмотря на слезы Гудериана, который осмелился заявить фюреру:

«— До Москвы осталось всего восемьдесят километров. Мои танки ворвутся в нее с ходу.

— Ваши танки ворвутся в нее с ходу, но сначала пусть они возьмут Долгов, пусть освободят этого несчастного князя. Право, оставить его в беде было бы неблагородно. Я бы себе этого никогда не простил».

Вот, оказывается, какой был фюрер! Вот, оказывается, почему вермахт потерпел поражение. А ведь «в тот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками». Такова, как заявляет сатирик, истина. Чонкин «в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу». «Русскую столицу» — тоже сказано не случайно. Действуют прямо по гитлеровским инструкциям по разложению войск противника.

Роман, конечно, анекдот. Но, как любой анекдот, не без умысла. Не случайно он переполнен русскими фамилиями. Русские все стерпят. Упомяни другие, можно вызвать немилость перестроившихся критиков. Помнится, как эти дети Сатира набросились на Виктора Астафьева, Чингиза Айтматова, Василия Белова только за то, что они негативно упомянули в своих произведениях о людях других национальностей. А сколько доставалось Валентину Пикулю! Только о русских они позволяют писать все, что заблагорассудится.

Русофобство сейчас поставлено на поток. Даже вы-

сокие государственные деятели по ЦТ вещают, что у нас плохо потому, что русский народ... Не хочется тиражировать это глумление. А ведь кое-кто и подумал: «А может, академику виднее?..» Нас бы, пожалуй, больше возмутило, если бы такую грязь лили на другие национальности. Даже представить трудно, что было бы, если Владимир Войнович назвал своего героя не Иваном Чонкиным, а, допустим, сделал его Фрицем Кинцелем, а генерала Дрынова превратил в Штрейхера. Его «анекдот» вряд ли появился бы в «Адрес», а следовательно, и в «Юности». Да что об этом говорить. Память для такого рода людей — как ветрянка, они ею давно переболели. Что спрашивать от подобных русскоязычных сочинителей. Они назовут тебя «доносчиком», «негодяем», «фашистом»... На словах они все болеют за Россию, все великие страдальцы. А на деле? Оболванивание, глумление, измывательство над всем тем, что издревле дорого нашему народу. Вот и спешат погасить тот священный огонь в душах людей, или, как выразился В. Войнович, покончить со «священными коровами», которые, «до сих пор существующие в Советском Союзе», мешают им сделать из нас чебов.

Вот и хочется повторить за Валентином Пикулем золотые слова о писательском долге: «Главное для писателя — любить свой народ и всеми силами слушать ему».

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
I. Честь, отвага, мужество	
Ю. Пересунько. «Вальтер» из 45-го	6
И. Черных. Долина звоя	140
В. Смирнов. Горечь наших побед	239
II. Ратная летопись России	
А. Серба. Выиграть время	262
А. Шишов. И прозвал его народ «Невский»	365
III. Время раскрывает тайны	
С. Демкин. Альфред Муней — англичанин	384
IV. Слушайте все!	
В. Пиккуль. Армия — любовь моя	474
Г. Некрасов. Ломанулись не в ту сторону	517

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

**Пятый сборник, подготовленный Военно-патриотическим
литературным объединением «Отечество»**

(Москва, 123308, ул. Зорге, 1)

Составитель С. И. Демкин

Редактор В. П. Кузнецов

Художник В. Е. Бай

Художественный редактор Т. А. Тихомирова

Технический редактор Е. А. Шестернева

Корректор Г. И. Гагарина

ИБ № 4303

Сдано в набор 28.02.91. Подписано в печать 20.05.91.

Бумага тип. Печать высокая.

Формат 84×103³/₃₂. Печ. л. 16¹/₂. Усл. печ. л. 27,72.

Усл. кр.-отг. 27,72. Уч.-изд. л. 29,05.

Изд. № 15/6520. Тираж 150.000 экз. Зак. 847. Цена 6 р. 50 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160

2-я типография Воениздата

191065, Ленинград. Д-65, Дворцовая пл., 10

